



Воспоминания соловецких узников



**Посвящается памяти заключенных
Соловецкого лагеря особого назначения**

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Иерей Вячеслав Умнягин (ответственный редактор)

Майя Евгеньевна Бабичева, кандидат филологических наук

Олег Геннадьевич Волков

Маргарита Сергеевна Волкова

Лидия Алексеевна Головкова

Наталья Александровна Кривошеева

Маргарита Михайловна Лоевская, доктор культурологии

Иерей Александр Мазырин, доктор церковной истории,

кандидат исторических наук

Дарья Сергеевна Московская, доктор филологических наук

Архимандрит Ианнуарий (Недачин), кандидат богословия

Монахиня Никона (Осипенко),

кандидат физико-математических наук

Елена Александровна Певак, кандидат филологических наук

Павел Григорьевич Проценко

Михаил Сергеевич Скрипкин

Вениамин Алексеевич Слепков

Марина Александровна Смирнова, кандидат исторических наук

Анна Петровна Яковлева

ВОСПОМИНАНИЯ СОЛОВЕЦКИХ УЗНИКОВ

1925—1930



ИЗДАНИЕ
СОЛОВЕЦКОГО
ЖИВУЩЕГО

2015

УДК 94(47)(092)+94(470.11)(092)+
271.2(470.11)(092)
ББК 63.3(2)61-361ю14+
63.3(2Рос-4Арх, 99Соловки)61-61ю14+
86.372.24-3ю14
В 77

*Рекомендовано к публикации
Издательским советом Русской Православной Церкви»
(ИС Р15-507-0413)*

Рецензенты:

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы
и истории КарНЦ РАН Е. Г. Сойни

доктор геолого-минералогических наук, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина,
академик РАЕН П.В. Флоренский,

кандидат филологических наук, руководитель историко-просветительского общества
«Ингушский мемориал» М. Д. Яндиева.

Топографический указатель: О. Г. Волков

Библиографический список: М. А. Смирнова

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) благодарит за
помощь в выпуске третьего тома серии «Воспоминания соловецких узников»
Губернатора Архангельской области **Игоря Анатольевича Орлова**,
заместителя Губернатора Архангельской области **Романа Викторовича Балашова**,



а также
**Фонд развития
Соловецкого архипелага**

Воспоминания соловецких узников. 1925—1930 / [отв. ред.: иерей Вячеслав
В 77 Умнягин]. — [Соловки] : Издание Соловецкого монастыря, 2015. — 560 с. : ил. —
ISBN 978-5-91942-035-4.

Агентство СІР Архангельской ОНБ.

УДК 94(47)(092)+94(470.11)(092)+
271.2(470.11)(092)
ББК 63.3(2)61-361ю14+
63.3(2Рос-4Арх, 99Соловки)61-361ю14+
86.372.24-3ю14

Третий том книжной серии включает в себя воспоминания заключенных Соловецкого лагеря особого назначения, отбывавших наказание в 1925—1930 гг., научные статьи и библиографические списки по истории гонений на Русскую Православную Церковь и визиту М. Горького на Соловки летом 1929 г., а также справочные материалы по истории и географии СЛОНа. Книга ориентирована на самый широкий круг читателей и специалистов, интересующихся отечественной историей.

ISBN 978-5-91942-035-4

© Спасо-Преображенский Соловецкий
ставропигиальный мужской монастырь, 2015



СОДЕРЖАНИЕ

От редакции.....	7
Александр Мазырин, иерей. Русская Православная Церковь при богоборческой власти в довоенные годы	9
Яковлева А. П. Соловецкие лагеря в истории гонений на Русскую Православную Церковь (1923–1927)	21
Певак Е. А. Взгляды Максима Горького на Соловецкий лагерь в контексте идейных исканий писателя	34
Никона (Осипенко), монахиня. Со слов очевидца... ..	52
В. Н. И. Соловецкий концлагерь (Со слов очевидца)	55
Кривошеева Н. А. Биография архимандрита Феодосия (Алмазова)	62
Лоевская М. М. Воспоминания архимандрита Феодосия (Алмазова) в церковно-историческом контексте.....	64
Феодосий (Алмазов), архимандрит. Мои воспоминания	73
Бабичева М. Е. Трудные дороги советского зека (жизненный и творческий путь Г. А. Андреева)	106
Андреев Г. Соловецкие острова (1927–1929)	117
Вячеслав Умнягин, иерей. Рассказы человека с «того света»	190
Грубе А. Р. Рассказ человека с того света	194
Секирка	212
Волкова М. С. Обитель-великомученица.....	218
Волков О. В. Погружение во тьму	221
Ианнуарий (Недачин), архимандрит. Андреевский, Соловецкий, Андреев и снова Андреевский: жизненный путь и вклад в русское духовное возрождение профессора Ивана Михайловича Андреевского.....	272
Андреевский И. М. Допросы в тюрьмах НКВД	288
На коммунистической каторге	293
Большевизм в свете психопатологии	296



Катакомбные богослужения в Соловецком концлагере	309
Православный еврей-исповедник	314
Группа монахинь в Соловецком концлагере.....	322
Воспоминания о епископе Викторе (Островидове).....	330
Епископ Максим Серпуховской (Жижиленко) в Соловецком концентрационном лагере	332
«Совесть СССР»	343
Московская Д. С. «Я нашел в жизни то, что искал»	348
Анциферов Н. П. СЛОН (Соловецкие лагеря особого назначения)	358
Проценко П. Г. Вергилий ада Соловецкого	374
Второва-Яфа О. В. Авгуровы острова	
Тетрадь первая. 1929–1930	383
Тетрадь вторая. Мать Вероника (повесть)	443
Топографический указатель	496
Именной указатель	504
Глоссарий и список аббревиатур	527
Библиографический список	532

ОТ РЕДАКЦИИ

Издательский отдел Соловецкого монастыря представляет третий том «Воспоминаний соловецких узников», который, вслед за предыдущими выпусками этой книжной серии, продолжает знакомить читателей с литературным наследием заключенных Соловецкого лагеря особого назначения.

Наряду с уже опубликованными в России произведениями, книга включает в себя ранее не издававшиеся мемуары и тексты из труднодоступных источников.

Объединенные в рамках одного проекта, эти письменные свидетельства непосредственных участников событий дают возможность современному человеку познакомиться с важными вехами российской истории минувшего столетия.

Изложенный в публикуемых воспоминаниях опыт — не всегда однозначный, подчас парадоксальный и противоречащий сложившимся представлениям, обладает и некими общими родовыми чертами, которые отражают особенности российского универсума конца XIX — начала XX в., обусловившими известные взлеты и падения отечественной государственности и культуры.

Совокупность свидетельств, оставленных представителями различных сословий и возрастных групп, политических, нравственных и религиозных убеждений, позволяет читателю увидеть историю во всей ее полноте и противоречивости, составить собственное мнение о временах, когда в стране формировалась не только система исполнения наказаний, но и мировоззрение.

Соприкосновение с опытом тех, чье личностное становление происходило в иную, отличную от нашей, эпоху, позволяет восстановить «порвавшуюся связь времен»; соединить жизненный опыт поколений ушедших и ныне живущих людей; дать ответы, если не исключающие, то хотя бы снижающие риск повторения трагического прошлого; и, наконец, уйти от социально-политического мифотворчества, ставшего причиной тех масштабных общественных потрясений, которые так ярко описаны в публикуемых воспоминаниях.

С целью сохранения исторической правды и для более глубокого понимания особенностей творчества отдельных мемуаристов и освещаемых ими событий разнохарактерные автобиографические сочинения предваряются статьями современных исследователей.

Третий том «Воспоминаний соловецких узников» открывает статья «Русская Православная Церковь при богоборческой власти в довоенные годы», в ко-

Александр Мазырин, иерей
**РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРИ БОГОБОРЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
В ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ**

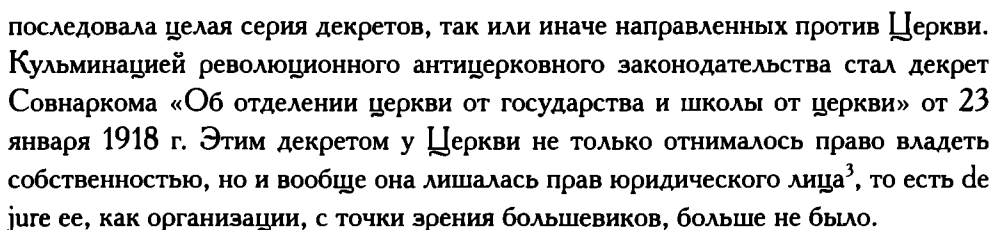
В отношении Русской Православной Церкви советская власть с первых же своих дней развернула жестокое и неприкрытое гонение, причины которого крылись в самой сущности воинствующе богоборческого большевизма. Патологической ненавистью к религии наполнены слова В. И. Ленина из письма М. Горькому, написанного еще в 1913 г.: «Всякий боженька есть труположество [...]. Всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость, [...] это — самая опасная мерзость, самая гнусная “зараза”»¹.

Придя к власти, Ленин и его команда сразу же повели борьбу с тем, что вызывало у них такую звериную ярость. Сама по себе религия, с точки зрения большевиков, была явлением контрреволюционным, сколь бы ни были лояльны советской власти ее носители. «Новый мир», который собирались построить большевики, никакой иной веры, кроме как в коммунизм, не предполагал. Отсюда вытекала неизбежность гонения с их стороны на религию вообще и на Русскую Православную Церковь в особенности.

Наступление на Церковь началось сразу и осуществлялось в различных формах. Прежде всего это проявилось в законодательной сфере. В принятом 26 октября (по старому стилю) 1917 г. Съездом советов «Декрете о земле» говорилось: «[...] все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов, впредь до Учредительного собрания»². То есть все церковные земли со всем, что на них находилось, уже на второй день советской власти были из распоряжения Церкви изъяты (Учредительное собрание, которое, по букве декрета, должно было окончательно решить судьбу церковного имущества, как известно, было в январе 1918 г. большевиками разогнано). Далее

¹ Два письма А. М. Горькому // Ленин В. И. Сочинения. М.; Л., 1929. Т. 17: 1913–1914. С. 81–82.

² Известия ЦИК. 1917. 28 окт.



Проходивший в то время в Москве Поместный Собор Русской Церкви быстро и резко отозвался на этот ленинский акт, заявив, что «декрет об отделении Церкви от государства представляет собою под видом закона о свободе совести злостное покушение на весь строй жизни Православной Церкви и акт открытого против нее гонения». «Всякое участие как в издании сего враждебного Церкви узаконения, так и в попытках провести его в жизнь несовместимо с принадлежностью к Православной Церкви и навлекает на виновных лиц православного исповедания тяжчайшие церковные кары вплоть до отлучения от Церкви», — постановил Собор 25 января 1918 г.⁴

В том, что большевики стремились разрушить, как было сказано в соборном постановлении, «весь строй жизни Православной Церкви», сомнений быть не могло. VIII отдел Наркомата юстиции, который должен был проводить в жизнь декрет об отделении, имел говорящее за себя название — «Ликвидационный». В программе РКП(б), принятой на съезде в марте 1919 г., прямо было сказано, что «по отношению к религии РКП не удовлетворяется декретированным уже отделением церкви от государства и школы от церкви». Свою цель РКП(б), согласно этой программе, видела в «полном отмирании религиозных предрассудков»⁵. Начальник VIII отдела НКЮ П. А. Красиков откровенно пояснял: «Мы, коммунисты, своей программой и всей своей политикой, выражающейся в советском законодательстве, намечаем единственный, в конечном счете, путь как религии, так и всем ее агентам: это путь в архив истории»⁶.

При этом, вопреки очевидности, официально советская власть религию не преследовала. Декретом об отделении Церкви от государства запрещались «какие-либо местные законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести»⁷. Также и в принятой летом 1918 г. Конституции РСФСР было сказано, что «свобода религиозной и антирелигиозной пропаган-

³ См.: Гидулянов П. В. Отделение церкви от государства в СССР: Полный сборник декретов, ведомственных распоряжений и определений Верховного Суда РСФСР и других социалистических республик. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1926. С. 617.

⁴ Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. М., 1996. Т. 6. С. 72.

⁵ Цит. по: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1954. Ч. 1. С. 420–421.

⁶ Красиков П. А. Кому это выгодно // Известия ВЦИК. 1919. 14 дек.

⁷ См.: Гидулянов П. В. Отделение церкви от государства в СССР. С. 615–616.

ды признается за всеми гражданами»⁸. Позднее, правда, формулировки были несколько скорректированы и о свободе религиозной пропаганды уже не говорилось, но декларирование свободы совести сохранялось в советских конституциях всегда.

В то же время конституциями 1918 и 1924 гг. закреплялось лишение избирательных прав целого ряда групп советских граждан, в том числе монахов и духовных служителей церквей. На практике «лишенцы» ограничивались не только в избирательных правах, но и во многом другом: не получали пенсий, пособий, продуктовых карточек. Напротив, налоги и прочие платежи для «лишенцев» были существенно выше, чем для остальных граждан. Детям «лишенцев» было крайне затруднительно получить образование выше начального. Только конституцией 1936 г. все советские граждане были формально уравнены в правах, но фактического прекращения преследования служителей Церкви это не означало.

Принятие антицерковного законодательства сопровождалось развертыванием атеистической пропаганды, причем в самых оскорбительных для верующих формах. Так, с конца 1918 г. началась шумная кампания по вскрытию святых мощей. За два года было осуществлено 66 вскрытий⁹. Согласно циркуляру НКВД после вскрытия мощи надлежало выставлять в разоблаченном виде либо на прежнем месте, либо доставлять «в музей или другие общественные здания для публичного постоянного осмотра»¹⁰. В июле 1920 г. Совнаркомом было принято постановление о «ликвидации мощей во всероссийском масштабе»¹¹, святые мощи уже не просто вскрывались, а конфисковывались у Церкви. В такой ситуации Патриарх Тихон вынужден был апеллировать к декрету об отделении Церкви от государства. В августе 1920 г. он писал председателю ВЦИК М. И. Калинин: «Мощи, канонизация, восковые свечи — все это предметы культа [...] гонения на мощи являются актом, явно незаконным с точки зрения советского законодательства». Резолюция на письме Патриарха была краткой: «Оставить без последствий»¹². Большевики явно не считали, что их собственное законодательство может их самих в борьбе с Церковью как-то ограничивать.

Огромными тиражами издавалась атеистическая печатная продукция: книги, брошюры, журналы, газеты, плакаты. Устраивались глумливые театрализованные представления, «комсомольские пасхи» и «комсомольские рождества». Создавались соответствующие организации. В 1922 г. стала выходить газета

⁸ Там же. С. 21.

⁹ См.: Кашеваров А. Н. Советская власть и судьбы мощей православных святых. СПб., 2013. С. 64.

¹⁰ Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917–1941: Документы и фотоматериалы. М., 1996. С. 59.

¹¹ Там же. С. 60.

¹² Цит. по: Кашеваров А. Н. Советская власть и судьбы мощей православных святых. С. 70.

лавра, и объявление их «каким-то якобы народным достоянием»¹⁵. Иными словами, перечислялись мероприятия советской власти (попытка захвата лавры в Петрограде имела место 13 января и закончилась человеческими жертвами). Соответственно, есть все основания считать эту власть анафематствованной. Собранный 20 января Собор первым делом заслушал послание Патриарха и выразил с ним полное согласие. 22 января было принято постановление: «Священный Собор Православной Российской Церкви с любовью приветствует послание Святейшего Патриарха Тихона, карающее злых лиходеев и обличающее врагов Церкви Христовой»¹⁶.

«Злых лиходеев», однако, соборное проклятие не остановило. С осени 1918 г. большевистская власть уже открыто перешла к политике «красного террора». В издававшемся тогда «Еженедельнике ЧК» регулярно публиковались длинные списки расстрелянных заложников, среди которых видное место занимали представители Церкви. Так, например, в октябре 1918 г. буднично сообщалось о расстреле Нижегородской ГубЧК 41 человека «из вражеского лагеря». Список начинался так: «1. Августин, архимандрит; 2. Орловский, Николай Васильевич, протоиерей»¹⁷.

Общее число жертв среди духовенства, монашествующих и активных мирян быстро пошло сначала на десятки, затем на сотни, а к концу гражданской войны — уже на тысячи. Одних только православных архиереев за 1918–1922 гг. было казнено более двадцати — примерно каждый седьмой¹⁸. Даже когда основные бои гражданской войны закончились, В. И. Ленин, уже совсем больной, никак не мог обуздать свою патологическую кровожадность в отношении Церкви. В марте 1922 г. он писал в секретном письме членам Политбюро по поводу развернутой тогда кампании изъятия церковных ценностей (якобы для спасения голодающих): «Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать»¹⁹.

¹⁵ Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943 / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 83.

¹⁶ Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Т. 6. С. 36.

¹⁷ Еженедельник Чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией. 1918. 27 окт. № 6. С. 26.

¹⁸ Список см.: Андроник (Трубачев), игум., Дамаскин (Орловский), иером. Святая Русь: Хронологический список канонизированных святых, почитаемых подвижников благочестия и мучеников Русской Православной Церкви (1917–1997) // Цыпин В., прот. История Русской Церкви. Книга девятая: 1917–1997. М., 1997. С. 674–687.

¹⁹ Цит. по: Архивы Кремля. Политбюро и Церковь: 1922–1925 гг. В 2 кн. / Подгот. изд. Н. Н. Покровского и С. Г. Петрова. Новосибирск; М., 1997. Кн. 1. С. 141–143.

Венцом кампании изъятия церковных ценностей должен был стать показательный судебный процесс над Патриархом Тихоном и последующий расстрел Предстоятеля Русской Церкви, однако этого не произошло. Борьба за международное признание и начатая новая экономическая политика (НЭП), предусматривавшая определенную внутреннюю либерализацию, побудили большевистское руководство, в котором все более значимой становилась роль Сталина, отложить проведение в жизнь ленинских антицерковных установок на потом. Из этого, конечно, не следует, что И. В. Сталин был настроен по отношению к Церкви более мягко. В сентябре 1927 г. в опубликованной в советских газетах «Беседе с первой американской рабочей делегацией» он весьма откровенно заявил: «Партия не может быть нейтральной в отношении носителей религиозных предрассудков, в отношении реакционного духовенства, отравляющего сознание трудящихся масс. Подавили ли мы реакционное духовенство? Да, подавили. Беда только в том, что оно еще не вполне ликвидировано»²⁰.

Действительно, вопреки установкам Ленина и пожеланиям Сталина, после расстрела в августе 1922 г. группы петроградских церковных деятелей во главе со священномучеником митрополитом Вениамином казни духовенства (во всяком случае, епископов) на несколько лет приостановились. Но это не означало прекращения антицерковных репрессий как таковых. Активнее стала практиковаться высылка духовенства, в том числе без всякого суда и следствия, в административном порядке. С 1923 г. началась эпоха Соловецкого лагеря особого назначения, среди заключенных которого «церковники» занимали заметное место. С конца же 1920-х гг. чаемая Сталиным ликвидация «реакционного духовенства» стала вновь набирать обороты, расстрелы служителей Церкви возобновились. Развернутое в то время наступление на крестьянство (коллективизация) подразумевало и резкое усиление антицерковного террора. Общее число арестованных за веру в период коллективизации существенно превзошло число репрессированных в годы гражданской войны (по оценке профессора Н. Е. Емельянова — втроекратно²¹).

В период же относительного ослабления террора в 1920-е гг. в число важнейших направлений борьбы с Церковью вошла секретная деятельность органов ГПУ—ОГПУ, направленная на ее *дискредитацию и разложение изнутри*. План по осуществлению в Православной Церкви масштабного раскола возник

²⁰ Известия ЦИК. 1927. 15 сент. Во время самой беседы с американской делегацией, как следует из ее стенограммы, Сталин слов о ликвидации «реакционного духовенства» не произносил и вставил их позднее, когда редактировал текст для печати (См.: Курляндский И. В. Сталин, власть, религия. М., 2011. С. 253).

²¹ См.: Емельянов Н. Е. Оценка статистики гонений на Русскую Православную Церковь с 1917 по 1952 г. (по данным на январь 1999 г.) // Богословский сборник. 1999. Вып. 3. С. 267–269.

весной 1922 г. в связи с кампанией изъятия церковных ценностей. Л. Д. Троцкий предложил Политбюро «повалить контрреволюционную часть церковников, в руках коих фактическое управление церковью» с помощью соглашательского «сменовеховского» духовенства, которое, в свою очередь, надлежало рассматривать как «опаснейшего врага завтрешнего дня»²². Политбюро план уничтожения Церкви в два захода, предложенный Троцким, поддержало, результатом чего стало возникновение обновленческого раскола в Русской Церкви в мае 1922 г.

В задачу обновленцев входило выявление «церковных контрреволюционеров» и их последующее осуждение от имени Церкви. Так, в июле 1922 г., сразу же после объявления Ревтрибуналом смертного приговора группе петроградских священнослужителей и мирян, обновленческое «Высшее Церковное Управление» (ВЦУ) постановило: «Бывшего петроградского митрополита Вениамина (Казанского), изобличенного в измене своему архипастырскому долгу, [...] лишить священного сана и монашества». «Лишались сана» также и другие осужденные на смерть священнослужители, а миряне «отлучались от Церкви»²³. В мае 1923 г., в преддверии ожидавшегося процесса над Патриархом Тихоном, обновленцами на проведенном ими лжесоборе было вынесено аналогичное постановление и в отношении Предстоятеля Русской Церкви.

Что за люди были обновленцы, можно проиллюстрировать докладной запиской члена обновленческого ВЦУ «протоиерея» Бориса Дикарева начальнику 6-го («церковного») отделения Секретного отдела ГПУ Е. А. Тучкову. «Карьеризм, интриги, грызня, шкурничество и зависть к успехам другого, более талантливого, — вот и все», — характеризовал Дикарев своих коллег-обновленцев, будучи сам отнюдь не меньшим карьеристом и интриганом. «Во всем обновленческом движении, — писал он Тучкову в феврале 1923 г., — меня теперь интересует лишь одна его сторона — общественно-политическая борьба. Мягкость моего характера я теперь изжил и линию на сокрушение всей церковной черной сотни веду беспощадную. Хотя этим возмещу то, что вместо положительной активной деятельности в Сов[етских] рядах — ушел в церковное стоячее болото»²⁴.

Нетрудно понять, каким было отношение к таким «красным попам» в православном народе. Даже у самих сотрудников ГПУ они вызывали чувство брезгливости. «Истинные ревнители православия к ним не идут, — говорилось об обновленцах в обзоре ГПУ, подготовленном для высшего партийно-советского руководства в августе 1922 г., — среди них последний сброд, не имеющий авто-

²² Архивы Кремля. Политбюро и Церковь. Кн. 1. С. 162–163.

²³ Постановление Высшего Церковного Управления // Живая Церковь. 1922. № 6–7. С. 12.

²⁴ ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 307. Л. 124–125.

ритета среди верующей массы»²⁵. Патриарх Тихон и оставшиеся ему верными архиереи и священники («тихоновцы») воспринимались верующими совсем по-другому. Обновленческие храмы приходили в запустение, «тихоновские» были переполнены.

Не решившись в 1923 г. казнить Патриарха, власть попыталась дискредитировать его в глазах верующих через навязывание ему просоветской политики. Позицию Патриарха Тихона нельзя было назвать бескомпромиссной, но от готовности служить большевистской власти, как это делали обновленцы, он был далек. «Я написал [...], что я отныне — не враг Советской власти, но я не писал, что я друг Советской власти», — говорил он в своем кругу²⁶. «Российская Православная Церковь, — писал святитель Тихон в июле 1923 г., — аполитична и не желает отныне быть ни “белой”, ни “красной” Церковью. Она должна быть и будет Единою, Соборною, Апостольскою Церковью, и всякие попытки, с чьей бы стороны они ни исходили, ввергнуть Церковь в политическую борьбу должны быть отвергнуты и осуждены»²⁷. Такая позиция Патриарха Тихона, вполне разделяемая большинством православных епископов, категорически не устраивала ОГПУ. Власть нужна была именно «красная» Церковь. Давление на Патриарха усиливалось, и только смерть весной 1925 г. избавила его от нового ареста²⁸.

Политика ОГПУ в середине 1920-х гг. хорошо характеризуется запиской начальника Секретного отдела Т. Д. Дерибаса Тучкову по поводу успехов их украинских коллег в борьбе с самосвятской группировкой Василия Липковского: «Оказывается, напрасно мы волновались по поводу результатов погрома Липковщины: они оказались блестящими. И репрессалии были пустяковые, и шуму было очень мало, а между тем они поставили на оба колена автокефалистов. Сделали то, что мы хотим сделать с тихоновцами, но никак не можем сделать»²⁹. Задача, таким образом, была с минимальными «шумом» и «репрессалиями» поставить «тихоновцев» «на оба колена», как это было сделано с украинскими автокефалистами. Справиться с этой задачей власть не смогла, без ужесточения террора дело не обошлось.

Преемник Патриарха Тихона Патриарший Местоблюститель митрополит Петр (Полянский) твердо стоял на позиции, смысл которой заключался в том,

²⁵ «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.). Т. 1: 1922–1923 гг. М., 2001. Ч. 1. С. 217.

²⁶ Виноградов В. П., протопресв. О некоторых важнейших моментах последнего периода жизни и деятельности св. патриарха Тихона (1923–1925 гг.): По личным воспоминаниям. Мюнхен, 1959. С. 14.

²⁷ Акты Святейшего Тихона... С. 287.

²⁸ См.: Сафонов Д. В. В последние годы жизни Патриарха Тихона против него готовился новый судебный процесс // Церковь в истории России. Сборник 6. М., 2005. С. 218–243.

²⁹ ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 307. Л. 615.

что контрреволюция — это не грех и не дело Церкви с ней бороться. Власть требовала от него церковного осуждения русского зарубежного епископата за антисоветскую деятельность, но Местоблюститель не пошел даже на формальное увольнение его главы — митрополита Антония (Храповицкого) с Киевской кафедры, которую тот номинально занимал (хотя уже давно в Киеве не был). Такая непреклонная линия поведения митрополита Петра привела к тому, что он лишь восемь месяцев из своего местоблюстительства провел на свободе и уже в декабре 1925 г. был арестован, оставаясь, тем не менее, каноническим главой Русской Православной Церкви. Местоблюстителю предлагали свободу в обмен на секретное сотрудничество с госбезопасностью. На это он ответил председателю ОГПУ, что подобного рода занятия несовместимы с его званием и несходны его натуре³⁰. Патриаршего Местоблюстителя содержали в подвальных одиночных камерах, так что он годами не видел солнца, но даже это не могло его сломить. В октябре 1937 г. священномученик Петр был расстрелян.

Не все архиереи тогда мыслили так же, как митрополит Петр. Его заместитель, митрополит Сергей (Страгородский), после года следования аполитичной линии Патриарха Тихона и митрополита Петра, пробыв четыре месяца в заключении, принял условия ОГПУ и стал проводить от лица Московской Патриархии вполне просоветскую политику, символическим выражением чего стала его печально известная июльская декларация 1927 г. «Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное Варшавскому, сознается нами как удар, направленный в нас», — заявлялось в декларации митрополита Сергея³¹. («Варшавское убийство» — убийство русским монархистом Борисом Ковердой полпреда СССР в Польше Петра Войкова — одного из организаторов расстрела Царской семьи в 1918 г. в Екатеринбурге.) От прежней церковной аполитичности, как видно, не оставалось и следа.

При этом одними декларациями дело не ограничивалось. Бывший управляющий делами сергиевского Синода, архиепископ Питирим (Крылов) на допросе в 1937 г. показал, что «митрополит Сергей Страгородский сам давал установки архиереям не только не отказываться от секретного сотрудничества с НКВД, но даже искать этого сотрудничества». Цель такого сотрудничества мыслилась благой: «Это делалось в интересах церкви, т.к. митрополит Страгородский понимал, что архиерей, заручившийся доверием местного органа НКВД, будет поставлен в более благоприятные условия по управлению подведомственной ему епархией,

³⁰ Акты Святейшего Тихона... С. 883.

³¹ Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1927. 19 авг.

у него не будет особых неприятностей с регистрацией и вообще создастся какая-то гарантия от возможности ареста. [...] Само собой разумеется, что архиереи понимали установки Страгородского как маневр, направленный к сохранению церкви в тяжелых для нее условиях»³².

Как видно, мотивы сотрудничества с органами госбезопасности у митрополита Сергия и принимавших его установки были совсем иными, чем, например, у обновленца Дикарева. Но последствия для Церкви все равно оказывались весьма тяжелыми. Если в 1926 г. Дерибас сетовал Тучкову, что им никак не удастся поставить «тихоновцев» на «оба колена», то в 1929 г. ситуация была уже кардинально иной, и Тучков похвалялся: «Митрополит Сергей по-прежнему всецело находится под нашим влиянием и выполняет все наши указания. [...] Сергиевским синодом выпущен циркуляр епархиальным архиереям с возложением на них ответственности за политическую благонадежность служителей культа и с предписанием репрессирования по церковной линии за а[нти]с[оветскую] деятельность. Сам Сергей также приступил к этому репрессированию, увольняя виновных попов»³³.

Оценивая положение митрополита Сергия, братья-архиепископы Пахомий и Аверкий (Кедровы) писали в 1929 г.: «Несомненно [...] митрополит Сергей не ставил себе злостных целей в отношении Св. Церкви. Конечно, он надеялся достигнуть мира церковной жизни, освобождения заключенных церковных деятелей и спокойного существования не заключенных. Словом, доверчивый человек уповал устроить (когда он выполнит предъявленные ему требования и будут исполнены данные ему обещания) внешнее благополучие Церкви, ожидая от того и внутреннего благоустройства религиозной жизни. [...] Но слабовольный, хотя и не злонамеренный наш Предстоятель, подвергаясь настойчивому внешнему воздействию, не удержался в церковных границах [...], переоценив значение для религиозной жизни внешних условий, и средством для своей правильной цели избрал не исповедание церковной истины, а личную хитрость, неискренность, политиканство. Поднявши такое неподходящее в церковной деятельности оружие, митрополит Сергей сам от него пострадал, ибо сыны века сего всегда бывают искуснее сынов света в пользовании этим оружием»³⁴.

Как видно, архиепископы Пахомий и Аверкий сочувствовали лично митрополиту Сергию, но не его политике. От Заместителя они не отделялись. Так поступало и большинство других архиереев и священников в России. Другие же

³² ЦА ФСБ РФ. Д. Р-49429. Л. 151–152.

³³ Цит. по: Сафонов Д. В. «Завещательное послание» Патриарха Тихона и «Декларация» Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия // URL: <http://www.pravoslavie.ru/archiv/patrikhop-zaveschanie3.htm>

³⁴ Послание братьев-архиепископов Пахомия и Аверкия (Кедровых) об отношении к политике митрополита Сергия (Страгородского) // Вестник ПСТГУ. II. 2007. Вып. 4 (25). С. 157.

ревнители Православной Церкви были настроены более решительно и шли на канонический разрыв с ним (но не с Патриаршим Местоблюстителем, что важно). Одних только православных епископов в России от митрополита Сергия отделилось более сорока (не считая зарубежных). Первоиерарх Русской Церкви митрополит Петр из далекой ссылки обращался к митрополиту Сергию в декабре 1929 г. «с убедительнейшей просьбой исправить допущенную ошибку, поставившую Церковь в унижительное положение, вызвавшую в ней раздоры и разделения и омрачившую репутацию ее предстоятелей»³⁵. Заместитель, однако, не отказался от своей политики.

Трагичным для митрополита Сергия было то, что его угодливость власти, столь сильно уронившая авторитет Московской Патриархии, нисколько не уберегла Церковь от новых репрессий. Напротив, гонения на Церковь с 1927 г. усилились многократно, что хорошо видно из собранной в ПСТГУ статистики. Если принять число арестов в 1926 г. за единицу, то в 1927 г. этот показатель равен 1,8, в 1928-м — 2,6, в 1929-м — 9, в 1930-м — 21,7, то есть в каждый следующий год он удваивался или даже утраивался³⁶.

Своего пика гонения на Церковь достигли в конце 1930-х гг. в ходе масштабной кампании репрессий — «большого террора». 30 июля 1937 г. наркомом внутренних дел Н. И. Ежовым был подписан оперативный приказ «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов». В число репрессируемых в нем были включены и «церковники». Все «наиболее враждебные» подлежали немедленному аресту и последующему расстрелу. «Менее враждебные» приговаривались к 8—10 годам лагерей. За 1937 г., по данным НКВД, было арестовано 33 382 «служителя религиозного культа», вместе с «сектантами» эта цифра возрастала до 37 331. В 1938 г. за «церковно-сектантскую контрреволюцию» было арестовано 13 438 человек³⁷. При этом если в 1937 г. от общего числа приговоров 44% составляли приговоры к высшей мере наказания, то в 1938 г. количество приговоров к расстрелу возросло до 59%³⁸.

В итоге «большого террора» Православная Церковь и другие религиозные организации в СССР были практически полностью разгромлены. К началу

³⁵ Воробьев В., прот., Косик О. В. Слово Местоблюстителя: Письма Местоблюстителя священномученика митрополита Петра (Полянского) к митрополиту Сергию (Страгородскому) из Тобольской ссылки и люди, послужившие появлению этих документов // Вестник ПСТГУ. II. 2009. Вып. 3 (32). С. 61.

³⁶ Цифры приведены по состоянию базы данных на сентябрь 2014 г. Данные для расчета см.: http://pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans. Всего в базе данных более 35000 имен пострадавших за веру при советской власти. Это число, конечно, далеко от полноты, но для репрезентативной выборки более чем достаточно.

³⁷ См.: Мозохин О. Б. Право на репрессии. Внесудебные полномочия органов государственной безопасности. Статистические сведения о деятельности ВЧК—ОГПУ—НКВД—МГБ (1918—1953). М., 2011. С. 461, 465.

³⁸ Данные см.: Там же. С. 458, 462.



А. П. Яковлева
СОЛОВЕЦКИЕ ЛАГЕРЯ В ИСТОРИИ ГОНЕНИЙ
НА РУССКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ
(1923–1927)

Соловецкие лагеря занимают особое место в истории гонений на Русскую Православную Церковь. Здесь в заключении находились многие выдающиеся представители духовенства, ни в одном другом лагере страны в 1920-х годах не содержалось столько священнослужителей, как в Соловецком.

На сегодня нам известны имена более 80 митрополитов, архиепископов и епископов, около 400 имен священников, имена десятков монахов и мирян, пострадавших за веру и прошедших через Соловки¹.

По архивным документам установлено, что летом 1926 г. в Соловецком лагере одновременно находился 91 представитель духовенства, среди них 18 епископов и архиепископов. За период 1923–1926 гг. через лагерь прошли не менее 126 священно- и церковнослужителей².

Утверждение о том, что в Соловках, как в малой капле огромного океана, отражается вся история страны, находит свое подтверждение применительно и к истории предвоенных гонений на Русскую Православную Церковь. Следственные дела исповедников веры, сосланных на Соловки, могут служить прекрасной иллюстрацией общих тенденций и основных этапов этих гонений, многих основных антицерковных кампаний и массовых дел против верующих.

Соловецкие лагеря особого назначения были организованы 23 октября 1923 г. Этим числом датируется Постановление СНК СССР об организации Соловецкого лагеря принудительных работ, подписанное заместителем председателя СНК А. И. Рыковым³. Однако уже до официального открытия лагеря на Соловках находились заключенные. К 20 сентября их количество насчитывало 3049 человек⁴. С июня 1923 г. на острова начали перевозить заключенных из Холмогорского, Архангельского и Пертоминского лагерей⁵.

¹ Сошина А. А. На Соловках против воли: судьбы и сроки 1923–1939. Соловки; М.: Изд-во ТСМ, 2014. С. 21.

² Яковлева А. П. Список духовенства, заключенного в Соловецких лагерях // Соловецкий сборник. Архангельск, 2014. Вып. 10. С. 150–157.

³ Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923–1960: Справочник. М., 1994. С. 394.

⁴ Сошина А. А. Указ. соч. С. 14.

⁵ Там же. С. 13–14.

В числе прибывших на Соловки из Архангельского лагеря оказалась и группа духовенства из Ростовской епархии: епископ Аксайский Митрофан (Гринева), иереи Павел Чехранов, Алексей Трифилев и протоиерей Дмитрий Новочадов. Арестованы они были в Ростове-на-Дону в конце 1922 — начале 1923 г. за борьбу с обновленчеством и постановлением Комиссии НКВД СССР по административным высылкам от 30 марта 1923 г. заключены в Архангельский концлагерь. До вынесения приговора все они находились в Бутырской тюрьме, куда одновременно с ними прибыли священники из Новочеркасска Иоанн Артемьев и Владимир Волагури, впоследствии также отбывавшие срок наказания в Соловецких лагерях⁶.

За борьбу с обновленчеством были сосланы на Соловки и правящие архиереи Ростовской епархии первой половины 1920-х гг.: епископы Арсений (Смоленец) и Захария (Лобов), ныне прославленный в лике святых. Владыка Арсений объявил неправомерным созданный в 1922 г. в Ростове-на-Дону комитет «Живой церкви», который претендовал на управление епархией. За это обновленцы обвинили его в контрреволюции. В том же году епископ был арестован и отправлен на Соловки. После ареста епископа Митрофана (Гринева) на Аксайскую кафедру 14 октября 1923 г. был назначен епископ Нижне-Чирский Захария (Лобов), который одновременно, в отсутствие правящего архиерея после ареста епископа Арсения, управлял Ростовской и Таганрогской епархией. Под его руководством к началу 1924 г. практически все приходы Новочеркасска и значительная часть приходов епархии вернулась из обновленчества в Патриаршую Церковь. По обвинению в «дискредитации советской власти» владыка был арестован 28 февраля 1924 г. и Особым Совещением при Коллегии ОГПУ приговорен к двум годам концлагеря⁷.

Борьба с обновленческим расколом стала важнейшей задачей Церкви сразу после инициирования его властями в 1922 г. И именно эта борьба послужила причиной ареста большинства представителей духовенства, находившихся в заключении на Соловках в указанный период. Среди них были и архиереи, близкие к Святейшему Патриарху Тихону, и, после его смерти, к Местоблюстителю Патриаршего Престола Петру (Полянскому), и архипастыри, возглавившие борьбу с обновленчеством в своих епархиях (арестованные как со своей паствой, так и без нее), и отдельные священники-борцы с «обновленной» Церковью.

В Соловецкий лагерь был сослан один из самых известных борцов с обновленцами, ближайший помощник Святейшего Патриарха Тихона священномуче-

⁶ Чехранов П., свящ. Две тюремные Пасхи // URL: <http://www.pravmir.ru/tyuremnaya-pasxa/>

⁷ Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на РПЦ в XX в. : [База данных]. URL: http://kuz3.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans

ник Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский, организатор и руководитель этой борьбы в 1923 г. Трудно переоценить его роль в преодолении церковного раскола: архиепископ договаривался с приходами об их присоединении к Патриарху, разработал чин покаяния для бывших обновленцев и принял десятки из них⁸. Владыка Иларион составлял воззвания к верующим, он как представитель Патриаршей Церкви участвовал в переговорах с обновленцами и Е. А. Тучковым (возглавлявшим «церковный» отдел ГПУ), неоднократно выступал в Политехническом музее с яркими обличительными речами. Выступления высокопреосвященного Илариона неизменно заканчивались аплодисментами всего зала. После дебатов с одним из лидеров обновленцев Александром Введенским, закончившихся сокрушительным поражением последнего, владыка Иларион был арестован⁹. Арест произошел 15 ноября 1923 г. 7 декабря комиссия НКВД по административным высылкам приговорила архиепископа к трем годам заключения на Соловках¹⁰.

В ноябре 1925 г. была арестована группа архиереев — соратников Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Петра (Полянского). После кончины Патриарха Тихона 59 архиереев, ознакомившись с завещанием Святейшего, подписали заключение о вступлении митрополита Петра в должность патриаршего Местоблюстителя. Недолгое управление Церковью митрополитом Петром отмечено его непримиримой борьбой с обновленцами. Митрополит ответил категорическим отказом на предложение обновленцев вступить с ними в переговоры. В своем послании Церкви от 28 июля 1925 г. он предостерегал православных от каких бы то ни было переговоров с обновленцами. На предложение властей об обязательной регистрации в органах власти общины, священнослужителей он ответил решительным отказом, так как считал это недопустимым вмешательством во внутренние дела Церкви¹¹.

Антиобновленческая политика митрополита Петра нашла широкую поддержку у «тихоновских» епископов. В то время более пятидесяти епархиальных архиереев, смещенных со своих кафедр, находились в Москве. Часть из них нашла приют в Даниловом монастыре. Митрополит Петр неоднократно посещал монастырь, где совершал богослужения и советовался с епископами по основным вопросам церковной жизни. Собрание епископов-даниловцев негласно называли «Даниловским Синодом», который был разгромлен в конце 1925 г. В течение ноября в монастыре по «Делу митрополита Петра (Полянского)» было арестовано

⁸ Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 2010. С. 101.

⁹ Там же. С. 182.

¹⁰ Соловецкие новомученики / Сост. иг. Дамаскин (Орловский). Соловецкий монастырь, 2009. С. 389.

¹¹ Шкаровский М. В. Указ. соч. С. 112–113.

девятнадцать епископов¹², двое из них: Прокопий (Титов), архиепископ Херсонский и Амвросий (Полянский), епископ Каменец-Подольский по окончании следствия были приговорены к трем годам заключения в Соловецких лагерях¹³. К «даниловской» группе примыкал и епископ Петропавловский, викарий Омской епархии Григорий (Козырев), который отбывал срок наказания в Соловецком лагере в 1925–1926 гг.¹⁴ Сам митрополит Петр был арестован 10 декабря.

За успешную борьбу с обновленчеством в конце 1923 г. были арестованы и отправлены на Соловки епископ Вольский, викарий Саратовской епархии Петр (Соколов)¹⁵, и Иоаким Благовидов, епископ Алатырский, викарий Симбирской епархии¹⁶.

Непримиримыми борцами с обновленцами были и архиереи Тульской епархии. Двое из них отбывали наказание в Соловецком лагере. В 1922 г. был арестован Иувеналий (Масловский), епископ Тульский¹⁷. Ко времени ареста у него было два викария: епископ Белецкий Игнатий (Садковский) и епископ Елифанский Виталий (Введенский). В июне 1922 г. духовенство Тулы избрало на местную кафедру епископа Виталия, который сразу же перешел к обновленцам. Епископ Игнатий вынужден был уехать в город Белев, откуда и проводил борьбу с обновленцами. Он организовывал собрания духовенства, разъясняя суть «обновленной» церкви и призывал не подчиняться епархиальному управлению. После его выступления на съезде духовенства 16 сентября 1922 г. была принята резолюция, в которой обновленческое движение признавалось еретическим. Епископ Игнатий обращался к пастырям и мирянам с посланиями, в которых разъяснял, что «Живая церковь» откололась от Единого Церковного Тела, напоминал о посланиях апостола Павла, в которых тот заповедовал верующим твердо «стоять и держать предания», которым они научились от святых апостолов (2 Сол 2. 15). Воззвание было разослано по всей епархии. 31 октября президиум обновленческого ВЦУ принял решение об увольнении епископа Игнатия на покой. После того, как об этом стало известно верующим Белева, они обратились к владыке с письменной просьбой не уезжать из города, аргументируя свою просьбу тем, что паства в это трудное время особенно нуждается в его пастырском руководстве и «боится без бдительного ока впасть в какой-нибудь раскол или ересь». На собрании общины это послание, которое подписали сотни верующих, епи-

¹² Марченко В. Новомученики и исповедники Даниловские. М., 2011. С. 44–47.

¹³ Соловецкие новомученики. С. 329.

¹⁴ Православная энциклопедия. URL: <http://www.pravenc.ru/text/166664.html>

¹⁵ Официальный сайт Воронежской епархии. URL: http://www.vob.ru/eparchia/history/ierarxija/33_petr_II/petr.htm

¹⁶ ГА РФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 7. С. 118.

¹⁷ Однако епископ Иувеналий вскоре был освобожден. В 1923 г. он был назначен архиепископом Курским и Обоянским, арестован и сослан в Соловецкий лагерь.

скопу зачитал его брат иеромонах Георгий, наместник Спасо-Преображенского монастыря. Епископ согласился взять общину под свое руководство. Прошение об оставлении епископа Игнатия было послано в Белевский уездный исполком. Однако в январе 1923 г. епископ Игнатий и его брат были арестованы, и 24 августа 1923 г. комиссия НКВД по административным высылкам приняла решение о заключении их на три года в Соловецкий концлагерь¹⁸.

В Соловецких лагерях находилось несколько больших групп священнослужителей, арестованных за борьбу с обновленчеством в своих епархиях.

Одна из самых представительных групп прибыла в Соловецкий лагерь летом 1926 г. Все ее члены были арестованы в Рязани по делу «о нелегальном к/р сообществе под руководством архиепископа Бориса (Соколова) и епископа Глеба (Покровского)». Архиепископ Борис (Соколов) был назначен на Рязанскую кафедру в 1923 г. К этому времени решением губернской исполнительной власти была прекращена деятельность Рязанской духовной консистории, большинство храмов епархии захватили обновленцы. Архиепископ сразу повел решительную борьбу с ними. Одним из первых его шагов стало упразднение епархиального обновленческого совета и создание епархиальной канцелярии, через которую он осуществлял руководство епархией. Владыка Борис вел активную переписку со священниками епархии, неоднократно обращался к пастве с воззваниями. Со временем из таких документов стали составляться целые сборники, получившие название «Циркуляры». Властями появление сборников было расценено как нелегальное издание религиозного журнала. За издание и распространение «Циркуляров» в течение октября 1925 г. были арестованы самые деятельные и уважаемые представители «тихоновского» духовенства епархии, активно боровшиеся с обновленцами: архиепископ Рязанский и Зарайский Борис (Соколов), викарий Рязанской епархии епископ Глеб (Покровский), протоиереи Павел Добромыслов, Владимир Слободский, Димитрий Эвергетов, Александр Климентовский и его двоюродный брат иерей Евгений Климентовский. Все они, кроме правящего епископа, были сосланы в Соловецкий лагерь. Арестом был нанесен сокрушительный удар по Православию на Рязанщине¹⁹.

За сопротивление обновленчеству была сослана на Соловки и большая тверская группа священников. Причина ареста тверичей была следующей: 26 января 1923 г. 90 представителей духовенства и мирян, собравшихся со всего Кимрского уезда, активно обсуждали отношение к «Живой церкви», приверженцы которой активно действовали в епархии. Собрание приняло следующую

¹⁸ Соловецкие новомученики. С. 85–95.

¹⁹ Были верны до смерти. Книга памяти новомучеников и исповедников Рязанских XX века. Рязань, 2002. Т.1. С. 100–111.

резолюцию: «В многочисленных голосах представителей уезда... звучало одно твердое убеждение, что наша Православная Церковь есть хранительница истины Христовой в лице тех праведников, которые, как солнце, зажигают своим благодатным светом... простые сердца верующих, внушая свято сохранять... в чистоте и неповрежденности православную апостольскую святоотеческую веру. А потому и говорить... о необходимости какой-то другой "Живой церкви", внушать верующим, что будто бы нужно переменить свой прежний древлеотеческий взгляд на православие, собрание признало делом совершенно излишним, недопустимым, весьма вредным...» Первого марта того же года за участие в подготовке и проведении собрания были арестованы епископ Осташковский Григорий (Абалымов), временно управлявший Тверской епархией, и с ним протоиереи Макарий Комаров (настоятель Покровского собора в г. Кимры), Александр Молчанов, Арсений Покровский, Арсений Троицкий, Иоанн Преображенский (благочинный 1-го округа Кимрского уезда), иерей Василий Рубцов. 16 мая 1923 г. все они были приговорены к трем годам заключения в концлагере и отбывали свой срок на Соловках²⁰.

В 1924 г. в лагерь прибыла группа борцов с обновленцами из Казанской епархии. 14 июня 1923 г. в Казани были арестованы насельники Иоанно-Предтеченского монастыря игумен Питирим (Крылов), иеромонахи Иоанн (Широков) и Серафим (Шамшев), с ними арестовали и иеромонаха Спасского собора Казанского Кремля Феофана (Еланского). Все они окончили Казанскую духовную академию и были постриженниками митрополита Казанского Кирилла (Смирнова). Ситуация в Казани была в 1923 г. крайне тяжелой, церковную власть в ней полностью захватили обновленцы, верными Православию оставались лишь два приходских храма. Немногочисленную группу непримиримых к обновленчеству клириков и монахов возглавил Иоасаф (Удалов), епископ Чистопольский, викарий Казанской епархии. Вошедшие в эту группу отказались признать ВЦУ и обновленческого епископа Алексия (Баженова) как неканонически поставленного, распространяли по городу антиобновленческие воззвания. Все вышеперечисленные монахи были арестованы. В вину им, кроме распространения антиобновленческих прокламаций, вменялась и связь с сосланным в Усть-Сысольск митрополитом Кириллом, в докладной записке ГПУ они назывались «черносотенной компанией и штабом контрреволюционных шашней, за которым плетется все контрреволюционное духовенство и верующая масса». В защиту иноков встали верующие казанцы, доказательств их вины было собрано ничтожно мало, и вскоре их освободили.

²⁰ Соловецкие новомученики. С. 277–278.

Однако в конце ноября монахи вновь были арестованы и сосланы на три года на Соловки²¹.

Один из казанцев, игумен Питирим (Крылов), заведовал в лагере продуктовым складом, где 7 июня 1926 г. принималась знаменитая «Памятная записка Соловецких епископов, представленная на усмотрение правительства»²².

В конце 1926 г. был арестован один из самых непримиримых борцов с обновленчеством архиепископ Воронежский Петр (Зверев). До этого, будучи епископом Старицким, викарием Тверской епархии, он уже в 1922 г. арестовывался за борьбу с обновленчеством и с апреля 1923 по конец 1924 г. находился в ссылке в Ташкенте. По возвращении, в июле 1925 г., он был послан в Воронеж в помощь 84-летнему митрополиту Владимиру (Шимковичу) и после его смерти 6 января 1926 г. назначен правящим архиереем Воронежской епархии. Многие храмы в Воронеже к этому времени были захвачены обновленцами. У престарелого митрополита Владимира, хотя он и был противником обновленцев, не было сил оказать им значительное сопротивление. Архиепископ Петр сразу снискал всенародную любовь. Воронежцев привлекали и его ревностное совершение богослужений (по афонскому чину: неспешно и без пропусков), и подлинная любовь к пастве. С прихожанами архиерей проводил все свои дни — в церкви и дома, куда к нему непрерывно шли со своими нуждами люди. На службах владыки Петра храмы были полны, и верующим рабочим ввиду огромного стечения народа даже пришлось взять на себя обязанности добровольных блюстителей порядка. Вскоре началось активное возвращение обновленческих храмов в Православие. Чин принятия духовенства совершался с большой торжественностью. Владыка стоял на кафедре, а кающиеся священники с амвона приносили архиерею и всему народу покаяние. Затем кающиеся земно кланялись, и пелась хвалебная песня святого Амвросия Медиоланского «Тебе Бога хвалим». Священники, принесшие покаяние, не сразу допускались к служению, им архиепископ благословлял первое время петь и читать на клиросе. Перед началом богослужений обновленческие храмы заново освящались. Во всех возвращающихся в Православие церквях архиепископа Петра встречали крестным ходом, с хоругвями, при огромном стечении народа. Все это вызывало гнев обновленцев, у которых оставалось все меньше и меньше храмов²³.

28 ноября 1926 г. архиепископ Петр был арестован, вместе с ним арестовали и его келейника, архимандрита Иннокентия (Беду), и нескольких близких ему людей, большей частью рабочих. Архиепископа обвинили в «подъеме церковни-

²¹ Журавский А. В. Во имя правды и достоинства Церкви. М.: Сретенский монастырь, 2004.

²² Польский М., протопресв. Новые мученики Российские. Джорданвилль, 1957. Ч. 2. С. 164–173.

²³ Соловецкие новомученики. С. 44–52.

ческого активизма в (...) губернии», и в том, что его «имя послужило флагом при выступлении воронежских черносотенцев», и даже в том, что не только «церковники, но и прочие граждане города Воронеж» встали на защиту арестованного владыки. 4 апреля 1927 г. Коллегия ОГПУ приговорила архиепископа Петра к 10 годам заключения в Соловецком концлагере, а архимандрит Иннокентий был приговорен к трем годам заключения на Соловках²⁴.

В 1925 г. из северной Вятской епархии за борьбу с обновленчеством на Соловки были сосланы Нектарий (Трезвинский), епископ Яранский, викарий Вятской епархии и его ближайший помощник настоятель Успенского собора г. Яранск протоиерей Сергей Знаменский²⁵.

Из этой же епархии в июне 1925 г. наказание в Соловецком лагере отбывал протоиерей Василий Половников, благочинный г. Уржум. Он активно выступал против обновленчества, был председателем на пастырско-мирянском собрании в Уржуме осенью 1923 г., после которого священники-обновленцы были отстранены от служения в Свято-Троицком соборе²⁶.

Протоиерей Иоанн Ливанов (впоследствии епископ Тарасий) стал лидером Патриаршей церкви в Томске. В «Меморандуме», составленном на него в ОГПУ, говорилось: «С приездом из Москвы с Всероссийского церковного совещания протоиерея Ливанова, Тихоновское движение приобрело в городе Томске крупные размеры. Четыре церковных прихода перешло на сторону Тихона. Ожидается переход еще 4–5 приходов. Томский Епархиальный Совет в панике. Обновленцы имеют мало надежды удержать группы верующих от перехода к тихоновщине». 15 июля 1924 г. протоиерей Иоанн был арестован и осужден к трем годам заключения в Соловецком лагере²⁷.

Известны имена нескольких московских священников — активных борцов с обновленцами, сосланных на Соловки. Среди них протопресвитер Михаил Польский — автор двухтомного труда «Новые мученики Российские», изданного в Джорданвилле в 1949–1957 гг. и ставшего первым по времени собранием материалов о гонениях на Церковь в России в XX в. Отец Михаил был арестован 16 июля 1923 г. за противостояние обновленческому расколу и сплочение к этому прихожан Преображенского (Петропавловского) храма, где он служил. Священник был приговорен к трем годам заключения в лагере²⁸.

²⁴ Там же. С. 52–53.

²⁵ Там же. С. 301–318.

²⁶ Марийская история в лицах. URL: <http://marihistory.ru/index.php/2011-01-01-20-07-54/2171-2012-02-05-20-21-03>

²⁷ Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на РПЦ в XX в.: [База данных]

²⁸ Ианнуарий (Недачин), архим. Соловецкий узник протопресвитер Михаил Польский // Соловецкий сборник. Архангельск. 2014. Вып. 10. С. 161–169.

За отказ присоединиться к обновленцам в марте 1923 г. был уволен и запрещен в священнослужении протоиерей из подмосковного Клина Алексей Воробьев. В конце сентября 1924 г. он был арестован и 27 февраля 1925 г. приговорен к заключению в концлагерь сроком на два года²⁹.

География мест служения священников, сосланных на Соловки по обвинениям в борьбе с обновленцами, позволяет судить о масштабе этой борьбы. В лагерь были сосланы священнослужители епархий центральной России: Московской, Рязанской, Тульской, западной — Тверской, южных — Воронежской, Донской, Саратовской, восточных — Казанской, Симбирской и Томской, северных — Вятской и Вологодской. Несомненно, что список этих епархий далеко не полный. В 1922—1926 гг. на Соловках находились священно- и церковнослужители из 37 епархий: от Владивостока до Каменец-Подольска и от Баку и Ташкента до Архангельска и Вологды. Причины ареста примерно 42 священников (из 126 человек) списка 1926 г. пока не удалось установить, и можно предполагать, что часть из них была сослана на Соловки также за борьбу с обновленцами.

К обновленческому движению на первых порах примкнуло немало архипастырей и пастырей, искренне поверивших, что оно приведет Церковь к подлинным, благотворным для нее изменениям. Поначалу они и не предполагали, кто стоит за реформаторством. Обновленцы доминировали в церковной жизни с лета 1922 до лета 1923 г. К концу 1922 г. они при активной поддержке государства заняли две трети из 30 000 действовавших на то время в стране храмов³⁰.

Толчком к массовому возвращению священнослужителей в Патриаршую Церковь послужил обновленческий «собор», проходивший в Москве в апреле — мае 1923 г., который принял решение о лишении Патриарха Тихона сана и монашества (Святейший в то время находился под домашним арестом). Верующие с негодованием восприняли это решение и начали отходить от обновленчества. 27 июня Святейший был освобожден, и уже 4 июля в «Правде» было опубликовано его заявление о неправомерности «собора». Вскоре Предстоятель составил послание с подробным анализом вины обновленцев перед Церковью³¹. С подобными выступлениями с осуждением обновленческого движения, в которых в числе прочего говорилось о недействительности обновленческих «таинств», Патриарх и его соратники впоследствии выступали неоднократно³².

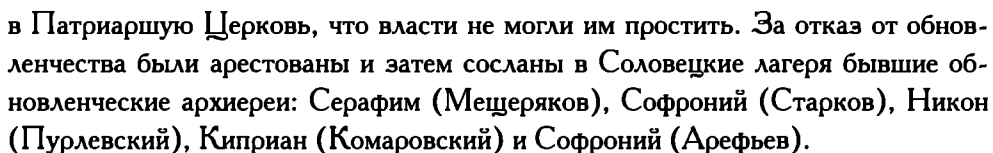
К середине 1923 г. движение обновленцев резко пошло на спад. Сотни священнослужителей, осознав пагубность движения и принеся покаяние, вернулись

²⁹ Православная энциклопедия. URL: <http://www.pravenc.ru/text/64572.html>

³⁰ Шкаровский М. В. Указ. соч. С. 100.

³¹ Там же. С. 101.

³² Русская Православная Церковь XX в. ... С. 178.



Аресту за возвращение в Патриаршую Церковь подверглись и многие рядовые священники. Среди них иерей Михаил Дамаскинский из Петрограда. Он служил в Князь-Владимирском соборе, в июне 1922 г. уклонился в обновленческий раскол. Летом 1923 г., порвав с обновленцами, священник ушел из собора, захваченного «живоцерковниками», и, принеся покаяние, вернулся в Патриаршую Церковь. В апреле 1924 г. Михаил Дамаскинский был арестован и приговорен к заключению в Соловецкий лагерь сроком на два года³³.

Причиной ссылки на Соловки большей части духовенства в рассматриваемый период была их борьба с обновленчеством, однако среди заключенных архипастырей и пастырей этого периода было немало и тех, кто прошел по другим известным церковным делам.

26 сентября 1924 г. Особым Совещанием Коллегии ОГПУ к отбытию наказания в Соловецком концентрационном лагере были приговорены 35 человек — руководителей и участников православных братств в Петрограде³⁴.

Годы гонений на Церковь стали временем, когда множество людей приходило к вере, и по всей стране стали создаваться православные союзы, братства, приходские комитеты. Деятельность этих организаций способствовала укреплению веры и сплочению верующих перед лицом яростных антицерковных гонений. Только в Петрограде возникло более 20 братств. Они занимались активной миссионерской, просветительской и благотворительной деятельностью. Братства представляли собой реальную церковную силу, и их уничтожение, по замыслу властей, должно было ослабить Церковь и укрепить позиции обновленцев. Разгром братств начался летом 1922 г., когда был арестован 31 братчик. Однако братства продолжали действовать, но уже полулегально. ОГПУ пришлось нанести еще один сокрушительный удар, чтобы пресечь их деятельность. Массовые аресты членов братств прошли 3 февраля 1924 г.

В числе сосланных на Соловки по делу о Православных братствах были епископ Лужский Мануил (Лемешевский), руководитель Введенского братства епископ Колпинский Серафим (Протопопов), руководитель Спасского братства, насельник Александро-Невской лавры, благочинный монастырей и подворий Петроградской епархии архимандрит Макарий (Воскресенский),

³³ Санкт-Петербургский мартиролог. СПб., 2002. С. 93–94.

³⁴ Антонов В. В. Приходские православные братства в Петрограде (1920-е гг.) // Минувшее. М.; СПб., 1993. Вып. 15. С. 424–445.

архимандрит Николай (Муравьев-Уральский), настоятель подворья Киево-Печерской лавры в Петрограде архимандрит Трифилий (Смага), иеромонах Александр (Толстомятов), доктор богословия и член Консистории протоиерей Василий Прозоров, руководитель Симеоновского братства протоиерей Николай Вертоградский, настоятель церкви в Гавани протоиерей Феодор Филоненко, протоиереи Александр Сахаров и Николай Либин (впоследствии епископ Амвросий) руководитель Екатеринбургского братства иерей Михаил Яворский, члены Вознесенского братства иерей Иоанн Стеблин-Каменский и Иоанн Чоккой.

Вместе со священниками были сосланы и прихожане: чтец Николай Киселев, Андрей Лемешевский (брат епископа Мануила), прихожанки храма преподобного Сергия Радонежского мученица Анна Лыкошина и Наталья Фредерикс. Пребыванию в лагере баронессы Фредерикс Борис Ширяев посвятил в «Неугасимой лампаде» отдельную главу «Фрейлина трех императриц»³⁵.

За составление списка епископата в декабре 1924 г. были арестованы профессор Московской Духовной академии, участник Поместного Собора 1917–1918 гг. мученик Иван Васильевич Попов и его ученик и помощник преподобномученик Серафим, тогда еще мирянин — Антоний Максимович Тьевар. Список составлялся по благословению Святейшего Патриарха Тихона и включал в себя как православных архиереев, так и обновленческих, кроме того, в нем были указаны те, кто к тому времени оказался в ссылках и лагерях и, следовательно, не мог занять ту или иную пустующую кафедру. Помимо этого Попов и Тьевар собирали сведения и богословские суждения об имябожниках. На Поместном соборе вопрос, связанный с почитанием имени Божия, не был разрешен, и Патриарх Тихон ожидал, что он будет вынесен на ожидавшийся весной 1925 г. VIII Вселенский Собор. Следствие по их делу завершилось в мае 1925 г., арестованным было предъявлено обвинение «в сношениях с представителями иностранных государств с целью вызова со стороны последних интервенции по отношению к советской власти, для каковой цели Поповым давалась последним явно ложная и неправильная информация о гонениях ... Церкви и епископата». 19 июня 1925 г. Особое Совецание при Коллегии ОГПУ приговорило Ивана Васильевича Попова и Антония Тьевара к трем годам заключения, и они были отправлены в Соловецкий лагерь³⁶.

За составление списков архиереев был арестован и иподиакон архиепископа Илариона (Троицкого) Николай Борисович Кирьянов. При его аресте 10 декабря 1924 г. было обнаружено несколько вариантов списка епископата на ав-

³⁵ Ширяев Б. Н. Неугасимая лампада // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2013. Т. 1. С. 300–310.

³⁶ Соловецкие новомученики. С. 61–69, 319–321.

густ 1924 г., на одном из которых имелась правка самого Святейшего Патриарха Тихона. Николай Кирьянов был обвинен в том, что собирал сведения о репрессиях церковников для распространения в церковной среде и осужден на три года заключения в лагерях. На Соловках он был келейником владыки Илариона³⁷.

В 1925 г. по «Делу лицеистов» в Соловецкий лагерь вместе с несколькими выпускниками Императорского Александровского лицея был сослан настоятель Университетской церкви Всех святых в Ленинграде протоиерей Владимир Лозина-Лозинский. Дело лицеистов — это сфабрикованное органами ОГПУ дело по обвинению группы выпускников Александровского лицея в создании контрреволюционной монархической организации. В вину им вменялись существование кассы взаимопомощи, ежегодные традиционные встречи в Лицейский день — 19 октября, панихиды в церквях Ленинграда по погибшим и умершим лицеистам, на которых поминались также и члены императорской семьи. По этому делу в ночь на 15 февраля 1925 г. были арестованы 150 человек, из них по окончании следствия 26 человек расстреляны, 54 — приговорены к разным срокам ссылки и заключения. Протоиерей Лозина-Лозинский был приговорен к пяти годам лагерей³⁸. В его обвинении говорилось, что он «открыто служил панихиды по бывшим царям, в том числе по расстрелянному Николаю Второму, также служил панихиды по расстрелянным и умершим при советской власти, чем вносил возбуждение в темные массы, посещающие церковь». Вместе со священником свой срок на Соловках отбывали бывший председатель Совета Министров князь Николай Голицын, родственники директора лицея Владимира Александровича Шильдера — Анна, Карл и Александр Шильдеры, Александр Сиверс, Наталия Путилова и другие³⁹.

За «контрреволюционную (антисоветскую) агитацию» на Соловки были сосланы игумен Иоасаф (Берснев) из Екатеринодара⁴⁰, священники Николай Соколов из Сольвычегодска⁴¹, Евгений Охотин из Архангельска⁴², Евгений Маракулин из Вятки и многие другие.

В середине 1920-х гг. на островах в заключении находился настоятель кафедрального собора в г. Тобольске, протоиерей Владимир Хлынов. Во время нахождения царской семьи в заключении он совершал службы для царской семьи и был духовником Их Величеств⁴³.

³⁷ Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на РПЦ в XX в. : [База данных]

³⁸ Шильдер Е. Жертвы репрессий Шильдеры. М., 2011. С. 80–81.

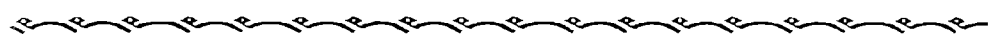
³⁹ Сошина А. А. Указ. соч. С. 188.

⁴⁰ За веру Христову. Духовенство, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918–1951). Архангельск. 2006. С. 204.

⁴¹ Там же. С. 520.

⁴² Там же. С. 391.

⁴³ Мученики, исповедники, подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия / Сост. иг. Дамаскин (Орловский). Тверь. 2002. Кн. 2. С. 192.



Соловецкие лагеря были для заключенного духовенства своего рода школой. Находясь бок о бок с выдающимися пастырями, светочами веры и благочестия, такими, как Иларион (Троицкий), Евгений (Зернов), Петр (Зверев) и многими другими, священники набирались духовного и пастырского опыта, получали тот заряд стойкости в вере, который был так необходим им затем на свободе в условиях жесточайших гонений. Немало бывших соловецких узников впоследствии также стали архиереями и возглавили борьбу с безбожной властью в своих епархиях или, оставаясь приходскими священниками или насельниками монастырей, продолжили свой подвиг исповедничества. О непримиримости, искренности и стойкости подвижников свидетельствуют многочисленные аресты и мученическая кончина большинства из них.

В 1923–1927 гг. основной причиной ссылки духовенства на Соловки была их борьба с обновленчеством. С 1928 г. в лагерь начинают прибывать священнослужители и миряне — противники программного документа Церкви «Послания к пастырям и пастве» (так называемой Декларации митрополита Сергия (Страгородского) 1927 г.). Духовенство в лагере, как и по всей стране, разделяется на «сергиан» и непоминающих. В истории ссылки духовенства в Соловецкий лагерь начинается новый период.

Е. А. Певак

**ВЗГЛЯДЫ МАКСИМА ГОРЬКОГО
НА СОЛОВЕЦКИЙ ЛАГЕРЬ
В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙНЫХ ИСКАНИЙ ПИСАТЕЛЯ**

Очерк М. Горького «Соловки» вошел в цикл, публиковавшийся в журнале «Наши достижения» в 1929 г. с января по декабрь под общим заголовком «По стране Советов». Достаточно одной фразы, изъятой из очерка, чтобы можно было без труда подвергнуть Горького остракизму: «Мне кажется — вывод ясен: необходимы такие лагеря, как Соловки...» Вопрос в том, что стоит за этой фразой?

Анализируя материалы, посвященные приезду Горького на Соловки, можно выделить два основных массива: резко отрицательные характеристики, в основе которых тотальное неприятие фигуры Горького, и писателя, и общественного деятеля, — и характеристики оправдательные, где, опираясь на нестыковки в хронологии, отсутствие документальных источников, подтверждающих «мифологию» о «палаче» Горьком, авторы опровергают тезисы своих идейных противников.

Нам же представляется, что для выстраивания объективной картины вокруг проблемы «Горький на Соловках» полезно будет выйти за пределы локальных идеологических споров и взглянуть на фигуру писателя в более широком временном и идеологическом контексте, вспомнив, что история идейных исканий Горького началась задолго до того момента, как власть в России оказалась в руках большевиков.

Значительно проще было самоопределяться в эти годы тем, у кого за плечами не было, по крайней мере, десятилетнего периода активной борьбы с представителями лагеря «идеалистов» («декадентами», «третьезаветниками», «покинувшими» марксизм и разрабатывающими религиозно ориентированные концепции философов), с одной стороны, с другой — полемики на стороне русских махистов с политически родственными и философски чуждыми эсдеками-большевиками, придерживающимися ортодоксальной философской доктрины — материалистической, и не менее острых споров с эсдеками-меньшевиками по тем же философским вопросам.

Чтобы понять, как формировались и во что в конечном итоге сложились взгляды Горького, надо хорошо представлять, что вообще происходило в это

время в России, и только в этом случае можно увидеть не лицемерную, а трагическую фигуру, вобравшую в себя все антиномии эпохи, для которой характерен был феномен так называемых «двоящихся» личностей.

Какого бы аспекта гуманитарных исканий тех лет мы ни коснулись, всюду наталкиваемся на эту самую «двоякость», можно сказать — и двуликость, и даже многоликость. Но продиктована она была не субъективными, а, скорее, объективными обстоятельствами. Был период — условно говоря, самый рубеж XIX—XX вв., — когда в одном большом общем котле варилась та смесь идей и идеалов, из которой в дальнейшем потянулись нити в чем-то по-прежнему родственных, а в чем-то далеко разошедшихся тенденций. Если частично спроецировать эту ситуацию рубежа веков на творческую судьбу Горького, можно вспомнить, например, так называемый миф о ницшеанстве писателя, его «связь» с декадентским «Северным вестником». Даже с позиции читателя 1910-х гг. этот факт биографии Горького допустимо было трактовать или как измену самому себе, или же как конъюнктурный выбор в начале пути той модели творчества, которая обещала стать трендовой на ближайшее десятилетие. Но ведь не исключено и другое предположение: были определенные аспекты в философии Ницше, созвучные тем представлениям о человеке и мире, которые формировались в сознании Горького. И надо сказать, что до конца жизни гимн сильной личности остался одной из ключевых составляющих его творчества, равно как и неприятие тех форм бытия, которые существенно снижали возможности полномасштабной реализации человеческих возможностей, — по мысли Горького, практически безграничных.

В то же время, обратившись для более внимательного прочтения хотя бы к хрестоматийной «Старухе Изергиль», мы обнаружим в этом рассказе писателя оригинальное преломление и попытку собственной трактовки как индивидуализма, так и коллективизма, или общинного сознания — как кому больше нравится. В рассказе достаточно отчетливо прозвучала мысль о гибельности индивидуализма, оборачивающегося слабостью в тот миг, когда человек в порыве самоутверждения уничтожает себе подобных. Но опубликованный тремя годами позже рассказ Горького «Варенька Олесова» (1898) снова вызвал шквал обвинений писателя в поклонении философии Ницше.

В случае с «Варенькой Олесовой» нелегко определить, певцом ли природных инстинктов, не отягощенных культурными влияниями, выступает писатель или иронизирует над детьми природы, а заодно и над теми, кто мнит себя светочем культуры и прогресса. «Старуха Изергиль» отличается большей ясностью: сама композиция рассказа словно бы подводит нас к мысли, что альтруист Данко пере-

черкнул своим подвигом Ларру, вечно живущего под «невидимым покровом высшей кары». Но если внимательно вчитаться в текст первой легенды, обращает на себя внимание сдержанная характеристика старцев, вершащих суд над Ларрой. Жизненная позиция героя-индивидуалиста для них неприемлема, так как вступает в противоречие с интересами рода. Однако Горький в 1890-е гг. вряд ли был солидарен с этой — «старческой» — точкой зрения. Сама по себе мысль о противостоянии личности коллективу в то время не казалась ему абсурдной. Своеобразную расшифровку тех идей, которые представлены в рассказе «Старуха Изергиль» не в окончательно разработанном виде, можно обнаружить в статье Горького «Разрушение личности», опубликованной в сборнике «Очерки философии коллективизма» (1909). Исследуя процесс распада личности, писатель вычленил несколько этапов, в том числе и тот, когда обособление индивидуума способствовало развитию личности, которая подпитывалась творческой энергией коллектива и сама питала его новыми идеями. Но чем больше становился разрыв между личностью и коллективом, тем большему разрушению подвергалась личность.

В «Старухе Изергиль» запечатлена та фаза взаимоотношений между «героем и толпой», когда стремление к обновлению жизни сконцентрировано в «герое», а «толпа» — вольно или невольно — препятствует его желанию преобразить мир. Потому и в завершающей рассказ легенде о Данко коллектив — «толпа» — готов в трудную минуту уничтожить ведущего его к свету героя. Отчасти «оправдывает» слепую ярость толпы тот идеологический и нравственный тупик, в котором она оказалась, представленный в символическом пейзаже, на фоне которого происходит психологический поединок героя и толпы.

Бессилие, рождающее злобу и гнев, подталкивает ослепленных ненавистью людей к бунту против вождя, дерзнувшего повести их за собой — к свободе и свету. Очарованные «чудесным зрелищем горящего сердца», однако по-прежнему не поднявшиеся над миром — к высотам духа, люди храбро следуют за ним, — но это чужая, заемная храбрость, источник ее — герой, Данко. Он питает смелостью слабые души, которым не дано совершить свой подвиг.

Рассмотрев под таким углом зрения горьковский рассказ, нельзя не прийти к выводу, что простое противопоставление индивидуалисту Ларре — отрицательно-му герою альтруиста Данко — положительного героя слишком уж упрощает замысел автора, и в раннем творчестве склонного к созданию многополярных схем, чему Горький учился у Ф. М. Достоевского, с которым его связывали непростые творческие «отношения», своего рода дружба-вражда.

Исповедуемый писателем индивидуализм корректировался ницшеанской же ссылкой на то, что современному человеку рано примерять на себя латы индиви-

дуализма, а любовь к дальнему предполагает не одно лишь презрение к ближне-му, но ряд важных требований, предъявляемых тем, кто хотел бы достигнуть индивидуалистических высот. А рядом оказывался радикально чуждый идеологии нищезанятия тезис о взаимодействии героя с толпой, предполагающий акт самопожертвования героя во имя высвобождения толпы из мрака заблуждений, — в духе традиций рубежа веков, с апеллированием к христианской жертвенной модели.

Значит, точно так же, как в русской общественной мысли в целом нищезанятие необъяснимым, по крайней мере для европейца, образом вступило в творческий диалог с религиозно-философскими доктринами, выросшими на почве декадентских настроений и разочарования в марксизме как чисто экономической теории, — в мировоззрении Горького идея индивидуализма срослась с тезисом о пользе коллективизма, и в основе этого синтеза христианская же, по существу своему, — религиозная — идея. И здесь самое время вспомнить о тесной связи писателя с русскими эмпириокритиками — махистами.

В России фундаментальные произведения основоположников эмпириокритицизма были известны в переводах на русский язык, что, конечно же, способствовало широкому распространению этих идей. Отдельными изданиями выходили работы Р. Авенариуса¹, Э. Маха². Печатались их сочинения в различных русских журналах, наряду с исследованиями близких им по духу философов: В. Вундта, А. Рия, А. Шпира, Фр. Карстаньена. Устраивались также публичные заседания, посвященные Э. Маху и Р. Авенариусу, — в Московском психологическом обществе, в Петербургском философском обществе.

Крайне заинтересовал эмпириокритицизм А. В. Луначарского. В 1895—1896 гг. он прослушал в Цюрихе курс Р. Авенариуса по психологии и принял участие в двух его семинарах — по философии и биопсихологии. Вернувшись в Россию, Луначарский продолжил изучение и популяризацию эмпириокритицизма в противовес распространяющемуся среди легальных марксистов идеализму и вступил в спор с авторами сборника «Проблемы идеализма»³. Ожесточенная полемика по вопросам философии развернулась в 1902—1904 гг. между русскими марксистами, отбывавшими ссылку в Вологде, в числе которых оказались А. Богданов, Б. Савинков, А. Ремизов, Н. Бердяев, А. Луначарский и др. Находясь в вологодской ссылке, Луначарский подготовил книги «Р. Авенариус. Критика чисто-

¹ Философия как мышление о мире сообразно принципу наименьшей меры сил. СПб., 1898; Человеческое понятие о мире. СПб., 1901 — обе под редакцией М. Филиппова. Статьи русских последователей эмпириокритицизма публиковались в издаваемом М. Филипповым журнале «Научное обозрение».

² Современные взгляды на энергию. СПб., 1901; Популярно-научные очерки. 1901.

³ Луначарский А. В. Проблемы идеализма с точки зрения критического реализма // Образование. 1903. Кн. 2.

го опыта в популярном изложении А. Луначарского» (1905), «Очерки критические и полемические» (1905), опубликовал ряд статей.

Критика идеалистически настроенных легальных марксистов содержалась в статьях и рецензиях А. Богданова. В начале века он поместил несколько статей («Что такое идеализм?», «Авторитарное мышление», «О проблемах идеализма», «Философский кошмар» и др.) в журнале «Образование», свидетельствующих об увлечении автора идеями эмпириокритицизма; в 1904 г. издал книгу «Из психологии общества», в основе которой доклады, сделанные им во время вологодской ссылки. В это же время он написал первую часть своего основного философского труда — «Эмпириомонизм».

Сторонники Э. Маха и Р. Авенариуса не считали, что разработанная этими философами концепция в своих выводах противоречит идеям исторического материализма. А. Луначарский был уверен в том, что идеи социал-демократии можно рассматривать как «материал» для создания новой религии, что поможет привлечь к марксизму широкие слои населения, а эмпириокритицизм, по его мнению, самая подходящая основа для создания такого рода религии. В статье «Будущее религии» он писал: «...Что же значит иметь религию? Это значит — уметь мыслить и чувствовать мир таким образом, чтобы противоречия законов жизни и законов природы разрешались для нас. Научный социализм разрешает эти противоречия, выставляя идею победы жизни, покорения стихий разуму путем познания и труда, науки и техники». Сущностью же создаваемой религии Луначарский считал «надежду».

М. Горький увлекся «новой философией» и всячески способствовал опубликованию работы А. Богданова «Приключения одной философской школы» в «Знании». Он же рекомендовал К. П. Пятницкому, директору-распорядителю книгоиздательского товарищества, печатать отредактированный А. Богдановым перевод доклада немецкого физиолога М. Ферворна, близкого к махизму.

Успехи эмпириокритицизма в России заставили марксистов-ортодоксов обратить серьезное внимание на набирающую силы новую философскую школу. С критикой новых идей выступил Г. В. Плеханов, которого приветствовали В. И. Ленин и его соратники, однако социал-демократы — «махисты» и им сочувствующие скептически оценили работы Плеханова. «Плеханов иссяк совершенно, — писал М. Горький Е. П. Пешковой летом 1908 г., — о чем с трагической ясностью свидетельствует его последняя статья против Богданова. Какое бессилие ума и какой позорный недостаток знаний! Злобно, не корректно, не умно. Мудрый человек должен умереть вовремя».

К 1908 г. школа русского эмпириокритицизма оформилась и имела представителей в разных партиях и разных партийных фракциях. Идеи новой филосо-

фии распространились, в частности, среди эсеров. В 1907 г. один из теоретиков этой партии, В. Чернов, опубликовал «Философские и социологические этюды», проникнутые идеями Р. Авенариуса и Э. Маха. Склонялся к махизму и кое-кто из меньшевиков. В 1908 г. В. Валентинов издал две большие работы: «Э. Мах и марксизм» и «Философские построения марксизма». Махизм проповедовали в своих статьях меньшевики П. Юшкевич и Н. Рожков.

Когда в 1908 г. в Петербурге вышел сборник «Очерки по философии марксизма», своеобразный манифест, это были уже не разрозненные выступления, а мощный прямой выпад представителей новой школы против диалектического материализма. Расценивая сборник как «настоящий поход против философии марксизма», В. Ленин писал: «“Очерки по философии марксизма”... представляют из себя необыкновенно сильно действующий букет именно в силу коллективного характера книги... Частные разногласия... стираются самым фактом коллективного выступления против (а не “по”) философии марксизма, и реакционные черты махизма, как течения, становятся очевидными».

Книга эта значительно обострила противоречия в среде большевиков по вопросам философии, и В. Ленин принял решение начать войну с «товарищами по партии и оппонентами по философии», тем более что попытка примирить В. Ленина с махистами, предпринятая М. Горьким во время посещения Лениным Капри в 1908 г., была неудачной. А. Богданов, В. Базаров, А. Луначарский отказались от предложения В. Ленина вместе разрабатывать «большевистскую историю революции», и он начал работу над «Материализмом и эмпириокритицизмом», вызвавшим массу критических отзывов. Сокрушительной критике «Материализм и эмпириокритицизм» подвергся в статьях А. Богданова, В. Базарова, П. Юшкевича.

Сам В. Ленин после публикации «Материализма и эмпириокритицизма» не вступал в специальную философскую полемику с противниками, хотя они пытались продолжить спор. Ленин и его сторонники бойкотировали рефераты, с которыми выступал А. Богданов, вызывая на поединок и автора книги, и Г. Плеханова, и пр. Однако вышло еще несколько работ с критикой эмпириокритицизма, а в 1909 г. — подготовленный меньшевиками сборник («На рубеже»), в котором авторы статей предприняли попытку анализа сформировавшейся в среде социал-демократов философской школы.

Подробный анализ неидеалистического течения в русской мысли представлен в опубликованной в сборнике статье Л. Ортодокс «Два течения». Сначала она подробно остановилась на теоретических воззрениях русских «легальных марксистов», исследовав эволюцию их взглядов, окончательно определивших-

ся к моменту публикации «Проблем идеализма», и увидела сходство легальных марксистов с эмпириокритиками, с той лишь разницей, что первые соединили в своем учении трансцендентальное сознание с материалистическим объяснением истории, а вторые — Маха и Авенариуса с Марксом.

Анализируя эмпириокритицизм, Л. Ортодокс обратилась к сборнику русских махистов «Очерки реалистического мировоззрения». Будучи столь же эклектичным, утверждала она, как и мировоззрение легальных марксистов, эмпириокритицизм включил в себя элементы субъективного идеализма, некоторые решающие положения из объективного идеализма и даже материализма. Л. Ортодокс выделила следующие характерные черты этого направления, которое представлялось ей абстрактной, неподвижной метафизической догмой: безграничный субъективный произвол или импрессионизм (в трактовке А. Рилье); устранение из научного опыта реального предмета; выключение из научного воззрения на природу понятия действия; признание метода чистого описания; отрицание понятия необходимости и некоторые др.

Размышляя о причинах, которые побудили писателей большевистского направления примкнуть к эмпириокритикам, она пришла к выводу, что существует родство между большевизмом и махизмом. Обосновывая свою мысль, Л. Ортодокс проанализировала «теоретическую сущность большевистского направления» и вернулась к вопросу о разногласиях между большевиками и меньшевиками, утверждая, что корень их — в проблеме соотношения стихийности и сознательности в революционном процессе. По мнению большевиков (их взгляды представлены в работе В. Ленина «Что делать?..»), социалистическое учение привносится в рабочую среду извне, так как оно является результатом развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции. Значит, большевики возрождают учение о решающей роли личности в историческом процессе, не думая о том, что естественное и неизбежное развитие уровня сознания рабочей массы лишает личность точки опоры. Нежелание видеть внутренние процессы развития, происходящие в пролетарской среде, влечет за собой догматическое неприятие и абсолютную непримиримость с оппозиционными элементами. То же самое — на метафизическом уровне — происходит в теории Маха — Авенариуса, исключившей из опыта понятие о внутренних процессах развития.

В том, что касается решающей роли личности в историческом процессе, характеристика Ортодокс, в целом, верна. Но предпосылкой такого вывода у махистов было не игнорирование развития сознания в массах, а свое понимание этого процесса, которым они намеревались управлять, основываясь на своем анализе «механики» взаимодействия коллективного и индивидуального. Претензии же

Ортодокс, касающиеся исключения понятия действия из принципа научного воззрения на природу, на самом деле, противоречат установке активного воздействия на природу — главному условию прогресса человечества, с точки зрения эсдеков-махистов и Горького. Такая его позиция объясняет позитивное отношение к строительству промышленности нового типа, чем активно занялись Советы в конце 1920-х — начале 1930-х гг. Пафос созидания был чрезвычайно привлекателен для писателя. В «Несвоевременных мыслях» он выступал с резкой критикой большевиков, в частности, и потому, что, увлеченные классовой борьбой, они преступно пренебрегали главной своей обязанностью — создавать новые формы бытия, опираясь на достижения науки и техники. А для того чтобы эти достижения были, убеждал Горький, необходима мощная государственная поддержка ученых и тех, кто практически реализует результаты их деятельности, — технической интеллигенции. В этом, а не в идеологии мировой революции, по его мысли, заключалась привлекательность создаваемой в советской России модели действительности, потому так важен был для него, к примеру, проект издания иллюстрированного ежемесячного журнала «Наши достижения» (1929–1937). Можно предположить, что неудавшаяся миссия примирителя, предпринятая Горьким на Капри, была продолжена им через десять лет, и двигало им не стремление «извлечь выгоду», а искренняя вера в то, что, объединив усилия и отказавшись от крайностей в своих представлениях о том, как должна действовать новая власть, эсдеки-большевики смогут реализовать план глобального переустройства России. Тем более что от откровенного террора им пришлось постепенно отказываться, переходя к другим формам, более «цивилизованным», подавления протеста.

Горький не мог не дать позитивной оценки стремлению обуздать анархию, грозившую гибелью всей русской культуре, когда постепенно сошла на нет вера в революцию «планетарного масштаба» и на очереди оказалась задача практически-приземленная: как выжить во враждебном окружении? Ясно было, что без заводов и фабрик, без науки, без университетов эту задачу не решить. И то, о чем когда-то мечтали Горький и его единомышленники, как будто начинало воплощаться в жизнь. Надо ли было начинать спор о том, как достигнуть желаемого?

Когда мы предъявляем претензии писателю, поддержавшему власть, варварскими методами создававшую новую, модернизированную Россию, мы невольно упускаем из виду накал жесткости и обесценивание человеческой жизни, продемонстрированные правительствами всех без исключения стран в ту трагическую эпоху. В очерке «В. И. Ленин», вспоминая о времени острых разногласий

с Лениным, отраженных в цикле статей «Несвоевременные мысли», Горький именно в этом видел одну из причин жестокости новой власти в России, вынужденной действовать в ситуации всеобщего озверения: «...надо принять во внимание, что с развитием “цивилизации” — ценность человеческой жизни явно понижается, о чем неоспоримо свидетельствует развитие в современной Европе техники истребления людей и вкуса к этому делу.

Но скажите голосом совести: насколько уместно и не слишком ли отвратительно лицемерие тех “моралистов”, которые говорят о кровожадности русской революции, после того как они, в течение четырех лет позорной общеевропейской бойни, не только не жалели миллионы истребляемых людей, но всячески разжигали “до полной победы” эту мерзкую войну?»

С точки зрения нас, ныне живущих, ни те, ни другие преступления оправданий иметь не могут, но у нас с современниками Горького разные точки отсчета, как и разный «набор» претензий к дореволюционной, старой России. Для Горького старая Россия, преимущественно крестьянская по своему социальному составу, неспособна была осуществить технологический рывок, — а в горьковской системе ценностей это одновременно и условие и предпосылка успеха революционных преобразований, — не изменив самым существенным образом не только сложившийся веками производственный уклад, но и саму жизненную философию. Лейтмотивом горьковского творчества, от «Мальвы» до «Жизни Клима Самгина», было отчетливое неприятие крестьянского мира как структуры аморфной и наделенной главным качеством, наличие которого любые преобразования обрекает на провал, — враждебным отношением к культуре в широком смысле этого слова. В декабре 1917 г. он писал в «Несвоевременных мыслях»: «Я считаю рабочий класс мощной культурной силой в нашей темной мужицкой стране, и я всей душой желаю русскому рабочему количественного и качественного развития. Я неоднократно говорил, что промышленность — одна из основ культуры, что развитие промышленности необходимо для спасения страны, для ее европеизации, что фабрично-заводской рабочий не только физическая, но и духовная сила, не только исполнитель чужой воли, но человек, воплощающий в жизнь свою волю, свой разум. Он не так зависит от стихийных сил природы, как зависит от них крестьянин, тяжкий труд которого невидим, не остается в веках. Все, что крестьянин вырабатывает, он продает и съедает, его энергия целиком поглощается землей, тогда как труд рабочего остается на земле, украшая ее и способствуя дальнейшему подчинению сил природы интересам человека.

В этом различии трудовой деятельности коренится глубокое различие между душою крестьянина и рабочего, и я смотрю на сознательного рабочего как на аристократа демократии».

Для Горького — безусловного апологета человеческого разума и его достижений в научной сфере, приветствующего процесс ломки старого только во имя возведения нового общественного здания, где будут рационализированы как социальные, так и политические процессы, — первостепенной была задача создания научно-технической базы для такого рода преобразований. Можно иронизировать над наивно-романтическими ожиданиями Горького, если подходить к ним с позиции человека XXI в., столкнувшегося с издержками научно-технического прогресса. Но, как человек своего времени, другого способа раскрепостить индивидуальность, — не только предоставив ей политические свободы, но и освободив от унижающей (в этом он был уверен) ее зависимости от стихийных природных сил, — он не видел.

В русле этих представлений решал Горький еще один крайне важный (для самых разных политических сил, религиозно-общественных объединений, философских школ, литературных группировок) вопрос, мимо которого не могла пройти и Ортодокс: стихийное и сознательное в революционном процессе. Педалируемая Лениным и его соратниками идея о ведущей роли сознательной личности в революции в трактовке махистов и в творческой реализации Горького предстает как идея о гармонизирующей стихию революции разумной силе, направляющей в нужную сторону созидательное творчество масс, отсекая темные инстинкты. Предлагаемая Богдановым схема взаимодействия между «организаторами» и «исполнителями», которая нам, скорее, напомнит антиутопии Оруэлла, Замятина и др., в те годы, когда она создавалась, могла восприниматься как вполне допустимая парадигма действий, конечной целью имеющих гармонизацию социума, в особенности после войн и революций погрузившегося в хаотическое состояние.

Заранее включая в систему координат распределение социальных ролей, предполагающих элемент неравенства, эмпириомонист Богданов отчасти оправдывает опасения Ортодокс, высказанные в ее анализе большевизма-махизма, игнорирующего процессы саморазвития в массе и абсолютизирующего роль личности. Вождизм, с одной стороны, террор коллектива, направленный против индивидуальности, пожелавшей выйти за границы дозволенного, с другой, — такой сейчас видится сложившаяся к 1930-м гг. ситуация. Передовая личность, энергией коллектива превращенная в Прометея, в руках которого закономерно и оправданно оказываются бразды правления, причем исчезает сама основа для возможного конфликта между «героем» и «толпой», так как герой есть эманация всего лучшего, что может дать коллективное «мы», — такой видел ситуацию Горький и его единомышленники в те годы.

В «Разрушении личности» есть гимн социальной идее, позволяющий многое понять в горьковском представлении о взаимодействии индивидуального «я» с коллективным «мы». «Здесь, на примере неотразимо ярком, — пишет он, вспоминая тот период истории нашего общества, когда “русский социализм” делал свои первые шаги, — мы видим плодотворное влияние социальной идеи на психику личности: мы видим, как эта идея с чудесной быстротою превратила бесприютного разночинца-интеллигента в идеалиста и героя, видим, как печальное детище рабей земли, ощутив творческую силу коллективного начала, психически сложилось под его чудотворным влиянием в тип борца, редкий по красоте и энергии. Семидесятые годы стоят перед нами как неоспоримое доказательство такого факта: только социальная идея возводит случайный факт личного бытия человека на степень исторической необходимости, только социальная идея поэтизирует личное бытие и, насыщая единицу энергией коллективной, придает бытию индивидуальному глубокий, трагический смысл».

Вера в «чудотворную силу» коллектива, как и в спасительную силу созидательного труда, гармонизирующего и природный хаос, и социальный, заставляла видеть не личные трагедии сотен людей, потерявших возможность свободно распоряжаться собой (по убеждению Горького, этой возможности они и в «старой» России были напрочь лишены), а участие в творческом акте, смысл которого может быть не ясен исполнителям, но очевиден для тех, кто дал старт этому проекту. Примерно таким и виделась Горькому реализация этого проекта еще в 1909 г.: «Задача данного исторического момента — развитие и организация, по возможности, всего запаса энергии народов, превращение ее в активную силу, создание классовых, групповых и партийных коллективов» («Разрушение личности»).

Эту «махистскую» статью Горького можно препарировать бесконечно, проводя параллели с его рассуждениями 1910-х, 1920-х, 1930-х гг. Но интересны даже не эти совпадения, а складывающееся в процессе анализа философской подоплеку акций большевиков в качестве действующей власти ощущение, что на самом деле эта власть оказалась после большевистского переворота в руках махистов, таких же синтетистов, как и большинство их современников, начавших свой интеллектуальный путь из некоего общего русского универсума. И гуманитарная составляющая революционных преобразований, в отличие от политической, на определенный период времени все еще — по инерции — сохраняла свою унаследованную от прежних времен единость.

Это не означает, что в обществе доминирующим стал тезис примирения всех со всеми. Споры, и притом весьма острые, велись непрерывно, но на одних и

тех же «площадках» и с неискоренимым сознанием того, что делается общее для всех дело, что каждый вносит свой вклад в процесс выработки единой мировоззренческой платформы как отправной точки для всего общества, которому предстоит двинуться в сторону всеобщего благоденствия. И если анализировать позицию Горького в свете этих идей, в контексте реалий той эпохи, а не сегодняшнего дня, сложнее будет выносить ему «обвинительный приговор».

Этот клубок проблем (философских, идеологических, эстетических), с которыми пытался разобраться Горький на мировоззренческом, можно даже сказать метафизическом уровне, по неясной причине остается за кадром, когда даются оценки Горькому-писателю, Горькому-человеку. Потому и первую «махистскую» повесть Горького — «Мать» — до сих пор воспринимают как книгу, целиком соответствующую генеральной линии ортодоксальных большевиков, в то время как в ней мы найдем проповедь идей А. В. Луначарского, в частности — о социализме как о «пятой религии»; кое-что от теории коллективизма эмпириомониста А. А. Богданова. А вслед за ней появилась повесть «Исповедь», в той же мере, но на другом материале иллюстрирующая комплекс идей, исповедуемых нашими махистами, но «Мать» эстетическими противниками Горького была воспринята как свидетельство его творческой деградации, а следующая за ней «Исповедь» (напоминаем, реализация той же общественно-философской схемы, той же социальной доктрины, — что бы ни говорили, но Горький — социал-демократ по убеждениям) — как знак отказа от прежних взглядов, как творческая реабилитация. «Разведение» двух повестей и помещение их по разные стороны «баррикад» предприняли и эсдеки-ортодоксы, скептически воспринявшие «Исповедь».

Уже на этом примере можно убедиться в том, что упрощенные оценки в случае с Горьким контрпродуктивны и заведут нас в тупик.

Понять предпосылки тех оценок, которые давал сам писатель в разные периоды своей жизни большевикам, можно только в одном случае — если параллельно отслеживать эволюцию (или деградацию — зависит от выбранной системы координат) и взглядов писателя, и идей большевиков, и «смену вех» в лагере либеральной — в широком смысле этого слова — интеллигенции, помня, что и в том, и в другом, и в третьем случае перед нами будет не движущийся в одном направлении идейный монолит, а целый клубок идей, соединивший противоборствующие тезисы, отсюда и все причуды русского ренессансного рубежа веков: декаденты Мережковский — Гиппиус — Философов, исповедующие в период после Первой русской революции религиозно-общественный идеал; бывшие марксисты-материалисты, включившие в сферу своих интересов религиозную философию Владимира Соловьева (яркий пример — судьба экономиста Сергея

Булгакова, обвиненного в конце жизни в софиологической ереси); того же ряда явление отечественный махизм — своеобразный социал-демократический извод русского неопозитивизма.

Попытки размежеваться увенчались успехом лишь спустя, как минимум, десятилетие, когда споры абстрактного характера трансформировались в вооруженные конфликты. Впрочем, и в этот трагический момент, когда обнажалась сама суть идеологий, реально конфликтующие стороны не отдавали себе ясного отчета в том, какие именно идеологемы они защищают, — еще одно страшное следствие тотальной неразберихи, царившей в умах и в партиях, в кружках и обществах разного толка.

Горький сам был таким «клубком идей» и постоянно предпринимал попытки распутать затянувшиеся узлы, упорядочить собственную систему взглядов, удалив то, что имело сомнительную ценность. Собственно, все художественное творчество Горького, деятельность его как публициста, политика, культуртрегера — это еще и напряженный процесс самоидентификации, бесконечная «текучесть» личного идеала, который тем не менее имеет устойчивое ядро, а «вибрации» его обусловлены поиском адекватной схемы политической реализации этого идеала.

В «Несвоевременных мыслях» Горький не раз подвергал серьезнейшей критике практику революционной борьбы большевиков, по сути повторяя то, о чем он говорил в годы Первой русской революции, выступая на стороне культуры, которая очень тонким слоем прикрывает иррациональную стихию русской жизни и может быть без труда сметена, уничтожена, если не предпринимать никаких усилий по ее сохранению («Наша революция дала полный простор всем дурным и зверским инстинктам, накопившимся под свинцовой крышей монархии, и, в то же время, она отбросила в сторону от себя все интеллектуальные силы демократии, всю моральную энергию страны» — из «Несвоевременных мыслей», март 1918 г.).

Сам по себе вопрос о сочетаемости революционной стихии с интеллектуальной составляющей русского общественного сознания тревожил многих и до и после революций 1917 г.; вспомним, к примеру «Переписку из двух углов», в которую вступили Вяч. И. Иванов и М. О. Гершензон, волею судьбы оказавшиеся летом 1920 г. в одной комнате московской здравницы, где спасали от голода, холода и болезней «работников науки и литературы». И в очередной раз мы столкнемся с парадоксальной метаморфозой: «отец» мистического анархизма, проповедник идеи всенародного искусства, в котором без остатка растворится творческая индивидуальность, Вяч. Иванов (ему же принадлежит афоризм «мы — нация саможигателей») выступает в защиту культуры, в то время как Гершензон, историк

культуры, которого трудно заподозрить в излишних симпатиях к революции, признается: «...в последнее время мне тягостны, как досадное бремя, как слишком тяжелая, слишком душная одежда, все умственные достояния человечества, все накопленное веками и закрепленное богатство постижений, знаний и ценностей».

Если обратиться к размышлениям Бердяева, еще одного марксиста-идеалиста, о победившей русской революции, обнаружим интересные выводы о том, что же все-таки произошло в России, в чем выиграла новая, советская Россия, а в чем проиграла: «Русская революция, социально передовая, была культурно реакционной, ее идеология была умственно отсталой. Нигилизм, захвативший в 1860-е гг. часть интеллигенции, теперь перешел на народный слой, в который начало проникать элементарное просвещение, культ естественных наук и техники, примат экономики над духовной культурой».

Это было, по-видимому, неотвратимо, необходимо для социального переустройства России. Но для творцов культуры, для людей мысли и духа положение стало трагическим и непереносимым». Вину за этот гуманитарный провал Бердяев возлагает на русскую интеллигенцию: «Русская революция идеологически стала под знак нигилистического просвещения, материализма, утилитаризма, атеизма». И чем, как не желанием потеснить нигилизм, можно объяснить «инъекции» идеализма в социалистическую идею, которыми занимались эсдеки-махисты и примкнувший к ним Горький?»

Он остро ощущал опасность анархических, антикультурных идей, возникающих в среде творческой интеллигенции, которая призвана была заботиться именно о сохранении культурного наследия человечества, тем более что существовала реальная возможность слияния этого интеллигентского декаданса со стихийным неприятием культуры со стороны тех, кто отказывается от интеллектуального наследия не вследствие усталости, но по причине непонимания того, насколько ценным является это наследство. В этом случае неизбежна катастрофа — гибель России. Спасение Горький видел в объединении всех интеллектуальных сил страны (а в перспективе — интеллектуальной элиты мира), деятельность которых должна быть направлена на развитие и естественных, и гуманитарных наук. Выпады большевиков против технической интеллигенции, предательство ими интересов рабочего класса — в представлении Горького, самой интеллектуальной части простого народа, — все это звенья одной цепи, свидетельства непонимания очевидной для писателя мысли: нет противоречия между революцией и культурой; революция — следствие и условие дальнейшего развития культуры.

Весной 1918 г. он пишет о том, что искусственно подогреваемая классовая вражда, попытка столкнуть интеллигенцию и пролетариат, бессмысленна и опас-

на для страны: «В “Правде” различные зверюшки науськивают пролетариат на интеллигенцию. В “Нашем веке” хитроумные мокрицы науськивают интеллигенцию на пролетариат. Это называется “классовой борьбой”, несмотря на то, что интеллигенция превосходно пролетаризирована и уже готова умирать голодной смертью вместе с пролетариатом. <...> факт, что русская революция погибает именно от недостатка интеллектуальных сил. В ней очень много болезненно раздраженного чувства и не хватает культурно-воспитанного, грамотного разума».

Культуроцентризм, пиетет перед наукой, призванной обеспечить технологический прорыв, смыкается в сознании Горького с идеями Шопенгауэра, концепция которого, как представляется, была ему все-таки ближе, чем «лингвистическая» философия Ницше⁴.

Вслед за немецким философом, отрицающим эволюционные процессы в природном мире, исповедующим антропоцентризм, Горький человека представлял как абсолютное совершенство и противопоставлял его слепой природе, воспринимая это противостояние как конфликт между разумом и инстинктом. В последние годы жизни он максимально приблизился к Шопенгауэру, отказавшись от идеи равновесия разума и инстинкта и мечтая о царстве чистого разума, где инстинктам вообще нет места.

Преклонение перед человеческим разумом — еще одна давняя горьковская страсть. В определенном смысле подводят черту под этой частью его рассуждений «заметки»⁵, написанные в 1920-е гг., в которых собраны впечатления писателя о встречах с Блоком в пору совместной работы во «Всемирной литературе». Прочитанный Блоком на заседании доклад «Крушение гуманизма» побудил Горького представить свое видение будущего человечества. На вопрос, что лично он думает о возможности бессмертия, Горький нарисовал картину, которая многих способна оттолкнуть вследствие, можно сказать, маниакальной веры писателя в силу отвлеченного разума: «Лично мне — больше нравится представлять человека аппаратом, который претворяет в себе так называемую “мертвую материю” в психическую энергию и когда-то, в неизмеримо отдаленном будущем, превратит весь “мир” в чистую психику. Ничего, кроме мысли, не будет, все исчезнет, претворенное в чистую мысль; будет существовать только она, воплощая в себе все мышление человечества от первых проблесков до момента последнего взрыва мысли. <...> Я предложил ему представить мир как непрерывный процесс диссоциации материи. Материя, распадаясь, постоянно выделяет такие

⁴ О связи мировоззрения Горького, очень ранней, с доктриной Шопенгауэра все (практически) сказано в статье М. Агурского «Великий еретик (Горький как религиозный мыслитель)», напечатанной в «Вопросах философии» в 1991 г.

⁵ «А. А. Блок» — один из «литературных портретов», созданных М. Горьким в 1920-е гг. Под этим названием напечатан в «Заметках из дневника. Воспоминания» (вышли в изд-ве «Книга» в 1924 г.). Беседа с Блоком состоялась весной 1919 г.

виды энергии, как свет, электромагнитные волны, волны Герца и так далее, и сюда же, конечно, относятся явления радиоактивности. Мысль — результат диссоциации атомов мозга, мозг создается из элементов “мертвой”, неорганической материи. В мозговом веществе человека эта материя непрерывно превращается в психическую энергию. Я разрешаю себе думать, что когда-то вся “материя”, поглощенная человеком, претворится мозгом его в единую энергию — психическую. Она в себе самой найдет гармонию и замрет в самосозерцании — в созерцании скрытых в ней, безгранично разнообразных творческих возможностей».

Если сравнить эту «мрачную фантазию» (в оценке Блока), сочетающую суровый материализм и отчаянный идеализм в духе богдановского эмпириомонизма, с пафосными речами Горького, адресованными Р. Роллану из Москвы 1931 г., приходишь к выводу, что в проводимых в России преобразованиях писатель видел, по сути дела, реализацию своей мечты: «Живя здесь — живешь в непрерывной, широко развернутой борьбе против векового консерватизма мелких мещан, против наслоений древних предрассудков, предубеждений, суеверий, в борьбе против сопротивления неорганизованной материи, из которой люди страстно создают все, что может облегчить их жизнь, их труд, все, что, освободив их от бесполезной траты физической энергии, превратит ее в энергию духа, интеллекта.

Здесь мысль и воля революционизированы — я бы сказал — чудовищно, и творческая мысль как будто ставит целью своей пересмотреть, изменить все законы, установленные ею же. Дерзновение мысли нередко граничит с фантастикой».

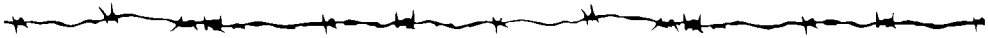
Готов ли был Горький критиковать этот взрыв творческой энергии, пусть и чудовищно революционизированной, если в перспективе видел возможность глобального переустройства мира по той модели, в которую имел смелость поверить задолго до того, как началась ее реализация? Сомнения в том, что все удастся, как было задумано, разумеется, писателя посещали. Но была еще вера в человека и его разум, иногда почти готовая исчезнуть при виде тех безумных дел, которые сотворило человечество в начале XX вв. Что позволяло ему, преодолевая сомнения, сохранять веру?

В одном из рассказов 1910-х гг. («Герой») из цикла «По Руси» Горький дал ироничную самохарактеристику юноше Пешкову, вычленив, пожалуй, главное качество своей писательской и человеческой природы: «...люблю одеть человека более празднично, чем он одет. <...> Допустимо, что в этом добром занятии я несправедлив и жесток к людям».



В. Н. И.





Никона (Осипенко), монахиня СО СЛОВ ОЧЕВИДЦА...

Статья «Соловецкий концлагерь (со слов очевидца)» была опубликована в 120-м выпуске русской эмигрантской газеты «Возрождение» 30 сентября 1925 г. Это умеренно консервативное монархическое издание печаталось в Париже и выходило в 1925—1935 гг. ежедневно. К сожалению, личность автора статьи установить не удалось: никаких других публикаций за подписью В. Н. И. не обнаружено.

Как следует из подзаголовка, сам автор узником СЛОНа не был, он лишь записал рассказ очевидца, который, по-видимому, побывал на Соловках на свидании с заключенным там родственником. На это предположение наводит в первую очередь описание пути на Соловки. Описываются не арестантские вагоны и пересылки, в том числе Кемский пересыльный пункт, а наиболее удобный путь через Ленинград до станции Кемь, где нужно было сделать пересадку на ветку до Попова острова. Подробно рассказывается, как получить разрешение на свидание, где остановиться, где зарегистрироваться.

Автор статьи постарался в общих чертах охарактеризовать состав и взаимоотношения заключенных. Интересно его утверждение, что «жизнь в лагере приучает к тесному товарищескому единению». Эта характеристика относится к заключенным СЛОНа 1923—1925 годов, которые еще не прошли обработку советской системы управления. Впоследствии и на воле, и в лагерях использовался принцип «разделяй и властвуй». Холод, голод, страшная скученность заключенных, нагнетание страха перед будущими бедствиями использовались, чтобы раздавить человеческую личность и втянуть человека в звериную борьбу за выживание. Противостоять этому удавалось узким кружкам порядочных людей, чаще всего объединенных общим прошлым (скауты, лицеисты, офицерство, духовенство, «политические» и пр.).

«Соловецкие каторжане “первых призывов” были осколками Великого Рухнувшего. Они не прошли еще шлифовки НЭПа, переплавки пятилеток, их сознание не было еще истерто в порошок дробилкой советской пропаганды, жерновками звериного, скотского советского быта — “житухи”, они не были еще теми “мизерами”, размельченными личностями, в которых неуклонно и неотвратимо

превращает русских людей победивший социализм и неразрывная с ним жалкая, мелочная и страшная именно своей мелочностью борьба за “местечко под солнцем”, за сто граммов колбасы, за полметра дополнительной жилплощади...»¹ — свидетельствовал Борис Ширяев.

Тем не менее, во все времена оставались люди, не поддающиеся системе. По словам пребывавшего в лагере в 1928—1931 гг. Д. С. Лихачева, главное, чему он научился на Соловках, это понимание, что каждый человек — человек. Дмитрий Сергеевич считал, что в лагере ему спасли жизнь квартирный вор Овчинников, который, имея уже лагерный опыт, взял его под свою опеку в пересыльном пункте и на пароходе, доставлявшем заключенных на Соловки, и король урок бандит Иван Яковлевич Комиссаров, с которым он прожил около года в одной камере. Однако, чтобы не лишиться своего полушубка, Лихачев на ночь накрывался им, продевая разутые ноги в рукава². Надеяться на «кодекс чести» и порядочность «шпаны», о которой писал В. Н. И., было бы наивно, хотя среди уголовников и встречались достойные люди.

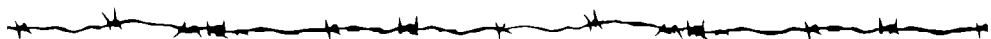
Статья была написана В. Н. И. по свежим впечатлениям, так как в ней сообщается о переводе архиепископа Илариона (Троицкого) в Ярославский политизолятор в июле 1925 г. и о письме, от него полученном и свидетельствующем якобы об облегчении его участи. Но в действительности владыка был вывезен с Соловков для переговоров с уполномоченным по делам религий Тучковым, который пытался склонить его к союзу с обновленцами. Владыка категорически отказался от сотрудничества с обновленцами и ОГПУ, а потому в апреле 1926 г. был вновь отправлен этапом на Соловки.

Заканчивается статья сетованием о массовых отправках на Соловки и о том, что для многих это испытание нравственно и физически непосильно. Автор скорбит об оставшихся в советской России родных и оправдывает свою позицию наблюдателя, покинувшего Родину. Он лишь констатировал факты и уклонился от обсуждения вопроса о смысле происходившего, закрываясь от понимания того, что христианская жизнь требует подвига, вплоть до подвига мученического.

Священномученик Иоанн Стеблин-Каменский, сосланный на Соловки в сентябре 1924 г. по делу о православных братствах, в рамках которого вместе с ним подобный приговор получили 35 человек духовенства и мирян, писал: «За время своего пребывания на Соловках я почти ничего не читал, ничему не научился, многое забыл, во многом опустил, но Господь утешил меня именно тем, что мне, быть может, теперь особенно нужно. Я приобрел полную покорность Его

¹ Ширяев Б. Н. Неугасимая лампада // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2013. Т. 1. С. 217.

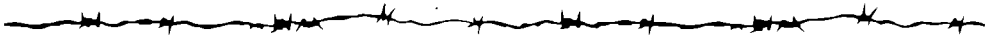
² Лихачев Д. С. Книга беспокойств. М.: 1991. С. 91, 103.



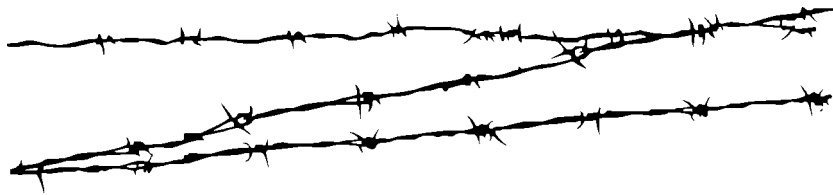
воле и твердую уверенность в благой целесообразности всего совершающегося с нами. Это не значит, что мне не хочется домой и что я мало чувствую скорбь длительной разлуки со всеми мною любимыми; нет — мне просто стало понятно, что скорби не только могут сопутствовать христианину на его земном пути, но прямо являются естественными его спутниками... ибо и Сам Господь пришел на землю для несения креста»³.

Понимая это, древние подвижники приходили на Соловки, чтобы добровольно принять на себя крест терпения тягот пустынной жизни, в безмолвии заниматься умной молитвой и удостоиться созерцания того божественного света, который видели апостолы на Фаворе. Когда «оскуде преподобный», Господь попустил путь мученический.

³ Соловецкие новомученики / Сост. иг. Дамаскин (Орловский). Соловецкий монастырь, 2009. С. 197.



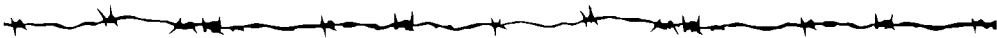
Соловецкий концлагерь (со слов очевидца)¹



«Островом скорби» зовут его заключенные. И, действительно, скорбь и горе царят в бывшем монастыре. Там теперь сидят, большей частью, «бывшие люди», как их зовут в России, люди, занимавшие видное место при Царе, аристократы, «буржуи». Наряду с ними туда посылаются и уголовники, а также провинившиеся чекисты и коммунисты. До последнего времени там сидели и с.-р., но они пользовались особыми привилегиями и в данное время их должны были перевести на континент — намечали Суздальский концлагерь.

Наиболее удобный и прямой путь до Соловков — это по Мурманской ж.д. до станции Кемь. Ехать надо через «Ленинград». В Кемь пересадка на ветку до Попова Острова — пристань Соловецкого лагеря. Тут уже пахнет тюрьмой, но все же тут еще вольные служащие; стоят конвоиры, есть красноармейская стража. Для приезжающих, т.е. в большинстве случаев для родственников, едущих на свидание в Соловки, существует вагон-гостиница. Здесь приходится иногда ждать несколько суток прихода парохода. Город Кемь довольно далеко от пристани, туда надо идти регистрироваться и предъявить документы на право свидания. Разрешение на свидание дается в Москве; дается максимум на пять часов, по одному часу в сутки, а зачастую дают лишь три часа свидания. Но, несмотря на это ничтожное время, несчастные матери и жены съезжаются со всех краев России на свидание с родными заключенными. Надо торопиться: в ноябре навигация остановится, и тогда Соловки отрезаны от континента до мая месяца. Два-три раза в месяц зимою отправляется ледокол из Архангельска в Соловки

¹ Публикуется по: В. Н. И. Соловецкий концлагерь (со слов очевидца) // Возрождение. 1925. № 120.




за почтой. У берегов, где ледокол не может пройти, его встречают рыбаки-поморы, перегружают на свои лодки почтовые сумы и с опасностью для жизни доставляют их на берег. При этом они выговорили себе право выкидывать всю почту, если их настигнет буря. Поэтому почта часто пропадает, а в лучшем случае, письмо до Москвы идет не менее четырех недель, так как ледокол часто бывает неделями затерт льдами.

Таким образом, заключенные зимою, т.е. шесть-семь месяцев в году, лишены возможности получать посылки. Приходится стараться их снабжать провизией на полгода с осени. В первую очередь им нужны жиры, лимонная кислота, мука, крупа, сахар. Кроме того, конечно, теплая одежда, обувь. Казенной одежды не полагается, казенная пища так скудна и невкусна, а главное пресна, что, кроме того, что ее недостаточно, происходят массовые цинготные заболевания.

Режим в лагере очень строгий. Женщины строго изолированы от мужчин, встречаются лишь при совместной работе. В шесть часов утра заставляют вставать, в семь часов переключка, в восемь часов начало работы. Проводится принцип принудительных работ, всем назначают работы, и только больные по записке врача или совсем освобождаются, или назначаются на более легкую работу. Начиная с Попова острова, вся работа по обслуживанию лагерных нужд производится заключенными: капитаны и вся команда парохода — заключенные; почтальоны, привозящие почту на Попов остров, — также. За всеми — строжайшая слежка, так что бежать немислимо.

Самая переправа с Попова острова до Соловков продолжается всего лишь несколько часов; море большею частью бурное. Прибывший в Соловки, будь он даже только родственник заключенного, с момента схода на берег делается заключенным. Его под конвоем отводят в гостиницу, и тут он находится под стражей во все время своего пребывания на острове. Гостиница — бывшая монастырская. Весь монастырь превращен в тюрьму. Вид на него с парохода очень красив: он обнесен каменной стеной с башнями, подобно московскому Кремлю и здания все выкрашены в разные цвета, стены же белые.

При лагере есть кооператив, но прибывающие могут ходить туда лишь с особого разрешения и под конвоем. Заключенного приводят на свидание в гостиницу под стражей, и конвой присутствует в той же комнате во время свиданья, строго следя, чтобы оно длилось не более одного часа. Если начальник конвоя человек сердечный и сочувствует заключенному, то он может продолжить срок свидания негласным образом, но это он делает на свой страх и риск, а так как он сам заключенный, то наказания ему применяются со всей строгостью вплоть до продления срока наказания. Поэтому он разрешает это лишь изредка и с




опаской, боясь шпионов, которые могут донести на него начальству. А шпионов масса между самими заключенными, и от них уберечься трудно. Правда, что их не только клеймят презрением и подвергают безжалостному бойкоту, их сторонятся, с ними не разговаривают и всячески стараются им досадить. И все же — их масса. Они надеются выслужиться перед начальством и облегчить свою участь и потому «стучат» ежеминутно.

Жизнь в лагере приучает к тесному товарищескому единению. Все горести и радости делятся вместе. Заключенные разбиваются на небольшие кружки и совместно стряпают из общих продуктов. Эти маленькие коммуны живут очень дружно. Уголовные, так называемая «шпана», заключены вместе с контрреволюционерами, «бывшими людьми», которые не считаются политическими, а «административно сосланными» без суда и следствия. Такие все помещены со «шпаной», и никакие амнистии их не касаются. «Шпана» относится к ним в общем очень хорошо и лишь требует взамен человеческого отношения. У «шпаны» есть своего рода кодекс чести, и они, например, никогда не украдут ничего у своего товарища по барaku. Для того, чтобы быть уверенным, что вещи останутся в целости, вновь прибывшему заключенному советуют товарищи ничего не заирать. Действительно, «шпана» ценит это доверие и никогда не стащит ничего у такого товарища. Но горе тому, кто захочет снобировать «шпану» или, еще хуже, пожаловаться начальству. У того все будет расхищено, и самый «стукач» иногда бывает жестоко избит. При этом бьют ночью подушками с песком, так, чтобы следов не было видно.

Работы назначаются самые разнообразные, мужчинам — тяжелые, физические вне ограды монастыря, женщинам — в самом монастыре. В последнее время мужчин посылали работать на торфяные болота. Приходилось работать по плечо в холодной болотистой воде, сплошь облепленным комарами в течение восьми часов подряд. Многие не выдерживали такой работы и заболевали, тогда их переводили на более легкую. Счастливы те, которые попадали в канцелярию, библиотеку или культпросвет. Но работа продолжается от восьми часов утра до двух дня и от четырех часов дня до 11 часов вечера, так что тоже не особенно легко.

Специалисты получают работу по своей специальности: электротехники — по электричеству, доктора и студенты медики — в больнице. Больница — большая, хорошая и хорошо оборудованная. Доктора — также заключенные, но знающие, и относятся к больным сочувственно и внимательно. Стол для больных немного более питательный. Больные имеют право гулять в саду в течение двух часов в сутки, а по особому предписанию врача и больше. Здоровые заключенные име-



ют лишь полчаса прогулки под конвоем. Лишь служащие в канцелярии имеют пропуск свободно прогуливаться по лагерю. Сосланные по церковному вопросу, «церковники», духовенство, имеют право ходить в церковь и служить; сохранилась одна маленькая церковка, куда они ходят молиться совместно с несколькими старыми монахами, доживающими свой век. Остальным заключенным запрещается под страхом наказания посещать церковь; только тяжелобольным разрешено видеть священника.

Те из заключенных, которые особенно возбудили к себе нелюбовь начальства или которые особенно бунтовали, ссылаются с Главного Соловецкого острова на «Заячий остров». Этот остров находится дальше всех других, и сношения с ним бывают лишь летом и поздней зимой, когда устанавливается санный путь, осенью же переход слишком бурен, а весной из-за разливов, сношения совершенно прекращаются, и тогда жители на нем бывают совершенно отрезаны даже от главного острова, не говоря уже о континенте.

Заячий остров этот лишен больницы, медицинского персонала, почты для посылок. Начальство, комендант лагеря, ссылает туда всех, которые ему чем-нибудь неудобны. Одну молоденькую заключенную комендант, несмотря на ее болезнь, назначил к отправке на Заячий остров. Товарищи по несчастью объяснили этот поступок тем, что она понравилась коменданту, и он решил ее довести своими гонениями до отчаяния, сломить всякое сопротивление с ее стороны и, таким образом, склонить ее на свои предложения. К счастью, врачи заступились за несчастную девушку, энергично воспротивились против посылки ее на Заячий остров и взяли ее к себе в больницу на излечение.

Выше уже было сказано, что женщины изолированы от мужчин, но они встречаются на работах и умудряются входить в близкие сношения. Почти все женщины усиленно занимаются флиртом, и этим не гнушается также и начальство. Многие женщины охотно идут на это, чтобы иметь разные льготы. Их начальник посылает на более легкие работы или же совершенно освобождает.

Работать обязаны все. В лагере существуют прачечная, типография, переплетная, игрушечная, сапожная, столярная мастерские. Кроме того, свой театр, клуб, школы. В игрушечной мастерской делают разные игрушки и кустарные вещи. На обклейку коробочек и на платья куклам употребляются священнические ризы. Много надо иметь мужества, чтобы отказаться от последней работы — распарывать ризы. За такой отказ виновного могут посадить в карцер. Одна заключенная, невзирая на все строгости, принуждения и угрозы начальства, отказалась от распарывания, сказав, что это против ее принципов и что она согласна понести наказание. Ее спокойное мужество так подействовало

на заведующего, что он с уважением заметил: «однако, вы действительно храбрая» — и переменял ее работу, не донесши на нее начальству.

Вообще надо сказать, что в лагере среди заключенных очень ценится всякое проявление личного достоинства и мужества. Многие с отвращением исполняют возложенные на них обязанности, но слишком слабы духом, чтобы протестовать. Поэтому они с особым уважением смотрят на такого храбреца и его всячески прикрывают от начальства.

Часто теперь стала практиковаться в Соловках отправка заключенного куда-нибудь в другое место. Заключенному без предупреждения приказывается немедленно собраться, и в полном секрете, ночью, сажают на пароход и увозят неизвестно куда. Иногда судьба таких лиц неожиданно улучшается. Так, например, это недавно случилось с епископом Иларионом, который был сослан за год до этого на Соловки. Там он должен был сплавлять лес, но вскоре начальство выделило его, за распорядительность и расторопность, и сделало начальником над товарищами. Он вскоре и тут приобрел большую популярность своей добротой, красноречием и всем поведением. Неизвестно, это ли послужило поводом для его отправки, но, как бы то ни было, его духовные дети получили от него письмо, что его увозят неизвестно куда. Долго от него не было ничего слышно, но вдруг неожиданно пришло письмо из Ярославля; он в тюрьме имеет отдельную камеру и пользуется правом прогулки в течение нескольких часов во дворе.

Время от времени, при какой-либо спешной работе, устраиваются «ударники» для всех поголовно живущих, включая самого коменданта. Избавляются лишь тяжелобольные. «Ударники» бывают самые разнообразные: вылавливание бревен из воды, прокладка дороги, высушивание болот и т.д. Очень многие не выносят этих трудных работ и заболевают, так, например, одному туберкулезному пришлось в ноябре работать по колена в воде, после чего у него сразу же обострился процесс, и он только умирающий получил разрешение переехать на континент. Переехать на континент — это такое благополучие, о котором мечтает всякий заключенный в Соловках. Ведь тогда в любое время могут родные приехать на свиданье, можно круглый год получать посылки и почту! Ведь ужас Соловков именно в том и заключается, что шесть месяцев в году люди отрезаны от всего родного, от земли. И скольким заключенным в прошлом году зимой вышел срок ссылки. Им начальство предлагало остаться вольнонаемными до открытия навигации в лагере, но они и слышать об этом не хотели и решили уехать на лодке с поморами. Они попали в страшную метель и бурю и пропали без вести. Их считали погибшими, но они счастливо достигли, наконец, берега после почти двух недель скитания по морю.



Прибывшего в Соловецкий лагерь на свидание поражает сразу же ужасный произвол, который там царит. Комендант и его помощник — это бог, который безнаказанно все может сделать. Никакие права, законы, правила для него не существуют.

Письма заключенных цензуются, и очень строго: редкое письмо приходит не зачеркнутое. Зимой разрешается писать лишь четыре письма в месяц.

Вот в каких условиях томятся наши родные и близкие. Редкая семья в оставшейся городской России не имеет там своих родных или близких. Французская речь там слышится как в прежних великосветских салонах. Особенно весной бывают обильные отправки в Соловки. И сейчас туда отправили целую партию из Петрограда, сроком не менее пяти лет, а некоторых и на 10 лет. Возвращаются оттуда вконец больные, разбитые нравственно и физически, а многие не выдерживают всего ужаса режима — умирают или сходят с ума.



ФЕОДОСИЙ
(АЛМАЗОВ)

АРХИМАНДРИТ





Н. А. Кривошеева
БИОГРАФИЯ АРХИМАНДРИТА
ФЕОДОСИЯ (АЛМАЗОВА)

Архимандрит Феодосий (Алмазов) родился в семье священника с. Сырокоренские Липки Духовищинского уезда Смоленской губернии 21 мая 1870 г. и был наречен именем Константин. После окончания духовного училища юноша поступил в Смоленскую духовную семинарию, которую окончил в 1891 г. и вступил в должность смотрителя Смоленского архиерейского дома. Через год поступил в Московскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидат богословия в 1896 г.

В том же году в Смоленском архиерейском доме пострижен в монашество с именем Феодосий, 14 сентября возведен в сан иеродиакона, а на следующий день — в иеромонаха в Донском ставропигиальном монастыре в Москве. Будучи соборным иеромонахом в Смоленском архиерейском доме, он был сверхштатным членом Смоленской духовной консистории.

С 1897 г. началась его преподавательская деятельность в Воронежской духовной семинарии, в 1899 г. последовал перевод на должность инспектора Владимирской духовной семинарии, в 1900 г. — инспектора Волынской духовной семинарии, с 1902 г. — Новгородской духовной семинарии, в 1903 г. отец Феодосий становится ректором Минской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита.

Вскоре следует назначение синодальным ризничим и настоятелем собора Двенадцати Апостолов в Московском Кремле. В 1904 г. архимандрит Феодосий назначается настоятелем Старорусского монастыря в Новгородской епархии. В 1910 г. он — преподаватель Курской духовной семинарии, а с 1912 г. — Каргопольского духовного училища, через год — Иркутской духовной семинарии, в 1914—1916 гг. преподавал в Астраханской духовной семинарии.

В 1916 г. архимандрит Феодосий вступает в ведомство военного и морского духовенства и служит полковым священником в Царской армии до декабря 1917 г.

В 1918 г. его впервые арестовывают в Петрограде и почти год держат в тюрьме на Гороховой улице. После выхода из заключения он служит настояте-

лем Ушаковской церкви в Петрограде, а с 1922 г. — настоятелем петроградской церкви Свт. Николая.

Как пишет сам архимандрит Феодосий: «По указу Святейшего Патриарха Тихона и состоящего при нем Синода состоялось наречение во епископа Петропавловского, викария Омской епархии», но сама хиротония не состоялась вследствие приказа ГПУ об аресте. 6 апреля 1924 г. духовное лицо заключают в петроградскую тюрьму, а затем переводят в Бутырскую тюрьму в Москву, откуда освобождают 18 июля.

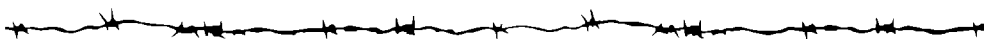
По возвращении в Петроград архимандрит Феодосий начинает проповедовать в церкви за Нарвской заставой, а на следующий год — в находившейся поблизости Серафимовской церкви.

10 июня 1927 г. следует очередной арест, а 13 июля осуждение «за шпионаж в пользу Польши» и заключение на три года в Соловецком лагере особого назначения, где он пребывал до 9 июля 1929 г. После окончания срока заключения архимандрит Феодосий был выслан в Нарымский край. В ссылке он подготовил побег и июле-августе 1930 г. бежал в Румынию, где до 1932 г. жил в Кишиневе и служил в греческой церкви, затем переехал в Болгарию. Сначала он служил в пастырско-богословском училище в монастыре св. Кирика в Станимаке.

После апреля 1933 г. историю своей жизни и скитаний архимандрит Феодосий (Алмазов) описал в своих воспоминаниях.

Канва его жизни взята из послужного списка, хранящегося в ГА РФ, подписанного митрополитом Антонием (Храповицким)¹. В послужном списке указано, что с 1918 по 1929 г. архимандрит Феодосий «прошел 14 тюрем, два года Соловецкой каторги и год Нарымской ссылки — всего по частям четыре года».

¹ ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 319. Л. 1–5.



М. М. Лоевская
ВОСПОМИНАНИЯ АРХИМАНДРИТА
ФЕОДОСИЯ (АЛМАЗОВА)
В ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

В 1997 г. издательство Крутицкого Патриаршего подворья выпустило в свет 13-ю книгу серии «Материалы по истории церкви» — воспоминания архимандрита Феодосия (Алмазова)¹.

С одной стороны, это издание развивает лагерную тему, которая долгие десятилетия была закрытой, «совершенно секретной» для читателей и запрещенной для любых публичных обсуждений в СССР. Лишь в 1962 г., да и то ненадолго, когда в «Новом мире» был опубликован «Один день из жизни Ивана Денисовича», А. И. Солженицыну удалось поведать широкому кругу соотечественников правду о политических репрессиях и лагерях, где планомерно, целенаправленно истреблялись советские люди. Чудовищное зло оправдывалось необходимостью классовой борьбы, прикрывалось политическими лозунгами, лживой пропагандой о строительстве «нового мира», «нового человека», «новой социалистической общности». Писатель обозначил проблему перед современниками и поставил вопрос: «Этапы и могильники, этапы и могильники, — кто сочтет эти миллионы?»

Вслед за ним многие писатели, прошедшие через эти этапы и уцелевшие, стали писать, а в годы перестройки и публиковать свои воспоминания, которые раскрывают особенности огромного организма лагерной системы, ставшей зеркальным отражением системы государственного устройства и отношений в обществе.

Архимандрит Феодосий вместе со многими другими мемуаристами предъявляет самый суровый счет бесчеловечной системе с непостижимыми уму законами (например, наказание за несодеянное преступление, награждение заключенных за издевательство и глумление над другими арестантами, смягчение наказания и уменьшение срока за «пролетарское происхождение» и многое другое), превратившей тысячи и тысячи людей в бесправную рабскую силу.

¹ Феодосий (Алмазов), архим. Мои воспоминания: (Записки соловецкого узника) / Подг. текста и публ. М. И. Одинцова; примеч. и коммент. И. В. Соловьева; О-во любителей церковной истории. М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1997. 259 с. (Материалы для истории Церкви; кн.13).

С другой стороны, воспоминания отца Феодосия можно отнести к «возвращенной литературе»². История его архива необычна: «3 января 1946 г. в Москву из Чехословакии, на адрес Академии наук СССР, прибыл военный транспорт в составе девяти вагонов. В них, в 650 ящиках, Русский заграничный исторический архив — документы и материалы по истории России XIX — начала XX в., о жизни и деятельности русской эмиграции в Европе, Америке и других странах. По мере разбора выявилось значительное число материалов, касающихся Русской Православной Церкви за границей. Среди этих материалов были найдены <...> воспоминания архимандрита Феодосия Алмазова ... и его личное дело»³, которые были опубликованы лишь спустя полвека⁴.

Приведенные выше архивные данные представляют собой скупой, официально-сдержанный рассказ с перечислением дат и событий жизни: учеба, рукоположение, места служения, арест. Данный документальный материал, вне всякого сомнения, чрезвычайно ценен, но он не открывает внутренний мир, переживания, борения и искания автора. Сами воспоминания этот недостаток восполняют. В отличие от биографии, они помогают самораскрытию духовного мира писателя, дают оценку, пусть и субъективную, важнейшим историческим событиям, известным политическим и религиозным деятелям, делают повествование эмоционально-экспрессивным, психологически подробным.

Записки освещают не весь жизненный путь соловецкого узника, а лишь период жестоких гонений и тяжелых испытаний с 1917 по 1930 г.

Во 2-й главе воспоминаний — «Очерк религиозно-церковной жизни в России (1917—1931)» — автор подробно повествует о том, как в 1917 г. служил в храмах Петрограда, яростно боролся с обновленцами, которые, по его словам, «принизили, обмирщили небесный идеал христианства».

Он беспощадно громит вождей «отщепенцев-живцов» и «обновленцев всех видов» — «новых представителей христианства», которые не только пошли на компромисс с властью большевиков, но запятнали себя доносом и сервильностью.

Формулировки архимандрита Феодосия порой заставляют вспомнить неистового протопопа Аввакума, высказывания которого, как правило, носят резкий и вызывающий характер, а выражения грубы и зачастую режут слух. Подобно ему, соловецкий летописец резко поносит своих политических и религиозных оппонентов, позволяя себе антисемитские выпады и саркастические выражения.

² В настоящее время воспоминания хранятся в ГА РФ (Ф. 5881, Оп. 2, Д. 73. Автограф).

³ Феодосий (Алмазов), архим. Указ. соч. С. 7—8.

⁴ Свои воспоминания архимандрит Феодосий написал в 1931—1933 гг., а в 1935 г. они поступили в Прагу, в Русский заграничный архив.

Эмоции захлестывают его целиком, место любви занимает злоба, чувства вырываются из-под контроля.

Сердце же разрывается от гнева и скорби при воспоминаниях о простреленной матросами иконе святителя Николая, о коменданте с папиросой в зубах, который во время чтения Евангелия требовал «закрыть лавочку» и прекратить службу.

Сам автор сознается, что характер у него горячий, а проповеди «ужасны, смелы, дерзки». При обличении «безбожного большевизма» он часто использует язвительные выражения, грубые насмешки, ругательные слова, самих большевиков именует не иначе как «орлами-стервятниками». Не без гордости вспоминает, что поражений на антирелигиозных диспутах, где выступал в защиту веры, он не знал, а речь во время одного из выступлений вызвала «громовые рукоплескания» и целование рук благодарными почитателями.

Не удивительно, что такой оратор расценивался властью как «злостный священнослужитель» во времена, когда любое выступление против «Живой Церкви», а тем более власти Советов воспринималось как «церковная контрреволюция» и влекло за собой трагические последствия: доносы, аресты, ссылки и другие издевательства. Не миновала участь сия и нашего автора.

В 1926 г. его арестовали за «религиозную пропаганду» и по обвинению в шпионаже в пользу Польши приговорили «к трем годам каторжных работ» на Соловках, где он провел два года. Летом 1929 г. оставшийся срок был заменен на ссылку в Нарымский край, откуда архимандрит Феодосий совершил побег в Томск. Далее по железной дороге он добрался в Бессарабию и, переплыв пограничный Днестр, оказался за рубежом. «Я ждал смерти на далеком севере, а Господь благословил жизнь на горячем юге. Слава Господу!» — так говорил он впоследствии о своем чудесном спасении из лагерного ада.

Практически сразу после побега, «по горячим следам», бывший заключенный приступил к осмыслению пережитого. В своих воспоминаниях с подзаголовком «Записки соловецкого узника» он не только описал историю собственных злоключений и страданий, но дал оценку волнующим его явлениям политической и религиозной жизни, а также необычные и неожиданные характеристики многим известным историческим личностям.

Своеобразие композиции воспоминаний заключается в нарушении хронологии событий при расположении глав, бросается в глаза и диспропорция их названий⁵.

Следует отметить, что автор намеренно нарушает хронологическую последовательность изложения: в первую очередь, он пишет о главном — о том, как смог

⁵ Сравн.: Гл. I «Побег» и Гл. V «Отношение христианской культуры и ее насадителя, руководителя и хранителя Христианской Церкви к богоборческой коммунистической власти — насадителю материалистической культуры. Возможно ли между ними «мирное» сожительство как в России, так и в международном масштабе?»

вырваться из «львиных челюстей». Он признает причудливое переплетение «систематических и хронологических методов» в своем тексте, как бы предвосхищая возможные упреки, которые и последуют со стороны его биографов, отмечавших «сбивчивость», «тенденциозность» воспоминаний, объясняя эти явления «весьма посредственными литературными дарованиями» автора⁶.

На наш взгляд, в воспоминаниях наиболее ярко проявилось личностное начало писателя, который предстает как человек с сильной волей, независимый и бескомпромиссный, но со сложным, неумным характером. Порывистый, взволнованный, насыщенный едкой иронией стиль произведения объясняется психологическим состоянием автора — воспоминания бередают душу, вызывают неутрачиваемую боль («ужасно, лучше забыть, забыть...»).

По собственному выражению, он 13 лет «гнил в разложившейся России», всей душой ненавидит «хамствующий коммунизм» и «чванливых коммунистов», презирает этих «пачкунов проклятых», «сорок короткохвостых», злорадствует, что обманул «глупых коммунистов», с яростью проклинает Советскую власть («Будь ты проклята, Совдепия!»), «творцов» Октябрьского переворота («Да будут творцы ее прокляты!»), большевиков («Да будете большевики прокляты!») — озлобленность интонаций, резкость и грубость выражений придают повествованию эмоциональную экспрессивность и психологическую напряженность.

Следует заметить, что многие воспоминания известных людей зачастую обходят молчанием многие трагические события жизни в большевистской России. Причина тому, как правило, одна — опасение принести нечаянное зло другим. Так, епископ Вениамин (Милов), опасаясь, чтобы его записи не попали в чужие руки и тем самым не послужили косвенным доносом на кого-либо. О событиях собственной жизни владыка упоминает выборочно: кратко описывает ужасы тюрем, этаплов и лагерей, выпавших на его долю. При этом он никого не осуждает, не проклинает, лишь благодарит Бога за посланные испытания: «Господь научил меня — сибарита и любителя спокойной жизни — претерпевать тесноту, неудобства, бессонные ночи, холод, одиночество, показал степени человеческого страдания»⁷.

Этой духовной мудрости мы не найдем у непримиримого архимандрита, напротив, он проклинает, проклинает, проклинает.

Исследователи трагического периода гонений на Русскую Церковь отмечают фактические неточности в воспоминаниях архимандрита Феодосия, касающиеся как отдельных исторических событий, так и связанных с ними лиц⁸.

⁶ Соловьев И. Предисловие // Феодосий (Алмазов), архим. Указ. соч. С. 3.

⁷ Епископ Вениамин (Милов) // Русь Святая : Календарь на 2001 год с житиями святых и подвижников благочестия XX столетия. М., 2000. С. 186.

⁸ Соловьев И. Предисловие // Феодосий (Алмазов), архим. Указ. соч. С. 3.

Сам автор утверждает, что главным для него являлось при описании «верность действительности», а записки — заслуживающими абсолютного доверия. Себя же характеризует как «лицо, умеющее видеть, слышать и наблюдать, ко всему подходить с критической оценкой». Предупреждает, что «подробности объяснять не следует. Все описывается ... верно, но из-за умолчаний кое-что может показаться непонятным. Ничего не подделаешь: надо оберегать других».

Центральное место в воспоминаниях занимают Соловки, место ссылки и истребления «нежелательных элементов» — представителей «правлящего класса», «свободомыслящей интеллигенции», «состоятельных элементов», рабочих и крестьян, которые не повинуются каторжному режиму. Однако бросается в глаза, что в этом перечне почему-то не упоминается духовенство...

Некогда святой остров, где 500 лет не умолкали молитвы монахов известного всей России монастыря, превратился в остров «смерти, слез, горя, страданий и невыносимых работ», описанию которых посвящены опубликованные в этой книге главы воспоминаний.

Путь на Соловки начался с Кеми, куда в июле 1927 г. прибыл этап из 600 человек. На удивление, путь этот оказался не таким тяжелым. На самих Соловках архимандрита поместили в «карантинную» роту, которая располагалась в Свято-Троицком соборе, где, судя по описанию, он находился в Зосимо-Савватиевском приделе вместе с полусотней других заключенных.

Имея вторую категорию по трудоспособности, архимандрит Феодосий избегал тяжких работ на лесозаготовках и лесоповале, которые в течение нескольких первых месяцев проходили все прибывающие в лагерь заключенные. Сначала он собирал щепу на новой постройке, через несколько дней стал сторожем при ней, затем — счетоводом эксплуатационно-коммерческой части и даже помощником делопроизводителя местной бухгалтерии.

Однако после такого, казалось бы, «взлета» лагерной карьеры ему вновь пришлось стать сторожем и охранять кузницы, доки, склад с инструментами и... женский барак, который был устроен в бывшей монастырской гостинице за забором из колючей проволоки.

Первый этаж женбарака занимал «асоциальный элемент» — воровки и проститутки, второй — «благородные» обитательницы. Не без иронии архимандрит Феодосий замечает, что ему больше, чем кому-нибудь другому, доверяли женскую часть. Неоднократно ему приходилось становиться свидетелем жизненных драм, на его глазах женщины ночью убегали из барака на ночные свидания, а возвращались с какой-нибудь пирушки в лесу под утро «избитые, плачущие, растерзанные». В лагере, по словам заключенного, «процветала свободная лю-

бовь», но он не осуждает, не клеймит позором, напротив, с сочувствием относится к этим несчастным — «ведь это же живые люди».

Порой автор неожиданно проявляет удивительную осведомленность о разных любовных историях, отражающих реалии лагерной жизни: это и сцены ревности со слезами и истериками, громкие дела с показательным судом над обвиняемыми в «любовных преступлениях». Отмечается, что участниками этих процессов являлись не только уголовники, но и аристократки.

Возмущаясь аморальному поведению местных начальников, толкающих заключенных женщин на безнравственные поступки, автор воспоминаний признается, что писать о делах этих людей ему омерзительно, но приходится ради разоблачения большевиков, которые даже здесь в лагере сразу оказываются на административных или командных должностях. Условия их жизни значительно отличались от жизни других заключенных: они получали пайк до 30 руб. в месяц, т.е. почти на порядок больше других заключенных, имели отдельную кухню (одной из кухарок была княжна Гагарина), уборщиков; катались на лодке по Святому озеру, занимались спортом на спортплощадке, зимой — на катке. Они держались особняком, не сходились с беспартийной массой, но и солдовчане относились к ним брезгливо, инстинктивно их избегали, презирали за «комчванство» и имели на то право! В большинстве своем проштрафившиеся партийцы были «прохвосты из прохвостов», непорядочные и двуличные, и даже негодяи-изверги.

Нелестно отзываясь архимандрит Феодосий и о монахах упраздненного Соловецкого монастыря. Кто-то из них, по его мнению, «большевизировался», кто-то излишне груб и даже идет на открытый конфликт с заключенными архиереями.

По воспоминаниям архимандрита Феодосия в 1928—1929 гг. вольных соловецких монахов оставалось около 60, в основном стариков, которым было некуда уехать. Оставшаяся братия, работавшая плотниками, столярами, слесарями, получала ничтожно малую плату — «не по тарифной сетке», т.к. иноки не являлись членами профсоюзов, поэтому многие из них содержались на средства заключенных архиереев.

О них архимандрит Феодосий отзываясь также весьма критично. Один, по его оценке, бездарен, другой малообразован, третий имеет неуживчивый характер. Со свойственной ему резкостью автор обличает «никчемных рясоносцев», претят ему «шкурничество церковного совета», ненавистна «советизированная русская церковь».

Епископат, по мнению мемуариста, проявлял «излишнее важничанье», «держал себя очень гордо с заключенным духовенством». Обидным ему кажется,

что, с одной стороны, с ним обращались вежливо, с другой — для обсуждения общецерковных дел не приглашали. Последнее вполне можно понять, учитывая весьма несдержанный характер самого архимандрита, способного, например, не только обругать, но и побить «шпану»...

Как тут еще раз не вспомнить крутого нравом Аввакума, который в сердцах мог поколотить любого, т.к. всегда был горяч и «дратца лихой». Оба могли постоять за себя, оба были непреклонными и несгибаемыми.

Высоко ценит архимандрит Феодосий святейшего Патриарха Тихона, ставшего «символом духовной мощи верующей России», называя его смерть «великой печалью для Русской Православной Церкви».

К числу своих «благодетелей» заключенный архимандрит относит архиепископов Илариона и Петра, епископов Антония, Василия, Григория (последний нуждался сам). Но он, не выражая особой признательности и благодарности, лишь сдержанно констатирует, что владыки ему помогали, возможно, считая это само собой разумеющимся.

Архимандрит Феодосий не дает портретных описаний заключенных архиереев, но вспоминает отдельные эпизоды из их лагерной жизни: празднование праздника Покрова Пресвятой Богородицы с преосвященным Иларионом (Троицким) — бывшим ректором Московской духовной академии, а на Соловках — лесником, замечая, что «служба в лесничестве была привилегированной». Сам автор в течение 13 месяцев занимался в лесничестве счетоводством и свое дело выполнял, по собственной оценке, блестяще. Т.е. из двух лет один год был проведен в относительно благоприятных для соловецкой каторги условиях.

Во время празднования Покрова были «речи, яства, чай — уютно, назидательно и сытно». Архимандрит Феодосий неоднократно вспоминает чаепития с архиепископом Иларионом и его неизменное гостеприимство. Также неоднократно он будет утверждать, что этот владыка после двойного срока на Соловках заразившийся тифом, в итоге был отравлен.

Описывает он судьбу и другого соловецкого новомученика — архиепископа Петра (Зверева), с которым был знаком еще по Москве, когда будущий архиерей являлся иеромонахом-настоятелем Московского епархиального дома. На Соловках владыка Петр, поступив в каптерку I отделения, «повел дело широко: приемы заключенных, беседы, ужины», однако по доносу диакона Лелюхина был переведен в 5 роту. Тот же Лелюхин бесцеремонно выкинул вещи из келлии, что стало «неслыханным на Соловках скандалом», после которого архиепископ Петр был отправлен на Анзер и изолирован на Троицкой командировке за организацию в концлагере общения и помощи среди заключенного духовенства.

Сам архимандрит Феодосий в январе 1929 г. был переведен счетоводом в хозяйств VI отделения. На Соловках уже царил голод, начал свирепствовать тиф, поэтому водворение в хозяйств стало для него спасением — «был сыт <...> квартира была суха, тепла, просторна и народ хороший». Благодаря новой работе архимандрит Феодосий был в курсе «количества жертв, больничных беспорядков и преступлений на Голгофе», т.к. ведал учетом и распределением пайков и продуктов по всему шестому отделению. В связи с большим числом смертей (за восемь месяцев от тифа погибло до 500 человек) развился «целый промысел», связанный с наживой «посредством кражи и распродажи имущества и денежных квитанций» умерших. Кроме того, по утверждению священнослужителя, начальство анзерского отделения «умышленно, посредством тайных ядовитых уколов отправляли на тот свет тифозных и именно тех, от которых можно было поживиться».

Заразился тифом и владыка Петр. Благодаря доктору, который посвятил больному «все силы, знания и лекарства», мемуарист находился в курсе хода болезни, с радостью узнал он о том, что кризис миновал и появилась надежда на выздоровление. Однако 7 февраля 1929 г. — на праздник любимой архиереем иконы «Утоли моя печали» — он и скончался. Архимандрит Феодосий полагает, что архиепископа Петра «убили отравой» в корыстных целях — чтобы воспользоваться его имуществом.

Воспоминания о пребывании на Анзере и описание Секирки являются самыми трагическими в книге архимандрита Феодосия. Ему самому пришлось пройти через ужасы заключения в Кирилловской зоне среди «шпаны», на «мертвом пайке», изнемогать от голода, страдать от грязи и вшей; пережил он и штрафную командировку на Капорке.

Об ужасах, преступлениях, расстрелах в штрафном изоляторе на Секирной горе упоминается почти во всех воспоминаниях. Архимандрит Феодосий также пишет о самом страшном месте на Соловках, но основываясь уже не на личном опыте, а рассказах очевидцев, слова которых передают весь ужас лагерного заключения.

Конечно, некоторые узники пытались вырваться из соловецкого ада. Архимандрит Феодосий упоминает, без подробностей, о побеге группы морских офицеров. Следует отметить, что к белому офицерству он не испытывал ни сочувствия, ни симпатии, потому что многие из бывших белогвардейцев, не принимавших участия в гражданской войне, надеялись «спокойно при новом строе доживать свои дни, а то и поработать для славы новых порядков». Это расценивается автором как предательство. Без сожаления сообщает он о расстреле 3000

человек: «... большевики, не желая их услуг, всех расстреляли — “по делам вору и муки”».

Работая над своими воспоминаниями, архимандрит Феодосий читал книгу бывшего генерал-майора Генерального штаба И. М. Зайцева⁹, отношение к которому у него неоднозначное. С одной стороны, он признает, что генерал описал «соловецкую каторгу с исключительной правдивостью и беспристрастием», с другой — со свойственной ему резкостью архимандрит критикует «плаксивый тон» книги и видит в этом «стремление разжалобить старую проститутку Европу величиной и глубиной неизмеримых страданий русского народа. Идеалистические побуждения старой проститутке чужды...» И тем не менее книгу Зайцева о «страданиях русского народа в Соловках» архимандрит Феодосий считает, и не без основания, «замечательной, правдивой в высшей степени». Это воспоминания о «мучениках христианской культуры — лучших людях истории».

Архимандрит Феодосий надеется, что «потомству останутся подробные ... записки» и уверен, что «историк всем воспользуется». Ценными становятся сведения о каждой личности, прошедшей путь мученичества и исповедничества в советской России.

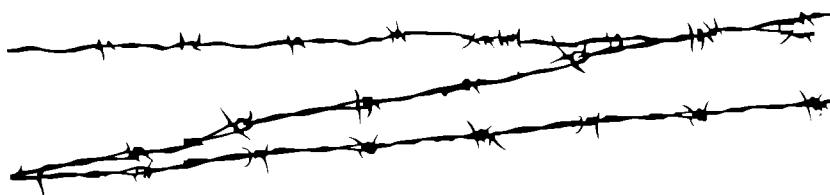
Обращение к прошлому неизбежно, и обращение это безусловно приводит к осмыслению важнейших событий собственной и общественной жизни. По-разному одни и те же факты предстают в воспоминаниях, записках, мемуарной литературе. Это вполне естественно, так как взгляд у каждого свой, субъективный. И это на самом деле хорошо, так как помогает не только сломать привычные стереотипы — исторические, культурологические, — но и найти истину. «Ушедшие оставляют нам часть себя, чтобы мы ее хранили, и нужно продолжать жить, чтобы и они продолжались. К чему, в конце концов, и сводится жизнь, осознаем мы это или нет. Мы — это они...»¹⁰

⁹ Зайцев И. М. Соловки: Коммунистическая каторга, или Место пыток и смерти // Воспоминания соловецких узников. Т. 2. Соловецкий монастырь, 2014. С. 172–330.

¹⁰ Из речи И. Бродского, произнесенной на вечере памяти Карла Проффера (Beinecke, Box 29, Folder 8).



Мои воспоминания¹



Ссылка в Соловки

Жить в доме становилось год от году все труднее. За мной следили, чем я живу, ибо каждые полгода требовалось давать финансовым агентам сведения о средствах к жизни. Я утверждал, что прихода не имею, а добываемые уроками средства не достигают тысячи рублей в год (минимум 1925 года), ни 600 рублей (минимум 1926 года), как безработный получаю пособие. Тогда я еще состоял членом союза. Подоходный налог заплатить было не трудно, но в сем случае плата за комнату возросла бы более чем в пять раз и оплачивалась бы не по заработной плате моей двоюродной сестры, у которой я жил, а по моему «поповскому» заработку. Повторяю, что сила моя была в том, что я великолепно знал советские законы о налогах, квартирной плате, безработных и часто давал советы в правлении дома. Коммунисты за мной следили, но нападать боялись, ибо у них, как у всех «шкурников», «рыльце в пуху». Я часто присутствовал даже на заседаниях правления дома (а дом был громадный), хотя, как служитель культа, на это не имел никакого права.

Но с конца 1926 года все перевернулось вверх дном. Коммунисты любят «шалить», но не любят за «шалости» расплачиваться, как того требует закон об алиментах. Я составил прошение одной из коммунисток об истребовании алиментов с одного коммуниста — и он и она жили в нашем доме. Простение было обставлено документально, и истица выиграла дело. Коммунисты возмутились против моего вмешательства в их проказы. После многих судебных разбирательств

¹ Феодосий (Алмазов К. З., архимандрит). Мои воспоминания: (Записки соловец. узника) / подгот. текста и публ. М. И. Одинцова; примеч. и коммент. И. В. Соловьева; О-во любителей церков. истории. — М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1997. С. 72—107.

мною выигранных, на меня была состряпана жалоба коммунистической частью дома в ГПУ о том, что я добивался у истицы сведений по изготовлению противогазовой повязки, которые были секретными. Когда убит был Варшавский «полномочный представитель» большевиков Войков, меня арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Польши, в составлении тайного сообщества для свержения советской власти и т.д. А вся моя вина только в том и заключалась, что я составил истиче прошение об увеличении заработной платы, что было разумно и справедливо. Арестовали меня в середине июля, увезли на Шпалерную, где я просидел в общей камере дома предварительного заключения (ДПЗ, камера № 20). При обыске, конечно, у меня ничего не нашли. Ни денег, ни продуктов я по своему обычаю в тюрьму не взял. Как и в 1924 году в Бутырках, в 1927 году на Шпалерной кормили так, что с голоду умереть нельзя было. Но обращение с арестантами было очень грубое. Проверки утром и вечером производились тщательно. Был уже настоящий арестантский режим. Часы у меня отобрали, и я получил их только на Соловках. По случаю убийства Войкова все петроградские тюрьмы были переполнены. Не сразу вызывали меня на допрос, кажется только через две недели. К допросу меня позвали в ту же ночь, около часа ночи, когда перед тем около 11 часов вечера вызывали двух эстонцев-«шпионов» на расстрел. Они так и не вернулись, а вещи их староста камеры распродал и при моем отправлении в Соловки мне дали два рубля на дорогу. Допрашивали меня трое, между прочим, один товарищ еврейского типа с пронзительными, умными и беспощадными глазами. То ли они хотели сбить меня перекрестными вопросами, то ли это была знаменитая «тройка», получившая в те дни особые права на расстрелы. Правду сказать, я не боялся допроса: к допросам я уже привык — не в первый раз. Я ошетинился. Я чувствовал себя совершенно непричастным к шпионажу и, следовательно, был уверен в отсутствии улик против меня. Кроме того, я уверен был в совершенной неуловимости и по части агитации против советской власти. Хотя в этом направлении у большевиков никогда не бывает твердых данных, но они рассуждают так: «поп» — значит агитатор. Проповеди мои в это время были совсем скромны. Я обличал только атеизм. Политики касаться не стоило — по бесплодности усилий этого рода. Народ упал духом. Критиковать «Живую церковь — обновленчество» — тоже излишняя работа. Христиане давно уже пропели этому «живому» трупу вечную память. Храмы у нас отбирались уже без бою. Одни из них закрывались, а другие передавались обновленцам. Они их тоже бросали из-за отсутствия прихожан, с одной стороны, и накопления долгов вследствие неуплаты налогов — с другой. Аналоги все увеличивались. Религию теснили «не дубьем — а рублем» — современный метод угащения духа.

На допросе я держался вызывающе. Да и следователь, кажется, из поляков, попался бестолковый. Промучились они со мной часа полтора. Еврей и моряк — члены тройки — куда-то исчезли. Я проговорился умышленно про следователя Макарова, который имел со мной дело два раза уже.

— Где бываете у знакомых?

— Нигде, — отвечаю.

Следователь спрашивает:

— Кто у вас бывает?

— Никто, — отвечаю.

— Да ведь вы ходите же куда-нибудь?

— На рынок, за провизией, — ответил.

— У кого покупаете?

— У кого придется.

— В какой церкви служите?

— Вас по конституции это не касается, — отвечаю.

— В какие часы гуляете?

— Никогда не гуляю.

После некоторых вопросов и ответов произошло замешательство. Макаров говорит: «Да вы предложите обвиняемому вопросы из дела». Следователь промолчал, Макаров ушел. По сему допросу протокола не удалось составить. Восьмого июля днем я был снова вызван к следователю. Он решил обвинить меня в шпионаже по заявлению коммунистки о противогазовых повязках. Мне было предъявлено обвинение по ст. 58, примечания 10, 13 Уголовного Кодекса в редакции 1926 года. Я отказался подписать протокол о даче мною дополнительных показаний об истинной причине ложного доноса (ссоры в доме). Следователь выдал мне дополнительный печатный бланк за своей подписью, которую никак нельзя было разобрать, обещав вызвать меня в тот же день вечером. Я подписался под протоколом и был обманут прохвостом, хотя целый день употребил на составление дополнительного показания. Тринадцатого июля 1927 года мне был объявлен приговор по обвинению в нарушении статьи 58, примечания 5, 10, 12, 13 УК, и в тот же день вечером мой этап был погружен в вагоны с маршрутом на Соловки. Мне было дано три года каторжных работ в концентрационном лагере на Белом море — в Соловках.

СОЛОВКИ – КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ВОЕННЫЙ ЛАГЕРЬ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

*для истребления правящих классов
и состоятельных элементов Императорской России,
ее свободомыслящей интеллигенции
и уголовного элемента в среде большевиков*

Итак, меня обвинили в шпионаже в пользу Польши, в тайном соучастии в международной буржуазной организации для свержения советского строя, в укрывательстве ее участников и в агитации против большевистских управителей. Само собой разумеется, что никакого шпионажа я не учинял, ни в пользу Польши, ни в пользу другого иностранного государства, а с отсутствием правды в этом обвинении, падают и все остальные (мнимые) против меня обвинения. Дело пошло быстро. 13 июля 1927 года мой этап в количестве 600 человек был направлен в Кемь, что у Белого моря. Нас везли без особых стеснений, в обычных пассажирских вагонах, и обращение конвоя с арестантами, каковыми мы являлись, было внимательное.

17 июля по прибытии в Кемь на знаменитый ныне в летописях Соловецкой каторги Попов остров, вместе с другими я был назначен во вторую карантинную роту. Теснота неопишная. Клопов количество ужасающее. Обыск. Проверка. Все на военный лад. Отделение коммунистов от остальных арестантов. На следующий день всю «шпану» куда-то угнали работать, в роте стало очень свободно. Но клопы, лишившись кормильцев, направили на оставшихся всю свою алчность: получилось нечто вроде персидского клоповника. Устроили нам баню, но оказалось, что в бане для мытья холодной воды сколько угодно, а горячей давали по билетикам только две шайки небольших размеров.

Испугавшись грядущей грязи от недостатка теплой воды, вшей и клопов, я был переправлен по моей просьбе в первое отделение Соловецкого концентрационного лагеря двадцать четвертого июля с очередным этапом. Повезли нас в три часа утра, а в семь часов нас высадили в Соловках. И опять поместили в карантин 13 роты. Она помещается в пристройке к главному собору и в самом соборе. Эта рота знаменита тем, что «шпану» там бьют, да могло и мне попасть, если бы я воспротивился какому-нибудь распоряжению.

Меня навестили архиепископ Воронежский Петр (Зверев) и земляк профессор И. В. Попов, а священник-казначей I отделения В. Лозина-Лозинский накормил меня обедом и купил мне сахару. У меня никакой провизии не было.

Одет я был умышленно в рваную рубашку, чтобы «шпана» не зарилась на мои тряпки. Разделили нас на взводы, и я попал в третий взвод. Светлая комната — бывший правый придел собора. Нары. В третьем взводе поместили только интеллигенцию после того, как обирали некоторых имевших приличный багаж. Опишу некоторых. Вот десятилетник полковник (фамилию забыл), окончивший Нижегородский кадетский корпус и бывший там воспитателем. Внимательный, воспитанный и образованный. Он был старостой нашей камеры. В ней было до 50 человек. Его заместителем избрали меня. Вот заключенный инженер, занявший быстро место бухгалтера в Управлении ЭКЧ, тоже десятилетник. Со мной везли, но поместили в первом взводе протоиерея М. Митроцкого, осужденного на пять лет, члена Третьей государственной думы.

В карантинную роту никого не пускают и оттуда никого не выпускают, но на физическую работу гоняют всю интеллигенцию две первые недели обязательно. Для четыре меня, как старика, не беспокоили, тем более, что мне, как в Кемии, так и здесь, дали вторую категорию по трудоспособности. Физическим трудом в первые две недели по приезде всех заставляли работать, но у меня, очевидно, был очень изможденный вид. По общему порядку лицу, медицинской комиссией отмеченному в списках первой категории по трудоспособности, работать не позволяют, но и дают зато только основной паек, на котором без домашней поддержки можно и умереть. Этот же паек, «основной», называется «мертвым». Лицу, получившему вторую категорию по трудоспособности, позволено по Соловецкому закону не работать, но при основном «мертвом» пайке. Лицо, получившее третью категорию, обязано работать. Четвертую категорию получают те арестанты, которых медицинская комиссия признает здоровыми. Они по Соловецкому порядку обязаны работать в день не менее десяти часов без возражений и лени, выполнять всякую работу. Это «лошадиная» категория, которая через два-три года при жестоком обращении, в Соловках принятом, делает массу заключенных инвалидами, калеками, кандидатами 16 роты — кладбища.

Нужно сказать, что в Соловках лица физического труда по большей части получают усиленный паек. Конечно, на этом усиленном пайке не разжиреешь. Когда я был в 1927—1929 гг. в Соловках, основной паек был расценен в 3 р. 78 к. в месяц; трудовой — в 4 р. 68 к.; усиленный — в 8 р. 32 к. С января 1928 г. по первое апреля 1929 г. я получал денежный усиленный паек. Все пайки выдавались или готовой пищей из общего котла, или сухими продуктами, или деньгами. «Шпана» денежных пайков не получала.

Меня не потому в первые четыре дня не брали на работы, что я старик 57 лет, но потому, что я ношу духовный сан. И не из уважения к духовному сану

это, конечно, делалось, а потому, что заключенному в Соловках духовенству Тихоновской церкви доверены были везде «каптерки», как арестантам евреям — кооперативы. Ксендзам и раввинам «каптерок» в распоряжение не давали. Им, как и православному духовенству, тоже доверяли, но их в Соловках было сравнительно мало и ими было не заместить всех вакансий, а совместная служба в каптерке духовных лиц разных исповеданий не признавалась желательной. В 1927 г. из кооператива заключенные могли покупать что угодно и сколько угодно. Но никто лишнего и не запасал — и потому, что нужды в этом не было, и потому, что «шпана» все равно ухитрилась бы растащить. В ротах воровство было очень развито. Я сам три раза был обокраден. В 1928 г. ограничили право покупки продуктов. Съестных продуктов можно было в месяц брать не больше, чем на тридцать рублей. Это распоряжение было для меня большим ударом. Мои благодетели до этого ограничения дарили мне денежные квитанции, по которым я и забирал мне необходимое. Мои благодетели: архиепископы Иларион и Петр (оба умершие), епископы Антоний и Василий (оба в ссылке). Но установление тридцатирублевого месячного расхода прекратило мне эту помощь, потому что этих денег хватало на расходы только самому их собственнику. Велись тщательно особые книги контроля, и нарушитель правил, истративший, например, в месяц сорок рублей, в следующем месяце получал кредит только на двадцать рублей. Всякие «обходы» как этого закона, так и других, наказывались кроме того «Секиркой». Секирная гора — тюрьма в Соловках, около Савватеева.

Нужно сказать, что в Соловецком лагере решительно все должности и работы выполняют каторжане. Свободными гражданами в пределах Соловецкого концентрационного лагеря являются: начальник Управления (УСЛОН), начальник административной части, Соловецкое ГПУ, главный следователь по преступлениям (только уголовных) среди заключенных, начальник эксплуатационно-коммерческой части (ЭКЧ), начальник охраны лагеря и команда ее в количестве 400—500 человек. Все остальные должности заняты или заключенными лагеря, или заключенными освободившимися — таковым советская служба за пределами Соловецкого лагеря запрещена на всю жизнь. Заключенные, работающие в отделе труда (распределение на работы по лагерю) не решаются резко нажимать на духовенство и мучить его работами. От духовенства в каптерках многое зависит по раздаче сухих пайков. Наживешь врага, и желудок отощает. С другой стороны, и духовенство благоволило к работающим в отделе труда. Не поладишь с нарядчиком своей роты — не попадешь в церковь, ибо не получишь пропуска в праздник за пределы Кремля. Опять-таки и нарядчик должен избегать сурового обращения с заключенными своей роты. Угодишь сам в подчинение, и тогда

плохо будет от тех, кого в свое время не уважил. Командиры роты выбираются Соловецким начальником из заключенных офицеров или красных командиров, или из бывших коммунистов. Всякому коммунисту, попавшему в Соловки, обратная дорога в партию закрыта. Но они, в мое время, наполняя 9-ю роту — роту отверженных, все-таки не меняли своих политических позиций и не сходились с беспартийной массой. Да и она их инстинктивно и брезгливо избегает. Вообще любопытна была эта рота. Сколько помню, я в ней не был ни разу или не больше разу — разыскивал лесника лесничества Гловацкого-Романенко, навязанного лесничеству административной частью. Это был прохвост из прохвостов. Как леснику, ему и был поручен надзор за лесорубами во II отделении. Я в управлении лесничества работал делопроизводителем-счетоводом. На проверку девятую роту, сколь помню, не выводили, не видал ни разу. Да, вероятно, и выводить было некого. Работающие по надзору всегда были в расходе. Работали они по списку, в тайной охране, по надзору. Не известны их пайки — обычно денежные. Не знал я их нарядчика, тот по должности часто бывал в отделе труда. Разговаривать о девятой роте значило навлекать на себя подозрение, все равно как быть в хороших отношениях с командиром роты. И он, если был замечен в хороших отношениях, в особой дружбе с кем-либо из заключенных в своей роте, обязательно терял место.

Лишь только командир сводной роты, в которую я был зачислен по работе в лесничестве, князь Оболенский держал себя с достоинством, но все-таки с опаской. Иногда командиры роты («комроты») умышленно бывали грубы с некоторыми заключенными, но мы только улыбались. Комроты брали взятки за различные ослабления, ровно как и старосты отличались тем же. Это очень любопытное учреждение. Не то это надстройка к системе Соловецких порядков, которые велись старостатом, но не ими, конечно, устанавливались.

Вот штрихи, по моему мнению, характерные. Однажды я сторожил у складов днем. Шел из заседания с группой ротных командиров помощник начальника Управления лагерями Мартинелли — громадного роста мужчина, по характеру не очень худой итальянец. Ушедших шел разговор о том, кого назначить лагерным старостой. Кто-то предложил Мартинелли кандидатуру чью-то (фамилию забыл теперь), Мартинелли ответил: «Мы его знаем, для нас он человек приемлемый, но сумеет ли он остаться в доверии у заключенных — вот в чем задача». Речь шла, конечно, об интеллигенции и духовенстве, вообще не об уголовниках. Названное лицо и было назначено. Кажется, он был поляк. Этот староста (другой факт), читая какой-то приказ на проверке по лагерю сказал: «Вам эти правила не нравятся. Ну и наплевать. Мне они нравятся. Я управляю лагерем».

Лагерному старосте приходилось лавировать между начальством (высшим, вольным) и заключенными, хранить дисциплину и мир в лагере. Охраны было мало, оружие носили только пятьсот человек. А заключенных иногда только в первом отделении лагеря было до четырнадцати тысяч человек. Действовала система самоуправления (как будто). Командиры роты назначались старостатом, он считался выборным учреждением, хотя, конечно, никогда никаких выборов не было — по приказу, который подписывался начальником отделения и делопроизводителем административной части ГПУ, которая тоже состояла из заключенных. Старостат распределял заключенных по ротам, с согласия командиров рот. Старостат вел списки заключенных и карточки их проступков: карцер, (Секирка), хотя таковые ведутся и в административной части отделения и в следственной части и, самая точная, — в главной Соловецкой административной части. Нужно же давать заключенным работу. Когда меня раз арестовали за грубость с конвоем, то от коменданта I отделения вольной я попал в старостат, а оттуда им был направлен по рапорту коменданта в «отрицательную» роту. Это рота самого худшего уголовного элемента, но туда часом раньше меня приведен был под арест главный соловецкий ревизор из заключенных, чему и я удивился. Оказывается, вышел приказ, запрещающий заключенным поздно вечером провозжать канцеляристок. Ревизор в 11 часов вечера провожал Лидию Михайловну Васютину, и их обоих арестовали: ее отпустили, а его посадили в «отрицательную» 2-ю роту. Правду сказать, был ноябрь, его арест был нечаянным: в темноте командир роты не рассмотрел. Через день его освободили по приказу Эйхманса и начальника каторги. А меня посадили даже прежде приказа, что было незаконно. Но старостат, обязанный защищать интересы заключенных и наблюдать законность, убоился коменданта, и я был брошен в ад кромешный, где пробыл пять суток. Иногда приказы по Кремлю (I отделение) подписывались лагерным старостой. Старостат можно считать учреждением, параллельным Управлению и аналогичным ему. А вообще это была лишняя, бесполезная, замедляющая инстанция, дающая мираж самоуправления каторги. Когда меня освободили, то из VI отделения (Анзер) привели прямо в старостат без конвоя.

Возвращаясь к прерванному рассказу. Первую неделю по приезду в Соловки меня на физическую работу не брали, видимо, как духовное лицо со второй категорией, но на поверку выводили. Эти поверки на сквозном коридоре продолжались часа по три, а под Успенев день (28 августа) до двенадцати часов ночи. Сунуло меня проговориться кому-то, что меня на работы не берут. Кто-то куда-то донес, и на следующее утро меня погнали собирать щепу на новой постройке. Беда, да и только! Работа пустая, легкая и главное, нелепая, никому не нужная.

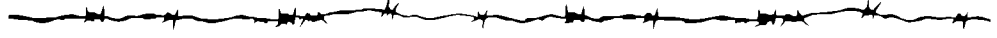
С устройством печей эти щепы все ушли на топку. Но нужно было гнутья, что мне было очень вредно. И так продолжалось несколько дней. В последний день обязательного физического труда я даже был назначен начальником партии. Мне в подчинение попала «шпана», которая меня не слушала, и работа не была выполнена. Дело было в субботу — 6 августа, а 7-го я уже был назначен сторожем к той постройке, где в первый раз собирал щепы. Они уже были убраны.

Через день по приезде новой партии в лагере особая комиссия опрашивает арестантов об их профессиях. Я назвал себя счетоводом, педагогом, научным работником, экономистом... «Ну, довольно, — говорил председатель с улыбкой. — Вы с высшим образованием?» «Да, — отвечаю». Меня 9 августа сразу же и назначили счетоводом эксплуатационно-коммерческой части (ЭКЧ УСЛОН). Заведующим в отделе бухгалтерии ЭКЧ был Борис Степанович Лиханский — с трехлетним сроком. Это был очень хороший начальник. Мне дали после проверки моих счетоводческих познаний вести товарную книгу с 900 счетов. Она была в четырех книгах. Счетоводство этой детальной книги было запутано старшим счетоводом Релик. Он скоро освободился, кажется, по чистой — прямо на волю, редкий случай. Вел он эту книгу вместе с Лидией Михайловной Васютиной (несчастливая особа, лет 30). При царском правительстве она попала в тюрьму на следующий день после свадьбы. Она была социал-революционерка. И большевики дали ей пять лет Соловков. Она после меня еще осталась в Соловках. На делопроизводстве сидела Ольга Ивановна Благова — аристократка. На молочном счетоводстве — Мария Александровна Баранова. У обеих мужей расстреляли. И обе в Соловках увлекались любовью. У Барановой потом была громкая по Соловкам история — даже с показательным большевистским судом. Забыл я уже фамилию того заключенного, который был у Лиханского помощником, как и трех счетоводов. Один из них был вывезен в Соловки на месяц раньше меня, он был старостой камеры № 90, где я жил, и относился ко мне очень хорошо. Другой — Садовский, с десятилетним сроком, был после заведующим торговой бухгалтерией. Он офицер, одного со мной этапа, мой приятель.

Со всеми отношения были отличные. Но с Васютиной работать я не смог. Счетоводства она не знала, счетами-косточками не владела, хотя была усерднее меня, но зато и путала много. Счетоводство я знал отлично и великолепно, безошибочно и быстро считал на косточках. Никак мы с ней не могли вывести остатки по каждому счету, как в товаре, так и в остатке его. Голова ломилась от изнурения, хотя подавали чай. Собственно, мы с ней вели счетоводство Розмага (Розничного магазина-универсала), в Соловках устроенного. Не сходились денежные графы книги с показаниями кассы. Не сходились товарные остатки с

наличностью магазина. Чья вина? Васютина была с Реликом на этой книге раньше меня, и меня, как оказалось, взяли выправить эту книгу. Тщательно ознакомившись с делом, я заявил, что эту книгу выправить нельзя по запутанности и детальности записей, ее нужно бросить, произвести ревизию склада и магазина, записать наличность остатков в новые книги начинательного баланса и дальше вести их по ордерной системе правильно и своевременно. Это было ударом по Релику, который никогда счетоводом не был и должен был скоро освободиться. Он боялся ревизии, и мой план провалился, а я, не желая отвечать за чужие ошибки, отказался от счетоводства в ЭКЧ и переведен был помощником делопроизводителя в Главную бухгалтерию СЛОН. Кстати, Сорокин, заведующий складом универсала, за недостачу товара на шесть рублей и попал под суд, но при моей помощи, по моему докладу, и был оправдан. Релика уже не было. Делопроизводитель Рык, помощником которого я был, должен был освободиться, и я бы занял его место, как и предполагалось: работа в делопроизводстве мне понравилась. Но этого не случилось, ибо заведующий-грузин не представил меня к утверждению, вследствие отсутствия о сем с моей стороны просьбы.

Я не знал, что должен сам следить за окончанием двухнедельного срока испытания и, если желаю, просить своевременно об утверждении. Две недели прошли, ходатайства не было, и отдел труда снял меня с работы и я опять оказался сторожем. Об этом перемещении мне сообщили вечером в десять часов, когда я уже улегся спать в десятой роте. Отвечаю: «Я не просил перевода». На лице собеседника недоумение. Утром на поверке нарядчик официально меня оповестил о перемещении, добавив, что жить я буду по-прежнему в 10 роте, а подчинен буду командиру 6 сторожевой роты. Это для меня было ударом. Правда, работа сторожа вообще очень приятна — всегда на свежем воздухе, дела никакого, но наступала Соловецкая зима, а у меня теплой одежды не было. Уже 29 сентября выпадал снег. Начинаются в это время морозы, ветры морские, грязь, сырость и проч. Положение становилось критическим. Из Петрограда я ждал своего полушубка, теплых брюк, валенок и чулок, все это и пришло, но полушубок был хорош для экваториальных холодов, а не для Соловецкой зимы. Пришедшая почтой одежда меня мало устраивала. Казенного полушубка сторожам не давали. Сторожевых будок почти не было, по крайней мере, там, где мне было поручено сторожить. Теплых дежурств мне не давали. Оружия, как духовное лицо, я не имел права носить. Мне было поручено охранять кузницы, доки, склад железных инструментов и переднюю часть двухэтажного здания женского барака (до 400 женщин). С задней стороны женского барака дежурил с ружьем полковник Беспалов. У нас была только одна задача — не допускать поломки досок окру-



жавшего барак забора, но мы могли безнаказанно пропускать незамеченными бегство заключенных женщин ночью на свидания к своим любовникам и через забор, и под ворота. В Соловках процветала свободная любовь, и на своем сторожевом посту я наглядился всяких видов — дежурил я у женбарака с 20 сентября по 20 ноября. То в 3 часа ночи возвращаются с какой-нибудь пирушки в лесу женщины, избитые, плачущие, растерзанные. То в это же время через часового, стоящего у главного входа в женский барак, комендант требует в комендатуру какую-нибудь Левину (помню и фамилию). То разыгрывались сцены ревности: слезы и истерики обманутой и избитой. То, быстро сбежав с высокого крыльца и стремглав промчавшись мимо часового, скрывается в ночной тьме ищущая утешения в горькой доле несчастная — ведь это же живые люди. Часовой должен и имеет право стрелять, но пока он выскочит из будки и возьмет на прицел, ее уже и след простыл. Часовой из вольных сторожит только главный выход, и мы ему не подчинены, а стоим на равных правах. Да часовому и стрелять-то не хочется: все равно ведь к утру вернется. Ее, конечно, в барак без документа не пропустят, а документы она не станет показывать: лучше она сделает часовому глазки или заплачет и тот, махнув рукой, пропускает ее спать. Все это знало и начальство.

Положение мужчин было хуже, особенно тех, которые жили в Кремле. Возвращающийся с работы и не предъявляющий документа у ворот, препровождается в комендатуру обязательно, а там дело иногда оканчивалось и карцером, да и вырваться из Кремля без пропуска было трудно. В октябре 1927 г. арестанты Соловецкого концлагеря гадали и соображали, до каких милостей доживут они в ноябре, по случаю 10-летия Октябрьского переворота. И мы с Беспаловым, махнув рукой на женский барак и попивая чаек в кузнице, мечтали о том же. Как питерский арестант, искушенный в политике, я не заблуждался, но Беспалов надеялся, и в 1928 г. получил осенью досрочную ссылку. Ключик охраняемой мною кузницы был уже у меня по доверию. Шла в Соловках обычная осенняя разгрузка. Новые этапы были невелики. Все сторожевые очереди перепутались, и мы с Беспаловым постоянно дежурили от 12 часов ночи до 8 часов утра, когда наибольший холод и сильнее спать хочется. Очевидно, нам больше, чем кому-нибудь другому, доверяли женскую часть.

Около 28 октября 1927 г. на дежурстве я видел сон, когда меня одолела тонкая дремота в пристройке к кузнице. Я видел явственно умершую мать на смертном одре. Она повернулась на правую сторону — я стоял у изголовья, но лица ее не видел. Около нее стояли братья и сестры. Матери подали икону. Она меня дважды благословила этой иконой, а при третьем благословении икона выпала у нее из рук и ее голова с телом приняла обычное положение умершей лицом

вверх. Из этого явно пророческого сна я сделал вывод, что я, прожив два года в Соловках, на третий год умру там — ведь я был осужден на три года. Оказалось, что видение имело другой смысл: мать благословением указала мне, что на третьем году я буду изъят из Соловков. Свою маму я считаю святой женщиной, и, плывя беглецом по реке Обь на пароходе, я просил именно ее горячих молитв об удаче побега. И дорогая мать осуществила любовь к родному сыну — мой побег удался. Пророчество матери сбылось, но в другом направлении, против моих толкований. Я ждал смерти на далеком севере, а Господь благословил жизнь на горячем юге. Слава Господу!

Прошло десятилетие Октябрьского переворота (1917—1927 гг.), рухнули все надежды: амнистия вышла куцая, с классовым подходом. Да будут творцы ее прокляты. Дежурства становились все труднее. То же время от двенадцати часов ночи до восьми часов утра. Холод. Снег. Метель. Ветер. Всякая одежда оказывалась недостаточной. Надоело мне все это. А тут еще случился арест на пять суток «отрицательной» роты, после чего дежурства в другом месте оказались еще труднее: никакой кузницы.

10 декабря 1927 г. я явился к главному бухгалтеру ЭКЧ Павлу Яковлевичу Шулегину — он благоволил к духовным лицам. Теперь он отбыл три года Сибирской ссылки (1933 г.), и, где он сейчас, не знаю. Было свободно место делопроизводителя-счетовода в лесничестве. Управление им помещалось в Варваринской часовне — в трех верстах от Кремля. Это было наиболее завидное учреждение в Соловках. Заведующим был Василий Антониевич Кириллин, ученый лесовод-десятилетник. В мое время в лесничестве работали князь Чегодаев Г. Н., Шелепов В. И., Гудим-Левкович, Ганьковский, Ризабейли Н. Н., Бурмин, С. П. Минеев, протоиерей Гриневич. В числе других участковыми лесниками были: архиепископ Иларион (Троицкий), умерший после двойного Соловецкого срока (три + три года) в Петрограде от тифа, отравлен — досконально известно; епископ Антоний Панкеев — три года Сибири; епископ Василий (Зеленцов); протоиерей Трифилев (дважды в Соловках и три года Туркестана); Иуда-Гловацкий-Романенко, тип крайне отрицательный. Большую дружбу с нами вел и епископ Алексей (Палицын) — из рыбного и зверопромышленного комитета.

В лесничестве, по приказу Шулегина, нужно было провести американскую систему счетоводства, и я за это дело взялся. До меня счетоводство в лесничестве вел Лысцов самым упрощенным способом, но не по двойной бухгалтерии. Шулегин назначил меня, о чем дано было знать отделу труда, который и выдал мне рабочее сведение. Кириллин меня не принял, ибо представил своего кандидата из финансовой части и мне выдан был письменный отказ. Дело приняло

резкий оборот. После бурного объяснения с Кириллиным — очень авторитетным человеком — Шулегин настоял на своем. По предварительному соглашению с главным бухгалтером из финансовой части прислали отказ в отпуске работника (азербайджанец-кавказец) для лесничества и я в нем утвердился на 13 месяцев. Дело я выполнил блестяще: «американку» завел по последней форме. Шулегин был доволен. Кириллин начал мстить. Не хотел давать усиленного денежного пайка — приказали из хозяйственной части включить меня в список на усиленный денежный паек. Об этом постарался Шулегин, заведовавший там этой частью. С квартирой дело обстояло хуже. Надо сказать, что служба в лесничестве была привилегированной: любые часы работы для живущих в часовне, две плиты для варки пищи, готовые дрова, отопление, освещение, комната на троих-четверых, никаких проверок, свобода хождения из Кремля и в церковь в любое время, никакого «вольного надзора», но налет его бывал, например, при общих обысках по всему лагерю. Работы в общем мало: без контроля. Лишь иногда работа была безумно спешной. В двадцать четыре часа вдруг требуют из ЭКЧ доклад с цифрами, которые нужно добыть из сырого материала. Заведующий пишет, я даю цифры и переписываю. Несем доклад в Кремль — оказывается, он уже не нужен и работа брошена.


Из 13 роты карантина я был назначен в 10 роту, а оттуда в сторожевую шестую, оттуда опять в десятую, теперь она называлась первой, оттуда в пятую роту, а затем в четвертую. Кириллин не давал мне разрешения перебраться в лесничество на жительство. Всю зиму 1927—1928 гг., весну и до 15 июня я ежедневно ходил на занятия в лесничество из Кремля, на что уходило не менее двух с половиной — трех часов. Тяжело было мне, старику, но не хотелось уступать. Помню три дня (16—18 декабря 1927 г.) страшная метель занесла знаменитую дорогу на Реболду мимо часовни, около которой летом в былые времена проходили десятки тысяч паломников. Вышли мы с Ризабейли из Кремля, дошли до леса — сугробы и на поле, и в лесу выше человеческого роста, особенно там, где залив Глубокая губа подходит близко к дороге. Трудно были вынести это мучение. Приходилось ложиться параллельно сугробу и перекатываться через него. В лесу не было холодно, но было снежно и сыро — обойти сугробы нельзя. Падая от изнеможения. Проваливался в сугроб. Я имел право не являться на работу в эти дни, но опасался карцера: доказывай потом, что в лесу сугробы — никто проверять не пойдет. С установлением санного пути через эти сугробы, хождение на работу по морозцу было даже приятно. Лишь летом я попал на жительство в домик при часовне. Отношения наладились. Служба пошла хорошо. Заведующий успокоился, но не надолго. Однажды Шулегин говорит мне на докладе: «Ну

что, доволен?» Я отвечаю: «Вполне доволен». «Да, — продолжает он, — место стариковское». «Благодарю, Павел Яковлевич». Снова начались ссоры между заведующим с одной стороны, и Ганьковским и Шелеповым — с другой. Я принял сторону Кириллина. Борьба кончилась в нашу пользу. Милнева послали лесником-инструктором в Анзер, а его предшественника взяли в часовню. Ганьковского сослали на Кондостров, это место вроде Соловецкой ссылки нежелательного элемента. Шелепов был удален на командировку «Сосновая» — в лес: работы почти там нет, но скука ужасная. У него завелась Лиза — ей он отдал свою шубу, деньги, пайки за «особые» услуги, о которых сначала Кириллин не знал, ибо сам же просил меня укрепить ее при лесничестве постоянной прачкой, чего мне, однако, достичь не удалось. Дело стало гласно, и мы прачку убрали. Шелепов безумствовал — послал ей чернику на торфоразработки за восемь верст от «Сосновой» — туда ссылались все проститутки. А какие милые письма писала Шелепову жена — она же ему и шубу прислала. А Вася подарил эту шубу Лизе. За это правильно рассердился Кириллин. Он по доброте Лизу освободил и вернул Шелепова в часовню.

И снова загорелась борьба, против меня пошел протоиерей Гриневич. Мне все эти ссоры уже надоели. И я заявил новому бухгалтеру ЭКЧ, что в лесничестве больше работать не стану. По распоряжению Кириллина мне пришлось работать в октябре 1927 г. — январе 1928 г. в домике, у темного окна, при плохой лампе — это и было основной причиной моего отказа от работы. Зрение мое стало портиться, о чем я и заявил А. Васильеву, новому главному бухгалтеру — Шулепина уже не было.

В середине января 1928 г. из двух должностей, мне предложенных, счетоводство в Соловецкой фотографии и в хозяйстве VI отделения (о. Анзер) — пришлось избрать VI отделение. Не хотел я никуда ехать, но Васильев упросил. В Анзере скверно тем, что никаких лагерных новостей не узнаешь, в Кремль не пустят, почта приходит поздно и при том часто пропадает, хотя там от главного Управления далеко и порядки мягче. 12 февраля 1929 г. меня с вещами переправили на Реболду, а 18 января я начал уже счетоводную работу в хозяйстве шестого отделения. В Реболде мне пришлось пробыть шесть дней у заведующего дендрологическим питомником (громкое название!) В. Н. Дехтярева, очень образованного человека, бывавшего даже и в Америке. Он десятилетник. С 18 января 1929 г. замерз лед в проливе между Большим Соловецким островом и о. Анзер и стала возможна переправа пешком². Почему же пришлось прожить в Реболде

² Это бывает там по рассказу старожилов раз в 20 лет. Реболда—Кеньга — пролив в четыре с половиной версты. — Здесь и далее примеч. авт.



шесть дней. Нужно помнить, что за два года пребывания в Соловках теплая одежда моя совсем износилась. Я должен был переправляться из Реболды по сей стороне пролива в Кеньгу на той стороне пролива на следующее утро по прибытии на Реболду. Так мне и объявила вольная местная охрана. Переправляют на лодке особые «поморы» из арестантов. Весной, осенью и зимой работа их и опасна, и тяжела — им и «особые» пайки. На завтра я уже вышел с вещами на мол. Оказалось, что по особому распоряжению ночью из Кремля прибыла ревизионная комиссия человек пять-шесть во главе с инженером Кутовым (10 лет каторги). С ними масса больничного для Анзера груза — одеяла, белье, лекарства и пр. Снарядили две лодки. И комиссия тронулась в одиннадцать часов утра на тот берег. Меня не взяли. Да я и не настаивал. Ходко пошли лодки. Весело гребли «поморы» — это все люди с особо лошадиной категорией. День был серый, мрачный. Тучи нависли. Солнца не было. Вдруг поднялась буря. Пролив длинный. К счастью, ветер был с запада на восток и морской лед по проливу погнало от Реболды вправо. Я ушел домой к Дехтяреву, забрав и вещи. Обычно переправа совершается часа полтора-два. Но тут случилось несчастье. Лодки стало затирать в «сам» — глыбы морского льда. Стало чрезвычайно холодно, ведь январь. Обычных «грелок» — ламп не взяли, как не взяли опознавательного шеста с флагом: не ожидали беды. Лодки затерло — ими уже нельзя было управлять. С быстро наступившей темнотой потерялась у правивших определение местности. Трудно представить себе скверную с тучами темноту. Люди мерзли. Лодки стали в «сам», но лед, конечно, двигался. С четырех часов дня до восьми часов утра ничего не было видно. Гребцы не знали, где они находятся. Пищи, конечно, не взяли. Лодку с грузом бросили и она потом не была найдена — груз пропал, потонул. Старшему по охране досталось за то, что он не поставил на оставленной лодке шеста с флагом, по которому можно было ее издали найти. Старшего отдали под суд. Результата этого суда не знаю. Натерпелись, намучились путники в лодке за ночь. Страдания же были ужасны: без пищи, без воды, без тепла. На ветре и морозе. На Кеньге, ожидая комиссию, разложили костры и жгли их целую ночь. Звонили в колокол. Но густой туман и ветер разбивали все надежды.

Около 10 часов утра 14 января сижу у Дехтярева, пью чай и благословляю Бога, избавившего меня от смерти по молитвам моей родной матери. Поутру является к нам «помор» и рассказывает о беде. Он понимал, что нужно было или замерзнуть, или рискнуть идти по «саму», ощупывая твердость льда палкой. Ему удалось добраться до берега. Мы его, конечно, обогрели и накормили. Через два-три часа постепенно, под руководством поморов, явились на Реболду все путники. Послана была телефонограмма в Кремль. Выслали чистого спир-

та для согревания, но в очень малом количестве. Конечно, по сему приличному случаю спирту в расход было выписано втрое больше, но по дороге он испарился: там это бывает. Дело обошлось, к счастью, без человеческих жертв, но груз пропал. Когда начальник ЭПО (раньше ЭКЧ) Федор Константинович Доримедонтов разговаривал по телефону с начальником охраны на Реболде, он поставил вопрос: спасли ли груз? Ему ответили, что прежде всего надобно спасать людей и на это ушла вся энергия. Доримедонтов возразил: наплевать на людей, надо было спасать груз, прежде всего: он стоит больших денег 2000 р. Вы за это ответите. Это заявление Доримедонтова подлинный факт, мною проверенный, а не выдумка моей мести. В этом заявлении Доримедонтова сказалась вся Соловецкая атмосфера, весь тамошний удушающий быт. Доримедонтов (десятилетник) — корабельный инженер, высший специалист корабельного дела. Заведующий лесничеством Кириллин отзывался о нем очень сочувственно. Он у нас в Варваринской часовне очень часто бывал по должности, и я, как делопроизводитель, хорошо был с ним знаком, и он меня хорошо знал, как составителя всех докладов по лесному делу в ЭПО. Однажды летом 1928 г. я сопровождал его с женой, приехавшей к нему на побывку, в Филимоново к преосвященному Илариону (Троицкому) — леснику, где мы пили чай у гостеприимного владыки; после пришел и Кириллин для деловой беседы. Теперь этот Доримедонтов освобожден (1929 г.) и оставлен в Кеми для работы в ЭПО на 500 руб. в месяц.

В своей плохой одежде я не перенес бы мороза, сырости и ветра, если бы поехал с Кутовым. И он меня не пригласил, а я не настаивал. В Соловках рассуждают: за работой не гонись, отдыхай, где можешь, ведь срок каторги идет без остановки. Не торопился и я в хозчасть VI отделения, а жил у Дехтярева, да меня и не торопили. Лишь 13-го вместе с вновь назначенным доктором Голгофской в Анзере больницы, азербайджанцем Тирбейли нас переправили через залив пешком. В Кеми дали доктору лошадь, а он взял меня с собой. Я водворился счетоводом в хозчасти шестого отделения. Уже начался в Соловках голодный период. С марта 1929 г. канцеляристам давали только $\frac{3}{4}$ фунта хлеба, и мое внедрение в хозчасть было для меня кладом — был сыт. И квартира была суха, тепла, просторна, и народ хороший — свои сотрудники о. Михаил Богданов, о. Михаил Ильинский, И. П. Зотов — офицер, И. М. Михайлов — учитель. Зотова расстреливали, но он, следя за счетом — раз, два, три — быстро упал и пуля прошла мимо. Его бросили в могилу с другими, но он выбрался и скрылся. Начальником хозчасти после Титова, попавшего с этой должности на Секирку, был назначен Лимант-Иванов (офицер — богатырь по здоровью, десятилетник, кажется, скончавшийся на Голгофе от тифа). Я его не видел, как не видал и начальника

шестого отделения Вейсмана, он тоже захворал от тифа, но Тирбейли его вылечил. Начальником хозяйства был сначала временно чекист Николай Михайлович Соколов, делопроизводитель административной части VI отделения, а потом Александр Михайлович Соловьев, переведенный сюда из помощника начальника хозяйства I отделения. Это было время, когда снимали всех белых офицеров в Соловках с канцелярских должностей и направляли их на черные общие работы — Соловьев и укрывался в VI отделении.

Дел было масса. Все счетоводы, боясь судьбы Титова и его сотрудников, старались уйти из хозяйственной части, чего я не знал, когда меня назначали. Однако Васильевым, главным бухгалтером, Соловьев, Матвеев и я были посланы именно навести порядок, мне об этом было указано, но я не придавал значения. Соловьев не специалист, а офицер, в счетоводстве пошел по неверному пути, и я, крайне переобремененный работой, не мог выполнить его плана, в общем нелепого. Произошло столкновение, и 22 марта меня сняли с работы. Я очутился на Кирилловой зоне (северный конец Анзера) среди «шпаны», на «мертвом» пайке, да еще натурой, за которой приходилось ходить за две-три версты, да еще при наступавшем голоде. Целыми днями я лежал на нарах, постепенно худея и слабея от истощения. Готовить почти нельзя было. «Шпаны» помещалось до 50 человек. Кроме нее был я и аферист Варман, советский уже практик. Прибыв в Соловки, этот Варман объявил себя врачом-хирургом и его взяли в санитарную часть, дали очень хороший паек и комнату, но, конечно, его скоро разоблачили, и он еле отвертелся от «Секирки», а, впрочем, не помню — быть может, он там и был. Продукты пока у меня были, и он очень подбирался к ним. Произошла ссора, и знакомство кончилось, хотя на нарах лежали рядом. «Шпана» пробовала обокрасть меня. Одного поймал — избил. И все-таки украли чудные теплые носки, присланные мне из Петрограда, а в 12 роте украли на полтора рубля марок. Лишь поздней Соловецкой весной изредка я гулял на «берегу пустынных волн». Коротали мы дни вместе с Дмитрием Григорьевичем Янчевским, работавшим в культурно-просветительском отделе (громкое название) лектором. Это бывший сотрудник «Нового времени», десятилетник. Чудный человек. Очень образованный. Языковед. Он жил на Голгофе. Уволив меня, Соловьев полагал, что песенка моя была спета, но за меня уже хлопотали. И мне был обещан обратный перевод в первое отделение.

Из Кирилловой зоны всех нас убрали, кого куда, а меня 30 мая 1929 г. поместили в часовню под Голгофой, почти внизу у дороги около кладбища. Тут уже совсем меня одолели вши и грязь. Голгофская баня никуда не годилась, а в Анзер ходить было далеко, да и не пустили бы, хотя там баня сравнительно

сносная. Здесь же надо было давать взятки, дабы позволили хорошо помыться. Очень было тяжело. Без бани я не мог быть и страдал ужасно. Переброска заключенных в Соловках самое обычное дело. Меня поместили с самой отчаянной «шпаной». Проигрывали вперед скудную пищу и хлеб за целый месяц. И вот выигравший ежедневно забирал у проигравшего порцию хлеба и щи. Но когда тот уже был при смерти от голода, выигравший подкармливал свою жертву, иначе с ее смертью прекратился бы паек и пропал бы весь выигрыш. Постоянные кражи, и ничего не найдешь³. Тут вдруг все перевернулось. Меня неожиданно вызывают к Мищенко (или Нищенко), бывший чекист, десятилетник, но теперь вольный следователь VI отделения и помещают в первой роте впредь до допроса. В чем дело?

Перехожу к трагическим подробностям Соловецкой каторги, которые составляют ее ужас. Самая опасная вещь в Соловках — это заболевание. Доктора — подневольные арестанты, нужных и ценных лекарств почти нет. Вши, клопы, при всей на вид героической, а по существу смехотворной борьбы с ними заедают заключенных. При скученности, при отсутствии хороших бань для «шпаны» (их в Соловецком лагере до 90%), при краткости времени для мытья, при ужасающем просторе для заразных болезней: сифилиса, тифа и т.д. При неуловимости и бесконтрольности половых сношений сифилис распространяется быстро. Но тиф — это настоящий бич Соловков при наличии приводящих подробностей. Сначала о тифе. В мое время (1927—1929 гг.) тиф свирепствовал дважды. Он ежегоден, пожалуй. Слышал я, что на Кондострове — ссылка в ссылку, как «Секирка» — тюрьма в каторге, в одну зиму из семисот человек после тифа осталось в живых не более 200 человек. На Кондостров пароходы делали в лето три рейса, а зимой, весной и осенью он изолирован. Работая в хозяйстве шестого отделения (Анзер), я знал отрицательные данные о количестве жертв больничных беспорядков и преступлений на Голгофе. Мы ведали учетом и распределением пайков и продуктов по всему шестому отделению, посему нам утром ежедневно к десяти часам давали с Голгофы сведения о числе умерших. По официальным данным, из тысячи человек шестого отделения с октября по май погибло в зиму 1928—1929 гг. от тифа до 500 человек. Развился целый промысел, из которого создалось дикое, громкое и жуткое дело. Меня убрали из Соловков, и я точно не знаю, чем оно окончилось. Вероятно, главных виновников — Борисова, коменданта, и Шмидта, командира 2 роты Голгофы, — расстреляли, потому что дело раскрылось. Этим негодьям-извергам (оба десятилетники) мало было на-

³ У меня здесь украло было медный прекрасный чайник, подаренный мне еп. Мануилом из Петрограда, но я сумел его разыскать.

живы после умерших от тифа посредством кражи и распродажи их имущества и денежных квитанций. Они умышленно, посредством тайных ядовитых укулов отправляли на тот свет тифозных, и именно тех, от которых можно было пожить. У тифозных брали квитанции, больные давали доверенность Борисову и Шмидту на покупку в кооперативе продуктов, так этот порядок был установлен приказом начальника шестого отделения. Мало того, что обвешивали, мало того, что крали из пакетов, так еще часто совсем не возвращали квитанций, получая по подложным доверенностям, которые сами же и заверяли. В Соловках на при-сланные с воли деньги выдаются счетной частью денежные квитанции. После смерти заключенных деньги их родным не возвращаются даже по требованию их, а остаются в пользу большевиков. И наличных денег у заключенных почти не бывает.

В Соловках на десять лет был заключен Петр (Зверев), архиепископ Воронежский и Задонский. Я с ним знаком был еще по Москве, где я был архимандритом, синодальным ризничим, а он — иеромонахом-настоятелем Московского епархиального дома (1904—1905 гг.) В Соловках он мне помогал очень. Когда освободили из Соловков Прокопия (Титова), архиепископа Херсонского и Одесского, на его место счетоводом в каптерку первого отделения (Кремль) и главой Соловецкого православного духовенства Соловецким епископатом был избран, после отказа архиепископа Илариона, преосвященный Петр. В дни его жительства в каптерке и счетоводства в ней, я часто там ужинал и даже обедал, ибо мне не нужно было ходить на вечерние занятия в лесничество и вечер у меня был свободен. А от поверки посредством фиктивной записи можно было освободиться. Так мы под председательством преосвященного Илариона, бывшего ректора Московской духовной академии, справляли праздник Покрова Пресвятой Богородицы — академический праздник. Это было в 1927 и 1928 гг. Речи, яства, чай — уютно, назидательно и сытно.

Преосвященный Петр, поступив в каптерку, повел дело широко: приемы заключенных, беседы, ужины. Конечно, все это было в очень малых размерах: прежде всего, помещение было небольшое, а охотников чай пить было много. Счетоводом он был плохим, да некогда было и работать. Хотели мы взаимно помогать друг другу, но другие сотрудники (епископ Григорий (Козлов) и протоиерей Поспелов) воспротивились. Диякон Лелюхин (десятилетний, земляк) донес о собраниях и разговорах, хотя в них ничего с большевистской точки зрения худого не было. Владыку Петра перевели в пятую роту, туда же в одну камеру посадили и епископа Григория — его врага. Лелюхин выкинул на панель вещи владыки Петра — это был неслыханный в Соловках скандал. Вся верующая

масса заволновалась. Владыки стали на сторону архиепископа Петра, и епископ Григорий остался в одиночестве. Протоиерей Пospelов приходил земным поклоном просить прощения у владыки Петра. Прощения не было дано. Владыка Петр был отправлен в VI отделение на командировку «Троицкая» — она была штрафной. Он вызвал меня из лесничества и мы с протоиереем Гриневичем провожали его почти до Филимонова, где жил лесник-архиепископ Иларион. Вернулись мы с Гриневичем в крайне подавленном настроении.

Надо сказать, что протоиерей Гриневич был заведующим каптерки, и епископ Григорий особым доносом его оттуда выбросил. Преосвященный Петр по этому поводу давно еще мне жаловался на епископа Григория, на его неуживчивый характер. По моему докладу Кириллин из каптерки взял протоиерея Гриневича в лесничество как специалиста по лесокультурным новонасаждениям. Тяжелое это воспоминание. Человеческие слабости действующих лиц проявились во всей силе. Горько было.

Очутившись в VI отделении, я скоро узнал о болезни владыки, он подарил мне две денежных квитанции, должно быть, рублей на пятнадцать. За ним ухаживала послушница Ш. К.⁴ Архиепископу Петру был воспрещен выход из командировки. Ш. К. получала за него посылки, по денежным квитанциям получала продукты из кооператива, равно как и пайки из каптерки VI отделения, готовила ему кушанье, мыла белье и т.д. «Деловод» административной части Соколов все это разрешал. Приходилось с ним делиться, и протестовать нельзя было. Мы знали, что он крадет посылки у владыки, но помешать не могли. С моим приездом в VI отделение Ш. К. подружилась со мной. Да и нужно было ею руководить, ибо ей был запрещен доступ на «Троицкую» — все шло через Соколова. На «Троицкую» архиепископа Петра привезли около 4—5 октября 1928 г., а больного на Голгофу в больницу отправили около 5—7 января 1929 г. Ш. К. едва успела проводить его, укрыть ему ноги и даже меня не вызвала, хотя я и был в хозяйственной части в двух шагах. Конвой спешил: было холодно, январь! Так я и не увидел его до самой кончины.

Доктор посвятил уходу за ним все силы, знания и лекарства, держал меня в курсе болезни, обязательно заходя в хозяйственную часть. В Анзер доктор приезжал к тифозному начальнику шестого отделения Вейсману, который лечился дома. Велика была радость наша, когда доктор сказал Ш. К., что кризис миновал, а она тотчас прибежала ко мне. То же и мне доктор сказал. Владыка стал выздоравливать, и доктор ослабил уход. Вдруг 7 февраля 1929 г. телефоном Богданов узнает, что владыка скончался — его нашли мертвым. Мы не повери-

⁴ Ни имени, ни фамилии ее назвать нельзя.

ли и проверили. Около него был наш доверенный человек, всю переписку мы быстро изъяли, квитанции взяли, и вещи разошлись по верным рукам. Правду сказать, мы их потом все и не собрали, а часть пропала. Те, кто его убили отравой, ошиблись: воспользоваться ничем не пришлось. А что он был убит — несомненно. Только каким способом — осталось тайной. Своих доверенных винить не можем. Все квитанции были на учете, равно как и все вещи. Вот тут-то и загорелась борьба.

Уже о преступлениях Шмидта-Борисова говорили. Видимо, Мищенко и Соколов многое знали. Вышел приказ: немедленно описывать вещи умерших и сдавать их имущество и квитанции в хозяйственную часть. Вдруг 18 февраля начальник охраны прибегает к Ш. К. и требует выдать квитанцию на 15 рублей (номер был известен), принадлежащую покойному архиепископу Петру Звереву. Она указала на меня. Он пришел в хозяйственную часть и обратился ко мне. Я шел наверх из канцелярии и наверху ему отдал квитанцию на 15 рублей под расписку, что квитанция возвращена и доверенности по ней не сделано. На меня донес Богданов, ухаживавший за Ш. К. От него мы не скрывали и чуть не ошиблись. Зюзин — делопроизводитель следственного стола, бывший командир первой роты, учинил мне допрос, из которого ничего не вышло, потому что Ш. К., допрошенная раньше, сообщила мне подробности своего допроса. У меня была вязаная камилавка владыки, его туфли, сапоги, пояс, подрясник, пара белья и пр. Обыска у нас сделано не было. Мы были с архиепископом Петром одинакового роста.

В апреле Мищенко снова вызвал меня с вещами из Кирилловой зоны к себе в Анзер. Я понял причину. Только что я явился в Анзер, как Ш. К. предупредила, что ищут якобы золотой крест и драгоценную панагию покойного владыки. Их у него и быть не могло, ибо по тюрьмам бывают самые тщательные обыски, причем отбирают все ценное из опасения возможных краж. Панагия перламутровая у владыки была, но ей красная цена три-пять рублей, а не 700 рублей, как по слухам ценил Мищенко. Через два дня Зюзин меня обыскал, ничего не нашел: и камилавку, и туфли, и сапоги я сдал в надежные руки давно, а пояс и подрясник мне были подарены архиепископом Петром еще давно — в лесничестве. И разговор мой с Зюзиным вышел резкий и бурный. Своим спокойствием я его разозлил до крайности, ибо обыск не дал ему доказательств. А я заявил, что ему нужно вести розыски в другом направлении и если он с Мищенко этого не сделает, этого добьются иным путем. Я потребовал обыска моих вещей, хранившихся в каптерке. Зюзин обыск отложил. На замедление я жаловался Мищенко, начальнику VI отделения Сотникову — и все напрасно. Меня не обыскивали, а считали

под следствием. Наконец, запрятали меня из часовни на «Каперскую» — штрафная командировка без права выхода даже на Голгофу за книгами. Попробовали было раз меня заставить выполнять тяжелые работы — я отказался. Посадили в карцер, но через полчаса выпустили. Из «Каперской» в ночь с 5 на 6 июля меня взяли без конвоя в первое отделение (Кремль), где поместили в 12 роту, откуда и вывезли в ссылку. При отправлении в I отделение в Анзер снова обыскали все мои вещи, но, конечно, ничего худого не нашли. Это был обыск, обычный для всех увозимых из Анзера и производился слегка моим сотрудником из хозяйственной части, Петрашкевичем (коммунист, как говорили).

Теперь о лесозаготовках, о наказаниях провинившейся там «шпаны», о «Секирке». В мое время (1927—1929 гг.) лесозаготовки производились во II и IV отделениях Соловков под управлением Селецкого, при фиктивном контроле помощника лесничего Николая Николаевича Бурмина, человека очень покладистого. Районным лесником там был Гловацкий-Романенко, прохвост из прохвостов, бывший коммунист, иногда живший в 9 роте, что его и выдавало.

На Большом Соловецком острове работы в лесу производились суровыми, прямо бесчеловечными приемами. Правда, пища «лесорубам» была хорошая и сытная, но не хватало уже сил съесть ее после невыносимого, тяжелого десятичасового труда. Люди валялись с ног. Уроки (задания) были большие, почти невыполнимые. Десятники обращения скверного. Лесорубы умышленно рубили себе руки и ноги. Болеть не разрешалось. Невыход на работу наказывался карцером. Людей ставили на пень на одной ноге, падающего били прикладами и палками. И у Селецкого хватало еще смелости и нахальства весной по окончании лесорубочистки приводить толпы лесорубов военным строем в Кремль, со знаменами, говорить им речи, показывать им театр, и тем же маршем в ту же ночь вести их обратно в опостылевшие бараки II и IV отделений. На работу поднимали в четыре часа утра, а ложились спать около 11 часов вечера. Ставили на комаров, на мороз, раздевая догола. Били палками по животу — точно проверенный факт. На одной командировке (вследствие массового невыполнения урока) 400 человек зимой в одном белье вывели на мороз и велели лечь на снег. Многие замерзли. Многие отморозили себе руки, ноги. Одного из них (Якубовского — VI отделение) я сам видел в часовне — он мне все рассказал, называя фамилии зверей-начальников. Фамилии мной забыты, но факт верен, потому что дело дошло до Москвы, было разобрано и двух виновных в зверстве расстреляли. Причина расстрела, конечно, в том, что виновные без нужды искалечили даровую рабочую силу.

Соловки — место уничтожения неугодных большевикам элементов России. Уничтожить их, по плану большевиков, нужно лишь после использования всех

физических сил каторжанина. В часовне VI отделения, например, почти не кормят, даже «мертвый» паек не выдается полностью, ибо инвалиды неспособны к работе. Я отбывал в Соловках каторжные работы при начальнике управления лагерем Эйхмансе. Это был еще хороший человек. Его предшественником и приемником был Ногтев — сущий зверь. При нем меня «разгрузили», к счастью. Верный мне человек после моего отбытия из Соловков писал мне в ссылку: «О прошлом и помину нет». Я отлично понял весь жуткий смысл этих слов. Ему, бедному, еще оставалось сидеть в Соловках три года. Значит, и духовенству в Соловках при Ногтеве опять стало так же тяжело, как было до Эйхманса, когда одному епископу, например, пришлось однажды работать тридцать два часа без перерыва, что было нередким наказанием. Об этом святитель сам мне лично говорил.

Секирная гора находится от Кремля в восьми верстах. На Секирке отбывают наказание арестанты, совершившие в Соловках преступления, преимущественно уголовные, часто мнимые — по крайней мере, эта оговорка справедлива относительно интеллигенции. На Секирку не посылают по административному приказу, а только после следствия по закрытому суду. Взятками можно облегчить горечь Секирки. Взятки берет командир Секирки. В первое время посаженных в Секирскую тюрьму на работы не посылают. Кормят совсем худо — гнилью и в малом количестве. На Секирке два отделения: верхнее и нижнее. Днем вверху сидят на жердочках, вплотную друг к другу. Ни повернуться, ни размять отекающие ноги. Обреченные должны быстро умыться, пообедать, оправиться и опять на жердочку. Жердь толщиной в четверть аршина в диаметре. Сидит виноватый почти на весу, и от тяжести тела артерии и вены зажимаются, перехватываются и циркуляция крови очень замедляется. Ни шуток, ни смеха, ни разговору, ни курения. После вечерней поверки их укладывают спать на голом каменном полу, без одеяла, без покрывки; плотно, на один бок до самого утра. В особо сильные холода позволяют покрываться, а когда в Соловках бывает тепло? Некоторым приходилось эту пытку выносить по четыре зимних месяца. «Жердочка» зимой прямо не переносима, ибо крыша их с дырами, а окна разбиты. Три четверти арестантов оттуда выходят вечными калеками. Им уже не возвратит себе здоровья. После исправившихся с верхнего этажа переводят в нижний и тогда доверяют работу на свежем воздухе, но самую тяжелую и самую грязную при грубейшем обращении. Титов, помощник начальника VI отделения по хозяйственной части, попал в летнюю Секирку на один месяц. Он мне и передавал подробности. От нее духовенство тоже не было застраховано, но в мое время духовенство на «жердочку» не садили. Об этом я не слышал.

В мое время было два случая, когда духовных лиц (двух священников) держали на Секирке. Одного держали за то, что сдал одним кожаным прибором больше, чем было показано в отчете, а другого посадили за обнаруженную у него переписку, отправлявшуюся бесцензурным порядком. Сколько каждый из них сидел на Секирке, не помню, наверно, не больше трех месяцев.

В мое время в Соловках жили 60 вольных соловецких монахов из братии уничтоженного Соловецкого ставропигиального монастыря. Остались главным образом, старики, у которых в миру не было уже родных, к которым они могли бы поехать на жительство. УСЛОН отвел им кладбищенскую церковь св. Онуфрия Великого для богослужения. Туда ходили молиться заключенные — духовные и миряне. Теперь закрыта и эта последняя церковь в Соловках, что вытекает из полученного мною письма оттуда. Полагаю, что монахи теперь содержатся на средства заключенных епископов, но не представляю, откуда и каким порядком они могут доставать продукты. В мое время работали еще кооперативы, отпуская каждому (до 1929 г.) сколько бы он ни захотел — лишь бы были деньги. В 1929 г., с марта, соловецкие узники посажены были на пайки, величина которых определяется тяжестью выполняемой заключенным работы. Некоторые из вольных монахов приняты были на работу в УСЛОН плотниками, столярами, слесарями и т.д. Подлость Управления СЛОН заключалась в том, что им давали ничтожную плату не по тарифной сетке. Отговаривались тем, что монахи не принимают в союз и, следовательно, тарифная сетка к ним не приложима.

В кладбищенской церкви богослужение совершалось по Уставу ежедневно. В мое время пел хор заключенных, и иногда в праздники настолько хорошо, что многие рыдали, я сам плакал навзрыд. Монашеское пение соловецкого напева очень грубое, особенно в исполнении иеромонаха Мартина, которому «подмартынивать» (любимое выражение владыки Илариона, обычно певшего с монахами на правом клиросе) было очень тяжело ввиду своеобразия соловецкого напева. В 1927 г. регентом был преосвященный Амвросий Полянский, а за его ссылкой в Сибирь на три года его заместил Дехтярев, работник отдела труда, а потом наш лесник. Он управлял хором в Пасху 1928 г., когда мы служили в Знаменской церкви Кремля, только в этот день, имея во главе епископа Гомельского Тихона. Обычно в этой церкви помещалась 11 «отрицательная рота», впоследствии превращенная в карцер.

В Соловках законы и порядки меняются чуть ли не ежемесячно. За два года в Соловках я служил 13—14 сентября 1927 г., 1 октября 1927 г., 26 декабря 1927 г., Крестопоклонную неделю 1928 г., Страсти Господни 1928 г., св. Пасху тогда же, два-три воскресения. Мало? В Соловках одних священников во II отделении до 112 человек было в одно время. Литургию служили в праздники

обычно три-семь епископов. В Анзере (VI отделение) я уже не служил — там все церкви закрыты. В 1927 г. все заключенные, не «шпана», свободно ходили в церковь, правда, по особым спискам, но они не контролировались. Требовалось при выходе из Кремля только «рабочее сведение», своего рода паспорт. Потом списки стали урезываться.

Потом в списках можно было писать только духовных лиц, а мирян вычеркивали и хор почти распался. Потом в церковь (Великий Пост 1928 г.) стали водить только парами, под конвоем с особым счетом, как институток. В Пасху 1928 г. из Кремля желающих помолиться выпустили после большого скандала, устроенного перед старостатом. Потом духовенству запретили служить и разрешили только молиться. Потом стало еще хуже, но я уже жил в Анзере.

В январе 1929 г. пробовали в Кремле ввести стрижку духовенства и потребовали от него хождения в гражданской одежде. В Анзере трех духовных и меня, конечно, остригли, а воспротивившегося стрижке иеромонаха Пафнутия остригли насильно, предварительно связав ремнями и избив.

Вольные монахи — особенно иеромонах Серафим, ризничий, большевизировавшийся, — очень грубо обращались с архиереями, а про нас и говорить нечего. Иногда у владыки Прокопия дело доходило до столкновений с наместником обители (забыл я его имя). Настоятель же обители, живший где-то в Архангельской губернии, был убит, вероятно, по приказу большевиков.

Соловецкий епископат держал себя очень гордо с заключенным духовенством, на что мне весьма часто жаловались, как лицу авторитетному и нареченному в епископа, близко с епископатом знакомому. Я подтверждаю правдивость этих сетований. И в Соловках святители, как и здесь за границей, хотели знать себя владыками. Со мной были вежливы, но для обсуждения общецерковных дел я не был приглашаем. Голос соловецких узников-епископов в мое время был далеко слышен за пределами Соловков. Лишь по внушению Соловецких епископов декларация митрополита Сергия от 29 июля 1927 г. была сравнительно мягко принята православным церковным обществом. Да и соловецкими святителями митрополиту Сергию были поставлены четыре пункта, ограничивавших его уступчивость большевикам. Знаю, что Соловецкий первенствовавший владыка Петр оказывал мало сочувствия затее митрополита Сергия (Страгородского). Обстоятельства показали правильность взглядов святителя Петра на декларацию митрополита Сергия. Ее особенно защищал святитель Иларион (Троицкий), ныне покойный.

Сила и метод стеснений соловецких властей по отношению к православной церкви в Соловках, как и вообще в России, видны будут из моего рассказа о

погребении архиепископа Петра (Зверева). О его смерти мы узнали около десяти-одиннадцати часов утра 7 февраля 1929 г. К Сотникову, начальнику VI отделения, отправился священник Богданов, хорошо с ним знакомый, просить разрешения устроить торжественные похороны почившему, с поставлением на его могиле креста. Из Кремля прислали мантию, омофор, крест и пр. В строительном подотделе мы заказали гроб и надмогильный крест. Погребение было назначено на воскресенье — 10 февраля 1929 г. Разрешение на похороны получили: я и два иерея — Ильинский и Богданов, миряне — Зотов и Ш. К. Не разрешено было громкое отпевание и в облачении. Не разрешалось быть и желающим помолиться. Пения не было дозволено. Мы принуждены были удовлетвориться малыми возможностями. Вдруг от своих верных по Голгофской больнице узнаем, что уже приказано тело усопшего владыки бросить без отпевания в общую могилу со «шпаною», уже доверху наполненную. Мы возмущены были двуличностью Сотникова. Вечером Богданов побежал к нему в квартиру. Произошло резкое объяснение. Сотников не уступил. Пошел я. Там — у начальника — сидел Соловьев и стоял заведующий отделом труда VI отделения наш верный Раковский (за участие в отпевании он был смещен на другую работу). Сотников заявил, что общая могила по его распоряжению уже закрыта и завалена землей и снегом, и он не даст разрешения на изъятие из общей могилы тела архиепископа Петра. Я ушел. Ночью по телефону узнаем, что Сотников соврал или его распоряжение о закрытии общей могилы не было своевременно исполнено. Отпевание совершили заочно утром в канцелярии хозяйственной части и повезли гроб с крестом на Голгофу. Действительно, могила общая не была закрыта и уже почти готова была особая могила для погребения архиепископа Петра. Его священные останки лежали в длинной рубахе у края общей могилы. Изъять его оттуда было удобно, что мы и сделали. Плюнув на все запретительные меры начальства, торжественно облачили владыку в монашескую мантию и клобук, одели омофор, пояс, дали в руки крест, четки, Евангелие и громко совершили отпевание. Собралось до 20 человек (и Янчевский), произнесли речи, опустили священные останки в могилу, водрузили крест, впоследствии сделали надпись на нем и разошлись восвояси «рыдающе и биюще в перси своя» (Лк 25. 48). Вечная память замученному большевиками! Он умер 53 лет.

Весной все кресты на Соловецких кладбищах были сняты и обращены в дрова. В Соловках, видите ли, дров мало и топиться нечем. Да видит и судит Господь. А весной 1928 г., на год раньше, тот же владыка Петр торжественно отпевал в Соловках и кладбищенской церкви архимандрита Митрофана, своего соузника, бывшего у него в Воронеже келейником, вместе с ним сосланного, и

торжественно похоронил при громадной толпе сочувствовавших заключенных, с пением нашего хора, с духовенством не менее 30 человек. Так к 1929 г. изменились «свободы» религиозных отпавлений. Да будете большевики прокляты.

Нужно добавить, что к моему прибытию в Соловки там было до 150 человек духовенства, из них два-три обновленца. Один из них, Завьялов, был писарем 6 роты — цитадель духовенства. Завьялов, очевидно, имел приказ следить за своими врагами, но, должен сказать, свою задачу шпионажа он выполнял небрежно и бед от него мы не видели. Вреднее был повар архиерейской камеры № 23 — Гамалюк: это был мерзавец высшей марки. Приходилось его задаривать, ибо прогнать его нельзя было. Указывая на излишнее важничанье епископата в его обращении с прочим духовенством, на обособленность последнего от епископата, я прибавляю, что по утрам и по вечерам в камере № 23 шестой роты 12—13 заключенных (все иереи) брали благословение у архиереев, что при тесноте помещения составляло ненужную толкотню. Многие из иереев очень равнодушны были к оказанию внимания епископам. И правы были. Эти последние любили помогать светским более, чем духовным. Мне помогали: архиепископ Петр, архиепископ Иларион, епископы Антоний, Василий, Григорий. Последний сам нуждался.

Раз был устроен в Соловках показательный суд над командиром 12 роты и Марией Александровной Барановой, моей сотрудницей по бухгалтерии ЭКЧ. Он обвинялся, и правильно, в присвоении имущества заключенных. Командир роты оправдывался тем, что делал это для своей возлюбленной Барановой. Она была с ним в связи. Ему было 32 года, а ей 22—23 г. Были судья, прокурор, защитники — обвиняемых было пять-шесть человек. Судили целый вечер. Баранову оправдали. Командира осудили на Секирку, но приговор не был исполнен.

Большим злом в Соловках являются кражи. Надо сказать, что туда, как в помойную яму, присылаются все уголовные отбросы общества, даже несовершеннолетние, из которых в Анзере пробовали составить комсомольскую школу. Конечно, из этой затеи, как и всегда у большевиков, ничего не вышло, одни расходы на усиленные пайки и учебники. Воровство развивалось особенно летом. Приходят пароходы, и матросы забирают по дешевке все краденые вещи и переправляют на материк. На берегу продавцы, на корабле покупатели, и не поймать ни тех, ни других — специалисты. Однажды «шпана» обокрала самого главного начальника административной части Берзина (вольный). На ноги был поставлен весь сыск. Обыскивали весь остров, даже лесничество. И все-таки вещи уплыли на пароходе. Об этом сами спецы вслух рассказывали.

Следовало бы рассказать о побегах с Соловков, но тут я могу передавать только отдаленные слухи. Знаю, что из 8 роты ушло несколько морских офицеров в августе-сентябре 1928 г. Этих не поймали. А вообще побеги делает в Соловках «шпана», но по знакомству с тамошними большими пространствами и с географией страны, всегда попадает. Походит-побегаёт, проголодается и возвращается. За поимку беглых на материке местным жителям платили и деньгами, и продуктами: те и старались. Их (пойманных) расстреливали. Зимой бежать с Соловков невысказано.

К заключенным приезжают родственники. Существует за Кремлем даже дом свиданий. Правила свиданий чрезвычайно суровы. Я их читал, но не изучал. Знаю, что они за взятки нарушаются и родные видятся день и ночь, если желают, хотя правилами запрещена та свобода свиданий, которая практикуется на самом деле. Но бывают и трагедии. К мужу приехала жена в Кемь, чтобы паромом доехать в Соловки к мужу. Но так на паром и не пустили. Истративши все средства и не добившись цели, уехала домой. Свидания требуют громадных расходов. И строгость правил направлена комендантом именно на то, чтобы иметь законные поводы вымогать взятки.

6 июля 1929 г. меня доставили в 12 роту, I отделение (Кремль). Ясно было, что меня «разгрузили». Весной приезжала особая «разгрузочная» комиссия из Москвы, которой предоставлено было право «разгрузить» тысячи инвалидов. В эту группу попал и я, бывший уже на краю гибели: голодный, под особым надзором, в штрафной командировке у Пискунова (десятилетника). Как это вышло? Пришел откуда-то приказ составить списки инвалидов: 1) отбывших половину срока и 2) отбывших две трети срока на 15 марта. Соловьев меня уволил 22 марта 1929 г., и я, почти имевший право на помещение во второй список (10 июня 1927 г.) попал все же в первый список (10 июня 1929 г.), но с большой надбавкой в четверть года, и меня «разгрузили», как стоявшего в алфавитном списке первым. Здоровье мое было совсем слабо: я исхудал на «мертвом» пайке, а вольной продажи продуктов не было, да и денег почти не было. В 12 роте я пробыл до 14 июля 1929 г., когда наш громадный этап в 600 человек переправили в Кемь.

В 1931 году в г. Шанхае (Китай) напечатана книга «Соловки» — коммунистическая каторга или место пыток и смерти». Автор ее генерал-майор Генерального штаба И. М. Зайцев, участник Гражданской войны на стороне белых, вернувшийся после эвакуации из Крыма обратно в Советский Союз и через два месяца отправленный в Соловецкий концентрационный лагерь, где пробыл два года (1925—1927 гг.) на каторге, а потом, отправленный в ссылку, бежал в Китай. Наши воспоминания, писанные в 1930—1931 гг., составлены совершенно неза-

висимо от этой книги. Теперь мы считаем нужным установить с ней связь и дать свою ей оценку. Зайцев на своей судьбе ясно показал, что как бы офицерство белой славной императорской армии ни старалось в России теперешней понравиться большевикам, угодить им, никакая услужливость специалистов военного дела не поможет им избежать Соловецкой каторги, а то и расстрела. После Крымской эвакуации масса офицерства, не принимавшего участия в Гражданской войне, осталась в Ростове-на-Дону, чувствуя себя ни в чем перед большевиками невиновной, и собиралась спокойно при новом строе доживать свои дни, а то и поработать для славы новых порядков. Одна белая газета исчисляла их в 3000 человек — об этом я сам здесь читал. И большевики, не желая их услуг, всех расстреляли — «по делам вору и мука».

Как пробывший на Соловках два года в I и VI отделениях, достаточно ознакомившийся с ними лично по собственным пережитым страданиям, как лицо умеющее видеть, слышать и наблюдать, ко всему подходить с критической оценкой, утверждаю, что генерал Зайцев описал Соловецкую каторгу с исключительной правдивостью и беспристрастием. Все факты, им сообщаемые, в Соловках не составляют секрета и легко поддаются проверке. Нет в его книге никаких преувеличений. Не нравится нам лишь плаксивый тон его книги — стремление разжалобить старую проститутку-Европу величиной и глубиной неизмеримых страданий русского народа. Идеалистические побуждения старой проститутке чужды, Европа тогда только пошевелит пальцем, всколыхнется, зашумит, когда ей математически точно и ясно докажут всю гибельность коммунистического строя для современной экономики Европы. Ее нужно привести в ужас грядущей опасностью уничтожения капиталистической Европы. Что за дело Европе до восточно-христианской культуры, которая гибнет на наших глазах? Мало ли на кровавой арене всемирной истории погибло народов? И даже памяти о них не сохранилось. Европа станет воевать только тогда, когда, схватив ее за горло, станут хватать ее кошельки. Не будет ли только поздно? Всемирная экономическая конференция закончилась крахом именно потому, что ни одно государство не согласилось поступиться ни в малейшей степени своими материальными интересами, отказалось от всякого их согласования с интересами соседей и замкнулось в себе. Продолжаются лишь тошнотворные разговоры о разоружении, критикуются его проекты, где каждое государство стремится обмануть своего соседа.

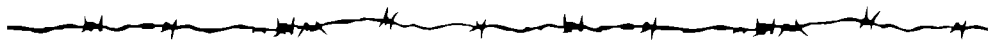
Новое в моих воспоминаниях о Соловецкой каторге — это то, что я подробно пишу о VI отделении⁵ и его ужасах, в котором Зайцев не был и потому ничего не пишет. Лесничество, в котором я работал 13 месяцев, им описано верно. Там

⁵ У Зайцева VI отделением именуется Кондостров — в мое время это было V отделение.

однажды и я слышал о генерале Зайцеве как исключительно отзывчивом человеке. Все его сообщения о Юповиче, международном авантюристе наихудшего типа, очень интересны и исключительно верны. Юпович действительно заведовал собачником и был участником всех охот, которые на Большом Соловецком острове устраивали пьяные и развратные члены «разгрузочных» комиссий, приезжавшие из Москвы. Юпович, которому я раз сопутствовал из Варваринской часовни до Кремля, рассказал мне свою биографию. Мало что из его речей я помню. Не то он из Чехословакии, не то из Польши. Но, по его словам, был там и там. Кажется, в Польше его посадили в тюрьму, освободившись из которой, он бежал к большевикам. Им проходимцы нужны, и они дали ему хорошую работу. Однако когда разобрались, что от его работы один вред, послали в Соловки. Зайцев, со слов Юповича, сообщает, что архиепископа Илариона пробовали отравить, но его сильный организм не поддавался яду. Очевидно, таковой ему был влит укол, когда он болел тифом в Петрограде и организм был ослаблен. Несомненно, архиепископ Иларион в Петрограде умер от отравления. Тиф, вероятно, был тоже искусственно привит помещением в одну камеру с тифозными. Несомненно, и святейший патриарх Тихон погиб от тех же причин — от отравления. Что Юпович представляет собою исключительно аморальный тип, это видно по следующему проверенному факту. В собачник назначили заключенную мыть белье. Угрозами и подарком в три рубля он заставил слабовольную женщину согласиться на случку с кобелем-собакой «Дик». Омерзительно писать об этом, но нужно предметно разоблачать большевиков. Сослав этого мерзавца в Соловки, чекисты все-таки были с ним дружны и откровенны. Значит, подобные типы им нравятся и нужны.

И при мне управление лагерями (УСЛОН) производило в первом отделении, как, несомненно, и в других отделениях, и в командировках, киносъемку внутренней и рабочей жизни каторжан. Эти снимки были подлым издевательством над правдой. Однажды я шел, кажется, из хозяйственной части в свою VI роту по дорожке наискось через сад. День был солнечный. На скамьях сидели заключенные. Вдруг слышу окрик: остановитесь! Я оглянулся — фотографируют. Я быстро натянул на себя полушубок и побежал в роту. Не знаю: попал ли я в аппарат, карточки видеть не пришлось. Я не желаю участвовать в фальшивом изображении. На лесозаготовках, где гибнет народ, съемки ведь не производили.

Встретил я однажды у начальника большого ранга, у которого ни раньше, ни потом никогда не был, главного распорядителя лесозаготовок — Селецкого. Ему я должен был по поручению начальника лесничества В. А. Кириллина, у которого в управлении я был секретарем делопроизводителем-счетоводом, передать



какие-то распоряжения-приказания. На все мои речи отвечал: «слушаю, будет исполнено», хотя я отлично знал, что ничего не будет сделано и что Селецкий просто издевается надо мной. Об этом Селецком и пишет Зайцев в своей книге. Знал я и барышню Путилову — она приходила в лесничество к начальнику, но его не застала. И Кириллин, и Путилова — оба почти однолетки — очень друг другу нравились.

Зайцев написал замечательную, правдивую в высшей степени повесть страданий русского народа в Соловках. С большевистской точки зрения, это не народ, а «бывшие люди», буржуи, конец которым один — уничтожение. С нашей точки зрения это мученики христианской культуры, лучшие люди истории. Не их вина, что они были воспитаны «неправильно», но они желали добра своему народу. Когда разразилась война, народ понял, кто его защитники от обращения в коллективное стадо рабочей скотины. Но было уже поздно.

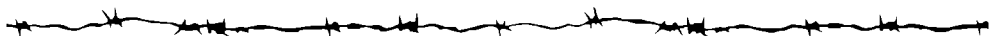
Книга Зайцева «Соловки» может быть выписана из Берлина — там имеются русские издательства. Цена ее — 20 французских франков, недорогая. Книга Зайцева является систематическим, строго проверенным сообщением данных о жизни Соловецкой каторги. Наши воспоминания носят только личный, автобиографический характер. Соловки-каторга обнимает собой территорию от Мурманска до Петрозаводска и Архангельска. Ни Зайцев, ни я не знаем и не описываем подробно жизни на многочисленных «командировках» этой территории. На ней было 60 кооперативов, которыми, в качестве высшей инстанции, заведовал мой одноэтапник Василий Мокроусов. Одна Ухтинская дорога при ее постройке стоила жизни нескольким тысячам заключенных. «Ухта» была страшнее лесозаготовок. Всего ужаса нельзя и описать.



ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ

АНДРЕЕВ





М. Е. Бабичева

**ТРУДНЫЕ ДОРОГИ СОВЕТСКОГО ЗЕКА
(ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ
Г. А. АНДРЕЕВА)**

Как и многие писатели второй волны русской эмиграции, Геннадий Андреевич Андреев (настоящая фамилия Хомяков) — фигура загадочная, почти мистическая. Сам факт его активной работы в русской эмигрантской периодике 1940—1960-х гг. общеизвестен и неоспорим. Г. Андреев выступал в печати как очеркист, публицист и литературный критик, занимался редактурой. Кроме основного, имел псевдоним Н. Отрадин, а также подписывался инициалами Г. А. Ряд его беллетристических произведений, опубликованных в эмигрантских журналах, был благосклонно принят читателями и получил положительную оценку критики.

В то же время почти не сохранилось сведений о личности этого автора. Общий силуэт первой, «советской» части его биографии достаточно отчетливо прорисован в художественных произведениях писателя, имеющих ярко выраженную документально-биографическую основу. Но реальные факты, конкретные даты, обозначающие основные вехи жизненного пути Г. А. Хомякова, известны мало. Предположительно, в данном случае имеет место не потеря, а сокрытие информации, связанное с его многолетней деятельностью в НТС и той ролью, которую он играл в этой организации. В пользу такой версии говорит и стиль единственной автобиографической статьи Г. Андреева: «Из того, что было» (1982). Слегка приподняв на склоне лет завесу тайны над собственной личностью, назвав ряд конкретных фактов и дат, связанных с его участием в НТС, автор умудряется в то же время полностью завуалировать сущность своей деятельности. Это особенно бросается в глаза при сопоставлении с публицистическими статьями писателя, где ясность и точность изложения соответствует четкости идеологической установки и политической позиции.

Не установлена даже точная дата рождения писателя: по одним источникам это 1909, по другим — 1910 год. Только предположительно известно, что крупный порт и индустриальный центр, где он родился — город Царицын (ныне Волгоград). Отец Андреева был служащим среднего звена, семья жила в до-

статке, имела небольшой собственный дом. Октябрьская революция не стала для нее роковым событием.

В 1926 г. Андреев окончил школу и стал корректором в губернской газете, где и опубликовал несколько своих рассказов. С середины 1920-х гг. он принимал активное участие в работе литературного кружка. В 1927 г. Андреев был арестован и по «политической» 58-й статье осужден на десять лет исправительно-трудовых лагерей. «Зековский» маршрут его пролег через Соловки и европейский север России. В 1935 г. Андреев вышел на свободу с «поражением в правах». До начала Второй мировой войны он успел в полной мере ощутить унижительность и бесправие положения бывшего «зека» в СССР. В 1942 г. Андреев был мобилизован и после краткосрочного обучения отправлен на фронт. В том же году в Крыму попал в плен. Длительное пребывание в лагерях военнопленных позволило ему досконально сравнить их со сталинскими лагерями. Окончание войны Андреев встретил в Берлине. Оказавшись в американской зоне оккупации, сумел избежать насильственной репатриации.

Поначалу жил вместе с женой, тоже «Ди-Пи», в Гамбурге на небольшие, но регулярные гонорары журнала «Посев», с которым активно сотрудничал. В начале 1950-х гг. вступил в НТС и в связи с этим перебрался в Лимбург для непосредственной работы в Союзе. Начал эту работу с составления текстов для радиостанции «Свободная Россия», созданной НТС для вещания в советской зоне оккупации Берлина. Принимал участие непосредственно в проведении передач. Потом стал штатным сотрудником издательства «Посев», вошел в Совет Союза, формально — высшего органа НТС. Однако во время раскола Союза 1955—1957 гг. выступил на стороне оппозиции. Помимо личностной борьбы за власть раскол был вызван недовольством многих рядовых членов ослаблением идеологической компоненты в работе Союза, приоритетом тактических задач над стратегическими, излишней коммерциализацией и, в связи с этим, усилением зависимости от американских союзников. Г. Андреев активно выступал за усиление конкретной идеологической работы, подкрепляя свою позицию собственной литературной и публицистической деятельностью.

В результате раскола более трети членов, в том числе Г. Андреев, вышли из Союза (часть из них объединилась в другой, Российский ТС). Г. Андреев получил работу в мюнхенском отделении на радиостанции «Голос Америки», затем там же в Мюнхене перешел на работу в ЦОПЭ: составлял листовки, был редактором первых десяти номеров и одним из ведущих авторов альманаха «Мосты», выступал на радио «Свобода», активно сотрудничал в эмигрантской периодике. В 1967 г. перебрался в Нью-Йорк, где продолжил работу на «Свободе» и ли-

тературно-публицистическую деятельность. Печатался в «Новом журнале», в 1975—1976 гг. входил в состав его редколлегии. Скончался в США в 1984 г.

Творческое наследие Г. Андреева невелико по объему, но это яркая и значимая страница литературы второй волны русской эмиграции. «Много пишет о каторге. Люди у него вполне объемные, весомые, в их реальности не сомневаешься, и когда писатель раскрывает психику своего героя — будь это первое лицо, от имени которого говорит рассказчик, или третье лицо, чувства, думы и поведение этого героя вызывают в его читателе полное доверие»¹, — охарактеризовал творчество Г. Андреева один из ведущих критиков русского зарубежья послевоенного периода Ю. Большухин.

Документальность, свойственная писателям второй волны русской эмиграции, у Г. Андреева выражена особенно сильно и своеобразно проявляется в художественной форме его произведений. Большую часть им написанного составляют очерки, имеющие автобиографическую основу. Повествование во всех очерках всегда ведется от первого лица, и центральный персонаж неизменно близок (фактически тождествен) автору.

Собственно беллетристических произведений Г. Андреев написал немного: он словно только пробовал свои силы в самых различных жанрах. Ему принадлежат повесть, около десяти рассказов и эссе, новелла и пьеса (в соавторстве с Л. Ржевским).

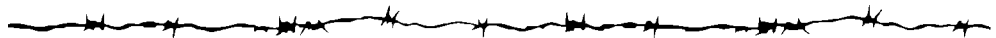
Тематика произведений Г. Андреева разнообразна, он затрагивает весь круг вопросов, типичных для литературы второй волны русской эмиграции. Это — повседневная жизнь в СССР накануне Второй мировой войны, сама эта война в различных проявлениях и «новая» русская эмиграция как феномен.

Но центральное место в творчестве автора занимает тема сталинских лагерей. Он называл лагерный опыт своей главной школой жизни, во многом определившей всю его дальнейшую судьбу. «С тяжелым чувством уходил я от лагеря и не раз оглядывался на длинную ограду из колючей проволоки, с вышками по углам, на ряды слепых, придавленных к земле словно тяжелой судьбой бараков. В них что-то большое оставалось от меня. <...> В лагере я узнал жизнь», — утверждает писатель в книге «Горькие воды» (1954)².

Именно в произведениях на эту тему наиболее наглядно слияние очеркового стиля, документальной основы и лирического начала, превращающее очерки одного цикла в главы единого художественного произведения. Все «лагерные» произведения Г. Андреева сугубо автобиографичны и написаны, как и другие его очерки, от

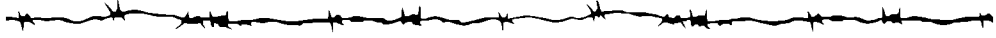
¹ Литературное Зарубежье: сборник. Мюнхен: ЦОПЭ, 1958. С. 342.

² Андреев Г. Горькие воды: очерки и рассказы. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1954. С. 11.



лица рассказчика, близкого автору. Раньше других созданы (1948, опубликованы в 1950) «Соловецкие острова. 1927—1929», которые и представляют творчество писателя на страницах настоящего сборника. Указанный в подзаголовке временной период соответствует первому этапу восьмилетних мытарств автора по лагерям. Он не определяет жанра своего произведения. Текст состоит из вступления и девяти глав, не имеющих собственных названий. Первая глава посвящена истории Соловецкого монастыря, вторая — характеристике сокамерников рассказчика, каждая из остальных — отдельному характерному эпизоду из жизни лагеря. Как и во всех циклах очерков Г. Андреева, некоторые персонажи «Соловецких островов» (не считая самого рассказчика) участвуют в целом ряде эпизодов, сюжетно связывая действие и раскрываясь в различных ситуациях. Это позволяет автору обозначить основные черты характеров таких персонажей, иногда даже в их развитии.


Но рассказ о физически невыносимом существовании заключенных в условиях концлагеря служит в «Соловецких островах» лишь внешней канвой. В основе же повествования история внутреннего противостояния человека обстоятельствам. Рассказчик и близкие ему по духу персонажи не сосредоточиваются на тяготах повседневной жизни. Главная их задача — «не сломаться», не утратить человеческое достоинство в нечеловеческих обстоятельствах. В своих духовных поисках они идут от отчаяния через глубокое сомнение («А, может быть, те, что послали нас сюда, правы?») к четкому пониманию неправомерности происходящего. В самых разных аспектах вопрос об этой неправомерности возникает в произведении вновь и вновь, постепенно становясь главным. «Очень хорошие люди подобрались у нас. Иногда я думаю, а зачем они здесь? Зачем их оторвали от семей, привезли в Соловки, держат в лагере, если они вряд ли способны обидеть и муху?» — завершает рассказчик описание своих сокамерников. И даже во время короткого перерыва на самых тяжелых, лесозаготовительных работах каторжники из интеллигенции находят силы спорить, есть ли смысл в происходящем с ними. «Есть смысл — я, может, от всякого рассуждения откажусь и как животное безропотно подчинюсь. А нет — так я готов на самого Господа Бога восстать, — мечется один из них, втягивая остальных в дискуссию. — Ведь нам только казаться может, что смысла нет. А если есть?». То, что для заключенных пока остается вопросом, давно уже понято теми из чекистов — руководителей лагеря, которые дали себе труд над этим задуматься. «Это как машина — огромная мертвая бездушная, ... мы сами пустили ее, а теперь никто не может остановить. ... Она кружит нас, ломает нам кости, а мы только следим за ней, подливаем ей масла, и никто не знает, как ее остановить», — в отчаянии втолковывает рассказчику один из тюремщиков, оказавшийся другом его детства.



Г. Андреев показывает, как укрепляется в сознании заключенных необходимость противостоять безумной машине, и раскрывает способы этого противостояния. Первый из них — в общении с суровой и прекрасной северной природой, сдержанная красота которой помогает людям обретать столь необходимое им душевное равновесие. Все произведение начинается с развернутого лирического пейзажа, подчеркивающего, как много значит природа для заключенного: «Я люблю соловецкую осень, когда желтеют листья кривых берез, короче становятся дни и вечера рано начинают окутывать наш угрюмый остров в густую, осеннюю темь».

В эту пору иногда выпадают тихие теплые дни, немного похожие на дни бабьего лета в России: не дует нескончаемый ветер, не моросит надоевший дождь, а неяркое, словно меркнувшее солнце льет на камни, на море бледные, не жаркие, но поздней осени печальной лаской греющие лучи».

Кроме общения с природой, автор отмечает еще целый ряд источников, из которых черпают заключенные нравственные силы. Самый мощный из них — религия, конкретнее, православие. Поскольку концлагерь расположен непосредственно в стенах бывшего монастыря, атрибуты службы, присущие этой конфессии, почти сливаются в сознании узников с явлениями природы. Монастырские строения, отдельные предметы церковной утвари, немногие оставшиеся на острове монахи, сопутствующие этим местам церковные легенды — все становится для заключенных неотъемлемой составной частью их повседневной жизни. При этом именно на Соловках находилось множество заключенных священников. «Там, где нужны безусловно честные люди — на складах, в каптерках, при раздаче посылок, — работают священники», — свидетельствует рассказчик. Осужденные священники воздействуют на товарищей по несчастью и проповедуя слово Божие, и личным примером, и даже самой причиной своего ареста. Большинство из них осуждены именно за несогласие отречься от сана (и от Бога — даже формально!), за то, что продолжали, несмотря на запреты, служение Церкви. Как пример неколебимого выполнения священником своего долга приводит автор рассказ о гражданском подвиге о. Николая. По просьбе группы бывших царских офицеров этот священник отслужил в день именин Николая II панихиду по нему как по невинно убиенному, понимая, что будет тотчас же арестован и осужден. Свой крест о. Николай нес безропотно, с глубоким внутренним достоинством, основанном на истинной вере. Даже простое повседневное общение с таким человеком давало многим заключенным душевное успокоение, утешение и нравственную поддержку. Истово верующие люди, искавшие нравственную опору прежде всего в религии, были и среди заключенных-мирян. Один из них,



сосед рассказчика по камере — Гусев, следуя христианским заповедям, отчаянно сопротивлялся росшему в его душе озлоблению против своих мучителей. Он предпочел умереть, но не нарушить свои нравственные принципы. Однако для большинства в лагере Православие все же не основа жизни, но светлый луч, эту жизнь освещающий. В религии эти люди видят, прежде всего, источник духовного просветления. Очень символична сцена тайного празднования соловецкими каторжанами Пасхи. В служебном помещении, без священника, общими усилиями собрав на столе более чем скромное угощение, они, тем не менее, все как один испытывают необычный душевный подъем. Воскресение Христа знаменует для этих людей возможность «жизни после смерти», дает им надежду вернуться в будущем (после лагеря) к нормальному существованию.

Сущностное различие между заключенными, верующими по-настоящему, и остальными лежит в их отношении к побегу. Для первых сама эта мысль неприемлема. Вторые, в меньшей степени черпающие в вере душевные силы, имеют дополнительный их источник: надежду на удачный побег. Для многих сама потенциальная его возможность, вынашивание планов, обдумывание деталей, подготовка материального обеспечения на долгие годы составляет основное содержание внутренней жизни.

Еще одну нравственную опору находят заключенные в занятиях науками и искусством. Чаще всего они делают это после тяжелого рабочего дня, за счет личного времени и сна. Но эти занятия позволяют им поддержать и проявить свой творческий потенциал, а значит, сохранить уникальность собственной личности. Важнейшим для этих целей искусством из доступных заключенным Г. Андреев считает театр. Подробно описанный рассказчиком лагерный самодеятельный театр, прежде всего, — место раскрепощенного, демократического личностного общения. В то же время это идеальная площадка для раскрытия и развития разнообразных способностей. И, кроме того, — реальная, почти физическая возможность переместиться на время из своего тюремного мира в мир вымышленный. Причем последнее не только для актеров, но и для зрителей.

Бесконечным и самым легкодоступным источником душевных сил служат заключенным на Соловках воспоминания о счастливых моментах в прошлом, о близких людях, оставшихся на воле. Некоторые находят нравственную опору в задушевном общении друг с другом. И в гордом нежелании смириться с простенькой формулой выживания: «Доверять нельзя никому».

Дальнейшее развитие тема противостояния человека системе в условиях сталинских концлагерей получила у Г. Андреева в книге, названной им «Трудные дороги» (1959). Сюжетную основу этой книги составил цикл из 17 очерков,

опубликованный в 1955–1956 гг. журналом «Грани». Каждый очерк имеет собственное название. Центральный персонаж, от лица которого ведется повествование, так же как и в «Соловецких островах», — заключенный. Однако в этом произведении мотив противостояния человека системе дан в динамике. С личностным ростом рассказчика оно становится все осознаннее и сильнее. Рассказчик в данном случае даже в очерках, а тем более в книге, вполне заслуживает термина «герой». Это единственный в очерках Г. Андреева случай, когда образ рассказчика дан в развитии. Причем движется рассказчик от личностной идентичности автору (как это было и во всех других его очерках) к авторскому же идеалу (которого не достигает).


Уже эпиграф отражает резкое изменение акцентов при раскрытии лагерной темы. «Соловецким островам» автор предпослал просто отрывок «Из соловецкой песни», полной горькой жалобы на судьбу:

*Море Белое, водная ширь,
Соловецкий былой монастырь,
Со всей русской бескрайней земли
Нас на горе сюда привезли.*

Эпиграфом же к книге «Трудные дороги» автор взял цитату из «Старика и моря» Э. Хемингуэя: «Человек не рожден для поражений. Его можно убить, но не победить. Человек побеждает всегда». В журнальной публикации добавлено: «Нельзя уйти от самого себя, переезжая с места на место».

В основе «Трудных дорог» лежит представление о жизни человека как о пути, распространенное в эзотерической литературе. Соответственно, мотив дороги становится главным в этом произведении. Он используется и в прямом (бесконечное перемещение в пространстве), и в переносном (понимание жизни как однонаправленного движения к смерти) смысле. И в обоих путь рассказчика парадоксален. Его официальное перемещение в пространстве абсолютно бессмысленно. Во-первых, его, как и большинство заключенных ГУЛАГа, периодически «перебрасывают» из лагеря в лагерь. Во-вторых, схватив после побега, через полстраны этапируют к тому месту, откуда он бежал. Однако с этим бессмысленным передвижением в пространстве теснейшим образом переплетено и совершенно осмысленное, более того, на определенном этапе составляющее весь смысл жизни героя его передвижение во время побега. Это перемещение имело вполне реальные, тщательно и многократно продуманные им координаты.

Побег для рассказчика — единственно приемлемый способ сохранения своей личности и противостояния обстоятельствам. Но вопреки естественной направленности жизненного пути к смерти, побег в данном случае это движение от



смерти к жизни. Герой, по существу, уже перешагнувший грань между жизнью и не-жизнью, пытается двигаться в обратном направлении.

В книге повествованию о злоключениях советского «зека» предшествует авторское вступление. В нем рассказчик — пожилой и вполне благополучный обыватель, живущий в одной из стран Запада. Его периодически охватывает неясная душевная смута, и тогда он играет сам с собой в «поездку в никуда». Берет билет в произвольном направлении до первой попавшейся станции и при этом внутренне резервирует за собой право сойти в любой момент там, где вздумается. Эта странная и бессмысленная, на первый взгляд, игра глубоко символична. Она отражает запечатлевшееся в подсознании героя восприятие побега как единственного способа преодоления обстоятельств. Только на сей раз ситуация, которую он создает, полностью ему подконтрольна. Это указывает на внутреннее стремление героя «переиграть» важнейший этап своей жизни, воспоминания о котором составляют подлинную цель и главное содержание всех этих поездок.

Полностью сосредоточенный на идее побега, герой «Трудных дорог» отрицает все другие способы сохранения личности, найденные персонажами «Соловецких островов». В частности, столь близкую для последних природу он воспринимает враждебно. Для него природа (горы, тайга), прежде всего, — механическое препятствие на пути к свободе. И даже в тех редких случаях, когда природа олицетворяется, этот человек видит в ней, в первую очередь, худшие человеческие черты: «Тайга оказывала равнодушное, тупое, поразительной стойкости сопротивление, как всякая огромная инертная масса, может быть, и как масса человеческая...»³

Формируя из очерков эту книгу, автор добавил много обобщений. Эти, по сути, публицистические вставки, органически вписываются в текст повествования. Так, очутившись в концлагере, герой размышляет: «Смириться до конца нельзя, протест в тебе не утасует — словно уравнивая его мощным инстинктом самосохранения, ты будто балансируешь на режущей человека в тебе, до отказа, до звона струны натянутой проволоке, готовой лопнуть. Каждый миг ты можешь лишиться даже этой опоры и сорваться в пропасть»⁴. А рассказывая о своем товарище по камере смертников, восклицает: «Негасимое пламя ест его, заставляет стонать и корчиться, — но не так ли корчится и вся Россия? Не так ли корчится и весь мир?..»⁵

Хотя книга «Трудные дороги» имеет ярко выраженную очерковую основу, во многом она близка по стилистике к собственно беллетристическим произве-

³ Андреев Г. Трудные дороги. Мюнхен: ТЗП, 1959. С. 51.

⁴ Там же. С. 52.

⁵ Там же. С. 142.

дениям Г. Андреева. Кроме того, она сюжетно перекликается с одним из рассказов — «Тень на стене» (1959). В этом произведении в художественной форме раскрываются истинные причины «чуда», случившегося с героем «Трудных дорог». Партийный функционер, от которого зависела судьба заключенного, провел ночь перед заседанием с женщиной «из бывших». И ей удалось разбудить в этом чиновнике что-то вроде желания проявить «милость к падшим».

О предвоенной жизни в СССР Г. Андреев рассказывает в книге «Горькие воды». Название автор взял из стихотворения Вл. Ходасевича из сборника «Тяжелая лира», выбранного как эпиграф ко всей книге:

*Все ждут, кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль.
Зевака бледный окровавит
Торцовую сухую пыль.*

*И с этого пойдет, начнется
Раскачка, выворот, беда
Звезда на небе оборвется
И станет горькою вода...*

Сборник составлен из двух примерно равных по объему частей. Первая, с названием «На стыке двух эпох» и подзаголовком «Из воспоминаний» представляет собой восемь циклов очерков, объединенных в целостное повествование. В основной части автор показал процесс становления единой, цельной, хотя, на его взгляд, глубоко порочной и вследствие этого нежизнеспособной системы. В двух заключительных главах — начало неизбежного, по его мнению, крушения этой системы.

Вторую часть книги составили семь художественных произведений, названные автором рассказами. В действительности, открывают этот список две повести о любви: «Под знойным небом» и «Тамара» (1949, в журнальном варианте имела подзаголовок «Из записок стареющего человека»). В обеих показано, как советская власть ломает хрупкие отношения влюбленных. Действие остальных рассказов происходит во время и после войны и тематически тесно связано с ней.

России во Второй мировой войне посвящен и цикл очерков «Минометчики». Написанные «по свежей памяти»⁶, в 1946–1947 гг. (заметки, которые автор пытался набросать прямо во время войны, у него не сохранились), они впервые были опубликованы только в 1975–1978 гг. в «Новом журнале». Автор поставил своей целью показать этот мировой катаклизм с точки зрения рядового

⁶ Новый журнал. 1976. № 122. С 79.

его участника. Утверждая, что «советская история темнит», «Совинформбюро врет», указывая на «разнобой в датах» в официальной советской истории, Г. Андреев предлагает собственную версию событий, в самом центре которых он долгое время находился.


Сюжетно военные очерки Г. Андреева остаются незавершенными. Открытый финал произведения отражает ту неопределенность, которая наметилась в судьбе автора и многих других советских военнопленных с окончанием войны.

В беллетристике Г. Андреева Вторая мировая война показана в несколько ином ракурсе. Исторические события, подробно описанные автором в очерках, в его художественных произведениях остаются за кадром, точнее, выносятся за скобки. Война становится в них историческим фоном, во многом определяющим и судьбы героев, и логику их поступков, и особенности мировосприятия. В центре же внимания автора влияние войны как феномена и на психологию отдельной личности, и на коллективное сознание. Война ломает общепринятое представление о морали, привносит в сетку нравственных ценностей двойной стандарт. Первое же художественное произведение Г. Андреева эмигрантского периода — «Новелла о танке» (1948) — исполнено тончайшего психологизма. Автор сумел запечатлеть весь ужас первых дней Великой Отечественной войны, передать ощущение беспомощности человека перед мощной военной техникой, показать сложнейшие эмоциональные перепады души от страха к отчаянию, от безысходности к надежде, от надежды к страху и т.д. Но главное, на высочайшей лирической ноте передать почти животный ужас перед смертью, в то же время и высочайшую человечность, помогающую его преодолеть.

Несколько особняком в художественном наследии Г. Андреева стоят лирико-философские эссе «В дни короткого отпуска» (1958), «Мертвая петля» (1961), «Звезда над Парижем» (1965). К этому жанру писатель обратился в конце 1950-х — начале 1960-х гг., после создания большинства своих беллетристических произведений, в период активной работы в публицистике и литературной критике. Написанные от первого лица, эти произведения содержат попытку соотносить отдельную жизнь и вечность, индивидуальную судьбу и исторический процесс.

В 1951 году Г. Андреев попробовал свои силы в драматургии, написав в соавторстве с Л. Ржевским пьесу «Награда».

Объект интереса Г. Андреева-критика — русская литература в самой широкой хронологии и диапазоне: классическая и современная ему, написанная на родине и эмигрантская. Русскую классическую литературу критик считает эталоном совершенства, называет одним из трех чудес в мировой истории



культуры, ставит в один ряд с античным искусством и искусством итальянского Возрождения. В статье «Загадка Чехова» (1975) он утверждает, что русская классическая литература исчерпала изображение основных явлений бытия. И, значит, для литературы последующих эпох главной задачей стало запечатлеть картину мира. Переходной фигурой в этом процессе Г. Андреев считает Чехова. По его определению, — это «едва ли не последний наш классик, которого на один уровень с Толстым или Достоевским все же не поставишь»⁷. И в собственном художественном творчестве, и в рецензиях на книги своих современников писатель последовательно придерживался этих взглядов.

Публицистические статьи Г. Андреев писал по большей части для альманаха «Мосты» за подписью Н. Отрадин. В них писатель выражает свое резкое неприятие и самой коммунистической идеологии, и советской действительности, как ее воплощения. Автор не просто критикует социалистический строй, но откровенно призывает к его уничтожению, видя в этом единственный путь освобождения России. Более десяти больших публицистических статей Г. Андреева выражают единую авторскую позицию, имеют общий объект исследования и являются по существу главами еще одной, не сведенной писателем в единое целое книги.

Непримиримый враг советской власти, скончавшийся за рубежом до начала перестройки в России, Г. Андреев-писатель вплоть до последнего времени был практически неизвестен на родине. Его возвращение к отечественному читателю в наши дни — закономерно и актуально.

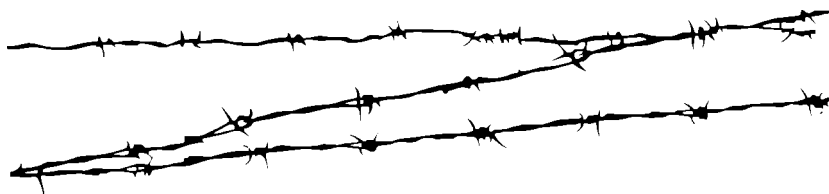
* * *

Благодарю за помощь при подготовке текста заместителя заведующего отделом литературы Русского зарубежья Российской государственной библиотеки Е. В. Короткову.

⁷ Новый журнал. 1975. № 118. С. 58.



Соловецкие острова (1927–1929)¹



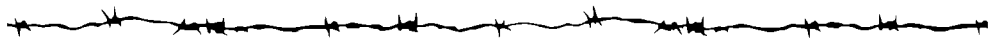
*Море Белое, водная ширь,
Соловецкий былой монастырь,
Со всей русской бескрайней земли
Нас на горе сюда привезли...
Из соловецкой песенки*

Я люблю соловецкую осень, когда желтеют листья кривых берез, короче становятся дни и вечера рано начинают окутывать наш утрюмый остров в густую, осеннюю темь. В эту пору иногда выпадают тихие, теплые дни, немного похожие на дни бабьего лета в России: не дует нескончаемый ветер, не моросит надоевший дождь, а неяркое, словно меркнувшее солнце льет на камни, на море бледные, не жаркие, но поздней, печальной лаской греющие лучи.

Хорошо в такой день идти по лесу, без дороги, без тропинки, пробираясь сквозь чащи кустарников, обходя разлапистые ели, под которыми притаился синий сумрак. Ноги тонут в подушках из мха, скользят по камням, а вокруг неподвижная, безмолвная тишина. Птицы не гнездятся в соловецком лесу, их щебет не нарушает лесного безмолвия, и, только когда дует ветер, скрипят вершины сосен и елей, гнутся белые березы, тревожно гудит лес. Но сейчас тихо в лесу, и эта тишина еще увеличивает печаль осеннего увядания.

Хорошо в предвечернее время разыскать одно из бесчисленных соловецких озер, окаймленное темно-зелеными заплесневевшими валунами. Вода в озере не шелохнется, она застыла, как черное зеркало, а в него смотрятся стоящие на

¹ Публикуется по: Андреев Г. Соловецкие острова. 1927–1929 // Грани. 1950. № 8. С. 43–90.



берегу высокие сосны. Непроглядны воды озера, но я сажусь на камень и долго, долго смотрю в черную гладь: мне все кажется, что в одном из этих похожих одно на другое озер сквозь темную, холодную воду обязательно покажутся колокольни Китеж-града, непременно спрятавшегося где-то здесь, на дне...

Тоска, тоска... Я не знаю, почему нельзя погасить ее, не знаю, откуда она у меня. Ведь не оттого же, что мне еще долго жить на этом острове, еще долго бродить по соловейскому лесу и тщетно смотреть в молчаливые зеркала его озер?

Тень под елью неподалеку притаилась, как живая. Она смотрит насупленно, хмуро, не сводя с меня глаз. За сосной, в кустарнике, тоже притаились уродливые тени. Налево, вдали что-то темнеет, будто вытянув вверх руки. Лес полон призраками, грозящими, усиливающими тоску в груди... Откуда они? Зачем пришли сюда? Может, они пришли по моим следам и опять обступают меня, как и всюду?

Мы живем в странной, малоправдоподобной обстановке. Много людей вокруг: милых, хороших, добрых. Но, приглядевшись, можно увидеть, что они словно не настоящие. Будто из них вынули что-то, без чего они не могут быть настоящими людьми. Так же, как не могу сделаться настоящим и я. Почему?

За ответом я прихожу сюда, на тихие, молчаливые озера. Я смеюсь, но ничего не остается, кроме как обманываться, ожидая, что когда-нибудь откроются воды одного из озер, со дна его покажутся маковки церковей Китеж-града и звон их колоколов даст ответ. И я долго сижу на камне, пристально вглядываясь в гладь воды, и иногда мне кажется, что я слышу глухой, идущий откуда-то снизу звон...

Но неподвижна черная гладь, безмолвен лес. Еще более сгущаются между деревьев тени. Молчание, молчание. Темное, холодное, равнодушное ко всему живому.

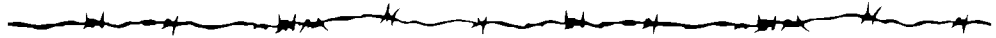
Тогда из этого непреодолимого молчания возникает вопрос, который будто бы кто-то шепчет мне на ухо:

— А, может быть, те, что послали нас сюда, правы?..

Лоб покрывается капельками пота. Сердце начинает биться сильнее, я чувствую, что внутри точно пронесся вихрь. Я поспешно встаю, иду, цепляясь за ветки кустарника, мимо сгустившихся лесных теней. Торопясь, я выхожу на дорогу, спустя несколько минут выхожу из леса, перехожу поле, поднимаю голову: передо мною, в смутной вечерней пелене, мрачная, обомшелая стена Кремля, исполинским утюгом придавившая землю...

1

Соловки — это небольшой архипелаг в западной части Белого моря из пяти островов: Большого Соловецкого, Анзера, двух Муксаломских и Заячьего. В



юго-западной части Большого Соловецкого острова, главного в архипелаге, у излучины, образующей бухту, находится соловецкий Кремль — монастырь, один из известнейших монастырей России.

Массивная стена с круглыми по углам башнями сложена из больших валунов, поросших травой и мохом: кое-где по стене вытянулись, как свечи, тонкие березки, прилепившиеся к земле, веками скопившейся между валунами. Верх стены выложен из кирпича, по нему идут узкие бойницы и отверстия для выливания кипящей смолы: Кремль в прошлом — и монастырь, и грозная крепость.

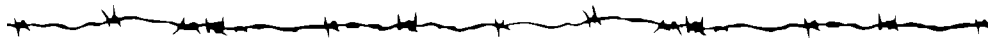
За стенами неправильным четырехугольником разместились двух- и трехэтажные белые корпуса: службы, жилые помещения. А посреди двора высятся ровные, гладкие, без украшений стены соборов. Преображенский собор с плоскими крышами башен похож на гигантский, чуть суженный сверху куб, несокрушимой тяжестью вросший в землю.

...Шесть веков тому назад два старца, Зосима и Савватий, на утлом челне приплыли к острову и избрали его местом для поста и молитв. Они жили в землянках и никогда, верно, не думали, что там, где возносился к Богу шепот их смиренных молений, вырастут тяжкие, давящие землю стены Кремля и соборов...

В первые дни по приезде в Соловки я попал на работу в соловецкий музей. Унылого вида человек в солдатской шинели, висевшей на нем, как на вешалке, в прошлом один из князей Голицыных, повел нас в Преображенский собор, превращенный в заповедник. Под руководством Голицына мы наводили в нем порядок: переносили изъеденные временем гробы с мощами, передвигали на другое место громоздкую колесницу для перевозки карбасов, оставленную в Соловках Петром Великим, носили в музей ржавые кольчуги, пищали, секиры.

В высоте собора гнездилась гулая тишина, громко повторявшая наши голоса, стук упавшей на пол секиры. Углы были плотно затянуты похожей на сгнивший шелк паутиной, на всем лежал толстый слой пыли. Пахло тлением и плесенью. Откуда-то сверху из неразличимой темноты свисало огромное резное паникадило, тускло мерцавшее тысячами хрустальных подвесков сквозь покрывавшую их пленку пыли. Тончайшая, легкая, но холодно-строгая резьба широкого покрова, золоченый иконостас, деревянные, тоже позолоченные, статуи архангелов с мечами, потемневшие, с неясными ликами, иконы — казались мертвой театральной бутафорией, ненужно брошенной в пустой сарай.

Я представил на минуту, как выглядел собор раньше, в дни праздничных служб. Тысячи огоньков свечей и лампад, дробясь и множась в золоте и драгоценных камнях окладов икон, заливали, наверное, собор ослепительным



блеском. Сотни голосов стоявших рядами монахов и богомольцев подхватывали возгласы священнослужителей. Торжественно гремел монастырский хор. Голубыми струйками плыл дымок благовонных курений, распространя пряный, сладковатый запах. Благостно и проникновенно смотрели лики икон, а снаружи доносился гул колоколов.

Да, эти службы, наверное, наполняли людей очищающим, возвышающим души экстазом. Одинаковым для всех: даже узники, томившиеся в казематах монастырской тюрьмы, могли испытать его. В южной стене собора есть иконы-ставни, за ними скрываются забранные решеткой пустые отверстия — окна: это окна в тайники, к которым в стене, а потом под землей, сделан тайный ход в монастырскую тюрьму. Закованных в цепи заключенных приводили по этому ходу к окошечкам, чтобы они могли помолиться в соборе.

В кремлевской стене, над бывшими покоем настоятеля, размещен музей. В нем много новых экспонатов, изделий наших рук, как и во всяком советском музее: наше время торопится мишурой дешевых достижений прикрыть свой лик. Но тут есть и уголки, откуда смотрит далекое прошлое.

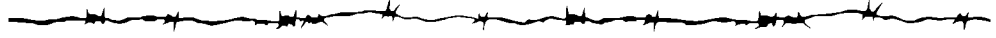
На Соловецком острове более двухсот озер. Многие из них монахи соединили каналами, и сейчас с севера почти до Кремля можно проехать водой. От Пертозера монахи проложили в Кремль водопровод: прозрачная, чистая вода идет по деревянным трубам, выдолбленным из стволов деревьев.

Муксалма соединена с Соловецким островом каменной дамбой, перекинутой через морской пролив. Позже я побываю на ней и буду удивляться: как могли тогда, когда о водолазах еще не было помина, уложить на морском дне огромные валуны, скрепить их и вывести дамбу-дорогу, несокрушимую для морских бурь? А как могли, не зная подъемных кранов, триста лет тому назад поднимать на стены и башни Кремля стопудовые камни? Что за труд был затрачен здесь?

Столетия стоял монастырь молитвенником Руси, хозяином и стражем Русского Севера. Землянки Зосимы и Савватия сменились деревянными храмами и деревянным частоколом, невидными среди дремучего леса, — к ним плыли на челнах редкие богомольцы.

Дерево сменил камень: над островом поднялись главы соборов, приземистые, но неприступные крепостные стены Кремля. Лес расступился, его прорезали широкие, построенные на сотни лет дороги. И с острова, — не от землянок и бедных деревянных храмов, а от сурового камня, — монастырь простер над краем властную руку.

Монастырь имел откуп на соль по всему северу, все постоялые дворы в Прионежье содержал монастырь. На десятках тысячах десятин земли нынешней



Карелии трудились тысячи монастырских крепостных, арестантов, вместе с давшими обет богомольцами. Не только доброхотными даяниями, дворянскими и купеческими вкладами укреплялся и богател монастырь: сермяжная, покрытая рубищем, в коросте, цинге, питаюсь репой, Русь создавала мощь, славу и великолепие монастыря, зоркого и взыскательного форпоста империи.

Под южной стеной, в земле, сохранилась монастырская тюрьма: низкие, каменные казематы без окон; с позеленевших стен капает вода. В постоянной тьме, прикованные цепями к стенам, сидели тут узники, годами и десятками лет. Раскольники, сектанты, политические преступники — они умирали здесь безвестно, безымянно; иные, освободившись после двадцати, тридцати лет заключения, добровольно оставались в монастыре доживать свой век...


Темные камни стены древней кладки лежат прочно, нерушимо. Пушки, кольчуги, секиры, как и позолота иконостаса в соборе, как статуи строгих архангелов с мечами, покрыты пылью. Серая пыль прикрыла величие и блеск прошлого, скучно хранимый этими мертвыми, ненужными сейчас вещами... И не понять, не узнать: какой камень был положен со смиренной молитвой и какой — со стоном отчаяния? Какой полит горячей слезой и какой согрет горячей молитвой? И где началась, где прошла та трещинка, что расступилась в наше время пропастью, превратившей этот остров только в место беспросветных мук?

В иконах старого письма, в толстых фолиантах рукописных монастырских книг, как и в монастырских строениях, заключены творчество и труд поколений. Да, монахи должны были носить под рясой кольчугу, на Сторожевой башне должны были стоять чернецы-дозорные с пищальми в руках. Но почему они не оградили своих потомков от нового бедствия? Почему их труд, их вера, их мука не принесли нам мира, а породили еще более жестокую борьбу, еще более жестокую муку? Когда и кем: ими, нами? — было что-то утрачено, без чего невозможен мир?

Из темного угла смотрит лик: старец, с длинной белой бородой. Сквозь поблекшие краски проступает утомленное, скорбное лицо. О ком и о чем скорбит он? Его тонкие губы словно шелестят:

— Так было, так будет... Так было, так будет...

Я никогда больше не был в музее: прошлое тяжело, а на нас еще более тяжелый груз настоящего. Но я часто хожу на соловецкое кладбище, расположенное неподалеку от Кремля. Ограда кладбища полуразрушена, за могилами никто не ухаживает, чувствуется запустение, которое сторожит маленькая церковка, напоминающая наши скромные сельские храмы.



Ряды холмиков с покосившимися крестами, небогатые памятники, а на них можно прочитать иногда наивно-трогательные надписи. Вот тут лежит архангельский купец, тут холмогорская девица. А под безымянными старыми крестами лежит такая же безымянная, уходящаяся, отмучившаяся Русь, нашедшая здесь место своего вечного успокоения.

Белые березы над головой задумчиво клонят ветви, шуршат листвой в слабых порывах ветра. И ветер не хочет нарушать кладбищенского покоя, веющего неизбывной тоской. Успокоение, успокоение... Только здесь люди отрешились от мятеха, страстей, от горя и мук и нашли себе нерушимый покой. Кадят березы листвой, шепчут чуть слышно: так было, так будет...

В стороне от старых могил протянулись длинные, свежие насыпи. Это новые, общие могилы заключенных. Каждый день везут сюда из Кремля трупы, бросают в яму, слегка засыпают землей, пока яма не будет полна. А на зиму роют совсем большие ямы: всю зиму в них свозят покойников, они лежат голые, синие, высохшие, запорошенные снегом. В оттепели снег тает, в яму стекает вода — трупы плавают в ней, как падаль. Весной ямы засыпают: никто не знает, кто нашел в них место своего успокоения, сколько успокоившихся здесь.

Сквозь листву берез видны серые, хмурые тучи. Они низко плывут над землей, почти задевая за вершины деревьев, за маковку церкви. Тучи плотно закрыли небо, они заменяют его нам. И не пробить их холодной безучастности той скорби, тому немому призыву, что обращен к небу из всех этих старых и новых могил. И не разрешить нависшим над нами тучам тоски, что теснилась в тысячах успокоившихся здесь сердец.


Печально шелестят листья берез, и под их шелест текут в голове старые мысли, навевая еще большую печаль:

— Так, может быть, горе, страданье, несправедливость, кровь — непреложный закон, который ничем, никогда не изменить?

Сгущаются сумерки, я встаю с могильной плиты, бреду к развалившимся воротам. На темнеющем небе четко и черно вырисовываются грузные стены и башни монастыря. В Кремле, у подножия Преображенского собора, лежит большая гранитная глыба. Надписей нет на ней, их стерло, наверное, время, но преданье гласит, что под нею лежит Кудеяр...

2

В кремлевских корпусах, там, где прежде жили монахи, теперь живем мы. В нашем корпусе три роты, по числу этажей; я живу в третьей, для административно-технического персонала. Мы, этот самый «персонал», пользуемся большей



свободой и чем-то похожим на привилегии: мы ходим на работу по отдельным пропускам и, словчившись, можем по ним даже выйти за Кремль гулять.

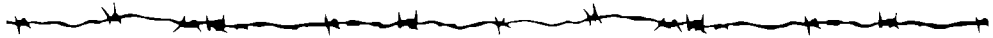
Длинный полутемный коридор делит роты на две равные половины, по десяти — двенадцати камер-келий в каждой. В камерах спят на отдельных топчанах: тоже привилегия, так как в общих спят на нарах.

В нашей камере шесть человек. По стенам, вплотную один к другому, расставлены топчаны, в середине, к окну приткнут колченогий стол. Две самодельных табуретки — вот и все убранство камеры. Не скрашивает ее и вид из окна на Святое озеро, плещущееся почти у самой стены Кремля: когда смотришь в окно, первое, что бросается в глаза — на островке, посреди озера, большой, почерневший от времени крест, словно символ нашей невеселой участи.

У нас подобрался хороший народ. Бывший присяжный поверенный Москвин — коротконогий, полный, с круглым брюшком, — очень веселый и, похоже, никогда не унывающий человек. Он любит поострить, пошутить, но шутит он беззлобно, так, что никто не обижается на его шутки, в том числе и наиболее частый объект адвокатского остроумия сосед Москвина по койке Андрей Петрович Стрешнев. Этот — наша камерная ходячая энциклопедия: за его спиной два факультета в отечественных университетах, Сорбонна, много лет жизни за границей. Андрей Петрович может почти на каждый вопрос дать обстоятельный ответ. Но он никогда не ответит вам, как профану и невежде: он утонченно вежлив, Андрей Петрович! Всегда предупредительный и готовый помочь вам, он умеет сочетать свою предупредительность с большим достоинством, и вы, вместе с благодарностью ему за помощь, будете только чувствовать возросшее к нему уважение. Но мне иногда смешно видеть, как он, в изорванном полушубке и заплатанных штанах, кланяясь встречному знакомому, неподражаемым жестом снимает рыжую, с дыркой наверху шляпу и чересчур учтиво описывает ею в воздухе широкий круг.

Третий обитатель камеры — бывший меньшевик Каплин. Это тоже интеллигентный и очень аккуратный человек. Среднего роста, плотный, в застегнутой на все пуговицы черной форменной тужурке, — железнодорожной, почтовой или судейской? — он держится ровно, с достоинством и его присутствие как бы поддерживает солидный тон в нашей камере на достаточно высоком уровне.

Но у нас вообще некому нарушать ровного тона камеры: рядом с Каплиным обитает вологодский пасечник Лопатин, грамотный, начитанный крестьянин. Высокий лоб, ясные глаза со спокойным взглядом, небольшая борода, коренастая фигура — Лопатин воплощение домовитости и какой-то непоколебимой



уверенности. Ходит он не спеша, не громко и твердо ставя ноги, говорит тихо, но в приглушенном гудении его баса чувствуется что-то, что заставляет на веру принимать сказанное Лопатиным, как будто бы ничего неверного он сказать не может. Но ничего начетнического вы не услышите от Лопатина: кажется, что любую истину он поведает так же просто, как иногда говорит: «А сегодня на обед треска».

О пятом обитателе, Гусеве, худощавом человеке с невыразительным костистым лицом, одетом во что-то, похожее на бабью кофту, много не приходится говорить: этого молчаливого человека мы почти не видим. Он приходит в камеру только спать: Гусев очень религиозен и все свободное время проводит в шестой сторожевой роте, где живут священники, у знакомых священнослужителей. Утром, бесшумно одевшись и негромко поздоровавшись с нами, Гусев незаметно исчезает из камеры; одинаково незаметно он появляется вечером, так же бесшумно раздевается в уголке у своей койки и ложится спать, опять негромко, пожелав нам спокойной ночи. Кажется, я никогда не слышал, чтобы Гусев чем-нибудь стукнул, загремел, споткнулся о табурет, вступил в общий разговор: он живет у нас, как кроткая и малозаметная тень.

Шестой в камере — я, но обо мне и речь молчит: я еще слишком молод, чтобы считать себя за равного другим жителям камеры.

Очень хорошие люди подобрались у нас. Иногда я думаю: а зачем они здесь? Зачем их оторвали от семей, привезли в Соловки, держат в лагере, если они вряд ли способны обидеть и муху?

Но и на работе, среди других знакомых, я не вижу плохих людей. По крайней мере в первое время, с первого взгляда, мне почему-то не попадаются плохие люди.

Вот Шевелев, мой начальник и наставник. Ему за пятьдесят. Широкоскулое темное лицо, изборожденное глубокими морщинами, умные, усталые глаза. Спокойные, неторопливые движения, — может быть, слишком спокойные, они, как и его почти неподвижное лицо, иногда кажутся маской, зачем-то надетой им на себя. Шевелев тоже энциклопедия, но по революционным вопросам: у него позади подпольщина, тюрьмы, ссылки. Он в прошлом активный революционный работник, эсэр. Шевелев много помог мне на первых порах, вытащил с общих работ, устроил в канцелярию, — я не знаю, почему он делал это, но думаю, что он с таким же участием относится и к другим людям.

Рядом с моим столом стучит на машинке Вальцева, красивая блондинка с точеным профилем. На юге она познакомилась с иностранным консулом, они полюбили друг друга и решили пожениться. Консул поехал хлопотать о разрешении

на женитьбу — в это время Вальцеву арестовали и отправили в Соловки. Она еще не оправилась от неожиданного удара: на лице у нее застыло выражение недоумения и обиды. Тихая, печальная, Вальцева никогда не взволнуется, не засмеется громко — жизнь в ней точно приостановилась и замерла.

К ней часто приходит подруга, Зотова, антипод Вальцевой. Толстая, краснощекая, с сияющими глазами и носом, как пуговка. От Зотовой за версту пышет здоровьем и жизнерадостностью. Анархистка, чуть ли не с начала революции сидящая по тюрьмам и ссылкам, казалось бы, должна была она на исхоженных этапах растерять свой пыл.

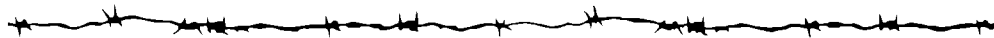
Но нет: как только Зотова входит, наша скучная канцелярия наполняется шумом, смехом, движением; Зотова, дурачась, переворачивает на столах у сотрудников документы, по пути больно шлепает меня по спине увесистой бухгалтерской книгой, тормозит Вальцеву, стараясь ее развеселить. Зотову все любят, и, вероятно, она всегда была и останется такой: в ее глазах светится бескорыстная и радостная душа, одно существование которой уже способно приносить людям утешение.

Иногда заходит маленькая австриячка Мария, приехавшая в Соловки из Вены, по дороге задержавшаяся в Москве всего на две недели, проведенные ею в ГПУ. Мария лепечет на ломаном русском языке, забавно перевирая слова, она ребячливо резва, шутлива, но шутки ее не злы, а в хрупком, изящном теле Марии угадывается такая же хрупкая и нежная душа.

Приходит самый рассеянный человек в мире, профессор Незнамов. Случается, что, он, надев пиджак, телогрейку, носки и тщательно зашнуровав ботинки, забывает, что не прибавил к своему костюму брюки. Забыв и позавтракать, он садится за стол в часовенке, где живет и работает, и погружается в сложные вычисления. Но у него феноменальная память: в прошлом Незнамов был вхож в дворцовые круги, и сейчас, когда профессор в ударе, он часами рассказывает о жизни двора, с подробностями, которые вряд ли помнит кто другой. Рассказы Незнамова окрашены в мягкий, добродушный тон, он — воплощение добра и всепрощения.

А вот другой царедворец, библиотекарь последнего царя, чех Немачик. Его расплывающееся лицо неизменно улыбается, а кустики бровей и большие, свисающие усы придают ему сходство с ухмыляющимся котом. Постукивая палкой по камням, Немачик ходит легко и быстро, любит подолгу балагурить с приятелями, довольно и сыто поблескивая в лицо собеседнику зеленоватыми глазами.

В Кремле часто встречается высокий, представительный мужчина с холеной ассирийской бородой, в элегантной шляпе и заграничном пальто. Говорят, что это




руководитель масонской ложи в Ленинграде, но сидит он за переписку с Папой Римским и епископом Кентерберийским. У него подчеркнуто европейский вид и вкрадчивые манеры: когда вы говорите с ним, вам кажется, что он мягко, любезно, но настойчиво пробирается в вашу душу. Однако глаза масона смотрят из-за стекол очков в массивной черепаховой оправе добродушно, улыбка не сходит с его розовых губ — и вы принимаете его настойчивость за извинительную, безобидную человеческую слабость.

Впрочем, чудаковатые люди не редкость в Соловках. Вот Дронов: худое лицо с мелкими чертами, кривой, тонкий нос, под ним топорщатся щетинистые усики. Рваный, грязный бушлат, рваные брюки — у Дронова дикий запущенный вид. Дик и взгляд его острых, косых глаз, в них постоянный огонек жгучего беспокойства. Наверно, только оно гнало его по свету: Дронов знаком со всеми континентами, он знает джунгли Индии и Африки, пески Азии и Австралии, прерии Техаса. Из Техаса он и приехал в Соловки: будучи ковбоем, затосковал по России, приехал и — попал в неизвестную еще ему страну, в Соловки. Здесь он работает в питомнике, километров за десять от Кремля. Чтобы не носить на себе продукты, инструменты, он выпросил в сельхозе козла, обучил его, сделал ему маленькую тележку, упряжь и теперь козел исправно служит Дронову. Они неразлучны, их всегда видят вместе: неугомимого странствующего, ковбоя с диким взглядом косых глаз, и важного, бородастого козла. Но кому мешает козел Дронова?

Там, где нужны безусловно честные люди — на складах, в каптерках, при раздаче посылок, — работают священники. Один из выдающихся нам посылок — отец Николай. Высокий, тонкий, с сухим в лихорадочном румянце лицом, на котором из-под черной камилавки глядят живые, бегающие глаза — отец Николай непоседлив, быстр, подвижен и всегда весел. Он не прочь рассказать забавный анекдот, а иногда и послушать что-нибудь пикантное. Но ни тени недоумения, почему этот светский человек надел на себя рясу, не возникнет у вас: отец Николай так воздушно светел, так легко добр, что кажется воплощением безгрешной чистоты, которую ничто не может запятнать. Он и в Соловки приехал по своей доброте, потому, что не мог отказать в просьбе: его друзья, бывшие воспитанники царскосельского лицея, попросили его отслужить панихиду по убиенному Николаю II, — он отслужил и вместе с воспитанниками приехал в Соловки.

Но не перечислишь всех: очень много хороших людей в Соловках. Разные, не одинаковые, они первое время сливаются в моем восприятии в одно целое, в одну почти неразличимую массу, в которой мелкие особенности и мелкие недостатки



не играют роли. В прошлом монархисты, эсэры, кадеты, социал-демократы, беспартийные, потеряв свои прежние политические привязанности, а часто и свое прежнее лицо, все мы сейчас превратились просто в людей, — обыкновенных, простых, отягощенных пережитым горем, разлукой с близкими, унижительностью заключения, а многие и безрадостным, в неволе, закатом своих дней.

Привыкли мы и к официальным версиям виновности каждого, мы не спрашиваем обычно, за что мы сидим, об этом узнаешь больше случайно, из оброненных двух-трех фраз, — мы относимся друг к другу прежде всего, как к людям, без всяких вывесок.

И я недоумеваю: вокруг столько умных, культурных, ученых и хороших людей — так отчего же мы дышим смрадным воздухом? Почему мы не можем ощутить себя в полной мере людьми и жить по-человечески? И до каких пор мы будем повторять то, что делали наши неразумные предки? Ну, да, где-то высоко над нами стоит начальство, нас охраняет конвой, над нами глумятся старосты и командиры рот — такие же заключенные, как и мы, только бывшие вчера чекистами или ворами, — но ведь нас несравнимо больше, нам легко было бы разорвать сковывающую нас цепь. Почему мы не рвем ее?..

В окно настойчиво стучит чайка. Эту безобразную птицу мы почему-то считаем красивой. А летящая над озером белая чайка — символ нашей грустной мечты о несбыточном. Как ошибаемся мы, глупые люди! — думаю я, наблюдая монастырское наследие, соловецких чаек. Монахи запрещали их трогать, и они несли яйца посреди Кремля, тут же выводили тонконогих, безобразных, словно ошипанных, птенцов, путавшихся под ногами у богомольцев.

Сейчас заключенные немного распугали чаек, они не кладут больше яиц во дворе, но по-прежнему безбоязненно и нагло они расхаживают между нами, большие, как утки, с длинными, хищно загнутыми клювами.

Одна чайка повадилась прилетать к нам на окно: регулярно, три раза в день — утром, в обед и вечером, она садится на подоконник и нетерпеливо заглядывает в комнату, ожидая подачки. Если окно закрыто, она бьет крыльями в стекла, стучит в них клювом, — боясь, что сейчас посыпятся стекла, мы с проклятиями бросаем ей хлеб, засохшую кашу. Но если ей мало, она недовольно клекочет и не улетит, пока мы не дадим ей достаточно пищи. С утра до вечера над Кремлем стоит отвратительный, тоскливый, выворачивающий наизнанку душу клекот чаек, и я скоро начинаю ненавидеть эту хищную, прожорливую, наглую птицу, наш символ мечты о счастье...

Шевелев, мой патрон, живет в сводной роте, за Кремлем. Как начальник, он имеет маленькую отдельную каморку. Я иногда захожу к нему. Он ухитряется

доставать водку, пиво. Сейчас он сидит на койке у стола, красный, с блуждающими глазами, как будто сняв свою обычную маску. Наливая стакан пива, Шевелев говорит, едва ворочая пьяным языком:

— Пей, пока я здесь. Скоро уеду, у меня зимой кончается срок. А тебе долго придется сидеть, потому что ты не понимаешь, чем пахнет наше время. Ты не с той стороны смотришь, чудак, и не видишь, что жизнь — одна! Поймешь — будет поздно. Мы все хорошие, да не в этом дело — сейчас никому верить нельзя. Себе не верь, понимаешь? Никому не верь! — твердит Шевелев.

Я протестующе смотрю на него, но не нахожу что возразить. Днем, в неурочное время, я иду в управление писать письмо. В канцелярии сидит Вальцева и плачет.

— Что случилось, Лидия Петровна? — спрашиваю я, подходя к ней. Она роняет голову на руки и плачет еще сильнее. Растрепавшиеся волосы густыми прядями дрожат на ее плечах.

Я бегу за водой, приношу полный стакан, неумело успокаиваю Вальцеву:

— Что вы, Лидия Петровна, о чем так, успокойтесь. Выпейте воды... Ну что могло случиться, не плачьте...

Подняв голову, она показывает на открытую дверь в кабинет Шевелева и, всхлипывая, прерывисто говорит:

— Он вызвал меня на работу. Позвал в кабинет и набросился на меня. Я вырвалась, крикнула, что побегу в коридор, закричу... Тогда он ушел... Подлый сексот!..

Раза два я встречал у Шевелева высокую, интересную женщину, бывшую владелицу большого имения в Тульской губернии. Шевелев жил с ней... Но зачем он обидел Вальцеву? Ведь не мог он не знать, какое горе причинит ей, еще не забывшей своей любви. Но более отозвались последние два слова: было известно, что благополучие Шевелева зиждется на слишком лояльном его сотрудничестве с главным соловецким властелином, начальником Соловков чекистом Эйхмансом, но я старался не верить этому. Лишнее напоминание заставляло с горечью вспомнить наставление патрона: не верь людям...

Изящная австриячка Мария приехала в СССР, ни слова не зная по-русски. В Бутырках и в этапе, в обществе воровок и проституток, ее научили нескольким словам, выдав их за русское приветствие. В Соловках сердобольная старостиха женского барака сжалась над Марией и направила ее, минуя карантин, в одну из лучших камер.

В этой камере жили: огненно-рыжая Клара Ридель, за бесшабашный характер прозванная дьяволом в юбке, Алиса Кротова, бывшая любовница бывшего японского посланника, и Римма Протасова — та самая Протасова,

которая в Соловках, среди холодных беломорских вод, основала орден любви, процветавший некогда на одном из островов солнечного Эгейского моря. Орден просуществовал недолго: о нем тотчас же узнало начальство и на Протасову было начато следственное дело. Начальник Санчасти, получив дело для врачебного заключения, наложил на нем краткую, но сильную резолюцию: «Против природы не попрешь». Дело было прекращено...

Войдя в свое новое жилье, Мария с порога покрыла его обитательницу отборной бранью. Глаза женщин округлились, как уличные фонари, они изумленно смотрели на австриячку. Смущаясь и краснея, думая, что она плохо произнесла приветствие, Мария старательно повторила площадную ругань. Женщины упали в подушки, сотрясаясь в хохоте.


Рыжая Клара знала немецкий язык — она быстро объяснилась с Марией и подружилась. Но дьявол в юбке и не подумала сказать, что за слова считает Мария русским приветствием. Наоборот, Клара постаралась еще расширить малый запас слов Марии в этой же области. И Мария еще долго ошеломяла встречаемых забористой бранью, звучавшей в ее губках святотатством и утвердившей за веселой австриячкой мнение, как о легкомысленном, ветреном, не строгом по части нравственности существе.

Царедворец Немачик в свободное время, которого у него подозрительно много, кропает скабрзные вирши. В них трудно найти красоту, изящество: вирши Немачика неуклюжи и порнографичны. Но они многим пришлись по вкусу — Немачик считается поэтом. В особенности он в фаворе у чекистов. Скоро он поедет в Москву, работать в ОГПУ.

О масоне с холеной бородой нет двух мнений: корреспондент Папы Римского и архиепископа Кентерберийского состоит в секретных сотрудниках ИСО — Инспекционно-Следственного отдела нашего лагерного ГПУ.

Скоро из нашей камеры уйдет аккуратный, интеллигентный человек, Каплин: он переселится в первую, лучшую роту, где живут среднего ранга начальники из заключенных. Он долго, незаметно, как крот, рыл яму своему начальнику: в конце концов того сняли на общие работы, а Каплина поставили на его место...

Большой и малый разврат, доносы, сплетни, подсиживание друг друга и слежка одного за другим, мелочная и жестокая борьба за место даже под хмурым соловецким небом липкими и крепкими тенетами опутывают нас. Хорошие люди утратили что-то, и вот они уже по шею увязли в грязи мелких страстишек и не в силах перебороть себя, встать на ноги, выпрямиться во весь рост. Ночами окружающее кажется дикой свистопляской, сплетенным хаосом, в котором невозможно найти какую-то верную, правильную, необходимую нам нить.



Четвертый полк ОДОН — Отдельной Дивизии Особого Назначения ОГПУ (впрочем, у нас все особое и даже Соловки — «СЛОН» — Соловецкий лагерь особого назначения. Но кажется мне, что мы совсем не особая, а лишь малая часть общего) — охраняющий лагерь, насчитывает всего около четырехсот человек. Нас в Соловках — десять тысяч. Разве четыреста человек держат нас? Разве преграда — узкая полоса моря и то, что в порту дежурят быстроходные катера «Часовой» и «Чекист»?

Трупный запах стоит над Кремлем. Он душит, как кошмар, и все чаще в зловонной тишине бессонных ночей встает один и тот же мучительный вопрос:

— Куда мы стремимся? Русь, куда ты летишь?

Но нет ответа, смрадное молчание ночи окружает нас...

Грязь не может запятнать ни Стрешнева, ни Незнамова, ни Вальцеву, ни Зотову, ни многих других. Но мы не можем переступить обтекающих со всех сторон грязных ручьев, не можем вздохнуть полной грудью, не можем разорвать тенет.

Добрейший Андрей Петрович внимателен и предупредителен, как всегда. Он подолгу стоит у окна и молча смотрит на Святое озеро, с четко вырисовывающимся посреди черным крестом. Или часами лежит на койке, подложив под голову руки и уставившись взглядом в потолок. О чем он думает? Может быть, о том же, о чем и я?

Но к нему бесполезно обращаться за ответом. Он не откажет, он постарается ответить. Начав издалека, он добросовестно вспомнит, что говорил в свое время Платон или Аристотель, Кант или Гегель, назовет еще пяток или десяток совсем неведомых мне имен, я лишний раз подивлюсь учености Андрея Петровича, но так и не услышу чего-то главного, из чего бы возник ответ.

Профессора Незнамова я застаю с тем же беспорядком в костюме, хотя пиджак его застегнут, а на шее повязан измятый грязный галстук. Пригласив сесть, он тоже садится напротив и опускает седую нечесаную голову на руки.

— Одна буря смяла нас всех и никто не скажет, когда это кончится, — не глядя на меня, глухо говорит Незнамов, как бы сам с собой. — Мы еще долго будем блуждать в потемках, пока не улягутся страсти, не успокоится взбаламученное море и из него не возникнет что-то новое. Но что — кто скажет? Может, мы уже не увидим его?..

Иногда я гуляю по савватиевской дороге с Иннокентием Серафимовичем Кожевниковым. Это высокий, грузный человек, старый большевик, в прошлом друг Ленина, Троцкого, командарм в гражданскую войну. Со стороны, когда он проходит мимо Кремля твердым, крупным шагом, одетый в длинную

кавалерийскую шинель, высоко подняв голову в крутой меховой шапочке, мне кажется, что за ним такой же твердой поступью идут стройные ряды полков.

— Раньше говорили, что тюрьма или закаляет, или развращает людей, — задумчиво говорит Кожевников, идя на полшага впереди меня. — Для нашего времени это неверно. Тогда тюрьма была исключением, теперь везде тюрьма. Сейчас люди не закаляются и не развращаются, а обнажаются. Это время всеобщего обнажения: мы сорвали все покровы, выбили из-под ног все опоры, а новых не изобрели. Но без них нельзя: человеку не на что опереться, не во что верить, нечем сдерживать себя. Да и зачем сдерживать, если это — как конец света?

— У нас тут только сгусток того, что на воле. Там не всегда заметишь, а тут все совсем раздеты и вся мерзость наружу прет, — еще тише продолжает Кожевников. — Ленин, может, ошибся, но нынешней мелкотравчатой дряни совсем верить нельзя, они сами только мерзостью живут. Если бы Ленин был жив, я не сидел бы тут, а эти подлецы меня до смерти будут здесь держать. А ты знаешь, что такое Кожевников? Солнце в небе одно, так и Кожевников на земле один.

Я изумленно слушаю полубред Кожевникова, смотрю на него: его лицо важно-спокойно, но в глазах светится странный огонек.

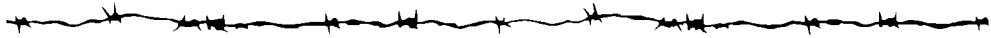
Летом двадцать девятого года Кожевников, окончательно сойдя с ума, напишет манифест, в котором объявит себя «соловецким королем Иннокентием I» и дарует всем заключенным свободу. Написав манифест, он скроется в лесу, но вскоре будет пойман и с тех пор исчезнет с соловецкого горизонта...

В обеденный перерыв и вечером я исподволь присматриваюсь к вологжанину Лопатину. Все, что он делает — обедает, моет посуду, штопает носки или читает, свесив усы в раскрытую книгу, — он делает спокойно, неторопливо, без хлопот и суетливости. Он малоразговорчив, говорит больше об обыденном и, наверное, никакие сомнения не мучают его. Но к нему тоже бесполезно обращаться за ответом: он вряд ли поймет и только улыбнется — спокойной, ясной, чуть извиняющейся и ободряющей улыбкой. Но не в ней ли и есть ответ?..

3

С того дня, как я вышел из ворот Крестов, одна мысль не оставляет меня: надо бежать. Невозможно примириться с тем, что впереди десять долгих, бездеятельных, вычеркнутых из жизни лет. Невозможно примириться и с гнетущей соловецкой обстановкой.

Я думал о побеге, когда шел по вечерним улицам Ленинграда, настороженно поглядывая на обнаженные сабли шедших сбоку конвоиров; думал о нем в



арестантском вагоне, не перестаю думать сейчас. Я продолжаю работать, жить, как все, но я живу двойной жизнью: вторая проходит затаенно внутри, в иступленных мечтах о побеге.

С проклятых Соловков, окруженных морем, за всю историю лагеря не убежал ни один человек. В этом году восемнадцать отважных молодых людей, разоружив на Муксалме конвой, уплыли на карбасе на Летний берег. Несколько дней мы жили в тревоге за их судьбу. Она скоро выяснилась: все восемнадцать были убиты в перестрелке с настигшей их на берегу охраной.

Только сорок километров отделяют нас от материка. С Муксалмы и Анзера еще меньше: там всего четырнадцатикилометровый пролив отделяет острова от Большой земли. Но одному эти километры не преодолеть. Смешно думать, что можно найти себе товарища для побега среди окружающих меня — Стрешнева, Незнамова, Шевелева или Каплина. В этом деле попутчиком не может быть даже Лопатин.

Но в Соловках много людей, на нашей камере свет не сошелся клином. В одном этапе со мною прибыло несколько человек молодежи, студентов. Посмотрев на их лица и в упорные глаза, не трудно догадаться, о чем они думают. Не трудно найти с ними и общий язык.

Мы сидим на берегу моря: московский студент Сеницын, студент из Ростова Петров и я. Огромный валун закрывает нас от ветра; по свинцовому морю катятся белые барашки волн. Невдалеке, под ногами, гудит прибой.

— То, что мы очутились в Соловках, не должно нас обескураживать, — говорит Сеницын. — Надо продолжать дело здесь. Я намечаю такой план: небольшими группами мы организуем молодежь. От степени организации и ее широты будет зависеть, что мы можем сделать. У нас есть единицы в Анзере, на Муксалме, в Савватиево: если мы везде будем иметь по двадцать — тридцать человек — для отделений достаточно. Здесь, в Кремле, нужно больше. Опираемся мы можем только на молодежь: из старых в решительную минуту примкнут немногие. Если же ничего не получится из этого дела, одновременно мы подготовим другой план побега небольшой группой. Для этого надо связаться сейчас с нашими товарищами на воле. В будущем году осенней ночью, они должны будут с Летнего берега добраться до Муксалмы и увезти нас. Наше исчезновение останется незамеченным: лодки на Муксалме будут в целости, подумают, что мы ушли в лес. Погони не будет. Ваше мнение?

Голос Сеницына категоричен и тверд. Его короткие рубящие жесты и волевой взгляд выдают в Сеницыне прирожденного вожака.

Пока он говорит, я думаю об оставшихся на воле. Они такая же безусая, неопытная молодежь, как и мы. Занятые работой, учебой, связанные безденежьем, отсутствием руководителей, да и, быть может, отсутствием воли к революционной работе, едва организованные — справятся ли они с трудной и опасной задачей, которую хочет возложить на них Синицын? И сумеет ли он отсюда вдохнуть в них волю к действию? Я отгоняю ненужные мысли: если продолжать так думать, то все окажется неосуществимым и невозможным. Желаемое достигается, если все силы, как бы они ни были безрассудно истрачены, одной волей направлены на одну цель.

Петров перебивает мои мысли:

— Химеры, Синицын! — досадливо восклицает он. — Прости меня, но ты увлекаешься, так нельзя. Ты как будто бы не видишь, что делается вокруг. Ты посмотри — старые испытанные борцы сидят смирно, или молчат, или работают в ИСО. Как же мы можем надеяться на создание организации? И во имя чего? Чем воодушевим мы, зажжем людей в таком ералаше? Я не согласен: надо думать только о побеге, самим, без помощи с той стороны.

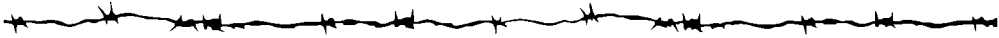
Синицын недоуменно смотрит на Петрова. Минуту слышен только шум прибоа да отвратительный клекот вьющихся за нами соловецких воронов — белокрылых чаек.

— Не надо распускаться, Петров. Нужно работать. Без организации ничего не получится; подумай после, ты согласишься со мной. Не нужно только раскисать: работать, работать, тогда у нас будет уверенность, — настойчиво повторяет Синицын. — Мы потом еще поговорим, а сейчас — ты согласен? — спрашивает Синицын меня. Я утвердительно киваю головой.

— В таком случае нужно связаться с анархистами, это единственно надежные люди. Они скоро освобождаются, мы отправим с ними письма. Поговори с Зотовой, ты знаком с ней...

Я знаю, что хохотушка Зотова не откажет в важной просьбе, как бы ни была она опасна. Зотова только по виду просто веселая, жизнерадостная женщина, она — отчаянная голова, каких немного в Соловках. Но у меня не поворачивается язык просить Зотову, подвергать ее новому риску: она ведь уже столько исходила тюрем, этапов, ссылок! По моей просьбе Зотова знакомит меня с другим анархистом, Меховым.

Сутулый, с тяжелым квадратным лицом Мехов выслушивает меня молча, серьезный, сосредоточенный. Он согласен передать письма, но он не уверен, что его освободят. Если же не освободят, а отправят в Сибирь, что часто бывает с людьми, отсидевшими срок в Соловках, то он не сможет скоро отправить письма: надо будет ожидать надежной оказии. Но у нас нет другого выхода.



Простившись с Меховым, я долго смотрю ему вслед: так быстро, без лишних слов мы договорились с ним! Он знает Соловки, он почти три года пробыл здесь, — почему он не подумал, что наша просьба — предательство, провокация, как подумал бы почти каждый другой соловчанин? Во имя чего он взялся отвезти письма совсем незнакомых ему людей? Что движет этим сосредоточенным, сутулым человеком, какая вера — во что, в кого? И почему такие люди встречаются так редко?.. Уважение к Мехову, а с ним будто бы уколы зависти или укоры совести по своему собственному адресу? — шевелятся во мне...

Во внеурочное время Вальцева, поминутно оглядываясь на дверь, около которой дежурю я, отстукивает на машинке письма на кусках белого полотна. Вечером Синицын подписывает их, а на другой день я вручаю письма Мехову. Он прячет их в подкладку пальто.

У меня почему-то остается копия одного письма. Не знаю, что с ней делать, я кладу ее под чуть отпорوشшуюся подкладку шапки и прочно забываю о ней...

Поздней осенью Мехова увозят на материк. А еще через несколько дней ко мне приходит Петров и говорит, что сегодня утром арестован Синицын.

Мы стоим в коридоре, у грязного окна, почти не пропускающего света. В полутьме я вижу угольки глаз Петрова, пытливо смотрящие на меня.

— Кто мог его выдать?

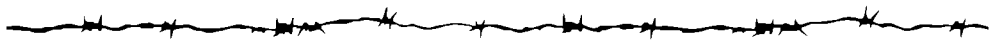
Я недоуменно пожимаю плечами, но смущаюсь: Петров смотрит так пристально, что мне кажется, будто он подозревает меня. От сознания этого я теряюсь совсем, краснею и чувствую себя перед Петровым, как провинившийся школьник. Проклятое время, проклятые Соловки, в которых никому нельзя верить!..

— Может, кто из других групп? Ты знаешь кого из них? — Синицын в целях конспирации, создавал другие группы втайне ото всех, его могли выдать из этих новых групп.

— Нет, никого не знаю, — качает головой Петров. — Теперь надо готовиться, нас каждый день могут арестовать. Вряд ли Синицын выдержит допросы.

Мы расстаемся по-старому, как друзья, но я чувствую, что Петров уходит с тяжелым сердцем, в котором, быть может, лежит не только тревога за Синицына и будущее, но и недоверие ко мне. А у меня тяжесть тревоги увеличивается от сознания, что мне нечем рассеять сомнение Петрова.

Но проходят дни, недели, нас не трогают, все остается по-прежнему. Спустя месяц мы узнаем, что Синицын отправлен в штрафной изолятор, на Секирную гору. Это страшный изолятор, при одном упоминании о нем у заключенных ползут мурашки по спине: оттуда обычно не возвращаются. Не возвратится и Синицын: еще через некоторое время мы узнаем, что он умер в изоляторе...



Чувство утраты товарища, не выдавшего ни нас, ни других и, может быть, только из-за этого погибшего, снова сближает меня с Петровым. У того же окна, понутив головы, мы вспоминаем осенний разговор. На скулах Петрова играют желваки, он то сжимает, то разжимает кулаки.

— Этого нельзя перенести, так не может продолжаться, — говорит он. — Мы должны выбраться. Выберемся, тогда будем продолжать.

— Надо ждать весны.

— Зачем? Можно и зимой. Я сговорился еще с несколькими ребятами, мы, может, сделаем что-нибудь. Подожди еще недели две...

Через две недели Петров зовет меня гулять. Для прогулки неподходящее время: свирепый ветер сбивает с ног, бросает в лицо пригоршни колючего снега. Старчески скрипят голые деревья в скверике посреди Кремля. Зайдя в ворота Преображенского собора, Петров оглядывается по сторонам и под вой ветра говорит мне в ухо:

— На Песьей луде, при входе в порт, есть лодки. Там живут только два монаха, охраны нет. Поздно вечером мы пойдем туда, возьмем лодку и потащим ее по снегу в море. Доберемся до воды и уплывем. Нас четверо — будешь пятым?

Я соображаю, что только отчаяние могло родить такой план: пятерым не протащить тяжелого карбаса по глубокому снегу, восемь—десять километров, до воды. Наклонившись к уху Петрова, я кричу:

— Это безумие, Петров! Ничего не выйдет, вы только погубите себя!

Петров отшатывается, испытующе смотрит.

— Почему?

Я торопливо объясняю, но вижу, что он не хочет слушать, он наверное, уже сжился со своим планом и не может отказаться от него.

— Так ты не хочешь? Не пойдешь с нами?

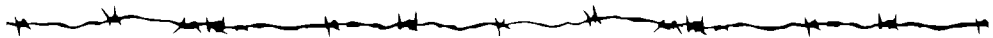
Трудно сказать категорическое «нет», трудно отказаться, когда вот тут, перед тобой, какой-то шанс на свободу, хотя бы и чересчур призрачный. Минуту я колеблюсь, в голове мелькает мысль: а, была не была! — но я останавливаю себя:

— Нет. И вам не советую. Подумай, Петров, подожди...

Но он поворачивается и быстро уходит, даже не прощаясь...

Через несколько дней, придя в управление на работу, я узнаю, что задержали четырех беглецов. Ночью они взяли на Песьей луде лодку, потащили ее от острова, но, увязая в глубоком снегу, скоро выбились из сил. Они сумели отойти всего около трех километров. Утром их заметили с берега, выслали охрану, привели обратно и посадили в изолятор.

Петров с тремя его товарищами просидел до весны. Весной их выпустили, почему-то не наказав даже карцером. Петров по-прежнему живет в Кремле, но



со мной избегает встречаться. Я с ним так и не встречусь больше ни разу, не расспрошу его ни о побеге, ни о следствии. Может быть, он не хочет видеть меня потому, что по лагерю ползет слух о том, что Петров теперь — секретный сотрудник ИСО. Впоследствии этот слух подтверждается фактами...

Поняв, почему Петров избегает меня, я чувствую, что во мне образуется легкий холодок, пустота, которую нечем заполнить. Вспоминая Синицына, осенний разговор, Петрова, я думаю: так гибнут нестигаемые и ломаются сомневающиеся. Судьба пока избавила меня и от той и от другой участи, но что оставила она мне? И что осталось от моей мечты о побеге? Не прав ли был Шевелев, говоривший, что мне еще долго, очень долго придется сидеть?..

Летом я получу письмо, в котором условным шифром будет сообщено, что одна из наших групп на воле давно разбрелась и не существует больше. Наверное, такие же письма пришли и в адрес умершего Синицына. Во всяком случае я убедился, что анархист Мехов, странный человек с каменным, сосредоточенным лицом, честно выполнил свое обещание. Где, в какой тюрьме, в каком месте российских просторов окончил свои дни этот рыцарь исчезнувшего и непонятного теперь образа?..

4

В роту добавляют все новых людей: в Соловки прибывает этап за этапом. В Кремле становится теснее. К нам в камеру поместили еще троих, поставив их топчаны посередине. Около меня, почти вплотную к моему топчану, расположился светловолосый поляк из-под Минска, бывший офицер императорской армии, участник набегов Булак-Булаховича, Болеслав Сливинский.

Плечистый, с выпуклой грудью и огромными кулаками, Сливинский обладает здоровьем и силой, которым можно позавидовать. У него жирное лицо с грубыми чертами, с лохматыми бровями, а из-под них смотрят надменно-вызывающе серые, кажущиеся мне стальными глаза. Сливинский груб: за едой он громко чавкает, а его басистый, самоуверенный голос и раскатистый хохот звучат в нашей камере почти непристойно, открытым вызовом ее прежней тишине и чуть чопорному тону. Пожалуй, Сливинский несколько хамоват, но его бесцеремонная, животная сила импонирует мне. Не потому ли, что, признаться, мне уже порядком надоели и розовая неопределенность милого Андрея Петровича, и беззлобие острот Москвина, и излишнее спокойствие Лопатина?

По вечерам Сливинский рассказывает о боях, в которых он участвовал, о чернооких паненках, за которыми ухаживал на стоянках в Польше, о жизни и схватках с большевиками в отрядах Булак-Булаховича. Я готов слушать его

рассказы часами; меня одинаково возбуждают и рисуемые Сливинский образы обольщенных им польских красавиц, и полные удали боевые эпизоды: все это — жизнь, так не похожая на наши серые будни под скучным соловецким небом! Постепенно у меня складывается представление о Сливинском, как о смелом, сильном человеке, пусть немного грубом, по-житейски не очень стойком морально, но зато отважном и непримиримом к большевизму.

Гуляя со Сливинским за Кремлем, я с уважением смотрю на внушительную фигуру моего приятеля, уверенно, с высоко поднятой головой идущего рядом. На его силу можно положиться... Незабываемое никогда подмывает меня обратиться к Сливинскому с одним вопросом. Я думаю так: Стрешнев, Лопатин не товарищи, мои сверстники молоды и неопытны, как и я сам, но вот рядом сильный, смелый человек, прошедший через многие испытания... И однажды я не выдерживаю:

— Болеслав Станиславович!

Сливинский поворачивает голову, я встречаю его прямой и надменный взгляд.

— А как вы... относитесь... к побегу? — поперхнувшись под этим взглядом и невольно сбавив тон, спрашиваю я.

Сливинский поднял брови, ничего не ответив. Но лицо его проявило живой интерес, в глазах промелькнула искорка любопытства. Это придает мне бодрости.

— Нам сидеть еще по девять лет. Подумайте, девять лет! — торопливо восклицаю я. — Ведь это целая вечность! Неужели вы, после войны, партизанщины, после кипучей жизни согласитесь с такой участью?

Сливинский оглядывается по сторонам:

— Только тише, не так громко — просит он.

В его голосе я слышу сочувственные нотки.

— Бежать отсюда трудно, говорят, что невозможно, но я уверен, что если приложить все свои силы — можно добиться успеха! Нужно только всю свою волю направить на одно — тогда мы преодолеем все препятствия!

— Да, я согласен с вами, — медленно говорит Сливинский. — Не может быть, чтобы из Соловков нельзя было бежать. Но надо хорошо подумать. Двоим бежать нельзя, нужны товарищи...

— Найдем! — откликаюсь я. Сливинский глядит на меня, кажется, что в углах его мясистых губ мелькает усмешка.

— Хорошо. Подумаем. Но не надо торопиться. Надо очень тщательно подготовить побег, наметить план. Я предложу вот что: с этого дня мы оба будем искать пути побега, людей, изредка, на прогулках, обмениваться мнением. А пока прекратим об этом: вы ведь знаете, как много здесь сексотов, нас могут подслушать...

Путь от леса до Кремля я прошел, если не танцуя по земле, то танцуя в душе. Этот разговор положил какой-то рубеж: до него была только тьма, после него — из тьмы снова засверкала надежда. Я словно уже совершил побег...

Вечером я лежу на койке. Сливинский, лежа через проход на своей койке, неожиданно, дурачась, протягивает руку и щекочет меня. Я взмахиваю рукой и сбиваю со стены на пол свою шапку, висящую у меня над головой еще с весны. Смеясь, Сливинский нагибается за ней, но тотчас же перестает смеяться.

Я поворачиваю голову, смотрю: Сливинский вытягивает из-под отпоровшейся подкладки шапки какой-то белый лоскут. Мгновенно я вспоминаю Синицына, Мехова, наши письма и хватаю руки Сливинского, пытаюсь дотянуться до шапки. Раскатисто захохотав, он одной рукой без труда валит меня на койку, другой встряхивает лоскут за кончик и читает письмо.

— Отдайте! — хриплю я, пытаюсь вырваться, но он крепко держит меня. Прочитав письмо, Сливинский протягивает его мне и опять начинает щекотать меня, как будто бы между нами ничего не произошло. Увернувшись от его руки, я встал и вышел из камеры...

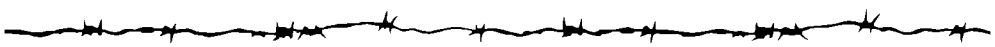
В этот же вечер я сжег письмо. А спустя двое суток я проснулся во второй половине ночи: кто-то тряс меня за плечо. Открыв глаза, я увидел командира роты, за ним человека в форме ОГПУ, а у двери красноармейца с винтовкой. Человек в форме предложил мне встать и, не одеваясь, предъявить вещи для осмотра.

Обыск продолжался три часа: человек в форме просмотрел каждый шов моей одежды, щели в досках топчана, стену, пол около занимаемого мною места. Мою шапку он взял с собой. А когда уже посветлело, когда чайки снова подняли над Кремлем отвратительный гомон, два красноармейца с винтовками отвели меня в следственный изолятор...

5

Продолговатая комната с белыми стенами, окно забрано снаружи железным щитом. Свет еле просачивается сверху в отверстие между окном и щитом, затянутое частой сеткой. От этого в камере синеватый полусумрак. У стен две койки: одну занимаю я, другую странное существо, отрекомендовавшееся Васькой.

Утром подъем, завтрак, после которого можно до обеда лежать на койке, ходить, волоча ноги, от окна к двери и обратно. В двенадцать обед; потом опять лежи или ходи до шести, до ужина. Съев ужин, можешь ложиться спать, если ты еще можешь спать, или опять ходить, сидеть. Так, вчера, сегодня, завтра и кто знает, сколько еще дней?



Я вспоминаю ДПЗ, одиночку, когда так же нескончаемо тянулись дни, накапливая в груди неразрешимую тяжесть. День за днем, день за днем — от окна к двери и обратно: скоро на полу обозначилась узкая дорожка от бесчисленных шагов, стерших с асфальта грязь.

Особенно тягостно в тюрьме вечером, после ужина: днем почему-то еще можно дремать, сидя или лежа на койке, прислушиваясь к доносящимся со двора или из коридора звукам. Через них ты будто бы приобщаешься к жизни.

Но вечером, когда узкая полоска неба над щитом окрашивается в розоватый, призывно манящий цвет, когда тюрьма погружается в тишину и в коридоре только изредка раздается привычное звяканье замков и ключей у камер, откуда выводят людей на допрос или на расстрел, беспокойство в груди растет, ширится, превращаясь в огненную, палящую тело боль.

Ее можно утишить только так: быстро, торопясь, не шагами, а короткими прыжками метаться от окна к двери и обратно или обегать камеру вокруг, больно задевая об острый угол железного стола или коленками о железо койки. Бегать надо час, два, пока во всем теле, от маковки до пяток, не останется ни одного ощущения, кроме усталости. Тогда можно лечь на койку и попытаться задремать.

Тогда меня мучило одиночество. Любой человек только своим присутствием помог бы переносить заключение. Но теперь меня не пугает одиночество: год я пробыл в Соловках, ни одного дня не оставаясь один. В камере, на работе, в Кремле меня постоянно окружали люди, и сейчас я был бы несказанно рад, если бы мог остаться один. Мне неприятно, что в камере шевелится еще одно двуногое, маленького роста, с сонными глазками на круглом, блинообразном лице. На лбу у Васьки глубокая полукруглая вмятина, как от удара лошадиным копытом, — от этого полуплешивая Васькина голова кажется мягкой. Васька сам не знает, сколько ему лет; пятнадцать, шестнадцать? Он смутно помнит и свое прошлое: асфальтовые котлы, служившие ему местом ночлега, собачьи ящики вагонов, в которых он путешествовал по стране, кражи, пьянство, детские дома и побеги из них — все это повторялось так часто и было так похоже одно на другое, что он уже не помнит ни дорог, ни городов, где все это происходило с ним.

Но меня совсем не интересует ни Васька, ни его бессвязные, похожие на беспомощное лопотанье, рассказы. Что могут они прибавить к уже услышанному и узнанному мною за это время? Впрочем, я так же, наверное, был бы недоволен, если бы вместо Васьки в камере сидел бы какой-нибудь другой человек: мне неприятны сейчас вообще все люди, я чувствую неодолимое отвращение к человеческой речи. Мне очень хочется быть одному. Если бы мне предложили

поехать на необитаемый остров или куда-нибудь в сибирскую тайгу и жить там, в полном одиночестве, я согласился бы не раздумывая.

Ни о чем не хочется думать. Вероятно, меня ждет та же Секирка, на которой погиб Синицын. Не все ли равно? Нервы притупились так, что, мне кажется, я не могу даже ощущать боли.

Но это уже было, однако... Более года назад, в одиночке ДПЗ, накопившийся в груди огонь так жег тело, что я уже не чувствовал боли. Сломав железную пуговицу от кальсон, я наточил ее об асфальт пола и, чтобы вызвать ощущение боли, чтобы болью отвлечь свое внимание от неутасимого огня внутри, стал царапать острой, с зазубринами, пуговицей по руке, у сгиба локтя. Боли не было.

Я царапал сильнее, надавливая пуговицу на синюю нитку вены. Показались капли крови, но боли не было. Уже с любопытством, присматриваясь к своей руке, точно со стороны, я начал резать и кромсать кожу: казалось, что слышно, как разрывается ткань, но боли я не ощущал. Текла кровь, было похоже, что кто-то тупым ножом чуть царапает мою руку.

Сейчас в таком одеревенении если не тело, то мозг. Он будто задержан плотным туманом. Я не хочу ни о чем думать. Не думаю я и о Сливинском: не все ли равно, он или кто другой? Не одинаково ли, если все мы — негодные, жалкие тряпки? Не Сливинский, так другой точно так же мог убить не меня, но больше — луч надежды, сверкнувший было из сплошной тьмы...

Васька возится в углу, образуемом стеной и печкой. Попыхтев немного, он зовет меня. Я вижу в его руке кирпич, а в углу дыру, в соседнюю камеру. Кто-то ловко проделал эту дыру, искусно приладив кирпич так, что трудно заметить, что его можно вынуть.

— Веселей будет, — ухмыляется Васька, жестом приглашая взглянуть в дыру.

В соседней камере сидит шпана. Собравшись на нарах в кружок, они играют в карты. Картежная игра запрещена в Соловках, но воры не смотрят на запрещение. Да и сейчас ночь, а ночью в этом изоляторе можно повеситься, убить человека, часами стучать в дверь — все равно до утра никто не придет на ваш стук.

Здесь все же не так, как в тюрьме: выйдя днем в уборную, можно переброситься парой слов с надзирателем, тоже заключенным, можно на минуту заглянуть в волчок другой камеры, — здесь свободнее, чем в тюрьме. И эта дыра — в тюрьме она была бы невозможна... Я отхожу от дыры, мне противно смотреть на таких же человекоподобных, как я...

Через пять дней надзиратель вызывает меня в коридор. Там ждет красноармеец. Показывая винтовкой на выходную дверь, он коротко говорит:

— Пошли...

Мы выходим во двор Кремля. Я понимаю, что мы идем в ИСО, на допрос.
— Надо бы подготовиться, — мелькает в голове мысль, но тотчас же пропадает.
В низкой комнате за столом сидит худощавый человек с коротко остриженными черными волосами. В его впалых щеках свет настольной лампы прочертил две глубокие морщины. Он кивает мне головой и жестом костлявой руки приглашает садиться напротив.

Опустив глаза на лист бумаги, человек тусклым, безразличным голосом задает мне стереотипные вопросы: фамилия, имя и отчество, возраст, статья, срок. Перо сухо поскрипывает, буквы и цифры ровно ложатся на белом листе.

Когда я называю город, где родился, костлявая рука чуть медлит и словно подумав, перестает писать. Она нерешительно откладывает ручку в сторону. Человек приподымает голову и молча смотрит на меня глубоко запавшими, глазами.

Белые, костлявые ладони худощавого человека неподвижно ложатся на синее сукно стола. Человек продолжает молча смотреть на меня.

— У вас был брат Сергей? — вдруг тем же тусклым голосом спрашивает он. Я утвердительно киваю головой. После минутного молчания человек снова спрашивает:

— Вы знаете, где Сергей?

У меня нет причин скрывать, где брат: ГПУ это известно.

— Он был в белой армии и эмигрировал с ней. Сейчас живет во Франции.


Худощавый человек опускает голову, убирает со стола руки и зябко передергивает плечами.

— Да, я знаю, он был у белых, — задумчиво, словно самому себе говорит он.

Я как будто бы просыпаюсь: он знает моего брата? Откуда, почему?

Не поднимая головы, следовательно закуривает, медленно придвигает ко мне коробку папирос, спички и встает. Выйдя из-за стола, он начинает ходить по комнате, из угла в угол, по диагонали. У него тонкая, стройная фигура, но склоненная сейчас голова немного горбит ее.

Я курю и искоса слежу за худощавым человеком. Недоумение не оставляет меня: почему он знает моего брата? Кто он, этот человек? На нем длинная, защитная гимнастерка, синие галифе, сапоги — так одеваются работники ГПУ. Но на воротнике видны следы споротых петлиц: он безусловно заключенный. Почему он прервал допрос, почему молчит и ходит, не глядя на меня? У него застывшее, неподвижное лицо... Почти не отрывая от пола ног, человек медленно ходит из угла в угол, углубившись в непонятное для меня раздумье. Проходит минута, две, три, пять, — кажется, он забыл обо мне.



Я кашляю, как бы поперхнувшись дымом. Человек останавливается, поворачивается и пристально рассматривает меня, как будто только что вспомнив о моем присутствии. Подойдя ближе, он опирается на стол длинными, костлявыми пальцами и тихо говорит:

— Я Ростовцев. Вы помните такую фамилию?

Ростовцев... Низкая комната, стол с лампой, худощавый человек вдруг уплыли куда-то в сторону. Вместо них возник наш сонный город, захолустная улица, дом с палисадником, в котором росли акации и кусты сирени. Ранним летом, когда цвели сирень и акации, после теплого дождя, через открытые окна наш дом наполнялся кружащим голову ароматом цветов.

А три-четыре улицы дальше, неподалеку от железнодорожной станции, стоял другой дом, тоже утопавший в зелени — в нем жила семья Ростовцевых. Отец, мать, сын Николай, одноклассник и неразлучный друг Сергея, и тоненькая гимназисточка Нина, красавица с длинными косами. За ней ухаживал брат, она считалась его невестой.

Помнится я, тогда совсем малыш, абсолютно ничего не понимавший в сложных человеческих делах, не раз служил брату почтальоном и носил его записочки Нине. Николая я помню плохо, я мало видел его, но неужели тот краснощекий крепыш — вот этот худощавый человек с провалившимися глазами и втянутыми щеками?

Я вспомнил, как в семье у нас говорили, что Николай пошел работать в ЧеКа... Положив потухшую папиросу в пепельницу, я смотрю, как, из угла в угол, заложив за спину руки, Ростовцев продолжает ходить по комнате.

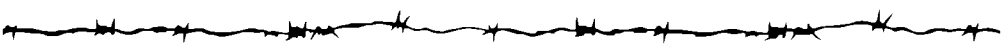
— А где Нина? — прерывая тягостное молчание, спрашиваю я. Ростовцев останавливается.

— Она умерла. Вернее, ее расстреляли. Она уехала на юг, поступила к белым сестрой милосердия и искала Сергея. Потом попалась красным и ее расстреляли... — опять бесцветно, словно не мне, а самому себе, говорит Ростовцев, проходит за стол и садится на свое место.

Снова тянутся минуты вязкого молчания. Я закуриваю вторую папиросу. Ростовцев поднимает глаза: они кажутся близорукими, беспомощными. Точно он снял очки, через которые прежде смотрели другие глаза. Рот его кривится в бессмысленной улыбке.

— Ведь это ерунда, глупость, — почти шепчет он. — Сергей во Франции, я в Соловках, а Нину расстреляли. Зачем это, к чему? И вы еще — зачем вы? — почему-то недоумевая спрашивает Ростовцев.

Я не отвечаю: я вижу, что он спрашивает не меня, а кого-то еще, может быть, самого себя. Я чувствую себя очень необычно, немного тревожно и неловко: у



меня смутное ощущение, что этого худощавого человека, словно составленного из одних прямых, изломанных линий, что-то мучит такое, что переживать можно только наедине... Замолчав. Ростовцев долго раскуривает папиросу, предварительно тщательно размяв ее пальцами.

Желтоватый свет из-под абажура мертво падает на чернильницу, белый, только чуть сверху исписанный лист бумаги, пепельницу, коробку папирос, спички. Они лежат строго и скучно, разделяя нас. В душной, накуренной комнате время будто остановилось, а тишина кажется густой, тяжелой, она давит. Я размяк немного, отяжелели веки. В голове мелькает мысль: не сплю ли я? Может, все это — сон?

Ростовцев смотрит мимо меня пустыми, близорукими глазами. Так смотрят полуслепые.

— Но не это страшно, — точно вздохнув, говорит Ростовцев. — Я иногда думаю, что страшно то, что все можно понять, объяснить, а сделать ничего нельзя, — тем же тусклым голосом продолжает он. — Изменить ничего нельзя, — повторяет словно объясняя, Ростовцев и вдруг торопливо спрашивает:

— Вы понимаете меня?

— Да, понимаю, — стряхивая с себя оцепенение, отвечаю я. — Но почему нельзя? Если понимаете вы, другие, почему нельзя? Если мы, вместе... — Слова точно застревают в гортани, их почему-то надо вытягивать.

— Ерунда! — вдруг резко и громко вскрикивает Ростовцев и вскакивает из-за стола. Он опять ходит по комнате, но уже быстро, торопливыми, неровными шагами.

— Ерунда! Вы ничего не поняли! — нервно кричит Ростовцев. — Это как машина — огромная, мертвая, бездушная... Ее кто-то, — да мы же сами! — вскрикивает он, перебивая себя, — мы сами пустили ее, а теперь никто не может остановить! Мы все части ее видим, все понимаем, можем объяснить, а сделать ничего не можем... Она крутит нас, ломает нам кости, а мы только следим за ней, подливаем ей масла, и никто не знает, как ее остановить!

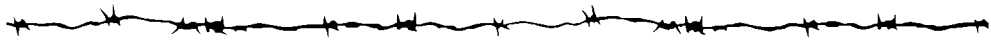
Неожиданный крик Ростовцева и его нервная беготня действуют на меня отрезвляюще. Мне кажется, что я овладел собой.

— Потому она и работает, что вы подливаете в нее масло. А если бы...

— Глупости! — злобно кричит Ростовцев и, круто обернувшись, останавливается около меня. Его пальцы железными прутьями стискивают мое плечо. — Вы ничего не поняли! — раздельно и резко отчеканивает он.

— Это все равно, вы или я, на одной или на другой стороне, мы только пища, никакого значения не имеющая...

Он отпускает мое плечо и опять ходит по комнате.



— Если бы, если бы, — передразнивая, бормочет он.

— Нам с Сергеем было по девятнадцать лет, Нине восемнадцать, когда мы попали в омут, а вам — вам ведь тоже восемнадцать? — спрашивает Ростовцев. Я утвердительно киваю головой, он, махнув рукой, садится за стол и опускает голову.

— Ну вот, ну вот, — уже устало, словно обмякнув, бормочет он. — А зачем это? Зачем мне, вам, нам всем? К чему этот омут? — Он сидит, сгорбившись, постарев, с полузакрытыми тонкими веками глазами.

— Но что же тогда делать? — тревожно спрашиваю я. Ростовцев открывает глаза, смотрит пусто и холодно.

— Этого я не знаю. Этого никто не знает, — снова изменившимся, холодным тоном говорит он. Минуту он молчит, потом говорит еще более отчужденным, почти враждебным тоном, словно зачеркивая сказанное раньше:

— Идите спать, уже поздно. Завтра я вас вызову, мы составим протокол допроса. Ваше дело тоже чепуха, но постарайтесь больше в такие дела не ввязываться. Вы с Синицыным работали? Он погиб, погибнете и вы — это никому, никакой пользы сейчас не принесет. Сидите и ждите. И не спрашивайте меня больше ни о чем...

Надзиратель впускает меня в камеру. Под потолком тускло горит лампочка. Уже, наверное, около полуночи. Я чувствую себя очень усталым разбитым, хочется сейчас же лечь и уснуть...

Васька спит, натянув одеяло на голову. Но едва шаги надзирателя затихли в конце коридора, Васька сбрасывает одеяло, соскакивает с койки, бежит к печке и поспешно вытаскивает из дыры кирпич.

— Иди сюда! — шепчет он. — Смотри!

Что еще там? Я нехотя иду, наклоняюсь к плешивой голове Васьки. Он прилип к отверстию и возбужденно сопит.

В соседней камере не спят. Урки сидят на нарах и настороженно, выжидающе смотрят в проход посередине. В проходе между нарами стоит худой, среднего роста, с темным лицом, бакинский вор Магерам, — я его уже знаю по рассказам Васьки. Лицом к нему стоит тоже худощавый, стройный парень лет двадцати-двадцати двух, белолицый, с челкой приглаженных ко лбу волос, щеголевато одетый: в светлую шелковую рубашку, перехваченную наборным кавказским ремешком, и широкие брюки, заправленные в лакированные сапоги.

— Это Степка Подбор, знаменитый жулик, — шепчет Васька. — Его вечером привели. Он должно, заигрался когда, Магерам с него получать хочет.

Магерам точно нацелился на Степку горбатым, хищным носом; глаза его жадно блестят.

— Плати! — угрожающе шипит он.

Подбор оглянулся: вокруг только нахмуренные, ожидающие лица. Сочувствующих в камере нет, урки на стороне Магерама.

В моем медленно работающем сознании появляется мысль, что у соседей, очевидно, готовится что-то скверное. По неписаным воровским законам в таких случаях отвечающий всецело во власти кредитора, он не имеет права даже сопротивляться, под страхом смерти.

— Плати! — настойчивее шипит Магерам и делает шаг вперед. Подбор вздрагивает, поводит плечами, лицо его стягивает судорога, похожая на растерянную гримасу. Но испуга не видно у него на лице: на нем только тоска, обреченность. Так, наверное, смотрит больной волчонок, попавший в стаю матерых, голодных волков, чувствующий, что сейчас они набросятся на него и разорвут в клочья.

— Ну? — повторяет Магерам.

— Эх! — вскрикнул, точно охнув, Подбор. Он выпрямился, расстегнул ремень пуговицы рубашки, потом ловко, одним движением, снял рубашку и остался по пояс голым. Попятившись к двери, Подбор прислонился к ней спиной, крестом раскинул руки, брезгливо посмотрел на Магерама и коротко бросил:

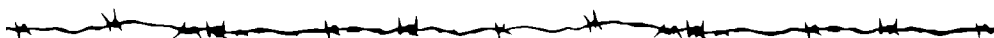
— Получай!..

Горбоносое лицо Магерама растянулось в беззвучной гримасе смеха. В его руке блеснул нож. По-кошачьи изогнувшись он неслышно, крадучись, подходил к Подбору. Широкая грудь Степки поднималась и опускалась ровно и спокойно. На темной двери отчетливо белело прекрасно развитое человеческое тело, с тугими, ясно выпуклыми валиками и подушечками мышц.

— Ас! — лягнув зубами, Магерам махнул рукой — раз, два, — и отскочил на шаг назад. Руки Подбора дрогнули, растопыренные пальцы сжались в кулаки. На груди у него и на животе, наискось от плеч к бокам, крестом протянулись две длинные полосы, из которых капельками брызнула кровь.

— А, а! — вскрикивал Магерам, то подскакивая к Степке, то снова отбегая назад. При каждом подскоке он полосовал ножом грудь, руки, живот Степки, не нанося глубоких ран. Подбор вздрагивал, сжимал и разжимал кулаки, по его лицу быстро пробегали гримасы боли.

Должно быть, Магерам остервенел от вида и запаха крови. С выпученными глазами, с торжествующе и злобно искаженным лицом он прыгал около Подбора, приседал, заглядывая снизу вверх в лицо своей жертвы, отскакивал



назад, метался в проходе. Перехватив нож, он зажал его в пальцах так, что из них высовывался только короткий кончик, — подскакивая к Степке он быстро, как будто клевал, всовывал этот кончик между ребер жертвы, все еще лязгая зубами и судорожно выдыхая: а, а, а!..

— А, гад малахольный! — бессильно стонал рядом со мной Васька, дрожа и словно порываясь куда-то бежать. — Что он делает, а? Ведь зарежет, зарежет, паскуда!

Урки сидели на нарах, не двигаясь с места, и угрюмо, внимательно смотрели на расправу.

Магерам, отскочив от Степки, остановился. Тяжело дыша, он смотрел на Подбора, напряженный, напружиненный. Руки Степки обвисли, голова свешивалась, кровь сплошь заливала его грудь, живот, брюки. Он тоже тяжело дышал, всхрипывая, но еще пытался приподымать руки в прежнее положение и иногда упрямо взматывал головой с растрепанными, липнущими к мокрому лбу волосами.

— А! — вскрикнул опять Магерам и, подскочив к Степке, ударил его ножом в глаз. Васька что-то закричал, схватил мою руку и зачем-то тянул ее в дыру. Подбор, отшатнувшись от двери, рухнул на пол...

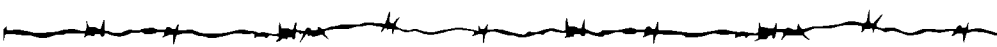
Отцепившись от возбужденно всхлипывающего и что-то невнятное бормочущего Васьки, я добрал до своей койки и лег, не раздеваясь. Вспомнил, что не снял сапог. Не вставая и не дотрагиваясь до них руками, я ногами кое-как стянул сапоги, столкнул их на пол. Потом плотно, с головой, закутался в толстое шерстяное одеяло...

Спустя три дня меня выпустили из изолятора и определили на старое место, в прежнюю роту и камеру...

6

Опять падает снег, скоро снова наступит соловецкая ночь. Сначала зима кажется не настоящей: всюду лежит снег, озера покрыты льдом, но еще идут пароходы, привозят с материка газеты, письма, посылки, новых людей, — жизнь еще не замерла, не остановилась совсем. Но все дальше и дальше в море протягиваются закрайки льда, за ними с берега уже не видно воды и в узкий канал во льду пароход пробирается все с большим и с большим трудом.

В ноябре пароход гудит в последний раз, в последний раз в этом году мы получаем письма, газеты, и на полгода Соловки оказываются отрезанными от всего света. Следующие письма и новости мы получим только через полгода, будущим летом...



Глухая, темная ночь окутывает Соловки. Темная и в прямом смысле: до одиннадцати-двенадцати в помещениях горит свет, потом до двух как будто бы брезжит серенький день, в два снова начинаются сумерки. Солнце показывается изредка, где-то над горизонтом, не решаясь подняться выше.

Море не замерзает сплошь: километров на десять от островов тянется нагроможденный в осенние бури торосами лед, а дальше идет каша — мелкий, битый лед, шуга. Специальная команда заключенных-поморов на обитых железом карбасах за зиму делает два-три рейса на материк: сорок километров они пробираются по льду и в шуге десять-двенадцать дней. Но они возят только служебную почту.

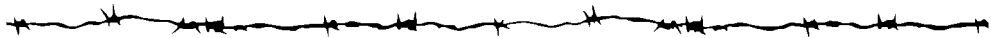
В Соловках есть воздушная станция и ее начальник, вольнонаемный летчик — огромного роста веселый здоровяк. Он отзывается о своем единственном самолете с презрением, называет его разбитой телегой и решается летать на нем только в пьяном виде. Он тоже за зиму делает всего два-три рейса и возит тоже только служебную почту.

Впрочем, однажды, изменив своему обыкновению, он взял двух пассажиров: вольнонаемного чекиста и жену одного соловецкого начальника. Летел он, как всегда, пьяным, потерпел аварию и сел в торосы, километров за пять от берега, поломав самолет, себе два ребра, женщине обе ноги и руку чекисту. Был туман, с берега не видели аварии и не могли помочь. Невзирая на поломанные ребра, летчик взвалил женщину на спину и двенадцать часов карабкался со своей ношей по торосам, пока не добрался до берега...

Метет пурга, заунывно воет ветер в трубах, в проводах — мрак, ночь... Где-то живут люди (или кажется, что живут?), ездят в поездах, на лошадях, в трамваях, приходят домой, в тепло, в свет, в семью, и нет у них этой неизбежной, тягучей, иссушающей тоски, похожей на тоску в долгую, изнурительную бессонницу. Край света, отрезанный от всего мира, и мы не по своей охоте и неизвестно зачем сидим на этом краю, охраняемые льдом, морем, метелями, тьмой...

Два удовольствия есть у нас в долгую ночь. Одно из них — баня. В Соловках, в Кремле, отличные, еще монастырские бани, с парными, угождающими вкусам завязятых любителей париться. Два раза в месяц, дождавшись своей очереди, мы с радостью устремляемся в баню, предчувствуя пир для тела.

Сбросив одежду, мы словно сбрасываем с себя что-то, делающее нас заключенными и превращаемся просто в людей, таких, как все. Пожилые, бородатые люди становятся в бане детьми: они возбужденно гогочут, яростно нахлестывая себя или друзей березовыми вениками, подчас звонко шлепают



товарищей по спинам и радуются, как маленькие. На полчаса, час, можно забыть, что ты моешься в Соловках, и вообразить себя в бане родного города.

Второе удовольствие тоже уведит в мираж, в иной мир. Это удовольствие для души: соловецкий театр.

Маленькая соловецкая труппа из заключенных сделала бы честь любому провинциальному городу. Бывшая монастырская трапезная переделана в театр: небольшая сцена, уютный зал, фойе. По субботам и воскресеньям дают платные спектакли, еще один, два раза в неделю — бесплатные, для общих рот.

В театре те же ротные командиры и старосты, повелевающие нами — в серых бушлатах или шинелях, с черными воротниками и нашивками на рукавах; те же соловецкие боги — вольнонаемное начальство, в руке которого наша жизнь и смерть; друзья, знакомые, но в нем незаметно для глаза царит другая атмосфера, в которой тоже растворяется облепившая душу оболочка заключения.

Уже то, что ты внизу, в кассе, самостоятельно покупаешь билет, содержит в себе некую крупицу освобождения. Наверху, на лестнице, при входе в фойе, у тебя отрывают кусочек билета, — точно так же, как во всех театрах мира. В фойе люди прогуливаются, сидят у стен, из зала доносятся звуки оркестра: ты можешь почувствовать себя совсем не так, как ты чувствуешь себя в роте. Среди мужчин ходят, разговаривают женщины: это единственное место в Соловках, где ты можешь запросто, свободно, ничего не опасаясь, поговорить с женщиной. Если ты встретишься с женщиной на дороге, в Кремле и перебросишься с ней десятком слов, на виду у всех, это может быть сочтено нелегальным свиданием, за которое и тебя и женщину посадят в карцер или штрафной изолятор. Но в театре ты можешь свободно говорить с женщиной.

* * *

Дребезжит звонок, умолкает музыка, гаснет свет: распахивается занавес — и перед тобой другой мир. Вот тут, если все свое внимание сосредоточить на сцене, если вжиться в пьесу так, чтобы почувствовать себя одним из ее действующих лиц — ты можешь забыть и о Соловках, и о том, что ты заключенный. Пока открыта сцена, ты будешь ощущать себя полноценным, настоящим человеком, живущим по своему велению и разуму.

Но это ощущение можно продлить и в антракте — нужно только замкнуться, ни с кем ни о чем не говорить, стараться ничего не видеть, чтобы не разрушить созданного в душе хрупкого очарования инобытия. А когда кончится спектакль, надо так же замкнуто, молча, бережно нести в себе пережитое, так, как несут нежный, блекнувший от прикосновения руки цветок...

Под Новый год в театре устраивается традиционный концерт. Первым номером, тоже традиционно, поется незамысловатая соловецкая песенка. Зал и сцена в полной тьме — такой же, как соловецкая ночь. Во мраке появляются разноцветные огоньки-фонарики, они медленно колышались, как от легкого ветерка. В их тусклом свете едва видны пятна лиц артистов.

Кто-то, невидимый, чистым, напоенным тоскующей грустью голосом, начинает петь:

*Море Белое, водная ширь,
Соловецкий былой монастырь...
Вздохом откликается хор:
Со всей русской бескрайной земли,
Нас на горе сюда привезли...*

Закройте глаза: перед вами унылый простор Белого моря. Там, тут из воды высовываются черные каменные гряды, а впереди протянулся остров: серые камни, хмурая полоса однообразных елей, а среди камней темная стена монастыря, над которой возвышаются грязно-белые стены корпусов и соборов. Вверху бледное, немощное северное небо, тоскливый клекот чаек. Щемит сердце: тоска, тоска...

Занесет нас зимою метель... —

плачет тоскливый голос в щемящей душу песне, а ему вдруг откликается хор:

*Но не знают совсем Соловки
Ни забот, ни тревог, ни тоски...*

Но слова даже не пытаются уверять вас в своей правдивости, они звучат почти не слышно: такой печалью дышат голоса, что вы не вслушиваетесь в смысл слов, а только вторите тоске хора.

Поют другую такую же, но уже печально-шутливую песенку:

*Привезли нам с надеждами куль
Бокий, Фельдман, Филиппов и Вуль,
А обратно повезет Катаньян,
Лишь печальный припев соловчан.*

Грустит песня и переходит в такой же грустный припев, в котором звучит уже ирония и, может быть, вызов, осторожно замаскированный шуткой:

*Тех, кто наградил нас Соловками,
Просим, приезжайте сюда сами,
Посидите здесь годочков три иль пять,
Будете с восторгом вспоминать...*

Кончился спектакль, мы выходим из театра. Внизу, во дворе, старостиха, как на-седка, хлопчет около женщин, строит их в две шеренги и ведет за Кремль, в женский барак. Ежась от холодного ветра, люди разбегаются по ротам, быстро пустеет двор.

Не хочется идти в роту: там сейчас топот на лестнице, в коридоре, резкое звяканье монастырских жбанов, в которых мы носим кипяток. Я иду дальше во двор, к скверу перед Преображенским собором, где когда-то с Петровым мы разговаривали о побеге...

Воет ветер, мотает из стороны в сторону электрический фонарь у входа в собор, тень от абажура фонаря дико прыгает по стене. Снег летит длинными белыми полосами, похожими на уродливые мазки. Выше, над деревьями, черный провал, пустота. Но в ней высоко видна одна красная звездочка, и оттуда же, сверху, слышно бешеное трепетанье гигантских крыльев: это треплется по ветру, на шпиле собора, красный флаг.

У меня есть знакомый, поэт. Среди его стихов, в которых переплелись тоска, отчаяние, боль, я нашел такие строчки:

*Звени, соловейская вьюга,
И белилами мажь купола,
Твой саван, затянутый туго,
Звезды проколола игла.*

Прочитав их, я спросил поэта:

— Это что, оправдание?

Поэт испуганно посмотрел на меня, отвернулся и капризным тоном, в котором звучало: «оставьте меня в покое!», сказал:

— Я не знаю, не знаю! Я сам не знаю!..

Воет ветер в проводах и в деревьях, как в мачтах и оснастке корабля. Трепещет в вышине, спрятанный в ночном мраке, флаг, а совсем наверху горит одинокая звездочка. И кажется мне, что мы на каком-то большом корабле, он плывет во тьму, сквозь ветер, снег, бурю, мрак, — куда-то в неизвестное никому...

7

Неторопливо идут дни: нудная, никому ненужная и не приносящая никому пользы работа в канцелярии, надоевшие разговоры, книги, прочитанные еще на воле, изредка театр и сон. Жизнь, проходит где-то стороной, мы не участвуем в ней. Метели, лед, шуга крепче стен и решеток отгородили нас от мира, и здесь, на островах, мы варимся в собственном соку. Впрочем, Ростовцев ведь так и советовал: сидеть, только сидеть, не высывая носа за пределы положенного тебе. Но долго ли можно выдержать этот обет?..

Я просыпаюсь среди ночи: в коридоре топот, голоса. Обыск? Снова арест? Открывается дверь, вспыхивает резкий, заставляющий резать глаза свет. В дверях ротный:

— Встать! Чьи фамилии прочитаю — собрать вещи и через полчаса быть в коридоре! — Он читает: Стрешнев, Лопатин, Гусев и я.

Что случилось? Встрепенувшись, мы торопливо одеваемся, собираем вещи. За год жизни здесь откуда-то набралось много ненужных, неизвестно как прижившихся вещей: на пол летят пустые коробки, банки, тряпки — все, могущее обременить в дороге барахло. Но какая дорога ждет нас?

Надев пальто и взяв вещи, выходим из камеры. В коридоре уже толпится десятка два людей, одетых, нагруженных чемоданами, корзинами, свертками, мешками. У кого встревоженные, у кого растерянные, недоумевающие лица: никто не знает, зачем собирают нас.

Ротный суетится, бегаёт по камерам, торопит не успевших собраться; остающиеся товарищи, полуодетые, выглядывают из камер, выходят в коридор: они встревожены не меньше, чем мы.

Проверив людей по списку, ротный приказывает выходить. На дворе ночь, в свете редких фонарей видим, что через двор, к воротам, тянутся такие же группы.

У ворот собралась большая толпа, в стороне стоит конвой. Толкаясь, задевая друг друга мешками и чемоданами, мы строимся, конвоиры оцепляют нас. Начальник конвоя и староста пересчитывают партию: больше двухсот человек. Староста и командиры рот выходят из кольца конвоя, раздается сакраментальная, много раз слышанная команда:

— Взять вещи! Шаг вправо, шаг влево считаю побегом, буду применять оружие без предупреждения! Шагом марш!

Тронулись первые ряды, за ними мы. Выходим из Кремля. Куда?

Над толпой легким гулом-жужжанием бьется этот вопрос, я слышу его то впереди, то позади. Десятки предположений, одно нелепей другого, носятся в воздухе, но никто не знает, куда мы идем. Сбоку раздается негромкий панический выкрик:

— Братцы! На расстрел ведут! — он бьет по напряженным нервам, хотя в голове сейчас же проносится: — Глупости! Не похоже, не может быть. Да и почему, за что?.. Но мы уже многое видели и знаем, что во многих положениях не придется спрашивать, почему, за что... Встрепенувшись гудят голоса.

— Прекратить разговоры!..

Гул обрывается, только изредка кто-нибудь перешептывается с соседом. Поворачиваем налево, выходим на Савватиевскую дорогу: она ведет во второе отделение, где находятся лесозаготовки и штрафной изолятор. Не на Секирку

ли нас ведут — в изолятор в церкви «Усекновения главы Иоанна Крестителя» — Секирной, перекрещенной заключенными в соответствии с ее нынешним назначением в «Секирку». Но почему? А, опять «почему»! Пора отвыкнуть задавать этот глупый вопрос!..

Тихая, чуткая ночь. Легкий мороз; разогретые ходьбой, мы не замечаем его. По сторонам широкой дороги чернеет лес, сливаясь с таким же черным, без единой звездочки, низко спустившимся небом. От снега на дороге и по бокам ее кажется не так темно: похоже, что мы идем в длинном, едва освещенном туннеле. Слышен только шорох шагов, да иногда кашель или громкий вздох.

Идем час, другой. Направо дорога в Исаково, где находится управление лесозаготовок, — мы проходим мимо. Дорога на Секирную — мимо. Кто-то облегченно вздыхает. Савватиево — мы идем дальше, теперь уже по узкой, похожей на проселочную, дороге. Куда ведут нас?.. И только тогда, когда по часам уже полагается быть утру, мы останавливаемся перед тремя бараками, стоящими где-то в сердце соловецкого леса...

Небольшой, но высокий барак, сложенный из жердей. Внутри темнее, чем на дворе: мы ныряем как будто в черную дыру. «Летучая мышь» над дверью почти не светит. Привыкнув к темноте, видим трехэтажные нары, с обеих сторон. В проходе между ними чувствуем ногами толстый слой скользкой грязи.

Люди забираются на нары группами: знакомые, сослуживцы. Гусев, Лопатин, Стрешнев и я устраиваемся тоже вместе, на средних нарах. Бросив в изголовье вещи, садимся на краю нар и пыхтим махоркой. Понемногу выясняется, что новые обитатели барака — канцелярские и хозяйственные работники, вчера заполнявшие бесчисленные соловецкие учреждения, все — «контрреволюционеры». Становится ясен смысл нашего изгнания из Кремля: очевидно, начальство решило нас, «контриков», послать в лес, на тяжелую физическую работу.

Лопатин сокрушенно вздыхает:

— А у меня в столе лежит бумага, которую обязательно сегодня утром надо отправить.

Стрешнев добродушно смеется:

— Вы неисправимы, мой друг. Кто сейчас думает о работе, которую мы делали вчера? Ее сделают за нас другие. Теперь предстоит более важная работа: пилить лес.

— О, Господи! — вздыхает Гусев. — Что-то будет?

Из этого барака наша камера с отдельными койками и работа в канцелярии могут показаться верхом благополучия. Скоро баня и театр в трапезной будут сниться, как недостижимая мечта... Впрочем, скоро нам ничего не будет сниться...

— Строиться! — раздается громкий, как шелканье бича, крик. Толпясь в узких дверях, мы выходим во двор. Сзади слышны истошные вопли:

— Живо! Вылетай пулей! Пошел! — и шлепанье, похожее на удары палкой.

Еще не день, но уже видно. Напротив приземистый барак, в нем кухня и помещение для обслуживающего персонала. Слева еще один барак, в нем помещается охрана и десятники. А перед нашим баракom небольшой сруб из бревен, с широкими щелями, накрытый толстыми плахами. Это карцер: в него сажают на ночь провинившихся.

Перед строем начальник пункта, десятники, с самодельными метрами в руках, в стороне толпятся надзиратели с винтовками. Десятники отсчитывают себе людей и под конвоем надзирателей уводят их на работу. К нам тоже подходит десятник, я вглядываюсь в его будто знакомое лицо, вспоминаю: это бакинский вор Магерам...

* * *

В четыре часа утра в бараке раздаются вопли дневальных:


— Вставать! Вставать! Вставать!..

Чувствуя в каждой клетке тела усталость, мы раздираем слипающиеся веки. Раздевавшиеся натягивают непросохшую одежду, спавшие одетыми с огорчением видят, что одежда, которую они надеялись просушить за ночь теплом своего тела, все еще влажна. В темноте люди соскакивают с нар, гремят котелками, мисками, сталкиваясь в проходе и в дверях, бегут на кухню за завтраком. Некоторые выбегают из барака, берут в пригоршни снег, трут им лицо, размазывая по щекам грязь. Наскоро проглотив кашу и кипяток, мы выходим строиться.

Ночь, но уже начинается развод. Он тянется долго, около часа: пока начальник подсчитает людей, пока придет надзор, десятники по спискам проверят своих рабочих, мы стоим и мерзнем. Влажная одежда твердеет, становится жестяной. Наконец, мы разбираемся на партии, получаем топоры и пилы и строем по два бредем на работу.

По сторонам узкой лесной дороги спят опушенные снегом сосны, ели. Они смотрят на нас отчужденно, враждебно, мы для них непрошенные пришельцы. Опустив головы, мы бредем, не замечая ни враждебности леса, ни его неподвижной, скованной морозом и сном красоты...

Мы валим толстые деревья, обрубая сучья, распиливаем кряжи на более короткие, сносим их в кучи. Никто из нас никогда не занимался тяжелым физическим трудом, никто никогда не пилил леса: мы не умеем ни пилить, ни носить тяжести. Мы задыхаемся, сделав полсотни взмахов пилой; не рассчитав



ветра или наклона дерева, мы не можем его свалить: пилу заедает в резе, мы ломаем пилы. Портим мы и ценную, пахучую древесину: деревья расщепляются у нас вдоль и вместо прекрасного строевого леса мы даем лес, годный только на дрова. Срезанные деревья, падая, повисают у нас на соседних, мы выбиваемся из сил, стараясь повалить их, но это удастся не всегда. Мы режем соседние деревья — они повисают на следующих. Нагородив длинный забор из полусваленных, висящих одно на другом, деревьев, мы безнадежно смотрим на него и готовы опустить руки, послать к черту бессмысленную нечеловеческую работу, но среди нас бегают Магерам. Замахиваясь палкой-метром, он кричит:

— Кубики! Кубики давай, контра!

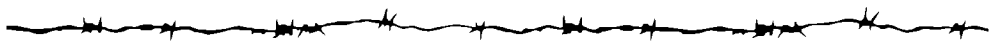
В отчаянии можно убить Магерам, но недалеко, у костра, сидят двое конвоиров с заряженными винтовками в руках.

Скоро замерзшая одежда оттаивает и снова становится мокрой от снега и от пота. Мы снимаем пальто, полушубки, работаем в одних пиджаках или рубашках. От нас валит пар, вся одежда наша до нитки мокра, ее можно выжимать. Когда мы пойдем домой, она опять замерзнет, чтобы оттаять в бараке.

Вечером, часов в шесть, когда в лесу уже совсем темно, Магерам принимает нашу работу. С криком он бежит от одной кучи бревен к другой, бьет метром подвернувшихся под руку людей — вконец измотанные люди, похоже, даже не замечают его ударов. Мы знаем, что мы не выполнили за день и половины нормы, но сколько мы сделали и как начальство подсчитывает сделанное нами, нас не интересует. Нам хочется только одного: добраться до барака и лечь спать.

По дороге кажется, что, придя на пункт, ты не сделаешь больше ни шагу. Но надо еще получить хлеб, обед: после двенадцати часов в лесу зверский голод перебивает усталость, заставляет идти на кухню. После обеда надо еще отстоять проверку. Начальник снова долго подсчитывает нас, мы опять мерзнем, одежда снова становится железной, она жжет немеющее тело. Сверху, с черного неба, равнодушно смотрят большие, лучистые, бриллиантовые звезды. И только часов в девять мы валимся на нары и спим, не замечая ни мокрого, липнущего к телу белья, ни дурманящего смрада от скученных в бараке двухсот человек, ни укусов клопов и вшей. В четыре часа утра начинается повторение вчерашнего...

В нашей тройке — Стрешнев, Лопатин и я. Как и следовало ожидать, и тут Лопатин оказывается самым спокойным и практичным: не проходит трех-четырех дней, как он уже осваивается с техникой работы и чувствует себя, по-видимому так, как если бы был настоящим лесорубом. Прежде чем пилить, он хозяйственно оглядывает дерево, терпеливо показывает нам, на какую сторону надо его валить, объясняет, как лучше пилить. У Андрея Петровича, несмотря



на его деликатность, часто срываются проклятия и другие крепкие слова, я не отстаю от него, — Лопатин только помалкивает и деловито прицеливается к деревьям.

Самое трудное — это носить. Кряжи в два метра длиной, толщиной в двадцать-тридцать сантиметров надо нести. Только что срезанный такой кряж точно налит свинцом, одному его с земли не поднять. Когда Стрешнев и Лопатин первый раз подняли мне на плечо кряж, я упал под ним: не ожидая такой тяжести, я не приготовился к ней, колени мои подогнулись сами. Встав, я напряг все силы: я не упал в другой раз, но у меня потемнело в глазах и сперло дыхание. Шатаюсь, я шел, медленно вытаскивая ноги из снега, рассчитывая каждый шаг. Сбросив кряж в кучу, я с трудом перевел дыхание; в ушах стоял громкий шум, все тело тряслось.

Четырех-пятиметровые бревна мы носим вдвоем: под комель встает Лопатин, посредине Стрешнев, я несу вершину. Задыхаясь под тяжестью бревна, пригибающего нас к земле, я слышу позади обнадеживающий голос Лопатина:

— Ничего, ничего, донесем. Вы потихоньку, потихоньку ребятки. Не сгибай-те ног, держите их прямыми. А бревно держите серединой плеча, так легче...

Сбросив бревно, мы не можем разогнуть спины, перевести дух, но Лопатин улыбается словно смущенно и говорит:

— Ну, вот и донесли. Это только кажется, что страшно, а ничего, донесем. Надо только дышать научиться ровнее.

Иногда Андрей Петрович и я приходим в бешенство: мы пилим с ним как сумасшедшие, быстро и бестолково, стараемся не перепилить, а поскорее перегрызть дерево пилой. Лопатин подходит к нам:

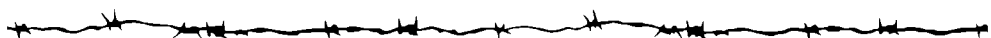
— Зачем вы так? — укоризненно спрашивает он. — Вы полегче, ровней. Силы свои надо беречь, куда ж так торопиться.

Глядя, как Лопатин не спеша, но всегда в дело, не попусту тюкает топором, я злюсь и спрашиваю себя: как он может так, всегда ровно, спокойно, без спешки и без злости? Неужели его ничто не может вывести из терпения?..

Палка Магерама почему-то еще не касалась спин нашей тройки, но других Магерам бьет нещадно. Он бегает среди работающих, сверкая хищными глазами на темном лице и кричит:

— Кубики, гады! Давай, нажимай, контра, не то на пеньки поставлю!

В нашей партии еще не ставили на пеньки, но мы знаем, что это значит. Плохо работающий или поругавшийся с десятником заключенный должен раздеться и в одном белье, босый, встать на пень, на виду у конвоира. Конвоир сидит у костра, а заключенный мерзнет, стоя на ветру. Иногда так замерзают совсем: весной,



когда сходит снег, в соловецком лесу обнаруживается много трупов — замерзших, застреленных конвоем или убитых десятниками заключенных. Мы отлично сознаем, что мы здесь — в полной власти десятника и надзора, сопротивляться им бесполезно. Если они не убьют вас сами, то они могут на ночь посадить вас в сруб у барака, тоже в одном белье. Неизвестно, что хуже: несколько часов на пне или ночь в срубе...

К вечеру тело деревенеет, но болит каждый мускул. Невозможно без острой, режущей боли разогнуть спину, повернуть шею. Голова, как в тумане: сознание словно окутано толстым слоем ваты. Но надо еще три километра идти на пункт, мимо уснувших, богато убранных снегом сосен и елей...

Только по воскресеньям мы немного приходим в себя. В этот день можно спать до восьми. Позавтракав и отстояв проверку, мы снова спим до обеда. После обеда многие опять заваливаются спать; другие сидят, разговаривают, сушат у печки одежду, слоняются по бараку. Тело будто бы немного отдохнуло, отошло, оттаивает и заторможенное сознание.

Сидя на краю нар рядом с Андреем Петровичем, я вглядываюсь в лица соседей. Они осунулись, похудели. Мороз и ветер выдубили кожу — обросшие, грязные лица кажутся одинаково темными, одичавшими. Одежда на людях висит клочьями:

— Это похоже на ад, — говорю я. — Не хватает только жары и адского пламени. А люди как раз из царства теней.

— Нет, это только чистилище, — поправляет Стрешнев. Он сидит по-восточному, подогнув ноги и утомленно прислонившись спиной к стойке нар.

— Да, чистилище. Ад — это всегда, вечность. А чистилище — временно. Каким бы долгим оно ни казалось, оно все равно пройдет.

— А если нет? Если мы останемся здесь? По-моему, штука совсем не трудная, сыграть здесь в ящик.

Стрешнев отрицательно качает головой:

— Не думаю. Мы сами не знаем, до чего мы выносливы и крепки. Смотрите: казалось бы, все мы должны были переболеть, схватить воспаление легких, простудиться. Нет, никто не болеет: живуч человек.

— Чему вы это приписываете? — Стрешнев улыбается.

— Бывало я, дома, как выйду в сырую погоду без галош, так обязательно возвращаюсь с насморком. Глядишь, и горло болит, и жар начинается — чуть ли не ложись и умирай. А тут я сплю в мокром белье, двенадцать часов торчу на морозе, живу в свинарнике — и ничего мне не делается!

— Что ж, организм приспосабливается, что ли?

— Вероятно... Да, мы сами не представляем, что такое человек... — задумчиво говорит Стрешнев. Закрыв глаза, он откидывает голову к стойке нар и сидит молча. Потом на его губах появляется улыбка. Не открывая глаз, он тихо говорит:

— Однажды, в Альпах, я взошел на высокую гору. Подо мной спутанным хаосом чернели вершины других гор, а над ними, в вышине, величественно сиял Монблан. По его склонам ползли тучи, они сталкивались, дымились — казалось, что клубится дым из какой-то гигантской кухни. И вот тогда над каменным хаосом, нагроможденным, как хаос первозданья, я почувствовал дыхание вечности. Эти горы стояли так тысячи лет и простоят еще тысячелетия, таким же первозданным хаосом. Что перед ним я, пылинка, вся жизнь которой измеряется бесконечно малым отрезком времени?

Неторопливо свернув папиросу, Андрей Петрович закуривает и продолжает, смотря куда-то мимо меня:

— Я тогда был еще очень молод, в вашем возрасте. И я растерялся. Я до того остро почувствовал свою малость, ничтожество, что я был раздавлен. Меня охватил панический страх, и я почти бежал с горы, стараясь не оглядываться, не смотреть по сторонам. Мне захотелось закрыть глаза: как ребенку, мне казалось, что если я обернусь, посмотрю — горы — вечность — сомкнутся и поглотят меня. Прибежав в отель, первое, что я увидел, был рояль. Я машинально подошел к нему, открыл крышку и, все еще сжимаясь и вздрагивая от страха, стал играть. Я играл Вагнера. И тут, рождая громовые звуки, я почувствовал, что освобождаюсь от страха перед величественной и вечной, но мертвой природой гор. Потому что я играл еще более величественное и тоже вечное, но вечно живое: творение человеческого духа! Та-ра-ри-ра-ра-ра! — вдруг звучным баритоном запел Андрей Петрович, дирижируя заскорузлой рукой. Голова его была высоко поднята, глаза блестели.

— Вы когда-нибудь слышали Вагнера? — оборвав пение, спросил он.

— Нет.

Я с любопытством смотрел на Стрешнева: в его словах звучала решимость, твердость, которой я никогда не слышал у него прежде.

— Жаль. Его у нас не очень любят, но это не верно. Да, он покоряет, сминает вас, но если вы поймете его, он позволит вам взлететь на недостижимую высоту, откуда все, что внизу, покажется вам мелким и недостойным внимания. Что после этого — ваш психопат Магерам?

— Вы поэт, Андрей Петрович, — улыбаюсь я.

Он отвечает прежней рассеянной улыбкой и кивает головой:

— Да, может быть.

Растопылив грязные, похожие на обгоревшие сучья пальцы, он ударяет ими по невидимым клавишам,

— Пожалуй, я сейчас не смог бы играть. А с каким удовольствием я сыграл бы вам Вагнера! Музыка, искусство, творчество — это вечно и реально. А это, — Стрешнев обвел взглядом барак, — это пройдет. Соловки, лес, Магерам, современное сумасшествие — все это пройдет, как пройдет через неделю боль наших мускулов.

— Пройдет, если мы перестанем пилить лес. А если не перестанем? — упорствую я. — Магерам не знает Вагнера. Что толку в Вагнере, поднимающем на недостижимую высоту, если завтра Магерам хватит меня дрыном по голове и я вытяну ноги? Ведь это тоже существует, реальнее реального, как же я могу не видеть его и не считаться с ним?

— В вас говорит страх, друг мой, — мягко возражает Стрешнев. — Но освободиться от него можно, только поднявшись над ним. Этого, — он обвел рукой вокруг, — нет. Есть только то, что во мне... Да, и вот еще, взгляните, — показывает он.

Под потолком, на третьих нарах, у единственного окошечка сидит Лопатин и что-то шьет, должно быть, чинит одежду. Брови его нахмурены, усы топорщатся, он сосредоточенно тянет иглу с ниткой, расправляет на коленке шитье, целиком углубившись в работу.

— Это тоже вечно, сама жизнь, единственная реальность. С него следует брать пример: для него тоже не существует всей этой бестолочи, он безошибочно знает, что ему нужно делать. Он не рассуждает, не задумывается, но всегда делает правильно. Потому что он делает для жизни, а не для Магерамы. Магерам проходящ, Лопатин — вечен.

— А сколько вечных Лопатиных лежат в лесу? И работают-то они для Магерамов? — продолжаю упорствовать я.

— Пусть. Это ничего не меняет. Все равно он прав потому, что он жизнь, существующее, а Магерам — это чистилище — призрак, который когда-нибудь исчезнет. Этого как бы не существует совсем...

Я сдаюсь: Андрея Петровича мне не переубедить и не переспорить. Да и ни к чему, какой из этого толк?.. Неожиданно с третьего этажа перед нами появляются босые ноги. Секунду-две они беспомощно болтаются в воздухе, отыскивая опору, находят край наших нар, и перед нами появляется человек, похожий на первобытного, только что выбравшегося из берлоги: до того он грязен, оборван и растрепан. Его широкое расплывающееся лицо кажется еще шире от огромной опухоли-синяка на правой скуле; подбородку у него смешно

и совсем неправдоподобно приткнут клинышек свалявшейся желтой бороды. Это бывший работник сельхоза, иногда прогуливался с Андреем Петровичем в Кремле, после работы. Я не знаком с ним, а по внешнему виду считал его обыкновеннейшим из заключенных и ничем не примечательным человеком.

— Позвольте мне, господа, вмешаться в ваш разговор, — говорит человек с синяком, садясь рядом с нами. — Я прислушиваюсь сверху, и, так сказать, кое-какие мысли забрели. Не могу я, решительно не могу, уважаемый Андрей Петрович, согласиться с вами. Я скорее с молодым человеком, — простите, не знаю вашего имени-отчества, — склоняется он в мою сторону, — согласен: нельзя, никак нельзя нам игнорировать всего этого, — кивает он в проход между нарами.

Голос у него немного писклив, но звучит убежденно. Как бы для того, чтобы придать своей речи еще большую убедительность, он протягивает к Стрешневу руку, порывисто наклоняет голову, — кажется, что с его торчащих лохмами волос крупинками летит во все стороны грязь. Наверное, я выгляжу не лучше, чем он, но почему-то мне антипатичен человек с распухшей скулой.

— Конечно, история знает много переворотов, катаклизмов, так сказать, выражаясь по-ученому, пертурбаций там всяких, и если этак сверху посмотреть, с полета птичьего, скажем или еще того выше, то что ж, конечное дело — мелочь все, недостойная внимания, что с нами происходит. Но позвольте, уважаемый Андрей Петрович, однако, это ведь со мной происходит, с нами — с человеком, с жизнью, о которой сами вы сказали, что она единственная и вечная реальность, не так ли? Так как же я, жизнь, реальность-то эта самая, могу так просто отмахнуться от всего, что со мной же происходит, глаза на него, так сказать, закрыть? Хотя бы и на том основании, что с высот заоблачных это так, мышиная возня одна? Нет, Андрей Петрович, тут я усматриваю некоторое, так сказать, противоречие с вашей стороны. Или маневр хитрый, посредством которого вы спрятаться задумали: я вот закрою глаза и — нет ничего. Я сам по себе, а это все — само по себе. Я, де, выше всего этого, — улыбаясь, нападает он.

Стрешнев смотрит на него добрыми, тоже улыбающимися глазами.

— Но чего же вы хотите, милый Корней Лукич.

— Понять, уважаемый Андрей Петрович, только понять: досконально, так сказать, место свое уяснить! Ведь если все это — так, бессмыслица одна, человеческого достоинства, каламбур, недостойная, так ведь она меня не только унижает — она уничтожает меня, жизнь эту самую. Тут нельзя глаза закрывать, тут решить надо, что за дилемма перед нами: бессмыслица сплошная, жизни уничтожение или — смысл тут есть? Если бессмыслица, так я, как живой человек не могу с ней примириться, я отворачиваться не должен, в выси, так

сказать, возноситься. Отнюдь нет — по достоинству человеческому я бороться с бессмыслицей уничтожающей обязан. Ну, а если есть смысл, так я оправдать должен, а если оправдать, то и принять, не так ли? А уж если принять, то все — конечно, и поддержать?

— Что-то вы непонятное говорите, — перебиваю я. Мне все больше неприятен этот растрепанный человек с путаной речью: он определенно говорит грубо. — О каком смысле может идти речь?

— Нет, не скажите, молодой человек! — взволнованно восклицает Корней Лукич. — Главное-то в том и заключаем, чтобы выяснить: есть смысл или нет? Это не то, что, скажем, какой философский вопрос: это самое наипрактическое значение имеет! Есть смысл — я, может, от всякого рассуждения откажусь и как животное безропотное подчинюсь. А нет — так я готов на самого Господа Бога восстать! — ожесточенно говорит человек с опухшим на одну сторону лицом и торопливо шарит по карманам затрепанного пиджака, точно ищет в нем доказательство своим словам. Вынув заржавленную жестянку, он с треском открывает ее и поспешно, просыпая махорку на нары, скручивает папиросу.

— Ведь нам только казаться может, что смысла нет. А если есть?

— Да в чем вы смысл тут увидеть можете? — почти кричу я, чуть не с ненавистью глядя на собеседника.

— Как в чем? — изумляется Корней Лукич. — Я вижу, молодой человек, вам понятнее надо, конкретнее, так сказать, — говорит он и от этих слов я готов взорваться. — Ну, скажем, возьмите времена хотя бы Петра: тоже крутенькое время было! По внешности, поди, ничуть от нашего ни отличались: дыбы и мор и муки — всего было вдосталь, не меньше нашего. И, заметьте, тогда тоже оно многим бессмыслицей казалось — Петра даже в антихриста возводили! А на проверку вышло: был смысл! Так, может, и сейчас мы только не видим, смысл тоже есть?

— Но тогда, Корней Лукич, и смысл происходившего совсем другой был, — осторожно вставляет Андрей Петрович. — И если мы реформаторскую деятельность Петра одобряем, то все его поступки никак одобрить не можем.

— А это мне без внимания! — решительно вскрикивает Корней Лукич. — Раз одно принимается, тем самым и все оправдывается! А если одно без другого нельзя было?

— Черт знает что! — не выдерживаю я. — Да как вы можете сравнивать совсем разные вещи? Да в петровские времена дыба была, что сейчас телефон — ей никто не удивлялся, она была в порядке вещей. Не бессмыслица, что нас на двести лет назад тянут? Выросли мы за это время, научились чему или нет?

ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА.

6.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ.
Отделение церкви от государства и школы от церкви.

(Общ. Указ. 1918 г. № 18, ст. 263).

1. Церковь отделяется от государства.
2. В пределах Республики запрещается иметь какие-либо местные законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или устанавливали какие бы то ни было преимущества или привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан.

3. Каждый гражданин может исповедовать религию или не исповедовать никакой, или правоверие, связанные с исповеданием какой бы то ни было веры, или несповеданием никакой веры, отменяются.

Примечание. Из всех официальных актов всякое указание на религиозную принадлежность и непринадлежность граждан устраняется.

4. Действия государственных и иных публично-правовых общественных установлений не сопровождаются никакими религиозными актами или церемониями.

5. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательствами на права Советской Республики.

Местные власти имеют право принимать необходимые меры для обеспечения в этих случаях общественного порядка и безопасности.

Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей.

Наступления из этого положения, под условием одной гражданской обязанности друг друга, в каждом отдельном случае допускаются решению народного суда.

6. Религиозная клятва или присяга отменяется.

В необходимых случаях дается лишь торжественное обещание.

8. Акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданской властью: отделами записи браков и рождений.

9. Школа отделяется от церкви.

Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается.

Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом.

10. Все церковные и религиозные общества подчиняются общим положениям о частных обществах и союзах, и не пользуются никакими привилегиями и субсидиями ни от государства, ни от его местных автономных и самоуправляющихся установлений.

11. Принудительные изъятия сборов и обложений в пользу церковных и религиозных обществ, равно как меры принуждения или наказания со стороны этих обществ над их членами, не допускаются.

12. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью.

Прав юридического лица они не имеют.

13. Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием.

Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются, по особым постановлениям местной или центральной государственной власти, в бесплатное пользование соответствующих религиозных обществ.

Подписали: Председатель Совета Народных Комиссаров **Ульянов (Ленин)**. Народные Комиссары: **Подвойский, Алгасов, Трутовский, Шлихтер, Прошьян, Менжинский, Шляпников, Петровский**. Управляющий делами Совета Народных Комиссаров **Вл. Бонч-Бруевич**.

Распубликован в № 15-м Газеты «Работы и Крестьянского Правительства» от 23 января 1918 года.

23 января 1918 г. Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви»



Красноармейцы выносят церковные ценности.
Закрытие Симонова монастыря в Москве. 1923 г.



С первых лет Советской власти огромными тиражами выпускались книги, брошюры, журналы, газеты, плакаты атеистической направленности.

В 1922 г. стала выходить газета «Безбожник», затем журнал «Безбожник у станка» и многие другие.

В 1925 г. «Общество друзей газеты «Безбожник»» было преобразовано в «Союз безбожников». В 1929 г. эта организация была переименована в «Союз воинствующих безбожников».





Изъятие церковных ценностей, 1920-е гг. Фото из фондов
Государственного центрального музея современной истории России



Главный колокол колокольни
Успенского собора Рязанского кремля



Изъятие церковных ценностей. 1920-е гг.



Воспитанники детских садов на демонстрации.
Москва, 1929 г.



Святейший Патриарх Тихон и Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Крутицкий Петр (Полянский)

Патриарх Московский
и всея Руси Сергей
(Страгородский)



Вскрытие мощей прпп. Зосимы и Савватия 22 сентября 1925 г.

Митрополит
Петроградский и Гдовский
Вениамин (Казанский)



Судебный процесс
над митрополитом
Вениамином. Июль 1922 г.





Протоиерей Иоанн Кочуров,
первый новомученик Русской Церкви



Митрополит Киевский и Галицкий
Владимир (Богоявленский)



В марте 1922 г. Ленин писал: «Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».

Центральный двор
Соловецкого монастыря.
Фото кон. XIX – нач. XX в.







Сцены из жизни Соловецкого монастыря. Фото кон. XIX – нач. XX в.





Сцены из жизни Соловецкого монастыря. Фото кон. XIX – нач. XX в.





Сцены из жизни Соловецкого монастыря. Фото кон. XIX – нач. XX в.





Соловецкий монастырь. Спасо-Преображенский собор. Фото кон. XIX – нач. XX в.



Сцена из жизни Соловецкого монастыря. Фото кон. XIX – нач. XX в.



Соловецкий монастырь. Общий вид. Фото кон. XIX – нач. XX в.



Центральный двор Соловецкого Кремля. Фото 1960-х гг.

— Это как сказать, — снисходительно улыбается Корней Лукич — Мне кажется, что мы все еще в коротких штанишках ходим, как дети малые. И ведем себя соответственно неразумно.

— А вот тут разрешите с вами не согласиться, милый Корней Лукич! — восклицает Андрей Петрович и осторожно кладет ладонь на колено растрепанного человека. — Спросим себя: в чем главное главных нашего времени? В освоении природы, в развитии техники, материального прогресса? Или в чем другом? Можно, конечно, согласиться с вами относительно «коротких штанишек»: всего полтора-два столетия прошло, как началось интенсивное техническое развитие, — какой же это возраст? Но и как далеко мы ушли в этой области, хотя бы и с петровских времен! Если взять современное состояние нашего знания и техники — трудновато будет, Корней Лукич, признать «короткие штанишки». Творчеству людей нет предела, человек и дальше будет развиваться и совершенствоваться, но только ли в этом задача нашего времени? Не пора ли нам подумать о разумном использовании уже созданного и накопленного — наконец-то на благо человеку? Подумать об облагораживании человека, о его духовном возвышении из «коротких штанишек»? — улыбнулся Андрей Петрович. — А если главной нашей задачей является духовное возвышение человека, подумайте, можно ли решать такие задачи насильем? То, что нужно решать разумом, бессмысленно пытаться решать палкой. Зло не рождает добро, как же насилье может возвысить человека?

— Если думать, как вы, так надо в Магерама превращаться: он тоже «принимает и поддерживает», — ворчливо добавляю я.

Корней Лукич беспокойно мнетя и не находит возражений.

— Магерам, палки... может, не в них дело? — недоумевает он. — Очень уж вы широко взяли, Андрей Петрович, а если сузить? Скажем, Петр тоже палкой Россию преобразовывал, к прогрессу ее гнал.

— Так он нищую, отсталую Россию подгонял, и его задача заключалась только в том, чтобы приобщить Россию к общему миру и дать ей возможность развиваться вместе с Европой. А мы — так ли мы отстали? Да если даже и отстали, то после того же 17-го года у нас не осталось никаких помех к ликвидации этой отсталости, и мы ее без всякого насилия преодолели бы. Поэтому, если и сузить, зачем нам насилье и в данном случае?

Корней Лукич совсем угас. Глаза его потухли и не смотрят на нас.

— Нет, тут что-то не так, не должно быть так, — еще упрямится он. — Ведь этак где же смысл искать? Выходит, совсем смысла нет?

Мне надоел этот разговор: он слишком похож на те нескончаемые и бесплодные разговоры, похожие на толчение воды в ступе, которых досыта наслушался в

Кремле. Они ничего не решают и не дают, и прислушиваться надо не к ним, а к тому, что говорит тебе твое чувство, так будет вернее, думаю я.

В глубине нар слышен стон Гусева. Он спал всю ночь и теперь спит с утра. Неподалеку от него стоит котелок с обедом, накрытый хлебом. Гусев сильно сдал: как-то резко заметно высох, похудел: ходит он, согнувшись крючком, с бессильно повисшими руками. Иногда он даже не ест: дотащившись до барака, он валится на нары и часами лежит без движения. Мы приносим ему хлеб, обед, но они остаются нетронутыми.

Еще я заметил в нем: раньше он всегда был кроток и невиден, — теперь его как будто бы съедает какая-то болезнь, проступающая на его лице ожесточением, поневоле обращающим на себя внимание. В нем появилось что-то от аскетического исступления, только злобного и жестокого, думается мне.

Повернувшись, вижу, что он медленно приподнимается и садится, опираясь на нары высохшими руками. В полутьме вижу его глаза, но потом различаю две воспаленных точки. Лохматые брови, растрепанная борода, острые скулы и эти две точки придают Гусеву жуткий вид: он похож на смотрящего мертвеца.

— Вот обед, — говорю я, чтобы только что-нибудь сказать, и придвигаю к нему котелок. Гусев упирается в меня воспаленным взглядом и громко шепчет:

— Сон, сон я видел страшный. Который уже раз, все один и тот же. Будто руки я на себя наложил... Ох, страшно, сынок! Ведь это грех несусветный, о Господи!..

Я беспомощно озираюсь: в таких делах я никуда не гожусь, не знаю, что сказать, чем утешить. Андрей Петрович придвигается к нам.

— Чувствую я, конец мне приходит, братцы, — прерывисто шепчет Гусев. — Умру, без покаянья, и бросят, как падаль, без креста, без молитвы, ведь страшно, а? А еще страшней — не выдержать, возроптать. Жесточею я и молю Бога об одном: пошли мне смирение, дай претерпеть, Господи, не дай озлобиться! — задыхаясь, бредово шепчет Гусев: на его лице и в глазах видно предельное отчаяние. Мне тоже становится страшно: я никогда не видел, чтобы человек мог испытывать такое отчаяние.

Прервав шепот, Гусев долго и надрывно кашляет, в груди у него хрипит, клопочет, как будто что-то рвется. Снова подняв голову, он продолжает, как в бреду:

— Господь велел и врагам своим прощать и любить их, а я не могу больше, не могу. Ропщу, братцы, и руки готов на себя наложить, образ Божий пограть. Зачем же они так делают, заставляют ненавидеть себя? Господь ли от нас отрекся, мы ли от Господа отреклись? Жизнь уничтожаем — что выше такого греха

есть? Жизнь — радость, и смерть в час положенный тоже отпущение радостное, а мы жизнь уничтожаем и смерть сеем. Как искупим такой грех?

Закрыв лицо грязными ладонями, он склоняет голову в поднятые колени. Его острые плечи, едва прикрытые лохмотьями расплзающейся рубашки, трясутся, — я не могу понять, от кашля или от беззвучных рыданий. Я вдруг чувствую, что у меня сжимается горло: мне почему-то горько и мучительно стыдно видеть вырвавшееся наружу горе этого до сих пор кроткого и тишайшего человека. Корней Лукич беспокойно смотрит в нашу сторону, его насупившееся лицо растерянно и смущенно: ему, кажется, тоже не по себе. «Вот тебе, смысл твой, смотри, распухшая образина!» — со злостью думаю я.

Андрей Петрович успокаивает Гусева, говорит, что нужно потерпеть еще, не надо отчаиваться. Гусев поднимает лицо с колен:

— Не за себя убиваюсь, голубчик! — горячо прорывается он. — Чувствую, не могу сдержаться, в зверя обращаюсь, ведь я до черты дойти могу, на человека руку поднять! В ослепление прихожу, в помрачение душевное — чего еще больше может быть?

Мне непонятно отчаяние Гусева: я не могу уловить смысла его слов, до того они далеки и непонятны мне. Но инстинктивно чувствую, что он верно у какой-то грани, над пропастью, и мне так же жутко, как и ему.

Опять закрыв лицо руками, Гусев бессильно приваливается спиной к стене, его бьет, как в лихорадке. Андрей Петрович заботливо укутывает ему ноги одеялом.

8

Пуржит, неистовствует февраль. От метели не спасает лес: ветер обрушивается сверху, пронизывает нас, бьет в лицо, стискивая дыхание и заставляя кутаться в пальто. Но в пальто долго не проработаешь, мы раздеваемся — ветер обрадованно и зло сыпет нам снег за воротники рубашек. Облепленные белым, как ватой, мы копошимся у деревьев, проклиная работу и метель.

Неподалеку от нас в своей тройке работает Гусев. Я изредка посматриваю на него: движения Гусева так скованны, что мне кажется, что с ним обязательно что-нибудь случится. Тревога за этого молчаливого человека, отчаянию которого я на днях был свидетелем и к которому уже привык за год совместной жизни, овладевает мною.

Так и есть: мы свалили дерево; прорезав снег, оно громко стукнуло о землю. В то же время позади раздается легкий вскрик. Недоумевая, — наше дерево не могло задеть стоящих за нашей спиной, — мы оборачиваемся: в двадцати шагах, схватившись за грудь, Гусев оседает в снег, складываясь, как нож.

Проваливаясь по колено, мы по целине спешим к нему. Он лежит, почти совсем зарывшись в снег, с широко открытыми, закатившимися под лоб глазами. Огрубевшее лицо стало странно пятнистым: на щеках, на лбу, на губах, как отметины, расплылись белые пятна.

Опустившись на колени, Стрешнев расстегивает Гусеву воротник рубашки, щупает пульс. К нам подбегает Магерам:

— Что стали, контра? — кричит он. — Что тут?

— Больной, — говорит Стрешнев. — Припадок у человека.

— Больной? У меня выздоровеет! — скалит зубы Магерам и тычет Гусева метром в живот.

— Он в самом деле болен, его надо на пункт отправить, в околоток, — говорит, поднимаясь, Стрешнев.

— Ты! — свирепея и замахиваясь на Стрешнева палкой, кричит Магерам. — Не учи, а то я тебя поучу! Пошли работать, что стали?

Увязая в снегу, мы пробираемся к своему месту, изредка оглядываясь. Крутятся около Гусева, Магерам тычет его метром и орет:

— Вставай, гад ползучий, работать! Я тебе покажу, как симулировать! Ну, встаешь? — Он бьет Гусева толстым самодельным метром — раз другой, третий, — из снега не слышно ни стопа, ни криков.

Добравшись до сваленного дерева, мы обрубаем на нем сучья, посматривая, что делается около Гусева. Туда приходит конвоир, — не ругаясь, он беззлобно бьет Гусева прикладом так, как будто бьет по деревянной колоде. Потом товарищи несут Гусева к дороге и кладут невдалеке от костра конвоира.

Сквозь пляшущий и несущийся в воздухе снег видно: распустив шлем и подняв воротник шинели, конвоир безучастно сидит у костра, поставив винтовку между колен. Шагах в десяти от него лежит Гусев, полузасыпанный снегом...

Часа через два, должно быть, почувствовав себя лучше, Гусев пришел к товарищам. Он медленно лазил около сваленных деревьев и еще более связанными движениями работал топором, обрубая сучья.

А вечером, на проверке, Гусева вызвали из строя и куда-то увели. Мы возвратились в барак, легли спать — Гусева не было. Ночью меня разбудил Лопатин:

— Гусева посадили в карцер, — у карцера дежурит конвоир, — сказал он. Еле сообразив, о чем говорит Лопатин, я опять уснул.

Гусева втокнули в барак во время подъема: двое надзирателей открыли дверь и бросили в проход что-то длинное, смутно белевшее в темноте. Рядом шлепнулся сверток одежды.

Подняв Гусева на нары, мы положили его на одеяла: окоченевший, он не подавал признаков жизни; его руки, лицо были твердыми, как деревянные.

Лопатин и Стрешнев принялись растирать Гусева, а я помчался на кухню за завтраком для четверых. До развода мы приводили Гусева в чувство: растирали его, поили горячим чаем, завертывали в одеяла. Наконец он очнулся, начал, как умирающий, странно поводить руками, ногами, а потом затрясся в мучительном ознобе. Кое-как одев, мы уложили его, накрыв тремя одеялами...

Мы стоим в строю, ожидая развода. Начальник пересчитывает нас и кричит:

— Где карцерный?

— В бараке на нарах! — откликается дневальный.

— Выволочь!

— Но он болен, гражданин начальник, надо бы лекпома вызвать, — говорит из строя Стрешнев.

— Разговоры! — гаркнул начальник, грозно взглянув в нашу сторону. — Я вам тут и лекпом и главный врач — я его мигом вылечу!

Двое десятников и дневальный вытаскивают Гусева из барака и ставят на левом фланге. Он качается, клонится вниз, — стоящие рядом подхватывают его и держат. На работу его ведут под руки, попеременно, заключенные нашей партии: Гусев висит на плечах поддерживающих, ноги его волочатся по земле и иногда делают два-три заплетающихся шага...

Вчера выл ветер, мела пурга, а сегодня природа утомилась: тихо и скоро над лесом показывается чистое, радостное солнце. Оно блестит в снежном уборе сосен, искрится в тысячах весело замерцавших разноцветными огоньками снежинок и прокладывает перед нами, на широкой поляне, длинную, серебряную дорогу. Легче становится дышать: словно раздвинулся горизонт и небо стало высоким, голубым... Мы работаем поодаль от остальных, скрытые ото всех молодой еловой порослью и кустарником: от того, что мы не видим надзора, тоже спокойнее и светлее на душе и спокойнее работается. Мы уже свалили десяток деревьев, но на одиннадцатом нам не повезло: огромная, полметра в диаметре сосна не захотела упасть туда, куда ее хотел свалить Лопатин. Срезанная, она, словно подумав, тихонько стала клониться вправо и прочно завязла маковкой в такой же высокой, стройной с душистой кроной, соседке.

Расстроенные неудачей, мы стоим и глядим на упрямую сосну.

— Дело дрянь, нам ее не свалить, — говорит Стрешнев.

— Прочно села, негодница, — отзывается Лопатин.

— Будем резать соседнюю? — спрашивает Стрешнев.

Лопатин внимательно смотрит вверх.

— Попробуем сперва шестом, может, она в ту сторону пойдет, — говорит он. — Вы погодите, я схожу к ребятам, там должен быть шест, — и он неторопливо идет за кустарник.

Мы сидим на бревне, курим. Андрей Петрович накинул на плечи изорванный полушубок; его ветхая, каракулевая шапка сдвинута на затылок. При ярком солнечном свете еще отчетливее видно, как заострился его нос, ввалились заросшие щетиной щеки. Он смотрит на поляну и о чем-то думает, по лицу у него скользит едва заметная улыбка. За кустарником звенят, шаркают пилы, стучат топоры. Но звуки сюда доносятся приглушенно, как бы издалека. Тихо, солнце ласково греет лицо, руки.

— Это похоже на сон, — тихо говорит Стрешнев. — Откроешь глаза — все равно сон. Но, может быть, придет когда-нибудь такой день: я открою глаза — и ничего этого не будет, а я увижу что-то совсем другое.

— А что именно? — спрашиваю я.

Стрешнев лукаво улыбается — улыбкой, освещающей его лицо изнутри.

— Ну, может быть, Венеция...

— Ве-не-ция? — изумленно тяну я. — Это каким способом?

— Да, да, Венеция, мой друг, — смеясь, утверждает Стрешнев. — Не ожидали? Я вот смотрю на эту дорожку, — он показывает на сверкающую дорогу в снегу, проложенную солнцем, — и мне так ярко вспомнилась Венеция, как будто я только вчера из нее. А прошло уже, — да, больше двадцати лет. Это было во времена моей радужной молодости — молод, здоров, да к тому же еще и жених, друг мой! Жизнь тогда представлялась светлой, радостной и не было, казалось, трудности, какую я не вынес бы на своих плечах. Мы путешествовали с невестой и ее семьей по Европе, и тогда в первый раз я попал в Венецию. Приехали мы вечером, и, пока старшие устраивались в отеле, мы с невестой не выдержали, удрали от них, наняли гондолу и приказали ехать куда глаза глядят. Было уже поздно, взошла луна — мы выехали на Большой канал, и тут, помню, как сейчас, перед нами, от луны, протянулась такая же длинная, серебряная дорога. Мы тогда сказали друг другу: это наш лунный путь, по нему нам идти...

Взволнованный воспоминанием, Стрешнев замолчал.

— Вы на редкость богаты, Андрей Петрович, — говорю я. — Вам так много можно вспомнить!

Стрешнев встрепнулся:

— Да, я очень богат. Но не завидуйте, мой друг: разве вы беднее меня? Разве то, что вы видели, пережили — не есть ваш бесценный капитал? Поверьте, ничто не теряется, не пропадает даром: все, что мы видели, знаем — и вы, и я,

это наше общее богатство и только оно дает нам силу переносить все. Нет, не думайте, что вы бедны: все, что пережито — наш неоценимый капитал, будь то муки в ГПУ или минутки счастья в далеком прошлом. И это бесценное богатство принесет нам когда-нибудь хорошие проценты! Так, что, друг мой, мы с вами — архикапиталисты, почище Рокфеллеров — куда им до нас! — весело смеется Стрешнев.

— Что расселись, контра! — вдруг раздается за нами крик: мы не заметили, как из-за кустов вывернулся Магерам. Подскочив к нам, он с размаха бьет не успевшего подняться Стрешнева: метр шлепнул по полушубку как пощечина.

Таким я еще не видел Андрея Петровича: мгновенно схватив, точно поймав, воткнутый рядом в бревно топор он вскакивает на ноги, поворачивается к Магераму и смотрит на него вылезающими из орбит глазами, с перекошенным от бешенства лицом. Магерам делает шаг назад.

— Ты что, ты что? — растерянно бормочет он. По лицу его опять пробегает хищная судорога:

— А, ты так! — злорадно бормочет Магерам и поднимает метр. — Ну держись! — и он изгибается, точно готовясь к прыжку.

Еще не зная, что я сделаю, я поднимаю свой топор и подскакиваю к Магераму. Он переводит горящие глаза на меня.

— А Подбора помнишь? — вдруг, не зная сам зачем, спрашиваю я. — Степку Подбора, в изоляторе, помнишь гадина? — наливаясь кипучей злобой, хриплю я, с трудом открывая сведенный судорогой рот и надвигаюсь на Магераму, с занесенным над ним топором. — Ну, помнишь? — настаиваю я, дыша ему в лицо и смотрю прямо в черные глаза.

Магерам почему-то опускает руку с поднятым метром, глаза его часто мигают. Лицо будто гаснет и из хищного становится жалким. Он делает назад шаг, другой, поворачивается...

Бросив в снег топор, я сажусь на бревно, отираю вспотевший лоб. Сердце колотится еще торопливо, громко. Стрешнев садится рядом.

— О каком Подборе спрашивали вы? — говорит он.

— Так, был один. Вор, — неопределенно отвечаю я.

Стрешнев молчит, потом тихо говорит:

— А ведь я мог его убить... — Сначала это не кажется мне странным, но потом до сознания доходит: Стрешнев и убийство — это так несовместимо, так нелепо, что я вдруг весело смеюсь. Стрешнев смотрит на меня и тоже начинает смеяться.

— Право, все это так глупо, что ничего не остается, как посмеяться, — говорит он и опять добреет лицом.

Напряжение разрядилось: нам обоим легко, как после одержанной победы. В голове еще мелькает недоумение: почему Магерам растерялся, когда я сказал о Подборе? Не подумал ли он, что я один из друзей Степки, который мог потребовать сдачи за излишне полученное им с Подбора? Это так и останется загадкой для меня, но с нынешнего дня Магерам будет сторониться нас, стараться не замечать нашего присутствия.

Солнце греет по-прежнему, после пережитого волнения от его теплых лучей хочется спать. Мы дремлем, а Лопатина все нет. Где-то за кустами раздается крик, там продолжают визжать и шаркать пилой, а мы все дремлем. Куда запропастился Лопатин?

Он приходит без шеста. Неуклюже и тяжело перелезает через бревно и садится рядом с нами. Лицо его необычно взволновано.

— Случилось что? — спрашивает Стрешнев.

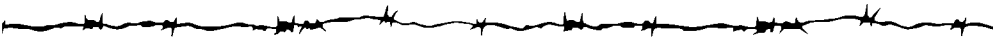
Глядя на поляну Лопатин медленно говорит:

— Гусев, обрубая сучья, ударил по руке и отрубил себе палец. Мы перевязали руку, конвоир подошел и заставил Гусева работать дальше. Тогда он опять ударил по руке и отрубил себе пол-ладони, четыре пальца. Прибежал Магерам, вдвоем с конвоиром они избили Гусева и приказали еще перевязать его. Я снял нижнюю рубашку, изорвал ее на бинты, мы кое-как остановили кровь, перевязали ему руку. Магерам заставил его работать одной рукой. Только мы отошли как он снова ударил по руке и отрубил себе всю ладонь, вот досюда, — Лопатин показывает на свою левую руку, выше запястья. — Магерам совсем остервенел, бил Гусева метром, ногами, а он лежал без движения. Там весь снег кровью залит, будто телушку резали... Мы еще раз завязали ему руку, но он уже не вставал: бледный такой лежит, белый. Теперь его на пункт унесли... Зачем он это сделал?..

9

«Все проходит», — говорится в старой сказке, читанной в кажущемся сейчас сном детстве. Это, пожалуй, наше главное и единственное утешение. Прошел и лес: я снова в Кремле, в той же роте и по-прежнему работаю в управлении. Андрей Петрович был прав: уже перестали болеть мускулы, с рук сходят мозоли, а с лица обмерзшая кожа. В бане остались лесная грязь, вши; китайцы и женщины в прачечной выстирали одежду, с грязью мы сняли с себя некую шкуру, лишившую нас в лесу человеческого образа. В привычной работе стираются воспоминания, и в душе будто перевернулась еще одна исписанная страница.

Эксперимент начальства не удался: работавшие вместо нас уголовники столько напутали и разговоровали, что ничего не оставалось, как только вернуть




нас на прежнее место. В лесу остались немногие, — в их числе Гусев, зарытый вместе с другими в промерзшей земле. А может быть, просто брошенный в снежный сугроб...

Окна нашей канцелярии выходят на юг, в гавань. Снег на льду еще девственно чист, но так прозрачен воздух, залитый лучами радостно сверкающего солнца, что невольно чувствуется: ночь прошла, скоро наступит день. Он еще не пришел: до открытия навигации еще добрых три месяца, но уже очистилось небо, не такой плотной тьмой окутаны ночи, а в груди теснится взволнованное предчувствие весны. Скоро солнце растопит льды, очистит море: снова придут пароходы, привезут написанные родными руками письма, мы получим газеты, придут новые люди — мы снова вступим в жизнь!

Впрочем, она все та же, эта жизнь. Так же, как в прошлом году, мы будем читать в газетах о том, что где-то в Болгарии или Румынии кровавые псы капитализма приговорили пятнадцать или двадцать коммунистов в общей сложности к пятидесяти годам каторги. А в гавань снова и снова будет приходить лагерный пароход и привозить новые этапы: 200, 300 человек, тоже в общей сложности приговоренных к двум или трем тысячам лет: сейчас прибывают больше десятилетники. Что изменилось на земле? Ничего, все осталось по-прежнему. Но и сознавая это, мы все же будем с надеждой вчитываться в строчки газет, прислушиваться к вновь прибывшим: мы ведь остаемся людьми...

В начале лета в эту гавань пароход привезет Горького. Будет так же сиять солнце. Окруженный чекистами Горький с сыном и невесткой сойдет с парохода, приехавшие и встречавшие усядутся в блестящие лаком коляски и помчатся в Горки, в лес, где живет тщательно охраняемый и окруженный таинственностью соловецкий бог — начальник управления. Оттуда Горький проедет в Кремль, потом на кирпичный завод. По пути будут стоять махальные — наши властители, старосты и командиры рот: при приближении экипажей они будут давать сигналы дальше, чтобы впереди успели убрать с дороги все, могущее оскорбить глаза приехавшего.

Взволнованные заключенные будут стараться увидеть Горького: ведь приехал Горький, буреви́стник свободы! Горький, столько лет, боровшийся против горя и несправедливости! И вечером, когда Горький в сопровождении чекистов появится в театре, заключенные долго будут приветствовать его искренними и громкими аплодисментами. Он будет сидеть, не отвечая; потом шепнет что-то на ухо сидящему рядом начальнику управления, встанет и, высокий, худой, сутулый, неловко и смущенно поклонится людям. Аплодисменты загремят еще сильнее, но Горький больше не встанет.



В антракте он вдруг улизнет от чекистского окружения: выйдет в уборную, где помещается и курилка. Закурив папиросу, он встанет у стены, близоруко-прищуренно смотря на заключенных старчески беспомощными глазами. Расторопные заключенные будут совать ему в карманы записки, в которых написана правда о Соловках: Горький, смущенно улыбаясь, положит руки в карманы, засунув бумажки глубже.

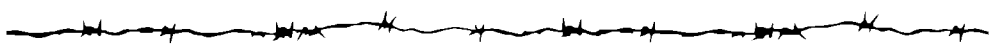
Ночь он проведет в колонии малолетних преступников, будущих Магерамов и Подборов. Заведующего колонией, старого большевика Кожевникова, моего друга, который именно в это лето сойдет с ума, Горький попросит удалиться, чтобы остаться с малолетками наедине. Всю ночь он будет слушать воровские песни, рассказы малолеток о своей жизни на Соловках. А на другой день он уедет на материк, в Москву, в мир, увозя с собой и показанное чекистами, и услышанную правду. Многие заключенные будут жить в смутной надежде: Горький, буревестник, знает правду!

Потом в московских газетах появится статья Горького, в которой он скажет, что Соловки — это почти земной рай и что чекисты хорошо исправляют преступников. Множество гневных проклятий родит эта статья, и во многих душах наступит прояснение... Нет, что-то все же меняется на земле, если не на ее поверхности, то в глубине человеческих душ.

Неожиданно я превращаюсь в начальство: в одном из учреждений проворовался заведующий, бывший австрийский коммунист, грубый, наглый, плохо обращавшийся с подчиненными человек. Его снимают, арестовывают, а меня приказом назначают на его место: за полтора года, чтобы отвлечься, я порядком поднатерел в работе, меня считают опытным энергичным работником. Я смущен: мой предшественник исполнял свою должность почти с чекистским блеском, мне кажется неудобным садиться на его место, еще хранящее тот ореол. Но послушаться приказа невозможно: лес еще на моей памяти, Секирка тоже не так далека от Кремля. К тому же каждая новая работа таит в себе неизведанное: чем чаще окунаешься в него, тем быстрее и незаметнее проходит время.

Девятнадцатилетнему самолюбию лестно: в моем подчинении более тридцати человек, скованных суровой соловецкой дисциплиной. Они работают в трех комнатах, в четвертой — мой кабинет. Небольшая, с низким потолком комната, в ней еще работает мой помощник и секретарша — изящная венка Мария. Она уже хорошо говорит по-русски, мы с ней делаемся большими приятелями: Мария рассказывает мне все сплетни, которыми живет женбарак.

У меня большой письменный стол, заваленный пыльными папками с бумагами; на столе стоит телефон, чернильный прибор и лампа с красивым шелковым



абажуром, преподнесенная моему предшественнику его поклонниками. Иногда мелькает мысль: все глупо: Соловки и телефон, лес и секретарша, Секирка и настольная лампа. Десять лет заключения и вместе с тем я как будто бы начальник? Но я отмахиваюсь от этих мыслей: о чем задумываться, если это все равно не настоящее?


А главное, у меня покойное, удобное, еще монастырское кресло: теперь я буду покидать эту комнату только для обеда и ночью, для сна. Все остальное время я буду проводить в этом кресле, как бы отдыхая от трудов.

Подчиненные сначала отнесутся ко мне почтительно настороженно, присматриваясь и изучая. Но я с первого дня распушу вожжи и совсем не буду требовательным и строгим, как мой предшественник: к чему это, если наша работа все равно не имеет смысла, если она не что иное, как нелепая игра? Иногда страшная, иногда смешная, она не перестает быть только игрой, которую нельзя принимать всерьез. Начальство может не знать этого, но я-то сам хорошо знаю, что начинает уже надоедать участвовать в глупой игре, отказаться от которой, впрочем, тоже нельзя.

У меня хорошие помощники, они и везут привычную работу. Два брата Кореневых: Степан Сергеевич, бывший поручик, и Петр Сергеевич, бывший штабс-капитан, заведуют двумя главными отделами. Оба они художавы, подтянуты, в работе по-военному четки, сухи и исполнительны. Это надежная опора. Балагур и краснобай Орлов, сельский учитель, несмотря на кажущуюся разбросанность в мыслях и в движениях, тоже очень точный и исполнительный работник, он заведует еще одним отделом. Кассирствует ворчливый, кашляющий старик, бывший жандармский чиновник. Нацепив на мясистый нос спадающее пенсне с черным шнурком, он смотрит поверх него и ворчит всегда и на всех, в том числе и на меня. Но Филиппа Эрастовича надо знать: это добрейший человек. А точность его вошла у нас в поговорку: невозможно представить, чтобы он ошибся на копейку или неверно подсчитал кассовую ведомость.

Рядом с ним работает отец Борис. Круглое русское лицо с седой пушистой бородой, благообразно расчесанные длинные волосы, глубокие и лучистые глаза. От отца Бориса веет спокойствием, распространяющим умиротворение, добро, исполненное чувством человеческого достоинства. В его манерах нет капли ни елеса, ни ханжества, ни суеты: это и простой, и полный внутреннего благородства человек, ваш старший брат.

В передней копошится терской казак Терентьич. Соединяя в одном лице обязанности сторожа, курьера, уборщика, Терентьич всегда занят и всегда о чем-



то хлопчет. Он ставит самовар, поит сотрудников чаем, следит за порядком и чистотой. Аккуратнее и вернее сторожа и человека, чем Терентьич, не найти.

Эти шесть — мой актив. Я могу положиться на него, как на каменную гору: не подведут. Угрызения совести по поводу того, что они работают, в том числе в какой-то мере и для меня, в то время, как я бездельничаю? Это несущественно: во-первых, это не настоящее, а только игра, а во-вторых — так заведено в Соловках, и не мне ломать установленный порядок. Да это и бесполезно: мне его все равно не сломать.

Мысли об этом я гоню, отгораживаюсь от них покойным креслом. Кресло — мой ковер-самолет и убежище: я или уношусь на нем в другой, совсем не похожий на окружающий мир, или скрываюсь в нем от нелепой игры. Я дремлю в кресле в обеденный перерыв, а вечером, когда кончается работа и все уходят, я закрываю окно занавеской, придвигаю ближе лампу, беру томик Толстого или Флобера и переселяюсь в иное пространство и время. Соловки перестают существовать для меня. А часто, оставшись наедине в кресле, я не читаю, а прикрываю глаза и неторопливо всматриваюсь в прожитое. Длинной вереницей проходят лица, события. Я перебираю их, как старьевщик, внимательно выбирающий в груде изношенного барахла что-то сохранившееся, что еще может представлять собой ценность. Возможно, большую и неуничтожимую. Разве в навозной куче не оказывается иногда жемчужное зерно? Я отбрасываю все злое, сгнившее, гадкое: добротное отбираю отдельно — и мне кажется, что, когда я сортирую так запутанный хаос пройденного, в нем явственно начинают проглядывать кончики верных, необходимых для распутывания всего клубка нитей. А внутри в это время откладываются крупинки чего-то настоящего, твердого, что вселяет в душу уверенность и спокойствие.

Но иногда мое спокойствие летит к чертям: я как будто просыпаюсь и с недоумением смотрю на стол, телефон, лампу. В меня закрадывается страх: как бы эти побрякушки не заслонили чего-то важного, необходимого. Как бы проклятая игра, от которой я отгораживаюсь всего только креслом, не полонила меня совсем. И ведь не штука, застыть, закинуть в покойном кресле!.. Я чувствую необходимость активности, движения, которые избавили бы меня и от осточертевшей игры и от опасности отрешения от жизни; меня снова начинает жечь и подгонять жар беспокойства.

Чего ищешь или чего страстно желаешь — то непременно появляется, хотя бы по видимости и случайно. Проходя после обеда в Кремле, я встречаю старого знакомого, художника Рогова. Мы приехали с ним из Кеми в одном этапе и почему-то, как бывает иногда в жизни, очень подружились с первого разговора.

Но Рогова через две недели отправили на Секирку: он пытался бежать еще из кемского пересыльного пункта на материке, но неудачно. В своих мыслях я давно похоронил Рогова, как вдруг встретил его в Кремле живого и невредимого.

Затащив его к себе, я с удовольствием смотрю на шишковатую голову Рогова, на живые коричневые глаза. На мой вопрос о том, как он выдержал Секирку, Рогов скалит ровные, белые зубы:

— Нас, брат, не скоро возьмешь, мы крепкие! Я там, как сыр в масле купался, я там даже пьянствовал!

— Как так?!

— А вот так! — смеется Рогов. — Слушай и на ус мотай. Верно, когда привели меня — жутко стало, друже. Раздели, как полагается, до белья и босиком толкнули в церковь. Вошел я, посмотрел — в глазах у меня потемнело. Сидят самые доходяги: тощие, черные, неизвестно в чем душа держится. Да и не держится. Каждый день мерли, по пять, шесть, по десять человек за сутки. Грязь, вонь — окна выбиты, по церкви ветер разгуливает, а уж осень, холодно, но вонь все равно. Какая-то густая, стойкая — и трупом, и нечистотами, как в яме свалочной. Спим на каменном полу. Ни одеял, ни матрацев. Чтобы согреться, ложимся в кучу, одни на других: своим теплом друг друга греем. Да какое тепло в нас, если жизнь в каждом еле теплится? Кормежка, понятно, соответствующая: кусок хлеба и вода. Жуть, одним словом, а когда представишь, что будет здесь зимой твориться — душа совсем в пятки уходит. Надзиратели — вот с такими дрынами, злющие, как волки: чуть посмотрел кто не так — кости дрыном ломают, бьют насмерть. В общем — обреченное совсем дело, гроб. Я было совсем нос на квинту. Тут, думаю, и конец мне. Но просидел с неделю — вдруг меня зовут. Иду во двор — там сам начальник Секирки. «Ты художник?» — спрашивает. «Да, художник». — «А можешь портрет с фотографии нарисовать, честь честью, красками?» — «Почему нет, могу». — «Так рисуй», — и показывает мне фотографию своей жены. Эге, думаю, стоп, дело иначе поворачивается! «Как же, — говорю, — могу я рисовать, в таком виде, в изоляторе, да еще голодный?» — «А это, говорит, мы сейчас уладим». И, как в сказке, происходит немедленная метаморфоза: выдают мне мои вещи, влекут меня во второй этаж, определяют отдельную каморку: живи! Можешь ходить, гулять, только далеко не ходи. Волокут мне обед, — да еще с надзорской кухни. Тут, брат, я и зажил! Понятно, я жену начальникову красавицей изобразил: я, брат, так старался, как на выпускном экзамене не старался! И стал я, друже, придворным художником Секирки: всех надзирателей перерисовал, их жен, а потом ходил по окрестностям и пейзажи писал. И вот тебе поучительная картина: внизу ад, там зимой

люди каждый день десятками мерли, а точно такой же человек Рогов, которому неожиданное счастье привалило, этажом выше живет в тепле, холе, всегда с полным брюхом... Вообще говоря, конечно, гнусная картинка, я иногда себя так чувствовал, точно я виноват в том, что внизу мрут, но что поделаешь? Какой смысл было увеличивать брошенных в общую яму трупов — своим?

— Значит — Вова приспособился?

— И не говори. Так приспособился, как дай Бог каждому. Потом я со смотрителем маяка познакомился: там, как на самом высоком месте Соловков, на колокольне главный маяк устроен. Смотритель для маяка спирт получает, — так мы этот спирт честно делили: половину — маяку, а половину — нам, — скалит зубы Рогов.

Я рассказываю ему о своем житье, спрашиваю:

— А сейчас ты где?

— На механическом, счетоводом устроился. Ничего, терпеть можно.

— До конца срока терпеть будешь?

Рогов плутовато смеется. Мы разговариваем глазами, почти без слов: зачем слова, если нам все отлично понятно и без них?

— Что же, решено?

— По рукам! — смеется Рогов.

— Только — чур! — спешит он. — Нерушимый договор: только вдвоем. Я теперь ученый: я никому не верю. И если меня опять заберут, я буду знать: выдал только ты. А тогда я тебя на дне морском найду, — смеется Рогов, как будто бы сказал что-то веселое.

— И еще: теперь делать нужно только так, чтобы было безусловно наверняка. Безрассудно рисковать больше не годится. Ни один проект не годен, если он не гарантирует безусловного успеха. Я лучше еще пять лет просижу, но убегу тогда, когда буду уверен в успехе. От горячки я отказываюсь.

— У тебя есть что на примете?

— Я перебрал много способов — ни один не годится. На Секирке я много историй о побегах слышал — ни одна не подходит. На маяке я часто бывал. Оттуда море — как на ладони, любую лодку видно. Надо что-то совершенно новое выдумывать. Долго я над одним проектом голову ломал — как будто выломал. Слушай...

Проект Рогова таков: надо сделать железные банки — кубышки, которые свободно могут удержать человека на воде. И два проолифленных, не пропускающих воду костюма. Летом, ночью, мы уйдем на Муксальму, — дойти туда лесом не трудно, — наденем на себя костюмы, привяжем банки и пустимся

вплавать на летний берег. Лодки на берегу останутся в целости, никто не подумает, что двое сумасшедших пустились с острова вплавь — погони за нами не будет, почему с этой стороны мы обеспечены. В море не возможно с далекого расстояния заметить две точки-головы, мы беспрепятственно переплывем пролив.

— С Сахалина каторжники бежали на бревнах, через Татарский пролив. Там вода теплая, а тут летом всего 11—12 градусов, долго плыть — можно замерзнуть, окоченеть, но костюмы сохраняют тепло. Намажем еще тело ворванью, тюленьим жиром — не замерзнем, — говорит Рогов. — А замерзнем — в море пропадем, а не в этой мышеловке. Это единственно верный способ, другого нет.

Проект сначала кажется мне фантастичным. Мы долго обсуждаем его, и в конце концов я нахожу, что он довольно прост. Это подкупает: там, где много хитрят и мудрствуют никогда не получается ничего путного. Я заражаюсь роговским предложением: дня два мы сидим, высчитываем объем банок-кубышек, банок для еды, чертим их форму, вымеряем взвешиваем. По знакомству, на главном складе, я достаю несколько литров олифы — якобы для окраски чемоданов; на вещевом складе две пары нового крепкого белья из грубой бязи — и вручаю все Рогову: он будет мастерить костюмы на механическом заводе. Там же, знакомому жестянщику, Рогов заказывает банки. Жестянщик сразу догадался, что банки нужны для контрабандной доставки водки с материка, — Рогов пообещал ему бутылку из первой партии.

Так снова начинается вторая (или третья, четвертая?), уже тайная жизнь. Теперь можно успокоиться, утихомириться, дремля в кресле или работая, я всегда, каждую минуту помню: на механическом заводе Рогов неторопливо, методично, но упорно готовит прыжок в будущее. Снова есть надежда, снова расширяется горизонт. Не только глупая игра и покойное кресло мой удел — появилось что-то, обещающее жизнь.

А наша настоящая жизнь не спеша ползет между тем своим чередом... Возвратившись к себе после обеда, я застаю в кабинете Марию. Что она делает тут в неурочный час? Она сидит у своего стола сгорбившись, закрыв лицо руками, худенькие плечи вздрагивают: она, кажется, плачет? Перед ней на столе письмо, фотография.

— Что случилось, Мари? Что с вами?

Она поднимает большие, мутные от тоски глаза, которые многим казались раньше слишком легкомысленными.

— Посмотрите, это моя дочка, — всхлиывая, отвечает она и протягивает мне фотографию.

Что? У Марии — дочка?! У Марии? У этой тоненькой пичуги, которую мы привыкли считать за маленькую девочку, — дочка?.. С фотографии смотрит пухлая, смеющаяся голенькая девочка, котенком развалившаяся на диване.

— Я ее не видела три года, ей было всего шесть месяцев, когда я уехала... Это первое письмо оттуда, — говорит Мария и снова неутешно плачет.

В Соловки не приходят письма из-за границы. Это письмо путешествовало около года, прошло какими-то неведомыми путями несколько границ, но все же добралось до Соловков. Первое письмо, полученное Марией за три года... Я понимаю Марию и стараюсь успокоить ее: глажу ее голову, бормочу бессвязные и, вероятно, очень глупые, не запоминающиеся даже на минуту слова утешения, — делаю то, что всегда люди делают в таких случаях.

Перестав плакать, Мария рассказывает свою историю. Она такая же, как и тысячи других; она так же необычна и неправдоподобна, как и множество уже слышанных ранее историй. Но в нашем мире настоящего она очень обычна и обыкновенна. Я прилежно слушаю: рассказ успокоит Марию.

Ее отец, австрийский коммунист, несколько лет тому назад с группой товарищей уехал в Москву. Он переписывался с семьей, потом перестал писать. Прождав от него писем год и не получив ответа ни на один свой запрос, семья решила послать Марию на розыски отца. Частью легально, частью нелегально Мария перебиралась из страны в страну и, наконец, добралась до Москвы. Но тут она была тотчас же арестована и через две недели отправлена в Соловки. Уже в лагере от других австрийских коммунистов она узнала, что ее отец и другие были расстреляны в ГПУ: им почему-то не понравился коммунизм на практике, и они поссорились с Коминтерном. Они, наверное, больше узнали, чем нужно, поэтому и были расстреляны; еще нескольких австрийских коммунистов отправили в Соловки.

— Что я им сделала, скажите? Зачем они привезли меня, — спрашивает Мария, с тоской глядя на меня. Из ее глаз текут крупные прозрачные слезы. Я молча глажу ее голову, утешая, — может быть, так, как утешала бы она свою дочку, больно ударившуюся об угол стола.

Открывается дверь, не входит, а вбегает Коренев, Степан Сергеевич. Еще не закрыв за собой дверь, он кричит:

— Брата арестовали.

Сегодня, кажется, день неожиданностей

— Как арестовали? Почему? — спрашиваю я, как будто не знаю, как арестовывают людей.

— Ничего не понимаю! — всполошенно кричит Коренев. — Пришел уполномоченный ИСО, произвел обыск и увел с вещами в изолятор... Что такое,

за что, почему — ума не приложу! — продолжает кричать Коренев, то бегая по комнате, то садясь на стул.

— Надо что-нибудь сделать, выяснить... — говорит он и смотрит на меня.

— В семь пойду в управление. Сейчас бесполезно, там никого нет.

Сегодня мне приходится успокаивать сразу двоих. Впрочем, Мария уже успокоилась: теперь она даже успокаивает Кореневу! Я с нежностью смотрю на нее. Маленькая пичуга, у тебя такое большое и такое вечно-женское сердце, способное забыть свою боль и отдать себя чужой боли!

Но Степана Сергеевича трудно успокоить. Его не узнать, куда делась его обычная уравновешенность. Он поминутно смотрит на часы, вскакивает, ходит по комнате и все вскрикивает:

— За что? Почему?

Вечером, после долгих хлопот, мне удастся узнать, что Петра Сергеевича подозревают как соучастника в мошенничестве моего предшественника. Узнав новость, младший Коренев садится на стул как подкошенный.

— Брата? Брата обвинить в мошенничестве? Нас заподозрить в жульничестве? — потерянно и смятенно бормочет он.

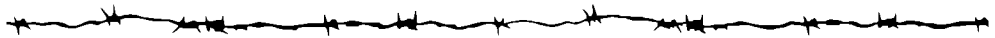
Я удивлен в свою очередь: чему так удивляется Коренев? На что негодует? Разве мы не были свидетелями и худших вещей? По-моему, тут совсем нечему удивляться.

— Степан Сергеевич, охами делу не поможешь. Надо выручать брата, а для этого нужно собрать доказательства его невиновности. Вы это можете сделать лучше других — действуйте. Мобилизуйте себе в помощь всех, кто понадобится.

Наверное со дня своего основания наше учреждение не работало так интенсивно, как сейчас. Работников не узнать: с таким рвением они никогда не листали пухлых папок. Самый малый конторщик заражен общим энтузиазмом; контора пришла в движение. Все тридцать человек заняты спасением сотоварища. За два дня перелистано столько бумаг, подсчитано столько цифр, сделано столько работы, сколько ее, пожалуй, не делалось и за полгода.

Вооружившись десятками справок и документов, подтверждающих непричастность Петра Сергеевича к мошенничеству, я обхожу начальственные кабинеты, иду в ИСО, к следователю, ведущему дело, обращаюсь даже к Ростовцеву, которого не видел после памятного следствия. Общими усилиями мы нажимаем на все рычаги. Наши старания увенчиваются успехом, через неделю Петра Сергеевича выпускают из изолятора.

Он сидит против меня, сильно похудевший, с потемневшим, мертвенным лицом, на котором будто бы прибавилось морщин. Его глаза влажны, в них не слезы ли?



— Они все могут со мной сделать: убить, искалечить, семью отнять, но честь — как они смеют на честь мою покушаться? — говорит Петр Коренев. — Я офицер, а честь — последнее, что у меня осталось, — так они и ее хотят отнять! И отняли ведь, теперь каждый может подумать обо мне, что я жулик! Как я буду теперь смотреть на людей? Ведь жулик, жулик! — в отчаянии кричит он.

Очевидно, я очень почерствел, — думаю я. Я вижу горе товарища, но оно не находит во мне отклика. Мне странно видеть того мужественного, наверное храброго и бесстрашного в бою человека в таком отчаянии, с влажными глазами, из которых вот-вот брызнут слезы.


— Если бы раньше мне нанесли такое оскорбление, я убил бы обидчика, я растерзал бы его в клочья! — кричит Петр Сергеевич. — А тут я даже не могу протестовать, не могу ничего сделать, когда у меня отнимают самое дорогое — мою честь!

Честь, честь — что такое честь? — думаю я. — Мы на каждом шагу видим, что это понятие утрачивает всякое значение, нам палкой доказывают, что честь — это отжившее, ненужное, лишнее чувство. Так имеет ли оно право жить?..

Уже по-настоящему весеннее солнце заглядывает к нам в комнату. За окном вытянулись длинные сосульки, днем в форточку слышно, как с них сочно шлепаются на ледяную корку внизу тяжелые капли. Снег в лесу еще ослепительно бел, но под тающей хрусткой коркой он стал воздушным. В заливе потемнел и набух лед. Скоро сойдет снег, зазеленеют деревья, откроется море, а там — нас ждут железные кубышки! Работа у Рогова успешно продвигается, и от весны, от солнца, от пьянящей надежды ширится грудь, и я, право, чувствую себя даже как будто бы счастливым!..

Приходит Пасха. Я не верующий человек, но этот день нельзя встречать с пустой и холодной душой. Его нельзя и не отметить, как освящено обычаем. Я покупаю в ларьке кулек муки, масло, сахар, яйца и передаю покупки Марии. Добрые женские руки тайно пекут мне в женбараке два маленьких румяных куличика, похожие на игрушечные. Такие бывало мать пекла нам, детям, на Пасху, каждому особый. Пяток яиц я варю сам, вкрутую, как положено. Не важно, что они не крашены — мы не дети.

Жаль, что в этом году строго запрещено идти в церковь. В прошлом году тоже запрещали, но тогда легче было выбраться из Кремля. Я на полчаса заходил в церковь и был свидетелем торжества, не часто выпадавшего на долю других храмов Руси, во все времена. Службу вели несколько митрополитов в сослужении со многими архиепископами. Все заключенные, все они служили



особенно проникновенно, как говорили верующие. Такой службы никогда не видела и не увидит больше скромная кладбищенская соловецкая церковь.

В этом году приходится встречать Пасху без церкви, в одиночестве: церковная служба разрешена только монахам и высшим священнослужителям. Я сижу в кресле; настроение от праздника приподнятое, но грустное. Тоска написана и на лицах Кореневых и Орлова, входящих вечером ко мне. Они садятся и молчат понуро, как в воду опущенные.

— Невеселая нынче получается Пасха, — уныло говорит Степан Сергеевич. — Пасха без заутрени — не Пасха.

— Да, такой праздник встречать в камере не годится, — подтверждает Петр Сергеевич.

Мои сотрудники мнутя, переглядываются между собой, нерешительно поглядывают на меня. Вижу, что им хочется что-то сказать.

— Может, сходите к начальнику отделения? Вдруг разрешит? — говорит Орлов.

— Безнадежно! — машу я рукой.

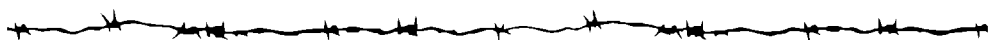
— А вдруг? А может быть? — вскидываются все трое и насаждают на меня. Я не выдерживаю натиска, встаю. Попытка моя бесполезна, я сознаю это, но — чего не бывает на света?

По скрипучей деревянной лесенке поднимаюсь в бывшие настоятельские покои. В них, в одной из комнаток, живет нынешний начальник Кремля латыш Вейс. Заключенный, в прошлом чекист, он недавно был начальником второго отделения, того, в котором находятся Секирка и лесозаготовки. Недобрую славу об отделении Вейса мы недавно испытали на себе. Впрочем, со мной, как с маленьким начальником, Вейс снисходительно-милостив.

Полный и грузный, он один в комнате. Кажется, ему тоже скучно. Вейс сидит в кресле и задумчиво курит. Может быть, он даже рад моему приходу, как развлечению: он усаживает меня, угощает папиросами, начинает болтать. Но меня ждут; я отделяюсь односложными ответами и излагаю ему просьбу подчиненных. Вейс лицемерно вздыхает:

— Вы не первый, ко мне уже многие приходили, — словно сожалея, говорит он. — Я не имел бы ничего против, но категорический приказ начальника управления... Никак не могу...

Я возвращаюсь, сообщаю результат ходатайства. Еще скучнее становятся лица моих помощников. Я понимаю их: сидеть сейчас в опостылевшей камере, куда каждую минуту может зайти ротный, не весело. Я в лучшем положении: ко мне сюда никто не зайдет, я могу делать все, что захочу. У меня мелькает мысль:



— А почему бы нам не встретить Пасху здесь?

Три пары глаз вопросительно смотрят.

— Ну, да, здесь. Если без церкви, то все же не в камере, а в дружеской обстановке. Выдвинем мой стол на середину, накроем белой бумагой, каждый принесет немного продуктов. Терентьич поставит самовар — вот и разговеемся, в компании, а не по одиночке, не под одеялами. Как находите?

— А это идея! — восклицает Петр Сергеевич.

— Неплохо придумано, — подтверждает и Орлов.

— Пригласим Филиппа Эрастовича: старика небось тоже тоска грызет. — Хорошо бы еще отца Бориса, но он в шестой роте, со священниками.

— Он не может придти. Они у себя по камерам будут служить, молча, — перебивает Орлов.

— Нас четверо, Филипп Эрастович, Терентьич — компания уже достаточная. Принимается?

— Единогласно!

Сказано — сделано: с моего стола летят в угол пухлые папки, телефон, чернильницы, лампа составляется на пол, стол выдвинут на середину и накрыт большими листами бумаги, как скатертью — получается уже торжественно. Из стола извлекаю яички, кулич. Появление кулича встречается восторженными возгласами. Кореньевы и Орлов спешат в роту, Терентьич возится с самоваром — дело идет на полный ход.

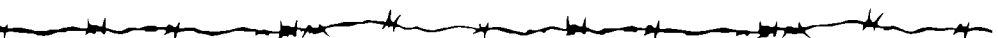
Через полчаса друзья возвращаются. Они умылись, причесались, Петр Сергеевич даже надел новую рубашку и повязал галстук. От Орлова пахнет одеколоном. Выбритые, посвежевшие, они больше не похожи на унылых людей, сидевших тут час назад. Из карманов вынимаются булки, сахар; у кого нашелся кусочек колбасы, у кого сыру, а Орлов принес даже коробку шпрот. Степан Сергеевич с братом режут хлеб, колбасу, сыр. Орлов, как заправский гастроном, художественно раскладывает все на столе — стол выглядит даже аппетитно!

Улыбчиво побряхывая, приходит Филипп Эрастович.

— Вы что, затейники, затеяли? — ворчит он. — Одобряю, одобряю. Ба, даже кулич! Вот это, ребятушки, Пасха!

Из вместительных карманов когда-то форменного пальто Филипп Эрастович достает булки, кулек конфет и пестро раскрашенные цветными карандашами яички. На них тщательно выведены крестики, замысловатые завитушки, а посреди буквы «Х.В.». Настоящие пасхальные яички!

— Это я хотел вам завтра подарить, да уж раз такое дело, зачем до завтра ждать, — посмеиваясь в бороду, говорит старик.



Орлов в последний раз критически оглядывает стол, передвигает разнокалиберные чашки и кружки. Вместо тарелок — блюдечки, а вместо столовых ножей лежат перочинные и большие складные — но кто обращает внимание на такую мелочь! Терентьич вносит бурлящий, до блеска вычищенный самовар и ставит его в углу на табуретку.

— Все готово, можно начинать! — провозглашает Орлов.

Время — около полуночи.

— Помолимся, господа, — предлагает старший. Он становится лицом к восточному углу и крестится. Терентьич, Кореневы, Филипп Эрастович зажигают принесенные ими свечи. Выйдя вперед, Петр Сергеевич подтягивается по-военному и вполголоса, но четко и слышно для всех читает молитву:

— Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...

Я стою сбоку, немного позади и приглядываюсь к молящимся. У них спокойный и торжественный вид. Мне кажется, что я вижу на их лицах просветление, радость и чувствую, что то озорное чувство, которое испытывал я, предлагая встречу и готова ее, сменяется во мне тоже светлой и уверенной радостью.

Петр Сергеевич поворачивается к нам с сияющим лицом и восклицает:

— Христос Воскресе, друзья!

— Воистину Воскресе! — откликаемся мы.

— С праздником, братья! Христос Воскресе!

В комнате поднимается взволнованная толкотня: мы поздравляем друг друга, обнимаемся, христосуемся; слышно громкое чмокание. Наверное, никогда мы не христосовались с таким чувством, как сегодня. Раздаются возгласы: Христос Воскресе! Воистину Воскресе! — наша скромная комната преобразилась, как будто раздвинулась и посветлела, от празднично сияющих лиц и происходящего в ней таинства.

Все со всеми похристосовались, первое волнение улеглось.

— А теперь разговеемся, чем Бог послал! — приглашает Петр Сергеевич к столу. Он крестит стоящий перед ним куличик и осторожно режет его на шесть равных частей. Каждому на блюдечко он кладет по кусочку кулича и раскрашенное Филиппом Эрастовичем яичко. Блюдечки принимаются от Петра Сергеевича благоговейно, боятся уронить. Не так ли разговлялись первые христиане?

— А соль забыли! — тихо роняет Орлов.

На него смотрят укоризненно: стоит ли вспоминать о таком пустяке?

— Как же забыли, вот она, — так же тихо отвечает Терентьич и подвигает Орлову насыпанную на бумажке соль.

Съедено яичко, подобраны крошки от кулича.

— Ну, господа, разговелись, можно пировать! — говорит, улыбаясь, Петр Сергеевич и делает приглашающий жест.

Терентьич разносит чай. Все удивительно вежливы и внимательны друг к другу, каждый наперебой угощает соседей яствами. Мир и дружба царят за нашим столом.

— Эх! — крикает Орлов. — Одного не хватает: сейчас бы по маленькой! — он красноречиво чешет горло.

— Тебе мед, да ложкой, — добродушно ворчит Филипп Эрастович. — Пей чай с конфеткой, пользы больше будет.

— Нет, хорошо, други, — довольно щурится Терентьич. — Оно лучше, без водки: смотри, как по-христиански встречаем. Благодать, одно слово. По-братски, честь честью, и чего бы нам всегда так?

Окно плотно занавешено, изредка мы выходим в коридор, проверить, но никто не подслушивает нас, никто не знает о нашем пиршестве. Мирно течет за столом праздничная беседа шестерых просветленных великим днем людей, связанных сейчас самыми крепчайшими узами на земле: любовью, братством, дружбой. Присматриваясь к людям, я смеюсь в душе, и опять озорное, но и радостное чувство владеет мною: а все-таки мы встретили праздник так, как велит нам наше чувство, а не так, как приказывает начальство! Не залог ли это того, что и в будущем мы поставим на своем?..

Прошла и Пасха. По-весеннему быстро бегут дни. И уже очистилось море, пробит во льду залива канал — победно гудит пароход, пускаясь в первый в этом году рейс. Веют теплые, ласкающие лицо ветерки. Я теперь часто гуляю на взморье. Голубое весной, море спокойно плещется в лучах непомерно-щедрого солнца. Я лукаво смотрю на неоглядную гладь. В спокойствии моря мне чудится обещание. В груди у меня поет надежда: скоро, скоро, работа Рогова подходит к концу!..

Ко мне заходит Генрих Мартьянович: самый вздорный человек из встреченных мною до сих пор на земле. Лысая голова, узкий лобик, острый, птичий носик, серые глазки навывкате — природа вылепила его, как карикатуру. Но он высокого мнения о своей наружности и считает себя, по крайней мере в недалеком прошлом, неотразимым покорителем дамских сердец. В доказательство он показывает свою фотографию, на которой изображен в молодости: тот же остренький нос — клювик, выпученные, бессмысленные глаза на сморщенном личике, высоко вздернутом твердым стоячим воротником.

Я знаю страсть Генриха Мартьяновича: он хиромант. От скуки я протягиваю ему руку и прошу:



— Генрих Мартьянович, погадайте.

Он вскидывает ручки-лапки вверх.

— Помилуйте, я не гадалка! — обиженно восклицает он. — Это цыганки гадают, а хиромантия — наука! Я иногда предсказываю, но только основываясь на строго научных данных!

— Извините, дорогой Генрих Мартьянович, я неправильно выразился. Давайте — по точным данным.

Генрих Мартьянович не умеет долго обижаться. Он достает из кармана большую лупу.

— Пожалуйста вашу левую руку, сударь.

Я опять протягиваю руку, он склоняется над ней с лупой.

Пока он рассматривает мою руку, я вспоминаю другое время. Два года назад, очень далеко отсюда, таким же летним днем, в воскресенье, я проснулся поздно. Отец был в церкви у обедни, мать возилась с печением воскресных пирогов. Я вышел во двор и присел на крылечко. Было уже знойно, душно, южное солнце палило так нещадно, что снова клонило в сон. Щелкнула щеколда калитки — во двор вошла цыганка. С растрепанными космами черных волос, в цветастой кофте и рваных юбках, лохмотьями висевших внизу одна над другой, в ярком солнечном свете она была очень колоритным пятном. Осмотревшись, цыганка подошла ко мне.

— Милый, красавец, дай я тебе погадаю.

— Дураков нет, голубушка, проваливай, — засмеялся я.

— А думаешь, ты умный? — хитро улыбнулась цыганка. Но было слишком жарко для того, чтобы рассердиться.

— Ты еще грубишь — иди подобру-поздорову!

— Я не буду грубить. Дай я тебе погадаю, бриллиантовый мой.

— Не хочу я твои глупости слушать, иди.

— Зачем глупости? Я тебе всю правду расскажу, золотой мой, серебряный. Позолоти ручку!

Она прилипла ко мне как банный лист. Хуже: так, как умеют прилипать только цыганки. Опустившись на землю, она засматривала мне в лицо, протягивала жилистые руки и неотступно тянула гортанным голосом: золотой, бриллиантовый, погадаю! У нас много цыган: зная, что от нее не отделаться, я, пересилив лень, пошел в дом и принес ей полтинник.

— Возьми и ступай.

— Нет, так я не возьму. Почему ты не хочешь? Я всю правду истинную тебе расскажу, золотой мой, все, что ждет тебя, расскажу. Дай ручку, не бойся.



Делать нечего, протягиваю ей руку.

— А ты не смейся, золотой мой, — певуче тянет цыганка. — Вы всегда смейтесь над нами, говорите, что мы лжем, а мы иногда и правду говорим. Вот, слушай: ты будешь долго жить. Сколько, не скажу, не знаю, но очень долго, до глубокой старости доживешь, если... если... — она замялась, взглянула мне в лицо.

Я улыбался:

— Ну, что там?

— Если вот этот год переживешь. Это для тебя будет черный год, трудный год, в нем тебя большое испытание ждет, если ты его переживешь — ничего больше не бойся, ты тогда из всякой воды сухим выйдешь. А этот год трудный будет...

— Это какой же год?

— Не скажу, красавец, не написано тут, а врать не хочу. Но не скоро еще — это во второй половине будет. А вот скоро — куда ты ехать собрался?

— Ехать? Никуда.

— Нет, ты поедешь. Скоро, вот сейчас ты должен ехать. Далеко, далеко поедешь, — настаивала цыганка.

Это было уже слишком: я никуда не собирался ехать ни сегодня, ни завтра, ни вообще в обозримыйпереди промежуток времени. Я хотел убрать руку, но цыганка крепко держала ее

— Постой, постой, золотой мой... Длинный и трудный, ой, какой трудный путь предстоит тебе, много несчастий ты встретишь на нем, но целый выйдешь, невредимый, красавец мой...

— Ну, и хорошо, если целый, — засмеялся я и потянул руку: цыганка выпустила ее, не сопротивляясь.

День прошел, как всегда, а вечером я пошел гулять. По дороге меня встретил руководитель организации и сказал, что днем арестованы двое наших товарищей. Надо немедленно уезжать, так как сегодня же могут арестовать и нас. Он дал мне адрес в Москву. Через полчаса я уже сидел в поезде, увозившем меня на север. Только тогда я вспомнил о цыганке, напророчившей утром неожиданную дорогу.

Москва, после нее другие дороги, скитания по городам, арест в одном из них, следствие, путешествие в Соловки — пророчество цыганки продолжало сбываться. Изредка вспоминая о том солнечном утре, я смеюсь в душе: правду ты сказала, не все цыганки врут!..

Генрих Мартыанович поднимает глаза:

— Вы счастливый человек, доложу вам! Вы будете очень долго жить, если... если... — заминается он.

— Если я переживу один трудный год?

— Откуда вы знаете? — удивляется Генрих Мартьянович.

— Представьте, знаю. А нет ли у меня там еще скорой и дальней дороги?

— Есть. Есть, говорю вам, — растерянно отвечает Генрих Мартьянович. — Я хотел порадовать вас, а вы, оказывается, уже знаете... — Генрих Мартьянович опять обижен.

— Нет, Генрих Мартьянович, я ничего не знаю... Я шучу.

Он недоверчиво смотрит.

— Да, у вас тут отмечено, что вам предстоит очень скоро дальняя дорога. Вы уедете из Соловков!

— Спасибо на добром слове, Генрих Мартьянович. Только как же я уеду, если мне еще восемь лет сидеть?

— Этого я не знаю. Но вы обязательно, обязательно уедете! И очень скоро! — уверяет человек с птичьим носиком.

Я смеюсь, но душа у меня поет и радуется. Да, я уеду, непременно уеду. Не уеду, а уплыву. Прав ты, гадатель: готовы у Рогова кубышки и костюмы, мы ждем только, когда немного потеплеет вода. Это не за горами: я скоро исчезну из Соловков, испарюсь, как дух, несмотря ни на что, несмотря и на то, что мне еще восемь лет сидеть!..

После хироманта приходит Рогов. Его обычно бодрое лицо нахмурено, глаза смотрят растерянно. У меня сжимается сердце.

— Что случилось?

Я уже чувствую, что случилось что-то скверное.

— Кто-то украл костюмы, — глухо говорит Рогов.

Снова меркнет свет, в комнате стало темно. Или это потемнело у меня в глазах?


— Как это могло случиться? — кричу я. — Кто мог украсть?

— Не знаю. Я держал их в кладовке, на чердаке. Туда никто зимой не ходил, там лежит только старый хлам. На чердак нет даже лестницы. Я лазил по стене, в дыру. Я никогда не думал, что туда кто взлезет. А сегодня смотрю — костюмов нет.

Мы молчим. Проходит минута, другая, третья.

— Сколько времени нужно, чтобы сделать новые?

— Я два месяца делал эти. Они лежали в олифе потом сохли, потом я еще раз промазал и снова сушил. Они не пускали ни капли воды... А теперь мне



негде даже работать. Я делал в кладовке, зимой, весной. Если туда будут часто ходить, там нельзя будет работать.

— Рогов, нужно сделать невозможное, нужно прыгнуть выше головы, из шкуры вылезти, но добиться! Неужели ты примиришься?

Он сидит сгорбленный, опустив руки: несчастье раздавило его.

— Нет, — качает он отрицательно головой и продолжает, как в забытьи:

— Нельзя примиряться... Я не примирюсь... Надо только опять собраться с силами...

— Сoberемся, Рогов, придумаем что-нибудь еще... Не нужно только складывать рук, нельзя покорно опускать голову. К черту, Рогов: выше нос. Начинаем снова: я завтра же пойду доставать олифу, белье...

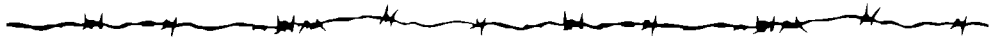
Я осекаюсь, вспомнив о своем положении. Оно в последнее время пошатнулось: начальство, очевидно, заметило, что мне надоела игра. Последние дни ко мне очень придирались, требуя, чтобы мое учреждение работало больше и лучше. Для этого надо было бы насесть на своих сотрудников. Не дорожа местом, я противился этому и в конце концов крупно поссорился с начальством. Не сегодня-завтра меня снимут с работы, а поэтому, как всегда бывает, двери складов, где вчера меня принимали, как своего, завтра плотно закроются передо мной. Я не боюсь за свою участь: я уже старый соловчанин, с помощью знакомых как-нибудь устроюсь на спокойную работу, но удастся ли теперь достать требующиеся для нашего плана вещи? Дернула меня нелегкая не вовремя поссориться с начальством.

Я успокаиваю Рогова, стараюсь расшевелить его, пробудить снова к действию. Я уверяю его и себя, что еще ничего не потеряно, что мы еще можем поставить на своем. Но ночь проходит без сна: надежда, светлое видение во тьме, снова ускользнула от нас...

Утром я иду с обычным докладом в управление. В коридоре меня останавливает заместитель моего вольнонаемного начальника, тоже старый соловчанин, бывший адъютант одного из генералов гражданской войны.

— Вчера из Москвы получено распоряжение: меня назначают начальником этого же отдела во вновь организуемом лагере на материке. Где, не знаю еще сам, но далеко отсюда, тысячи за две километров. Мне предложено подобрать несколько работников. Поедешь со мной? Учти, что тебя на днях снимут с работы, — говорит адъютант.

О, гадатель. О, Генрих Мартьянович! Беру свои шутки обратно: в самом деле, не все гадалки врут!.. Стены комнаты раздвинулись, я не слышу, что про-



должает говорить адъютант: я вижу синеющие поля, леса и чувствую под ногами твердь. Мне не нужны теперь и кубышки с проолифленным костюмом, чтобы достигнуть их: пароход надежнее довезет меня до твердой почвы. А там — там ведь не будет останавливать море...

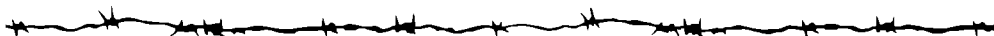
Грустное прощание с Роговым. Он и сочувствует, и грустит, и напутствует: он добрый малый, Рогов. Мне жаль расставаться с художником: с ним было пережито немало остро волновавших несбывшейся надеждой минут. Мне не хотелось бы покидать Рогова, но бессмысленно упускать неожиданный случай...

Но оказывается, что так же грустно расставаться и с моими друзьями — помощниками, со Стрешневым, Лопатиным, с пичугой Марией, с десятками других людей, ставших одинаково близкими и дорогими. С ними ведь так много передумано, переговорено! И разве напрасно появилась наша близость? Разве не скреплена она крепчайшими узами? Я смущен, когда обхожу всех и прощаюсь; мне кажется, что я вытащил в лотерее счастливый номер: я уезжаю и покидаю своих друзей, а им еще томительно долго жить на этом угрюмом острове.

Но и остров как будто бы потерял свою угрюмость. Я смотрю на стены и башни Кремля, казавшиеся мне раньше такими мрачными, на кривые березы, на камень у моря, за которым мы сидели когда-то с Синецыным и Петровым; обхожу ближайшие окна-озера, у которых ждал звона церквей Китеж-града, и чувствую, что они совсем не мертвые и больше не враждебны нам. Около них столько прожито и пережито! Пусть немые, они были постоянными свидетелями и участниками нашего горя, они сроднились и сжились с нами. И так, как стояли они памятниками былого, так пусть стоят памятниками и нам. Я обхожу знакомые места, прощаюсь с ними с такой же грустью, как прощался с людьми, и подолгу смотрю на каждый уголок, стараясь, чтобы он навсегда остался в сердце...

Спустя неделю мы небольшой группой стоим на палубе парохода, в трюме которого два года тому назад я приехал в Соловки. В белесом свете белой ночи остается позади остров, полускрываемый стелящимися к воде клубами дыма из паровой трубы. На горизонте опускается в море багровый диск, совсем не похожий на солнце. На него можно смотреть даже не жмурясь. Он медленно скатывается в воду, а через минуту показывается снова, почти на том же месте — освеженный, помолодевший.

Пароход держит путь на запад. Мы минуем черные каменные гряды, тут и там высывающиеся из воды. Впереди чистое море. Впереди новые дни, новые



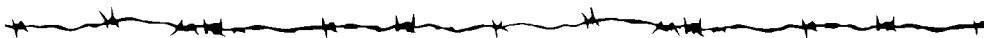
дороги, полные новых сомнений, тревог, маленьких удач и больших неудач, после которых так же трудно, как и в прожитом, так же кропотливо и медленно, крохотными крупичками будет оседать в душе и выкристаллизовываться что-то единственно необходимое и верное...



АЛЕКСАНДР РОБЕРТОВИЧ

ГРУБЕ





Вячеслав Умнягин, иерей
РАССКАЗЫ ЧЕЛОВЕКА С «ТОГО СВЕТА»

Опубликованные ниже воспоминания Александра Робертовича Грубе впервые увидели свет в русских эмигрантских изданиях конца 1920 — начала 1930 гг. и, скорее всего, неизвестны современному читателю.

Первоначально в рижской газете «Слово» появился очерк «Секирка», перепечатанный весной 1929 г. парижским «Двуглавым орлом»¹ и белградским «Царским вестником»².

Более пространный, состоящий из 23 главок «Рассказ человека с “того света”» вышел полтора года спустя в пяти октябрьских номерах нью-йоркской газеты «Новое русское слово»³.

Дополнением к этой публикации стал резонансный доклад, прочитанный бежавшим узником 22 октября 1930 г. На вечере, устроенном местными социал-демократами, присутствовали 250 человек из числа представителей всех слоев русской колонии. По словам репортера, все как один, они «с затаенным вниманием слушали повесть простую и искреннюю о страшных, нечеловеческих переживаниях самого Грубе и тех сотен тысяч русских граждан, которые томятся в застенках советского правительства»⁴.

О самом мемуаристе известно немного. Как это часто бывает, информация о нем ограничена сведениями из его же воспоминаний. «По происхождению я латыш, по профессии матрос. Латвию я оставил в 1920 г. и уехал в Америку. Тут я поступил на пароход и пошел в плавание», — сообщает автор в самом начале повествования.

Причиной выпавших на его долю испытаний стал соблазн перебраться в Советскую Россию, где во время стоянки в порту иностранных матросов «водили по кинематографам, по разным клубам, угощали и уверяли, что в СССР для рабочих и крестьян не жизнь, а рай».

Дезертирство с американского судна на советский корабль в константинопольском порту закончилось арестом во Владивостоке. За ним последовали тю-

¹ Грубе А. Р. На Секирке // Двуглавый орел. 1929. № 26. С. 1243–1247.

² То же // Царский вестник. 1929. № 36. С. 3–4.

³ Грубе А. Р. Рассказ человека с «того света»: история Александра Грубе, бежавшего из Соловков // НРС. 1930. №№ 6478–6481, 6483.

⁴ Доклад бежавшего из «Соловков» Александра Грубе // НРС. 1930. № 6480.

ремное заключение («всего я видел около тридцати тюрем»), обвинение в «международном шпионаже» и десятилетний приговор с последующей отправкой на Соловки, куда латышский моряк был доставлен во второй половине 1920-х гг.

Разобщенный, логически не увязанный текст газетной публикации не позволяет более точно установить даты и последовательность описанных в нем событий⁵. При этом встречающиеся в тексте неточности можно объяснить рядом причин.

Во-первых, форматом общения сотрудников американского издания с беглецом, который в течение четырех часов — видимо, без особой подготовки, зато весьма эмоционально и не без преувеличений (например, в описании случая с актером, якобы расстрелянным во время выступления перед членами московской комиссии) — «рассказывал жуткую историю жизни и смерти на Соловках».

Во-вторых, погрешностями в записи самой беседы и невозможностью позднейших уточнений, на что указывают явные ошибки («член коллегии московского ГПУ Глыбокий», вместо Глеб Бокий) и имеющаяся купюра («ударить ногой в ?—?—?»).

В-третьих, тем, что, по мнению самого А. Р. Грубе, «нет таких слов, чтобы точно описать картину жизни заключенных. Похоже это будет на бред больного, так это не вяжется с понятием о культуре и свободе».

Вывод, далеко не единственный в воспоминаниях соловчан⁶, заставляет задуматься о степени деформации этических принципов в условиях лагеря и, одновременно, о ценности совершаемых в нем нравственных поступков. Например, со стороны красноармейцев, относящихся «к заключенным более или менее по-человечески», или земляков рассказчика, которые делились с ним своей хлебной пайкой, а когда это потребовалось, пожертвовали значительные средства («восемь рублей, что в переводе на тюремные квитанции Соловок составляет в десять раз больше») для его бегства на материк.

Всего автор упоминает о четырех попытках побега из «рабоче-крестьянского рая» в «мир Божий, где нет чекистов, нет Соловков», из которых лишь последняя, когда «помогли не деньги, не особые стратегические способности, а просто слепое счастье, судьба, захотевшая быть милостивой к невинно страдающему», принесла желанную свободу.

Из Англии, куда беглец прибыл в трюме немецкого лесовоза, он вернулся на родину, а оттуда в Америку, где и описал свою жизнь в СССР, лишь косвенно

⁵ Исходя из ряда косвенных данных, можно предположить, что период заключения А. Р. Грубе на Соловках длился с 1926 по 1929 г., но утверждать этого нельзя.

⁶ «Чем больше живешь в лагере, тем все больше и больше проникаешься сознанием, что Соловецкий лагерь — это какой-то гигантский сумасшедший дом». Седекхольм Б. Л. В разбойном стане: Три года в стране концессий и «Чеки» (1923—1926) // Воспоминания соловецких узников. Т. 1. Соловецкий монастырь, 2013. С. 699.

упомянув об одном немаловажном эпизоде — пребывании в печально известном штрафном изоляторе на Секирной горе.

Более ранняя по времени выхода публикация «Царского вестника» проливает свет на это событие, а также уточняет условия содержания заключенных в упраздненном Свято-Вознесенском скиту Соловецкого монастыря.

Общее впечатление от узилища, устроенного большевиками в «обесчещенном и загаженном здании храма», можно передать словом «гнусный», которое используется автором в самых разных сочетаниях: «гнуснейшее место», «гнусный обыск», «гнуснейшее требование», «гнусный “розыск”».

Олицетворением царящего здесь произвола выступает Карл Иванович Вейс, чья биография напоминает жизненный путь многих организаторов советских концлагерей. Участник Первой мировой войны, латышский стрелок и комендант ОГПУ, в конце мая 1926 г. он был «приговорен к лишению свободы на 10 лет со строгой изоляцией по обвинению его в сношениях с сотрудниками иностранных миссий, явными шпионами»⁷.

В приказе, подписанном будущим наркомом внутренних дел СССР Г. Г. Ягодой, этот человек характеризуется «как совершенно разложившийся, утративший всякое понимание лежавшей на нем, как чекисте и коммунаре, ответственности и не остановившийся перед фактом крайней дискредитации Объединенного Государственного Политического Управления, сотрудником которого он состоял»⁸.

Вейс фигурирует и в целом ряде соловецких воспоминаний, причем как до своего ареста в связи с отправкой политических заключенных в уральские изоляторы летом 1925 г.⁹, так и в качестве заключенного, начальника штрафного¹⁰ и Кремлевского¹¹ отделений СЛОНа.

А. Р. Грубе подробно описывает постоянные обыски, продуваемый всеми ветрами карцер под куполом храма, ночной сон в трехслойных «штабелях», распорядок дня и правила поведения заключенных, установленные «трижды-чекистами, прославившимися зверствами на материке, сосланными на Соловки, тут

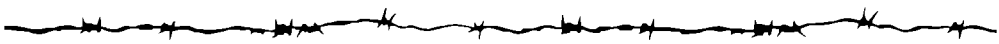
⁷ Приказ ОГПУ № 131/47 от 5 июля 1926 г. // Цит. по: НГ (Спец-выпуск «Правда ГУЛАГа»). 2010. № 10 (31).

⁸ Там же.

⁹ Бацер Д. М. Соловецкий исход // ВСУ. Т. 1. С. 529, 537.

¹⁰ «В конце 1926 г. или в начале весны 1927 г. <Кучьму> заменил латыш Вейс, тот самый Вейс, который у Солженицына без указания его имени и места, а у Никонова — конкретно, заставлял штрафников в наказание переливать воду в Савватьевском озере из одной проруби в другую. Никонов называл это образом бессмысленной работы, а Солженицын — “жестокостью, но и патриархальностью”». Розанов М. М. Соловецкий концлагерь в монастыре. США, 1979. Кн. 1. С. 133.

¹¹ «По скрипучей деревянной лесенке поднимаюсь в бывшие настоятельские покои. В них, в одной из комнаток, живет нынешний начальник Кремля латыш Вейс. Заключенный, в прошлом чекист, он недавно был начальником II отделения, того, в котором находятся Секирка и лесозаготовки. Недобрую славу об отделении Вейса мы недавно испытали на себе». Андреев Г. Соловецкие острова // Настоящее издание. С. 179.



вновь отличившимися и отбывающими теперь срок наказания в роли палачей на Секирке».

Упоминания о четырех тысячах «штрафников» и ежедневной гибели 20–25 человек, если судить по другим мемуарам и доступной статистике УСЛОН, значительно завышены, но мысль о том, что с «Секирки один путь — в могилу», вполне отражает характер этого места и его восприятие в воспоминаниях соловчан.

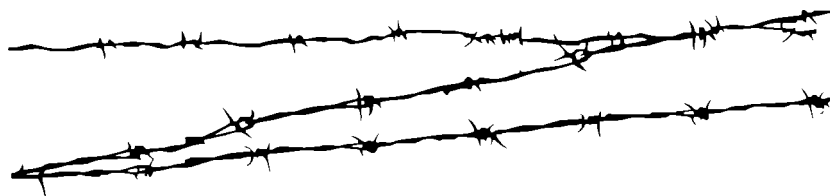
Сам автор полагает, что выжил здесь «благодаря морской закалке, крепкому сложению и сравнительно недолгому (месяц) пребыванию на Секирке».

При чтении очерка, как и в случае с более пространной публикацией «Нового русского слова», привлекает внимание то, что, несмотря на бесчеловечные условия содержания, люди сохраняли способность к проявлению высших свойств души. Даже в штрафном изоляторе, где все было нацелено на физическое и нравственное уничтожение, находились «сердобольные заключенные второго отделения на хорах», которые «бросали изредка (с большой осторожностью и ухищрениями для отвода глаз конвойных) заключенным первого отделения по вечерам и ночью» табак, спички, сено, солому, тряпки...

Сохранился как чувствующая, сопереживающая личность и сам мемуарист, оставивший простые и искренние рассказы — ценные свидетельства, подтверждающие стойкость человеческого духа и его способность противостоять нечеловеческим испытаниям.



Рассказ человека с «того света»¹



Нет места на свете более страшного, более жуткого, чем Соловки. Непроходимые джунгли африканских лесов, кишашие дикими зверями, менее опасны для человека, чем Соловки. От дикого зверя можно уберечься, от чекиста нет спасения. Каплю за каплей они высасывают кровь из заключенных, вытягивают из них жилы и вот таких, обескровленных и обессиленных людей заставляют работать по 20 часов в сутки. Убежать с Соловков невозможно. Острова, окружены со всех сторон водой, переплыть которую человек не в состоянии — прекрасное место для тюрьмы. Не нужно даже особенно охранять заключенных, потому что бежать — бессмысленно, убежать все равно нельзя, а если и попытаешься, то сейчас же изловят и... расстрел на месте.


И все-таки с этого проклятого «острова отчаяния» человек убежал. Тут помогли не деньги, не особые стратегические способности, а просто слепое счастье, судьба, захотевшая быть милостивой к невинно страдающему.

Этот человек с того света был у нас в редакции и в течение четырех часов рассказывал нам жуткую историю жизни и смерти на Соловках. Вот, что он рассказал.

Как обманывают большевики иностранных моряков

— Меня зовут Александр Грубе, — сказал он. — По происхождению я латыш, по профессии матрос. Латвию я оставил в 1920 году и уехал в Америку. Тут я поступил на пароход и пошел в плавание. Однажды мы пришли в советский порт, в Одессу. Нас спустили на берег, водили по кинематографам, по разным клубам,

¹ Публикуется по: Грубе А.Р. Рассказ человека с «того света»: история Александра Грубе, бежавшего из Соловков // НРС. 1930. № № 6478—6481, 6483.



угощали и уверяли нас, что в СССР для рабочих и крестьян не жизнь, а рай. Принимали нас великолепно, и мы ушли на пароход чрезвычайно довольными.

— Ну, как вам у нас нравится? — спрашивали нас коммунисты, провожая на пароход.

— Очень, — ответил я, вспоминая все те удовольствия и угощение, которое поставили нам коммунисты.

Ответил я вполне искренно, и с тех пор у меня в голове засела мысль о необходимости покинуть Америку и переселиться в Советскую Россию.

Вернувшись в Америку, я стал искать пароход, который уходит в Черноморские порты, с тем, чтобы уехать в Советскую Россию. Такого парохода не оказалось, и я поступил матросом на пароход «Венона», уходящий в Константинополь.

Придя в Константинополь, я оставил все свои документы у капитана и сошел на берег, проще говоря, дезертировал. После этого я явился к советскому консулу и просил дать мне возможность поехать в Советскую Россию.

Консул заявил мне, что дело это очень трудное и что нужно запросить Москву, заполнив предварительно анкету. Анкету я заполнил и в ответ на его просьбу представить какие-нибудь документы ответил, что документы все остались на американском пароходе, откуда я сбежал. Тогда он дал мне удостоверение с моей фотографической карточкой о том, что я матрос, желающий уехать в СССР.

Пароход «Декабрист»

В это время в Константинополь пришел большевицкий пароход «Декабрист», совершающий рейсы между Владивостоком и портами Черного моря. Я узнал, что на пароход требуются матросы, и отправился туда. Приняли нас троих — меня, одного норвежца и японца. Жалованья нам положили семь английских фунтов в месяц, но жалованьем я не интересовался, потому что единственная моя цель была попасть в счастливую страну СССР, где мне так понравилось.

Между прочим, нанимая нас, капитан сказал, что если мы пожелаем вернуться из Владивостока обратно, то нам оплачивают проезд в Константинополь по 3-му классу, а если желаем остаться в СССР, то стоимость билета нам выдают на руки.

Шли мы все время благополучно. Происшествий никаких не было. Но вот мы пришли в Сингапур и там повстречались с красными морскими курсантами. Разговорились. Узнав, что я из Америки еду в СССР, с тем чтобы остаться там на жительство, курсанты ухмыльнулись, а некоторые прямо сказали мне, что нужно быть дураком, чтобы из Америки возвращаться в СССР. Я тогда не обратил внимания на их слова, но вспомнил гораздо позднее.



Прибытие во Владивосток и арест

Наконец мы пришли во Владивосток. Как только пароход ошвартовался, по трапу вошли таможенные и чипы ГПУ. Стали проверять документы команды, и когда дело дошло до нас троих, то нас попросили сойти на берег.

— Нужно ли брать с собой вещи? — наивно спросил я, полагая, что после допроса меня отпустят на все четыре стороны.

— Нет, вещей не берите... скоро вернетесь обратно.

Привели нас на контрольный пункт и стали снимать допрос.

— Ваши документы?

— Вот удостоверение от советского консула в Константинополе.

— Этого мало... Зачем вы приехали сюда?

— Я хочу остаться жить в СССР, где мне очень понравилось, после первого пребывания в Одессе.

Чекисты не верят, чтобы можно было бы променять жизнь свободного человека в Европе или в Америке на жизнь в СССР².

Допрос продолжался.

— Скажите: вы плавали раньше, до перехода на пароход «Декабрист» на американских пароходах?

— Плавал...

— Сколько вы получали там?

— 62 доллара 50 центов в месяц.

— А сколько вы получали на нашем пароходе?

— Семь английских фунтов.

— А что больше — 62 доллара или 7 фунтов?

— 62 доллара больше.

— Так чем вы объясните, что покинули американский пароход и перешли на советский?


— Я уже говорил вам, товарищи, что мне хотелось остаться на жительство в СССР, и поэтому я и перешел на «Декабриста».

— Арапа, товарищ, заправлять Разведупр Туркестанского фронта, — ответил мне чекист. — Кто вам поверит, что вам после Америки захотелось бы жить у нас... Все это вранье... Вы арестованы как заподозренный в шпионаже.

Тюрьма

После этого нас всех троих отправили в Чека и водрузили в комнату, где находилось около 80 человек арестованных, преимущественно японцев, попавших-

² Здесь и далее выделено автором.



ся в ловле рыбы у советских берегов. Комната была так мала, что не приходилось даже мечтать о том, чтобы сесть или лечь. Невозможно было даже и повернуться, и мы три дня простояли на ногах, плотно прижавшись друг к другу. Наконец на четвертый день пришло распоряжение о том, что нас приказывают отправить на Соловки сроком на 10 лет, а по отбытии срока — пять лет на поселение, под надзором, в Сибирь. Мотивы наказания — обвинение нас в... международном шпионаже.

Чекистам не пришло в голову, что мы искренно верили в советский рай и хотели остаться в СССР. Им казалось диким, как это люди от хорошей жизни лезут в ад.

После объявления нам приговора ГПУ нас отправили в тюрьму, а потом стали перебрасывать по этапным тюрьмам, вплоть до Москвы. Всего я видел около тридцати тюрем и побывал в Москве в Бутырьках, на Таганке, на Лубянке и еще где-то. Потом нас отправили в Соловки.

Игра на пианино

Начальник Владивостокского Чека неожиданно предлагает мне вопрос:

— А на пианино ты играешь?

— Нет, не играю.

— Ну, тогда мы тебя научим.

И обратясь к стоявшим чекистам, прибавил:

— Дайте ему урок.

Меня довели. Неожиданно стража меня оставила. Я очутился в темной комнате без окон. Дверь за мной быстро захлопнулась.

Неожиданно я получил страшный удар в грудь, от которого отлетел куда-то в пропасть. Не успел я опомниться, как почувствовал другой удар, на этот раз в спину. Удары сыпались на меня со всех сторон. Я летел из одного угла в другой от страшных, ошеломляющих ударов. Я понимал, что в темноте стоят люди, и они-то бьют меня, швыряя при каждом ударе от одного к другому.

Как долго длилось это истязание, я не помню. Очнулся я уже на нарах в подвале. Это называется у чекистов: «игра на пианино». Если арестованный говорит, что умеет играть, ему предлагают учить других. Если, как я говорил, не умею, ему дают «урок». И в том, и в другом случае одинаково следует избивание в темной комнате. Делается это «неофициально». Так как официально избивать арестантов запрещено. О том, как это запрещение проводится в жизнь, я узнал уже на Соловках.

Сердце у нас сжалось, когда пароход подходил к Соловкам. Мы уже знали, что это за ужасное место из рассказов заключенных, да и сами убедились, что с этого мрачного острова крови и слез уйти никуда нельзя, 10-ти лет заключения не выдержать, и, следовательно, рассматривали себя как заживо погребенных. Соловки — ужасное место, где содержатся десятки, а то и сотни тысяч заключенных мужчин и женщин. Есть там и уголовные преступники, но их очень мало и живется им сравнительно легче, чем всей остальной массе политических приблизительно такого же типа, как мы.

Стража состоит из чекистов и красноармейцев. Чекисты — все, за исключением головки, сами сосланы за разные провинности и продолжают свою чекистскую деятельность уже на Соловках, всячески измываясь над несчастными заключенными, в чаянии снискать благоволение начальства и попасть опять на материк.

О том, как кормят на Соловках и как обращаются — все уже знают, да и нет таких слов, чтобы точно описать картину жизни заключенных. Похоже это будет на бред больного, так это не вяжется с понятием о культуре и свободе.

Работа

Работать заставляют по 20 часов в сутки, да еще велят изучать политграмоту. Так как люди обессиленные работой и голодные ни о чем не думают, как только о том, чтобы хоть немного отдохнуть и полежать на нарах или голом полу, то ясно, что политграмоту слушать никто не хочет. За это виновных сажают в карцер. Мне приходилось наблюдать такую картину. Приходят заключенные с работы и становятся у дверей карцера.

— Чего вы тут собрались? — спрашивает чекист.

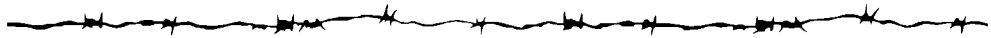
— Мы пришли садиться в карцер, потому что слушать политграмоту не можем. Сажайте нас сразу, по крайней мере, можно будет в карцере полежать.

Работа до того изнурительна, при хроническом недоедании, что люди мрут как мухи. Особенно тяжело приходится женщинам, которых чекисты заставляют заниматься проституцией.

— Уверю вас, — сказал Грубе, — что каждое бревно, вывезенное за границу, стоит не менее 10 человеческих жизней!

Первая попытка побега

Через некоторое время я ясно понял, что даже при моем здоровье я здесь долго не вытяну, и решил бежать, зная заранее, что это почти невозможно.



Приготовив себе пару досок, я сколотил их и решил удирать вплавь. И, действительно, мне удалось отплыть уже на 18 верст, но так как на Соловках почти не бывает ночи, то меня заметили с Секирской башни и отправили за мной моторную лодку.

Обычно, каждый пытающийся бежать расстреливается на месте и такая участь ждала и меня, но, на мое счастье, в числе конвойных был молодой красноармеец, который настоял на том, чтобы меня доставили по начальству. Так и сделали. Меня привели в так называемое I отделение и, избив, посадили в карцер.

Вторая попытка к побегу

Пока дело обо мне пошло опять в Москву, я сидел в карцере, находившемся у опушки леса. Сторожили меня красноармейцы. Нужно отметить, что красноармейцы относятся к заключенным более или менее по-человечески и резко отличаются от чекистов.

Просидел я в карцере пять дней и все время голодал. Моим землякам, латышам, удалось переслать мне немного свинины и хлеба. От свинины у меня начались рези в животе, и я попросил красноармейцев вывести меня.

Вывели меня прямо в лес, и я пошел в кусты... Там я собирал чернику и жадно глотал ее.

— Скоро ты там, — спросили красноармейцы. — Портянку проглотил, что ли?

Мысли о побеге у меня не было заранее, но тут меня как будто кто-то толкнул: беги!

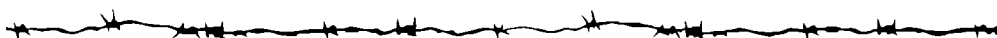
Не отдавая даже себе отчета в том, что я делаю, я побежал. Вскоре послышались выстрелы, но я успел убежать. Три дня я пробродил по лесу, а потом понял, что с острова мне все равно не уйти и лучше возвратиться в концлагерь.

Уголовная рота

Я решил возвратиться не в свою роту, а в роту уголовных, где живется легче.

Подойдя вечером к воротам роты, я наткнулся на часового, который меня туда не пропустил, требуя пропуска.

Я не знал, что мне делать. В это время вдали показалась партия уголовных, возвращавшихся с работы. На мое счастье, красноармейца сменили с поста, и на его место стал другой. Пристав к возвращавшимся, я смог проникнуть в помещение роты. Но положение мое было плохо тем, что пайка мне не полагалась и мне грозила голодная смерть. Но нашлись четверо земляков латышей, которые уделяли мне хлеб из своей скудной порции, и я кое-как существовал.



Убийство искалеченного ссыльного

Благодаря моему знанию английского языка я пользовался расположением командира 15 роты Белозорова, в роту которого я был одно время приписан на Соловках. Белозоров учился английскому языку и для практики говорил со мной на этом языке.

И хотя ко мне Белозоров относился хорошо, но вообще это был зверь в образе человека.

Припоминаю случай, который вам объяснит, что представлял из себя этот жестокий чекист.

Это было в <19>29 году, в первый же день моего прибытия в карантинную роту на материке. На английском пароходе «Улмус» ссыльные грузили лес. Во время погрузки одного из ссыльных, 17-летнего юношу белоруса придавило бревном. У него оказалась искалеченной грудная клетка, перебиты ноги. На носилках несчастного юношу принесли на материк за бараки. Вызвали врача и чинов надзора. Белозоров был тут же. Подойдя к лежавшему раненому, Белозоров спросил врача:

- А что, выживет?
- Выживет, но к работе неспособен.
- И надолго?

Врач выразил предположение, что раненый юноша останется калекой навсегда и работать больше не сможет. Белозоров спросил одного из чекистов:

- На сколько он сюда прислан?
- На 10 лет, — ответил чекист.

Белозоров стал громко высчитывать:

— Сколько же это он хлеба должен съесть за 10 лет? Советская власть объявила режим экономии. Одна пуля дешевле стоит.

И приказал:

- Вывести его в расход.

Раненого вынесли за бараки и расстреляли.

Суп для ссыльных

На том же английском пароходе «Улмус», на котором грузился лес, произошел следующий случай.

Команда парохода, состоявшая из английских матросов, стала громко выражать возмущение по поводу того, что ссыльные работают в снегу голышом и что их отвратительно кормят.

Слухи об этом возмущении дошли до начальства барачков. И оно распорядилось: дать улучшенную порцию супа для заключенных. Суп этот в большом котле принесли для раздачи ссыльным.

Но в тот же момент английская команда парохода разразилась криками явного возмущения. Дух от принесенного супа шел такой отвратительный, что команда немедленно потребовала, чтобы этот суп был отнесен обратно.

Так ссыльные и не могли воспользоваться милостью начальства, чуть не доведшего до обморока английских матросов «тяжелым духом» пищи, которую ссыльные получали да еще в улучшенном виде.

Полушубок смертника

Я прибыл на материк в полушубке, который достался мне еще в Верхнеудинской тюрьме. История этого полушубка интересна, о ней стоит вспомнить.

Когда нас уводили из Верхнеудинска, начальник красноармейского конвоя увидел меня среди других арестованных. На мне был синий костюм из нанки, какой летом носят матросы, и пара летних полотняных ботинок.

На пути ботинки разлезлись, и ходил буквально босиком.

Начальник красноармейского конвоя, увидев меня в таком состоянии, заявил, что не возьмет меня. Нельзя же босого человека брать, когда на дворе 45 градусов мороза. И потребовал от тюремного начальства выдачи одежды. Скоро мне принесли теплый полушубок и валенки.

Я оделся. Со мной вместе ехал ссыльный, некий Кучеренко. Он шел этапом со мной из Владивостока. Когда Кучеренко увидел на мне полушубок, он страшно заволновался. Он узнал на мне полушубок своего брата. И в доказательство предложил мне распороть подкладку полушубка. Брат сообщил ему, что у него в полушубке зашиты деньги, два червонца. Мы распорол подкладку полушубка, и нашли под ней два червонца.

Было ясно, что Кучеренко не ошибся. Было еще яснее, что брат Кучеренко расстрелян и полушубок его выдан мне тюремным начальством.

* * *

К нам на Соловки был прислан член коллегии московского ГПУ Глыбокий.

По случаю его приезда в Соловках состоялся торжественный спектакль.

Вместе с Глыбоким на спектакль пришла и прибывшая из Москвы комиссия по разгрузке перенаселенных тюрем.

В Соловках имеется большой благоустроенный театр. Выступают в нем ссыльные актеры. Но ссыльной публики там нет. Во-первых, уставая от непосильной работы, арестанты предпочитают спать, а не ходить в театр.

Во-вторых, за вход в театр надо платить, а денег у арестантов, как кот наплакал.

Но на торжественный спектакль в честь Глыбокого собралось много арестантов. Соблазнял не сам Глыбокий, а выступление одного из ссыльных, куплетиста Кондратюка. Кондратюк был сослан за слишком смелые куплеты, которые он распевал с советской эстрады. Это был живой и веселый человек, певший куплеты собственного сочинения.

Ввиду торжественного случая Кондратюк долго репетировал. Он собрал хор из 50 человек ссыльных, и с ними должен был исполнить хоровые песни и куплеты.

Когда зал набился полный, пришло начальство и впереди всех чекист Глыбокий. Он сел в первом ряду, прямо против сцены.

Вышел Кондратюк и запел. В шутовском заключении куплета он выразил надежду, что скоро мы все вернемся домой, а на Соловках останется только начальство без заключенных.

Кондратюк еще не успел закончить куплета, как Глыбокий поднялся со своего места. Актер на эстраде замолк. Воцарилась жуткая тишина.

Вдруг грянул выстрел, и Кондратюк упал как подкошенный. Глыбокий вложил револьвер в кобуру и сел.

Разгрузке тюрем был положен почин. Труп Кондратюка убрали. Спектакль продолжался.

Уход на материк

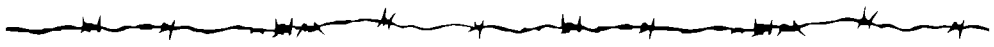
У меня была одна заветная цель — как-нибудь попасть на материк, а оттуда уже легче убежать.

И судьба мне благоприятствовала. Скоро в нашу казарму явился какой-то чекист и стал набирать людей на работу по постройке Ухтинского тракта.

Ухтинский тракт

Так Александр Грубе называет дорогу, которую прокладывают заключенные на материке. Для работы на тракте пользуются трудом арестантов, живущих на острове. Их собирают в «Кремле», выстраивают гуськом, и приезжие с материка чекисты-надсмотрщики, прогоняя мимо себя строй арестованных, выбирают людей, наиболее, по их мнению, приспособленных для этой работы.

Ухтинский тракт, или дорога, проводится по местности, в которой люди тонут в болоте. Работать обыкновенной лопатой там невозможно. Набранная на лопату грязь, смешанная с водой, быстро стекает с лопаты.



Работа лопатой бесполезна, и люди придумали единственный способ: грязь с водой зачерпывается руками и прижимается к груди.

В таком виде, крепко охватив руками грудку грязи, человек выбрасывает ее на край дороги. Снова возвращается. Опять зачерпывает руками и, прижав холодную и мокрую грязь к своей груди, относит ее в сторону в вагонетку.

Эту каторжную, в полном смысле слова, работу, надо проделывать в пределах заданного урока. Слабейшие остаются на месте до окончания урока, и такой труд арестанта продолжается от 2-х часов ночи до 7 часов вечера, не успевшие окончить, остаются до 10 часов вечера. Есть категории, работающие по 22 часа в сутки.

Отправка на Ухтинский тракт равносильна смертному приговору. Ежедневно умирает десятки людей. Ничто так не косит, как эта работа. И люди гибнут на ней тысячами.

До <19>29 года отправка на пароходах была свободна, и тогда люди кидались в море десятками и погибали. Теперь перевозка на Ухтинский тракт производится в закрытых трюмах.

Когда надсмотрщики чекисты выбирают людей для отправки на Ухтинский тракт, эти люди прощаются с товарищами навсегда. Возвращение обратно невозможно. Смертный приговор — результат работы на тракте в течение нескольких недель. В 1928 году в июне месяце были отосланы на Ухтинский тракт 15 000 человек. В августе того же года вернулось обратно 1800 человек, остальные погибли в болотах на работе.

Александр Грубе не думал об этом, когда услышал, что в уголовную роту, насчитывавшую около 4000 человек, прибыли чекисты для очередного набора рабочих. С чекистами прибыл заведующий трактом чекист Уминский.

— Я лежал на нарах в 12 роте, — рассказывает Грубе, — рядом со мной спал парень, юноша лет восемнадцати по имени Золотарев.

Ночью Грубе неожиданно проснулся от тяжелого томительного плача, раздававшегося с койки Золотарева.

Стараясь, чтобы стража не услышала, Грубе спросил соседа о причине его слез.

Золотарев рассказал ему печальную историю своей жизни. Он сослан на пять лет в Соловки. Сидит всего три месяца. Дома у него девочки — сестры, брат — калека и слепая мать. Он был единственным кормильцем семьи. Сам он здоровым слаб и надеялся, что как-нибудь выдержит оставшееся время и вернется домой, чтобы помочь матери, умирающей с семьей от голода. Мать арестанта, да еще слепая, не может найти себе работу. И вдруг осмотр и назначение на тракт.

Перспектива отправки на тракт верная смерть, а с нею и смерть всей семьи от голода.

И Золотарев снова горько и томительно зарыдал.

— Меня как бы осенило, — рассказывает Грубе. — Ухтинский тракт на материке. А материк — это единственная и заветнейшая мечта.

Выбраться из Соловков невозможно ни при каких условиях. Мечта о материке волнует его уже три года. Только оттуда и возможно бегство. И тут же, лежа на нарах, Грубе решил.

— Послушай, Золотарев, — обратился он к плачущему соседу. — Я нашел средство, как спасти тебя от смерти. На тракте ты погибнешь. Я много здоровее тебя и выдержу. Хочешь, я пойду вместо тебя. Завтра, когда будут выгонять нас на осмотр, я пойду вместо тебя. Когда крикнут: «Золотарев», я отзовусь. А ты останешься под моим именем здесь. Хочешь?

Золотарев сначала обрадовался, но потом испугался.

— А что если узнают обман? Меня ведь расстреляют?

— Не узнают, — убеждал я его. А желание бежать, неудержимое и страстное, все крепло во мне. И оно мне подсказало совет, который, мне казалось, подействует на бедного юношу. И я ему предложил:

— Пойдем вместе. Если меня узнают, и я засыплюсь, то ты ведь будешь тут же и всегда можешь сказать, что я обманом воспользовался твоим именем и тебя обманул, а ты ничего об этом не знал. Тогда пострадаю только я. Понял?

Мальчик понял, но все-таки боялся. И тогда мы трое, я и мои товарищи — латыши стали вместе его уговаривать. Это нам, в конце концов, удалось.

Мы подарили Золотареву восемь рублей, что в переводе на тюремные квитанции Соловков составляет в десять раз больше. Дали ему пятнадцать пачек махорки и обещали выгородить его в случае, если «засыпемся».

Утром приехало начальство для отправки рабочих на тракт. Нас выстроили поодиночке на поверку. Я был впереди под именем Золотарева. Проходили мы мимо стола, где сидела комиссия.


Начальник лагеря вызвал:

— Золотарев Иван Федорович.

Я смело вышел из рядов и оказался среди отправляемых. Рано утром мы были погружены на пароходы.

Я приближался с другими к матерiku, моей заветнейшей мечте. Впереди мерцала надежда на спасение.

Нас выгрузили и повели в бараки. О том, что представляют из себя бараки на материке, куда мы прибыли из Соловков, мало кто имеет понятия. Бараки



эти похожи на походные казармы военного времени для пленных. Они деревянные, не имеют никакого отопления. Вместимость их нормальная — двести-триста человек.

Трупы в бараках

В такие бараки втискиваются арестанты в количестве до двух тысяч.

Никакое воображение не может себе представить, что творится в этих бараках. Выйти из них ночью не представляется возможным. А по утрам, когда нас будят, приходится ходить по головам, по рукам, по грудям людей. Спят в несколько пластов, как укладывают шпалы, чтобы согреться. Ибо бараки остаются нетоплеными при 45-градусном морозе.

Ночью, спящим на верхних нарах так душно, что они выбивают все стекла, а спящим внизу, так холодно, что замерзают. И ежедневно десятки людей встают с отмороженными руками, ногами, лицами. Те же, что подальше от окон, задыхаются от жары и отсутствия воздуха. При таком скоплении людей нет никакой возможности убирать бараки. И уборка производится раз в месяц.

Когда уборщики очищают бараки, они нередко находят под нарами *трупы замерзших людей*... Когда они скончались — никто не знает. Трупы выносятся на площадь, где их укладывают штабелями, как дрова. В женских бараках то же самое — никакой разницы.

Переключка

Когда мы прибыли в бараки на материк, нам была сделана переключка.

Уже подходя к барaku, я увидел среди стоящего вдали начальства знакомого латыша, занимавшего должность помощника начальника пункта. Фамилия этого чекиста Бирегал. Я знал, что он здесь, и в этот момент понял, что, если он меня увидит, я погиб. Стараясь быть незамеченным им, я ждал, пока меня вызовут. Я должен был пройти мимо Бирегала.

Вдруг, слышу, как выкликают мое новое имя.

— Золотарев Иван Федоров!

— Есть! — крикнул я.

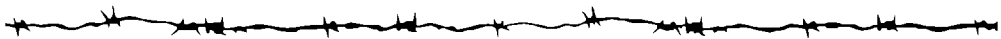
У самого выхода из помещения за столом сидел Бирегал. Мне надо было пройти мимо него. Что мне оставалось делать? Подошел к нему.

— Твое имя?

— Золотарев Иван Федорович.

Бирегал с удивлением поднял на меня злые глаза.

— Ты чего врешь? Я тебя знаю. Ты не Золотарев, а Грубе!



— Я Золотарев! — с упрямством отчаяния ответил я.

— Ты бежал. Нечего валять дурака. Я тебе покажу Золотарева!.. Ступай в мою канцелярию!.. Отведи его! — распорядился латыш, указав на меня дежурному чекисту.

Вскоре в канцелярию пришел и Бирегал в сопровождении еще нескольких нижних чинов ГПУ.

— Твоя фамилия Грубе! — сказал он мне. — Ты бежал из Соловков! Ты знаешь, что тебя ждет? — спросил он меня.

Я продолжал отрицать факт.

— Нечего очки втирать! — закричал чекист и ударил меня кулаком в лицо.

Встреча с Белозоровым

Меня били долго и жестоко, и я признался.

— Ты бежал из Соловков, — заявил мне мой истязатель, — и мы тебя отправим обратно.

Тщетно уверял я его, что хотел уехать потому, что на материке жизнь будет легче. Начальник мне не верил.

Через три дня уходит пароход на Соловки, и я буду отправлен обратно.

Возвращение было равносильно смерти. Если уголовных еще иногда прощают за попытку к побегу, то политических — никогда. *Меня ждал расстрел. Я уже знал, что обречен.* У меня тлела еще слабая надежда. Я хотел увидеть начальника пункта Белозорова. Этот меня знал, когда я с ним занимался, обучая его по-английски, и мне казалось, что, может быть, он может меня спасти от возвращения. Другой надежды не было. Но Белозоров не приходил в бараки, а на мою просьбу прямому начальству мне было отвечено, что никаких пропусков мне дано не будет, как беглому.

При вечерней поверке неожиданно в барак вошел Белозоров. Моему счастью не было границ. Пренебрегая опасностью, я смело подошел к нему и сказал, что хочу с ним поговорить. Белозоров сразу меня узнал.

— Говори.

— Я хотел бы поговорить с вами наедине.

— Приходи в мою канцелярию, и я с тобой поговорю, — и распорядился, приказав сопровождавшему его солдату ГПУ отвести меня в канцелярию.

Скоро он пришел. Я и рассказал ему о своих мытарствах, скрыв от него, разумеется, истинную цель моего прибытия и подробности о том, как я замешал бедного Золотарева.

— Значит, ты не собираешься убежать?



Я еще раз подтвердил, что не собираюсь.

— А заниматься со мной по-английски будешь?

Я с удовольствием согласился.

— Тогда оставайся. Я сейчас распоряжусь. Ты будешь командиром взвода III карантинной роты.

Радости моей не было предела. Лучших результатов я не мог ожидать.

Мне был дан угол. Помещался он за тонкой деревянной перегородкой, отделявшей меня от канцелярии. Каждый шорох в канцелярии доносился к тому месту на нарах, где я устроился на ночлег.

Лежа на нарах, я обдумывал дальнейший план побега. Я уже хорошо знал расположение пункта. Из моего барака открывался путь к холму, на котором стояла сторожевая будка. Там находились служащие охраны. Дверь из этого помещения глядела на дорогу, по которой шла ветка железнодорожного пути. Дорога вела к станции, отстоявшей в версте. Чтобы выйти на дорогу, нельзя было не миновать будки. За ней под холмом всегда ходил солдат с ружьем. Когда ночью открывали дверь в сторожевой будке и оттуда виднелся свет, то сторож останавливался и окликал каждого проходящего. Нельзя было миновать этой будки, не попав на глаза сторожа. В этой стране в течение полумесяца нет ночи, и скрываться в придорожном кустарнике было невозможно.

Позади барачков дорога вела к пристани, выходившей глубоко в море. У самого конца пристани стояло два парохода — норвежский и немецкий «Эрик Ларсон».


Выхода не было ни к морю, ни на дорогу. Сидевшие в бараках были заперты со всех сторон. Бежать отсюда было невозможно.

Я лежал и раздумывал до поздней ночи. Было, вероятно, часа три ночи, когда я услышал за перегородкой голоса. Я узнал голос начальника, и сейчас же похолодел от ужаса, услышав свое имя. Разговор шел почти шепотом, но мой напряженный слух воспринимал каждое слово.

Помощник докладывал начальнику Белозорову, что по телеграмме из Соловков видно, что оттуда убежал Грубе и начальство Соловков требует его задержания.

— Не поднимайте шума, — говорил тихо Белозоров. — Ему от нас не убежать. Завтра утром мы его арестуем. Пароход уходит послезавтра. У нас есть достаточно времени.

Я снова видел смерть пред глазами. Но точно так же, как тогда, когда услышал ночью тихий плач Золотарева, меня осенила мысль. Нельзя терять ни одной минуты. И, быстро натянув на голову кепку, я лежал одетый, стараясь не вызывать шума, я, еле дыша, вышел из барака во двор. Против меня высился холм и



на нем сторожевая канцелярия. Вспомнил, что сегодня не явился на дежурство канцелярист Шалидвич. Я придрался к этому поводу, чтобы мое появление в канцелярии не казалось подозрительным, и смело направил туда шаги.

Войдя в канцелярию, я спросил Шалидвича. Он был здесь. Я принялся его распекать с таким видом, точно крайне возмущен его поведением. Обругав Шалидвича, я вышел в двери, ведущие на полотно дороги. Кругом никого не было. Красноармеец, дежуривший возле дороги, был на своем месте, но не видел меня. Я остановился в раздумье. Мысль моя лихорадочно работала. Теперь или никогда! Надо было решать вопрос, не откладывая. Каждая минута была дорога, как сама жизнь.

И вдруг я бросился бежать. Я бежал по полотну дороги в направлении станции. Бежал, а мысли бежали быстрее моих ног.

Охота на человека

Еще задолго до бегства я знал, что уход в поле вне полотна железной дороги бесполезен.


ГПУ платит корельцам — местному населению, по мешку хлеба и одному червонцу за каждого пойманного беглеца. Поэтому корельцы превратили охоту за ссыльными в особую профессию. По целым дням и ночам они сидят в засаде с винтовкою и ждут добычи. Еще ни один человек не убежал из тех, кто пытался пробраться отсюда по полевым и кустарным тропинкам.

Я бежал в направлении станции и не обратил внимания на раздавшийся где-то в стороне выстрел. Но за ним последовал другой, а затем стрельба пошла уже и спереди. Одна за другой пули пробивали верхушку моей кепки. Я видел, что мне долго не бежать. Остановился и побежал обратно. Брошусь в воду, подумал я, и будь что будет. И только когда я подбежал к пристани — я вспомнил о пароходах.

Сознание, что я открыт и меня преследует погоня, как зверя, придала мне силы. Предо мной стояло два парохода. Немецкий был ближе, и я бросился к нему.

На палубе первыми меня увидели три матроса. Я обратился к ним по-немецки. В ту же минуту они спустили меня в машинное отделение и, открыв трюмное помещение под полом кочегарки, втокнули меня туда. Я очутился в полной темноте.

Через несколько минут на пароход вбежали чекисты. Капитан, не знавший о моем пребывании на пароходе, т.к. матросы ничего ему об этом не сказали, заявил, что никого из ссыльных на пароходе нет. Чекисты бросились искать. В трюме было жарко, но я ничего не ощущал, лежа в темноте.



Прошло много томительных часов. Стало совсем тихо, и только в борта парохода тихо плескалась вода. Крышка трюма надо мной приоткрылась, и показался силуэт одного из моих спасителей — сторожа...

Меня ищут

Как я уже сказал, ко мне в трюм опустился один из спрятавших меня матросов. Он рассказал мне, что творилось наверху.

Когда чекисты не нашли меня на немецком пароходе, они бросились к стоявшему рядом норвежскому пароходу. Тот должен был уйти на следующее утро, немецкий же пароход должен был оставаться еще целую неделю.

Поэтому чекисты решили обыскать прежде всего норвежца. Обыск шел там вовсю. Но и на немецком пароходе дежурили все время два вооруженных чекиста. Поэтому матрос предупредил меня, что он не сможет приносить мне пищу и посоветовал спрятаться подальше среди пропсов (пропсы — это бревна из которых выделяется древесная масса). Матрос ушел.

Мне оставалось только следовать совету матроса.

Я начал ползти в сторону бункера, наполненного древесиной.

Там рядами были сложены пропсы. Часть их доходила до самых бортов судна, проникая в глубокие углы между двумя бортами. Моей целью стало забраться как можно глубже.

В темноте я стал вынимать древесные пласты и улегся между ними в пространстве, в котором мог двигаться. Лежа под первым пластом, я медленно отодвинул второй и очутился за ним. Потом третий, четвертый, пятый. Найти меня было довольно трудно в таком месте. Надо было пробираться под самым дном корабля и снимать пласты за пластами. Мне казалось, что в этом месте я нахожусь в относительной безопасности. Оставалось ждать, что будет дальше. Я лежал под пропсами и не знал, что происходит наверху.

Матрос-сторож, придя на место, где я был раньше спрятан, меня не нашел. Остальные двое могли предположить, что меня уже нет на корабле. Так или иначе, только один человек точно знал, что я с парохода не ушел, да и тот не мог с точностью указать место, где я лежу.

Часы потянулись томительные, долгие. Свет ко мне не проникал, но он ничего не мог мне сказать. Ведь дни и ночи в этой стране одинаково светлые.

Я ничего не ел и не пил. Голод и жажда томили меня невыразимо. Но страх пред чекистами преодолевал все, и я лежал в своем логове, ожидая с минуты на минуту появления моих мучителей.

Но они не являлись. Только после я узнал, что пароход был обыскан сверху донизу. Что вся кочегарка была перерыта, вся команда допрошена, обыск судна <проводили> 20 красноармейцев и шесть офицеров.

Обыскивали пароход 36 часов, и чекисты обещали команде 400 червонцев, если она меня выдаст. Но матросы меня не выдали.

Я испытывал тяжкие муки голода.

По прошествии долгого времени, может быть двух, а может быть и четырех дней, я заснул, и мне приснился сон.

Снилось мне, что предо мной стоит стол, уставленный прекрасными яствами и дорогими винами. Я ел ветчину, бифштексы, пил вино и насытился до отвала. Никогда до того, ни после я наяву так не наслаждался едой, как в этом сне.

И когда я проснулся, я почувствовал ощущение настоящей сытости. Ни пить, ни есть мне уже не хотелось, и если бы предо мной был поставлен царский стол, я наверное отказался бы, до того я не испытывал ни малейшего желания есть.

И это чувство сытости меня больше не покидало.

Но зато силы мои слабели. Я лежал на одном боку. Раньше я еще мог шевелиться, а теперь не в состоянии был двинуть ни рукой, ни ногой.

И так, в забытии, я лежал долго-долго, не меньше семи-восьми дней.

И проснулся я от забытия, при шуме машины и свистках. И в моем ослабевшем сознании пронеслась мысль:

— Пароход уходит. Я спасен...

Как меня нашли

Пароход двигался, об этом явственно говорил привычный моему слуху моряка шум машины и удары волн о близкие борта его.

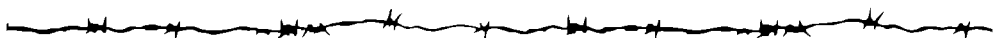
Я не верил себе. Может быть, это галлюцинации. Может быть, я брежу.

— Неужели судьба оказалась так милостива ко мне? Неужели я действительно спасся из кровавых рук моих палачей? Неужели снова увижу мир Божий, близких друзей, другие страны, где нет чекистов, нет Соловков, страшной Секирки и тех, ужасов которые я там видел.

И вдруг я услышал, где-то, совсем близко возле меня, людские голоса. Говорили по-немецки, и я узнал голос матроса, спасшего меня.

— Он должен быть здесь, я знаю, что он здесь.

И явственно также слышал, как один за другим снимаются ряды пропсов, скрывавших меня от всего живого мира. Один, другой, третий.



Голоса стали слышней.

— Напрасно ищете, — сказал кто-то. — Его здесь нет. Он давно бы нашелся, но куда искать дальше. Складывайте бревна обратно.

Я понял, что меня не нашли и что меня опять зарывали в ту могилу, в которую я сам влез. Хотел крикнуть, ударить ногой в ?—?—?³, но я так ослаб, что ни крикнуть, ни пошевелинуться не мог. Голоса не было. Руки и ноги не слушались.

Я впал в глубокий обморок...

Мое пробуждение

Я проснулся на палубе парохода. Дежурный санитар, заметив мое пробуждение, подал мне стакан молока. Я отпил из стакана и заснул.

Три дня меня отпаивали молоком и бисквитами... Пароход шел на всех парах по дороге в Ливерпуль. Это уж не было сновидением.

Человеческое отношение

И вот тут я опять понял, что такое человеческое отношение. Капитан был настолько добр и внимателен ко мне и моим испытаниям, что велел матросам в часы обеда выходить из кубрика, чтобы видом пищи не раздражать меня, так как мне нельзя было еще давать мяса и другой тяжелой пищи. Я питался молоком и бисквитами, потом мне постепенно стали давать суп, а потом я перешел на матросский паек и быстро поправился.

Я не в силах выразить то, что я чувствовал, вырвавшись из могилы. Матросы ужасались, когда я рассказывал им, как живут и мучаются на Соловках десятки тысяч живых трупов.

В Европе

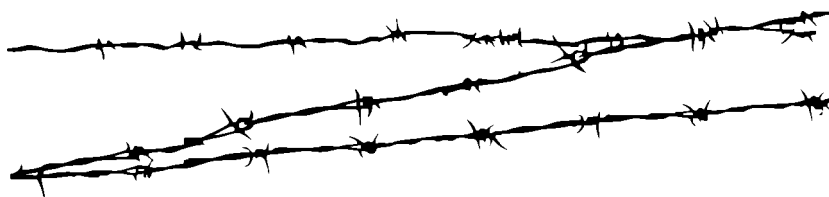
Наконец пароход наш пришел в Ливерпуль, и меня сдали английским властям.

Чиновники шутили и говорили, что отправят меня обратно, и спрашивали: доволен ли я? Я им рассказал, как мог, все, что пришлось мне испытать. Они дали знать обо мне латвийскому консулу. Консул пришел в карантин, участливо ко мне отнесся, купил у меня простреленную в двух местах кепку, купил мне одежду, новую кепку и дал денег. Потом он выдал мне удостоверение и отправил в Ригу.

³ Так в оригинале.



Секирка¹

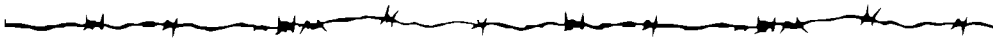


Бежавший из Соловецкого заключения матрос Александр Грубе в рижской газете «Слово» поместил описание штрафной тюрьмы «Секирки» на Соловках, в которой гибли русские люди. Приводим этот жуткий рассказ полностью.

Есть место на Соловках, о котором все 50 000 узников СЛОНа ВЧК ежедневно думают или говорят с содроганием. Место это — Секирка. Так называется гора, в 12 верстах от главного лагеря, и величественный когда-то храм на вершине ее. Кресты с глав его, видных не только с любого места острова, но в ясный день и с материка, — давно уже сняты чекистами, и сам храм, воздвигнутый трудами многих поколений монахов из грандиозных гранитных кубов, превращен в гнуснейшее место издевательств и пыток холодом и голодом. С Секирки один путь — в могилу. Всякая пядь земли там залита кровью и слезами десятков тысяч жертв торжествующих садистов, и, когда в ночи загораются красные маячные огни в центральной башне, кажется, что кровь замученных широким потоком льется с Секирки на весь остров, далеко в море и на материк, крича о возмездии.

На Секирку для отбывания наказания ежегодно отправляется много тысяч узников, виновных в тяжком нарушении лагерной дисциплины, но возвращаются оттуда только десятки. В первое время моего пребывания на Соловках мне приходилось сталкиваться с этими выходцами с того света, но обо всем пережитом они хранили глубокое молчание, и только в тяжелых, страшно молящих о чем-то взорах их глаз я мог прочесть весь ужас ими пережитого. Вскоре совершенно неожиданно и мне пришлось отправиться на Секирку.

¹ Публикуется по: Грубе А.Р. Секирка // Царский вестник. 1929. № 36. С. 3—4.



Нас было в партии 50 человек. Ежеминутно подгоняемые конвойными, мы шли молча, погруженные в себя, готовясь к страшной борьбе со смертью и почти без надежд впереди. 360 тяжелых, крупных ступеней, и мы на вершине горы, у стен страшного узилища и в лапах трижды-чекистов, прославившихся зверствами на материке, сосланных на Соловки, тут вновь отличившихся и отбывающих теперь срок наказания в роли палачей на Секирке.

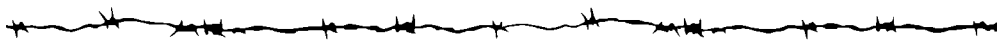
Во главе их находится чекист Вейс, комендант Секирки, в прошлом — начальник отрядов ГПУ московского Кремля. Сослан он на Соловки за тайную переписку со своими буржуазными рижскими родственниками, и теперь, конечно, из кожи лезет, чтобы загладить свой «буржуазный уклон». На Секирке он все. Заключенные и стража считаются отрезанными от всего мира, и Вейс вправе распоряжаться жизнью и смертью любого по своему усмотрению. Об этом нам с глумлениями сообщили чекисты, когда мы после грубого, с непременными гнусными издевательствами обыска, лишенные всего до нательной рубашки и кальсон, ожидали нашей дальнейшей участи.

Три часа длились всякие формальности, и только во втором часу дня нас ввели в так называемое «первое отделение» Секирки, т.е. вовнутрь обесчещенного и загаженного здания храма.

Ужас и отчаяние охватили меня при виде открывшейся предо мной картины. В необъятном по своим размерам зале, с высоким куполом и хорами под ним, стояли попарно, вытянувшись лентой, шесть рядов скамеек, и на них, корчась от страшного холода, часто в совершенно неестественных позах, прижавшись спинами друг к другу, без рубах в одних кальсонах, сидели полуокоченевшие узники. В помещении царила поистине могильная тишина, и если бы не устремленные на вас взоры четырех тысяч, в страхе широко раскрытых, воспаленных глаз и легкое, еле уловимое движение тут и там в бесконечных рядах — могло казаться, что ввели нас не в камеру заключения, а в мертвецкую. Тут было холоднее, чем на открытом воздухе — массивные гранитные стены, промерзшие насквозь, не пропускали тепла, и ртуть тут редко и в летние месяцы подымалась выше нуля.

Совершенно подавленный, с отчаянием в груди, я, по окрику чекиста, скинул с себя рубашку, передал ее часовому и в полной безнадежности сел на указанное мне место. Началась ежеминутная, страшная, на жизнь и смерть, борьба с холодом и голодом. Я эту адскую борьбу, благодаря морской закалке, крепкому сложению и сравнительно недолгому пребыванию на Секирке выдержал, но для громадного большинства Секирка — верная и скорая могила.

Не говоря уже об умирающих ежедневно от холода, среди заключенных свирепствуют цинга и чахотка. Околотка на Секирке нет. Его тут заменяют — вес-



ной, летом и осенью — фургон, отвозящий ежедневно трупы на кладбище, а зимой ужасающе быстро растущие штабелы трупов вдоль наружных стен здания, где они и стоят до весны...

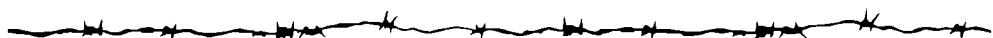
При мне ежедневно из «первого отделения» выносили от 20 до 25 трупов, а часто и окоченевших, но еще живых, и бросали, как бревна, в фургон. Окоченевших, потерявших способность владеть членами и языком, на Секирке считают за мертвецов, никаких попыток к оживлению не делают и со скотским равнодушием бросают в могилы прямо из фургона вместе с трупами.

Зимой, когда в здании ртуть не подымается выше восьми градусов, число умирающих и окоченевших от холода ужасающе растет и, если бы не постоянный приток из главного лагеря, в «первом отделении» уже через две-три недели не было бы ни одного заключенного. В остальные времена года средняя продолжительность возможной жизни в «первом отделении» равняется двум-трем месяцам, и то, конечно, только в том случае, если заключенному, как мне, посчастливится не заболеть цингой или чахоткой.

Я попал в Секирку уже после обеда. В 6 часов вечера была поверка, затем — вечерний «чай», т.е. кружка холодной воды. Заключенным разрешается встать и «согреть» свои заокоченевшие члены в боксе, бегании по залу и пр. Говорить разрешается только полутромя и о самом необходимом. Обыкновенно возникает спор о том, кому выносить «парашу». Из-за очереди горячо спорят и даже дерутся, так как выносящие имеют возможность на дворе порыться в мусорной куче и выловить оттуда, если посчастливится, голову трески, кочережку капусты или окуроч, а все это, конечно, ценная находка для обреченных на медленную смерть от холода и при пайке — в один фунт хлеба и двух кружках воды в день и каждый третий день по миске дрянного вонючего супа.

В седьмом часу вечера заключенные по команде выстраиваются в четыре шеренги, и, важно шагая, в сопровождение чекистов, в помещение входит караульный начальник. Подойдя к заключенным, он берет под козырек и, чеканя, выпаливает: «Здравствуй, штрафное отделение», «Здра-а-а!...» — кричат в ответ заключенные. Но караульный начальник недоволен, он морщится, требует большей дружности и звучности.

Наконец, начальник доволен, заключенные отпускаются, а несчастных нарушителей «дружности звука» — их всегда бывает несколько уже заранее намеченных жертв, отправляют на несколько часов на колокольню «трезвонить». Короче говоря, по капризу садиста чекиста, людей отправляют почти на верную смерть, так как на колокольне, на высоте 600 футов от уровня моря, в любое время года сильный холод и сквозной ветер. Единственное спасение, как говорили

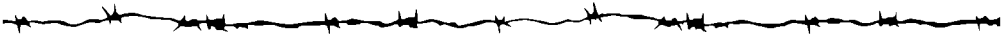


люди, побывавшие на колокольне, это зарыться сейчас же в снег. Но чекисты борются с такими попытками заключенных спасти свою жизнь и привязывают свои жертвы к перилам на самом страшном сквозняке. Казни эти чекистами производятся нелегально, — вывод на колокольню дисциплинарными правилами не предусмотрен и казненные официально считаются скончавшимися от кровоизлияния. Действительно, смерть от разрыва сердца и кровоизлияния в «первом отделении» обычное явление. Не знаю, чем это объяснить, но многие из заключенных, выйдя из отделения на свежий воздух, при мне падали замертво или лишались чувств, как было со мной, например. Самое страшное время — ночь. Разбитое полуживое тело жаждет сна, но вечный, не отступающий ни на секунду страх замерзнуть не дает людям покоя и ночью.

После проверки заключенным выдаются рубашки, и разрешается устраиваться на ночь, но непременно на голом полу. Чтобы справиться с этим гнуснейшим требованием и не попасть за нарушение дисциплины на колокольню, заключенные ложатся трехслойными кучами, по 30—50 человек. Прежде, чем лечь в кучу, все завязывают себе рубашки над головой, конец рубашки веревками вяжут в узел ниже пят. Очутившись, таким образом, в мешке, заключенные устраивают кучу. По жребию, или по установленной раз очереди, часть заключенных ложится боком, плотно друг к другу на голый пол, головой к стене, затем следующие, образуя второй слой, ложатся на них сверху, точно одеялом прикрывают их оставшиеся участники группы — третий слой. Устроившись так, кучи на время затихают. В среднем слое, согретые теплом заключенные моментально засыпают, и сквозь кряхтение нижнего слоя и стоны и жалобы мерзнувших в верхнем слое слышатся храп и бредовые выкрики. Через час-другой серая куча тел приходит в движение — начинается переслойка. Под споры, жалобы, мольбы, плач и ругань средний слой — человек за человеком движется вниз, лежавшие внизу вылезают и ложатся, окоченевшим на голом полу боком, на верхний слой.

Так живут и копошатся эти серые чудища до 6 часов утра. В этот час происходит утренняя проверка; заключенные выстраиваются, как вечером, в четыре шеренги, опять бесконечные: «Здравствуй, штрафное отделение» и «Здра», — колокольня и, наконец, караульный начальник читает секирскую утреннюю «молитву», как называют ее заключенные.

— Заключенные, внимание! — начинает он. — Все заключенные после проверки должны сидеть смирно на скамейках. Сидя, не разговаривать, не оглядываться, не раскуривать и не вставать с места без разрешения конвоя. Разговоры, оглядывание, раскуривание и вставание с мест без разрешения конвой будет рассматривать, как попытки нападения на себя и откроет огонь без предупреждения.



Вот дословный текст этой «молитвы». «Конвой, заряжай винтовки!» — раздается команда, — «Садись!»

В гробовой тишине заключенные скидывают с себя рубашки и размещаются на скамейках. Конвойные, по пять вдоль каждой стены, садятся на свои места с винтовками на коленях, и начинается день. Сидят почти без движения шесть часов. Чтобы не окоченеть на морозе, заключенные сидят, тесно прижавшись друг к другу боками и спинами, дышат себе на грудь, попеременно закладывая за спину то одну, то другую руку, засовывают под сидение помещающегося напротив ноги и беспрестанно упражняют мускулы лица и тела. Эта адская борьба с холодной смертью длится до 12 часов дня. По команде заключенные встают, бегают по помещению, устраивают свалки, тузят друг друга, чтобы согреться и надевают рубашки. Умерших и окоченевших до неподвижности выносят в штабели.

В 12:30 — обед. Выдают по одному фунту отвратительного хлеба, на который заключенные набрасываются с жадностью, и по кружке холодной воды на каждого. Если к этому прибавить еще вечернюю кружку воды, то это весь суточный пай. Впрочем, через каждые три дня заключенные получают еще по несколько ложек какой-то тепловатой бурды. Это секирский суп, которого ждут жадно, о котором много говорят, по которому бредят по ночам. Я уверен, что средняя городская собака не стала бы его есть. В час дня начинается послеобеденное сидение до 6 часов. Затем проверка и т.д. Вот протокольно сухая, но точная картина секирского дня.

Раз в неделю происходит повальный обыск. Чекисты ищут табак, спички, сено, солому, тряпки, которые сердобольные заключенные второго отделения на хорах бросают изредка (с большой осторожностью и ухищрениями для отвода глаз конвойных) заключенным первого отделения по вечерам и ночью. Заключенных заставляют раздеваться донага, внимательно осматривают кальсоны, выворачивая их, обыскивают голые тела и иногда находят комки соломы, сена и махорку. Бьют тут же нещадно голыми кулаками, рукоятками наганов, прикладами и отсылают под конец «на колокольню». Подымают доски, на которых стоят скамейки, иногда извлекают оттуда жалкое тряпье — подстилка для кучи ночью — и начинается гнусный «розыск». В громадном помещении стоит стон от ругани, криков, мольбы о пощаде и дикий вой обезумевших заключенных. Бьют чем и куда попало, и кровь красными пятнами застывает на промерзшем насквозь каменном полу. В этот день штабели ужасно быстро растут.

Я бы, наверное, погиб на Секирке, если бы через месяц не выяснилась моя полная невинность и меня не освободили из этого большевицкого застенка.



ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
ВОЛКОВ





М. С. Волкова
ОБИТЕЛЬ-ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА

В середине восьмидесятых годов прошлого столетия мне с мужем, Олегом Васильевичем Волковым, довелось побывать на Соловках. Это был период некоего «безвременья»: обитель, хоть и давно очищенную от зек, еще не передали Церкви.

У меня, родившейся, когда монастырь уже не существовал, дома была большая, в красивом окладе икона святых Зосимы и Савватия. С них и начался мой интерес к уничтоженным Соловкам.

Я узнала — частично со слов мамы, частично из скудной литературы — что уже в начале XVI в. Соловецкий монастырь был «величеством пространен и устроен всякими устройствами». Это определение мне, десятилетнему человеку, особенно нравилось; в нем была древняя сказочность. Позже я узнала, как в бедах Соловецкая обитель помогала государству; что на скудной, каменистой земле иноки сумели создать цветущий рай, где выращивались и такие неженки, как дыни, арбузы, абрикосы... Что строились прочно — на века! — дамбы, каналы... Были садки для рыб, выставочное стадо... И поразительная чистота!


В восхищенное удивление меня привели сведения о сбереженных и приумноженных ценнейших богослужебных предметах, книгах. Слава Северного Университета монастырем была вполне оправданной!

Среди многих святынь обители была одна, которой мне очень хотелось поклониться. Это — камень, изголовье митрополита Филиппа. О нем, об этой «подушке» Великого Соловчанина, мне во время ночных бомбардировок Москвы не раз (по моей просьбе) рассказывала мама. Сказка эта была бесконечной и радостной.

Обитель святых... Место восторженного поклонения паломников, Спасо-Преображенский монастырь был нашим российским Афоном — священной страной, откуда благая сила молитв шла по всей вселенной.

Нередко люди, попавшие на Соловки, ощущая то «благорастворение воздуха», что царило на острове, оставались там навсегда.

О «советских» Соловках я узнала из воспоминаний Олега Васильевича, отсидевшего там два срока.



«...В этот мой первый соловецкий срок (1928 г. — М. В.) я не мог в полной мере проникнуться горечью и жутью лагерной жизни...» В те годы только начали «воздвигать лобное место для всего народа», — вспоминал муж. Еще разрешалось посещать службы, радовали глаз цветники, nepотревоженной была целительная природа... Еще не совсем ушла накопленная веками благодать.

Ко второму сроку остров превратили в «серый, смрадный, кишачий бедлам»...

Хотя и подготовленная знанием таких превращений, я все же не ожидала, что Соловки станут кладбищем церквей, неопрятным захолустьем, где царствует разруха.

Какое дьявольское преступление — не только перед Россией, но и перед всем миром — уничтожить такую божественную красоту, такое мощное свидетельство силы созидательного духа!

Выпотрошенные, брошенные храмы, зияющий пролом в одном из монастырских зданий. У расстрельной стены, которая выглядела возмутительно крепенькой и аккуратной на фоне общего неустройства, мы зажгли свечи...

Интеллигентная дама (научный сотрудник?) говорила о плачевном будущем соловецкой почвы, уже сейчас частично истерзанной тяжелыми машинами; энтузиасты, музейные работники, показали нам пока еще небогатые экспонаты... Помню сетования по поводу уничтожения — волей какого-то активного идиота — уникальной системы отопления...

Осевший на острове бывший надзиратель простодушно поделился с нами сладкими воспоминаниями о прошлой жизни, когда «был порядок, и все было бесплатно. Нас уважали. И одежда богатая была, без дырок»... «Без дырок» — это как? Снимали до расстрела?

Доставил печали и местный негоциант — торговец черепами с разоренного Онуфриевского кладбища. Развеселый крепыш нахваливал нам свой товар: «Недорого... Кто на что берет. Как пепельницу, а то и вино пьют»...

Ах, Соловки. Соловки! Горькая любовь России...

И все же... И все же нельзя было не восхищаться мощным спокойствием высижившихся возле чистого, как росинка, Святого озера стен, стойких, как надежда. Из-за них глядят на тебя храмы Божии...

Сейчас, когда часть бывших монастырских владений вновь возвращена Церкви, появилась надежда на полное возрождение Соловецкой обители. Уберется все чужеродное, оживут скиты, заботы и молитвы иноков и трудников восстановят порушенное. И не только славное прошлое и ореол мученичества будут привлекать на Соловки, но и вершащаяся там духовная жизнь, благодать,



идущая от светлых молитв. И «прославится место сие», как пророчествовал анзерский чудотворец Елеазар.

За несколько дней до смерти Олега Васильевича некий журналист спросил его:

— Кого вы считаете современным героем?

— Того безымянного батюшку, что, презрев угрозу расстрела, служил в ночном соловецком лесу.



Погружение во тьму¹



Здесь тихо. Почти просторно. И — главное — дверь в коридор постоянно не заперта. Можно, когда вздумаешь, без надзора проследовать в отхожее место. И там никто за тобой не присматривает и не торопит: свобода! После толкотливой и душной камеры тюремная больница была курортом. Повезло и с соседями: тихие, спокойные люди — все больше молчат, лежат с книгой или, как я, отсыпаются.

Мне удалили аппендикс. Операция прошла легко, и я полеживаю — расслабленно и умиротворенно. Отчасти потому, что расписался в уведомлении об окончании следствия. Иначе говоря, знаю, что меня не станут больше таскать на допросы и дополнительно «шить» — по перенятому у уголовников словечку — какое-нибудь состряпанное дело. Следователи, видимо, решили: наскреблось достаточно, чтобы Тройка или Особое совещание уцепились за видимость провинности и могли «по совести» вклеить мне срок. Приобретенные за четыре месяца тюрьмы опыт и знания позволяли угадать исход: мне предстоит трехлетняя высылка, к какой обычно присуждают «болтунов», как окрестили «агитаторов» — рассказчиков анекдотов и веселых неосмотрительных людей, отпускающих острые шуточки по поводу порядков. С такой перспективой я вполне примирился. С воли передали, чтобы я выбирал Ясную Поляну, где меня устроят друзья семьи.

Итак, я ждал. Коротал как мог время и воображал будущее. Судьба, думается, распорядится так, чтобы я взялся всерьез за дело: от дилетантских попыток писать перешел к серьезной литературной работе.

Скрашивал ожидание и близкий мне человек.

¹ Публикуется по: Волков О. В. В Ноевом ковчеге // Погружение во тьму. Соловецкий монастырь, Православное братство святого апостола Иоанна Богослова. М., 2014. С. 54–120.

Георгий Михайлович Осоргин был несколько старше меня. Принадлежал он к совершенно особой породе военных — к тем прежним кадровым офицерам, что воспринимали свое нахождение в армии на рыцарский, средневековый лад, как некий возвышенный вид служения вассала своему сюзерену.

Убежденный, не ведающий сомнения монархист, Георгий был предан памяти истребленной царской семьи. Его арестовали по доносу и присудили к расстрелу, замененному десятью годами. Срок он отбывал в рабочих корпусах Бутырской тюрьмы. Должность библиотекаря позволяла ему носить книги в больничную палату. Будто перечисляя заглавия иностранных книг, он по-французски передавал мне новости с воли, искоса поглядывая на внимательно и тупо слушающего нас надзирателя.

К именитому, старинному роду Осоргиных принадлежала святая Иулиания Лазаревская. Приверженный семейным традициям, Георгий наследственно был глубоко верующим. Да еще на московский лад! То есть знал и соблюдал православные обряды во всей их вековой нерушимости. Он пел на клиросах и не упускал случая облачиться в стихарь для участия в архиерейском служении...

Как-то Георгий зашел проститься.

— Слава Богу, удалось-таки выхлопотать перевод в лагерь, — с облегчением сказал он. — Отправят на Соловки. На Соловецкие острова! Чистое небо, озера... Святыни наши. Ходить ведь буду по какой земле? На ней отпечатки стоп Зосимы и Савватия, митрополита Филиппа...

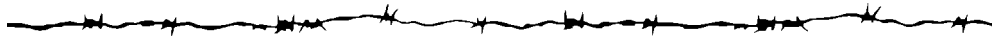
От него же я узнал: справлявшиеся обо мне в прокуратуре близкие подтверждают, что меня вышлют...

Воистину, «что нашего незнания и беспомощней, и грустней...» Я отбыл на Соловках два неполных срока — и вернулся. Осоргин нашел там свою смерть вскоре после водворения в лагерь... «Кто смеет молвить “до свиданья” чрез бездну двух или трех дней?»

...В один день со мной такую же операцию аппендицита сделали моему соседу по койке Махмуду Мамедову, уроженцу Закавказья. Случайная и недолгая эта встреча запомнилась навсегда.

В то время в Бутырке их было около трехсот, ссылаемых на Соловки членов партии мусаватистов. Цвет тюркской — по-позднейшему, азербайджанской — интеллигенции... Мне открылся мир неведомый и своеобразный. Мир небольшого народа, отчаянно отстаивающего свою самостоятельность. Свои традиционные воззрения и обычаи дедов.

Когда потом пришлось бок о бок жить с мусаватистами на Соловках, я видел, каким сыновним уважением окружены у них седоголовые, как заботливо следят



старшие, чтобы никто не был обделен за братской трапезой, как внимательны к тем, кто ищет уединения для молитвы... По ним я мог судить, насколько далеко зашло за минувшее десятилетие одичание русского общества. Как ожесточились характеры по сравнению с окраинным народом, куда позднее проникли и где на первых порах осторожнее внедрялись заповеди новой морали.

Смутный, почти черный на белизне постели, Махмуд сидит, скрестив по-восточному ноги. Он рассказывает о своем крае.

Хотя Махмуд был учителем в районном городке, в нем так очевидна слитность с природой. И чудились мне в певучих интонациях его голоса приглушенные звуки пастушьего табора, разносящиеся над горными пастбищами и пустынными ущельями его родного Карабаха.

Веснами всей семьей, с барантой, коровами, с навьюченными домашним скарбом лошадьми откочевывали в горы, на пастбища, к заснеженным вершинам. И там, в шатрах, устланных коврами, подолгу жили, изготавливая сыры и молясь Аллаху. Месяцы жизни под близкими звездами, в сосредоточенной тишине пустынных гор — и осеннее возвращение в долины, к людям, в мир насилия и противоречий. Они вступали в него, и постепенно размывались накопившиеся в душе примиренность и покой, меркли ощущения сына земли, смиренно склоненного перед начертаниями правящей миром Высшей Духовной Силы...

События захлестнувшей Россию революции разливались по Закавказью, насаиваясь на местные соперничества и национальную рознь. Обстановка эта развязывала руки для сведения счетов между кланами и общинами, для расплаты по старым обидам. Махмуд видел в преследовании мусаватистов кровавую расправу с личными врагами ставленника Москвы Багирова, тогдашнего азербайджанского проконсула.

Скупое рассказывал Махмуд об убийствах в бакинских застенках, о сопровождавших дознания избиениях и пытках. Следы их — темными пятнами, шрамами — были на всем теле Махмуда. Тогда эти наглядные свидетельства возвращения к приемам средневековья еще не укладывались в сознании, казались отражением нравов жестокого Востока. Какой-то тамерлановщиной, немыслимой в новой, Советской России.

Впоследствии пришлось достаточно насмотреться и на примитивно зверские, и на изощренные приемы выколачивания «показаний» на следствиях, да и самому пройти через достаточно мучительные искусы... Но тогда, в Бутырской тюрьме, мне даже трудно было поверить, чтобы говоривший со мной спокойный и так дружелюбно относящийся к нам человек испытал дыбу и недосчитывался зубов, выбитых сапогами...

Махмуд был искренен и прост. Мог отдать и последнее. Доверчивость его и доброжелательность удивляли.

...Обширное сводчатое помещение, где формировали этап, походило на восточный базар. Из камер пригоняли сюда смуглых людей в смушковых папахах, обутых в мягкие кавказские ноговицы, нагруженных перинами и ковравыми сумками. Было тесно и шумно. Приветственные возгласы обнимающихся односельцев с непривычки звучали оглушительно. Я успел выучить несколько фраз на тюркском языке, мог по складам читать арабские слова. На мои «салам алейкум» приветливо отвечали обступившие меня земляки Махмуда, крепко жали мне руку и сочувственно жестикулировали, давая понять, что друг их друга и им дорог и близок.


Разделенные языковым барьером, мы тем не менее ухитрились выразить радость по поводу конца тюремного сидения, наивно надеясь на лучшее будущее в лагерях. Мусаватисты твердо верили в обещанный им режим политических. Сильные своей спаянностью, они были готовы за него бороться. Среди них были европейски образованные, знающие иностранные языки и историю революционного движения политические деятели, испытавшие гонения в царское время. Они ждали чего-то вроде поднадзорной жизни прежних ссыльных...

Я тоже не унывал, хотя всего неделю назад, расписавшись в ознакомлении с постановлением Особого совещания, порядочно пал духом: я готовился к ссылке², а присудили меня к трем годам заключения в лагерях с последующими ограничениями.

Отчасти утешило тшеславное рассуждение: в лагерь попадают все же личности, сочтенные опасными. Чем я хуже других? В конце концов, я иду по стопам Георгия, разделяю участь многих родственников и знакомых, порядочных людей, которым, говоря начистоту, не по пути с режимом, основавшимся на насилиии, лжи и демагогии. Мы в лагере будем вместе — кучка несогласных, не сдавшихся и больше не обязанных притворяться и лгать. Навесили нам ярлыки «контриков» — так будем их достойны!

Не поняв лагереи, я полагал, что заключенный там может быть самым собой, сохранить свое лицо. И не знал, что попадаю на Соловки в канун изменений, которые должны стереть без остатка следы сходства советских мест заключения с царскими политическими центрами. Не знал, что скоро придется

² Поясню современному читателю, не посвященному в оттенки тогдашней шкалы мер пресечения: ссылка отличалась от более легкой высылки. Последняя предполагала свободный выбор места жительства, из которого исключалось некоторое количество городов: был «минус шесть» (самое легкое), «минус двенадцать» и чуть ли не до «пятидесяти двух». Ссылка назначалась в отдаленные места и сопровождалась жесткой регламентацией передвижения, периодическими явками на регистрацию, ограничениями вида работы (исключались ответственные и административные должности, ссыльные пополняли кадры чернорабочих) и т. д. — Здесь и далее примеч. авт.



захлебнуться в современных удушливых эргастулах, отстаивая, забыв обо всем остальном, возможность элементарно порядочно себя вести, сохранить подобие человеческого облика!

Но что бы ни ожидало впереди, я при вызове на этап испытывал известное удовлетворение: признан политическим противником — не какой-нибудь проштрафившийся чиновник или схваченный за руку растратчик... Я могу и дальше прямо смотреть в глаза людям. Меня беспокоило, что значусь я осужденным по двум статьям: контрреволюционной — за агитацию, — вполне меня устраивавшей; и по одному из пунктов 59-й, слывшей в обиходе бандитской; пункту, предусматривающему «незаконное хранение валюты». Основанием послужили отобранные у меня при аресте доллары, какими выплачивали мне в посольстве жалованье. Не бросит ли это, думалось мне, там, на Соловках, на меня тень в мнении «своих» — чистокровных контриков?

Если уж совсем глубоко разбираться в причинах приподнятого настроения, с которым я собирался на свой первый этап, надо сказать об испытываемом на воле неотступном чувстве пригнетенности, подспудной тревоги, переходящей в ожидание беды. Настораживали новости и слухи, взгляды встречаемых, всюду мерещились соглядатаи. Выбивали из колеи аресты знакомых и газетные глухие сообщения о «раскрытых заговорах». Суживались и рамки жизни; теснили «чистки», становилось трудно прописаться, выбрать работу. Анкеты все глубже всверливались в твою генеалогию, связи, занятия. Словом, чувствовал себя просвечиваемым и подозреваемым. Был окончательно задушен голос Церкви, совершенствовались намордники, надетые на печать, сцену, суждения, юмор.

Впоследствии стало очевидным: освобождаясь из лагеря, попадаешь из ограниченной зоны в более просторную. Но тогда, в двадцать восьмом году, это было еще не вполне отчетливым предчувствием. И пусть я еще не был беспросветно затравлен, взнуздан, одурачен и обезличен, как с тридцатых годов, все же имел основание считать: променяв московское существование на Соловки, теряю не так-то много. И даже избавляюсь от заячьего своего житья.

Бодрость мою поддерживали и благополучно складывавшиеся условия этапирования. Лучшего состава и желать было нельзя. Уголовники, само собой, с нами были. Но по шакалей своей повадке шkodить только всей стаей, при явном перевесе сил, держались незаметно и даже угодливо.

Надзиратели и конвой потели, терялись, разбираясь в горах формуляров с неизменными «Ибрагимами-Махмудами-Мустафами-Ахмедами-оглы». Обступленные темноволосыми, смутлыми людьми в одинаковых папахах и со сходными чертами восточных лиц, не говоривших или не желавших объясняться

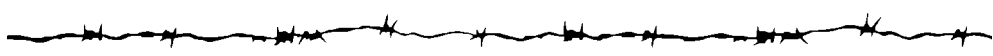
по-русски, тюремщики, уже не чая тщательным опросом самостоятельно установить личность сдаваемых с рук на руки арестантов, вверились старшине мусаватистов. И как же подобострастно подсовывали они ему бумаги, ограждали от напиральной толпы. Лишь бы не напутать, справиться к сроку: эшелон должен отойти по расписанию...

Нам с Махмудом из-за свежих швов нельзя носить вещи. И сколько же рук подхватило наши пожитки! Мы спокойно сидели в сторонке на груде барахла — кто-то подменил нас на «шмоне»: перетряхивал и укладывал наше добро под воровски быстрыми гляделками обыскивающих. В этой толпе «иноплеменных», так просто и естественно по одному доброму слову своего земляка включивших меня в свой братский круг, я сразу почувствовал себя очень надежно. И бойко объясняющийся по-русски Эйюб Ибрагимов, разрушаемый злой чахоткой молодой бакинский журналист с отбитыми легкими; и молча клавший мне на плечо руку седой муэллим — законоучитель, — не умевший словами выразить отеческое одобрение; и другие, чьи сочувственные кивки и знаки безобманно свидетельствовали искренность, привычку доверять и оказывать внимание незнакомцу, благожелательность, — все они держались как искренние мои друзья. Я до слез, остро и болезненно ощущал тепло человеческой общительности, уже утраченной нашим обществом, разложенным подозрительностью, завистью, на- травливанием друг на друга...

Вышки, сколоченные из хлипких бревнышек. Пятачок площади, обнесенный оградой из колючей проволоки. На нем, возле примитивного дебаркадера, длинный низкий барак. Это Кемьский пересыльный пункт. Зловеще знаменитый Попов остров — «КЕМЬ-ПЕР-ПУНКТ», зона на каменистом и болотистом берегу Белого моря, недалеко от захолустного деревянного городка Кемь. Место пустынное³, голое и суровое. Здесь комплектуют партии, переправляемые на остров. Кто погостил тут в конце двадцатых годов, никогда его не забудет...

Эта пересылка учреждена при основании Соловецкого лагеря, когда заключенных считали на десятки и скупые сотни. Сейчас тут столпотворение. Мой этап, окруженный вохровцами, сидит на камнях в стороне от зоны и следит, как идет прием опередившего нас эшелона. Только что выгруженных из теплушек заключенных, ошалелых и растерянных, с великой бранью и зуботычинами построили в колонну и бегом погнали на голый скалистый мысок. Там всем велели

³ Пересыльный городок с рядами барачных, выстроенных вдоль дощатых линеек, с издевательским кумачом «Добро пожаловать!» на воротах был выстроен позднее. В 1931 г. в барак у дебаркадера уже не заводили.



бросить узлы и чемоданы, и плечистые вахтеры начали многочасовое учение — муштровку с мордобоем. Мусаватисты встревожены. При выгрузке из вагонов и нас было приняли в кулаки. Однако по чьему-то распоряжению быстро отступились. И все же какой-то особый любитель потешиться над беззащитным успел в кровь разбить лицо замешкавшемуся пожилому врачу. Староста мусаватистов, атлетически сложенный, бешено налетел на охранника, смял его, швырнул на рельсы. И убил бы, не удержи свои...

Набежало начальство, последовали объяснения. Оцепившие платформу вохровцы защелкали затворами. Но, видимо, было приказано обойтись без кровопускания. Быть может, сочли целесообразным на первых порах уважить иллюзии «политических». Вскоре там — за глухими соловецкими стенами — можно будет отыгаться сторицей! Переполох был все же большой. Тюрки совещались, выработывали тактику, какой бы оградиться от произвола. И наблюдали.

Более суток — первых лагерных суток — мы посвящались в лагерные повседневные порядки: зрителями сидели на валунах и смотрели, будто римляне со ступеней амфитеатра на арену цирка. У нас на глазах людей избивали, перегоняли с места на место, учили строю, обыскивали, пугали нацеленными с вышек винтовками и холостыми выстрелами. Падающих подымали, разбивая сапогами в кровь лицо. Отработанные ловкие удары кулаком сбивали человека с ног, как шахматную фигурку с доски... Трясется седая борода у проделывающего бег на месте коротенького старика с вытаращенными глазами на пунцовом лице; рядом не может подняться присевший по команде толстозадый мужчина и жмурится, отворачиваясь от затрепчин; подальше тяжело пинают ногами молодого грузина, отказывающегося повторить упражнения. «Убивайте, сволочи!» — истерически кричит он. И его действительно бьют смертно...

Потеряно представление о времени. Ряды приплясывающих на месте, прыгающих и приседающих новоявленных лагерников все чаще расстраивают падающие с нелепыми жестами фигурки, а неутомимые здоровяки в бушлатах все так же бодро похаживают между ними, расправляя плечи, особенно лихо и весело раздавая зуботычины и покрикивая: «Не к теще на блины, сукины дети, приехали, мать вашу так и мать вашу этак!»

В жемчужном небе за нежными облаками висит ночное солнце, серые безмолвные чайки пролетают над скалами; слышен ласковый плеск волн... Воздух над живой гладью моря свеж и целителен. И дико содрогается даль от отрывистого рева «здра!», без конца повторяемого измученными людьми, которых учат хором приветствовать начальника. Беззакатная ночь позволяла конвейеру действовать безостановочно...

Хватало дела и охранникам из заключенных. Эти дюжие, мордастые, отъевшиеся парни со знаками различия на рукавах, окрещенные зубоскалами-урками хлестко и непристойно, упарились и охрипли. Отбиты кулаки и сел голос — надо оправдать льготный паек, оказанное доверие! И не только это. Безнаказанно чинимое, поощряемое насилие прививает вкус к нему: бить и унижать становится потребностью. Всклипы и стоны вызывают остервенение. Молчаливо сносимые удары — желание забить до смерти.

И хотя наш этап был отчасти пощажен — нас, когда рассосались потоки принимаемых и отправляемых, «оформляли» сравнительно спокойно, впечатление от такого цинически откровенного метода ударило обухом по голове. Пусть память и хранила расправы и насилия первых лет революции, да и в тюрьме не миндальничали, но еще не приходилось убеждаться, чтобы произвол возводился в систему. Да к тому же развернутую в таких масштабах...

Сознание своей артельности поддерживало в мусаватистах надежду отстоять права «политических». Я же знал: увиденное — это отражение моей участи.

...Осматривавший этап лагерный врач, грубо и нетерпеливо сорвав прилипшие повязки, освободил меня на три месяца от общих работ. На первых порах это ограждало от тяжелых испытаний. Но в ушах стояли матовые стуки ударов и падений, беспощадная брань и угрозы; но перед глазами — искаженные лица избиваемых, не видящих конца кошмару!

«Тут Соловецкий лагерь особого назначения, там-тара-рам, пере-там-тара-рам! — лихо неслось над онемевшей толпой. — Тут по струнке ходить будете! Дурь выколотят!» И выколачивали. А с «дурью» и душу живу.

Соловецкий лагерь особого назначения... Сокращенно СЛОН. Изображение этого мудрого и кроткого животного сделалось официальной эмблемой лагеря.

И вот я — уже заведенный в зону Кемьперпункта зарегистрированный ээк на списочном составе Соловецкого лагеря. В бараке мне указано место на нарах, где, по прочно внедрившейся лагерной традиции, все лежат на боку и повертываются по команде. Прошло несколько дней, и я не чаю, когда выкликнут меня на этап. Многих из прибывших со мной отправили. И в первую очередь — неудобных, строптивых мусаватистов. Лица крутом все новые, появляются и исчезают в лихорадочно дергающемся ритме. Как «инвалид» я лагерю не нужен; как трехлетник с ерундовой статьей — не предмет попечения и забот ИСЧ (информационно-следственная часть — лагерный сыск), сосредоточенных на большесрочниках, и меня не торопят отправить отсюда, с пересылки.

Колючая проволока охватывает площадку не более 100х100 метров. В бараке — узкий проход и двухэтажные сплошные нары под низкой крышей. Я еще

настолько зелен, что не могу даже днем ненадолго прилечь из-за фантастического количества клопов. Они ползут по стойкам нар сплошными вереницами, как муравьи по стволу полюбившегося дерева.

Преодолеть брезгливость невозможно, хотя усталость и валит с ног. Я выхожу на улицу — к тем, кто, подстелив что попало на камни с влажными ямками между ними, устраивается там спать. Тут другой враг: тучи комаров, какие еще не приходилось видеть. Северный тундровый гнус, от которого нечем — да еще и не умеешь — оборониться. Как ни закутывайся и ни прячься, комары проникнут и дойдут. Тонкое «з-з-з-з» над ухом — и уже ждешь, насторожен. И нельзя ни заснуть, ни уйти в мечтанья. Подумать только: спустя несколько лет, в глухих зырянских болотистых лесах, я уже не замечал их...

С подлинным ужасом слежу за дневальным — всклокоченным мужиком в неопикуемых лохмотьях с потемневшим, покрытым коростой лицом и свирепыми непогасшими глазами. Он не говорит по-человечески, только хрипло матерится. Получая хлеб в каптерке на барак, умудряется урвать себе несколько паек. И прячет их в заношенных обносках, грудой наваленных в его углу. Когда, согнувшись над лоханкой с баландой, словно заслоняя ее всем телом, он сидит там и, чавкая, давясь, жадно и торопливо ест, то кажется: подойти ближе — зарычит и покажет зубы. И этот изъеденный насекомыми, утративший человеческое подобие отверженный шалест и суетится, лишь начинают выкликать на этап: боится, что его стронут с места! Он уже два года дневалит в этом бараке... И перемен не хочет ни за что.

Свыкнуться с этим кошмаром! Жить не в грозном, фантастическом аду, в этом воспетом поэтами царстве дьявола, а в аду — помойной яме?! В клоаке, смрадном загоне, выворачивающем наружу подлую изнанку существования, заставляющем дышать испарениями скученных немых тел, уложенных сплошным слоем на липких, почерневших от грязи горбылях? В аду, перед которым знаменитый «Cour des miracles»⁴ — чинный, опрятный пансион.

И как же незаметно для себя человек поддается, соскальзывает в эту яму, опускается, подлеет... Но это наблюдения уже прошедшего не через один лагерь человека. Тогда же я был еще новичком, не поборовшим предрассудков и предубеждений, внушенных воспитанием. С тоской глядел я на мирно спящих, покрытых клопами людей, завидовал им и... И не мог решиться лечь!

В какой-то мере эта закваска, полностью никогда так и не выветрившаяся, служила источником дополнительных осложнений. У охранников всех рангов она вызывала зуд — выкорчевать это такое неположенное чистоплюйство. Но она

⁴ Двор чудес (фр.).

же помогла мне и сохраниться. И, испытывая танталовы муки голода, я не мечтал попасть на отбросах; не соблазнялся самокруткой за пайку; и в невозможных условиях ухитрялся мыть руки, следить за собой; всегда считал для себя исключенными всякие «мастырки» — членовредительство, снадобья, обморожение, на время спасающие от тягот... Словом, не шагнул на ту нижнюю ступеньку, с которой рукой подать до лагерного шакала, доходяги-фитиля или до одичавшего дневального с Кемьперпункта...

На улице, кроме комаров, были и «попки», как метко прозвала лагерная братия нахохленных и важных караульщиков, порасставленных на вышках. Их надо всегда остерегаться: они могут застрелить запросто. Не только — Боже упаси! — нельзя подойти к проволоке ближе запретных метров, что всегда сошло бы за «попытку к бегству». Но и трижды не дай Бог привлечь их внимание и раздражить, даже держась на узаконенном расстоянии. Пуля могла достать и тут.


А как-то ночью после отбоя раздалась стрельба. С вышек беспорядочно палили. У одной из них сбежавшиеся стрелки разглядывали зарезанного часового. Как ухитрился чеченец проползти под проволокой? Кошкой подобраться к караульному, спустившемуся с вышки поразмять ноги или за нуждой, и вонзить в него самодельную железу — так, что тот рта не успел раскрыть? Ведь было светло, как днем.

Со смельчаком ушли еще двое. Беглецов заметили, когда они уже порядочно удалились от зоны. Стреляли по ним безуспешно; прячась за камни, перебегая, ползя юрко и стремительно, они достигли опушки леса. Преследовать их не рискнули — чеченцы прихватили винтовку и подсумок убитого.

Тело лежало под вышкой, в нескольких шагах от зоны. Вокруг грудились люди: эки по одну сторону проволоки, обескураженные «попки» — по другую. У заключенных в то утро был более бодрый вид. Зато охрана — в отместку — не знала удержу...

...Упорство сектантов накаляло начальство до предела. Они не называли своего имени, на все вопросы ответ был один: «Бог знает!»; отказывались работать на антихриста. И никакие запугивания и побои не понудили их «служить» злу, то есть власти, распинавшей Христа. И охранники отступились. Но побег, за которым последовали выговоры и упреки сверху — «Просмотрели! Распустили!», — подхлестнул служебное рвение.

И вот кучку державшихся вместе исхудалых, оборванных и немых сектантов загнали в угол зоны и, связав руки, поставили на выступающий валун. Было их человек двадцать: два или три старца с непокрытой головой, лысых и седобо-



родых; несколько мужчин среднего возраста — растерзанных, с ввалившимися щеками, потемневших, сутулых; подростки, какими рисовали нищих крестьянских пареньков передвижники; и три нестарые женщины в длинных деревенских платьях, повязанные надвинутыми на глаза косынками. Как случилось, что сектанток не отделили, а держали в нашей зоне? Быть может, специально привели из женбарака, стоявшего неподалеку.

Командир распорядился: стоять им на валуне, пока не объявят своих имен и не пойдут работать. Тройке стрелков было приказано не давать «сволоте» шевелиться.

Строптивцев поставили «на комары» — так называлась в лагере эта казнь, предоставленная природе. Люди как бы и ни при чем: север, болота, глушь, как тут без комаров? Ничего не поделаешь!

И они стояли, эти несчастные «христосики» — темные по знаниям, но светлые по своей вере, недосыгаемо вознесенные ею. Замученные и осмеянные, хилые, но способные принять смерть за свои убеждения.

Тщетно приступал к ним взбешенный начальник, порвал на ослушниках рубахи — пусть комары вовсю жрут эту «падлу»! Стояли молча, покрытые серым шевелящимся саваном. Даже не стонали. Чуть шевелились беззвучно губы.

— Считаю до десяти, ублюдки! Не пойдете — как собак перестреляю... Раз... два...

Лязгнули затворы. Сбившиеся в кучку мужики и бабы как по команде попадали на колени. Нестройно, хрипло запели «Христос воскрес из мертвых...» Начальник иступленно матерится и бросается на них с поднятыми кулаками.

Продержали их несколько часов. Возмолились изъеденные стражи. И начальник махнул рукой: «А ну их к...»

О пытке комарами мне приходилось читать в книгах о краснокожих Америки, Леонов рассказал в «Барсуках», что к ней прибегали озверевшие деревенские богатеи. Теперь я знал, как это делается. Потом, на острове, мне пришлось не раз видеть эти окаянные комариные пиршества.

Снова ощущаю благотельные последствия вспоротого в тюрьме брюха. Меня как инвалида не спускают в трюм корабля, а оставляют на палубе. Я сижу, предоставленный себе, на своем «сидоре» — бауле с пожитками. Тут же бутырский сокамерник — инженер Литвиненко. Он затих, усевшись с поджатыми под себя ногами, и лишь иногда по инерции тихо шепчет и вздыхает. Вообще он непрерывно плачет и причитает. На тюремном жаргоне — «косит на психа».

Я тоже подозреваю, что он прикидывается. Во всяком случае, предельно расстраивает и преувеличивает свое нервное расстройство.

«Миленькие мои, — целыми днями рыдал он в камере после приговора: трех лет лагерей. — Да за что мне такое? Следователи мои дорогие, хорошие мои люди, всегда уважал вас, любил, а-а-а. Советскую власть вот как люблю, о Ленине плачу! Нет его, заступника...» Он всхлипывал у двери, в глазок, чтобы слышал коридорный, охал и стонал, китайским болванчиком раскачивался на нарах. И всем надоед. Его одергивали и бранили, урезонивали, стыдили. Он же только продолжал повторять свое «Миленькие вы мои!», обливаясь слезами.

Внезапная перемена — Литвиненко до того сыпал прибаутками, посмеивался, с аппетитом ел — не убедила тюремного врача. Его продержали десять дней в больнице и, признав психически здоровым, отправили на этап.


В Кемьперпункт он прибыл вскоре после меня. И там уже прочно вошел в роль расслабленного юридивого. Роль, самую неблагодарную в лагерной обстановке. Отказчик и «филон» для нарядчика и охранников, он — беспомощное ничтожество в глазах эков, затравленных и потому ищущих, над кем безнаказанно поиздеваться. «Психов» обирают до нитки, загоняют в самый грязный угол, выталкивают из очереди за баландой. Самые бессовестные отнимают пайку.

И «психи» быстро доходят — становятся «фитилями», слюнявым, грязным и вшивым отребьем, какое свозят на пропащие инвалидные лагпункты, а оттуда — в яму...

На палубе, кроме нас, нет никого, и Литвиненко замолк. Сидит, не шелохнувшись, с закрытыми глазами. Разумеется, он болен: мешки под глазами, отеченное лицо, дряблые щеки. Три месяца назад это был румяный здоровяк. Поговорить с ним? Отклонить от затеянной безвыигрышной затеи? Но с первых моих слов он начинает плаксиво причитать. А обстановка слишком исключительна, чтобы долго хлопотать о судьбе этого горюна.

Боже мой! Облитая солнцем гладь моря, свежий его запах, наносимый ветром, легким и ласковым... Вереница мягких сверкающих облаков, улегшихся у самой воды. Крупные чайки лениво машут крыльями, летят рядом, так близко, что различаешь всякое перышко... Простор, воля! Корабль идет плавно и бесшумно, скользит по бесконечной равнине, оставляя позади белеющую пеной дорогу, не исчезающую, сколько хватает глаз. День жаркий, но от воды тянет прохладой. И все вокруг — свет, тепло, тишина — охватывает, словно ласковыми руками, баюкает, врачует...

Но язвит душу память о бараке и его грязи, о стойкой пронзительной вони скученных тел, заношенного платья и давленных клопов. Вечной зарубкой на сердце — память об измученных, распухших от укусов лицах, о подростке с крепко



закушенной губой и размывшими кровь на лице слезами... Память о конвоирах, ударами приклада наотмашь — куда попадет! — подбадривающих выводимых за зону арестантов. Об «убитых при попытке к бегству»...

...С настойчивостью отчаяния приступал этот паренек к нарядчику. Я прислушался. И всего-то вымаливал он разрешение идти на работу с другой партией! Невзлюбил его конвоир и, если отправят на работу с ним, — застрелит. Не перевели. Как бедняга ни втискивался в середину строя, ни хоронился, конвоир-таки подкараулил, когда тот неосторожно отделился за нуждой. И застрелил — в двух шагах от строя. При попытке к бегству, разумеется...


Только что оставленный подлый и грязный — ничего возвышенного — ад не покидает меня и здесь, на палубе. А тут еще этот малодушный, слабый человек, уцепившийся за юродство, как за спасение. Досадно за собрата-интеллигента, играющего такую комедию, применяемую уголовниками, но и осуждать не велит совесть: не хватило стойкости!

Из-под вздетого форштевня обозначились очертания берега — темной неровной линии над обрезаем моря — с четким белым пятном строений. Как ни мало интересовались мы, русские люди начала века, историей своей Церкви, как ни равнодушно, а то и предвзято, ни относились к монашеству, — обаяние Соловецкого монастыря пережило наводнение трезвых позитивных воззрений. И в то безвременье молва о тунеядцах-монахах, корыстью, ленью и блудом порочащих православные обители, обходила Соловецкую. И в чуждом древнему благочестию Петербурге знали, что на Соловках — строгий устав и чин служб едва не дониконовские. Что туда стекаются мужики из разных губерний — молиться и работать на святых угодников Зосиму и Савватия. А когда началась война с Германией, монастырь откликнулся по-минински: потрянул богатой казной, открыл в столице лазарет на шестьсот коек. По примеру монастырей XVII века — оплотов веры и государства — жертвовал отечеству крупные суммы.

Вход в бухту вешили⁵ каменные глыбы с огромными крестами из лиственницы. Открылись белые силуэты обезглавленных соборов и колоколни. Купола заменены пирамидальными тесовыми крышами. Но неизменными, такими же, как на старых гравюрах, высились на монастырской стене тяжелые башни с конусным верхом. Эта сложенная из гранитных валунов ограда, казалось, стоит вне времени. И когда потом доводилось вновь и вновь ее видеть, первое впечатление — вечности созданного — не сглаживалось.

Прежние путешественники на Соловецкие острова рассказывали о слезах, о сиявших счастьем лицах богомольцев, при виде седой обители забывавших беды

⁵ Вешить — ставить вехи, намечая направление движения, границу чего-либо.



многотрудной жизни. Я был слишком человеком своего времени, закрытым для подобного просветления, и все-таки... И все-таки с невольным трепетом всматривался в несокрушимую православную твердыню, воздвигнутую, чтобы противостоять любым покусениям...

Корабль вплыл в тень каменных громад монастыря. Этап, сбиваемый кулаками, оглушаемый святотатственной бранью, сошел на берег. И еще сильнее, чем на палубе, я ощутил, что здесь святыня длинной чредой поколений моих предков: точно незримо реяли вокруг их душевные устремления, их смиренные помыслы.

Кто искал здесь утешения, приходил за очищением, кто усердной молитвой и обращением к религиозным началам жизни надеялся помочь людям в их скорбях. Почти шесть веков подряд на этих камнях и за этими стенами непрерывно шли службы. Молились, совершенствовались в духовных подвигах пламенно веровавшие в добрую людскую суть. И тщились побороть силы зла, вывести к свету и радости с темных перепоутей жизни.

Теперь, когда не стало больше окутывавшей остров оберегаемой от века тишины; когда место смиренных монахов и просветленных богомольцев заступили разношерстные лагерники и свирепые чекисты; когда уже меркли тени прежних молельников за Русь и на развалинах скитов и часовен воздвигали лобное место для всего народа, — душа и сердце продолжали испытывать таинственное влияние вершившейся здесь веками жизни... несмотря ни на что! Влияние, заставлявшее вдумываться в значение подвига и испытаний.

В Преображенском соборе находилась тринадцатая — карантинная — рота: сюда помещали привезенных на остров этапников.

Нары в три яруса заселены сплошь. Люди шевелятся как тени, говорят вполголоса, и тем не менее в высоком куполе древнего храма этот сдержанный шум и случайные возгласы отдаются несмолкаемым гудением... Некий чудовищный улей.

Улей этот в непрерывном движении: одних угоняют, другие поступают, соседи то и дело меняются. Много преступников — воров и убийц, однако здесь же и тесные кучки мужиков в тяжелых овчинных полушубках: они крепко держатся друг друга. В темные углы забились сектанты с изможденными лицами, лихорадочными глазами и нателными крестиками, сделанными из связанных ниткой палочек, висящими на гайтанах из женских волос. Попадают старцы с сенаторскими бакенбардами и старомодными пенсне на потертом шнурке.

Окрики вахтеров заставляют всех оторопело вскакивать, бестолково бросаться с готовностью выполнить любое приказание. Одни сектанты сидят по-прежнему отрешенными, словно ничего вокруг их не затрагивает.

По проходу между нарами медленно идет в окружении целой свиты начальник пересылки — легендарный Курило, с ногами колесом, как у заправского кавалериста, и со стеклом в руке. У него неторопливые жесты, негромкий голос, глаза прищурены. Иногда он, приостановившись, начинает кого-нибудь пристально в упор разглядывать. Молча. И вдруг молниеносно хлестнет наотмашь стеклом, норовя рассечь лицо. Потом продолжает обход.

И каждую ночь в бывшем притворе происходят расправы. Оттуда доносятся вопли и выволакивают в кровь избитых людей. Их бросают в карцер — огромное подземелье под собором.

Но вот Курило остановился против меня. Я сижу на краю нар. Разглядываю его сблизи. У него подчеркнуто офицерская выправка, он слегка подергивает обтянутой галифе ляжкой, небрежно играет стеклом. На нем тонкие кожаные перчатки — не марать же руки!

— Не вставайте, ради Бога, — предупреждает он мою попытку подняться перед начальством. Курило слегка, по-петербургски, грассирует. — Мне про вас говорили. Я тоже петербуржец, хотя служил в Варшавской гвардии...

Мы вспоминаем Петербург, находим общих знакомых, называем дома, где обоим приходилось бывать, — мир тесен! Курило, оказывается, второй год в заключении, устроен сносно, «насколько возможно в этих условиях, ву компренэ...», и готов оказать содействие. Пять минут назад он на моих глазах хлестал по лицу, кощунственно матерясь, подвернувшегося старого еврея, вероятно, провизора или мелкого почтового чиновника в прошлом.

— С этой сволочью иначе нельзя, ничего не поделаешь!

О, лагерное начальство знало, что делало, когда порасставило одних заключенных надзирать за другими, поощряя при этом самых ревностных и жестоких, готовых служить безотказно. Находились садисты, обретшие в ремесле палача свое призвание. Рассказывали, что Курило лютвал еще в гражданскую войну, будто бы мстя за изнасилованную красноармейцами невесту и истребленную семью. Как бы ни было, в его лице проглядывало что-то опасное и сумасшедшее... Разумеется, таким «бывшим», как я, со стороны Курило и его подручных ничего не грозило, разве пришлось бы выполнять прямое приказание начальства. И когда он, вежливо приложив руку к фуражке, отошел, я почувствовал облегчение.

В карантинной роте я не пробыл и трех полных суток. Под вечер третьего дня в собор пришел санитар с предписанием забрать меня в лазарет. Я поспе-

шил за ним, провожаемый завистливыми взглядами окружающих. Темнело, и в проходах между нарами уже похаживали вахтеры, прикидывая — с кого начать и что отнять. Уже были разбитые в кровь лица, отобранные вещи, уведенные в застенки жертвы...

Ворожил мне Георгий. Был он делопроизводителем лазарета — правой рукой главного врача Эдиты Федоровны Антипиной, умной и властной дамы из семьи состоятельных московских немцев. Она заставила лагерное начальство с собой считаться, держалась достойно и независимо. Знающий врач, она и свою санчасть наладила отлично. Расторопный, по-военному пунктуальный Георгий был ей ценным помощником.


Работал он с редким в лагере рвением: служба давала ему возможность делать пропасть добра. Не перечесть, сколько выудил он из тринадцатой — карантинной — роты священников, «бывших», беспомощных интеллигентов! Укладывал их в больницу, избавлял от общих работ, пристраивал в тихих уголках. И, зная, насколько это способствование «контре» раздражает начальство, Эдита Федоровна неизменно помогала своему верному адъютанту. Георгий спасал — она выдерживала попреки сверху. И отстаивала раз взятых под покровительство. Зато, когда время пришло, и отыгралось же начальство за свои уступки...

В стареньком ките и фуражке, надетой на манер, выдававший за версту кадрового кавалериста, Георгий весь день сновал между лазаретом, ротами, управлением, добиваясь облегчений, переводов, пропусков, льгот.

Я был одним из многих, кто благодаря его участию счастливо миновал чистилище — длительный и обязательный искуc общих работ — и сразу оказался устроенным; стал ходить «в должность» — статистом санчасти. Осоргин же помог мне поселиться в монастырской келье. Можно было жить чисто, неприметно, тихо. До поры, разумеется. Потому что зыбко лагерное благополучие.

Жили мы вдвоем. Келья наша была на втором этаже здания, выстроенного еще в XVIII веке. Двойная, отгораживающая от всякого шума дверь в коридор. В двухаршинной толще стены — крохотное окошко. Обращено оно в узкий проход между Преображенским собором и нашим приземистым корпусом — бывшим Отрочьим. Тишина глухая — и ни один звук снаружи не проникает: должно быть, сюда и в старое время едва доносился колокольный благовест. Монахи могли погружаться в молитву и размышления, отрешаться от всего сущего на земле. Ждать праведную кончину.

В подобных кельях жили наши святители: Иларионы, Петры, Сергии, Филиппы, Гермогены... Писались поучения и летописи, «Слова»... Нет, не немые эти стены!



Тут настолько обособленно, что и нам, нынешним келейникам, можно забыть про гудящие соборные своды, отражающие тысячи голосов, про кучки, вереницы и толпы спящих всюду, спешащих и отправляемых людей.

Нас, как я упомянул, — трое. Бухгалтер управления — старый банковский служащий из Киева, ненароком зачисленный в белые офицеры. Он не склонен задумываться над тем, что обусловило его водворение в лагерь, как и меня, на три года. Он работает в привычной конторской обстановке, за столом со счетами. Имеет пропуск в «управленческую» столовую, поселен очень сносно. О чем тужить? Чего ждать?.. Я смутно запомнил этого человека, в общем-то легкого для совместной жизни, воспитанного и молчаливого. И начисто забыл его имя. Зато другого своего сокейника я сейчас словно вижу и слышу.

Был он с виду типичный русский батюшка — добродушный, полный, приземистый, приветливый. Небольшая бородка и мягкие пухловатые руки.

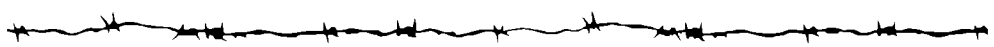
— Ну что тут у вас? — говорил с порога кельи отец Михаил. — Что хорошего слышно?

Непременно хорошего! Ни десятилетний срок, ни пройденные испытания не отучили отца Михаила радоваться жизни. Эта расположенность — видеть ее доброе начало — передавалась и его собеседникам: возле него жизнь и впрямь казалась светлее. Не поучая и не наставляя, он умел рассеять уныние — умным ли словом, шуткой ли. Не прочь был пошутить и над собой.

Отец Михаил несколько не погрешал против истины, говоря, что не тяготится своим положением и благодарит Бога, приведшего его на Соловки. Тут — могилы тысяч праведников. И молится он перед иконами, на которые крестились угодники и подвижники. Вера этого ученого богослова, академика была по-детски непосредственной. Верил он всем существом, органически.

Из нашего каждодневного общения я вынес четкое впечатление о нем как о человеке мудром и крупном. По манере жить, умению входить в дела и нужды других можно было судить о редкостной доброте — той, что с разумом. Его находчивость и острота в спорах позволяли представить, как блистательны были выступления депутата Государственной думы священника Михаила Митроцкого с ее трибуны.

...Духовенство на Соловках поголовно зачислялось в роту сторожей. Отец же Митроцкий подшивал бумаги в какой-то конторе Управления. На работу он ходил в военного покроя тужурке и сапогах. Вечером же надевал рясу, скромную скуфью и шел за монастырскую ограду. В кладбищенской церкви Святого Онуфрия регулярно отправляли службы немногие оставленные на острове монахи.



В двадцать восьмом году еще разрешалось заключенным — духовным лицам и мирянам — посещать эти службы. Православным был отведен храм на погосте. Прочим вероисповеданиям и сектам — часовни и церкви, каких много было разбросано вокруг монастыря.

Вечером закрывались «присутствия», и «рабочая» жизнь лагеря замирала. Удивительно выглядела в это время неширокая дорога между монастырской стеной и Святым озером. Глядя на идущих в рясах и подрясниках, в клобуках, а то и в просторных епископских одеждах, с посохом в руке, нельзя было догадаться, что все они — заключенные, направляющиеся в церковь.


Мерно звонил кладбищенский колокол. Высокое северное солнце и в этот закатный час ярко освещало толпу, блестело на глади озера. И так легко было вообразить себе время, когда текла у этих стен ненарушенная монастырская жизнь...

Мы шли вместе с отцом Михаилом. Он тихо называл мне проходящих епископов: Преосвященный Петр, архиепископ Задонский и Воронежский; Преосвященный Виктор, епископ Вятский; Преосвященный Иларион, архиепископ Тульский и Серпуховский... Тогда на Соловках находилось в заключении более двадцати епископов, сонм священников и диаконов, настоятели упраздненных монастырей.

— Думаю, настало время, — говорил отец Михаил, — когда Русской Православной Церкви нужны исповедники. Через них она очистится и прославится. В этом Промысл Божий. Ниспосланное испытание укрепит веру. Слабые и малодушные отпадут. Зато те, кто останется, будут ее опорой, какой были мученики первых веков. Ведь и сейчас они для нас — надежная вежа... Вот и вы — петербургский маловер — поприствуете на здешних богослужениях и сердцем примете веру. Она тут в самом воздухе. А с ней так легко и не страшно... Даже в библейской печи огненной.

Службы в Онуфриевской церкви нередко совершало по несколько епископов. Священники и диаконы выстраивались шпалерами вдоль прохода к алтарю. Сверкали митры и облачения, ярко горели паникадила... В двух хорах пели искусные певчие — оперные актеры. Богослужения были приподнято-торжественными, чуть парадными. И патетическими. Ибо все мы в церкви воспринимали ее как прибежище, осажденное врагами. Они вот-вот ворвутся... Так семь веков назад ворвались татары в Успенский собор во Владимире.

...Слева от амвона, всегда на одном и том же месте, весь скрытый мантией и куколем с нашитыми голгофами, стоял схимник. Стоял не шелохнувшись, с низко опущенной головой, немой и глухой ко всему вокруг — углубленный в себя. Много лет он не нарушал обета молчания и ел одни размоченные в воде корки.



Годы молчания и созерцания. Ему не удалось уйти в глухой затвор: камеры, в которых замуровывались соловецкие отшельники, находились под угловыми главами Преображенского собора, обращенного в пересылку. И я гадал: задевает ли схимника происходящее вокруг? Не подтачивают ли его мир разрушившие Россию события? Или они для него — незначащая возня у подножия вершины, на которую вознесла его углубленная беседа с небом?..

С клироса, глазами пронзительными и невидящими одновременно, озирал стоящих в храме иеромонахов. Лицо его под надвинутым на брови клобуком — как на древних новгородских иконах: изможденное, вдохновенное суровой верой. Он истово следил, чтобы чин службы правили по монастырскому уставу, и не разрешал регенту отклоняться от пения по крюкам. Знаменитые столичные диаконы при нем не решались петь молитвы на концертный лад. Еще об этом монахе знали, что был он из вятских мужиков-богомольцев, приехавших на месяц по обету потрудиться на Соловках. И прожил здесь пятьдесят лет.

Суриков написал бы с него стрельца — непреклонного, для которого дьявольское в любом новшестве. Мы все были для него пришельцами, несшими гибель его святыне.

В церкви, освещенной огнями паникадил и лампад, тесно. Слова и напевы тысячелетней давности, покрой риз и облачений заповедан Византией. Кто знает — не надевал ли эту самую епитрахиль или фелонь Филипп Колычев, соловецкий игумен, а потом — Митрополит Московский и всея Руси, задушенный Малютой в Отрочьем монастыре в Твери? Нет ли в этой преемственности и незыблемости отпечатка вечной истины? Какие неисповедимые пути привели столько православного духовенства сюда, в сложенную из дикого камня твердыню россиян на Севере — седую Соловецкую обитель? Не воссияет ли она отныне новым светом, не прославится ли вновь на длинную череду столетий?

Эти мысли тревожат сознание — веришь и сомневаешься... Отрадно бы обрести опору в трудной жизни — не стояла ли некогда и не выстаивала ли Россия на твердой вере? Или все не так, а попросту — поток революции смыл и похоронил старую Россию, а Церковь словно уцелела, вот и родилась иллюзия, что она способна, как дуб, выстоять в любое лихолетье?..

Прервалось пение на клиросах. Старческий, слегка дребезжащий голос призывает молиться за «страждущих, плененных и сущих в море далече». При этих словах к горлу подступает комок. Да, да, именно про нас: плененные, кругом плещет студеное Белое море... «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Аз успокою вас...» И эти слова заставляют тянуться к некоей благодатной и всемогущей силе, способной защитить, укрыть от захлестнувших мир

зла и насилия. Эти короткие, как приступ головокружения, минуты умиления сменяются возвращением к трезвой оценке бытия... К Евангелию в потемках церкви сквозь притихшую толпу пробирается, набожно крестясь, комендант пересылки Курило, целует образки на переплете...

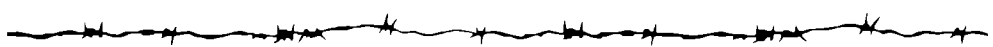
Службы были долгими. Мы выходили из церкви, когда вокруг уже лежал светлый покой летней беломорской ночи. В необычном освещении ряды одинаковых крестов не отбрасывали тени и выглядели призрачными. Непотревоженно лежал под ними столетиями прах почивших в Бозе иноков. Монахи не запускали ни одной могилы — и самой древней; обновляли крест с надписью и холмик. Можно было отслужить панихиду над останками монаха XVI века. Такая преемственность казалась несокрушимой... И становилось страшно. Страшно за будущее своего отечества, своего народа, отлученного от своих отцов — их веры, дел, обычаев, забот...

...Сверкают белизной стены корпусов со средневековыми названиями: Отрочий, Рухлядный, Квасоваренный. Громада соборов Соловецкого ставропигиального монастыря как будто излучает свет. В ограде часть обширных мощеных дворов обращена в цветник с отлично ухоженными клумбами, скамьями вдоль разметенных, посыпанных песком дорожек.

В погожий летний день тут настоящее светское гулянье: прохаживаются и сидят люди с отличными манерами. Они учтиво друг с другом раскланиваются, благовоспитанно разговаривают вполголоса, нередко вставляя французские слова. Если случится пройти тут даме из женбарака, знакомые очень изысканно целуют ей руку. У большинства этих светских людей вид потрепанный и болезненный, на них одежда, обтертая на тюремных нарах, но держатся они чопорно и даже надменно. Это — защитная реакция упраздненных, попытка как-то удержаться на краю засасывающей лагерной трясины, предохранить что-то свое от размывания мутной волной обстановки, прививающей подлую рабскую психологию. Хлипкая внешняя преграда...

Церемонность этих людей только подчеркивает их немощность и обреченность. Здесь бывшие сановники и придворные, бывшие правоведы и бывшие лицеисты, бывшие помещики и офицеры, бывшие присяжные поверенные, кадеты, актеры... Все бывшие, для которых нет будущего.

Я много моложе большинства этих людей — они принадлежат предшествующему поколению — и потому, вероятно, лучше отдаю себе отчет в непоправимости происшедшего. Как-то до меня донеслось: «Мы с вами еще послужим...»



Это, доверительно пожимая локоть собеседника, произнес, заключая разговор, седой, очень благообразный господин в заплатанной куртке английского покроя, бывший дипломат, которого мне потом называли. Нет, невозможно было его представить себе в черном с золотым шитьем мундире царского посла, как уже не вписывались в память золоченые купола монастыря, замененные дощатыми четырехскатными крышами...

В этот мой первый соловецкий срок я не мог в полной мере проникнуться горечью и жутью лагерной жизни. После впечатлений тюрьмы и пересылки настали дни, заполненные делами и интересами, позволявшими отвлечься от бесплодных, трудных раздумий и сожалений. Создался некий внутренний мирок, за пределы которого можно было не заглядывать, — творившееся там словно не касалось меня непосредственно. То была передышка, период иллюзий, отгораживавших от истинного положения. Эти иллюзии питались чисто внешне благоприятными обстоятельствами.

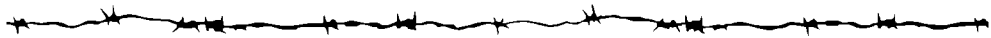
Заботами оставшихся на воле близких и не забывавшего меня посольства я ни в чем не нуждался. Был отлично одет и обут, располагал запасом «бонов» — соловецкой валюты — для лавки, прачки, на прихоти. Пожалуй, никто из соловчан в те поры чаще моего не ходил в контору за посылками.

Работа не требовала особых усилий — я бывал свободен и большую часть присутственного времени. Присвоенные же моей должности prerogatives позволяли невозбранно выходить за зону — ограду монастыря. Более того — бродить по всему острову.

С лишком год после моего водворения на Соловки — до зимы двадцать девятого — тридцатого, открывшейся Варфоломеевской ночью, массовыми убийствами заключенных, — пятьдесят восьмая статья, иначе говоря, «бывшие» в широком значении, не подвергалась последовательной травле. Наоборот, контрики ведали хозяйственными учреждениями, возглавляли предприятия, руководили работами, управляли складами, финансами, портом, санчастью; заполняли конторы. Комендатура — внутренняя охрана лагеря — комплектовалась бывшими военными.

Такое доверие «бывшим» оправдывалось: они не воровали, порученное им выполняли на совесть. И начальство сквозь пальцы смотрело на исподволь отвоевываемые ими для себя привилегии: общие помещения и физическая работа сделались уделом бытчиков. Проштрафившегося или неполюбившегося контрика отправляли на общие работы и поселяли на нарах.

В предоставленную себе лагерную элиту входили люди самых разных сословий и состояний. Исключались из нее одни стукачи. «Падших ангелов» — раз-



жалованных партийных и советских деятелей — в те годы еще не отправляли в лагеря наравне с нами, не было и представителей новой, послереволюционной интеллигенции. По статье 58 УК поступали в подавляющем большинстве одни «бывшие» — дворяне, чиновники, военные, духовенство, принадлежащие торгово-промышленному сословию и прежним интеллигентным профессиям. Принятый в замкнутый соловецкий круг бывал негласно проверяем. Его прошлое, связи, знакомства подвергались просвечиванию.

Мне пришлось испытать это на себе.

...На первых порах встречен я был сочувственно и с доверием. Достаточной рекомендацией служили хлопоты обо мне Осоргина. А скоро нашлись и связующие нити знакомства. Так, бывало, бабушка моя, Елизавета Андреевна Левестам, усаживала рядом с собой гостя и не отпускала, пока не устанавливала общей родни, хотя бы в четвертом колене.

На острове находилось несколько бывших флотских офицеров и гардемарин. С ними мне — правнуку известных адмиралов Лазаревых — было легко установить контакты. Они все знали адмирала Андрея Максимовича Лазарева, двоюродного брата моей матери, его сына моряка Максима, Авиновых и других членов тесного круга военных моряков.

Однако вскоре я стал замечать в обращении со мной холодок, некую уклончивую осторожность. А со стороны некоторых — и подчеркнутую неприязнь. Клубок пришлось распутывать Георгию.

— Сел по бандитской статье и еще удивляется... Как же тут не насторожиться? Ты, может, кассы взламывал... — шутил он, но за «расследование» взялся всерьез. И вот что выяснилось.

Была на Соловках небольшая группа заключенных филологов. Из них ближе я знал Николая Греча, безнадежно больного чахоткой молодого человека, резкого и озлобленного. Сразу после ареста его оставила обожаемая жена, а с приговором — десяткой лагерей — исчезла надежда завершить когда-либо увлекавшее научное исследование.

Все филологи считали, что своим водворением на остров они обязаны Юрию Александровичу Самарину, сотруднику их института, исправно несшему службу осведомителя. Он несусветно оговорил всех на следствии, топил на очных ставках. Греч и его приятели, установив близкие мои связи с семьей Самариных, знакомство с Юшей, как звали Юрия Александровича в московских уцелевших гостиных, заключили: остерегаться надо и меня. Знающему мою подноготную Георгию пришлось, чтобы рассеять распространенное жертвами Юрия Самарина подозрение, поручиться за меня. Впоследствии Греч рассказывал подробности

очных ставок, на которых Самарин уличал своих сослуживцев в контрреволюционных замыслах.

— Слава Богу, — говорил Георгий, — что нет в живых Александра Дмитриевича. Что бы с ним было? Узнать такое о единственном сыне, надежде рода... А каково будет Лизе? Ведь об этом надо дать знать в Москву, предостеречь. И такое могло случиться в семье Самариных!

Действительно, было чему ужасаться. Род этот и впрямь дал России честнейших общественных деятелей. Александру Дмитриевичу Самарину, отцу Юрия, занимавшему несколько месяцев пост обер-прокурора Святейшего Синода, Николай Второй предложил подать в отставку: Самарин не устраивал околораспутинскую камарилью. В Петербурге говорили, что с его уходом в правительстве не осталось ни одного порядочного человека. Московское дворянство поспешило тогда выбрать Александра Дмитриевича своим губернским предводителем.

В семнадцатом году на Соборе Православной Церкви была выдвинута кандидатура Самарина на Московскую митрополичью кафедру. Он не захотел принять постриг — говорили, что из-за дочери Елизаветы, в которой Александр Дмитриевич души не чаял.

Эта удивительная русская девушка едва не с пятнадцати лет взялась за полные тягот и опасностей обязанности связной. С монашками из разогнанных монастырей и верующими женщинами стала ездить по России с одеждой и деньгами, тайно жертвуемыми заточенным и сосланным духовным лицам. И — по стопам воспетых русских женщин — последовала за отцом в якутскую ссылку. Вот только не было у нее заботливо снаряжавшей в путь состоятельной семьи, ни преданной горничной, ни терявшихся перед петербургской аристократкой смотрителей и комендантов... А были — езда в нетопленных вагонах, мешочники и озлобленный люд. Были заградительные отряды с хлебнувшими сладкой безнаказанности плохо говорящими по-русски стрелками...

У брата Лизы не было и сотой доли спокойного мужества сестры. Пожалуй, именно трусость определила падение Юрия. В органах его крепко припутнули. И — страх земной пересилил страх кары небесной! А в семье Самариных неизменно: «без Бога — ни до порога»...

Юша Самарин не пропускал служб. В храме подряд ко всем иконам прикладывался, отбивал перед ними земные поклоны. И со слезами умиления! И как строго он порицал недостаточно чинное стояние в храме, опоздание к богослужению или манкирование поцелуем руки подающего крест священника! Перед ним и значительно более искушенный в церковностях человек, чем я, должен был чувствовать себя оглашенным. ...Боже! Суд Твой Цареве даждь!

...Что бы ни меняли на Соловецких островах новые люди, какие бы порядки ни заводили, как бы противоположны ни были цели и задачи пришельцев вековому назначению монастыря, — перед находившимся в те годы в лагере русским человеком лежала открытой летопись отвергнутых путей России.

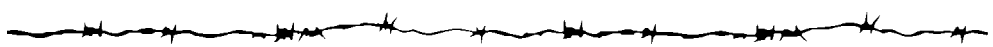
...В глубь нетронутых лесов, вдоль берегов разбросанных по острову бесчисленных озер шли обставленные крестами тропы. Вели они к потаенным скитам, где длинные годы молились и спасались старцы... Здесь в двадцатом веке продолжалось начатое еще в Киевской Руси. Здесь жили легенды о Сергии Радонежском, Кирилле Белозерском, Нилах и Пафнутиях, Иосифах, рубивших в глухих дебрях кельи, расширявших границы Православия и русской государственности.

Каждая пядь соловецкой земли, каждый монастырский камень говорили о горстках подвижников, радевших о духовности. Подвиг веры сочетался с трудами, приносившими земные плоды. Тысячи и тысячи богомольцев — мужиков архангельских, вятских, олонецких, пермских, со всего Севера России — встречали здесь своих земляков. Видели их, в подрясниках, скуфьях, ухаживающими за скотом, возделывающими землю, искусных рыбаков и плотников, мореходцев, гончаров, кожевников, скорняков, каменщиков...

И я ходил по острову, как по огромному музею истории моего народа, исполненной тягот, опасностей и свершений.

В надвратной Благовещенской церкви и в бывших покоях настоятеля было выставлено средневековое оружие — бердыши, пищали и протазаны. Соловецкий игумен был одновременно и комендантом крепости с гарнизоном из монахов, обученных ратному делу.

...Неподалеку от гавани на морском берегу лежит Переговорный камень. По преданию, на этом месте настоятель твердо отверг предложение англичан сдать осажденную обитель. Высадить десант и брать штурмом отчаянных Божьих иноков бритты не решились. И ограничились бомбардировкой с моря. От гранитных стен ядра отскакивали горошинами. Следы их монахи обозначили кружками. Память о вкладе Соловков в оборону отечества... А монахи рассказывали паломникам, что споспешествовали обороне и чайки, густыми стаями налетавшие на вражеские корабли и криками своими и обильным испусканием помета сеявшие растерянность и смущение в рядах неприятелей. И подводили к фреске, украшавшей изнутри шатер над криницей: по палубе, преследуемые огромными птицами с широко разверстыми клювами, метались brave артиллеристы королевы Виктории в испачканных мундирах и с залепленными белыми потеками лицами.



В глубине острова, меж лесистых горok и затененных ложбин, дремали тихие каналы. Берега их и шлюзы, выложенные замшелыми камнями, были укреплены вечными лиственничными рядами. Каналами монахи соединили цепь озер для сплава бревен. И по всему рукотворному водотоку развели красную рыбу и хариусов.

Вдоль Святого озера тянулись огороды, ряды длинных монашеских теплиц. На тучных пастбищах острова Большая Муксалма паслись крупные породистые коровы — остатки стада, за которые Соловецкий монастырь награждался медалями Императорского общества поощрения племенного животноводства. Этот остров километровой дамбой, сложенной из каменных глыб, соединялся с главным, где был монастырский кремль.

А на Малой Муксалме, входящей в Соловецкий архипелаг, до лагерного времени вольно жили лапландские олени, выпущенные еще при игумене Филиппе.

На пустынном морском берегу мне доводилось видеть небольшую артель рыбаков-монахов, заводивших тяжелый морской невод. Делали они все молча, споро и слаженно — десяток бородатых пожилых мужчин в подпоясанных подрясниках и надвинутых до бровей скуфьях. Самодельные снасти, карбасы, на каких плавали новгородцы; исконная умелость этих рыбаков, слитых с набегавшими студеными волнами; каменистая полоса прибоя, и за ней — опушка из низких, перекрученных ветрами березок... Все в этой картине от века: древнейший промысел, отражавший прочные связи человека с природой, да еще освященный евангельским преданием... Нет, не суждено было этим мирным русским инокам стать апостолами. Однако они уже познали полную меру тревог и преследований, и оставались считанные дни до изгнания их с острова. И — кто знает? — не ожидали ли их там, на материке, как прославленного соловецкого игумена Преосвященного Филиппа, современные Малюты Скуратовы?

Я бродил по окрестностям монастыря, простаивая возле покрытых славянской вязью крестов, огромных, в два-три человеческих роста. Их ставили по обету или в память события, отметившего вехой размеренные монастырские будни. Входил в заброшенные часовни с остатками скромного убранства, уже разгромленные, уже оскверненные. В одной из них древнее распятие послужило мишенью для стрельбы. Расщепленное и развороченное пулями дерево светлело из-под краски.

У стены Преображенского собора уцелели две могильные плиты. Под одной — останки Авраамия Палицына. Имя келаря Троице-Сергиевой лавры сразу переносило в тяжкие годы Смуты и говорило о преданности русскому делу. Рядом — могила последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра

Кальнишевского, заточенного в монастырь при Екатерине II. Неподдельные свидетельства истории...

Под сводами церкви над Святыми воротами и в примыкающих настоятельских покаях был устроен небольшой музей. Немногочисленный персонал его — заключенные, в большинстве научные работники, занимавшиеся и на воле русской историей. Находки в не полностью разгромленных монастырских архивах и ризницах лишали их сна.

Среди этих увлеченных была сотрудница Эрмитажа, дама забальзаковского возраста, подлинный синий чулок. Она, по собственному признанию, беспокоилась лишь о том, чтобы успеть уложиться в свой трехлетний срок и довести до конца особенно важные описи. Стопы рукописных книг в кожаных переплетах с медными застежками отгораживали ее глухой стеной от лагерных тревог, приносили ощущение причастности большому нужному делу — где бы его ни делать!

Но вот на блеклом и холодном горизонте этой старой девы забрезжил огонек, суливший ей свою долю радости.

В музее работал молодой человек — замкнутый, воспитанный и, как легко угадывалось, очень одинокий, без сохранившихся живительных связей с волей. Ему была очень кстати заботливая утешительница, к тому же взявшая на себя попечение о его мелких нуждах холостяка, для которого стирка платка и штопка носков вырастают в проблему.

Не хочу гадать о том, как далеко зашли их отношения. Знаю лишь, что она, никогда не ведавшая ответной любви, сильно привязалась к потерпевшему крушение, по-детски беспомощному человеку. Синий чулок расцвела. Непривлекательная внешность ее почти не замечалась: женщина, впервые по-настоящему полюбившая, не бывает дурнушкой.

Предмет ее стал еще больше сторониться людей и проводил все время в музее. Но вид его являл заботу пристрастных женских рук. Знавшие эту пару, не сговариваясь, опекали ее как могли. Что в лагерных условиях означало: ничего не замечать, молчать и по возможности способствовать уединению.

Но как бы сказали в старину, создание врага рода человеческого — лагерь, порожденный силами зла, — по природе своей не способен вместить начал добра и счастья. Нашлись завистники — из тех, кому непереносимо терпеть соседа, в чем-либо более удачливого, благополучного. И донос сделал свое дело.

Возлюбленный был схвачен среди ночи в общежитии и увезен на Заяцкие острова — в дальнюю командировку, носящую ярлык штрафной. Гибельные эти острова предвосхитили гитлеровские Vernichtungslager — лагеря уничтожения.

Ее оставили в покое, тем усугубив отчаяние. Легче было бы самой подвергнуться преследованиям, чем думать о неразделенных испытаниях дорогого человека, брошенного в барак с бандитами и охраняемого садистами... Мало сказать, что она погасла: за рабочим столом, заваленным книгами, сидел сломленный, опустошенный человек...

Через некоторое время Георгию и его другу Александру Александровичу Сиверсу удалось вытащить с Зайчиков пострадавшего за «половую распущенность» — таким подлым языком определялись подобные нарушения лицемерного лагерного пуританизма — и перевести на муксалмскую ферму, в относительно сносные условия. Это несколько взбодрило сразу постаревшую,двигающуюся как автомат несчастную его приятельницу.

Как-то, стоя возле меня, разглядывавшего вериги — массивные, грубо выкованные кресты, цепи и плашки с шипами, какие носили, смиряя плоть, монахи, надевая их поверх власяницы, а то и на голое тело, она тихо сказала:

— Легче бы их носить, — и отошла.

Кстати — о Сиверсе. По делу о лицеистах он был приговорен к расстрелу, замененному десяткой. В лагере возглавлял один из хозяйственных отделов управления. А потом...

Искалеченные, растоптанные судьбы... Вороха горя и унижений, долгие годы издевательств, жестокости, пыток, убийств. Как поверить, что ими утверждаются высокие идеалы!

...Иногда Георгий уводил меня к епископу Илариону, поселенному в Филипповской пустыни, верстах в трех от монастыря. Числился он там сторожем. Георгий уверял, что даже лагерное начальство поневоле относилось с уважением к этому выдающемуся человеку и разрешало ему жить уединенно и в покое.

Дни короткого соловецкого лета пригожи и солнечны. Идти по лесу — истинная радость. Довлевшие каждому дню заботы — позади, а природа с ее неподвластной нам жизнью захватывала нас. Всполошно взлетали из-под ног выводки рябчиков. Нетронутые, алели в гуще подлеска яркие северные пионы. Перепархивали молчаливые таежные птицы. Обдавали запахи хвои и трав. Глухари склевывали на дороге камушки...

Преосвященный встречал нас радушно. В простоте его обращения были приятие людей и понимание жизни. Даже любовь к ней. Любовь аскета, почитавшего радости ее ниспосланными свыше.

Мы подошли к его руке, он благословил нас и тут же, как бы стирая всякую грань между архиепископом и мирянами, прихватил за плечи и повлек к столу.

Приветливый хозяин, принимающий приставших с дороги гостей. И был так обходителен, так славно шутил, что забывалось о его учености и исключительности, выдвинувших его на одно из первых мест среди тогдашних православных иерархов.

Мне были знакомы места под Серпуховом, откуда был родом владыка Иларион. Он загорался, вспоминал юность. Потом неизбежно переходил от судеб своего прежнего прихода к суждениям о церковных делах России.

— Надо верить, что Церковь устоит, — говорил он. — Без этой веры жить нельзя. Пусть сохранятся хоть крошечные, еле светящиеся огоньки — когда-нибудь от них все пойдет вновь. Без Христа люди пожрут друг друга. Это понимал даже Вольтер... Я вот зиму тут прожил, когда и дня не бывает — потемки круглые сутки. Выйдешь на крыльцо — кругом лес, тишина, мрак. Словно конца им нет, словно пусто везде и глухо... Но «чем ночь темней, тем ярче звезды...» Хорошие это строки. И как там дальше — вы должны помнить. Мне, монаху, в пору Писание знать.

Илариону оставалось сидеть около года. Да более двух он провел в тюрьме. И, сомневаясь, что будет освобожден по окончании срока, он готовился к предстоящей деятельности на воле. Понимая всю меру своей ответственности за «души человеческие», Преосвященный был глубоко озабочен: что внушать пастве в такие грозные времена? Епископ Православной Церкви должен призывать к стойкости и подвигу. Человека же в нем устрашало предвидение страдания и гонений, ожидающих тех, кто не убоится внять его наставлениям.

Тогда уже укрепилась «живая» церковь — красная, как ее прозвали, непостижимо примирявшая Христа с властью антихриста. Соблазны живоцерковников таили величайшую опасность для веры. Именно ее судьбы тревожили владыку. О себе он не думал и был готов испить любую чашу.

Мы не засиживались, зная, как осаждают нашего хозяина посетители. Друзья старались ограничить их наплыв. Популярность Преосвященного настораживала начальство, и можно было опасаться расправы. Через Георгия Иларион поддерживал связь с волей, и тот приходил к нему с известиями и за поручениями.

И короткая беседа с Иларионом ободряла. Так бывает, когда общаешься с человеком убежденным, умным и мужественным. Да еще таким стойким: власть стала преследовать владыку, лишь только повела наступление на Церковь. Иначе говоря, едва осмотревшись после октябрьского переворота.

...Полстолетия — срок немалый для человеческой памяти. В ней то выпукло и даже назойливо всплывает будничным мусор, то — невосполнимый провал,

темнота... Тщетно пытаешься вытащить на свет важное звено пережитого. И кажется порой лишенным смысла кропотливый труд, предпринятый как раз с тем, чтобы дать потомкам правдивое свидетельство очевидца...

Я писал, что первый срок на Соловках отбыл легко. Наполненность жизни отгораживала меня от судеб большинства солагерников. Но не подвох ли это памяти? Не результат ли сопоставления с последующими окаянными днями? С годами, неизмеримо более трудными, растоптавшими первоначальную стойкую надежду на счастливые перемены и недолговечность выпавших на мою долю передрыг?

Или участник событий не способен ощутить их подлинные масштабы, оценить всесторонне и разбирается в них по-слепому?

...В конце пятидесятих годов, уже выпущенный из лагерей, я отправился в места, где, казалось мне, наверняка нападу на следы своего прошлого. Найду, к чему привязать самые сокровенные воспоминания о детстве, составлявшем продолжение жизни отцов и дедов, детстве, органически спаянном с прежней Россией, откуда почерпнуты ощущения мира и исконные привязанности.

Что за горькое паломничество! На месте усадьбы — поле, засеянное заглушенным сорняками овсом; где темнел старый бор — кусты и рассыпавшиеся в прах пни; возле церкви, обращенной в овощехранилище и облепленной уродливыми пристройками, — выбитая скотом площадка со сровненными с землей семейными могилами... Ничего не узнать! Неприкаянным и бесприютным обречено блуждать и дальше бесплотное, уже не привязанное к земному реперу⁶ воспоминание.

Невозможность подтвердить показания памяти смущает. О тех бедах — нет справочников, доступных архивов. Нагроможденная ложь похоронила правду и заставила себя признать. Как глушилки пересиливают в эфире любой мощи передачу, так торжествует настойчивый и беззастенчивый голос Власти, объявившей небывшим виденное тобой и пережитое, отвлекающей от своих покрытых кровью рук воплями о бедах народов других стран! Эту теснящую тебя всей глыбой объединенных сил государства ложь подпирают и приглядно рядят твои же соотечественники по перу. Пораженный чудовищностью проявляемого лицемерия, сбитый с толку наглостью возглашаемой неправоты, ощупываешь себя: не брежу ли сам? И не привиделись ли мне ямы с накиданными трупами на Соловках, застреленные на помойках Котласской пересылки, обезумевшие от голода, обмороженные люди, «саморубы» на лесозаготовках, набитые до отказа камеры смертников в тульской тюрьме... Мертвые мужики на трамвайных рельсах в Архангельске...

⁶ Знак, исходная точка (фр.)

Все это не только в голове, но и на сердце. А перед глазами — статьи, очерки в журналах, целые книги, вздох рассказывающие, с каким энтузиазмом, в каком вдохновенном порыве устремлялись на Север по зову партии тысячи комсомольцев строить, осваивать, нести дальше в глубь безлюдия светлое знамя счастливой жизни... Смотрите: возведены дома, выросли целые поселки, города, протянулись дороги — вещественные свидетельства героического труда! Над просторами тундры и дремучей тайги эхом разносится: «Слава партии! Слава коммунистическому труду!»

Не следует думать, что эти переполненные восторгами писания — плоды пера невежественных выдвигенцев, провинциальных публицистов или оголтелых, нерассуждающих «слуг партии» — отнюдь нет! Авторы их — уважаемые члены Союза писателей, отнесенные к элите, к цветку советской интеллигенции, глашатаи гуманизма и человечности. Они начитаны и подкованы на все случаи жизни. Это позволяет им вовремя перестраиваться — с тем чтобы всегда оставаться на плаву, не растеряться и при самых крутых переменах. Надобно было — публиковали статьи в прославление «великого вождя», превозносили Павленко с его «Счастьем», возвели в корифеи пера автора «Кавалера Золотой Звезды»... Переменился ветер — не опоздали с «Оттепелями», а затем и сборниками, курившими фирмам новому «кормчему»... После его падения какое-то время принюхивались, чем запахло. И, учуяв, что восприимчику угодно какое-то время поскромничать, стали хором восхвалять коллективную мудрость руководства и на досуге переругиваться между собой, забавляя публику неосторожными попреками в «беспринципности»...

Нечего говорить, что все эти «инженеры человеческих душ», благополучно пережившие сталинское лихолетье, были превосходно осведомлены о лагерной мясорубке и, пускаясь в дальние вояжи по новостройкам, отлично знали — знали как никто! — что путь их через болота и тундру устлан костями на тысячах километров... Знали, что огороженные ржавой колючей проволокой, повисшей на сгнивших кольях, площадки — не следы военных складов; что обвалившиеся деревянные постройки — не вехи триангуляционной сети, а вышки, с которых стреляли в людей. Видели на Воркуте распадки и лога, где расстреливали из пулеметов и закапывали сотнями «оппозиционеров»... И среди них — прежних их знакомцев и приятелей по московским редакциям...

И вот писали — честным пером честных советских литераторов свидетельствовали и подтверждали: не было никогда никаких воркутинских или колымских гекатомб⁷, соловецких застенков, тьмы погибших и чудом выживших, ис-

⁷ Жертвоприношений (др. греч.).

калеченных мучеников. И весь многолетний лагерный кошмар — вражьи басни, клевета...

...Я в Переделкине, под Москвой. Иду по дороге, огражденной с обеих сторон заборами писательских дач. Мой спутник, Вениамин Александрович Каверин, издали узнав идущих навстречу, тихо предупреждает:

— Я с ним не кланяюсь...

Мы поравнялись и молча разминулись с высоким и грузным, слегка сутулившимся стариком, поддерживаемым под руку пожилой мелкой женщиной с незапоминающимися, стертыми чертами. Зато бросались в глаза и врезались в память приметы ее спутника: неправильной формы, уродливо оттопыренные уши и тяжелый тусклый взгляд исподлобья. В нем — утрюмая пристальность и насто-роженность: выражение преступника, боящегося встречи со свидетелем, потре-воженного стуком в дверь интригана, строчащего донос. Испуг — и готовность дать отпор, куснуть; вызов — и подлый страх одновременно. В крупных застыв-ших чертах лица и взгляде старика, каким он скользнул по мне, — недоверие и враждебность: их вызывает встреча с незнакомцем у людей подозрительных.

Это был земляк и сверстник Каверина, вошедший одновременно с ним в группу писателей из провинции, осевших в начале двадцатых годов в Москве, которых приручал и натаскивал Горький, тогда уже достаточно перетрусивший и соблазненный кремлевскими заправками, чтобы стать глашатаем насилия, ли-цемерно оправдываемого демагогическими лозунгами, — Валентин Катаев, одна из самых растленных лакейских фигур, когда-либо подвизавшихся на смрадных поприщах советской литературы.

*«Черт возможности такой не упустил, —
Смердякова с Свидригайловым скрестил...»⁸*

Нелегко было, вероятно, Каверину порвать с прежним попутчиком. В этом — мера низости автора «Сына полка» и «Белеющего паруса»: уж если деликатный и мягкий Каверин решил не подавать ему руки... Впрочем, Каверин, если в книгах своих и воспоминаниях старается замкнуться в цитадели «чистого искусства», отгораживающей от критики порядков, не позволяет себе судить о поли-тике, то поступками своими — выступлениями в защиту гонимых, действенным сочувствием к жертвам травли — подтвердил репутацию честного и достойного человека.

В среде советских литераторов, где трудно выделиться угодничеством и изъ-явлениями преданности партии, Катаев все же превзошел своих коллег. Ему нужно было сначала заставить простить себе отца-офицера и собственные пого-

⁸ Автор этой хлесткой эпиграммы на В. Катаева, если не ошибаюсь, В. Лифшиц.

ны в Белой армии, потом — добиться реальных благ, прочного положения. Ради этого в возрасте, когда, по старинному выражению, пора о душе думать, Катаев не гнушался, взобравшись на трибуну, распинаться в своей пылкой верности поочередно Сталину—Хрущеву—Брежневу, обливать помоями старую русскую интеллигенцию, оправдывать любое «деяние» власти — хотя бы самое тупое и недальновидное, — внести посильную лепту в охаивание травимого, преданным псом цапнуть того, на кого науськивают, лгать и лицемерить, льстить без меры. Глухой к голосу совести, не понимающий своей неблагоприятной роли, брезгливости, с какой обходят его прежние знакомые, Катаев тем более возмущает чувство справедливости, что ему было дано от рождения во всем разбираться и понимать: не неграмотным деревенским пареньком встретил он революцию, не могла она обольстить его. С открытыми глазами оправдывал он насилие и клеймил его невинные жертвы. Со всей силы таланта...

Но нет ныне Лермонтовых, способных бросить негодям в лицо «железный стих, облитый горечью и злостью». Да и прошли давно времена, когда бесчестье угнетало человека: понятие это скинуто со счета. Во всяком случае, в кругу современных «толпящихся у трона» литераторов.

Дивиться ли тому, что ныне пишут о Соловках, куда зазывают рекламные туристские проспекты... «Спешите посетить жемчужину Беломорья, живописный архипелаг с уникальными памятниками водчества!»

И высаживаются толпы посетителей с пассажирских лайнеров в бухте Благополучия, изводят километры пленки, восхищаются, даже проникаются чем-то вроде изумления перед циклопической кладкой монастырских стен. И — разумеется — слава партии, обратившей гнездо церковного мракобесия в привлекательный туристский аттракцион!

Кто это взывал к теньям Бухенвальда? Кто скорбным голосом возвещал о стучащем в сердце пепле Освенцима? Почему оно осталось глухо к стонам и жалобам с острова Пыток и Слез? Почему не велит оно склонить обнаженную голову и задуматься над долгим мартирологом русского народа, столбовой путь которого пролег отсюда — с Соловецких островов?..

Мне видятся они погруженными в Пифагорову тень, окутанными, как саваном, мертвящим мраком, удушающим и глухим: загублены, повергнуты справедливость, правда, человеколюбие, милость, сострадание... Тихая монашеская обитель, прибежище веры и горстки мирных иноков с мозолистыми руками, обратилась в поприще насильников, содрогается от брани и залпов, сочится кровью и муками. Это ли не знаменье и символ времени?

Я, сотрудник санчасти, проникаю к ним беспрепятственно. Вахтер у входа в больницу даже не интересуется, почему я зачастил туда. Между тем я делаю то, что стоит поперек планов начальства: сломить мусаватистов, разбив их на разобщенные группы. Мне же удастся доставлять в больницу записки и устные послания от развезенных по дальним командировкам, а из больницы — переправлять указания главаря голодной забастовки, старосты всей партии мусаватистов. Эти связи ободряют протестантов, в них источник силы, мужества.

Уже более двух недель ими держится голодовка. Это отчаянная, но безнадёжная и оттого ещё более высокая попытка отстоять статус «политических», избавленных от обязательных общих работ.

На первых порах все мусаватисты были поселены вместе — в один из старых монастырских корпусов, переименованных в роты, — и оставлены в покое. Но такое положение слишком противоречило целям лагеря и настроениям начальства: именно в этот период на смену «кустарничеству» приходила заново разработанная крупномасштабная карательная политика. И мусаватистов попробовали заставить врасплох: вывели на двор как бы на проверку и... передали нарядам. Произошли свалки и соблазнительные для всей прочей серой скотинки сцены... От лобового наскока пришлось отказаться.

В некую ночь оперативники и мобилизованная военизированная охрана, включая самых главных начальников, переарестовали всех мусаватистов и развезли их в Савватьево, Ребалду, на Муксалму — кого куда. И там стали выволакивать на работу. Мусаватистам удалось потаенно снестись. И в один день и час они объявили голодовку по всему лагерю.

Около пятидесяти мусаватистов были оставлены в кремле.

На одиннадцатый или двенадцатый день голодовки всех их перевели в палаты бывшего монастырского госпиталя, освобожденные от больных. Врачей обязали следить, чтобы голодающие тайно не принимали пищу; приставили караул, подсылали уговаривать, нащупывали — не найдутся ли раскольники... В общем, начальство тянуло, ожидая указаний из Москвы, как поступить с тремя сотнями бунтарей.

Нечего говорить, что мы им сочувствовали и желали успеха, хотя и жило в нас сложное чувство неприятия разницы между нами: с какой стати их режим должен отличаться от нашего? Ведь и мы не уголовные преступники, а такие же «политические», как и они.

— Такие, да не такие, — говорил Георгий. — Они вон как все дружны и согласны. Мы же — каждый за себя и про себя, да ещё кто в лес, кто по дрова...

И потом, перебит хребет, не стало мужества. Они открыто заявляют: мы не признаем большевиков и стоим за свои порядки для своего народа. А приступи к любому из нас? Ведь вилять станет, отвечать с оговорочками: «Помилуйте, я за советскую власть, вот только тут меня маленько обидели...» — и начнет о какой-нибудь ерунде канючить... Вот и можно нас, наравне с урками, тыкать «в ус да в рыло», — закончил неисправимый поклонник Дениса Давыдова.

Отмечу, что хотя Осоргин и говорил обо «всех», сам с превеликой твердостью заявлял на допросах: «Монархист и верующий».

...Они лежали молчаливые, сосредоточенные, в каком-то напряженном покое. Я пробирался меж коек к моему Махмуду, всем существом чувствуя на себе пристальность провожающих меня с подушек взглядов — строгих и отчужденных. Большинство мусаватистов было настроено стоять до конца. Добровольно обрекшие себя на смерть смотрели на меня как на чужого человека, находящегося от них по другую грань жизни. Пусть и знали, что пришел друг.

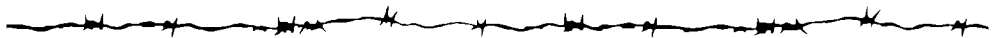
Махмуд был все так же приветлив и улыбался, словно и не было губельного поединка и на душе его — мир и покой. На мои встревоженные вопросы он отвечал лишь неопределенным, типично восточным жестом приподнятой руки. Избегая прямого ответа, говорил чуть шутливо: «Все в руках Аллаха», — и решительно отклонял мои передаваемые шепотом предложения спрятать под подушку кулек наколотого сахара.

В борьбе с бесчестным противником допустимы любые приемы защиты — с этим Махмуд был согласен. Но нельзя не делить общей участи, не быть честным по отношению к товарищам.

Пожалуй, по лихорадочному блеску глаз и потрескавшимся губам можно было угадать, что эти так тихо и спокойно лежащие люди про себя борются с искушением отодвинуть вставший вплотную призрак конца. Многим из голодающих, жестоко пострадавшим в бакинских застенках, приходилось тяжело — их, изнуренных, покрытых холодным потом, уже крепко прихватила чахотка. Некоторые бредили...

Их все-таки сломили. Обещали — приходил к ним сам начальник лагеря Эйхманс — дать работу по желанию и вновь поселить всех вместе. Тут же принесли еду — горячее молоко, рис.

Само собой — обманули... Знали, что у человека, ощутившего счастье перехода на рельсы жизни после трехнедельного соскальзывания в тупик смерти, уже не хватит духа вновь с них сойти... Не поддались лишь староста мусаватистов и несколько его ближайших друзей. Мы с Георгием пытались их уговорить.



— Я решил умереть, — твердо сказал нам староста. — Не потому, что разлюбил жизнь. А потому, что при всех обстоятельствах мы обречены. Большинство из нас не переживет зиму — едва ли не у всех туберкулез. Оставшихся все равно уничтожат: расстреляют или изведут на штрафных командировках. На какое-то время спасти нас мог бы перевод в политизолятор. Да и то... Мы и на Соловки-то привезены с тем, чтобы покончить с остатками нашей самостоятельности. В Баку мы для них — реальные и опасные противники... Но не стоит об этом. Мы и наши цели слишком обогнаны, чтобы я мог коротко объяснить трагедию своего народа... — Он закрыл глаза и долго молчал. На осунувшемся его лице мы прочли волю человека, неспособного примириться с отвергаемыми совестью порядками. — Так уж лучше так, не сдавшимся.

Напоследок он пошутил:

— Я потребовал перевода с острова... в солнечную Шемаху! Случится мимо ехать — поклонитесь милым моим садам, кипарисам, веселым виноградникам... Прощайте, друзья: таких русских, как вы, мы любим.

Я не помню имени этого героя азербайджанского народа, хотя не забыл его черты: высокий, смуглый красавец с открытым лбом над густыми бровями и умным внимательным взглядом. Знаю, что был он европейски образован, жил в Париже и Вене.

Вскоре после прекращения общей голодовки его и трех оставшихся с ним товарищей увезли в бывший Анзерский скит, обращенный в штрафное отделение. Все они там один за другим умерли — староста на пятьдесят третий день голодовки. Говорили, будто их пытались кормить искусственно и кто-то из них вскрыл себе вены... Остальные мусаватисты рассосались, потонули во все растущей массе заключенных. О них не стало слышно.

Спустя несколько месяцев дал знать о себе Махмуд. Я ходил к нему в Савватьево, где какие-то доброхоты устроили его на молочную ферму учетчиком.

В последний раз, что я его навестил, он, словно предчувствуя, что больше встретиться нам не суждено, проводил меня довольно далеко. Мы шли по укатанной лесной дороге, над головой плыли низкие грузные тучи, то и дело сыпавшие колючей снежной крупой, тут же таявшей на земле, — стояли темные, ненастные октябрьские дни. Махмуд вспоминал теплую карабахскую осень, просвечивающие на солнце грозди винограда, соседок, собравшихся в его доме перед праздником, чтобы помочь перебрать рис для плова... Он крепился, подкивал высказываемым мною надеждам: «Не может быть, чтобы не пересмотрели приговор, так долго продолжаться не может!» — и зябко засовывал руки поглубже в рукава овчинной шубенки. Шел Махмуд медленно, чтобы не задо-

хнуться. Мы на прощание обнялись, и я ощутил под руками птичью хрупкость его истощенного тела.

Оглядываюсь на мою длинную жизнь — я это вписываю в 1986 году — и вспоминаю случаи, когда я чувствовал свою вину русского из-за принадлежности к могучему народу — покорителю и завоевателю, перед которым приходилось смиряться и поступаться своим, национальным. Так было в некоторые минуты общения с паном Феликсом, много спустя — при знакомстве с венгерским студентом. Но особенно, когда развернулась перед глазами трагическая эпопея мусаватистов: словно и я был участником насилия над слабейшим!..

Подходили к концу темные месяцы моей первой соловецкой зимовки. Солнце стало дольше задерживаться в небе, подыматься выше, и в наши будни проникли предчувствия весеннего оживления: словно с открытием навигации и освобождением острова от льдов и в судьбах заключенных непременно произойдут какие-то сдвиги. И уж, разумеется, в добрую сторону. В пустовавшем зимой сквере между Святительским и Благовещенским корпусами стали вновь задерживаться, а то и, поманенные обманчивым солнечным пригревом, посиживать на лавках заключенные, более всего обитатели сторожевой роты — духовенство, свободное от дежурств. Чернели сутаны собравшихся тесной кучкой католических священников. Они держались особняком, редко когда по своей инициативе заводили разговоры с нашими батюшками. Пан Феликс, завидев меня, тотчас покидал своих и подходил ко мне.

Мы встретились с ним на острове как старые друзья. Был он устроен сносно: через сутки дежурил у какого-то склада, получал от Красного Креста посылки и деньги. Мы уже не возобновляли наших польских чтений, но беседовали подолгу. Большею частью у меня в келье, за мирным чаепитием.

Однако чувствовалось, что пана Феликса гложут тревоги, от которых здесь ему труднее отвлечься, чем в Бутырках. Не сбывались надежды на заступничество польского правительства или Ватикана, какими поманило свидание с польским дипломатом накануне отправки из тюрьмы. Католические священники убеждались, что уповать им не на кого: они целиком в руках власти, взявшейся искоренить их влияние.

Ксендзы, объявленные эмиссарами вражеского окружения и шпионами, преследовались особенно настойчиво. Как ни скудно проникали известия на остров, пан Феликс по редким письмам своих прихожан, писавших иносказательно и робко, догадывался о ссылках и арестах самых близких ему людей, обвиненных в связях с ним — агентом Пилсудского!

Тоска... Ни одно из предчувствий пана Феликса не обмануло его.

Как-то под утро в кельи сторожевой роты ворвался отряд вохровцев. Они перехватывали спавших польских ксендзов — около пятнадцати человек. Едва дав одеться, вывели и, связав им руки, посажали на телеги и под конвоем увезли в штрафной изолятор на Заяцких островах.

Участь ксендзов разделил тогда и Петр, епископ Воронежский. То была месть человеку, поднявшемуся над суетой преследований и унижений. Неуязвимый из-за высоты нравственного своего облика, он с метлой в руках, в роли дворника или сторожа, внушал благоговейное уважение. Перед ним тушевались сами вохровцы, натасканные на грубую наглость и издевку над заключенными. При встрече они не только уступали ему дорогу, но и не удерживались от приветствия. На что он отвечал, как всегда: поднимал руку и осенял еле очерченным крестным знамением. Если ему случалось проходить мимо большого начальства, оно, завидев его издали, отворачивалось, будто не замечая православного епископа — ничтожного зэка, каких, слава Богу, предостаточно...

Начальники в зеркально начищенных сапогах и ловко сидящих френчах принимали независимые позы: они пасовали перед достойным спокойствием архипастыря. Оно их принижало. И брала досада на собственное малодушие, заставлявшее отводить глаза...

Преосвященный Петр медленно шествовал мимо, легко опираясь на посох и не склоняя головы. И на фоне древних монастырских стен это выглядело прощеским видением: уходящая фигура пастыря, словно покидающего землю, на которой утвердилось торжествующее насилие...

Епископа Петра схватили особенно грубо, словно сопротивляющегося преступника. И отправили на те же Зайчики...

За свою лагерно-тюремную карьеру я не раз бывал запираем в камеры с уголовниками, оказывался с ними в одном отделении «столыпинского» вагона или в трюме этапного парохода. Трудно передать, как страшно убеждаться в полной беспомощности оградить себя от насилия, от унижительных испытаний, не говоря о выхваченной пайке и раскуроченном «сидоре». Еле теплится надежда, что надзиратель или конвоир, в какой-то мере отвечающий за жизнь этапиремых, вовремя вмешается.

Случалось, правда, и не так редко, что таких, как ты, крепких и не робких, подбиралось несколько человек. И тогда удавалось не только отбиться от уголовников. До сих пор с мстительным наслаждением вспоминаю эти очистительные побоища, загнанных под нары избитых, скулящих и всхлипывающих «блатарей».

Но отчаянна была участь слабых, пожилых, одиноких — даже в тюрьмах и на этапах с упомянутой мною тенью заступы охраны. Ее и признака не могло быть на Заяцких островах, где вохровцы боялись заходить в барак к заключенным. И там долю вброшенного к штрафникам интеллигентного человека, тем более немощного, тем более кроткого нравом духовного лица, я опять сравню с долей христиан, вытолкнутых на арену цирка к хищным зверям. Позади — палачи с бичами и заостренными палками; впереди — клыкастые пасти со смрадным дыханием. Вот только тигры и львы были милосерднее: не терзали подолгу свои жертвы. Штрафникам с Заяцких островов — матерым убийцам и злодеям, татуированным рецидивистам — была полная воля издеваться, бить, унижать: они знали, что охрана не заступится. Потому что «фраеров» швыряли к ним для уничтожения...

...Та моя первая, «благополучная», соловецкая зима оказалась последней для якутов, перед самым закрытием навигации большой партией привезенных на остров.

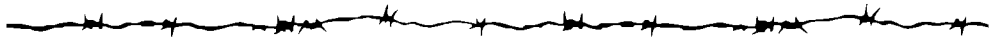
Ходили слухи о подавленном в Якутии восстании, но проверить эти туманные новости было нельзя: якуты не понимали или не хотели говорить по-русски и ко всем «не своим» относились настороженно, отказываясь от всякого общения. От тех, кто мог добыть сведения в управлении, узналось, что на Соловки привезли состоятельных оленеводов — тойонов, владевших многотысячными стадами.

По мере проникновения советской власти глубже на Север якуты откочевывали все дальше, в малодоступные районы тундры, спасаясь от разорения, ломки и уничтожения своего образа жизни и обычаев. За ними охотились и ловили тем рьянее, что у них водились золото и драгоценные меха. Их расстреливали или угоняли в лагерь.

Якутов скосила влажная беломорская зима и отчасти непривычная еда. Они все — до одного! — умерли от скоротечной чахотки.

...Иногда волна расправ лизала самый мой порог. Так, неожиданно был схвачен и увезен на Секирную гору⁹ близкий мой знакомый и сосед по келье Эдуард Эдуардович Кухаренок — средних лет инженер-путеец. Считался он незаменимым: высококвалифицированный спец, руководивший прокладкой островной узкоколейки.

⁹ Нет, вероятно, надобности здесь описывать этот ставший известным на весь мир застенек на Соловках. Его хорошо знают по другим публикациям. Для тех же, кто сидел на острове, не было страшнее слова. Именно там, в церкви на Секирной горе, достойные выученики Дзержинского изобретательно применяли целую гамму пыток и изощренных мучительств, начиная от «жердочки» — тоненькой перекладки, на которой надо было сидеть сутками, удерживая равновесие, без сна и без пищи, под страхом зверского избияния, до спуска связанного истязуемого по обледелым каменным ступеням стометровой лестницы: внизу подбирали искалеченные тела, с перебитыми костями и проломленной головой. Массовые расстрелы также устраивались на Секирной.



В этом человеке были сильны предубеждения подлинного специалиста, отлично знающего свое дело, к невежественным руководителям, некая кастовая исключительность, не допускавшая малограмотного вмешательства в его работу. При смелом характере и остром языке он умел посадить в лужу, ядовито оппорить и доказать как дважды два несостоятельность распоряжений «гражданина начальника». Но более всего самонадеянный инженер досаждал тем, что не давал лютовать, энергично осаживал расходившихся охранников. Если к этому прибавить богатырскую статью Кухаренка, независимость, манеру свысока разговаривать с презируемыми им «начальничками», то станет очевидным, насколько он намозолил им глаза.

До поры до времени Эдуарда Эдуардовича спасала незаменимость — другого знающего железнодорожника на острове не было. С нами Кухаренок был обходителен и приятен, весел, даже немного шумен; в нем чувствовался *bon vivant*¹⁰ старого пошиба. В своей келье он ухитрялся устраивать нечто вроде вечеринок, на которых строил куры¹¹ смазливенькой охраннице из женбарака. Ее присутствие защищало незаконное сборище. В роли хлебосольного хозяина Эдуард был просто великолепен: широкий жест, легкая шутка, исполненный с неподражаемым прищуром и легким притоптыванием под воображаемую гитару куплет...

Два месяца мы о нем ничего не слышали. А потом, когда увидели, не узнали... И не то было страшно, что сделался он худ, припадал на ногу и подергивалась его лихая голова. Непереносимо было убедиться в полной апатии, в потускневшем сознании Эдуарда. То был не воображаемый, литературный, а подлинный живой труп. Его бы добили и замучили насмерть на Секирной. Но железной его силы и стойкости хватило до дня, когда та пухленькая девчонка из охраны нашла-таки ход к коменданту Секирной, и тот велел своим катам¹² отступить от Кухаренка.

С месяц после того провалялся Эдуард Эдуардович на каменных плитах Спасо-Вознесенской церкви на Секирной, пока не пришло распоряжение — говорили, из Москвы — со штрафного изолятора его вернуть и восстановить на прежней должности. Начальство учуяло, что переборщило: Кухаренка велено было лечить и дать полный отдых. Навещая его в больнице, я видел, что любой разговор ему в тягость.

Вскоре его вывезли с Соловков на спецкомандировку. Прошел слух, что Эдуарда Эдуардовича освободили по личному распоряжению наркома путей сообщения... Тогда именно и узналось, что был Кухаренок крупнейшим спецом в своей области.

¹⁰ Человек, любящий жить в свое удовольствие, богато и беспечно (фр.).

¹¹ Строить куры (от фр. *faire la cour*) — ухаживать за кем-либо, флиртовать.

¹² Мучителям, палачам.

В обязанность статистика санчасти входило посещение 13-й пересыльной роты, где принимались и откуда отправлялись этапы. Помимо сбора данных для отчетности о поступивших я мог попутно справиться о «своих», предпринять попытку помочь, кому возможно. Через медперсонал почти всегда удавалось устроить перевод в больницу и избавить от общих работ.

Чаще всего на осмотр этапа мы отправлялись вдвоем с фельдшером Фельдманом, петербургским немцем, умевшим веско и безапелляционно объявить больным и вызволить из тяжкого трехъярусного ада пересылки собрата «по статье».

Были мы с Фельдманом ровесниками и земляками. У обоих жизнь после революции не сложилась — его вытурили из университета, и он прозябал на каких-то медицинских курсах. Понимая друг друга, мы действовали всегда согласно.


Нередко уходили вдвоем на прогулки или сами себя направляли на статистически-санитарные обследования по командировкам. А когда стала зима, Фельдман раздобыл в охране лыжи, и по воскресеньям мы целыми днями бродили по острову. Был Фельдман несколько чопорен, по-немецки аккуратен и методичен. И если и не располагал к нашим «расейским» отношениям нараспашку, то для дружбы на западный, сдержанный манер подходил как никто.

Слыл он знающим медикусом. К нему повадились обращаться охранники и вольнонаемные — за советом, порошками, освобождением. Тут мой приятель бывал мудр и находчив: и откажет, бывало, но так ловко, что тупой вохровец даже расчувствуется. И во всех случаях — приобретал пособников для облегчений и поблажек нуждающимся. Их у Фельдмана всегда был полный реестр: этого перевести с кирпичного завода в сапожную мастерскую, того зачислить в «труппу» (ведь были же театр, эстрада, хор, оркестр, декораторы, режиссер... даже примадонны!), тому дать на две недели отдых...

При внешней холодности был Фельдман отзывчив и обязателен: и перечислить невозможно, скольким соловчанам он помог. А кого и спас.

Однажды, просмотрев списки нового пополнения, я ринулся разыскивать своего кузена. По пути на пересылку гадал — узнаю ли того Игоря Аничкова, которого не видел уже более десятка лет. Знал я его петербургским хлыщом, кичившимся, впрочем, не только светскими манерами и родовитостью, но и исключительной образованностью, блистательным знанием языков.

Родители его жили на широкую ногу, по-барски. И, как было принято в известном кругу, не по средствам. У Аничковых все было не совсем как у подлинно богатых людей: если и была дача на Каменном острове — то наемная; для журфиксов приглашались лакеи из ресторана, не было и своего городского выезда.

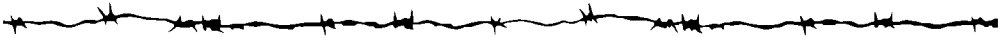


Но на мою мерку подростка, приученного к скромному обиходу, Аничковы жили вельможно. И Игорь запомнился мне на крыльце дома с колоннами, одетым для верховой езды, с ожидавшим его конюхом в куртке с блестящими пуговицами и подседланной кровной лошадью. Подавляли крюшоны и лимонады, налитые в сверкающие глыбы льда, подносы с мороженым, разносимым лакеями в белых перчатках на детских праздниках, устраиваемых Аничковыми в их квартире на Английской набережной.

Игорь всегда смотрел как бы сквозь меня: он был старше лет на шесть и не замечал кузена, едва вышедшего из-под опеки гувернантки. Дружил же я с его сестрой Таней, моей ровесницей. Смелая и даже отчаянная юница признавала лишь буйные мальчишеские игры. Зато старшая, Вета, была воплощением лучшего тона: всегда подтянутая, ходила с опущенными глазами, как учили в Смольном. Мать их, тетя Аня, дама чрезвычайно образованная, жившая годами во Франции и дружившая с какими-то оксфордскими светилами, была довольно близка с моей матерью, отчасти на почве увлечения теософией. Об отце их я лишь знал, что он был профессором университета, состоял в видных кадетах. Видеть его дома никогда не приходилось. У нас он появлялся с трехминутным визитом на Пасху и на Новый год, в числе торопливых поздравителей, разъезжавших в положенные дни табунами по столице.

Игорю было откуда-то известно, что я на Соловках, и потому он не выразил особого удивления при встрече. Мы несколько неуверенно расцеловались, а разговор пошел у нас и того более спотыкливый. Вместо подтянутого стройного студентика с усиками, в безукоризненно сидящем мундире, я разглядывал тучноватого мужчину с одутловатым лицом, обрамленным бородкой монастырского служки. И только неистребимое грассирование и типично петербургские интонации напоминали прежнего блистательного кузена. Да и я никак не походил на того подростка в костюмчике с отложным воротничком, что лазал с его озорной сестрой по деревьям, забирался на крышу дома через слуховое окно и поил кошку валерьянкой. При подобных «родственных» встречах лишь воспоминания об общих дорогих лицах способны растопить ледок отчужденности. Но Игорь сразу и очень решительно оборвал разговор о родне, и свидание получилось скорманным и холодным.

Игорь невнятно упомянул, что получил три года лагеря из-за каких-то знакомств среди духовенства. Неожиданным было его увлечение богословием, творениями отцов Церкви — прежде он признавал одно сравнительное языкознание. Но более всего удивил меня Игорь предложением встречаться с ним... как можно реже — из предосторожности!



Впрочем, подобной мнительности удивиться по тем временам не приходилось: любое общение, знакомство, родственные связи могли всегда служить источником больших и малых бед. Игорь был типичным напуганным интеллигентом: решил, что и в лагере следует придерживаться совета Лафонтена *pour vivre heureux, vivons cachés*¹³. И был, вероятно, прав.

В дальнейшем я, следуя его инструкциям, никогда Игоря не навещал. Он же считанное число раз заходил ко мне в мою контору — канцелярию санчасти — с просьбами о своих сотоварищах по жилью и работе. Игорю повезло: с помощью Георгия он быстро устроился сторожем и был поселен вместе с духовенством.

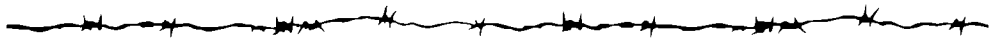
Неисповедимы, говорили в старину, пути Господни. Удивляешься, как иной раз непостижимо минуют человека испытания или, наоборот, жестоко на него навалятся, подчас добивают! Мать Игоря, растеряв семью, сама не только уцелела, но и до конца долгой жизни пользовалась великими благами в качестве профессора университета. Слыла лучшим знатоком английского языка в советском ученом мире. Тане удалось уехать за границу и стать там модной художницей. Сестру же ее, похожую на фарфоровую маркизу, несчастную Елизавету (Вету), увезли в сибирские лагеря и через несколько лет расстреляли...

Игорю, казалось, не избежать тяжелой участи: судимость, происхождение, манеры, приверженность Церкви, многочисленная репрессированная родня — все складывалось против него. Между тем он отделался легким испугом. После детского срока в лагере и незатянувшейся высылки последовали возвращение в родной город и университетская кафедра. И — венец праведной карьеры послушного ученого мужа — обеспеченная старость персонального пенсионера, доктора наук, без пяти минут члена-корреспондента!

И, не обладая героическим характером, Игорь был не способен обеспечить свое благополучие ценой подлости. Если и пытался подделаться под стиль окружения, мимикрировать, то делал это неуклюже и наивно. Так что власть всегда знала, с кем имеет дело. И тем не менее допустила его включение в круг расчетливо ублажаемой советской научной элиты. Игра ли случая судьба Игоря, или отражена в ней некая закономерность?

Частичный ответ я нашел позднее, когда, после десятилетий лагерей и ссылок, пришлось вернуться к тому, что я мог считать «своей средой», — в общество уцелевших знакомых и родственников, научившихся существовать при утвердившихся порядках. Со своим «экзотическим» лагерным опытом и

¹³ Чтобы жить счастливо, надо жить прикровенно (фр.).



навыками жизни, приобретенными в заключении, я оказался как бы посторонним наблюдателем, знакомящимся с неведомыми нравами, манерой жить и думать.

Более всего бросались в глаза всеобщая осмотрительность и привычка «не сметь свое суждение иметь». И дружественно настроенный собеседник — при разговоре с глазу на глаз! — хмурился и смолкал, едва учуивал намек на мнение, отличное от газетного. Одобрение всего, что бы ни исходило от власти, сделалось нормой. И оказалось, что в лагере, где быстро складываются дружба и добрая спаянность, где очень скоро выдают себя и «отлучаются от огня и воды» стукачи, мы были более независимы духом.

Уже вне лагеря, на так называемой «воле», мне приходилось — самым неожиданным образом — слышать от людей «интеллигентных», великих знатоков в своей специальности, видных университетских фигур суждения, точь-в-точь воспроизводящие расхожие пропагандистские доводы газетных передовиц. И это далеко не всегда было перестраховкой, осторожностью, а отражением внушенного долгодетным вдалбливанием, кулаком вколоченного признания справедливости строя и его основ. Не то чтобы люди произносили верноподданные тирады для вездесущих соглядатаев и мнящихся повсюду подслушивающих устройств: начисто отвыкнув от критического осмысления, они автоматически уверовали в повторяемое бесчисленно.

Помню, однажды в тесном, отчасти родственном кругу, не веря ушам своим, слышал, как пожилой профессор, известный классик и переводчик — побывавший, кстати, в ссылке и потерявший брата в лагерях, — веско высказывал соображения о спасительности однопартийной системы и опасностях демократической многоголосицы. Он вполне серьезно ссылался на наши «свободы» и намордники, надетые на трудящихся в странах капитала!

Оспаривать эти чудовищные для меня «истины» было бесполезно: такой образ мыслей сделался частью мировоззрения. Тщетно было бы взывать: «Очнись! Вглядись во все вокруг — где хоть проблеск свободной мысли? Намек на справедливость, раскрепощение, исправление нравов? Решись, отважься, откажись от добровольно надетых шор, дай себе волю судить непредвзято!» К моему ершистому инакомыслию относились снисходительно, осуждали мягко, со скидкой на пережитое: человеку-де досталось, пусть и несправедливо (впрочем, находились упрекавшие меня за непокорный нрав!), он поотстал от современности, судит по временным недочетам, частности заслонили ему главное...

Игорь, правда, ни тогда, ни в хрущевские и более поздние времена не распространялся о преимуществах большевистской олигархии. Но каким-то инстинктивно срабатывающим рефлексом выводил за пределы беседы, предупреждал любое недозволенное, дерзкое суждение: то как бы недослышит, замнет реплику, заговорит о другом, то красноречиво укажет на дверь в коридор и стены, имеющие уши...


Понятно, что никакой нужды в подобной осторожности не было — в середине шестидесятых годов в столице и в Ленинграде едва ли не в открытую обменивались самиздатовскими рукописями, поразвязались языки, подслушивающие устройства еще не были широко распространены. Да и кабинетик в квартире Игоря был изолирован от всего мира. Но сказывалась многолетняя, вошедшая в плоть и кровь привычка остерегаться всего и собственные мысли держать при себе. И даже такой просвещенный человек, как мой ученый кузен, не мог себе позволить справедливо оценить режим! Защитного окраса ризы помогали раствориться в общей массе и не привлекать внимание недреманного ока Власти.

Весна... Старенький биплан, доставлявший на Соловки почту с материка, стал летать чаще, хотя из-за хронических неполадок и починок предугадать его появление было нельзя. Пилот Ковалевский — будто бы царский летчик, отчаянная голова — не раз падал и разбивался. Но, подлечившись и подлатав машину, снова высматривал подходящую погоду и в очередной раз рисковал лететь.

Прилета Ковалевского ждали с нетерпением: он доставлял вместе с казенной и почту для заключенных. Не проходило и двух часов, что самолет, нещадно оттарактев в небе, садился, как по лагерю распозались слухи: такому-то пришло освобождение, на «лагерные дела» — в основном грабежи и насилия, совершенные уголовниками, — поступили приговоры и т.д. А через день-другой счастливым раздавали письма и денежные переводы.

И вот в конце апреля 1929 года меня срочно вызвали в административный отдел Управления. Там под расписку дали прочесть извещение о замене лагерного срока высылкой! Новость была ошеломляющей...

Ошеломляющей, хотя я и знал, что брат Всеволод обо мне хлопочет. Причем пользуется незаурядным «блатом». Корни этого покровительства мне придется объяснить, потому что судьба его — показатель времени.



Итак, летом восемнадцатого года моя семья жила в деревне. И к нам в усадьбу, как в чудом уцелевшее тихое пристанище, приезжали из беспокойного, опасного Питера родные и друзья семьи. Среди них — генерал Кривошеин с супругой и детьми, а также его сослуживец, бывший начальник Михайловского юнкерского училища полковник Горчаков с общительной, мило кокетливой и очень молоденькой женой Надеждой Васильевной.

Этот Горчаков — нестарый боевой офицер, ходивший в штатском, — производил впечатление нервного, утратившего равновесие человека. Он то решал срочно уезжать — и ему готовили экипаж, — то передумывал, развивал планы переезда на юг, писал и рвал письма. И как-то в одночасье собрался и уехал. И все это в каком-то отчаянном порыве, словно решившись идти навстречу неизбежному. Уехал с женой, как ни уговаривали его не подвергать ее всяким превратностям.

Вскоре по возвращении в Питер Горчаков был арестован. И в первую же ночь на Гороховой он принял яд, который с некоторых пор всегда носил с собой.

Те годы всех поразбросали. Чреда напряженных событий не позволяла разыскивать прежних знакомых. И следы Надежды Васильевны затерялись...

По совету Пешковой, возглавлявшей еще не совсем придушенный «Политический Красный Крест», брат отправился хлопотать обо мне в приемную «всесоюзного старосты». И в секретаре Калинина узнал... Надежду Васильевну! По счастью, она не отреклась от предосудительного знакомства, а отнеслась к нашей беде очень сочувственно. У нее с Всеволодом сложились добрые, прочные, доверительные отношения, весьма благотворно сказывавшиеся на моей судьбе, — пока ее патрон сам не «погорел»: лишенный всякого влияния, он смиренхонько доживал свои дни.

После июльских дней семнадцатого года Горчакову, еще возглавлявшему тогда Михайловское училище, довелось оказать существенную услугу Калинину, которого он в силу каких-то обстоятельств знал. Горчаков помог Калинину на время скрыться из Петрограда и избежать ареста.

Оказалось, что у Михаила Ивановича долгая память на добро (бесспорный «недостаток», может, и определивший бесславное завершение калининской карьеры). Приехав из Москвы в Питер уже председателем ВЦИК, он стал наводить справки о Горчакове. Потом разыскал его вдову, нестерпимо бедствовавшую и голодавшую в нетопленной квартире. Михаил Иванович тут же перевез ее в новую столицу, поместил в бывшей гостинице «Петергоф», где находилась его приемная, и определил к себе в секретари.

Столь высокое покровительство перечеркнуло «темное» прошлое молодой женщины. Оно распространилось и на ее семью, нищенствовавшую в Ташкенте, где отец Надежды Васильевны долгие годы был нотариусом.

Так состоялось переселение в красную столицу провинциальных общипанных «бывших» — юриста, очень старомодного, с гончаровскими баками и в мешковатой чесучовой паре, его супруги, в шляпке-корзинке с выгоревшими цветами, и трех прехорошеньких девиц на выданье. Обо всех, и очень последовательно, позаботился Михаил Иванович: нашлись квартиры, должности. И даже женихи. Одним из них оказался сам «всероссийский староста», оставивший свою благоверную (эстонку, по слухам, достойную женщину) ради совсем юной сестры Надежды Васильевны — Верочки.

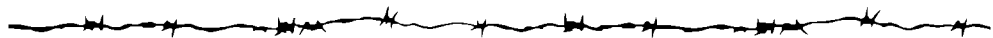
Познакомился Калинин и с Всеволодом и тут же взялся устроить судьбу полюбившегося ему тверского «земляка». Да и свет оказался тесен. В семье моей знали генерала Мордухай-Болтовского, тверского помещика, в доме которого вырос деревенский паренек Миша. Генеральские сыновья увезли его с собой в Питер и как могли способствовали посвящению подростка в заводской труд и революцию. Не берусь сказать, довольны ли они были последующими успехами своего питомца!

Президиум ВЦИК и постановил освободить меня из лагеря. Всеволода Калинин рекомендовал во Внешторг, и брат уехал в Шанхайское торгпредство. В XVIII веке подобные метаморфозы назывались «попасть в случай».

...Я вышел из Управления, распираемый радостью. И между тем замедлял шаги: совестно было объявить о своем счастье Георгию, отцу Михаилу, другим соловецким друзьям. Нежданная моя удача только подчеркивает безысходность их участи... И я малодушно пробрался в пустовавшую в этот час келью, не объявившись никому из них.

— Ты что спрятался?! — ворвался ко мне Георгий. — Знаем, все знаем... Давай обниму и перекрещу... Поздравляю! И не вздумай себя считать виноватым перед нами... Ведь нынче не скажешь, что спокойнее: сидеть тут запечатанным, с уже решенной участью, или по-заячьи жить на так называемой воле. И гадать: сегодня придут за тобой или завтра?

Я вдруг увидел то, чего не замечал, встречая Георгия изо дня в день: и резкие морщины, и глубоко ввалившиеся глаза, и неразглаживающуюся складку меж бровей. Бесконечно усталый, даже затравленный взгляд. Знать, тяжело на душе у моего Георгия. Но что за выдержка! Ничем не выдаст своего смятения, всегда ровен, участлив, легок! И щедр на добро, будто баловень судьбы, готовый выплеснуть на других излишек своих удач.



Трезво и безнадежно смотрел Георгий на свой земной путь. Но не дотянуться с Соловков, не прикрыть собой немощных родителей, милой жены, маленькой Марины. И нет им защиты, и нет опоры в изменчивом, враждебном мире — только Бог!

Чтобы мне же облегчить бремя везения, и разыскал меня Георгий. Я крепко и благодарно жму ему руку. Договариваемся о поручениях, какие я мог взять на себя, уславливаемся, как писать о недозволенном.

И замелькали кружные дни сборов и прощаний. Да еще выяснилось, что и не надо дожидаться открытия навигации. В зимние месяцы срочные грузы и почту с материка доставляли на двух поморских лодках. Я сходил к начальнику почтовиков — потомственному беломорскому рыбаку, коренастому и немногословному, и попросился в его маленький отряд. Он не слишком дружелюбно оглядел меня, процедил, что в пути может достаться круто, и согласился включить в свою команду на очередной рейс. В адмчасти мне пришлось дать расписку, что я добровольно согласился на участие в морском походе, об опасностях которого предупрежден. Вот она, заботушка начальства о наших драгоценных жизнях, вверенных его попечениям!

Томительно тянулись дни. Я роздал вещи — в лодку не разрешалось брать багаж. По несколько раз окончательно прощался со всеми, набрал поручений, позашивал в одежду записки и адреса и... стал как бы отрезанным ломтем. А отплытие все откладывалось. Главный почтовик наш переселился куда-то за Савватьево и часами караулил с маяка на Секирной горе льды в проливе.

И наконец настал день, долгожданный и захвативший врасплох. Ко мне из Управления прибежал запыхавшийся курьер-урка: выходить в море!

Лодки были подтащены к самым торосам на берегу. Мы — десять человек команды, по пять на каждую лодку — поджидали своего предводителя, разложив костерок.

Проводить меня пришел из кремля Вятский епископ Виктор. Мы прохаживались с ним невдалеке от привала. Дорога тянулась вдоль моря. Было тихо, пустынно. За пеленой ровных, тонких облаков угадывалось яркое северное солнце. Преосвященный рассказывал, как некогда ездил сюда с родителями на богомолье из своей лесной деревеньки. В недлинном подряснике, стянутом широким монашеским поясом, и с подобранными под теплую скуфью волосами владыка Виктор походил на великорусских крестьян со старинных иллюстраций. Простонародное, с крупными чертами лица, кудловатая борода, окаяющий говор — пожалуй, и не догадаешься о его высоком сане. От народа же была и

речь Преосвященного — прямая, далекая свойственной духовенству мягкости выражений. Умнейший этот человек даже чуть подчеркивал свою слитность с крестьянством.


— Ты, сынок, вот тут с год потолкался, повидал все, в храме бок о бок с нами стоял. И должен все это сердцем запомнить. Понять, почему сюда власти попов да монахов согнали. Отчего это мир на них ополчился? Да нелюба ему правда Господня стала, вот дело в чем! Светлый лик Христовой Церкви — помеха, с нею темные да злые дела неспособно делать. Вот ты, сынок, об этом свете, об этой правде, что затаптывают, почаще вспоминай, чтобы самому от нее не отстать. Поглядывай в нашу сторону, в полунощный край небушка, не забывай, что тут хоть туго да жутко, в духу легко... Ведь верно?

Преосвященный старался укрепить во мне мужество перед новыми возможными испытаниями. Я же вовсе отбросил думы о них: мечтал о встречах, удаче... Лелеял неопределенные заманчивые планы. Себя я чувствовал не только физически сильным, но и окрыленным. Словно то обновляющее, очищающее душу воздействие соловецкой святыни, неопределенно коснувшееся меня в самом начале, теперь овладело мною крепко. Именно тогда я полнее всего ощутил и уразумел значение веры. За нее и пострадать можно!

...Наш кормчий пришел далеко за полдень и заторопил с отплытием. Мы сняли полушубки и бушлаты, взялись за концы крепких перекладин, вдетых по две в скобы на бортах лодки. Навалились на них всем телом и поволокли по льду стоящие на киях посудыны. Предводитель наш, не оглядываясь, быстро шел впереди, выбирая путь по нагроможденным льдинам. Подниматься по ним было тяжело, но и спускаться не легче: лодки приходилось изю всех сил удерживать. Зато по ровному они скользили хорошо, и только масляно шипел под окованным килем неглубоко прорезаемый лед...

С места мы пошли так ходко, что я все не успевал как следует оглянуться и еще раз помахать рукой стоявшему на берегу Вятскому епископу. Он не уходил. Поначалу была видна поднимающаяся в благословении рука, потом приземистая фигура Преосвященного Виктора стала сливаться с окружением, теряться. И вскоре весь низкий берег протянулся темнеющей полосой...

...До кемьского берега мы добрались меньше чем за двое суток. До ночи второго дня никак не удавалось отойти от Соловков. Сильные течения и ветер закрыли чистую воду большими ледяными полями, и сколько мы ни шли по ним, их движение в обратную сторону сводило все на нет. Мы по-прежнему маячили в виду острова, нас даже сносило ближе к берегу. Убедившись в тщете усилий, начальник велел готовиться к ночевке. На лодки, подпертые распорками, натянули



брезенты, под ними зажгли примусы, засветили свечи. После ужина, выставив дежурных, легли. На гряде поморских шуб и тулупов было тепло и мягко, но, несмотря на усталость, мне не спалось. Уже глубокой ночью я выбрался из-под брезента на лед.

Ветер стих. Небо очистилось, и над головой повисли яркие, крупные звезды. Кажется, никогда я не видел их такими большими и висящими так низко. Слух порашил непонятно откуда шедший внятный перезвон — то матовый, то стеклянно четкий. Не сразу я догадался, что это сталкиваются, звенят, обламываясь и насовываясь друг на друга, плавучие льдины. Там, под сияющим пологом неба, над пустынным простором моря, в глубоком безмолвии ночи, эти странно торжественные, мелодичные звуки отзывались в душе, как голоса неведомых вселенских пределов. Таинственный зов из непостижимых глубин мироздания...

Потом я мертво спал, пока не был разбужен резкой командой. Полусонным бросился на свое место. Своевольные течения раскололи наше ледяное поле, вокруг затемнели трещины, и надо было спешно свертывать тенты, спускать лодки на воду и браться за весла. Так мы и провели остаток ночи; то втаскивая лодки на лед, то плывя по тесным и извилистым прогалам чистой воды.

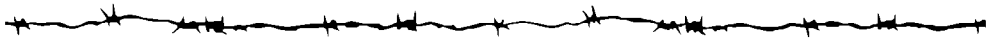
Когда рассвело, мы увидели берег. Над ним, в каких-нибудь полутора десятках верст, громоздились стены и башни Соловецкого монастыря...

Весь длинный весенний день прошел почти без перемен. Было солнечно и даже жарко. Льды сияли нестерпимо, ослепляюще. Нам раздали темные очки. По пояс голые, мы волокли лодки по уже рыхлому льду. Старшой неумолимо шел и шел в известном ему одному направлении и не давал передохнуть.

Под вечер как-то незаметно стали учащаться разводья, и мы то рассаживались в спущенные на воду лодки, то снова вытаскивали их на лед. Измучились было совсем, как вдруг оказалось, что мы на кромке поля, за которой — открытая вода. Вода, слегка взрябленная попутным ветром. Мы подняли паруса, и грузные неповоротливые наши ладьи как по волшебству превратились в легкие подвижные суденышки.

В наступивших сумерках зачернела впереди линия материка. Счастливый поход! И помягчевший старшина наш рассказал, как бывал отнесен к горлу Белого моря, как приходилось морозиться и бедствовать. А тут — приятная морская прогулка.

Иначе и не могло быть, думалось мне. И вновь я видел устлавшие берег камни, подтаявшие льдины и фигуру неподвижно стоящего архиерея, творящего мо-



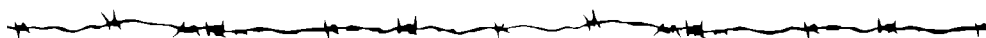
литву о «странствующих, путешествующих, плененных и сущих в море далече». И слышал его грубоватый голос, опаленные жаром веры слова... Путь наш и должен был лечь благополучно...

Пристали мы к земле за полночь. Далеко впереди, за береговым припаем, тускло горели фонари зоны на Поповом острове. Мы зашагали к ним. Старшой сдал коменданту мои документы на освобождение, и я в тот же день сел в скорый мурманский поезд.



ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
АНДРЕЕВСКИЙ





**Ианнуарий (Недачин), архимандрит
АНДРЕЕВСКИЙ, СОЛОВЕЦКИЙ, АНДРЕЕВ
И СНОВА АНДРЕЕВСКИЙ:
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ВКЛАД
В РУССКОЕ ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
ПРОФЕССОРА ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА АНДРЕЕВСКОГО**

Иван Михайлович Андреевский был точно одним из тех, кто «посетил сей мир в его минуты роковые». Он прожил, как кажется, огромную жизнь — не столько по продолжительности (хотя его земное странствование и не было коротким — 82 года), сколько по насыщенности событиями. Он был свидетелем и участником ключевых событий тех драматических русских эпох XX в., каждая из которых могла либо уничтожить физически и духовно, либо же, наоборот, — возвести на новый интеллектуальный и духовно-нравственный уровень. Иван Михайлович Андреевский прошел эти эпохи, сохранившись целостной личностью, восходя «от силы в силу» (Пс 83. 8) и познавая сокрытые в этих эпохах глубокие смыслы.

Доктор четырех наук (медицины, литературы, философии и богословия), он имел огромный интеллектуальный багаж, лучшее из существовавших тогда образование, и всегда оказывался там, где были интеллектуальные центры осмысления происходящего, общался с теми и был одним из тех представителей интеллектуальной российской элиты, кто мучительно искал, находил и выражал сущность и законы исторических процессов, происходивших на многострадальной Родине.

Он родился 14 марта 1894 г. в Санкт-Петербурге в интеллигентной обеспеченной семье. Отец — архивариус Главного управления землеустройства и земледелия, мать — дочь скрипача Мариинского театра. Бабушка по отцовской линии была балериной, прадед — священником. Кроме Ивана в семье было еще трое или четверо детей, старшая сестра — Мария Шкапская — стала довольно известной поэтессой.

После окончания в 1905 г. городской начальной школы Иван Андреевский поступает в реальное училище А. С. Черняева, а в 1907 г. — во Введенскую гимназию. Жизненный путь сына петербургского архивариуса начинается так же,

как у многих представителей тогдашней столичной интеллигенции: в гимназии он становится участником молодежных кружков и студенческих рукописных журналов, которые постепенно политизируются и принимают социал-демократическое направление. Знавший Андреевского в тот период революционер А. Ф. Ильин-Женевский так описывает его тогдашние взгляды: «Большой поклонник Толстого и Достоевского, он воспринял от них полуанархическое, полухристианское мировоззрение, окутанное дымкой некоего пуританства и, я бы сказал, подвижничества... Он был признанным руководителем своего кружка, некоторые представители которого являлись настоящими его апостолами»¹. Учившийся в гимназии вместе с Андреевским Н. П. Андиферов пишет, что до радикально-революционных взгляды Андреевского все же не доходили. Тем не менее он был знаком с будущими большевистскими лидерами А. В. Луначарским и П. Г. Смидовичем, а через последнего познакомился даже с А. И. Рыковым, у которого после октябрьского переворота месяц жил в Москве².

Так или иначе, в 1912 г. Иван Андреевский был арестован по делу межуниверситетской организации средних учебных заведений Петербурга (дело «витмеровцев»³) и был лишен возможности продолжить образование в России, будучи приговоренным к высылке в Олонецкую губернию. Вмешательство мецената Шахова, взявшего Ивана на поруки и отправившего учиться в Европу, позволило ему не только продолжить обучение, но и получить блестящее образование⁴. На философском факультете Сорбонны и в Коллеж-де-Франс он слушает лекции самых известных европейских философов, особенное влияние на него оказывает Бергсон — «властитель дум» молодого поколения, особенно русских⁵. Однажды Бергсон в перерывах между лекциями спросил окружавших его студентов, среди которых был и Андреевский, кто является самым выдающимся мыслителем современности. После определенного замешательства окружающих он сам же и ответил: «Это — скромный русский философ по фамилии Аскольдов»⁶. Произошедшая через несколько лет встреча Ивана Андреевского с Сергеем Алексеевичем Алексеевым-Аскольдовым стала самой значительной

¹ Революционное юношество: из прошлого социал-демократической учащейся и рабочей молодежи. Л., 1924. Сб. 1. С. 166.

² Антонов В. В. Братство прп. Серафима Саровского: к истории православного движения в Петрограде // Санкт-Петербург. епарх. ведомости. СПб., 1996. Вып. 16. С. 47–48; Андиферов Н. П. Из дум о былом: Воспоминания. М., 1992. С. 459.

³ Антиправительственного выступления учащихся гимназии Витмера.

⁴ Антонов В. В. Указ. соч. С. 48; Андиферов Н. П. Указ. соч. С. 459; Серафим (Роуз), иеромон. И. М. Андреев — Истинный православный новообращенный представитель русской интеллигенции // Русские писатели XIX в. М., 2009. С. 541–542.

⁵ Андреевский И. М. Путь проф. С. А. Аскольдова: (Светлой памяти учителя и друга) / Проф. И. Андреев // Православный путь. Джорданвилль, 1950. С. 55.

⁶ Там же.

вехой на пути формирования Андреевского как самостоятельно мыслящего религиозного философа.

В 1914 г. молодой студент Сорбонны приехал в Петербург на каникулы, и в это время началась мировая война. Не имея возможности вернуться в Париж, Иван Михайлович начинает обучаться медицине и психиатрии в Психоневрологическом институте Бехтерева, одновременно отбывая воинскую повинность фельдшером в психиатрическом отделении Николаевского военного госпиталя. С 1918 г. он также учился на славяно-русском отделении историко-филологического факультета Петроградского университета, после окончания которого в 1921 г. остался при университете для подготовки к профессоруре⁷.

Это время для него, несмотря на трудные в материальном отношении годы войны и революции, — время интенсивного интеллектуального роста. Обладая, очевидно, исключительными способностями, он в относительно короткий срок получает три докторские степени — в области медицины, литературы и философии. Позднее он добавит к ним еще четвертую, самую, наверное, для него дорогую, «катакомбную» богословскую (полученную на пастырских курсах, действовавших в Ленинграде в 1924–1928 гг.), и в поздние годы скажет: «Я пришел к Богу через науку»⁸.

В этом приходе к Богу через науку исключительное значение для него имело изучение творчества Достоевского. Стремление как можно более полно понять великого русского писателя подвигло его глубоко заняться изучением научной психологии и психиатрии⁹. Врачебная психиатрия в итоге стала главной его профессией. Протопресвитер М. Помазанский, близкий друг Андреевского со времен лагерей Ди-Пи в Германии, писал, что хотя Андреевский, особенно в поздний период своей жизни, и был известным религиозным и общественным деятелем, писателем, профессором семинарии, «медицинская помощь другому была... на первом месте в его системе забот и мыслей... Иван Михайлович никогда не ждал, когда обратятся к его посильной врачебной помощи, он первый спешил с запасом доступных медикаментов к больному... Это была та именно сторона его души, какая почувствовалась уже при первом его взгляде, при первом знакомстве — его сердечность»¹⁰.

Еще влияние Бергсона в Париже окончательно развеяло в Иване Андреевском уважительное отношение к марксизму и основательно развернуло в сторону идеализма, сказалось и православное воспитание, полученное в семье в детстве.

⁷ Антонов В. В. Указ. соч. С. 48; Анциферов Н. П. Указ. соч. С. 459.

⁸ Серафим (Роуз), иеромон. Указ. соч. С. 542–545, 549.

⁹ Полчанинов Р. Проф. И. М. Андреевский: (Краткая биография) // Православная Русь [далее — ПР]. 1977. № 3. С. 11.

¹⁰ Помазанский М., протопресв. Памяти почившего профессора И. М. Андреевского // ПР. 1977. № 2. С. 5.

В 1919 г. в университете происходит его встреча с тем человеком, на которого Бергсон в свое время указывал, — выдающимся русским религиозным философом С. А. Алексеевым-Аскольдовым. «Я чувствовал, что нашел, наконец, настоящего учителя... — писал Андреевский. — Оставаясь после экзаменов на квартире С. А. за чашкой горячего чая, при свете огарка стеариновой свечки, в холодной нетопленной квартире на 5-ом этаже по Кронверкской улице... я наслаждался пиршеством духовной трапезы: беседами с вдохновенным русским мыслителем». Впоследствии Аскольдов назовет Андреевского своим «самым дорогим и ценным учеником». Аскольдов, чья философская доктрина была в целом основана на православном мировоззрении (правда, в синтезе с некоторыми нехристианскими компонентами, например учением о перевоплощении), еще более повернул талантливую студента в сторону Православия. Впоследствии ученик превзошел учителя и сослужил ему добрую службу: под влиянием Андреевского, за несколько дней до кончины, С. А. Аскольдов отказался от всех неправославных оттенков своей доктрины, сжег рукопись «О перевоплощении», над которой долго трудился и которую упорно защищал в спорах с Иваном Михайловичем, и принял мирную христианскую кончину. Отношения ученика к учителю, а после и настоящая дружба и духовное родство сохранялись между И. М. Андреевским и С. А. Аскольдовым до самой смерти последнего в Потсдаме в 1945 г., где оба они оказались в качестве беженцев. Аскольдов познакомил Андреевского и со многими выдающимися представителями петербургского интеллектуального мира: профессорами о. Павлом Флоренским, о. Феодором Андреевым, А. И. Бриллиантовым, А. А. Дмитриевским, И. Д. Андреевым и многими другими¹¹.

В 1926 и 1927 гг. произошли два события, которые окончательно превратили молодого религиозного философа в глубоко верующего православного христианина: поездка в Дивеево и встреча с подвижницей Марией Гатчинской¹². Еще одной важной вехой в духовном становлении Ивана Михайловича Андреевского как православного христианина стало чудесное спасение во время пережитой им хирургической операции и те духовные переживания и контакты с неземным миром, которые он испытал, пребывая на грани между жизнью и смертью¹³. Вся жизнь его после этих событий изменилась. В Дивеево, вспоминал он, после горячей молитвы преподобному Серафиму Саровскому его «охватила совершенно особенная духовная, тихая, теплая и благоуханная радость — несомненное убеждение всем

¹¹ Андреевский И. М. Путь проф. С. А. Аскольдова. С. 55–60.

¹² Андреевский И. М. Матушка Мария Гатчинская / Проф. Ив. Андреев // ПР. 1952. № 3. С. 10–12; Его же. Путешествия в Саров и Дивеево в 1926 г. // Преподобный Серафим Саровский / Проф. д-р И. Андреев. Мюнхен, 1946. С. 15–31.

¹³ Андреевский И. М. Религиозный смысл хирургической операции : (Из религиозно-мистического опыта) / Проф. д-р Ив. Андреев // ПР. 1947. № 9. С. 7–12.

существом в существовании Божиим и в совершенно реальном с Ним молитвенном общении». «Господь отнял от меня... — писал он по прошествии лет, — все блага земные, но сохранил навсегда память о той минуте, когда, по безграничному милосердию... я, грешный, совершенно незаслуженно сподобился пережить в себе тихое, радостное, благое и благоуханное веяние Святого Духа Господня...»¹⁴.

Внешняя жизнь молодого ученого развивалась тем временем вполне типичным для представителя свободно мыслящей петербургской интеллигенции образом: с полученной в 1922 г. университетской профессорской кафедры он был уволен, как и его учитель С. А. Аскольдов, после чего вместе они, после неудачных попыток устроиться на работу в научные заведения, преподавали в техникумах и средних школах. К этому своему новому труду они, как и многие изгнанные тогда из университетов и институтов профессора и преподаватели, относились чрезвычайно творчески. Наиболее способных и стремящихся к знаниям учеников Иван Михайлович приглашал домой, снабжал книгами из богатой личной библиотеки, устраивал встречи и беседы в формате различных кружков, во время которых учащиеся делали доклады и участвовали в обсуждениях наравне с известными учеными, литераторами, философами. Постепенно кружок Андреевского, сообразно с менявшимися взглядами самого руководителя, менял свою направленность от литературной к религиозно-философской, а в 1926 г. (после той самой поездки в Дивеево) был преобразован в Братство преподобного Серафима Саровского, которое было уже строго православно-религиозным, членство в котором предполагало в том числе правильную христианскую аскезу. Через кружки Андреевского и Братство прошли многие замечательные представители молодого поколения, такие, например, как Д. С. Лихачев, оставивший описание жизни этих кружков в своих воспоминаниях¹⁵.

21 февраля 1928 г. по делу Братства преподобного Серафима Саровского, объединенному с делом молодежного кружка под названием «Космическая Академия Наук» (КАН), Андреевский был арестован, а 8 октября того же года Коллегией ОГПУ осужден на пять лет концлагеря и направлен на Соловки; другие члены братства и КАН также получили свои сроки. С. А. Аскольдов был осужден на три года высылки, Д. С. Лихачев — на пять лет концлагеря и отправился вместе с Андреевским на Соловки. На допросах, как свидетельствуют материалы архивного следственного дела, Иван Михайлович вел себя твердо, отрицая практически все обвинения и не выдав членов своего «воскресного» кружка (небольшую группу молодежи, продолжавшей ходить к нему вне

¹⁴ Андреевский И. М. Путешествие в Саров и Дивеево в 1926 году // Дивеевские предания. М., 1996. С. 409, 416.

¹⁵ Андреевский И. М. Путь проф. С. А. Аскольдова. С. 57; Антонов В. В. Указ. соч. С. 44–49, 93–99; Лихачев Д. С. Воспоминания. СПб., 1995. С. 129–136; Полчанинов Р. Проф. И. М. Андреевский. С. 11.

деятельности Братства преподобного Серафима Саровского). Через две недели после вынесения приговора с этапом его отправили в Кемь¹⁶.

Соловецкий период заключения описан И. М. Андреевским главным образом в публикуемых в настоящем издании очерках. Отдельные штрихи и эпизоды, относящиеся к этому периоду, нашли отражение и в ряде других его работ¹⁷, сведения о его пребывании в Соловецком лагере содержатся также в воспоминаниях Д. С. Лихачева и Н. П. Андиферова¹⁸. Значительную часть воспоминаний И. М. Андреевского о лагерном периоде составляют его зарисовки о церковной (тайной для властей) жизни на Соловках и воспоминания о ярких деятелях церковного движения «непоминаящих», с которыми он был близок, — священноисповеднике епископе Викторе (Островидове), епископах Иларионе (Бельском), Нектарии (Трезвинском), епископе «иосифлянского» посвящения Максиме (Жижиленко), протоиерее Николае Пискановском и других. Выжить в условиях лагеря Ивану Михайловичу помогла врачебная квалификация, в особенности врача-психиатра. Он работал в лагерных лазаретах, участвовал в лагерных психиатрических экспертизах, в том числе в отношении сотрудников и начальников лагеря, накопил в этом отношении солидный научный материал, который опубликовал в эмиграции¹⁹. В течение девяти месяцев заключения в «Крестах», двух с половиной лет пребывания в Соловецком концлагере, затем опять пребывания в течение года в ДПЗ в Ленинграде, куда его привозили с Соловков для допросов по «Академическому делу», ему пришлось многое перенести от советской карательной системы. «Меня много мучили и пытали... Я сам когда-то "стоял" 36 часов... — говорил он в тюрьме заключенному профессору, к которому применили пытку "стоянием". — Я пережил очень много, но самое тяжелое — это инсценировка расстрела, затем 6-месячное пребывание в темном карцере. Вы спрашиваете, какие у них методы "воздействия"? Прямо скажу — жуткие и ужасные, иногда совершенно невыносимые... У меня теперь не поворачивается язык обвинять тех, кто выдал своими показаниями друзей, кто даже клеветал на них»²⁰.

¹⁶ Андреевский И. М. Путь проф. С. А. Аскольдова. С. 57; Антонов В. В. Указ. соч. С. 44, 95–98; Медведев Ю. «Воскресение»: К истории религиозно-философского кружка А. А. Мейера // Диалог. Карнавал. Хронотоп. Витебск; М., 1999. № 4(29). С. 90.

¹⁷ См., например: Андреевский И. М. Еще несколько слов о Д. В. Болдыреве / И. А. // Православный путь: 1951. Джорданвилль, 1951. С. 60; *Его же*. Заметки о Катакомбной Церкви в СССР / Проф. И. Андреев // ПР. 1947. № 14. С. 6, 10; *Его же*. Матушка Мария Гатчинская. С. 11; *Его же*. О положении Православной Церкви в Советском Союзе: (Катакомбная Церковь в СССР) / Проф. Ив. Андреев // ПР. 1951. № 1. С. 7, 8; Катакомбная Церковь. Доклад проф. И. М. Андреева, прочитанный 17 июня с.г. в Лейквуде, Н. Дж. и записанный одним из слушателей / Ю.Д. // ПР. 1950. № 13. С. 3; Речь проф. И. М. Андреева на Владимирском празднике 12–25 июля 1954 г. // ПР. 1954. № 15. С. 8.

¹⁸ Андиферов Н. П. Указ. соч. С. 349–350; Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 153, 171, 177, 225–226, 253, 267, 397–410.

¹⁹ См.: Андреевский И. М. Большевик в свете психопатологии / Проф. И.С. // Возрождение. Париж, 1946. № 6. С. 142–149; *Его же*. Психиатрические экспертизы в Советской России / Проф. И. А. // Владимирский Православный русский календарь на 1956 г. Нью-Йорк, 1955. С. 104–118.

²⁰ Андреевский И. М. Пытка детьми: (Страничка из «Воспоминаний») / Профессор И.С. // ПР. 1948. № 1. С. 13.

После освобождения в 1932 г. Ивану Михайловичу, лишенному права проживания в родном Ленинграде, удалось устроиться на работу главным врачом Областного интерната им. Ушинского на ст. Оксочи в 200 км от северной столицы (что позволяло ему все же тайно посещать Ленинград), однако в 1937 г. он был уволен и с этой должности «как не имевший документов». В 1937–1941 гг. работал врачом в больницах небольших городов, на Волховстрое, в Новгороде, был главным психиатром Новгородской областной больницы. В апреле 1938 г. он был снова арестован, провел несколько дней в изоляторе, но от дальнейшего заключения его спасло, как он сам говорил об этом, чудо по горячей молитве к Новомученикам²¹. Когда его в 1930 г. привозили в Ленинград для допросов по «Академическому делу» («Делу Платонова-Тарле»²²), по отношению к советской власти он высказывался, если верить протоколам допросов, вполне лояльно: «Если бы я в настоящее время был отпущен на свободу, то я больше бы никогда не стал беседовать на религиозно-философские темы ни с кем, а тем более с молодежью... Всегда возмущался до глубины души эксплуатацией человека человеком, никогда в жизни не был и не буду на стороне капиталистов и буржуазии и глубоко сочувствую всему, что облегчает жизнь рабочих и крестьян». Но при этом он говорил и о своем несогласии с религиозной политикой власти: «Не могу понять, почему для установления на земле свободы, братства и равенства непременно нужно не верить в Бога»²³.

Великая Отечественная война застала его в Новгороде, оказавшемся в зоне немецкой оккупации. С отступающими немецкими войсками он оказался сначала во Пскове, затем в Риге, Праге, Германии, 9 мая 1945 г. встретил в Потсдаме²⁴. После этого было бегство от советских войск в англо-американскую зону оккупации, три с половиной года жизни в лагерях Ди-Пи на севере Германии и, наконец, выезд в США по программе переселения Ди-Пи в конце 1949 г. В январе 1950 г. русская зарубежная печать писала о прибытии Андреевского в Америку как о важном событии, он был уже хорошо известен

²¹ Андреевский И. М. Заметки о Катакомбной Церкви в СССР. С. 7–10; Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 129; Полчанинов Р. Проф. И. М. Андреевский. С. 11; Серафим (Роуз), иеромон. Указ. соч. С. 554; Шкаровский М. В. Судьбы иосифлянских пастырей: Иосифлянское движение Русской Православной Церкви в судьбах его участников. Архивные документы. СПб., 2006. С. 276–280.

²² См. об этом деле: Академическое дело 1929–1931 гг. / Б-ка Рос. Акад. наук. Вып. 1. СПб., 1993; Вып. 2. Ч. 1, 2. СПб., 1998.

²³ Материалы архивного следственного дела 49829 Архива Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Т. 1. Л. 396) приводятся по: Антонов В. В. Указ. соч. С. 98.

²⁴ Помазанский М., протопресв. Указ. соч. С. 4. — Перед оставлением занятых советских городов немцы насильственно вывозили из них местное население. В итоге, например, при входе 22 июля 1944 г. советских войск в Псков в городе оставалось 143 человека (Полчанинов Р. В. Молодежь русского зарубежья: Воспоминания, 1941–1951. М., 2009. С. 158–159). Правда, как И. М. Андреевский писал позднее, он и сам стремился воспользоваться этими событиями для эмиграции из СССР (Андреевский И. М. Путь проф. С. А. Аскольдова. С. 57).

по своим ярким статьям в эмигрантской печати и почитался как выдающийся деятель российской «Катакомбной Церкви»²⁵. Еще пребывая в лагерях Ди-Пи в английской оккупационной зоне и пользуясь относительной свободой перемещения как врач и преподаватель лагерных гимназий, он активно участвовал в жизни Германской епархии РПЦЗ, часто посещая Мюнхен — православный центр Германии, где выступал с лекциями, был избран в Епископский совет. Здесь же он стал близким помощником и вообще духовно близким человеком имевшему тогда пребывание в Мюнхене главе РПЦЗ митрополиту Анастасию (Грибановскому). В конце 1947 г. в торжественной обстановке он передал владыке Анастасию частицу Святых Даров, «освященных за тайной литургией в русских катакомбах» (члены «Катакомбной Церкви», как священники, так и миряне, носили с собой частицу запасных Даров, чтобы иметь возможность причаститься в минуту опасности). Это событие Русской Зарубежной Церковью было воспринято с трепетом, как символ единения РПЦЗ с «Катакомбной Церковью» в России²⁶. Во время войны в газетах, издававшихся на территориях, подконтрольных немецким властям, под псевдонимом «профессор И. Соловецкий» он начал публиковать свои очерки о жизни в СССР и имеющих там место репрессиях²⁷. Позднее, в лагерях Ди-Пи, в память о глубоко чтимом им деятеле катакомбного движения петербургском протоиерее Феодоре Андрееве²⁸, он сменил псевдоним на «профессор Андреев», которым подписывал свои работы до самой смерти.

В Америке Иван Михайлович сразу был определен преподавателем Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле, учительствовал здесь 20 лет, был профессором нравственного богословия, апологетики и русской литературы, преподавая также историю Церкви, психологию и логику. Принимал активное участие в издательской деятельности Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, много писал и выступал с лекциями, был одним из директоров Медицинского общества им. Пирогова (организации русских врачей в США), активно участвовал

²⁵ Прибытие проф. И. М. Андреевского // ПР. 1950. № 2. С. 14.

²⁶ Андреевский И. М. Митрополит Анастасий : (Духовный облик Первосвятителя Русской Зарубежной Церкви) / Профессор И. Андреев // ПР. 1948. № 9. С. 4—7; Великий Символ // ПР. 1948. № 1. С. 19; Духовные соборования в Синодальном доме в Мюнхене // ПР. 1949. № 13. С. 15—16; Епархиальное собрание представителей от духовенства и мирян Германской Православной епархии // ПР. 1949. № 15/16. С. 30; Помазанский М., протопресв. Указ. соч. С. 4.

²⁷ См., напр., его статьи: Допрос академика Платонова / Проф. И. Соловецкий // Новое Слово. Берлин, 1944. 7 июня. С. 6; Максим Горький на Соловках / Проф. Соловецкий // Там же. 18 июня. С. 5; Молитва русской матери / Профессор И. И. Соловецкий // За Родину. Рига, 1944. 19 июля. С. 3; На коммунистической каторге : (Из записок бывшего заключенного на Соловках) / Проф. И. Н. С. // Новое Слово. 1943. 7 марта. С. 3; О душе русского народа / Проф. И. М. Соловецкий // Там же. 19 дек. С. 5; Совесть СССР / Проф. Соловецкий // За Родину. 1944. 7 июня. С. 3.

²⁸ См.: Серафим (Роуз), иеромон. Указ. соч. С. 548.

в антикоммунистическом движении²⁹. Особенно много сил он уделял участию в деятельности Свято-Владимирского общества, имевшего целью построить в Америке храм-памятник равноапостольному князю Владимиру (этот храм освящен в 1988 г.). Под эгидой общества и при многих усилиях Ивана Михайловича в разных местах США создавались Владимирские кружки молодежи, их целью было раскрытие для эмигрантской молодежи богатств русской культуры. С 1954 до 1972 г. он состоял членом Епархиального совета Восточно-Американской и Нью-Йоркской епархии. Последние годы были для него исполненными особых физических и душевных страданий. За пять лет до смерти он был в Нью-Йорке жестоко избит в лифте хулиганами, после чего здоровье его уже не восстановилось, большую часть времени он находился в состоянии потери памяти и сознания. Умер Иван Михайлович 30 декабря 1976 г. По словам ухаживавшей за ним его приемной дочери Э. В. Трифунович, умер он «забытым теми, кто при жизни, казалось, ловил каждое его слово... К моменту его кончины только крошечная горсточка старых, испытанных друзей иногда навевалась о его здоровье». Похоронен он на монастырском кладбище в Джорданвилле³⁰.

Литературное наследие «профессора Андреева» велико и чрезвычайно разносторонне. Помимо вышедших в США наиболее значительных его трудов («Православно-христианская апологетика» (1953), «Православно-христианское нравственное богословие» (1966), «Очерки по истории русской литературы XIX века» (1968), «Краткий обзор истории Русской Церкви от революции до наших дней» (1951), «Краткий конспект курса лекций по психологии» (1960)), оно включает в себя не менее сотни статей по самому широкому кругу вопросов (психология, психиатрия, педагогика, литературоведение, история России, Русской Церкви, патрология, нравственное богословие, гносеология, агиография и др.). Перечислить и охарактеризовать эти работы в рамках данного очерка невозможно, каждая из них представляет собой серьезное самостоятельное исследование, насыщенное ценными мыслями и материалами.

Однако в первую очередь для русского зарубежья «профессор Андреев» — один из наиболее известных и авторитетных обличителей «официальной» (как

²⁹ И. М. Андреевский входил в руководство «Российского Антикоммунистического центра», представлял русскую эмиграцию в «антикоммунистическом "Параде лояльности" по отношению к Америке» и др. (Антикоммунистический «Парад лояльности» в Нью-Йорке // ПР. 1950. № 9. С. 14; Антикоммунистический центр // ПР. 1950. № 8. С. 12).

³⁰ Из жизни Владимирских кружков // ПР. 1952. № 23. С. 14; Лекции проф. И. М. Андреева // ПР. 1954. № 14. С. 14; Митрофан (Зноско-Боровский), еп. Хроника одной жизни: Воспоминания, проповеди. М., 2006. С. 550–551; Новый состав епархиальных органов // ПР. 1954. № 10. С. 15; Помазанский М., протопресв. Указ. соч. С. 5; Религиозно-просветительская работа с Св. Владимирской молодежью // ПР. 1951. № 19. С. 13; Серафим (Роуз), иеромон. Указ. соч. С. 556, 566–567; Трифунович Э. В. И. М. Андреевский: (Из вклада Зарубежья в русское возрождение) // Русское возрождение. Париж; Москва; Нью-Йорк, 1978. № 4. С. 211, 222, 228; Троицкий Православный русский календарь на 1956 г. Джорданвилль, 1955. С. 9; ...на 1972 г. Джорданвилль, 1971. С. 6; Цикловые лекции Владимирских кружков // ПР. 1952. № 21. С. 14.

он называл ее в противовес «катакомбной») Церкви в России — Русской Православной Церкви Московского Патриархата. В 1927 г. он не признал известную «Декларацию» Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и стал активным борцом против принятого владыкой Сергием (будущим Патриархом) курса на выстраивание отношений с советской властью, — вместо курса на уход в катакомбы, апологетом которого был Андреевский и целый ряд видных ленинградских пастырей и богословов. Делегация, представлявшая мыслящую таким образом часть духовенства и мирян Ленинградской епархии, посетила митрополита Сергия в Москве, прося его отказаться от избранного им курса и выполнения в связи с этим требований советской власти, смущавших совесть верующих. В состав этой делегации входили четыре представителя: епископ Димитрий (Любимов), священномученик протоиерей Викторин Добронравов, С. А. Алексеев (впоследствии священник) и И. М. Андреевский. Андреевский представлял в ней ленинградские академические и университетские круги, составленное им подробное описание этой встречи является ценным историческим документом. Митрополит Сергий, как известно, ответил тогда Ленинградской делегации отказом³¹.

После этой встречи Иван Михайлович стал активным деятелем движения «непоминающих», «иосифлянином», участвовал в тайных богослужениях, был близко знаком со множеством пастырей, богословов и активных членов этого движения³². Поэтому вполне обоснованно эмигрантская печать, публикуя очерки «профессора Андреева» о катакомбном движении в СССР, писала о нем как о «видном деятеле Катакомбной Церкви», работы которого написаны «кровью и слезами много пострадавшего исповедника Христова»³³.

Труды Андреевского против Московской Патриархии («советской церкви», как он ее называл) написаны ярким языком, содержат богатую аргументационную базу, многочисленные отсылки к каноническому праву, догматическому богословию, церковной истории. И сейчас эти работы и изложенные в них аргументы являются базовыми для тех, кто отказывается признавать восстановление единства Русской Православной Церкви Зарубежом с Русской Православной Церковью Московского Патриархата, состоявшееся в 2007 г. Однако как же

³¹ См.: Андреевский И. М. Историческая делегация Ленинградской Епархии в Москву / Профес. И. Андреев // ПР. 1947. № 10. С. 2–6; № 11. С. 4–7.

³² В частности, он был близок к одному из лидеров «иосифлян» протоиерею Феодору Андрееву, протоиерей Сергей Тихомиров был его духовным отцом, узы глубокой дружбы связывали его со священномучеником протоиереем Викторином Добронравовым (Серафим (Роуз), иеромон. Указ. соч. С. 548–550; Шкаровский М. В. Указ. соч. С. 280). О его близости ко многим «непоминающим» иерархам в лагере на Соловках сказано выше.

³³ Кровью и слезами омытое слово // ПР. 1948. № 17. С. 1; Серафим, еп. Живой свидетель // ПР. 1947. № 14. С. 3.

сейчас, с позиции суда времени, следует отнести к тому, что написано Иваном Михайловичем Андреевским в те годы?

С точки зрения практической (но не догматической), трудно представить, как разделения между Церковью в России и Русской Церковью за рубежом в 1920-е гг. могло бы не произойти. Церковь в России, после того, как власть в стране перестала быть предметом спора и население страны эту власть признало, начала выстраивать с властью (хотя эта власть и заявила по отношению к Церкви предельно враждебный курс, вплоть до курса на полное уничтожение) отношения по древнему, установленному Священным Писанием принципу: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим 13. 1), — включая и молитву за эту власть³⁴, и взаимодействие по широкому кругу вопросов. Эти новые отношения отразились в известной пререкаемой фразе митрополита Сергия в «Декларации» 1927 г.: «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи»³⁵. Русская же диаспора за рубежом, а следом и Русская Зарубежная Церковь, находясь в свободном (в отношении вероисповедания) западном мире, считала для себя нелепым признавать, а тем более молиться за безбожную советскую власть, рассматривая для себя даже малейшую поддержку этой власти как поддержку борьбы с Православием в России³⁶.

Профессор И. М. Андреевский полагал (не вполне, на наш взгляд, обоснованно, если опираться на Священное Писание и Предание), что победившая в России советская власть — единственная в своем роде во всей мировой истории, и в области выстраивания с ней отношений цитированный выше принцип Священного Писания не должен применяться. «Надо ясно... понять, что советская власть есть впервые в мировой истории подлинная цинично-откровенная антихристова власть, т.е. богоборческое самовластье», — писал Андреевский. Выводил он это из того принципа, что «только Богоустановленная власть есть подлинная власть. Власть же, не признающая над собой высшей власти Бога, не есть власть, а самовластие. Советская власть в СССР не есть истинная власть, а

³⁴ См. известное место из Посланий ап. Павла, жившего, как известно, в эпоху римских императоров — язычников и гонителей христиан: «...Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу» (1 Тим 2. 1–3).

³⁵ Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943: Сб. в 2 ч. / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 510.

³⁶ Помимо самой «Декларации» 1927 г., Русскую Церковь за рубежом (как и «непоминающих» в России) смущали конкретные действия митрополита Сергия в рамках заявленного им курса: увольнение с кафедр архиереев, которых советская власть высылала или заключала в тюрьмы и лагеря, отмена гласных молитв на Литургии о «в тюрьмах и изгнаниях сущих» и др.

отрицание самой сущности, самого принципа, самой идеи власти и утверждение самовласти»³⁷. На наш взгляд — это натяжка, а между тем, как точно подмечено самим Иваном Михайловичем, это место — ключевое во всем вопросе признания правильности или неправильности действий Русской Православной Церкви Московского Патриархата в советское время. «Если большевистский коммунизм есть лишь одно из многих, качественно не новых явлений в мировой истории, если “советская власть” есть лишь только одна из худших и жесточайших (пусть даже самая худшая из худших и жесточайших), то... никакой новой духовной проблемы нет»³⁸. В принципе, Московская Патриархия так и считала. Андреевский ярко подметил суть этого расхождения в диалоге, состоявшемся в ходе визита вышеупомянутой делегации Ленинградской епархии к митрополиту Сергию. Делегация поставила перед Местоблюстителем вопрос: «Ведь советская власть антихристова, а можно ли Православной Церкви находиться в союзе с антихристовой властью и молиться за ее успехи и радоваться ее радостями?» Митрополит Сергей засмеялся и отмахнулся: “Ну какой тут антихрист”, и это было самое главное, роковое, решающее расхождение, после которого в 1927 г. произошел церковный раскол»³⁹. Проблема выявлена И. М. Андреевским достаточно рельефно: считавшие советскую власть властью антихриста должны были отказываться от всякого сотрудничества с ней, не считавшие — должны были строить с ней отношения, как с любой другой властью. Однако не понизили ли планку те, кто считал советскую власть властью антихриста, особенно в свете последовавших событий? Советский строй канул в небытие, а ведь антихрист (тот, чью печать принимать нельзя) — это, согласно Священному Писанию, конкретная личность (см.: 2 Фес 2. 3), а не некий обезличенный принцип богоборчества, и придет эта личность и подчинит себе мир перед концом света, а не придет и потом опять уйдет до времени⁴⁰. Андреевский опирается также на то, что «не подлежит никакому сомнению, что ненавидящих советскую власть в СССР большинство»⁴¹, — снова натяжка, учитывая, что говорит он об этом в 1940–1950-е гг., после Второй мировой войны. Однако из этой натяжки он выводит важный для его логических построений, тем не менее неверный в свете

³⁷ Андреевский И. М. Благодатна ли советская церковь? / Проф. И. Андреев // ПР. 1948. № 17. С. 3.

³⁸ Там же. С. 4.

³⁹ Там же.

⁴⁰ См. учение Церкви об этом в: Давыденков Олег, иерей. Догматическое богословие. М., 2006. С. 419–422. — В Св. Писании термин «антихрист» употребляется в двух значениях: в первом, указанном выше (личность, которая придет перед концом света, выдавая себя за Христа), и во втором — как всякий, «не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти» (2 Ин 1. 7), — т.е. не право верующий христианин (в этом смысле в Писании говорится о «многих антихристах» (1 Ин 2. 18). Очевидно, что когда доказывается особая, уникальная «антихристовость» советской власти, то термин употребляется в первом смысле, поскольку примеров «антихристовых» властей во втором смысле не счесть как в истории, так и в настоящее время.

⁴¹ Андреевский И. М. Благодатна ли советская церковь? № 19. С. 7.

истории принцип: «ясно, что большинство истинно верующих православных людей не признает советскую церковь»⁴². Это неверно хотя бы по числу прославленных Новомучеников и исповедников Русской Церкви, сохранивших верность Московской Патриархии.

В итоге для него «официальная» Церковь в России, т.е. Русская Православная Церковь Московского Патриархата — «не духовный организм “тела Христова”, а лишь формальная церковная организация, в которой нет и намека на святость»⁴³. Его не смущает, что эта Церковь признается всеми Восточными Патриархами и другими Поместными Церквами, — в этом он тоже видит лишь ошибку предстоятелей Восточных и Поместных Церквей, и его также не смущает, что непогрешимость сохраняемой истины он должен признавать сохраняемой таким образом только в РПЦЗ и «Катакомбной» (не признающей Московского Патриарха) Церкви в России⁴⁴.

Всю делящуюся с 1927 г. полемику разрешил 17 мая 2007 г. Акт о каноническом общении Русской Православной Церкви Заграницей с Русской Православной Церковью Московского Патриархата, опиравшийся на решения Архиерейских Соборов РПЦЗ 15–19 мая 2006 г. в Сан-Франциско и РПЦ Московского Патриархата 3–8 октября 2004 г. в Москве. При том, что времени еще предстоит расставить все точки над «i» в вопросе, в какой степени была права и не права каждая сторона в этом споре, со стороны РПЦЗ Актом о каноническом общении было признано, что действия Московской Патриархии после 1927 г. (даже если последняя и допустила в выстраивании отношений с советской властью шаги, которые РПЦЗ и сейчас не может признать правильными) все же не были такого свойства, чтобы сделать возглавляемую Московскими Патриархами Церковь безблагодатной, догматически ущербной, отделенной от Тела Христова. Со стороны же РПЦ Московского Патриархата в подписании этого Акта прозвучало признание важности для нее подвига тех, кто искренне (не по «преступному властолюбию и самоволию», а по причине «по-своему понимаемой заботы о благе Церкви», «разного видения путей адекватного реагирования на бедственные для Церкви явления»⁴⁵) искал путь спасения и боролся за сохранение чистоты Православия как в рамках катакомбного движения в России, так и являясь чадами Русской Православной Церкви Зарубежом.

⁴² Там же.

⁴³ Там же. № 17. С. 5.

⁴⁴ См.: Там же. № 19. С. 8; Андреевский И. М. Св. Патриарх Тихон и судьбы Русской Церкви / Проф. Ив. Андреев // ПР. 1950. № 6. С. 13; Катакомбная Церковь. Доклад проф. И. М. Андреева ... С. 4; Речь проф. И. М. Андреева на Владимирском празднике 12–25 июля 1954 г. С. 8.

⁴⁵ См.: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Председателя Синодальной Комиссии по канонизации святых «Историко-канонические критерии в вопросе канонизации новомучеников Русской Церкви в связи с церковными разделениями», представленный на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 26 декабря 1995 г. // Канонизация святых в XX веке. М., 1999. С. 170–185.

Однако несмотря на то, что яркий обличитель Московской Патриархии Иван Михайлович Андреевский, которого близко знавшие люди характеризовали как человека порой чрезвычайно подверженного эмоциям, нервного⁴⁶, в апологетическом запале позволял себе порой весьма резкие выпады в ее адрес, — самого важного рубежа, который впоследствии станет для Русской Православной Церкви главным критерием в оценке различных течений «непоминающих»⁴⁷, он не переступил: благодать Святого Духа в Русской Православной Церкви Московского Патриархата он не хулил, безблагодатной ее иерархию (а значит, и совершаемые в ней Таинства) не называл. Глубокая утвержденность в Православии, аскеза, искренняя устремленность ко спасению и церковному благу, подвиг исповедничества, общение со многими яркими церковными деятелями, мучениками и исповедниками определили его глубокую интуицию и осторожность в этих вопросах. Его позиция — не отдаленного критика, а глубоко сострадающего чада. Он говорил не об отрицании благодатности «официальной» Церкви в России, а о сомнении в этой благодатности и потому отходе от общения. Окончательный суд по этому вопросу профессор Андреевский отдавал Собору всей полноты Русской Церкви, который когда-нибудь, верил он, непременно состоится⁴⁸, — и в этом не ошибся.

По Андреевскому, живя до времени вне России (пока советский строй не падет), русские люди за рубежом, находясь в условиях свободы и безопасности, должны самоотверженно помогать своим собратьям на Родине, причем помогать двумя способами: первое — «понимать, помнить и разъяснять всему миру, что делается» на Родине, и второе, самое важное, — «мы должны ясно и твердо понимать, что главная наша помощь состоит в молитве»⁴⁹.

Время показало, что, понимая так свое служение Церкви в России, Русская Православная Церковь Зарубежом действительно помогла ей как в годы гоне-

⁴⁶ «Очень нервным» называет И. М. Андреевского учившийся у него в семинарии (и глубоко уважающий его) Г. М. Солдатов; дочери протоиерея Феодора Андреева М. Ф. Андреева и А. Ф. Можайская в своих воспоминаниях пишут о Иване Михайловиче как о «яркой, но противоречивой личности», отмечая, что у него «была одна особенность. Он мог что-нибудь придумать, сфантазировать, а потом легко и искренно в это поверить». Д. С. Лихачев говорит о нем как «имевшем скромный недостаток — некоторую хвастливость и стремившемся иногда изобразить себя главой или участником большого движения», при этом Иван Михайлович мог сильно ошибаться в людях: принять, например, провокатора, неискренность которого скоро заметили другие члены кружка, за религиозного подвижника (Андреева М., Можайская А. Воспоминания о Марии Вениаминовне Юдиной: (История отношений с двумя петербургскими семьями) // Мария Юдина: Лучи Божественной Любви: Литературное наследие. М.: СПб., 1999. С. 643; Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 134–136, 284, 404, 407; Солдатов Г. М. Вспоминая профессора Ивана Михайловича Андреевского // Наша страна. Буэнос-Айрес, 2012. 10 нояб. С. 2).

⁴⁷ См.: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого ... С. 170–185.

⁴⁸ «Мы, православные русские люди, — писал он, — не предпрещая окончательного суда над советской церковью, суда, который, по „произволению“ Св. Духа вынесет в свое время Русский Православный Собор, должны ясно и определенно сказать: от какого бы то ни было общения с советской церковью мы отказываемся, ибо сомневаемся в ее благодатности» (Андреевский И. М. Благодатна ли советская церковь? № 19. С. 10).

⁴⁹ Речь проф. И. М. Андреева на Владимирском празднике 12–25 июля 1954 г. С. 9.

ний, так и тогда, когда после падения советского строя в России начала возрождаться церковная жизнь. Вклад таких людей, как И. М. Андреевский, должен быть по достоинству оценен. Русский Собор, которого он ждал, чтобы было вынесено решение о благодатности или безблагодатности Церкви в России, состоялся и решение свое вынес: обе части Церкви, пережив эпоху гонения и изгнания, не увидели того, что их должно разъединять, и воссоединились. Надо думать, что доживи Иван Михайлович до этих дней, и он был бы с теми, кто радовался о восстановлении церковного единства. Ведь его ученики по Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле — предстоятель РПЦЗ митрополит Лавр, протоиерей Виктор Потапов и многие другие⁵⁰ — были активными участниками процесса воссоединения. С ними, надо полагать, был бы и учитель. Он умер за 30 лет до этого события, однако всегда верил, что Россия непременно возродится духовно, и в ней в полноте воссияет Русская Православная Церковь. Когда читаешь его размышления на эту тему, то удивляешься, как можно было в 1930-е, 1940-е или 1950-е годы иметь такую уверенность. «Ужасы беззакония, творимые на нашей Родине — невыразимы! — писал он. — Но мы знаем и помним слова истины: где умножается грех — там преизобилует благодать. Господь явно посылает своему избранному народу духовные силы для перенесения тяжчайших испытаний!.. Смерть мученика может его мучителям казаться победой над ним, но на самом деле это есть свидетельство бессилия зла перед непоколебимой твердостью христианской веры... Пиррова победа дьявола уже ясна духовным очам православных. За звуками победных литавр зла начинается для духовных ушей ясно слышаться тихое пение херувимов, видящих раньше нас начало торжества Христовой Правды!.. Россия, обильно политая кровью и слезами невинно замученных в бесчисленных концлагерях, рассеянных на беспредельных пространствах, — омывает все свои грехи и таинственно-чудно становится постепенно снова Святой Русью!.. И когда-нибудь христиане всего мира будут паломничать в освобожденную Россию и называть ее святой землей мук и крови!»⁵¹

Иван Михайлович Андреевский, по замечанию отца Серафима (Роуза) «был человеком с пламенным сердцем», отдававшим себя религиозному просвещению окружающего мира. С грустью писал отец Серафим, что не был Иван Михайлович, да и не мог быть в полной мере востребован средой, в которой жил и творил последнюю половину жизни, потому и в плане литературного наследия не раскрылся так, как мог бы раскрыться. Казалось, что он что-то сохраняет и творит для будущего. «Он очень страдал от низкого уровня церковного

⁵⁰ См.: Трифунович Э. В. Указ. соч. С. 227–228.

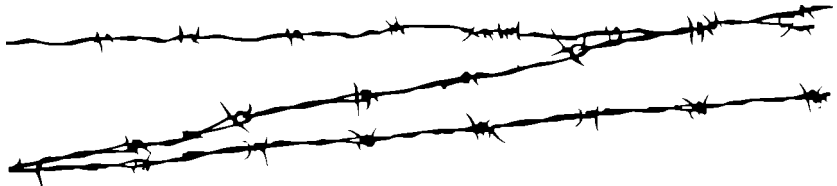
⁵¹ Андреевский И. М. Икона всех святых в земле Российской просиявших / Проф. И. Андреев. Мюнхен, [1948?]. С. 7–8; Речь проф. И. М. Андреева на Владимирском празднике 12–25 июля 1954 г. С. 9.

и нравственного образования в наши времена, как в Советском Союзе, так и в свободном мире. Очень может быть, что его творческие годы принесли бы намного больше плодов, если бы у него не было постоянно давящего чувства, что немногим есть дело до Бога, Православия и своего внутреннего человека... К сожалению, из-за отсутствия высокой культуры и глубины восприятия у большинства современных православных христиан» такие личности, как профессор Андреевский, «не оценены по достоинству, и даже те, кто жил и учился с ними, редко понимали, какие сокровища они могли почерпнуть из богатых недр их православного опыта и знаний. Их интеллектуальная и духовная зрелость, старосветская утонченность, нарочитая простота и скромность, многообразие и одновременно целостность православного восприятия — все это по большей части прошло мимо умов молодого поколения (как русских, так и греков, и новообращенных американцев), часто ищущего простые ответы на примитивные вопросы, которое... упускает самое главное — глубокую работу над собой в повседневной православной жизни, чья духовная незрелость и отсутствие интеллектуальной культуры попросту не дают ему возможность уследить за ходом мысли зрелого православного мыслителя... Андреева немногие понимали в его время; он был слишком глубок и пламенен для современников. Он был в какой-то степени предвестником будущего расцвета Святой Руси»⁵².

⁵² Серафим (Роуз), иеромон. Указ. соч. С. 554—555, 564, 566.



Допросы в тюрьмах НКВД (из воспоминаний)¹



Допрос в СССР имеет две стороны. Одна — это устный разговор следователя с арестованным. Другая — это фиксированный письменный документ, протокол допроса, *подписанный обвиняемым*².

Формально юридическая сторона в СССР часто бывает представлена безукоризненно. Из протоколов допросов видно все: и характер обвинения, и характер следствия, и сложная сеть свидетельских показаний, и наконец, разоблачение, уличение обвиняемого, его признание, скрепленное подписью. Потом приговор и наказание. Все строго законно, на основании Уголовного Кодекса и Конституции.

Ничего другого не видно. Нет ни следов разговоров, ни следов пыток. Разговоры происходят наедине; пытки — без свидетелей. «Серьезные» преступники в советских тюрьмах всегда умирают. Они содержатся в одиночных камерах, допрашиваются по ночам, «ликвидируются» перед рассветом. Темные коридоры ДПЗ (Дома Предварительного Заключения) «Крестов» и «Бутырок» (тюрьмы в Ленинграде и Москве) — молчат. Подсобный обслуживающий персонал надзирателей тщательно подобран и тоже умеет молчать.

Мне, врачу-психиатру, было чрезвычайно интересно наблюдать типы следователей и надзирателей. Они строго подобраны. Среди них большинство — психопаты: эпилептоиды, параноики, шизоиды. Много садистов и морально-слабоумных.

¹ Публикуется по: Профессор И. С. Допросы в тюрьмах НКВД // За свободу России / Сб. ст. под ред. С. П. Мельгунова. Париж, 1948. С. 32—37.

² Здесь и далее выделено автором.

Допрос в СССР — это совершенно особый вид спорта для следователя и всегда пытка (физическая или моральная) для обвиняемого.

...Внезапный лязг и грохот отпираемого замка, обычно ночью, громкие крупные шаги входящего надзирателя, большей частью с клочком бумажки в руке, нарочитое молчание в течение нескольких секунд, затем вызов по фамилии с приглашением: «давай, давай»... Куда, зачем, для чего — никогда не говорится... И вот, поспешное одевание, под нетерпеливое понукание: «давай, давай», и шествие надзирателя впереди по бесконечно длинным коридорам и лестницам, все ниже и ниже, ближе к подвалам и... преисподней.

Входишь в кабинет следователя, садишься на стул. Начинается «беседа». Сначала издалека. Часто на нейтральные темы. Приглушенным «задушевым» голосом. Аппетит приходит с едой. Допрашиваемый — *в полной власти следователя*. Оба это знают: один с ужасом, другой — с удовольствием.

Я пережил много допросов. Много было «разговоров» и пыток. Вспоминать о них и описывать их — значит вновь переживать прошедшие кошмары. Мне это очень трудно и больно. Да и слов для передачи нет. Были мысли, чувства, страшные впечатления, но слова точно не запомнились. Иногда кажется, что слов, может быть, и не было, были лишь столкновения душ. Вряд ли помнит изнасилованная девушка слова и подробности, совершенные при ее растлении. Так и тут. Изнасилование души не поддается описанию. Легче сказать не о себе, а о другом. Это психологически будет вернее и правдивее.

Однажды ко мне в камеру привели нового заключенного. Высокого роста, с умным и мужественным лицом. Разговорились. Он оказался профессором одного из столичных высших учебных заведений. Обвинялся он «во вредительстве» и в «экономической контрреволюции» по ст. 58, пункт 7. Посажен он был сначала в общую камеру, а затем, после первого же допроса, переведен в «двойник» (одиночная камера, превращенная, из-за недостатка мест, в камеру для двоих), где находился я.

Интересный собеседник, мужественный человек, большой ученый экономист, интересующийся вопросами философии, литературы, музыки, он сразу меня и заинтересовал, и обрадовал, и очаровал. По-видимому, мы оба понравились друг другу. На другой день утром он встал со словами:

— Первая неприятная мысль о том, что я в тюрьме, быстро исчезла под впечатлением последующей мысли о том, что мы сегодня можем так много и так интересно поговорить с вами.

Еще через два дня мы были уже друзьями.

— Я недавно овдовел, — рассказал он мне свою биографию. — У меня двое прекрасных детей — девочка и мальчик, 16 и 15 лет. Девочка (больная туберкулезом

позвоночника) — совершенно неземное существо. Глубоко мистически-религиозная, очень одаренная, прекрасно рисует. Мальчик — рыцарь; трогательно обожает сестру. В нем удивительным образом сочетались — практическая жилка (это — будущий талантливый инженер) с любовью к поэзии и музыке... Когда меня арестовали, они оба повисли у меня на шее и не хотели отпускать... Когда двое следователей, пришедших для обыска и ареста, взяли их за руки — они подчинились с тихим ужасом в глазах. Сын отошел в угол, а дочка сняла с шеи крестик и надела на меня. К сожалению, этот крестик у меня сорвали при приеме в тюрьму...

— В чем же вас обвиняют? — спросил я.

— В том, будто я по каким-то заданиям из какого-то центра вел какую-то «вредительскую деятельность», был «экономическим контрреволюционером» в своих лекциях в университете.

— Скажите, пожалуйста, — спросил он меня в свою очередь, — ведь вы уже давно сидите, вы опытный заключенный?.. Не можете ли вы мне рассказать что-нибудь о «методах воздействия» на допросах...

— Да, я сижу давно, — ответил я. — Сначала я сидел девять месяцев, потом был отправлен в концлагерь, где пробыл два с половиной года, а затем из концлагеря был привезен «со спецконвоем» снова в Ленинград и вот сижу в этом самом ДПЗ уже почти год... Меня много мучали и пытали за то, что я религиозный человек и не смог принять знаменитую декларацию митрополита Сергия и советской церкви... Я пережил очень много, но самое тяжелое — это *инсценировка расстрела*, а затем шестимесячное пребывание в темном карцере... Вы спрашиваете, какие у них методы «воздействия»? Прямо скажу — жуткие и ужасные, иногда совершенно невыносимые... У меня теперь не поворачивается язык обвинять тех, кто выдал своими показаниями друзей, кто даже наклеветал на них...

— Посмотрим, — сказал профессор В. задумчиво. — Пусть они меня убьют, но я не подпишу протокола, если он будет ложью...

Вечером его вызвали на допрос. Всю ночь я не спал и был в тревоге за него. Утром я оставил ему кипяток и хлеб. Днем оставил обед, вечером — ужин. Но он не пришел... Прошел второй, третий, четвертый, пятый день... Его пальто висело на вешалке. Каждый час я ждал, что вот придут и возьмут его вещи: тогда, значит, его уже нет в живых... Утром на *шестой день* его привели с допроса. Я не узнал его. Лицо было опухшее, зеленое. Ноги отекали, как бревна. Он пришел, едва передвигая ногами и в руках нес башмаки. Ввели его двое надзирателей. Сзади них шел главный врач, доктор Аронкин, молодой еврей.

— Я разрешаю ему днем лежать, — сказал врач.



Опустили койку и профессор В. лег. Надзиратели ушли.

Оказалось, что его пытали «стоянием» (я сам когда-то «стоял» 36 часов). Когда он отказался подписать протокол, который был сплошной выдумкой следователя, его поставили в угол и сказали:

— Постойте и подумайте, может быть, вспомните.

Через шесть часов его спросили, — не вспомнил ли он того, о чем написано в протоколе? И так прошло пять суток. Разрешили ходить в уборную и пить воду. Каждые 6—8 часов его спрашивали, не вспомнил ли он? Или стой, или вспомни... Пригрозили, что отказ от стояния будет сурово наказан карцером. И он стоял, стоял, засыпал, просыпался, снова стоял. Как он выстоял пять суток — я, как врач, не понимаю и не могу понять.

В то время, как профессор рассказывал мне о своем «допросе», произошла смена надзирателей. Новый надзиратель вошел к нам в камеру и приказал «поднять» койку и встать:

— Днем лежать не разрешается.

— Но он болен, — воскликнул я. — Он 5 суток был на допросе, и ему разрешил лежать главный врач.

— Молчать! — крикнул надзиратель.

— Я сам врач! — закричал я в свою очередь. — Это жестоко. Вы не имеете права...

В этот момент я увидел через щель не вполне закрытой двери, что мимо камеры прошел главный врач ДПЗ, я крикнул ему:

— Коллега! Доктор Аронкин!

Врач заглянул к нам в камеру. Я объяснил ему. Он нахмурился и раздраженно сказал надзирателю:

— Я разрешил лежать.

Все ушли, и профессор продолжал свой рассказ.

— Что же вы не предупредили меня, что бывают такие *пытки стоянием*... Но я протокола не подписал и не подпишу...

После этого профессор начал «заговариваться», стал говорить про какую-то собаку, которая хочет спать... Потом он заснул и спал полтора суток.

Через месяц его снова вызвали на допрос. Допрашивали с шести часов вечера до трех часов ночи. В три часа ночи он вернулся с допроса бледный, с выражением мучительного страдания на лице. Помолчав с минуту, он сказал сухим, хриплым, прерывающимся голосом:

— Теперь я все подпишу.

— Что с вами было? — спросил я.

— Мне следователь снова предложил подписать уже заранее им заготовленный протокол, в котором было «мое чистосердечное признание» во вредительстве... Подписать такой протокол равносильно подписанию собственного смертного приговора... Я, конечно, отказался... Тогда следователь открыл дверь в соседнюю комнату, и я увидел там *обоих своих детей*... Потом следователь закрыл дверь и снова предложил мне подписать протокол. Я снова отказался... Тогда он нажал кнопку электрического звонка, и через минуту я услышал отчаянный крик и плач моих детей... Я невольно вскочил. Хотел броситься к двери. Затем хотел броситься на следователя. Нас разделял большой письменный стол. Следователь держал руку на револьвере, который находился на столе. Другая рука находилась над кнопкой электрического звонка. Крики в соседней комнате затихли.

— Я могу их погубить своим неосторожным поведением, — тихо вползла в мой мозг мысль... В этот момент следователь, пристально глядя в мои глаза, медленно, спросил меня:

— Долго вы будете *мучить своих детей*? Пойдите в камеру и подумайте... через полчаса я вас позову... Вы сидите один?

— Нет, со мной сидит один врач.

— Идите...

— Я убежден, — заторопился взволнованный профессор, — что нас с вами сейчас же разъединят. Это Бог послал такое чудо, что я мог вам это рассказать... Я прошу вас, ради Христа, если у вас будет какая-нибудь возможность, если, например, вам разрешат свидание с родными, сообщите моим детям (он сказал точный адрес), чтобы они не верили ни одному слову из того, что будет напечатано в газетах, как мое «признание»... Объясните им, что я все подписал только ради них, и чтобы они меня не ждали... я домой не вернусь...

В этот момент раздался лязг открываемой двери, меня вызвали со всеми вещами и перевели в другую камеру.

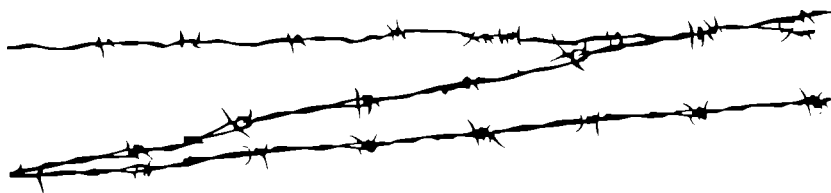
Через неделю кончилось мое следствие, и мне разрешили свидание с женой. Мне удалось ей рассказать все происшествие. Она сходила по указанному адресу и на следующем свидании с рыданиями рассказала мне о посещении детей профессора В.

А через несколько месяцев в газете было напечатано сначала «признание профессора В.», затем — приговор *к высшей мере* (расстрелу) и, наконец, сообщение о том, что *приговор приведен в исполнение*.

А я поехал в ссылку, в концлагерь...



На коммунистической каторге (Из записок бывшего заключенного на Соловках)¹



В декабре 1929 года меня, заключенного врача, санитарные власти Соловецкого концлагеря срочно вызвали к начальнику санитарного отдела и предложили отправиться в командировку на штрафной остров Анзер для обследования 4000 заключенных. Нужно было определить категорию трудоспособности и дать общие санитарно-профилактические указания. Я должен был по возвращении из командировки написать рапорт и представить его начальнику санитарного отдела и начальнику информационно-следственного отдела. Рапорты эти должны быть совершенно секретными.

Я явился к начальнику ИСО (информационно-следственного отдела), который встретил меня следующими словами:

— Вы, доктор, еще на Анзере не были? Имейте в виду, что это штрафной остров, «тюрьма в тюрьме» понимаете? И то, что вы там увидите — разглашать не следует. Иначе — вы сами понимаете, что вам грозит.

На следующий день, рано утром я выехал с Соловков на Анзер. Лодку пришлось тащить по льду, потом мы плыли по Белому морю километров 15, затем снова тащили нашу лодку по льду. На острове Анзер я явился к начальнику острова. Он вызвал начальника санитарной части — фельдшера В., угрюмого, замкнутого, седьмой год находящегося в заключении.

Через час начался осмотр заключенных в небольшой избе. На этот осмотр заключенные входили в избу по пять человек совершенно голые, подходили к фельдшеру, записывались у него, а затем направлялись ко

¹ Публикуется по: Проф. И. Н. С. На коммунистической каторге (Из записок бывшего заключенного на Соловках) // Новое Слово. 1943. №19(505).

мне. Все они были крайне истощены, бледны, вялы и как-то безразличны. Осмотрев несколько десятков человек и не найдя среди них ни одного работоспособного, я вдруг подумал — где же они раздеваются? Открыв дверь на двор, я увидел голых людей, стоявших и подпрыгивающих, чтобы согреться, прямо на снегу. Эта «голая очередь» растянулась далеко (было несколько сот человек). По сторонам очереди ходили конвойные с винтовками.

Я прекратил осмотр и потребовал от фельдшера лучшей организации. Мы решили на другой день устроить осмотр в другой, более просторной избе, где было две комнаты. В одной — раздеваться, в другой осматривать.

В этот же вечер, по предложению фельдшера, мы решили осмотреть «камеры адамов».

— Этих заключенных, — заметил начальник лагеря, — нельзя выводить, их нужно осмотреть мельком, в бараках. Это — отпетые. На них ничто не действует, никакие наказания. Они не имеют никакой одежды и ничего не хотят делать. Мрут десятками.

— Почему же они называются «адами»?

— Да потому что они всегда голые.

Длинный серый барак. Открываем первую камеру. Комната, в которой стоя едва могли поместиться 30 человек, наполнена до отказа. Я посчитал; оказалось человек 50—60. Заключенные все голые. Стоят, лежат — кучей. Шевелятся, как черви в банке. Кто-то хохочет.

— Что они делают? — спрашиваю я у фельдшера.

— Они играют на фиги, — отвечает он.

— Что?

— Играют на фиги, такая игра есть. Показывают друг другу фиги сразу на двух руках и разными пальцами... Какой-то счет, вроде как в карты... Кто выигрывает — получает потом паек хлеба.

При мне служители вытянули двоих за ноги. Это — умершие. До нас они лежали в этой общей куче голых людей, в этой «банке с червями».

В бараке стоял хохот и отчаянная ругань, наполненная цинизмом и какой-то изощренной виртуозностью.

Я — психиатр; однако мне трудно было определить состояние этих людей. По-моему, все они были уже на грани помешательства.

Конечно, они все не трудоспособные. Они все истощены до крайности. Они все должны скоро погибнуть.

Вспоминаю картину дантова «Ада» и думаю: здесь — хуже.

Эти ужасные картины «камеры адамов» я никогда не забуду. И это не кошмар, не бред сумасшедшего, а один из многочисленных уголков проклятой советской действительности.

Конечно, работоспособных на о. Анзер я не нашел. Находившихся здесь ксендзов (а их было много) мне не разрешили осмотреть. Они где-то работали на самых тяжелых работах и быстро умирали один за другим.

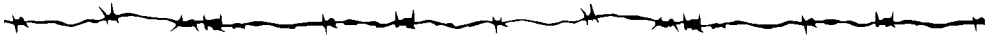
Интересно отметить, что эти арестованные ксендзы с Соловков были отправлены на о. Анзер в то время, когда советские газеты открыли поход против папы римского.

Мой приезд совпал с освобождением, вернее — с отправкой из этого штрафного лагеря 12 человек заключенных обратно на Соловки. Все эти освобожденные были уже полутрупам. Вот среди них один слепой 86-летний монах. Он горько плачет и на мой вопрос едва слышно отвечает, что отбыл срок наказания и теперь едет в ссылку.

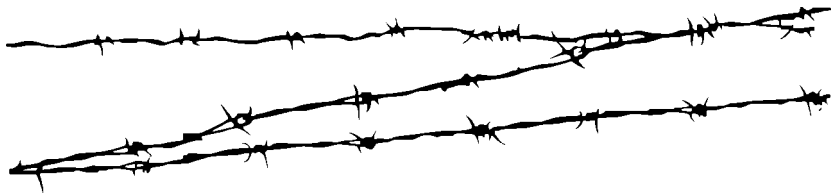
— Не знаю, чем я прогневал Бога, что он так мало меня наказал. Не достоин я, видно, мученического венца, ох, не достоин.

Среди освобожденных находилась одна душевнобольная. Юлия Николаевна Д. — доктор историко-филологических наук в Сорбонне, бывшая фрейлина императрицы. Она одно время была председателем дома ученых в Ленинграде. Вскоре после расстрела академика Лазаревского и Таганцева ее сослали на Соловки. Здесь она работала в Соловецком обществе краеведения, в музее. Потом ее сослали на о. Анзер и сделали прачкой. Здесь я застал ее на грани душевного расстройства. Мне удалось, как душевнобольную, вывезти ее с собой из этого ада. Это было не так легко, так как на Соловках не было психиатра, а посему всех душевнобольных начальство считало симулянтами. Их сажали в карцер или отправляли на Секирку (Секирная гора — самый страшный карцер на Соловках), где они и погибали.

Я вернулся вновь на Соловки, подал два секретных рапорта, конечно, не угодил начальству и больше меня на обследования не посылали.



Большевизм в свете психопатологии¹



В №1 (1949 г.) «Российского Демократа», в заметке «Кремлевские параноики» неизвестный мне лично корреспондент, новый эмигрант, живущий во Франции, уделил благосклонное внимание моей статье «Допросы в тюрьмах НКВД» и предложил общими соединенными усилиями написать статью о психопатах и душевнобольных администраторах в СССР.

Так как в моем распоряжении имеется довольно порядочно материала по этому вопросу, то мне хочется положить начало такому специальному исследованию.

Многолетняя работа в качестве эксперта-психиатра как «на воле», так и в заключении (в Соловецком и Свирском концлагерях) дали мне возможность изучить большевизм с психопатологической точки зрения.

Давно известно, что во время революции на поверхность общественно-политической жизни выплывает много крайне неуравновешенных личностей, представляющих собою тяжелых психоневротиков, психопатов, а порой и явно душевнобольных. Два французских психиатра, Кабанес и Насс, написали на эту тему целое большое специальное исследование — «Революционный невроз».

Русская революция 1917 г. и последовавшее за ней страшное 30-летнее лихолетье большевицкого ига дали массу нового материала по этому вопросу.

С самого начала революции до последнего времени отношение советской власти к душевнобольным и психопатам диктовалось исключительно утилитарно-политическими соображениями, при которых ни о какой гуманности не могло быть и речи. Если душевнобольные были «врагами народа», то по приказу «сверху» они часто признавались вменяемыми и ответственными и, как таковые,

¹ Публикуется по: Проф. И. С. Большевизм в свете психопатологии // Возрождение. 1946. №6. С. 142–149.

расстреливались. Если же душевнобольные являлись «деятелями революции», то они, несмотря на их социальную опасность, часто, тоже по приказу «свыше», выписывались из психиатрических больниц и ставились на ответственную работу.

Чтобы не быть голословным, приведу факты.

В 1918 г. в психиатрическом отделении Центрального Красноармейского (бывшего Николаевского военного) госпиталя в Петрограде (Костромская улица, 6) находился на испытании бывший министр внутренних дел царского правительства Протопопов. Комиссией врачей под председательством известного старого русского психиатра профессора П. И. Ковалевского Протопопов был признан несомненно душевнобольным, страдающим депрессивной формой маниакально-депрессивного психоза. Заключение комиссии Центрального Красноармейского госпиталя было еще дважды проверено, в Петрограде и в Москве, двумя другими психиатрическими комиссиями, пришедшими к тому же заключению. После этого Протопопов был выписан в состоянии некоторого улучшения на поруки жены, во вскоре после выписки снова арестован и расстрелян. Через некоторое время в «Былом» (этот известный буржевский журнал издавался короткое время и в СССР) появилась заметка советского публициста Заславского, в которой сообщалось, что Протопопов «пытался симулировать душевное заболевание», «был признан врачами-психиатрами здоровым», а потому и расстрелян.

Один молодой врач-психиатр, бывший секретарь психиатрических совещаний Центрального Красноармейского госпиталя, написал Заславскому письмо-протест со ссылкой на номер «истории болезни» Протопопова и на записи в книге протоколов, хранившихся в архивах госпиталя. Через неделю он был вызван в ГПУ, где ему «предложили» никогда, нигде и никому не рассказывать о болезни Протопопова, ибо ему, дескать, неизвестна последняя секретная комиссия, признавшая Протопопова симулянтom. Если и была в действительности какая-то комиссия, признавшая клинически душевнобольного симулянтom, то она, очевидно, состояла не из психиатров.

Аналогичный случай произошел через несколько лет, тоже в Петрограде, когда известный на Охте протодиакон Хроновский, тяжело душевнобольной (страдавший артериосклеротическим психозом) был осужден на 10 лет Соловецкого концлагеря.

Если, повторяю, «врагов народа», несмотря на их душевные заболевания, признавали «ответственными» и наказывали, то «деятелей революции», несмотря на их душевные заболевания, иногда признавали способными продолжать их

деятельность. В 1918—1919 гг. из Центрального Красноармейского госпиталя (из психиатрического отделения) было насильственно «освобождено» несколько таких «деятелей». Один из них через несколько дней своей «свободы», по мотивам бредового характера убил в Петрограде, на Кирочной улице генерала Кашталинского. Другой убил профессора-психиатра П. Я. Розенбаха (бывшего главного врача психиатрического отделения Николаевского военного госпиталя).

Однажды, в 1919 г., под строгим секретом, в Психиатрическое отделение Центрального Красноармейского госпиталя был доставлен на испытание «видный член парии», фамилия которого не была сообщена. Но комиссар госпиталя А. А. Яблонский в беседе с проф. П. И. Ковалевским проболтался, что этот испытуемый не кто иной, как Белобородов, один из подписавших смертный приговор Царской Семье.

Комиссия врачей, после длительного клинического испытания, признала его душевнобольным (маниакальная фаза маниакально-депрессивного психоза). Несмотря на это заключение и на специальное указание, что Белобородов еще не поправился и продолжает быть социально-опасным, он был, по распоряжению ГПУ, выписан и вскоре поставлен на ответственную партийную работу.

Один из убийц А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина (убитых в 1918 г. в Петрограде, в Мариинской больнице) — Кишкин, оказавшийся тяжелым эпилептическим психопатом, вскоре после своего «подвига», уже подвизался на ответственной работе в ГПУ.

Болезнь и деятельность Ленина, страдавшего в последнее время параличом на почве сифилиса мозга — всем известна.

Болезнь и деятельность знаменитого наркома НКВД Н. И. Ежова также не подлежит сомнениям, хотя точный дифференциальный диагноз еще не вполне ясен: было ли здесь формальное душевное заболевание (паранойя) или тяжелая дегенеративная психопатия (параноидального типа)?

Во время пребывания моего в качестве врача-психиатра в Соловецком и Свирском концлагерях мне пришлось участвовать в медицинских комиссиях, периодически обследовавших всех сотрудников ГПУ, работавших в этих концлагерях. В процессе медицинского освидетельствования мне удалось вести тайную статистику наблюдаемых мною нервно-психических заболеваний. В № 2 (1929 г.) журнала «Соловецкие острова», который издавался на о. Соловки «без права выхода на материк», — моему ассистенту, доктору А., удалось частично даже опубликовать эту статистику, в замаскированном виде, в ста-

тье «Особенности местных нервно-психических заболеваний на Соловках». Впоследствии, за мою статью, доктор А. подвергся тяжким взысканиям.

Всех цифр статистических данных я в настоящее время не помню и могу привести только следующие итоги. Среди 600 человек обследованных мною вольнонаемных и заключенных работников ГПУ оказалось около 40% тяжелых психопатов-эпилептоидов, около 30% — психопатов-истериков и около 20% — других психопатизированных личностей и тяжелых психоневротиков. Эти цифры чрезвычайно интересно сопоставить с официальными секретными цифрами «Соловецкого криминологического кабинета», научного учреждения, основанного известным криминологом профессором А. Н. Колосовым, бывшим заключенным на Соловках. Мне пришлось работать научным сотрудником этого «кабинета», который имел право исследовать любого уголовного (но не политического) преступника. Из 200 человек убийц, обследованных лично мною, оказалось: около 40% психопатов-эпилептиков и около 20% других психопатизированных личностей и психоневротиков (главным образом, так называемых «травматиков»).

*Итак, процент психопатизированных личностей среди начальства оказался выше, чем среди квалифицированных тяжчайших преступников-убийц!*²

Предметом обследования «Криминологического кабинета» (который давал материалы для бывшего московского криминологического журнала «Преступник и преступность») были, между прочим, и так называемые «внутрилагерные правонарушения, т.е. преступления, совершенные заключенными в лагерях. Эти «правонарушения» были ужасны. В 1929—30 гг. «Соловецким криминологическим кабинетом» была организована «Колония для малолетних преступников» (т.е. для детей от 12 до 16 лет), которых в Соловках было несколько сотен, несмотря на то, что по законам того времени еще нельзя было детей до 16-летнего возраста карать концлагерем. (Позднее, в 1935 г., в процессе борьбы с беспризорностью, был издан закон, по которому даже 12-летние дети могли караться «высшей мерой социальной защиты — расстрелом»). Эта «Детколония», как все ее называли, носила официальное название: «Исправительно-трудовая колония для правонарушителей младших возрастов до 25 лет».

Начальником этой «колонии» был заключенный чекист, бывший «командарм» и «полпред» — Иннокентий Серафимович Кожевников. При первом же знакомстве с ним я понял, что имею дело или с тяжелым психопатом параноиком или с душевнобольным параноиком. Через короткое время мое подозрение подтвердилось. Кожевников бежал из лагеря, прислал начальству И.С.О.

² Выделено автором. — Здесь и далее примеч. ред.

(«Информационно-Следственного отдела») большой пакет, в котором находился «Манифест Императора Иннокентия I».

Вскоре Кожевников был пойман, жестоко избит (он оказал сопротивление), а затем освидетельствован комиссией врачей-психиатров, причем каждый из врачей осматривал и давал мне «простые» заключения в отдельности. Профессор доктор М. А. Жижиленко (тайный епископ катакомбной церкви) и я дали одинаковые заключения о том, что Кожевников душевнобольной параноик, но третий эксперт, молодой советский врач Шалаевский заподозрил симуляцию. Тогда из Кеми был вызван на экспертизу известный русский психиатр, профессор доктор В. Н. Финне, подтвердивший душевное заболевание Кожевникова.

После этого Кожевников был увезен в Москву.

Между прочим, профессор В. Н. Финне (читавший лекции по гипнозу в петроградском институте по усовершенствованию врачей) отбывал заключение в Кеми за свои замечательные работы в области гипнологии, которые советской власти показались «мистикой». Профессор В. Н. Финне скончался в Кеми, замученный пытками непрерывных допросов в течение двух недель по ночам, по подозрению в участии в так называемом «Деле Академии Наук».

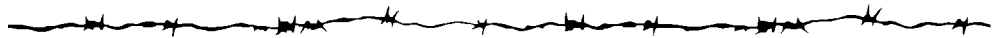
В указанной выше «Детколонии» в 1929 г. было зарегистрировано «детское правонарушение» — групповое изнасилование мальчиками девочек.

В 1930 г. одна из воспитанниц этой «Детколонии», 15-летняя проститутка, в течение нескольких месяцев тайно убила шесть человек и только на последнем — «засыпалась», т.е. была уличена. Дальнейшая судьба этой «девочки» очень интересна. Ее увез с собой один из крупных чекистов и женился на ней. Может быть, он приспособил ее для «работы» в застенках ГПУ? [Подобно тому, как нарком НКВД Ежов приспособил для пыток заключенных свою знаменитую «Марусю»]³.

В Свирских концлагерях в 1933 г. три юных бандита убили своего товарища, отрезали у него ногу и зажарили ее, тайком, ночью, пробравшись в серно-дезинфекционную камеру, где и были пойманы с поличным за своим каннибальским «ужином». [Мне пришлось свидетельствовать этих бандитов, причем я не обнаружил у них формального душевного расстройства, а нашел лишь нерезкую дебильность, истеричность и «продукты советского воспитания»]. Таковы были так называемые «внутрилагерные правонарушения» заключенных в «исправительно-трудовых лагерях».

Но недаром объективные статистические данные показали, что среди «начальства» психопатизированных личностей было больше, чем среди квалифици-

³ Здесь и далее в [] помещены дополнительные отрывки из: Проф. И. А. Психиатрические экспертизы в Советской России // Владимирский Православный русский календарь. Нью-Йорк, 1955. С. 104–118.



рованных преступников. Преступления «начальства», по своей жестокости превосходили даже «внутрилагерные» преступления обыкновенных заключенных. Приведем примеры. Начальник КПЧ («Культурно-Просветительной части») Соловков — Привалов, как и его шеф, начальник К.П.О. (начальник всего культурно-просветительского отдела Соловецких лагерей) — Успенский, впоследствии начальник «Белбалтлага», были тяжелыми психопатами-садистами. Они собственноручно расстреливали заключенных и делали из этого театральное зрелище, приглашая своих друзей из Кеми на эти «любопытные процедуры». Один фельдшер, бывший невольным свидетелем этих процедур на «Секирке» («Секирная гора» на о. Соловки), заболел острым истерическим психозом и находился под моим наблюдением несколько дней, а затем был отправлен якобы в тюремную больницу им. Гааза, в Петроград. Однако через некоторое время выяснилось, что он был расстрелян на той же Секирке. Из бессвязных выкриков со слезами и смехом этого несчастного становилась ясной до ужаса психическая причина его заболевания.

Однажды мне пришлось присутствовать при судебно-медицинском вскрытии трупа одной девушки из заключенных, вынутой из воды, «со связанными руками и камнем на шее. Дело оказалось сугубо секретное: групповое изнасилование и убийство, совершенное заключенными стрелками ВОХР (военизированная охрана, куда набирались заключенные, прежде, на свободе работавшие в карательных органах ГПУ), под предводительством их начальника-чекиста. Мне пришлось «беседовать» с этим монстром. Он оказался садистом-истериком, бывшим начальником тюрьмы. На командировке «Красная горка» в Соловках был начальник по фамилии Финкельштейн. Однажды он поставил на ночь на лед Белого моря, при 30 градусах мороза, 34 человека заключенных, за невыполнение непосильного «урока» по лесозаготовкам. Всем 34 человекам пришлось ампутировать отмороженные ноги. Большинство из них погибло в лазарете. Через несколько месяцев мне пришлось участвовать в медицинской комиссии, свидетельствовавшей этого чекиста. Он оказался тяжелым психоневротиком-истериком. [Через год он был судим за какое-то еще более серьезное преступление, но ввиду того, что у него была вырезана одна почка и был ясно выраженный истерический психоневроз — он был «активирован», т.е. признан больным и освобожден от наказания.]

На командировке «Савватьево», в Соловках, мне пришлось участвовать в секретной экспертизе. Следователь, показав мне труп сожженного на костре человека с переломанным позвоночником, задал только два вопроса: 1. До или после сожжения был переломлен позвоночник? 2. Мог ли, вследствие это-

го перелома, произойти паралич нижних конечностей? Подробности «дела» мне не были сообщены, но о них не трудно было догадаться... Обвиняемый, начальник командировки, заключенный чекист, был тяжелый психопат истеро-эпилептоид.

В 1929 г. с одним из этапов на о. Соловки прибыло человек 10 инженеров-путейцев. Старые люди с седыми бородами, в фуражках с зелеными кантами, со следами кокард... Их заставили работать «вридломи» (т.е. «временно исполняющими должность лошади», как острили в лагере). Впрягли в огромные деревянные ящики на полозьях и заставили возить снег. Картина была потяжелее репинских «Бурлаков»... Среди этих «бурлаков» были профессора с европейской известностью (например, профессор Правосудович, профессор Минут и др.).

Профессор Правосудович вскоре был расстрелян. А профессор Минут погиб следующим образом. Он лежал во вверенном мне отделении центрального лазарета с декомпенсированным миокардитом. Однажды лазарет обходил начальник И.С.О. (информационно-следственного отдела), сопровождаемый начальником Санитарного отдела доктором В. И. Яхонтовым. Подойдя к койке больного профессора Минута, начальник И.С.О. воскликнул: «Ах, это враг народа по делу НКПС (наркомата путей сообщения). Немедленно выписать его!»

Обращаясь за поддержкой к начальнику Санитарного отдела доктору Яхонтову, я показал историю болезни и сказал:

— Это очень тяжелый сердечный больной! Посмотрите сами, какие у него отеки на ногах!

— Не ваше дело рассуждать, когда я приказываю, — грозно сказал начальник И.С.О.

— Немедленно выписать! — подтвердил доктор Яхонтов.

Выписывая профессора Минута, я дал ему на руки официальную справку от лазарета: «Следовать пешком не может. Нуждается в подводе». Это — все, что я мог ему сделать на прощанье.

Днем он был выписан, а вечером в лазарет привезли уже его труп «на вскрытие». Моя записка не помогла, и конвойный чекист заставил больного профессора Минута со всем своим скорбом идти пешком 12 километров. Пройдя 10 километров, он скончался.

Когда я, взволнованный, пошел доложить об этом начальнику Санитарного отдела, я застал у него в кабинете и начальника И.С.О.

Выслушав мой рапорт, оба начальника заржали таким жутким смехом, что у меня замерло сердце...

— Туда ему и дорога! — сказал, наконец, доктор Яхонтов, — поручите доктору Иванову сделать вскрытие, а протокол вскрытия представить мне в секретном порядке!

Доктор Владимир Иванович Яхонтов, бывший заключенный (за аборт, окончившийся смертью), после отбытия срока остался вольнонаемным. Он представлял собою хронического алкоголика с глубокой психической деградацией.

[В 1930 г. весной мне удалось добиться открытия в Соловках нервно-психиатрического отделения. До меня в Соловецком концлагере шесть лет не было врача психиатра. Все душевнобольные считались симулянтами и подвергались жестоким репрессиям. Получив заведывание этим нервно-психиатрическим отделением, я имел возможность изолировать душевнобольных и оберегать их от истязаний. Но хотя и существовала в Уголовном кодексе так называемая 458-я статья, по которой безнадежно тяжелые хронические больные — инвалиды и хроники душевнобольные подлежали «активированию» и освобождению, — мне не удалось добиться ни одного освобождения этих несчастных. Иногда, в очень редких случаях мне удавалось только при помощи изоляции в мое психиатрическое отделение избавлять некоторых заключенных от тяжких наказаний.]

В июле месяце 1930 г., в Соловки был доставлен один заключенный доцент-геолог Д. и помещен сразу же в нервно-психиатрическое отделение под наблюдение. Во время моего обхода отделения он внезапно набросился на меня и разорвал мне халат. Лицо его, в высшей степени одухотворенное, красивое, с выражением глубокой скорби, показалось мне настолько симпатичным, что я приветливо с ним заговорил, несмотря на его возбуждение. Узнав, что я обыкновенный заключенный врач, а не «врач-гепеушник», он со слезами стал просить у меня прощения. Я вызвал его в свой врачебный кабинет и по душам поговорил.

— Не знаю — здоровый я или сумасшедший? — сказал он про себя.

При исследовании я убедился, что он был душевно здоров, но, перенеся массу нравственных пыток, давал так называемые «истерические реакции».

Трудно было бы не давать таких реакций после того, что он вытерпел. Жена его пожертвовала для спасения мужа своей женской честью, но была грубо обманута. Брат его, поднявший по этому поводу историю, был арестован и расстрелян. Сам Д., обвиняемый в «экономической контрреволюции», целую неделю допрашивался конвейером следователей, не дававших ему спать. Потом он сидел около двух лет в одиночной камере, причем последние месяцы — в камере смертников.

— Мой следователь сам застрелился, — закончил свой рассказ Д., — а меня, после десятимесячного испытания у профессора Оршанского, приговорили к

10 годам концлагеря и прислали в Соловки с предписанием держать в псих-изоляторе, впредь до особого распоряжения...

Из многочисленных рассказов Д. мне наиболее ярко запомнился один — о вдовом священнике (умершем в тюремной больнице), которого какой-то изувер-следователь заставлял отречься от Христа (!), мучая на его глазах детей — десяти- и тринадцатилетних мальчиков. Священник не отрекся, а усиленно молился. И когда, в самом начале пыток (им вывернули руки!) оба ребенка упали в обморок и их унесли, — он решил, что они умерли, и благодарил Бога!

Выслушав этот рассказ в 1930 г., я подумал, что пытки детей и пытки детьми — единичный случай, исключение... Но впоследствии я убедился, что подобные пытки в СССР существуют. В 1931 г. мне пришлось сидеть в одной камере с профессором-экономистом В., к которому применяли «пытку детьми».

Но самый жуткий до кошмара случай таких пыток мне стал известен в 1933 г.

Дело было в городе Лодейное Поле, где помещалось главное управление Свирских лагерей.

Однажды в качестве эксперта-психиатра мне пришлось произвести две экспертизы в один день.

Первым был мною освидетельствован известный всей Москве профессор протоирей о. Сергей Мечов. У него оказалось реактивное состояние после допросов, на которых ему сообщили о расстреле его жены и детей.

Мне удалось содействовать его отправке в тюремную больницу им. Гааза, на испытанье к гуманному психиатру профессору Оршанскому, который, как я надеялся, смог бы устроить о. Сергию Мечову свидание с его родными (я был убежден, что его родные не были расстрелены, а ложным сообщением об их смерти только мучили священника). Вторая испытуемая — надзирательница женской тюрьмы — была мне так представлена следователем: «хорошая работница, а вдруг с ума спятила и вылила себе на голову крутой кипяток».

Приведенная ко мне полная простая женщина лет 50 поразила меня своим взглядом: ее глаза были полны ужаса, а лицо было каменное.

Когда мы остались вдвоем, она вдруг говорит, медленно, монотонно, как бы отсутствуя душой:

— Я не сумасшедшая. Я была партийная, а теперь не хочу больше быть в партии!

И она рассказала о том, что ей пришлось пережить в последнее время. Будучи надзирательницей женского изолятора, она подслушала беседу двух следователей из которых один похвалялся, что может заставить любого заключенного сказать и сделать все, что захочет. В доказательство своего «всемогущества» он

рассказал, как выиграл «пари», заставив одну мать переломить пальчик своему собственному годовалому ребенку.

Секрет был в том, что он ломал пальцы другому, 10-летнему ее ребенку, обещая прекратить эту пытку, если мать сломает только один мизинчик годовалому крошке. Мать была привязана к крюку на стене. Когда ее 10-летний сын закричал: «Ой, мамочка, не могу», она не выдержала и сломала. А потом с ума сошла. И ребенка своего маленького убила. Схватила за ножки и о каменную стену головкойхватила...

— Так вот я, как услышала это, — закончила свой рассказ надзирательница, — так я себе кипяток на голову вылила... Ведь я тоже мать. И у меня дети. И тоже 10 лет и один годик...

Не помню, как я ушел с этой экспертизы... Я сам был в «реактивном состоянии»... Ведь и у психиатра нервы не стальные!..

[Кроме «пытток детьми», карательными органами советской власти употреблялись и другие «методы» террора и мучений.

Щадя нервы слушателей я приведу только один кошмарный пример большевистского садизма, выходящего за пределы человеческого понимания.

В Соловецком концлагере, в Кремле, на самом острове Соловки, в роте №10, которая именовалась ротой Санитарной части, одна камера предназначалась для врачей. Будучи врачом и я находился в этой камере. Кроме меня в ней находились: профессор доктор М. А. Жижиленко (тайный епископ), доктор барон К. и доктор П.

Мы все четверо были верующими церковно-православными людьми, и это обстоятельство нас очень утешало и морально поддерживало в тяжелые минуты, которых было так много. Но однажды, осенью, к нам в камеру поместили нового, пятого компаньона, новоприбывшего в концлагерь врача по фамилии Пелюхин; он был атеист, комсомолец, осужденный за взяточничество.

Сначала мы все были очень огорчены и встревожены появлением в нашей среде «инородного тела», но через короткое время наши тревоги и огорчения несколько сгладились. Доктор Пелюхин оказался неплохим товарищем по каторге.

Когда мы утром и вечером молились перед маленькими бумажными иконками, повешенными над нашими койками и закрытыми в течение дня полотенцами, — доктор Пелюхин тактично отворачивался и читал какую-нибудь книгу. Перед сном он неизменно, первый, говорил нам «спокойной ночи».

Пелюхин был назначен ординатором в то отделение, которым заведовал доктор П., почтенный врач с 15-летним стажем.

Во время освидетельствования новоприбывшего этапа новых заключенных Пелюхин вел себя довольно грубо, покрикивал на тех, кто заявлял себя больным, иногда в раздражении ударял их не резко стетоскопом, с восклицанием: «Симулянт! Притворяешься! Ты здоров как бык!»

Нас, остальных врачей, весьма шокировала его грубость, и барон К. однажды не вытерпел и сделал ему замечание.

— Грубость и врачебная профессия — две вещи несовместимые, коллега.

«Коллега» не возражал, не обиделся и даже как будто стал сдержаннее, по крайней мере в нашем присутствии.

Через какой-нибудь месяц мы свыклись с новым товарищем по несчастью и убедились, что он совершенно безвредный человек. Пелюхин также понял, что в нашей среде ему опасаться нечего и однажды, улыбаясь, заявил нам:

— Меня предупреждали, что в концлагере масса сексотов (т.е. секретных сотрудников-доносчиков), но в нашей камере их нет ... Кто верит в Бога и молится — тот, по-моему, не может быть доносчиком, — прибавил он неожиданно.

— Да, конечно, — ответил епископ Максим (профессор Жижиленко), — мы и вас заразим и вам придется изменить некоторые этические принципы, которые вы исповедовали в комсомоле!

— Я, может быть, еще очень глуп, но не подл! — смущенно улыбаясь, искренно заявил Пелюхин.

В тот же вечер он нам рассказал свою несложную биографию, «обыкновенную историю» советского молодого человека...

Через два месяца после этого в Соловках началась жуткая полоса расстрелов заключенных. Расстреливались большею частью те, которые были подозрительны начальству, главным образом, из среды белых офицеров. Часто страдали духовные лица. После того, как папа Римский, по газетным сведениям, собирался объявить «крестовый поход» против большевиков, — пострадало много ксендзов...

И вот однажды ночью Пелюхин был срочно вызван в комендатуру лагеря. Вернулся он под утро, бледный, взволнованный, молчаливый...

— Я не имею нрава говорить, где я был и что я делал, — сказал он через час, видя наши недоумевающие взгляды...

Мы поняли... И, оставшись одни, поставили точки над «i»... Как хорошо, что мы «политические», «каэры», и нам не доверяют... Только врачи-уголовники приглашаются «на работу» во время расстрелов...

Пелюхин стал мрачным, замкнутым. Мы тоже избегали не только расспрашивать его, но и разговаривать с ним. Вызывали Пелюхина раза два в неделю,

иногда чаще... Вызывали и ночью, и днем, и на рассвете... Когда он уходил — мы оставались в тяжелом, напряженном состоянии. Когда он возвращался, — мы с тревогой и душевной болью смотрели на него; нам было его жаль.

Однажды ночью Пелюхин стал стонать во сне и бормотать страдающим, умоляющим тоном:

— Не могу... Отпустите...

Владыка Максим встал, разбудил его, дал ему выпить воды с валериановыми каплями.

— Спасибо, — сказал Пелюхин и вдруг неожиданно поцеловал епископу руку. Потом внезапно истерически зарыдал, уткнулся лицом в колена владыки Максима и прерывающимся громким шепотом стал говорить. Мы все не спали и невольно слышали эту неожиданную исповедь. Да и сам Пелюхин, по-видимому, не старался скрывать от нас того, что он говорил. А говорил он кошмарные вещи...

Оказывается, его вызывали не для того, чтобы констатировать смерть расстрелянных, как думали мы, а по другим причинам. Констатировать смерть во все не было нужно, ибо расстрелянных засыпали землей тотчас же, несмотря на то, что некоторые были еще живы.

— Я, как врач, должен был некоторым оказывать помощь, оживлять, производить искусственное дыхание, делать инъекции камфары и т.п... Я думал сначала, что работники ИСО (информационно-следственного отдела) приводят в чувство тех, кого «в увлечении» довели своими пытками до бессознательного состояния, — судорожно дыша, шептал Пелюхин. — Но теперь я узнал другое, более страшное... Это были не пытки, т.е. не выпытывание нужных сведений, а месть, страшная месть уже измученным пытками и приговоренным к высшей мере социальной защиты.

— Помните нашего бывшего делопроизводителя санчасти Н. М... — продолжал свою исповедь Пелюхин. — Помните, он был арестован после свидания с женой и исчез... Он был приговорен к этой «высшей мере социальной защиты»... И был повешен, а я привел его в чувство. Через неделю мне же пришлось его снова приводить в чувство, так как он был утоплен... Вчера же я уже не смог вернуть ему жизнь: он задохся в газовой камере... Но я — трус, я — тряпка. Я не смогу покончить с собой!..

Ночь кончалась. Начинался мутный, тяжелый, каторжный рассвет. Впереди — целый день работы, 12-часовой рабочий день ответственной, напряженной, нервной врачебной работы...

День тянулся бесконечно. Поздно вечером, возвратившись с работы, усталые, измученные, изможденные, мы повалились на свои койки, не снимая халатов. Но спать нам не пришлось...

— Владыко... Товарищи... — раздался сухой и прерывистый голос Пелюхина, когда мы уже собирались заснуть. — Пожалейте меня мальчишку, не выдавайте меня, что я рассказал вам... У меня мысли путаются... Я хотел убить вас, владыка... Но ведь слышали и другие... Я знаю: кто в Бога верует, тот не выдаст... Но вдруг... а вдруг выдадите?.. Не выдавайте... ради... ради... Христа!.. Это, ведь, кажется, для вас самое сильное заклятие... Владыко! Я вчера руку у вас поцеловал, а сегодня — ноги поцелую ... Только пощадите! Не выдавайте!..

Мы едва успокоили несчастного!..

На другой день владыка Максим и я, оба врачи-психиатры, совещались о том, как начать лечить доктора Пелюхина, который явно заболел реактивным психозом на почве перенесенных психических травм.

Но лечить нам его не пришлось. На следующую ночь Пелюхин был арестован, а еще через два дня официально по всем ротам было объявлено, что он расстрелян по постановлению специальной комиссии «за жестокое обращение с заключенными». (Специальная комиссия из Москвы занималась расследованием фактов «несправедливого и жестокого отношения со стороны начальства лагеря по отношению к заключенным»).

— Доктор Пелюхин бил заключенных стетоскопом, — разъяснил нам причину расстрела начальник санитарной части.]

Наличие огромного количества психопатизированных личностей (особенно садистов) среди партийных коммунистов вообще и среди работников карательных органов (ЧК—ГПУ—НКВД—МГБ) — в особенности не подлежит никакому сомнению.

Объясняется это просто: большевизм нуждается в кадрах таких деятелей, которых не может дать нормальная человеческая психология.

Гениальный пророк большевистской революции Достоевский дал потрясающий и исчерпывающий анализ движущих сил такой революции.

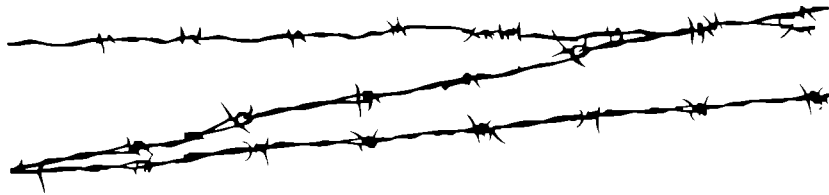
«Смердяковщина», «шигалеvщина», «верховенщина» и, наконец, «бесовщина», — вот понятия, объясняющие сущность большевизма.

Методы «бесовщины» совершенствуются. И в настоящее время — «ленинщины» и «сталинщины» — уже не отдельные преступники (как Федька каторжник) и не отдельные маньяки (как Кириллов), а весь мир преступлений и душевных извращений организованно используется для того, чтобы заставить самих Цицеронов и Шекспиров служить Молоху большевизма!

[С религиозной точки зрения большевизм нельзя не рассматривать как явление антихристового духа, впервые так цинично откровенно проявляющегося в мире.]



Катакомбные богослужения в Соловецком концлагере¹



В 1929 г. на о. Соловки, в страшном Соловецком концлагере, с приближением Пасхи, началось усиление репрессий за религиозные убеждения и антирелигиозная пропаганда. В Антирелигиозный музей, помещавшийся в бывшем игуменском флигеле, ежедневно стали устраиваться «экскурсии». Заключенных приводили в организованном порядке, группами, в этот «музей» и показывали им «вскрытые» мощи преп. Зосимы и Савватия. Под стеклом лежали честные останки святых, их нетленные кости, а на специальных огромных плакатах было написано, что при «вскрытии мощей» были обнаружены труха и чурбаны дров. Чекисты, давали «объяснения», в шапках, с сигарками во рту, всячески подчеркивали свое богохульство...

А по ночам, в великой тишине и тайне, рискуя быть пойманными и запытан-ными до смерти, пробирались в этот «музей» заключенные священники, монахи и верующие миряне и, обливая кровавыми слезами оклеветанные раки преподобных, благоговейно катакомбно молились и за себя, и за всю Россию. И дивно помогали молящимся св. Соловецкие угодники, сораспятые с народом русским своими растерзанными безмолвными мощами.

На страстной неделе, вечером в понедельник было объявлено по всем ротам, что молитвенные собрания категорически запрещаются; всякий, кто будет замечен в «религиозной пропаганде» (т.е. молитве), — подлежит суровому наказанию. Также запрещалось печение всяких куличей и вообще какое-нибудь особенное приготовление пищи в наступающие праздничные дни. День светлого Христова Воскресения был объявлен обыкновенным рабочим днем.

¹ Публикуется по: Проф. И. Андреев Катакомбные богослужения в Соловецком концлагере // Православная Русь. 1948. №12.



Настроение у большинства заключенных было подавленное.

Врачи, имеющие право давать освобождения от работ, были поставлены в очень тяжелые условия. С одной стороны — усилились жестокие требования со стороны начальства, а с другой — увеличилось количество просьб об освобождении от работ со стороны заключенных. Категорически запрещалось превышать нормы освобождения в амбулаториях (не выше 10% всех обращающихся за помощью).

Врачей было очень мало, и на амбулаторных пунктах работали обычно фельдшера. Они были чрезвычайно жестоки и никогда не превышали норм освобождения. Но начальство лагеря часто находило необходимым проверять работу фельдшерских пунктов с целью снижения и без того низких цифр освобожденных. Для этого посылались врачи с требованием снизить процент освобождения.

В Великую среду я, как врач, был назначен на такую «проверку» фельдшерского амбулаторного пункта.

Придя за полчаса до начала приема, я имел возможность познакомиться и побеседовать с контролируемым мною фельдшером. Это оказался старший ротный фельдшер с Полтавщины. Огромные седые усы его меня сразу поразили и покорили. Добрые глаза, пристально и грустно на меня смотревшие из-под нависших седых бровей — дополнили впечатление: я проникся к нему доверием. «Такой не выдаст, — мелькнула у меня мысль, — с ним можно рискнуть договориться». Оглядывая его крошечную комнатку (он жил при амбулатории), я заметил на стене висящую старую бандуру, на задней стороне которой было выжжено изображение Архистратига Михаила и слова: «Умрем за родную Украину». Все сомнения мои исчезли, и я прямо приступил к делу.

— Мы оба — православные, — сказал я ему. — Я прислан «снизить» количество освобождаемых Вами от работ, но мы оба хорошо понимаем, что наш христианский, нравственный и врачебный долг — дать как можно больше освобождения по болезни, чтобы православные люди смогли отметить светлый праздник и помолиться. Прием ведете Вы, освобождайте от работ всех, кого только сможете. В сомнительных случаях обращайтесь ко мне. Я буду не снижать, а повышать количество освобожденных...

— Да... Я понимаю, — задумчиво ответил фельдшер, — но ведь если мы и вдвое увеличим полагающийся процент освобождения, то и тогда всех православных не удовлетворить... Вы простите, но я хочу предложить Вам кое-что... на основании своего семилетнего концлагерного опыта (мой срок 10 лет и я отсидел уже семь).

— Что же Вы хотите предложить? — спросил я.

— Вот что... Для того, чтобы освобождать побольше православных, надо быть более жестоким и, если хотите, более жестоким к тем, кто забыл Бога и богохульствует... я имею в виду «урок» (т.е. уголовных преступников), которые «кроют в Бога — мат» (т.е. кощунственно цинично ругаются) и для которых никаких церковных праздников не существует!..

Я молча и грустно посмотрел на фельдшера.

— Я понимаю... — несколько смутился он, — может быть, это будет не по-христиански?.. Но... поверьте мне... я очень много мучился этим вопросом... другого выхода нет!.. Ведь если Вы слишком много освободите, то нашу комиссию просто аннулируют и всех освобожденных «дрыном» (т.е. палкой) погонят на работу... А за судьбу хулиганов — богохульников Вы не беспокойтесь! Они не мыгьем так катаньем добьются освобождения или устроят крупный скандал, будут жаловаться и кричать, что мы с Вами слишком жестоко смотрели... Их жалобы помогут нам! — многозначительно закончил фельдшер, — нас трудно будет уличить в излишней мягкости... Хотя число освобожденных будет гораздо выше нормы, но воплей о нашей жестокости будет еще больше и начальство будет довольно нашей работой...

Я согласился, хотя в глубине души было смутно и горько.

Начался прием.

Фельдшер, по-видимому, оказался прав... Два совершенно различных психологических типа людей перед нами. Тихие, смиренные, больше священники и монахи, пожилые и старые люди, степенные крестьяне и интеллигенты, с медными и серебряными крестиками на шее, — ничего не просили и освобождения не ждали. Громкие, шумные, крикливые, дерзкие и грубые уголовники (конечно, не все, ибо и среди уголовных были верующие) — требовали освобождения и цинично бранились. Брань их непередаваема! Матерщина, соединенная с циничнейшими и кощунственнейшими эпитетами по отношению к именам Спасителя и Богоматери, — была невыносима! Шутки и оскорбления «попов» и издевательства над религиозными чувствами верующих превосходили всякую границу: они плевали на нательные крестики, срывали их с шеи соседей, с хохотом топтали их ногами.

Угрозы и наказания не помогали.

Мольбы и уговоры вызывали смех.

С ужасом и негодованием я смотрел на этих людей и не видел в них искры Божией.

Да, по-видимому, фельдшер был прав.

Я не чувствовал угрызений совести, когда был слишком жестоким и посылал легко больных на работы.

Придя в свою камеру, я поделился своими чувствами и переживаниями с товарищами-врачами.

Они ничего мне не сказали.

Поздно ночью я исповедовался у о. Николая П., замечательного священника — исповедника, бывшего духовником всех верующих врачей.

Отец Николай сказал мне, что я поступил неправильно. Надо было, помолясь, чтобы Господь покрыл, освобождать всех без исключения больных, несмотря на то, богохульник он или праведник, а кроме того, освобождать и всех православных, внутренне молясь, чтобы Господь помог почувствовать таковых по их взглядам...

Совість моя сказала мне, что о. Николай был прав!

Наступил Великий Четверток. Вечером, часов в восемь, в нашу камеру врачей, где, кроме меня, находились епископ Максим (профессор доктор медицины Жижиленко) и врачи К. и П. — пришли, якобы по делу о дезинфекции, епископ Виктор (викарий Вятский) и о. Николай П.

Шепотом, катакомбно, отслужили церковную службу с чтением 12 евангелий...

В пятницу утром был прочитан по ротам приказ: в течение трех дней выход из рот после восьми часов вечера разрешался только в исключительных случаях по особым письменным пропускам коменданта лагеря.

В семь часов вечера, когда мы, врачи, только что вернулись в свои камеры после 12-часового рабочего дня, — к нам пришел о. Николай П. и сообщил следующее: «плащаница, в ладонь величиной, написана заключенным художником Р. Богослужение — чин погребения — состоится и начнется через час».

— Где?! — нетерпеливо спросили мы.

— В большом ящике (около четырех сажен длиной), для сушки рыбы; этот ящик находился в лесу, в полкилометра от роты №... Условный стук: 3 и 2 раза. Приходить лучше по одному.

Через полчаса владыка Максим и я вышли из нашей роты и направились по указанному «адресу». Дважды у нас патрули спросили пропуска. Мы, врачи, их имели.

Вот и лес. Без окон. Дверь едва заметна. Сумерки.

Стучим 3 и 2 раза. Входим. Внутренность ящика — превратилась в церковь. На полу, на стенах — еловые ветви. Теплятся свечи. Маленькие бумажные иконки. Маленькая, в ладонь величиной, плащаница утопает в зелени веток. Человек 10 молящихся. Среди них владыка Виктор (Вятский), владыка Илларион (Смоленский) и владыка Нектарий (Трезвинский), о. Николай П.,

о. Митрофан И., профессор А. А. М. (известный русский философ), два студента, два незнакомых монаха... Позднее пришло еще человек пять. Началось Богослужение. Шепотом. Казалось, что тел у нас не было. Были только одни души. Ничто не развлекало и не мешало сосредоточенности молитвы...

Я не помню — как мы шли «домой», т.е. в свою роту санитарной части. Господь покрыл!..

Светлая Христова Заутреня была назначена в нашей камере.

В 11 часов вечера в субботу был обход лагеря комендантом со свитой. Зашли и к нам, в камеру врачей. Камера была убрана. На столе — чистая белая скатерть...

— Что, ужинать собираетесь? — доброжелательно спросил комендант.

— Да! — отвечали мы.

— Ну, до свиданья!..

Ушли...

А через полчаса, под разными предлогами, без всяких письменных разрешений, собрались все, кто собирался прийти. Собрались человек 15.

Заутреня и обедня — пролетели быстро и необычайно духовно-радостно.

Сели разговляться. На столе были куличи, пасха, крашеные яйца, закуски, «вино» (жидкие дрожжи, с клюквенным экстрактом, сахаром и содой).

Около трех часов разошлись.

А около четырех часов утра — внезапный новый, второй обход коменданта. Вошли к нам в камеру.

Мы, врачи, сидели на своих койках, не раздеваясь и тихо беседовали.

— Что, врачи, не спите?.. — спросил комендант и тотчас добавил: — Ночь-то какая!... и спать не хочется!..

И ушел.

Господь покрыл!..

Мы, врачи, сидели на своих койках, не раздеваясь, с благодарными слезами, обнимая друг друга:

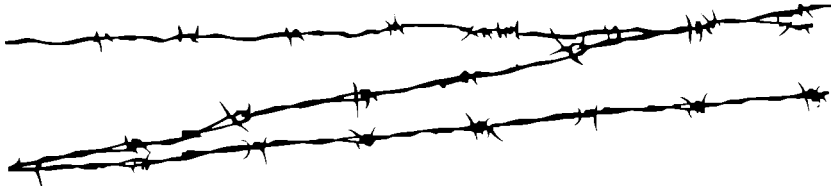
— Христос Воскресе!

— Воистину Воскресе!

Нежил соловецкий пасхальный рассвет — превращал монастырь — концлагерь в невидимый град Китеж и напоял наши свободные души тихой нездешней радостью!..



Православный еврей-исповедник¹



В 1929 г. в Соловецком страшном концлагере с конца зимы резко увеличались заболевания цингой, и к весне из 18 000 заключенных IV отделения СЛОНа (IV отделение Соловецкого лагеря особого назначения помещалось на самом острове Соловки) число больных достигло 5000 человек. Мне, заключенному врачу, было предложено, кроме моей обычной работы, взять на себя заведывание одним из новых цинготных барачков на 300 человек заключенных.

Когда я явился в этот барак, меня встретил молодой фельдшер еврей с очень красивым одухотворенным лицом. Он оказался студентом-медиком VI курса. Иметь такого квалифицированного помощника было большой редкостью и огромным облегчением. Александр Яковлевич Я. (так звали этого студента-фельдшера) обошел со мною весь барак и показал всех больных. О каждом он подробно мне рассказал его анализ и характерные проявления болезни. Больные были все в очень тяжелом состоянии. Кровоточащие и гниющие десны, пораженные язвенным цинготным гингивитом, огромные опухоли суставов, цинготные кровоизлияния в виде синих пятен на конечностях — бросались в глаза при беглом осмотре. При обстоятельном же обследовании у многих оказались тяжелые осложнения на внутренних органах: геморрагические нефриты, плевриты и перикардиты, тяжелые заболевания глаз («рыбьи глаза» — т. е. глаза с красной каемкой вокруг роговицы).

Из объяснений фельдшера я понял, что он прекрасно разбирается в симптоматологии болезней и правильно ставит диагнозы и прогнозы. Узнав, что Александр Яковлевич непрерывно работал целые сутки, я отослал его отдо-

¹ Публикуется по: Проф. И. Андреев Православный еврей-исповедник // Православная Русь. 1948. №23.

хнуть и стал обходить и осматривать больных один. В историях болезни были записаны все так называемые установочные данные, т.е. имя, фамилия, дата и место рождения и т.п., собран анализ и записаны субъективные жалобы. Ввиду огромного количества больных я вынужден был осматривать их очень бегло и записывать чрезвычайно кратко. Тем не менее осмотр мой, начавшийся в восемь часов утра, закончил только к трем часам ночи, при двух перерывах по полчаса на обед и ужин.

На следующий день я снова пришел в барак к восьми часам утра и застал Александра Яковлевича уже обошедшим всех больных, выполнившим все мои назначения и собравшим сведения о наиболее тяжелых (оказывается, он работал с 12 часов дня до восьми часов утра, т.е. 20 часов, снова без перерыва). Лицо А. Я. было вспухшее и носило явные следы тяжелых побоев. В ответ на мои расспросы он рассказал мне следующее. В семь часов утра барак посетил начальник И.С.Ч. (информационно-следственной части, т.е. отд. ГПУ в концлагере). Начальник был в пьяном виде. Обходя больных, он спросил их — довольны ли они работой врача и фельдшера. Несколько человек заключенных больных заявили, что врач только поздно ночью «заглянул» в барак и «наспех» посмотрел «некоторых» больных, «не оказав никакой помощи тяжелым больным», а фельдшер вышел вчера на работу только в 12 часов дня.

Не разобравшись — справедливы ли были эти жалобы и не спросив никаких объяснений у фельдшера, начальник И.С.Ч. ударил последнего несколько раз кулаком по лицу и приказал передать мне (врачу, заведовавшему отделением), чтобы я к 12 часам дня явился к нему «для объяснений»...

С тяжелым чувством я совершил свой обход. К половине 12-го я поспел бегло и поверхностно осмотреть не больше 50 человек и, несмотря на стоны и зовы других больных, вынужден был прекратить осмотр и отправился на допрос. Опоздание к допросу хоть на одну минуту грозило месячным карцером в ужасных условиях. Уходя, я зашел в дежурную комнату и позвал к себе фельдшера.

— Александр Яковлевич, — обратился я к нему. — Мне необходимо, как вы знаете, идти на допрос... Вы сами видите, как много тяжело страдающих больных... Не могли ли вы, несмотря на то, что ваша работа снова продолжается уже целые сутки, поработать еще два-три часа, пока я вернусь (надеюсь) с допроса?

— Конечно, доктор! — кротко ответил фельдшер. — Я останусь и посмотрю всех тяжело больных... Разрешите мне, не дожидаясь вашего возвращения, не-

сколько узурпировать ваши врачебные права и уже самостоятельно назначить и выполнить то, что будет необходимо?

— Пожалуйста, — ответил я, — ведь вы прекрасно разбираетесь даже в сложных случаях и за вашу помощь я могу только горячо вас благодарить... В свою очередь, я постараюсь объяснить начальнику ИСЧ, что он был несправедлив к вам!..

— О, не беспокойтесь обо мне, — живо воскликнул фельдшер. — И не защищайте меня... Мне пришлось пережить гораздо более тяжкие муки без всякой вины, и я за них только благодарю Бога... Помните, св. Иоанн Златоуст говорил: «Слава Богу за все!»

— Разве вы христианин?! — удивленно спросил я его.

— Да, я православный еврей! — радостно улыбаясь, ответил Александр Яковлевич.

Я молча пожал ему руку и сказал:

— Ну, до свидания, спасибо, завтра побеседуем, помолитесь за меня!

— Будьте спокойны! — уверенно заметил фельдшер. — Неотступно молитесь Ангелу Хранителю все время, пока будете на допросе... Храни вас Господь, доктор!

Я ушел. По дороге я молился и Господу, Чистой Матери, и св. Николаю Чудотворцу, своему Ангелу-Хранителю, исполняя добрый совет А.Я.

Войдя в кабинет начальника И.С.Ч., я мысленно последний раз обратился с молитвой к Ангелу Хранителю: «Защити! Вразуми!»

Начальник встретил меня молча и сурово. Пальцем показал на стул. Я сел.

— Расскажите, когда вы вчера делали обход больных и почему ваш помощник, этот жидюга-фельдшер, вышел на работу лишь к обеду?

Мысленно, без слов, призвав помощь Ангела-Хранителя, я, стараясь быть спокойным, ровным тихим голосом, не спеша, обстоятельно рассказал все. Я рассказал, что по приказанию начальника Санитарной части, вчера я явился принять барак в восемь часов утра. Узнав, что фельдшер, развернувший новый лазарет, принявший 500 человек больных и подготовивший к моему приходу все необходимое, — работал без перерыва целый день и всю ночь, — я послал его на несколько часов для отдыха, а сам занялся обходом больных. Обход мой длился с восьми часов утра до трех часов ночи и последнюю группу больных, находящихся на чердаке, я действительно, осматривал лишь между двумя и тремя часами ночи. Фельдшер же, после непрерывной круглосуточной работы, поспав около трех-четырех часов, снова явился на работу вчера в 12 ч. дня и работает снова непрерывно уже вторые сутки — до сего момента!

— Чего же они, сволочи, жаловались! — перебил меня начальник. — Выявите этих мерзавцев! Я посажу их в карцер!

— Они не виноваты, — ответил я. — Они ведь не знали условий работы... Они правду сказали вам, что фельдшер пришел к ним (на чердак!) в 12 часов дня, а врач делал обход (у них!) — в два часа ночи!

— Так-с, — почесав затылок и зевнув, сказал начальник, — ну, идите!

Выйдя с допроса, я тотчас направился в лазарет-барак. Там я застал начальника санитарной части, врача, который, после отбытия срока заключения по уголовному делу (за аборт, окончившийся смертью), остался служить «вольнонаемным».

Начальник Санчасти кричал на фельдшера за какие-то непорядки.

— Что за безобразие являться так поздно на работу, — закричал он на меня.

Я объяснил. Начальник санчасти ушел.

— За что он на вас рассердился? — спросил я Александра Яковлевича.

— За то, что здесь сильная вонь... Я объяснил ему, что 90% больных имеют гниющие язвы... Тогда он закричал: «молчать!», а тут пришли вы.

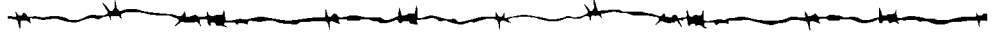
— Идите спать, — сказал я, — приходите к шести часам вечера.

Работая до 10 часов вечера, я успел посмотреть всех наиболее тяжелых больных.

Измученный до последней степени, я написал начальнику Санчасти поздно вечером рапорт: «Ввиду совершенной невозможности, имея еще заведывание терапо-психиатрическим отделением на 40 коек, справиться с новой работой во вверенном мне цинготном бараке, прошу вашего разрешения фельдшера Я. (студента VI курса медицинского факультета) — назначить мне в помощь в качестве п.д. младшего ординатора и кроме того назначить еще не менее двух фельдшеров».

На следующий день моя просьба была удовлетворена. А еще через два дня прибыл новый этап заключенных (400 человек), среди которых оказалось и четыре фельдшера. Один врач и два фельдшера из новоприбывших были назначены мне в помощь в цинготный барак. 100 человек наиболее тяжелых цинготных больных я взял под свое наблюдение, другую сотню — поручил новому врачу, а третью сотню оставил Александру Яковлевичу. Четыре фельдшера стали работать в две смены по 12 часов в день. Работать стало легче.

Мне уже давно хотелось поближе познакомиться и побеседовать по душам с Александром Яковлевичем: но из-за крайней занятости и предельной усталости это долгое время не удавалось.



Но однажды, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, мне удалось, под видом инспекторской проверки одного дальнего фельдшерского пункта, устроить командировку себе и Александру Яковлевичу. Рано утром мы пошли с ним из Соловецкого Кремля по Савватиевской дороге и, пройдя несколько километров, зашли в сторону от этой дороги, в сосновый лес. Был чудесный, ясный, теплый осенний день, какие бывали в Соловках. Ярким расплавленным золотом горели в лучах солнца березы, огромными пятнами вкрапленные местами в сосновом лесу... Левитановский пейзаж навевал тихую грусть, растворенную в тихой духовной радости Богородичного праздника. Зайдя в глубь леса, мы сели с А. Я. на пеньки и я попросил его рассказать о себе. И вот он мне рассказал.

Сын торговца Петербургского Александровского рынка, он рано потерял родителей и самостоятельно стал пробиваться в жизни. Будучи студентом II Медицинского института, он познакомился и подружился с одним геологом, евреем-толстовцем, который увлек его своими рассказами о Л. Н. Толстом и учении толстовцев. На А.Я. произвели сильное впечатление не богословские сочинения Толстого, а его повести и рассказы: «Где любовь, там и Бог», «Чем люди живы» и др. Через год, будучи уже студентом III курса, он познакомился с одним старым врачом, который лично знал Л. Н. Толстого. Этот врач, убежденный церковно-православный человек, разъяснил А. Я. сущность толстовской секты и открыл перед ним «необозримую сокровищницу Православной Церкви». Еще через год А. Я. крестился и стал православным христианином.

— После крещения, — рассказывал о себе А. Я., — я не мог равнодушно видеть религиозных евреев. Атеисты-евреи, каких теперь большинство, меня мало интересовали. Но верующие в Бога евреи мне стали казаться просто несчастными заблудившимися людьми, которых я морально обязан был приводить ко Христу. Я спрашивал каждого — почему он не христианин? Внимательно ли он читал Библию и знает ли Евангелие? Задумывался ли он над пророчествами? Какого же он ждет еще Мессию? Что он может сказать худого про Христа? Почему он не любит Христа? Почему не верит Ему — самой прекрасной личности во всей мировой истории?

Споры-проповеди новообращенного еврея стали известны, и А. Я. был арестован...

На допросах он стал проповедовать Христа следовательно, еврею-атеисту. Тот пришел в бешенство и, после всяких издевательств, «упек» его на три года в концлагерь на Севере России. «На одной из командировок этого лагеря, —

рассказывал мне А. Я., — где я работал на очень тяжелых общих работах на лесозаготовках, был необычный зверь-начальник. Утром и вечером, перед и после работы он выстраивал заключенных и приказывал петь «утреннюю» и «вечернюю» молитвы. По утрам — «Интернационал», а по вечерам — какую-то советскую песню, в которой были слова: «Мы все как один умрем за власть советов!» Все пели. Но я не мог... Я молчал. Обходя строй, начальник заметил, что я молчу и начал меня бить по лицу. Тогда я запел, громко, неожиданно для самого себя, глядя в небо: «Отче наш, иже еси на небесах!» Зверь-начальник осатанел от злобы и, повалив меня на землю, избил каблуками до бесчувствия...

— Очнулся я в карцере, на лазаретной койке... Когда подправили — снова стали меня заставлять петь «молитвы». Я снова сначала молчал, а потом запел «Царю Небесный». И чудо, чем меня больше били, тем радостнее мне становилось на душе... Избивали сильно, но уже не до бесчувствия. А потом отправили меня на испытание в психиатрическое отделение. Врач-психиатр видно меня пожалел и держал на испытании целых два месяца, вплоть до окончания моего срока. По освобождении из концлагеря я получил «вольную» высылку в город Вятку.

— Ну, а как же вы устроились в Вятке? — спросил я Ал. Яковлевича.

— Когда я приехал в Вятку, в совершенно незнакомый мне город, то прежде всего спросил, где находится церковь (тогда еще не все церкви были закрыты), а придя в церковь, спросил, нет ли здесь иконы преподобного Трифона Вятского и когда празднуется его память. Мне указали икону и сказали, что память святого празднуется на следующий день, 8-го октября.

Сердце мое захлебнулось от радости, что преп. Трифон привел меня в свой град к празднику своего дня. Меня научил мой отец духовный, везде и всегда, куда бы меня ни сослали, молиться патрону той местности, где я буду находиться. Вот почему в Вятке я тотчас же вспомнил о преп. Трифоне Вятском.

Упав на колени перед иконой преподобного, я сказал ему, что у меня никого нет знакомых в Вятке, кроме него, что мне не у кого больше просить помощи. Я просил устроить в Вятке жизнь и работу. После молитвы на сердце стало просто, легко и тихо-радостно — верный признак, что молитва была услышана...

Выйдя из церкви после Всенощной, я медленно пошел по главной улице, держа под мышкой свой маленький узелок с вещами...

— Что, касатик, ты из больницы, видно, вышел? — услышал я вдруг приветливый женский голос.

Передо мною остановилась пожилая полная женщина, в белом чистом платочке на голове, скромно, чисто и опрятно одетая, глядя на меня ясными добрыми глазами.

— Нет, матушка, — отвечал я, — не из больницы, а из тюрьмы, из концлагеря я только что освобовился и вот выслали в Вятку.

— Что же, за какие преступления ты наказание-то отбывал, за воровство, за грабеж, али за убийство?

— Нет, за то, что в Бога верую и будучи евреем — христианство принял, — отвечал я.

Завязался разговор. Она пригласила меня зайти к ней.

В комнате у нее было чисто прибрано, а весь угол над кроватью был увешан образами, перед которыми теплились три разноцветных лампадки.

— Завтра Трифона Вятского память, защитника и покровителя нашего города, — сказала женщина и указала на образок преподобного.

Я упал перед ним на колени и заплакал от радостной благодарности.

И вот я устроился жить у этой благочестивой вдовы. А через два дня и работу себе нашел — грузчиком.

— Так прожил я, слава Богу, спокойно, с полгода, — помолчав с минуту, закончил свой рассказ Александр Яковлевич, — а весной снова был арестован и получил уже 10 лет и прибыл на этот вот святой остров Соловецкий... Теперь мне здесь помогают своими молитвами преподобные Зосима и Савватий, а когда на штрафном острове Анзере был, то — Елеазар Анзерский помогал...

Молча мы пошли с А. Я. дальше, вглубь леса, вдруг, совершенно неожиданно натолкнулись на старенькую полуразрушенную каменную часовеньку с заколоченными досками оконцами и дверью. Доски были старые, ветхие и легко оторвались при небольшом усилии. Мы вошли в часовню и увидели на стене старый большой образ Смоленской Божией Матери. Краски на иконе растрескались и обсыпались и сохранился ясно только лик Владычицы, вернее даже только Ея благодатные очи...

Александр Яковлевич вдруг упал на колени перед этой иконой, поднял обе руки вверх и громким полным голосом запел: «Достойно есть яко воистину».

Он допел молитву до конца.

У меня что-то перехватило горло, и голосом я не мог петь, но душа моя пела и ликовала, глядя на две пары очей: благодатных — Владычицы Богородицы и умиленных Александра Яковлевича.

Через месяц после этой прогулки А. Я. был арестован и увезен неизвестно куда. [Арест в тюрьме, как правило, заканчивался расстрелом. И в самом деле,

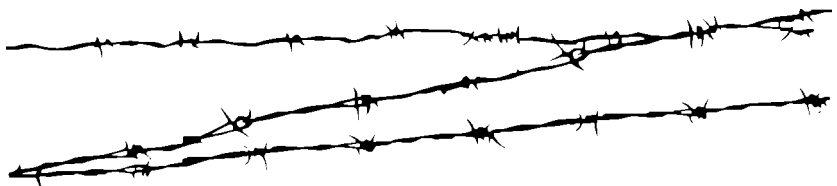
профессор С. В. Готов, бывший в то время на Соловках и знавший Александра Якобсона, как собрата-противника «сергианства», свидетельствует о том, что он был расстрелян в 1930 году²].

Прошло почти 20 лет после этого события, а передо мной часто ясно, незабываемо ярко всплывает дивная картина молитвы православного еврея-исповедника перед очами иконы Божией Матери и слышится радостный голос, звучащий несокрушимой верой и пламенным глубоким желанием славословить «Честнейшую херувим!»

² *Andreev I. Russia's catacomb saints (Lives of the news saints). St. Herman of Alaska Press, Platina, California, 1982. P. 76–77.*



Группа монахинь в Соловецком концлагере (Из истории религиозной борьбы с большевизмом)¹



Летом 1929 г. на о. Соловки, в концлагерь, прибыл этап монахинь, около 30 человек. По некоторым данным, можно было предполагать, что большинство прибывших были «Шамординские монахини», т.е. монахини из Шамординского женского монастыря, находившегося вблизи знаменитой Оптиной пустыни.

С этими монахинями у администрации лагеря вышла целая история, характеризующая некоторые стороны религиозной борьбы с большевизмом в конце 20-х гг.

Эти монахини не были помещены в общий женский корпус, а содержались отдельно.

При самом прибытии их разыгрался тяжелый инцидент. Когда, как это обычно было принято, их стали проверять и опрашивать для составления на них формуляра, они отказались дать о себе так называемые «установочные данные», т.е. ответить на вопросы о фамилии, имени, отчестве, годе и месте рождения, образовании, профессии, судимости, о статье, сроке наказания и т.п.

На вопросы о фамилии они отвечали лишь свои имена: «мать Мария, мать Анастасия, мать Евгения» и т.д. На остальные вопросы они не отвечали вовсе. После криков на них и угроз их стали избивать, но тогда они совершенно замолчали и перестали даже называть свои имена.

Их посадили в карцер, мучили голодом, жаждой. Отсутствием сна, даже побоями с членовредительством, т.е. применяли к ним почти все способы «воз-

¹ Публикуется по: Проф. Андреев Группа монахинь в Соловецком лагере // Православная Русь. 1947. №13.

действия», но они оставались непреклонными в своем упорстве и даже посмели отказаться от всякого принудительного труда (факт очень редкий в концлагере).

Через некоторое время меня, заключенного врача, вместе с профессором доктором Жижиленко (который был сослан в Соловки за то, что, будучи главным врачом Таганцовой тюрьмы в Москве, тайно принял монашество и стал епископом), вызвали к начальнику санчасти, где находился и начальник всего лагеря, и конфиденциально просили нас произвести медицинское освидетельствование этих монахинь, намекнув, что, по возможности, желательно признать их нетрудоспособными, чтобы иметь официальные основания освободить их от принудительного тяжелого физического труда, которого они не хотели выполнять.

Первый раз в истории Соловецкого концлагеря его администрация находилась в таком затруднительном положении. Обычно с отказавшимися от тяжелых работ (большей частью это случалось с уголовными преступниками) поступали резко и жестоко: после жестокого избиения их отправляли на штрафной о. Анзер, откуда обратно никто живым не возвращался. Иногда дело ограничивалось карцером на Секирке (Секирная гора — известная местность на о. Соловки). Через 2—3 месяца пребывания в этом карцере возвратившиеся оттуда живыми становились «шелковыми» и не отказывались больше никогда от работ.

Почему монахинь-бунтовщиц не отправляли ни на Анзер, ни на Секирку — было непонятно.

После ухода начальника лагеря мы, врачи, задали об этом вопрос начальнику санчасти, тоже врачу, который, после отбытия срока в лагере за какое-то уголовное преступление, остался «вольнонаемным» и занимал административные должности, возглавляя санитарную часть лагеря.

Он объяснил нам, что с монахинями «дело сложное», ибо их молчаливый и сдержанный протест совершенно не похож на протест, который иногда позволяли себе уголовные преступники. Последние обыкновенно устраивали скандал, кричали, хулиганили. А эти — молчаливые, простые, смиренные и необыкновенно кроткие. Ни одного крика, ни одного слова жалобы.

— Они фанатичные мученицы, словно ищущие страданий, — рассказывал начальник санчасти. — Это какие-то психопатки-мазохистки. Но их становится невыносимо жалко... Я не смог видеть их смирения и кротости, с какими они переносят «воздействия»... Да и не я один... Владимир Егорович (начальник лагеря) тоже не смог этого перенести. Он даже поссорился с начальником ИСО (информационно-следственный отдел)... И вот он хочет как-нибудь смягчить и уладить это дело. Если вы их признаете негодными к физическому труду — они будут оставлены в покое.

— Я прошу меня освободить от этой комиссии, — сказал профессор Жижиленко. — Я сам монах и женщин, да еще монахинь, осматривать не хотел бы...

Профессор Жижиленко от этой комиссии был освобожден, и я один отправился свидетельствовать этих монахинь.

Когда я вошел в барак, где они были собраны, я увидел чрезвычайно степенных женщин, спокойных и выдержанных, в старых, изношенных, заплатах, но чистых черных монашеских одеяниях.

Их было около 30 человек. Все они были похожи одна на другую и по возрасту всем можно было дать то, что называется «вечные 30 лет», хотя, несомненно, здесь были и моложе и старше. Все они были словно на подбор, красивые русские женщины, с умеренной грациозной полнотой, крепко и гармонично сложенные, чистые и здоровые, подобно белым грибам-боровикам, не тронутым никакой червоточиной. Во всех лицах их было нечто от выражения лица скорбящей Богоматери, и эта скорбь была такой возвышенной, такой сдержанной и как бы стыдливой, что совершенно невольно вспомнились стихи Тютчева об осенних страданиях бесстрастной природы, сравниваемых со страданиями глубоко возвышенных человеческих душ.

*Ущерб, изнеможенье, и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья...*

Вот передо мной и были эти «разумные существа» с «возвышенной стыдливостью страданья».

Это были русские, именно лучшие русские женщины, про которых поэт Некрасов сказал:

*Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.*

и которых он же определял как

*«все выносящего русского племени»
«многострадальную мать»*

Эти монахини были прекрасны. Ими нельзя было не любоваться. В них было и все очарование нерастраченной «вечной женственности», и вся прелесть неизжитого материнства, и в то же время нечто от эстетического совершенства холодного мрамора Венеры Милосской, и, главное, удивительная гармония и чистота духа, возвышающего их телесный облик до красоты духовной. Которая не может вызывать иных чувств, кроме глубокого умиления и благоговения.

— Чтобы не смущать их, я уж лучше уйду, доктор, — сказал встретивший меня начальник командировки, который должен был присутствовать в качестве председателя медицинской Комиссии.

Очевидно, и до чекистской души как-то коснулось веяние скромности и целомудрия, исходивших от этих монахинь. Я остался с ними один.

— Здравствуйте, матушки, — низко поклонился я им. Они молча отвечали мне глубоким поясным поклоном.

— Я — врач. Я прислан освидетельствовать вас...

— Мы здоровы, нас не надо свидетельствовать, — перебили меня несколько голосов.

— Я верующий, православный христианин и сижу здесь по церковному делу.

— Слава Богу, — ответили мне опять несколько голосов.

— Мне понятно ваше смущение, — продолжал я, — но я не буду вас осматривать... Вы мне только скажите, на что вы жалуетесь, и я определю вам категорию трудоспособности...

— Мы ни на что не жалуемся. Мы здоровы.

— Но ведь без определения категории трудоспособности вас могут послать на необычайно тяжелые физические работы...

— Мы все равно работать не будем, ни на тяжелых, ни на легких работах.

— Почему? — удивился я.

— Потому что на антихристову власть мы работать не будем...

— Что вы говорите, — заволовался я, — ведь здесь на Соловках имеется много епископов и священников, сосланных сюда за исповедничество, они все работают, кто как может. Вот, например, епископ Виктор Вятский работает счетоводом на канатфабрике, а в «Рыбзверпроме» работает много священников. Они плетут сети... Ведь это апостольское занятие. По пятницам они работают целые сутки, день и ночь, чтобы выполнить задание сверхсрочно и тем освободить себе время для молитвы — вечер в субботу и утром в воскресенье...

— Мы не осуждаем их. Мы никого не осуждаем, — степенно ответила одна из монахинь постарше. — Но мы работать по принуждению антихристовой власти не будем.

— Ну тогда я без осмотра напишу вам всем какие-нибудь диагнозы и дам заключение, что вы неспособны к тяжелым работам... Я дам вам всем 2-ю категорию трудоспособности...

— Нет, не надо. Простите нас, но мы тогда должны будем сказать, что Вы неправду написали... Мы здоровы, мы можем работать, но не хотим работать, и работать для антихристовой власти не будем, хотя бы нас за это и убили...

— Они не убьют, а замучат вас, — тихим шепотом, рискуя быть подслушанным, сказал я с душевной болью.

— Бог поможет и муки претерпеть, — так же тихо сказала одна из монахинь, самая младшая.

У меня выступили слезы на глазах, комок подступил к горлу.

Я молча поклонился им... Хотелось поклониться до земли и целовать их ноги...

Через неделю к нам в камеру врачей санчасти зашел комендант лагеря и между прочим сообщил:

— Ну и намучились мы с этими монахинями... Но теперь они согласились-таки работать: шьют и стегают одеяла для центрального лазарета. Только условия, стервы, поставили, чтобы им всем быть вместе и что они будут тихонько петь во время работы псалмы какие-то... Начальник лагеря разрешил. Вот они теперь поют и работают.

Изолированы были эти монахини настолько, что мы, врачи санчасти, пользовавшиеся относительной «свободой» передвижения по лагерю, несмотря на наши «связи» и «знакомства» с миром всякого рода «начальников», — долгое время не могли получить о них никаких известий.

И только через месяц мы получили эти известия.

Пятый акт трагедии монахинь был таков.

В одном из этапов на Соловки был доставлен один священник, который оказался духовником некоторых из монахинь. И хотя общение между духовным отцом и его духовными детьми, казалось, было совершенно невозможным в условиях концлагеря, монахиням каким-то образом удалось запросить у своего наставника указания.

Сущность запроса состояла в следующем: Мы, дескать, прибыли в лагерь для страдания, а здесь нам хорошо. Мы вместе, поем молитвы, работаем работу по душе: стегаем одеяла для больных... Правильно ли мы поступаем, что согласились работать в условиях антихристовой власти в лагерях? Не следует ли нам и от этой работы отказаться?

Духовник оказался еще более фанатичным, чем его духовные дочери, и ответил категорическим запрещением работать и эту работу.

И монахини отказались от всякой работы.

Начальство узнало, кто в этом виноват. Священника расстреляли. Но когда монахиням сообщили об этом, они сказали:

— Теперь уж никто не может освободить нас от его запрещения.

Тогда начальство потеряло всякое терпение и осатанело.

Монахинь разъединили друг от друга и поодиночке куда-то увезли. Никаких вестей от них, несмотря на все наши старания, мы больше получить не смогли.

Они сгинули без всякого следа.

Прошло уже много лет после этих событий.

В перспективе времени многое сгладилось, забылось, стусевалось, но образы этих монахинь (по-видимому, действительно, Шамординских) — стоят передо мной ярко до боли и вызывают всегда одно и то же сложное чувство.

Прекрасно понимая, что в их поступках был крайний фанатизм, согласиться с которым полностью было бы равносильно осуждению мучеников — исповедников, погибших на работах в концлагерях, — я в то же время не могу не преклоняться перед их твердой позицией отказа от работ под антихристовой властью и вижу в этом отказе сильнейший из всех протестов против большевизма. Будь у всех нас, русских, хотя бы по капле такого протеста — большевизм не смог бы существовать.

Годы спустя², из уст американского заключенного, который находился в советском трудовом лагере, мы получаем следующую дополнительную информацию, проливающую свет на духовные плоды аскетической твердости тех монахинь.

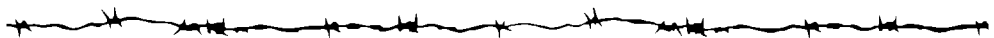
Чудо (трех) монахинь

Когда разговор заходил о вере, что происходило довольно часто, я слышал об удивительном случае, о чуде, которое произошло в Воркуте. Воистину Господь пребывал там с нами! И та горячность, с которой мне рассказывали эту историю, не оставляла сомнений, что Железный Занавес не мог оставить Бога за пределами страны и за пределами умов и сердец ее жителей.

Это произошло в ноябре, в 1950 г., сразу после того, как мы сами прибыли в лагерь. Те три монахини тоже приехали туда по приговору к принудительному труду. Тысячи женщин в Воркуте, хотя и не работали в шахтах, выполняли черную работу, и монахинь приговорили трудиться на заводе, который производил кирпичи для строительных работ в Заполярье.

Когда монахинь впервые привели на кирпичную фабрику, они заявили бригадиру, что воспринимают любую работу для нужд коммунистического режима как работу на дьявола, и, так как они слуги Господа, а не сатаны, монахини не собирались подчиняться приказам своего бригадира, невзирая ни на какие угрозы.


² Публикуется по: Andreev I. Russia's catacomb saints (Lives on the news saints) / Пер. с англ. М.В. Яковцева. California, St. Herman of Alaska Press, Platina, California, 1982.



Лишенные своих монашеских одеяний, монахини были облачены в веру. Они были готовы вынести все что угодно, чтобы сохранить свой обет, и действительно приняли муки — живое свидетельство великого мужества. День за днем в качестве наказания им выдавали скудную пищу, состоявшую из черного хлеба и протухшего супа. Но каждое утро на требование идти работать на кирпичную фабрику, в глиняные ямы или выполнять другие тяжелые послушания, они отвечали отказом. Их отказ, естественно, означал, что им предстояло вынести более тяжкие испытания. Обозленный их стойкостью, опасаясь влияния на других рабочих, комендант приказал надеть на них смиренные рубашки. Их руки связали за спиной, а жгуты, которыми были перевязаны запястья, натянули вниз и крепко привязали к лодыжкам, так что их ноги были выгнуты за спиной, а плечи вывернуты, что причиняло мучительную боль.

Монахини корчились в муках, но ни слова протеста не вырвалось из их уст. Тогда комендант приказал лить воду, чтобы хлопковый материал рубашек сжался, он ожидал, что монахини будут кричать от давления на их измученные тела, но они только тихо застонали и впали в забытие. Узы ослабили, и сестер привели в сознание. Спустя некоторое время их связали снова, и они вновь с облегчением забылись в благословенном обмороке. Их продержали в таком состоянии более двух часов, но охранники не осмелились продлевать пытки, так как циркуляция крови была нарушена, и женщины были почти при смерти. Коммунистическому режиму нужны были рабы — не мертвецы. Людей не для того везли до самой Воркуты, чтобы потом убить их. Советское правительство хотело добывать уголь. Разумеется, рабочих можно было легко заменить, но их выпускали только после долгих лет изнурительного труда. Таким образом, комендант собирался пытать монахинь до тех пор, пока они не согласятся работать.

Наконец, он решил, что пытки пора завершить. Либо монахини соглашались работать, либо их следовало убить. Он отдал приказ, и их снова приговорили к наряду наружных работ, а в случае отказа их должны были отвести на холм и оставить неподвижно стоять на ледяном ветру ранней полярной зимы, чтобы наблюдать за женщинами, которые работали внизу. Их предали и этой пытке. Когда забрезжил бледный закат короткого северного дня, монахинь видели на холме, стоящими на коленях. Охрана поднялась наверх, думая, что сестры замерзают, но они выглядели так, будто им было тепло и уютно. Тогда комендант приказал снять с них рукавицы и головные уборы, чтобы они еще сильнее почувствовали холод промозглого ветра. Весь восьмичасовой рабочий день они сидели, преклонив колени на продуваемом ветрами холме, и молились. Внизу женщины, откалывавшие глину для производства кирпича, с трудом переносили



холод. Многие жаловались, что у них замерзают ноги, несмотря на то, что имели теплую обувь. Когда вечером к холму пришла охрана, чтобы забрать монахинь и привести их обратно к баракам, они ожидали, что у тех будут отморожены уши, руки и остальные конечности. Но оказалось, что они ничуть не пострадали. На следующий день монахини снова стояли на коленях восемь часов на ветру без головного убора и без рукавиц, при очень низкой температуре. После этого они также не получили серьезного обморожения и по-прежнему решительно отказывались работать. Тогда на третий день их снова выставили на улицу, и на этот раз с них сняли и шарфы.

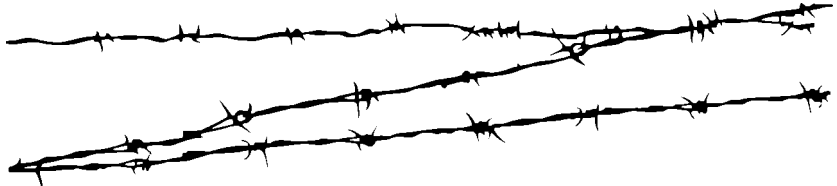
К тому времени весть об этом распространилась по всем местным лагерям. Когда в конце третьего дня, самого холодного дня за всю ту зиму, монахинь снова привели в бараки без головного убора и у них не оказалось ни следа обморожения, все шептались, что воистину Господь явил чудо в этих местах. Во всей Воркуте не было других тем для обсуждения. Даже суровые начальники из других лагерей искали повод прийти на кирпичную фабрику и взглянуть тайком на три фигурки, видневшиеся на холме. Женщины, работавшие внизу, крестились и истово шептали молитвы. Встревожен был даже комендант. Не будучи верующим человеком, он был, по меньшей мере, суеверен и прекрасно понимал, что является свидетелем действия Силы не от мира сего.

На четвертый день охранники сами побоялись неземной силы, которая исходила от этих женщин, и категорически отказались прикасаться и даже приближаться к ним. Комендант и сам опасался отдавать приказ снова вывести их на холм. С них сняли наказание, и молиться больше не мешали. Когда я покидал Воркуту годы спустя, те монахини по-прежнему находились на кирпичной фабрике, но ни одна из них не работала для нужд коммунистического режима. К ним относились с уважением и благоговением. Охране было запрещено прикасаться к ним и тревожить. Они сами готовили себе еду и даже шили одежду. Они совершали молитвы и казались спокойными и благостными. Будучи пленницами телом, духом они были свободны. Никто в Советском Союзе не был так свободен в своем вероисповедании, как они.

Как отразился их пример на нетвердой вере тысяч узников и охранников в Воркуте, я даже не берусь описать. Позже, когда мне довелось пообщаться с интендантом лагеря и с некоторыми из наиболее убежденных русских коммунистов о вере, никто из них не упускал случая упомянуть Чудо (Трех) Монахинь.



Воспоминания о епископе Викторе (Островидове)¹



С 1928 по 1930 г. включительно епископ Виктор находился в IV отделении СЛОНа (Соловецкий Лагерь Особого назначения), на самом острове Соловки и работал бухгалтером Канатной фабрики. Домик, в котором находилась бухгалтерия и в котором жил владыка Виктор, находился вне кремля, в полуверсте от него, на опушке леса.

Владыка имел пропуск для хождения по территории от своего домика до кремля, а потому мог свободно (якобы «по делам») приходить в кремль, где в роте санитарной части, в камере врачей, находились: владыка епископ Максим (Жижиленко), первый катакомбный епископ и доктор медицины, вместе с врачами лагеря доктором К. А. Косинским, доктором Петровым и мною. Все мы четверо были церковно-православными людьми, не признававшими митрополита Сергия после его «Декларации» и состоявшими в лоне так называемой «Катакомбной Церкви», за что и отбывали наказание.

Владыка Виктор приходил к нам довольно часто вечерами, и мы подолгу беседовали по душам. Для «отвода глаз» начальства роты, обычно мы инсценировали игру в домино, за чашкой чая. В свою очередь мы все четверо, имевшие пропуск для хождения по всему острову, часто приходили, тоже якобы «по делам», в домик на опушке леса, к владыке Виктору.

В глубине леса, на расстоянии одной версты, была полянка, окруженная березами. Эту полянку мы называли «Кафедральным собором» нашей Соловецкой Катакомбной Церкви, в честь Пресвятой Троицы. Куполом этого собора было небо, а стенами — березовый лес. Здесь изредка происходили наши тайные

¹ Публикуется по: Польский М., протопресв. Новые мученики Российские. Т. 2. Джорданвилль, 1957. С. 71–72.

Богослужения. Чаще такие богослужения происходили в другом месте, тоже в лесу, в «церкви» имени святителя Николая Чудотворца. На богослужения, кроме нас пятерых, приходили еще и другие лица: священники о. Матфей, о. Митрофан, о. Александр; епископы Нектарий (Трезвинский), Иларион (викарий Смоленский), и наш общий духовник, замечательный духовный общий наш руководитель и старец — протоиерей о. Николай Пискановский. Изредка бывали и другие заключенные, верные наши друзья. Господь хранил наши «ка-такомбы», и за все время с 1928 по 1930 г. включительно мы не были замечены.

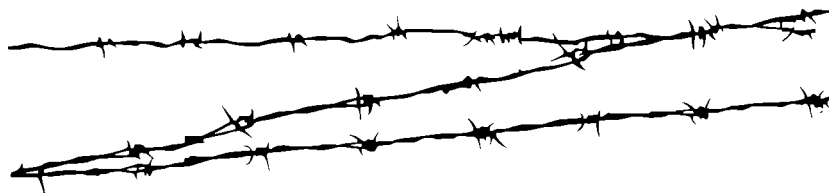
Владыка Виктор был небольшого роста, полный, пикнической конституции, всегда со всеми ласков и приветлив, с неизменной светлой всерадостной тонкой улыбкой и лучистыми светлыми глазами. «Каждого человека надо чем-нибудь утешить», — говорил он и умел утешать всех и каждого. Для каждого встречного у него было какое-нибудь приветливое слово, а часто даже и какой-нибудь подарок. Когда, после полугодового перерыва, открывалась навигация и в Соловки приходил первый пароход, тогда обычно владыка Виктор получал сразу много вещевых и продовольственных посылок с материка. Все эти посылки через несколько дней владыка раздавал, не оставляя себе почти ничего. «Утешал» он очень многих, часто совершенно ему неизвестных заключенных, особенно жалуя так называемых «урок» (от слова «уголовный розыск»), т.е. мелких воришек, присланных как «социально вредных», «по изоляции», по 48 статье.

Беседы между владыками Максимом и Виктором, свидетелями которых часто бывали мы, врачи санитарной части, жившие в одной камере с владыкой Максимом, представляли исключительный интерес и давали глубокое духовное назидание. Оба владыки любили друг друга, неторопливо, никогда не раздражаясь и не споря, а как бы внимательно рассматривая с разных сторон одно сложное явление. Владыка Максим был пессимист и готовился к тяжелым испытаниям последних времен, не веря в возможность возрождения России. А владыка Виктор был оптимист и верил в возможность короткого, но светлого периода, как последнего подарка с неба для измученного русского народа.

В конце 1930 г. владыка Виктор кончил свой трехлетний срок концлагеря, но вместо освобождения был отправлен в Май-Губу. Больше я с ним не встречался и о судьбе его ничего не слышал.




Епископ Максим Серпуховской (Жижиленко) в Соловецком концентрационном лагере¹



В конце октября 1929 г., в IV отделение СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения), на острове Соловки на Белом море, с одним из этапов новых заключенных, прибыл новый врач. Комендант лагеря привел его в 10-ю роту, где помещались работники санитарной части, ввел в камеру врачей и представил: «Вот вам новый врач, профессор доктор медицины, Михаил Александрович Жижиленко». Мы, заключенные врачи санитарной части лагеря, подошли к новому товарищу по заключению и представились. Новоприбывший коллега был высокого роста, богатырского телосложения, с густой седой бородой, седыми усами и бровями, сурово нависшими над добрыми голубыми глазами.

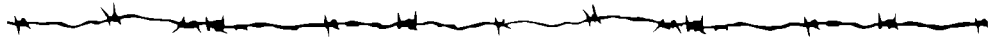
Еще за неделю до прибытия доктора Жижиленко нам сообщили наши друзья из канцелярии санитарной части, что новоприбывающий врач — человек не простой, а заключенный с особым «секретным» на него пакетом, находящийся на особом положении, под особым надзором, и что, может быть, он даже не будет допущен к работе врача, а будет переведен в особую, 14-ю роту, так называемую, «запретников», которым запрещается работать по своей специальности и которые весь срок заключения должны провести на так называемых «общих» тяжелых физических работах. Причиной такого «особого» положения доктора Жижиленко было следующее обстоятельство: он, будучи Главным врачом Таганцевской тюрьмы в Москве, одновременно был тайным епископом, нося монашеское имя Максима, епископа Серпуховского.

¹ Публикуется по: Проф. И. М. Андреев Епископ Максим Серпуховской (Жижиленко) в Соловецком концентрационном лагере // Православный путь. Джорданвилль, 1951. С. 61–70.



После обмена мнений по общим вопросам мы все трое врачей сказали новоприбывшему, что нам известно его прошлое, причина его ареста и заключения в Соловки, и подошли к нему под благословение. Лицо врача-епископа стало сосредоточенным, седые брови еще более насупились, и он медленно и торжественно благословил нас. Голубые же глаза его стали еще добрее, ласковее и засветились радостным светом. Целая неделя прошла для всех нас в томительном ожидании, пока, наконец, положение нового врача не выяснилось. В роту «запретников» его не перевели. Начальник всего Санитарного отдела Соловецких лагерей, доктор В. И. Яхонтов (бывший заключенный по уголовному делу, после отбывтия срока оставшийся служить врачом ГПУ), хотел даже доктора Жижиленко, как опытного врача, назначить начальником Санитарной части IV отделения, (т. е. на весь остров Соловки), но этому воспротивился начальник И.С.О. (Информационно-следственного отдела), самого страшного отдела в лагерях, от которого целиком зависела судьба и жизнь всех заключенных. Должность врача Центрального лазарета также была доктору Жижиленко запрещена. И вот опытный старый врач (ему было под 60 лет) был назначен заведующим одним из тифозных бараков и подчинен младшим врачам, имевшим административную власть. Однако вскоре обнаружились исключительные дарования и опыт доктора Жижиленко как лечащего врача, и его стали вызывать на консультации во всех сложных случаях. Даже большие начальники лагеря, крупные коммунисты-чекисты, стали обращаться к нему за медицинской помощью для себя и своих семей. Почти все врачи, как молодые, так и старые, стали учиться у нового коллеги, пользуясь его советами и изучая его истории болезней.

С конца 1929 г. в Соловках началась эпидемия сыпного тифа, быстро принявшая грандиозные размеры: из 18 000 заключенных острова, к концу января 1930 г., было до 5 000 больных. Смертность была чрезвычайно высокая, до 20—30%. И только в отделении, которым заведовал доктор Жижиленко, смертность не превышала 8—10%. Каждого вновь поступающего больного врач-епископ исследовал очень подробно, и первая запись в истории болезни всегда бывала огромной. Кроме основного диагноза главного заболевания, доктор всегда писал диагнозы всех сопутствующих заболеваний и давал подробное заключение о состоянии всех органов. Его диагнозы всегда были точны и безошибочны, что подтверждалось на вскрытиях трупов умерших: никогда никаких расхождений его клинических диагнозов с диагнозами патолого-анатомическими не наблюдалось. Лекарственные назначения большей частью были немногочисленны, но часто к основным медикаментам присоединялись какие-нибудь дополнительные, роль которых не всегда была ясна даже вра-



чам. В тяжелых и, с медицинской точки зрения, безнадежных случаях он иногда назначал очень сложное лечение, которое строго требовал неуклонно выполнять, несмотря на то, что разнообразные лекарства надо было давать круглые сутки каждый час. Тщательно обследовав поступившего больного и сделав ему лекарственные назначения, доктор Жижиленко при последующих обходах, казалось, мало обращал на него внимания и задерживался у койки не больше минуты, щупая пульс и пристально смотря в глаза. Большинство больных было этим недовольно, и жалоб на «небрежность» врача было много. Однажды доктор Жижиленко был даже вызван по этому поводу для объяснений к начальнику Санитарного отдела. В свое оправдание врач-епископ указал на статистику смертных исходов во вверенном ему отделении (чрезвычайно редких по сравнению со смертностью во всех отделениях у всех других врачей) и на точность его диагностики. «Небрежно» обходя больных, он иногда вдруг останавливался перед какой-нибудь койкой и тщательно, как при первом обходе, снова исследовал пациента, меняя назначения. Это всегда означало, что в состоянии больного наступало серьезное ухудшение, на которое сам больной еще не жаловался. Умирали больные всегда на его руках. Казалось, что момент наступления смерти был ему всегда точно известен. Даже ночью он приходил внезапно в свое отделение к умирающим за несколько минут до смерти. Каждому умершему он закрывал глаза, складывал на груди руки крестом и несколько минут стоял молча, не шевелясь. Очевидно, он молился. Меньше чем через год мы, все его коллеги, поняли, что он был не только замечательный врач, но и великий молитвенник.

В личном общении врач-епископ, которого мы все, в своей камере врачей, называли «Владыкой», — был очень сдержан, суховат, временами даже суров, замкнут, молчалив, чрезвычайно неразговорчив. О себе не любил сообщать ничего. Темы бесед всегда касались или больных, или (в кругу очень близких ему духовно лиц) — положения Церкви.

Скудные сведения, которые нам с трудом удалось узнать о личной жизни Владыки Максима, сводились к следующему. В миру — Михаил Александрович Жижиленко (родившийся, кажется, в 1875 г.) был младшим братом известного русского ученого, профессора Уголовного права Петроградского Университета, Александра Александровича Жижиленко, который выступал в 1922 г. защитником в процессе митрополита Вениамина. По словам Владыки Максима, его брат не был религиозным человеком и при своем выступлении на процессе «церковников» заявил в начале своей речи, что он выступает, будучи атеистом, исключительно как представитель права и защитник правды. Однако, узнав о тайном

постриге своего младшего брата, Александр Александрович пришел к нему на квартиру и взял у него благословение.

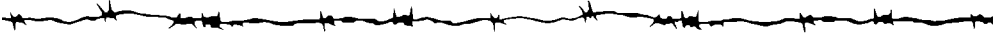
По словам вдовы профессора А. А. Жижиленко, умершего вскоре после пострига брата, это событие (тайное монашество и епископство) произвело на него потрясающее впечатление, и, умирая, он говорил в бреду: «они говорят, что Бога нет, но ведь Он есть!»

До своего пострига доктор Жижиленко короткое время был профессором психиатрии одного из провинциальных университетов, но потом сделался практическим врачом терапевтом. Последние несколько лет он состоял Главным врачом Таганцевской тюрьмы в Москве.

Михаил Александрович был женат. Овдовел он вследствие невозможности жены перенести первую беременность. Оба супруга ни под каким видом не захотели искусственно прервать эту беременность, хотя оба знали, что беременной грозит смерть. Покойную жену Владыка называл «праведницей».

Будучи всегда глубоко религиозным человеком, Владыка, еще будучи мирским, познакомился со святейшим патриархом Тихоном, которого глубоко чтит. Патриарх очень любил доктора Жижиленко и часто пользовался его советами. Их отношения со временем приняли характер самой интимной дружбы. По словам Владыки Максима, св<ятейший> Патриарх доверял ему самые заветные мысли и чувства. Так, например, в одной из бесед св<ятейший> патриарх Тихон высказал Владыке Максиму (тогда еще просто доктору) свои мучительные сомнения в пользу дальнейших уступок советской власти. Делая эти уступки, он все более и более с ужасом убеждался, что предел «политическим» требованиям советской власти лежит за пределами верности Христу и Церкви. Незадолго же до своей кончины, св<ятейший> патриарх Тихон высказал мысль о том, что, по-видимому, единственным выходом для Русской Православной Церкви сохранить свою верность Христу — будет в ближайшем будущем уход в катакомбы. Поэтому, св<ятейший> патриарх Тихон благословил профессору доктору Жижиленко принять тайное монашество, а затем, в случае, если в ближайшем будущем высшая Церковная иерархия изменит Христу и уступит советской власти духовную свободу Церкви, — стать тайным епископом!

Святейший патриарх Тихон скончался 25 марта 1925 г., будучи, по словам Владыки Максима, несомненно отравленным. «Завещание» патриарха, по категорическому утверждению Владыки Максима, — было подложно. При этом он ссылался на авторитетное мнение по этому вопросу своего брата, профессора Уголовного права.



Михаил Александрович выполнил волю покойного патриарха Тихона и в 1927 г., когда митрополит Сергей издал свою известную Декларацию, — принял тайное монашество с именем Максима и стал первым тайным катакомбным епископом. Вел себя тайный епископ так осторожно, а арестованный по доносу отвечал на допросах так мудро, что следственные власти ГПУ не могли ему инкриминировать ничего, кроме самого факта тайного монашества при одновременной работе Главным врачом Таганцевской тюрьмы, и ограничились наказанием: «три года Соловецкого лагеря» (по ст. 58 пункт 10, т.е. за контрреволюционную пропаганду).

На допросах Владыка Максим неизменно повторял одно и то же, а именно: тайное монашество он принял потому, что не хотел афишировать перед советской властью своих личных религиозных убеждений. На вопрос же о том, какой епархией он управлял, Владыка Максим отвечал, что никаких административных обязанностей у него не было и что он жил как «епископ на покое». О своих религиозных убеждениях и о своей духовной жизни и деятельности он категорически отказался рассказывать, мотивируя свой отказ слишком интимной областью, в которую он не может посвящать никого. Дружба с Патриархом была известна следователю. На вопрос, что же их сближало, Владыка Максим отвечал: «полная аполитичность, полная лояльность к советской власти и духовное сродство молитвенных устремлений и аскетических опытов». Владыка рассказал следователю и о факте отказа патриарха Тихона тайно благословить одного из деятелей Белого движения. Передавая об этом нам, заключенным на Соловках врачам, верным «тихоновцам», Владыка подробно рассказал о чрезвычайной осторожности патриарха Тихона, не показывавшего окружающим своего подлинного глубинного отношения к вопросам политики, но строго доверительно открывшего своему не менее осторожному другу — огромную радость по поводу деятельности митрополита Антония за рубежом. «Как они там все хорошо понимают и меня, по-видимому, не осуждают», — со слезами на глазах однажды высказывался Патриарх, имея в виду деятельность так называемых «карловчан».

Очень подробно рассказывал Владыка Максим о неоднократных попытках убить патриарха Тихона. Однажды, какой-то якобы сумасшедший бросился с ножом на выходящего из алтаря патриарха. Вопреки ожиданию вместо патриарха Тихона из алтаря вышел кто-то другой. И «сумасшедший», «разумно удивившись», — не нанес вышедшему никаких ранений. Другой раз, когда был убит келейник патриарха, убийца бегал по патриаршим покоям, но не замечал св<ятейшего> патриарха Тихона, сидевшего в кресле. Несколько попыток отравить св<ятейшего> было совершено при помощи присланных медикаментов.

Рассказывал Владыка Максим и о некоторых разногласиях с патриархом Тихоном. Главное из них заключалось в том, что святейший был оптимистически настроен, веря, что все ужасы советской жизни еще могут пройти и что Россия еще может возродиться через покаяние. Владыка же Максим склонен был к пессимистическому взгляду на совершающиеся события и полагал, что мы уже вступили в последние дни предапокалиптического периода. «По-видимому, — улыбаясь (что было редко), заключил Владыка Максим, — мы чуточку заразили друг друга своими настроениями: я его — пессимизмом, а он меня — оптимизмом...»

Прибытие Владыки Максима в Соловки произвело большие изменения в настроении заключенных из духовенства. В это время в IV отделении Соловецких лагерей (т.е. на самом о. Соловки) среди заключенных епископов и священников наблюдался такой же раскол, какой произошел «на воле» после известной Декларации митрополита Сергия. Одна часть епископата и белого духовенства совершенно разорвали всякое общение с митрополитом Сергием, оставшись верными непоколебимой позиции митрополитов Петра, Кирилла, Агафангела, Иосифа, архиепископа Серафима (Угличского) и многих других, засвидетельствовавших свою верность Христу и Церкви исповедничеством и мученичеством. Другая же часть — стала «сергианами», принявшими так называемую «новую церковную политику» митрополита Сергия, основавшего Советскую церковь и произведшего новообновленческий раскол. Если среди заключенных, попавших в Соловки до издания Декларации митрополита Сергия, первое время большинство было «сергианами», то среди новых заключенных, прибывших после Декларации, наоборот, преобладали так называемые «иосифляне» (по имени митрополита Иосифа, вокруг которого главным образом группировались непоколебимые верные чада Церкви). С прибытием новых заключенных число последних все более и более увеличивалось.

Ко времени прибытия владыки Максима на Соловках были следующие епископы «иосифляне»: епископ Виктор Глазовский (первый выступивший с обличительным посланием против Декларации митрополита Сергия), епископ Иларион, викарий Смоленский и епископ Нектарий Трезвинский. К «сергианам» же принадлежали: архиепископ Антоний Мариупольский и епископ Иоасаф (кн. Жевахов). Менее яростным, но все же «сергианцем» был и архиепископ Иларион Троицкий, осуждавший Декларацию митрополита Сергия, но не порвавший общения с ним, как «канонически правильным» Первосвятителем Русской Церкви.

Прибытие на Соловки Владыки Максима чрезвычайно усилило (и до этого преобладавшее) влияние «иосифлян».

Когда после жесточайших прещений, наложенных митрополитом Сергием на «непокорных», этих последних стали арестовывать и расстреливать, — тогда истинная и верная Христу Православная Русская Церковь стала уходить в катакомбы. Митрополит Сергей и все «сергиане» категорически отрицали существование катакомбной Церкви Соловецкие «сергиане», конечно, тоже не верили в ее существование. И вдруг — живое свидетельство: первый катакомбный епископ Максим Серпуховской прибыл в Соловки.

Архиепископ Иларион Троицкий вскоре был куда-то увезен из Соловков, а с ним вместе исчезли и «сергианские настроения» у многих. Упорными «сергианами» оставались только архиепископ Антоний и, особенно, епископ Иоасаф (Жевахов). Они не пожелали даже увидеться и побеседовать с епископом Максимом. Зато епископы Виктор, Иларион (Смоленский) и Нектарий довольно быстро нашли возможность не только встретиться, но и сослужить с Владыкой Максимом на тайных катакомбных богослужениях в глуши Соловецких лесов. «Сергиане» же вели себя слишком осторожно и никаких тайных богослужений никогда не устраивали. Зато и лагерное начальство относилось к ним более снисходительно, чем к тем епископам, священникам и мирянам, о которых было известно, что они «не признают» ни митрополита Сергия, ни «Советской церкви».

Всех арестованных по церковным делам (а таковых, по официальной секретной статистике, в 1928—29 г.г. в Соловках было до 20%) при допросах обязательно спрашивали, как они относятся к «нашему» митрополиту Сергию, возглавляющему «Советскую церковь». При этом лживые чекисты-следователи со злорадством и сарказмом доказывали «строгую каноничность» митрополита Сергия и его Декларации, которая «не нарушила ни канонов, ни догматов».

Отрицая катакомбную Церковь, соловецкие «сергиане» отрицали и «слухи» о том, что к митрополиту Сергию писались обличительные послания и ездили протестующие делегации от епархий. Узнав, что мне, светскому человеку, лично пришлось участвовать в одной из таких делегаций, — архиепископ Антоний Мариупольский, однажды, находясь в качестве больного в лазарете, пожелал выслушать мой рассказ о поездке к митрополиту Сергию вместе с представителями от епископата и белого духовенства. Владыки Виктор и Максим благословили меня отправиться в лазарет, где лежал архиепископ Антоний, и рассказать ему об этой поездке. В случае, если он, после моего рассказа, обнаружил бы солидарность с протестовавшими против «новой церковной политики», — мне разрешалось взять у него благословение. В случае же его упорного «сергианства» — благословения я не должен был брать. Беседа моя с архиепископом Антонием продолжалась более двух часов. Я ему подробно рассказал об исто-


рической Делегации Петроградской епархии в 1927 г., после которой произошел церковный раскол. В конце моего рассказа архиепископ Антоний попросил меня сообщить ему о личности и деятельности Владыки Максима. Я ответил очень сдержанно и кратко, и он заметил, что я не вполне ему доверяю. Он спросил меня об этом. Я откровенно ответил, что мы, катакомбники, опасаемся не только агентов ГПУ, но и «сергиан», которые неоднократно предавали нас ГПУ. Архиепископ Антоний был очень взволнован и долго ходил по врачебному кабинету, куда я его вызвал, якобы для осмотра, как врач-консультант. Затем вдруг он решительно сказал: «А я все-таки остаюсь с митрополитом Сергием». Я поднялся, поклонился и намеревался уйти. Он поднял руку для благословения, но я, помня указания Владык Виктора и Максима, уклонился от принятия благословения и вышел.

Когда я рассказал о происшедшем Владыке Максиму, он еще раз подтвердил, чтобы я никогда не брал благословения у упорных «сергиан». «Советская и Катакомбная Церкви — несовместимы», — значительно, твердо и убежденно сказал Владыка Максим и, помолчав, тихо добавил: «Тайная, пустынная, катакомбная Церковь анафематствовала “сергиан” и иже с ними».

Несмотря на чрезвычайные строгости режима Соловецкого лагеря, рискуя быть запытаннкими и расстрелянными, Владыки Виктор, Иларион, Нектарий и Максим не только часто сослужили в тайных катакомбных богослужениях в лесах острова, но и совершили тайные хиротонии нескольких новых епископов. Совершалось это в строжайшей тайне даже от самых близких, чтобы в случае ареста и пыток они не могли выдать ГПУ воистину тайных епископов. Только накануне моего отъезда из Соловков — я узнал от своего близкого друга, одного целибатного священника, что он уже не священник, а тайный епископ.

Общим духовником для всего епископата и белого духовенства катакомбников на острове Соловки был замечательный исповедник, а впоследствии и мученик, протоирей Николай Пискановский (из г. Воронежа). Его глубоко чтит Владыка Максим и называл «адамантом Православия». Однажды Владыка Максим с глубоким душевным волнением и умиленными слезами (он редко бывал в таком состоянии) показал мне открытку, полученную о. Николаем от своей жены и отрока сына. В этой открытке было написано: «Мы всегда радуемся, думая о твоих страданиях в лагере за Христа и Его Церковь. Радуйся и ты о том, что и мы сподобились быть снова и снова гонимыми за Господа...»

Тайных катакомбных «храмов» у нас в Соловках было несколько, но самыми «любимыми» были два: «Кафедральный собор» во имя Пресвятой Троицы и храм св<ятителя> Николая Чудотворца. Первый представлял собою неболь-



шую поляну среди густого леса в направлении на командировку «Савватьево». Куполом этого храма было небо. Стены представляли собою березовый лес... Храм же св<ятого> Николая находился в глухом лесу в направлении на командировку «Муксоляма». Он представлял собою кущу, естественно созданную семью большими елями... Чаще всего тайные богослужения совершались именно здесь, в церкви св<ятого> Николая. В «Троицком же Кафедральном соборе» богослужения совершались только летом, в большие праздники и, особенно торжественно, в день св<ятой> Пятидесятницы. Но иногда, в зависимости от обстоятельств, совершались сугубо тайные богослужения и в других местах. Так, например, в Великий Четверток 1929 г. служба с чтением 12 Евангелий была совершена в нашей камере врачей, в 10-ой роте. К нам пришли, якобы по делу о дезинфекции, Владыка Виктор и о. Николай. Потом, катакомбно, отслужили церковную службу, закрыв на задвижку дверь. В Великую Пятницу был прочитан по всем ротам приказ, в котором сообщалось, что в течение трех дней, выход из рот после 8 часов вечера разрешается только в исключительных случаях, по особым письменным пропускам коменданта лагеря.

В 7 часов вечера в пятницу, когда мы, врачи, только что вернулись в свои камеры после 12-часового рабочего дня, к нам пришел о. Николай и сообщил следующее: плащаница, в ладонь величиной, написана художником Р... Богослужение — чин погребения — состоится и начнется через час. «Где?» — спросил Владыка Максим. «В большом ящике для сушки рыбы, который находится около леса вблизи от N роты... Условный стук — три и два раза. Приходить лучше по одному...»

Через полчаса Владыка Максим и я вышли из нашей роты и направились по указанному «адресу». Дважды у нас спросили патрули пропуска. Мы, врачи, их имели. Но как же другие: Владыка Виктор, Владыка Иларион, Владыка Нектарий и о. Николай?.. Владыка Виктор служил бухгалтером на канатной фабрике, Владыка Нектарий — рыбачил, остальные — плели сети... Вот и опушка леса. Вот ящик, длиной сажени четыре. Без окон. Дверь едва заметна. Светлые сумерки. Небо в темных тучах. Стучим три и потом два раза. Открывает о. Николай. Владыка Виктор и Владыка Иларион уже здесь... Через несколько минут приходит и Владыка Нектарий. Внутренность ящика превратилась в церковь. На полу, на стенах еловые ветки. Теплятся несколько свечей. Маленькие бумажные иконки. Маленькая, в ладонь величиной, плащаница утопает в зелени веток. Молящихся человек 10. Позднее пришли еще четыре-пять, из них — два монаха... Началось богослужение. Шепотом. Казалось, что тел у нас не было, а были только одни души. Ничто не разве-

кало и не мешало молиться... Я не помню — как мы шли «домой», т.е. в свои роты. Господь покрыв!..

Светлая заутреня была назначена в нашей камере врачей. К 12 часам ночи, под разными срочными предложениями по медицинской части, без всяких письменных разрешений, собрались все, кто собирался прийти, человек около 15... После заутрени и обедни — сели разговляться. На столе были куличи, пасха, крашенные яйца, закуски, вино (жидкие дрожжи с клюквенным экстрактом и сахаром). Около 3 часов разошлись...

Контрольные обходы нашей роты Комендантом лагеря были до и после богослужения, в 11 часов вечера и в 4 часа утра... Застав нас, четырех врачей, во главе с Владыкой Максимом, при последнем обходе, комендант сказал: «Что, врачи, не спите?» и тотчас добавил: «Ночь-то какая... и спать не хочется!» И ушел...

«Господи, Иисусе Христе! Благодарим Тебя за чудо Твоей милости и силы», — проникновенно произнес Владыка Максим, выражая наши общие чувства...

Белая соловедкая ночь была на исходе. Нежное розовое соловедское пасхальное утро играющим от радости солнцем встречало монастырь-концлагерь, превращая его в невидимый град Китеж и наполняя наши свободные души тихой нездешней радостью. Много лет прошло с тех пор, а благоуханное воспоминание об этом нежном пасхальном утре незабываемо-живо, словно это было только вчера. И сердце верит, что между нами тогда был святой...

Владыка Максим был особенно дружен с Владыкой Виктором, который представлял собою полную противоположность епископу-врачу. Владыка Виктор был небольшого роста, полный, жизнерадостный, открытый, доступный, ко всем приветливый, разговорчивый. «Каждого человека надо чем-нибудь утешить», — говорил он и каждого встречного умел «утешить», порадовать, вызвать улыбку. Приходил он часто, и подолгу беседовал с Владыкой Максимом о судьбах Русской Православной Церкви. Будучи оптимистом, он постоянно старался «заразить» своей верой в светлое будущее России Владыку Максима, но тот оставался пессимистом, или, как он сам себя определял словами К. Леонтьева — «оптимистическим пессимистом». Приближается трагический конец мировой истории, а потому, по слову Господню, надо «восклонить головы» в ожидании непременного торжества Христовой правды!..

21 января (3 февраля) 1930 г., в день св<ятого> преп<еподобного>. Максима Исповедника (день Ангела Владыки Максима), мы, врачи, в складчину купили в нашей лагерной лавке огромную «архиерейскую» фарфоровую чайную чашку, чрезвычайно изящной работы, и торжественно преподнесли ее в

подарок дорогому Владыке. Ел Владыка мало, а чай пить любил. Подарок имел большой успех... Весь этот день мы снова провели, как и на Пасху, вместе, в нашей камере, и Владыка Виктор много рассказывал нам об интересных подробностях суда над преп<еподобным> Максимом Исповедником. «Счастливы Вы, Владыко, что носите имя такого великого небесного покровителя исповедника в настоящее время», — проникновенно-радостно закончил свои рассказы Владыка Виктор...

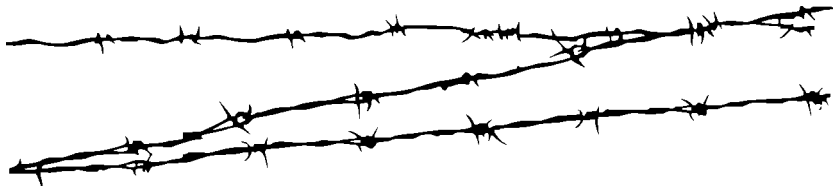
5/18 июля 1930 г., в день преп<подобного> Сергия Радонежского, наши друзья из канцелярии Санитарной части сообщили мне, что я буду ночью арестован и отправлен со «специальным конвоем» в Ленинград, «по новому делу». Предупрежденный, я собрался, попрощался с друзьями и, не ложась спать, стал ждать ареста. Заслышав в 2 часа ночи шум и шаги внизу (наша камера находилась во втором этаже), я поклонился до земли Владыке Максиму (который тоже не спал) и попросил благословить меня и помолиться о том, чтобы Господь послал мне силы для перенесения грядущих скорбей, страданий, а может быть — пыток и смерти. Владыка встал с постели, вытянулся во весь свой богатырский рост (мне казалось, что он вырос и стал огромным), медленно благословил меня, трижды облобызал и проникновенно сказал: «Много будет у вас скорбей и тяжких испытаний, но жизнь ваша сохранится и в конце концов вы выйдете на свободу. А вот меня через несколько месяцев тоже арестуют и... расстреляют! Молитесь и вы за меня, и за живого и, особенно, после смерти...»

Предсказания Владыки Максима сбылись точно: в декабре 1930 г. он был арестован, отвезен в Москву и там расстрелян.

Упокой, Господи, со святыми, душу раба Твоего — первого катакомбного епископа многострадальной Русской Православной Церкви МАКСИМА.



«Совесьь СССР»¹



В 1928 году с острова Соловки бежало несколько человек заключенных. В бурю, темной ночью, на старых лодчонках, без весел, с растянутыми вместо парусов пиджаками — несколько отчаянных смельчаков пустились в море, почти безо всяких надежд на спасение. Только бы бежать от ужасов коммунистической каторги! Пусть лучше смерть в открытом море, чем медленное умирание в застенках!

Но случилось чудо. Через три-четыре дня их подобрало норвежское судно и доставило в Англию. Вскоре в Англии появилась книга: «Остров пыток и смерти», где подробно описывался быт заключенных на Соловках, причем приводились точные сведения о командировках, сообщались фамилии начальников, характер пыток. Это было время, когда весь мир заговорил о демпинге, о каторжном труде заключенных в СССР, когда даже Америка собиралась отказатьсь покупать «дешевую» русскую продукцию. Советское правительство рвало и метало, клятвенно уверяло весь мир, что все это клевета, что никакой эксплуатации труда заключенных нет, но мировое общественное мнение настраивалось все более и более недоверчиво.

Тогда ГУЛАГ (Главному Управлению концлагерей) пришла блестящая идея: послать на Соловки «всемирно-известного русского писателя», «совесьь СССР», как его называли, Максима Горького. Его миссия, была высокая, почетная и ответственная: посмотреть лично и сказать, правда или нет все то, что говорят о Соловках.

¹ Публикуется по: Проф. И. М. Соловецкий «Совесьь СССР» // За Родину. 1944. №125(525).

О приезде Горького заключенные знали заранее. В концлагере были проведены специальные «разъяснительные» кампании. Начальство вдруг сделалось внешне несколько мягче, внимательнее. Различным учреждениям дано было задание «показать» свою работу.

Мне, заключенному врачу-психиатру, пришлось работать в это время в так называемом «Соловецком Криминологическом кабинете». Это учреждение было создано выдающимся ученым криминалистом, профессором А. Н. Колосовым, находившимся в то время в качестве заключенного на Соловках. По инициативе этого «Криминологического кабинета» в Соловках была организована «Трудовая исправительная колония для правонарушителей младших возрастов до двадцати пяти лет». Так приказано было именовать колонию для «малолетних преступников» (т.е. для детей от двенадцати до шестнадцати лет).

И вот, однажды утром, весь остров заволновался. На пароходе «Глеб Бокий» (имя крупного чекиста) в Соловки прибыл Максим Горький.

Доверие ему было полное. Он мог ходить без охраны, останавливать любого заключенного и беседовать с ним. Таких бесед без свидетелей было много. Горький внимательно всех выслушивал, расспрашивал, сочувствовал, записывал в записную книжку, обещал помочь.

В моем присутствии разыгралась следующая сценка. Горький пришел в СОК (музей Соловецкого Общества краеведения). Среди заключенных служащих музея он неожиданно встретил Юлию Николаевну Данзас. Бывшая фрейлина императрицы, ученая женщина, доктор всеобщей истории Сорбонны, Юлия Николаевна одно время была председателем отделения Дома Ученых на Таврической улице в Петрограде (после расстрела бывшего председателя этого отделения, академика Лазаревского). Горький, как известно, был патрон и шеф Дома Ученых и так называемой ЦЕКУБУ (комиссии по улучшению быта ученых) и лично хорошо был знаком с Ю. Н. Данзас.

— Юлия Николаевна! Вы здесь?

— Да, я здесь!..

— Какой же у вас срок?

— Я — бессрочная!

— Этого не может быть по законам СССР, высший срок — 10 лет (в 1929 году, на двенадцатый год революции, еще не было двадцатипятилетнего срока).

— Но у меня на формуляре написано: «бессрочно».

— Не может быть... Принесите формуляр! — обратился он к представителю УРЧ (учетно-распределительная часть).

Через четверть часа был принесен формуляр. На нем крупными буквами было написано и подчеркнуто: «бессрочно».

— Это недоразумение, — смущается Горький, — я выясню!..

Он записывает себе что-то в записную книжку, пожимает руку, обещает помощь. А на другой день, т.е. когда Горький еще не успел уехать, Ю. Н. Данзас была срочно «изъята» из «СОК» и отправлена на штрафной остров «Анзер» прачкой.

В порядке обследования различных учреждений Горький пришел, наконец, и в колонию для правонарушителей младших возрастов.

Удивился, что здесь — дети.

Он беседовал с ними несколько часов до позднего вечера.

На другой день я спросил ребят, питомцев колонии, как им понравился Горький.

— Горький! О, он «наш», «свой в доску»!.. Он рассказал нам о себе, что и он был, как мы, беспризорным... воровал яблоки... Он просил нас рассказать о себе, хорошо ли нам здесь, не обижали ли нас на работах... Мы сначала боялись жаловаться, думали, что он «лягавый», что он на нас донесет, но он и фамилий наших не спрашивал и не смотрел на того, кто говорит, а только все записывал себе в книжку... Ну, мы и начали... Все рассказали! И как нас в снег зарывали, и как на лед на ночь зимой «ставили», и как мучили, и какие нормы лесозаготовок давали... Ну, одним словом, все рассказали... заплакал Горький! Обещал про все пропечатать, а нас освободить!

Целые дни среди ребят только и было разговора, что про Горького. Восторженно горели детские глаза, дрожали детские голоса, в них слышались слезы умиления, надежды, благодарности!..

Прошло несколько времени. Пришли газеты. В «Известиях» напечатана огромная статья Максима Горького: «Соловки». В этой статье он дал восторженную оценку ГПУ и его детищу — «Соловецкому исправительно-трудовому концлагерю» — Соловкам. Газету прочли и воспитанники колонии. И когда я спросил их:

— Ну, как же вам понравилась статья Горького?

Они ответили:

— Тыфу, сволочь!.. «Скажи-ка, гадина, сколько тебе дадено?»

У них, у беспризорных, бесштанников и воришек, была все-таки какая-то своя «воровская» этика!

Не мы, интеллигенты, осудили Горького. Его осудили несчастные дети социальных подонков, дети из «Дна», «сии малые», которые сначала так доверчиво



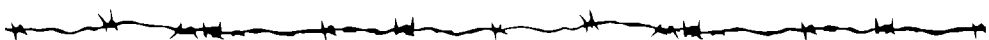
к нему потянулись, может быть, в первый раз в жизни поверили в возможность какого-то намека на социальную справедливость в стране Советов.

Их устами произнесен Горькому исторический приговор. Яркий пример и поучительный урок: до чего доводит человека духовное принятие большевизма.



НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
АНЦИФЕРОВ





Д. С. Московская
«Я НАШЕЛ В ЖИЗНИ ТО, ЧТО ИСКАЛ»¹

*Она посмотрела на меня и прошептала:
«Папочка, Бог с тобой!» —
«Что ты хочешь сказать, доченька?» —
Она подняла ручку и сказала:
«Ну Бог, что на небе, Он с тобой».
И эти слова врезались в мою душу,
и с ними в душе я прожил свою жизнь.
С ними вышел победителем из всех испытаний.
Н. П. Анциферов. Воспоминания
«Путь моей жизни» («1919 год»).*

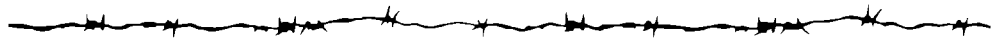
*Единственное зло, которое я действительно боюсь
и для себя, и для детей, и для тебя, для всех, кого люблю, —
это моральное зло. Все остальное пройдет —
одна правда останется.*

*Из письма Н. П. Анциферова С. А. Гарелиной.
30 января 1939 г. Хабаровский край, город Бикин.
Амурлаг. 17-е отделение. Колонна № 189.*

Николай Павлович Анциферов — историк литературы и общественной мысли, теоретик литературы, историк-медиевист, урбанист, краевед-экскурсионист, писатель-мемуарист. Наибольшую известность его имени принесли книги, посвященные духовной и материальной культуре Санкт-Петербурга: «Душа Петербурга», «Петербург Достоевского», «Быль и миф Петербурга». Запрещенные в конце 1920-х и в советское время не переиздававшиеся, они впервые были воспроизведены в 1991 г.² и с тех пор стали настольными для ученых-гуманитариев, учителей, краеведов, экскурсионистов и всех, кому дорога историческая память.

¹ Из письма Н. П. Анциферова С. А. Гарелиной от 1 сентября 1939 г. Амурлаг // ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 143.

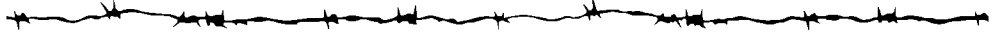
² Анциферов Н. П. Душа Петербурга. Быль и миф Петербурга. Петербург Достоевского. Репр. воспр. изд. 1922, 1923, 1924 гг. М.: Книга, 1991.



Посвятивший себя изучению и сохранению городской культуры Анциферов не был по рождению горожанином: родиной его детства был дивный сад в украинских степях. Здесь, в бывшей усадьбе князя Феликса Потоцкого Софиевке в семье инспектора Уманского сельскохозяйственного училища Павла Григорьевича Анциферова он был произведен на свет. Так вышло, что долгие годы жизнь Николая Павловича была связана с парками и дворянскими усадьбами. Софиевку сменил Никитский ботанический сад на Южном берегу Крыма, куда директором был назначен Павел Григорьевич. Оттуда, после смерти отца, семья переехала в Польшу, в имение Чарторижского (Ново-Александрию), где располагался Сельскохозяйственный институт: здесь возглавлял кафедру двоюродный брат Павла Григорьевича Николай Михайлович Сибирцев, выдающийся ученый-естествоиспытатель, вместе с В. В. Докучаевым создавший новую фундаментальную дисциплину — почвоведение. Затем, после переезда в Киев, местом детских игр и учения мальчика оказался Ботанический сад: здесь директoрствовал отец его друзей С. Г. Навашин. В Москве центром притяжения стали дом и парк бывшего имения графа Разумовского (Петровское-Разумовское), где поселились друзья детства, сыновья А. Ф. Фортунатова. И все же главными в жизни Анциферова были парки Петербурга и его дворцов-пригородов: Петергофский, Павловский и «прекрасный Царскосельский сад», с которым он хотел бы не расставаться до конца дней.

Дворцы-пригороды Петербурга особенно тесно переплелись с его судьбой. Царское Село стало колыбелью его молодой семьи. В царскосельском Лицейском саду в храме иконы Божией Матери «Знамение» в 1914 г. состоялось венчание Николая Павловича и Татьяны Николаевны Оберучевой. В царских садах Северной Пальмиры в 1920-х гг. Анциферов вел экскурсионную деятельность, на их защиту он поднялся, войдя в общество «Старый Петербург» и став членом Центрального бюро краеведения. Им посвятил лекционные курсы в Петроградском Экскурсионном институте и Институте истории искусств. Здесь были заложены теоретические основы его конкретно-исторического «локального» метода изучения памятников культуры. Тут создавалась его «петербургская трилогия», посвященная городу святого Петра...

Земля Петербурга, дав Анциферову верных друзей, семью, учителя, заменившего ему отца, — историка-медиевиста Ивана Михайловича Гревса, спустя недолгий срок отняла часть своих даров. В Гражданскую войну умерли от дизентерии четырехлетняя Таточка и годовалый Павлянька, и Смоленское кладбище Петербурга, где они были похоронены, стало для Анциферова местом паломничества. В Царском Селе, на краткий миг, он, обвиненный по делу А. А. Мейера,



перед этапированием на Соловки в последний раз увидел свою умирающую от чахотки жену. Ранней осенью 1929 г. в Феодоровском соборе ее отпели — он же отбывал срок в Кемь. Весной 1941 г. в Детском Селе он читал начальные главы своих мемуаров любимому padre, не подозревая, что видел Ивана Михайловича в последний раз. В 1942 г. из Детского Села была угнана в Германию дочь-подросток Татьяна, и в Ленинграде во время блокады умер от болезней и голода сын Сергей. Сюда последней военной весной приехал Анциферов из Москвы, чтобы увидеть пепелище на месте родины своей молодости. Так дивные парки и дворцы, эти земные прообразы гармонии и красоты небесной, отверженные революцией и обреченные ею на уничтожение, стали символическими ландшафтами судьбы Анциферова.

Научно-практическая деятельность Николая Павловича трижды прерывалась арестами и ссылками. В 1924 г. по обвинению в недоносительстве он был осужден на три года к вольной ссылке в Омске. Приговор спустя два месяца был отменен. В 1929 г. он был арестован по делу философско-религиозного кружка «Воскресенье», в 1930 г. дополнительно привлечен по делу «вредительства на историческом фронте» (т.н. «дело Академии наук»). Отбывал ссылку в Соловецком лагере особого назначения, затем в Белбалтлаге на Медвежьей горе. В 1933 г., досрочно освобожденный, он избрал для жительства Москву. Начатое после второго ареста сотрудничество Анциферова с Государственным литературным музеем, где в марте 1937 г. он приступил к работе в качестве старшего научного сотрудника экспозиционного отдела, оборвалось новым арестом по ложному обвинению. В декабре 1937 г. Анциферов по этапу прибыл в Амурлаг. После отмены приговора в 1939 г. он вернулся в Москву и продолжил работу в ГЛМ сначала руководителем отдела литературы XIX в., затем, после тяжелого инсульта, консультантом. В годы Великой Отечественной войны он не покидал Москвы. В 1943 г. был принят в члены Союза советских писателей; в сентябре 1944 г. в Институте мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук «Проблемы урбанизма в русской художественной литературе. (Опыт построения образа города — Петербурга Достоевского — на основе анализа литературных традиций)»³.

Житель арбатских переулков, где в коммунальной квартире № 1 дома 41 по Большому Афанасьевскому прожил 23 года своей московской жизни, он любил Москву сыновней благодарной любовью. Здесь он нашел верного спутника жизни Софью Александровну Гарелину, был окружен любящими друзьями —

³ Анциферов Н. П. Проблемы урбанизма в русской художественной литературе. Опыт построения образа города — Петербурга Достоевского — на основе анализа литературных традиций. М.: ИМЛИ РАН, 2009.

семьями Лосевых, Чуковских, Толстых. В довоенные годы сюда приезжала дочь Татьяна, после войны — сын погибшего в блокаду Сергея маленький Миша Андиферов. Так мечта после окончания Первой Киевской гимназии избрать для жительства милую сердцу странноприимную Москву, где «все дышало родной стариной, где Кремль, Художественный театр, Третьяковская галерея»⁴, исполнилась, утешив и утолив боль израненного сердца.

Николая Павловича не стало 2 сентября 1958 г. Он был отпет в старинном московском храме Ильи Обыденного на Остоженке, похоронен на Ваганьковском кладбище и связан с московской землей уже навсегда.

Николай Павлович Андиферов позаботился о том, чтобы история его жизни стала достоянием потомков. В последние годы, чувствуя приближение скорого конца и торопясь завершить работу над мемуарами, он дал распоряжение о передаче своего домашнего архива в Ленинград, в отдел рукописей Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина⁵, где в те годы служила его ученица по Тенишевскому училищу и близкий друг Ольга Борисовна Враская. Столь же заботлив он был и в отношении переписки. Согласно его воле, сохранению подлежали не только им написанные письма. Столь же трепетно относился Андиферов и к сохранению писем своих адресантов⁶. Так, например, в письме 1938 г. к жене Софье Александровне Гарелиной из места своей последней ссылки он беспокоится: «Перечел с глубоким волнением твои остальные письма... Неужели все эти прекрасные человеческие документы пропадут и им не суждено лечь рядом с моими письмами в твоей шкатулке? У меня к тебе просьба, если можешь, оставляя у себя копии тех твоих писем, которые ты найдешь значительными»⁷. Когда стало ясно, что у хлопотавшей о его освобождении и собиравшей ему посылки жены нет на это ни сил, ни времени, Андиферов сам начал делать копии писем Софьи Александровны: «Я хочу копии нескольких твоих писем переслать тебе. Я хочу, чтобы они лежали с моими письмами и сохранились. Я так опасаюсь за сохранность твоих писем»⁸.

⁴ Андиферов Н. П. Из дум о былом: Воспоминания / сост., вступ. ст., прим. А. И. Добкина. М.: Феникс: Культурная инициатива, 1992. С. 134.

⁵ Завещание ученого было выполнено. В 1986 году процесс передачи семейного архива в ОР РНБ завершился: в ОР РНБ, фонд № 27 «Н. П. Андиферов», поступили автографы воспоминаний. Среди материалов фонда находятся также уцелевшие дневники и дневниковые записи Н. П. Андиферова и его первой жены Татьяны Николаевны Оберучевой 1910–1920-х гг.

⁶ На это обстоятельство впервые обратила внимание Э. Джонсон. См. подробнее: Эмили Д. Джонсон. Значение лагерной переписки Н. П. Андиферова для изучения его биографии и творческого наследия // Н. П. Андиферов. Филология прошлого и будущего // Первые московские Андиферовские чтения : сб. материалов междунар. науч. конф. М.: ИМЛИ РАН, 2012. С. 85–86.

⁷ Письмо Н. П. Андиферова С. А. Гарелиной от 27–28 октября 1938 г. // ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 141. Л. 23.

⁸ Письмо Н. П. Андиферова С. А. Гарелиной от 16 ноября 1939 г. // Там же. Ед. хр. 143. Л. 118 об.

Неустанная забота Анциферова о собирании и сохранении памяти не была напрасной. Когда на волне перестройки вспыхнул интерес к забытым и замолченным именам советского прошлого и наступило время вспомнить об авторе «Души Петербурга», то все нужное оказалось «под рукой» — в ОР РНБ и в семейном архиве наследника авторских прав Н. П. Анциферова, его внука-москвича Михаила Сергеевича Анциферова. Собранные воедино и отредактированные главы воспоминаний, получившие название «Из дум о былом», составили том мемуаров, публикация которого стала событием в культурной жизни России. Из авторского повествования, снабженного аннотированным указателем и научными комментариями, тщательно подготовленными А. И. Добкиным по архивным источникам, читатель впервые узнал о судьбе многих представителей народнической интеллигенции: ученых — историках, краеведах, филологах, сознательно ступивших в железный самотек отечественной революционной истории. И не только это. Воспоминания давали возможность осознать значительность их жизненного подвига, заключающегося не столько в терпении многочисленных и на первый взгляд несправедливых бедствий, сколько в глубоком осознании духовного смысла и назначения страдания.

В этом понимании заключается основная причина борьбы Анциферова за сохранение памяти и всех ее материальных носителей — дневников, мемуаров, переписки. Здесь же истоки его профессионального выбора: в грозном 1919 г. он отвергает возможность продолжения научных занятий медиевистикой в стенах Петербургского университета и посвящает себя краеведению, которое теснее связывало его с больной, измученной Родиной. Анциферову в его страданиях, которые он нес осознанно и «бережно», было суждено стать тайновидцем «внутренней действительности» истории. В не опубликованном при жизни эссе «Историческая наука как одна из форм борьбы за вечность», датированном 1918—1942 гг., мы встретим знаменательное рассуждение: «Наблюдая свершающуюся судьбу <...> души человечества в целом, мы замечаем ее глубоко трагичный характер. Это дает нам право рассматривать историю как трагедию, в которой постоянно извращается воплощаемая идея, <...> превращающаяся <...> в свою противоположность. Катарсис <...> в этой трагедии достигается путем искупительных страданий целых народов. Чая глубокий смысл этой трагедии, недоступной нашему евклидову уму, мы прозреваем в ней действие еще не узнанной силы. История-трагедия — превращается в историю-мистирию»⁹.

⁹ Анциферов Н. П. Историческая наука как одна из форм борьбы за вечность (Фрагменты) (1918—1942) / Публ. и подг. текста А. Свешникова, Б. Степанова // Исследования по истории русской мысли : Ежегодник, 2003. М.: Модест Колеров, 2004. С. 148—149.

Невыдуманная история о душе, блуждавшей в поисках Истины, ушедшей от Нее в «страну далече» и в очистительных страданиях вспоминающей Ее, — вот что в первую очередь было предметом анциферовского трепетного хранения-сбережения, архивации и передачи потомкам. Прошлое виделось ему в ликах и красках Фра Анжелико и Нестерова. Но думы о настоящем обращали его к образам, созданным живописцем «той картины, которая висит в нашей комнате между книжными полками», — свидетельствовал он в письме из Амурлага С. А. Гарелиной¹⁰. Сохранившаяся фотография арбатского приюта Анциферова позволяет установить имя живописца и название картины: «Возвращение блудного сына» Рембрандта.

Не раз, осмысляя судьбу своего поколения, поколения наследников декабризма (определение Анциферова), он возвращался к евангельской притче о блудном сыне. Чая рождение второго поколения своих детей, в день Похвалы Пресвятой Богородицы 8 января 1921 г. он писал, обращаясь к не рожденному и его матери: «Я бесконечно отяжелел от всей жизни, и Вы помните это и не думайте <нрзб> о лени, о всем слабом, грешном и ничтожном во мне. Но во мне есть, правда, одна сотая того, что бы надо передать кому-то, вот эта лучшая моя часть могла бы выразиться в пожелании Вашему ребенку, человеку близкого будущего. Это пожелание такое: пусть, если только это будет возможно, он будет человеком мира, а не войны, пусть он будет спокойно и медленно созидать истребленное семью годами ужаса. Если же это невозможно, если кровь еще будет в нем кипеть и бунтовать, и разрушать, как во всех нас, грешных, — то пусть уж его терзает всегда и неотступно прежде всего совесть, пусть она хотя бы обезвреживает его ядовитые, страшные порывы, которыми богата современность наша и, может быть, богато ближайшее будущее. <...> Жалейте и лелейте своего будущего ребенка, если он будет хороший, какой он будет мученик, он будет расплачиваться за все, что мы наделали, за каждую минуту наших дней»¹¹.

И вновь, стоя уже на пороге вечности, он завещал духовно-нравственный опыт своей жизни новому поколению — племени младому, незнакомому:

«Посвящаю

Внуку моему Михаилу

(сыну моего сына, погибшего в дни блокады Ленинграда в 1942 г.) <нрзб> и моей внучке Наталии — дочери моей дочери.

Автор Н. Анциферов

12/I -1958»¹²

¹⁰ Письмо Н. П. Анциферова С. А. Гарелиной от 23 ноября 1938 // ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 119.

¹¹ ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 30. Л. 1.

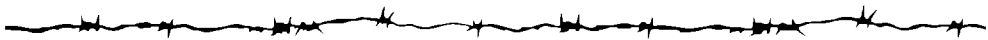
¹² ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 59. Л. 2.

Сегодня, когда архив Анциферова в ОР РНБ описан, когда во многом изучена отложившаяся в различных архивах Москвы и Санкт-Петербурга и в семейном архиве Татьяны Николаевны Камендровской (урожд. Анциферовой) переписка, мы можем с большой степенью достоверности реконструировать авторскую версию композиции мемуарного комплекса. Дело в том, что авторитетного источника полного текста воспоминаний не существует. Анциферов начал работу над воспоминаниями во второй половине 1939 г., заключительная глава была написана в 1957 г. Таким образом, работа велась с перерывами на войну и тяжкими приступами хронической болезни сосудов (обострение стенокардии, инсульты), когда Анциферов бывал на грани смерти, почти двадцать лет. Автографы и сделанные с них в разное время машинописи передавались друзьям. Из переписки следует, что последние, получив фрагменты мемуаров для дальнейшей перепечатки или переплета, не всегда знали последовательность и названия глав. Собранные таким образом в 1956–1957 гг. папки и переплетенные машинописи обнаруживают разноречивую последовательность, нумерацию и названия разделов.

Основным источником для установления авторской воли является план воспоминаний — автограф, сохранившийся в фонде Анциферова в ОР РНБ. Из него следует, что в мемуарный комплекс должны были входить семь частей. Последняя, посвященная «советскому периоду» жизни Анциферова, носила название «Рассеялся туман» (в опубликованной версии «Из дум о былом» эта часть ошибочно озаглавлена «Туман рассеялся»), отсылающее к строкам стихотворения Вл. Соловьева, которое Анциферов прочитывал как символическое иносказание о собственной судьбе и жизненном выборе:

*В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны — и, схваченная снами,
Душа молилася неведомым богам.*

*В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горный путь и как еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне.*



*И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами,
Весь пламенеющий победными огнями,
Меня дождется мой заветный храм.*

Как правило, Анциферов не датировал рукописи, однако оставлял внутритекстовые привязки, позволяющие с большой точностью установить время написания той или иной главы. Датировка пяти «советских» глав по указаниям в тексте ограничивается 1956 г. Но по изменению почерка и свидетельствам переписки возможно уточнение: воспоминания о событиях 1929–1933 гг. были написаны незадолго до случившегося у Анциферова в последних числах 1956 г. инсульта. На 1957 г. выпадает время работы над автографом заключительной главы «1937 год»; ее написанию предшествовала (или сопровождала?) приведенная выше запись от 12 января 1957 г. с посвящением труда внукам Михаилу и Наталии.

Публикуемый с разрешения наследника авторских прав М. С. Анциферова текст входит в состав последней части мемуаров «Рассеялся туман» и представляет собой третий раздел этой хроники страданий. Открывалась она рассказом о Гражданской войне и гибели детей («1919 год»), затем следовало описание деятельности религиозно-философского кружка А. А. Мейера («Воскресенье»), связь с которым навлекла на Анциферова арест в ночь с 22 на 23 апреля 1929 г. и ссылку на Соловки («СЛОН»).

Цитируемый ниже фрагмент переписки¹³ дает представление о трагическом фоне соловецкой ссылки писателя. Участники переписки — искусствовед Сергей Николаевич Тройницкий, Екатерина Павловна Пешкова, Сергей Порфирьевич Швецов и мать Анциферова Екатерина Максимовна.

«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна.

Позволяю себе обратиться к Вам с просьбой помочь, насколько это возможно, в деле Николая Павловича Анциферова, арестованного 22 сего апреля. Я позволил себе беспокоить Вас по этому делу ввиду совсем особых обстоятельств, заставляющих просить о скорейшем разборе этого дела. Жена Анциферова находится в последней стадии туберкулеза, и, по отзывам врачей, ее пользующих, вопрос может идти о неделях, а не о месяцах. Положение ее настолько тяжело, что ее выписали из той санатории, где она лечилась, как совершенно безнадежную. При этом у них двое детей 8 и 5 лет, тоже страдающие детским туберкулезом

¹³ Цит. по: Ходатайства за политических заключенных (политических и общественных деятелей, представителей творческой и научной интеллигенции, а также частных лиц) // Заклейменные властью. Услышь их голоса : по документам фондов Государственного Архива Российской Федерации: «Московский Политический Красный Крест» (1918–1922)» // URL: http://pkk.memo.ru/letters_pdf/000567.pdf

в тяжелой форме. Н. П. Анциферов является автором печатных трудов, в том числе “Душа Петербурга”, “Петербург Достоевского”, “Хрестоматия города” и др. С начала революции Н. П. Анциферов работает в Политпросвете, где, насколько мне известно, пользуется репутацией прекрасного и лояльного работника, и ряд ответственных работников Политпросвета, где он состоит и в методической комиссии, готов дать для него самые подробные отзывы. Кроме того, т. Анциферов работает в бюро краеведения. Надеюсь, что и Алексей Максимович, которому я прошу передать мой сердечный привет, заинтересуется судьбой т. Анциферова, как писателя, и не откажет в своей помощи. <...>.

С. Тройницкий.

Ленинград, 1 июня 1929».

12 июня 1929 г. к Е. П. Пешковой обратился за помощью С. П. Швецов.

«Дорогая Екатерина Павловна,

пишу Вам по очень грустному и тяжелому поводу. Есть в Лен<ингра>де такой злополучный гражданин — Николай Павлович Анциферов, человек очень почтенный и прекрасный, но какой-то злополучный. Я его лично не знаю, но его многие здесь знают, и все отзываются о нем с лучшей стороны. Это и побуждает меня писать Вам в данную минуту. Раз он влетел года три-четыре назад по делу Серебрякова и был выслан в Сибирь. Ни к Сер<ебряко>ву, ни по его делу он не имел никакого отношения, которое бы заслуживало бы тюрьмы, ссылки и т<ому> п<одобное>. Все это для него напоминает положение в чужом пиру похмелье. Тогда о нем, если помните, много хлопотали и Вы, и в Лен<ингра>де, и в конце концов удалось доказать непричастность его к делу, по которому он был привлечен, и его возвратили оттуда, из Новосибирска. Не лучше, а м<ожет> б<ыть> и хуже обстоит его “дело” и сейчас: весной он был арестован по какому-то делу религиозно-философского характера. В чем состоит самое дело и как формулируется по нему обвинение Анц<иферо>ва — я не знаю, но знающие его утверждают, что в основе обвинения лежит какое-то недоразумение, т<ак> к<ак> только при наличии последнего можно хоть что-нибудь понять, без этого получается сумбур, а он, во всяком разе, человек умный прежде всего. Здесь производством дело закончено и направлено в Москву на утверждение: ему проектируется 6 лет ссылки в Сибирь. Он семейный человек, и положение его семьи катастрофическое. Семья, состоящая из умирающей от туберкулеза жены, древней старушки матери и двоих детей — 3 и 7 лет¹⁴, существовала исключительно на его заработок; никаких иных источников существования у них нет. Теперь этот источник прекратился, и семье остается неминуемая гибель.

¹⁴ Речь идет о втором поколении детей Анциферова: Татьяне — 1924 г., и Сергее — 1921 г.

Мне кажется, что теперь самое время Вам, дорогая Екатерина Павловна, вмешаться в эту историю и разъяснить, что тут опять роковая ошибка. <...>

С душевным приветом

С. Швецов».

В июне 1929 г. с ходатайством за сына обратилась Екатерина Максимовна Анциферова.

«Многоуважаемая Екатерина Павловна!

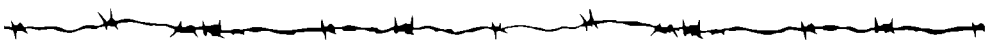
Обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой: не откажите походатайствовать за моего сына Николая Павловича Анциферова, служащего в Ленинграде, в Центральном Бюро Краеведения и в Политпросвете, на экскурсионной Базе. Кроме того, он занимается литературным трудом; напечатаны, например, его книги: “Душа Петербурга”, “Каменный век”, “Книга о городе” и другие. Его арестовали 26 апреля 1929 года; дело уже в Москве, и в ближайшие дни ему, кажется, грозит высылка. Политикой он не занимался. Жена его больна туберкулезом в третьей стадии (об этом представлено свидетельство здешнему прокурору) и не встает с кровати; кроме нее его семью составляют: двое маленьких детей 8-ми и 5-ти лет и я, его мать, 86 лет¹⁵, больная грудной жабой и почти без ног. Сын мой был единственный работник на всю семью. Если его не вернут нам, мы будем выброшены на улицу, т<ак> к<ак> средств у нас нет никаких. Умоляю Вас, не откажите попросить о помиловании его или хотя бы о смягчении участи.

18 июня 1929 г<ода>.

Екатерина Анциферова».

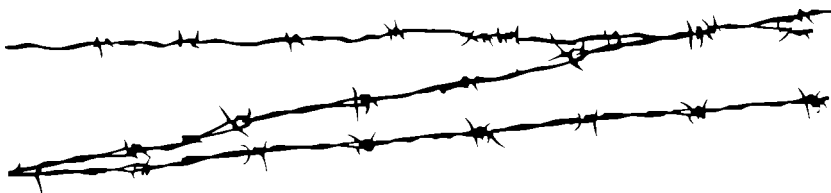
В июле 1929 г. Анциферов был приговорен к трем годам исправительно-трудовых лагерей и в начале августа отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения (Кемь). Спустя два месяца, 21 сентября 1929 г. скончалась Татьяна Николаевна. Летом 1930 г. Анциферов был привлечен к следствию по групповому «делу Академии наук», 23 августа 1931 г. приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей и отправлен в Белбалтлаг (на станцию Медвежья Гора). Екатерина Максимовна не дождалась возвращения сына. Ее не стало в марте 1933 г.

¹⁵ Возможно, описка или сознательное завышение возраста: Екатерина Максимовна Анциферова (урожд. Петрова) родилась в 1858 г. // СПФ АРАН. Разряд IV [1922 г.] Оп.9. Ед. хр.1. Л. 353.



СЛОН

(Соловецкие лагеря особого назначения)¹



*В белом море
Красный слон...
(Из песни заключенных)*

Всех нас заперли в столыпинский вагон. В купе высоко — маленькое окно. Купе отделено от коридора тяжелой решеткой. Несколько друзей издали наблюдали посадку. К нашему удивлению и радости, мы все вместе. Поезд тронулся. Прощай, Петербург.

*Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия.*

Мы молчали. Первым заговорил Александр Александрович Мейер: «Кончилась жизнь. Теперь начинается житие». Ехали, кажется, двое суток. Привезли нас утром, туманным, холодным. Попов остров. Нас высадили. Мы оглянулись. Голые плоские скалы-камни. Алексей Петрович Смирнов мрачно сказал:

*Пустынный и мрачный гранит.
На острове том есть могила,
И в ней император зарыт.*

Это были вещие слова. Через несколько месяцев Алексей Петрович и был зарыт, освобожденный сыпным тифом. Его опередил Павел Дмитриевич Васильев.

¹ Публикуется с разрешения наследников Н.П. Анциферова по машинописи из семейного архива М.С. Анциферова. В спорных и неясных случаях учитывались данные автографа (ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 61. Л. 28–38 об).

Часть вещей нагрузили в телегу, часть мы несли сами. Путь показался долгим. Идти не хотелось. И куда идти! В конце острова мачта. Нас встретил короткий субъект, напомнивший антисемитскую карикатуру из черносотенного журнала. Мелко курчавый, рыжий, с оттопыренными ушами, вывороченными губами, над которыми нависал мясистый нос. Это был Абраша Шрейдер. В руках его список этапа и палка-«дрын». Он начал командовать. «По вызову брать вещи и бежать к мачте. Живо!» Первый заключенный со своим мешком поплелся к мачте. Абраша наскочил на него с матерной бранью и ударил дрыном. У последующих прибавилось прыти. Я едва плелся. Но охота пускать в дело дрын скоро прошла. Вслед за переключкой нас отвели на ровное место, и Шрейдер произнес «приветственное слово». Речь его начиналась потоком изощренной матерщины. Был упомянут рот, печень, пупок, горло, сердце. Кто-то из «урок»² улыбнулся. Как коршун, налетел на него Абраша и начал избивать своим скипетром, как Одиссей Терсита.

После паузы он закричал во всю силу своей жидкой глотки: «Вы думаете — это тюрьма, где у вас там разные фигли-мигли?» Эффектная пауза, и вслед: «Это не тюрьма. Это, — еще тоном выше, — концлагерь!» Абрашу сменил верзила со скобелевской бородой, «гроза урок» Курилко — унтер царской армии. Он построил нас в шеренгу и зычно закричал: «По порядку номеров рассчитайся!» И посыпалось: первый, второй и т.д. В этапе было человек сорок.

Последовало приветствие:

«Здравствуй, 8-я рота. Отвечайте коротко: „Здра!“»

Мы крикнули: «Здра!».

«Не слышу, мать вашу! Чтобы в Соловках было слышно!» — И мы кричали «здра» до хрипоты. Вслед за этим мы не легли, а упали на наши вещи, брошенные на камни. Начался опрос нового этапа. Посадили и меня: анкеты. Фамилия, имя, отчество, статья, срок, специальность. Среди вновь прибывших был красивый рослый парень — летчик по фамилии Круг; он имел 58-ю ст. пункт 6-й — шпионаж. Мне было жаль молодого человека, в особенности, когда я узнал, что он партийный, и я сказал: «Вам как партийному особенно тяжело получить такой пункт». Он иронически усмехнулся. Вскоре я узнал, что десятилетников отправляют на Соловки. Но Круга почему-то не отправили. Пишу об этом, так как встреча имела для меня тяжелые последствия.

В конце концов нас покормили «баландой» (тюремный суп) и оставили в покое спать на камнях. Хоть было еще только начало августа (10-е), но было холодно, дул студеный ветер. Мне долго не спалось. Вот она, «cita dolente», но

² Урки — воры; от уг. роз. — Примеч. автора.

неужели будут и «eterno dolore» для нас, «perduta gente»³. И все же я уснул. Но спать пришлось недолго: я был разбужен какими-то голосами. Вызывали опять фамилии; я не сразу понял, в чем дело. Оказывается, по наряду собирали из числа вновь прибывших команду идти таскать из воды балансы (бревна). Вдруг раздался крик ужаса: «Убий, товарищ дорогой, убий!» И в ответ: «Ты, мать твою, саморуб». Какого-то несчастного нарядчик Архангельский топтал ногами: тот распорол себе живот, чтобы освободиться от принудительных работ. Такие и назывались саморубами.

Так заканчивался наш первый день в СЛОНе.

На другой день были мои именины.

Меня послали работать в библиотеку.

Моя одноделица Маргарита Константиновна Гринберг угостила меня чашкой какао. Как это ей удалось. Понять не могу и объяснить не могу. Но это не сон. Я твердо помню.

Вечером вызвали и меня на работу. Наша группа прошла через весь Попов остров и подошла к железнодорожной линии к составу товарного поезда. Нужно было подходить к вагону и принимать куль с зерном. Меня нагрузили, но я не вынес веса и упал. На меня набросились с криком: «Отказчик! Филон!» Хотели бить. Но подошел бригадир, посмотрел на меня внимательно и сказал: «Нет, не филон!» — и перевел на другую работу.

А я думал: «Ну, вот как удачно. Значит, прожил ровно сорок лет».

Меня посадили зашивать большой кривой иглой уже нагруженные зерном мешки. Но и этому нехитрому делу пришлось учиться. Не разгибая спины, я шил, а на небе всю ночь тлела заря. Мне было тяжело. И от усталости, и от зависти грузчиков, т.к. моя работа считалась блатной.

Вскоре я был переброшен в Кемь. Провожавшие меня поздравляли с удачей: Кемь — столица СЛОНа. На главной улице, против церкви, двухэтажное серое здание — управление. Первоначально меня поместили в барак у реки Кемь (но это уже не река, а залив, фьорд). Вечером, ложась спать, я отдал свою пайку хлеба помору с широкой темно-русой бородой и ясными, спокойно-живыми глазами. Утром меня что-то разбудило, какое-то щекотанье лица: это помор склонился надо мной и что-то шепчет: «Спасибо тебе, голубчик, за хлебушко, меня берут на этап. Не забуду тебя. Когда у меня будет семужка, пришло. Запомни». Семужки я не получил, но не по вине помора. Он не знал, что весь его улов будет принадлежать СЛОНу.

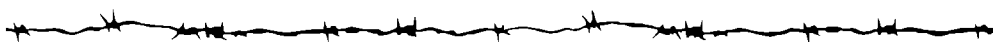
³ «Отверженные селенья», «вековечный стон», «погибшие поколения» (итал.) — цитаты из Песни третьей «Ада» «Божественной комедии» Данте в переводе М. Лозинского. — *Примеч. ред.*

Едва я поел баланды, напился чаю, как меня повели в управление, в кабинет нач. эк. о. (экономического отдела) Мисюревича. Гордый, красивый поляк, ознакомившись с анкетой, сказал мне: «Будете секретарем Дорстройотдела». — «Справлюсь ли?» — Он холодно улыбнулся: «Вы же с высшим образованием?» Увы, я не имел никакого представления, что значит «секретарь отдела». Я полагал, что секретарь — это лицо, ведающее протоколами, и боялся, что не сумею толково записывать заседания, посвященные строительству, и речи инженеров. Дорстройотдел возглавлял тогда Балмашов (его прозвали Балдашов из Вздорстройотдела). На меня было возложено все, что угодно, кроме ведения протоколов: 1) Регистрация входящих бумаг и исходящих бумаг; 2) Писание служебных записок и телефонограмм; 3) Хранение всех деловых бумаг и быструю выдачу их начальнику; 4) Хранение всех чертежей; 5) Хранение всех чертежных инструментов; 6) Получение и выдача продовольственных карточек и т.д. Я барахтался в этих делах, как щенок, брошенный в воду. Насколько я был невежествен, можно судить по тому, что я полагал: бухгалтер — это лицо, ведающее книгами входящих и исходящих.

Писать деловые бумаги я не мог, и мой начальник выходил из себя от моей безграмотности. «Ну как же можно писать “согласно Вашему распоряжению”! Надо же, черт возьми, согласно Вашего, Вашего, запомните, Вашего распоряжения». Однажды произошел скандал из-за моей беспомощности. Я послал бумагу в отдел лесозаготовок: «Предлагаю вам сообщить в Дорстройотдел» и т.д. От начальства отдела лесозаготовок последовал протест. Я ничего не понимал. «Зарубите у себя на носу, — сказал Балмашов. — Предлагать можно только подчиненным. Я могу предложить моему помощнику Тележинскому (начальнику подотдела дорожного строительства) сделать то-то и то-то. Но не начальникам самостоятельных отделов». Много нужно было иметь терпения Балмашову с таким секретарем!

Основная трудность работы заключалась в том, что держать все дело в порядке было невозможно. С одного дела непрерывно перебрасывали на другое, сосредоточить внимание не смог бы и менее рассеянный работник, чем я. Только и слышно было: «Пожар в библиотеке!»

Я очень страдал. В особенности донимал меня инженер Тележинский. Он всегда задерживался на работе. Написать какое-либо требование он полагал ниже своего достоинства. И вот в час или два ночи он начинал мне диктовать, медленно, нудным голосом, вяло шагая по комнате и все время переделывая продиктованное. Сотрудники отдела называли это «тележинить». В этой обстановке трудно было сблизиться с товарищами по несчастью. Все походило на заведенные волчки: вертелись и жужжали.



СЛОН — своего рода государство в государстве. У него были свои денежные знаки, на которые мы должны были обменивать деньги. Свой герб (неофициальный) — белый слон на красном фоне, и свой гимн, сочиненный заключенными. Запомнилось несколько строк: «Чуден вид от Секирной горы, / Хороши по весне комары. / И от разных ударных работ / Эдоровеет веселый народ». И припев:

*Тех, кто наградил нас Соловками,
Просим, приезжайте сюда сами.
Проживете здесь годочка три-четыре-пять,
Будете с восторгом вспоминать!
(Мотив бравурный)*

Был и свой орган, журнал «Соловецкие острова» с силуэтом чайки на фоне белой обложки. Журнал был беспартийный. В нем заключенные отражали тоску по воле, по дому, по близким. Писали элегии и романтические легенды на темы средних веков, сказки... Много чудес было в концлагере в конце 20-х годов!

Одним из этих чудес был ресторан вблизи управления. В нем бывали приезжавшие в Кемь из-за границы. Играл хороший оркестр из заключенных. В 1929 г. им управлял наш однодедец музыкант Дружкин.

Но самое удивительное, что этот ресторан могли (нелегально) посещать и заключенные. Я не помню ни одного случая, чтобы кто-нибудь был наказан за такую смелость. Официанты (тоже заключенные) подавали заключенным боржом или нарзан, но в этих невинных бутылках содержалась водка. Я даже мог заказывать Дружкину мои любимые вещи, например, покурри из «Пиковой дамы». Вспоминаю главы из «Былого и дум» о дворовых крепостных, посещавших трактир: «Пить чай в трактире имеет [особое] значение⁴ для [заключенных]. Дома [в бараке] ему чай не в чай; [в бараке] ему все напоминает, что он заключенный; дома у него грязная людская, он должен сам поставить самовар; дома у него чашка с отбитой ручкой (и всякую минуту барин может позвонить). В трактире он вольный человек» (VIII, 32).

Большим преимуществом той лагерной эпохи была легкость получения права жить на частной квартире. Дружья присылали мне и посылки и деньги, и я был рад воспользоваться этим правом. Я поселился вблизи Дорстроя в комнате с нашим бухгалтером Ефремовым Алексеем Павловичем и Николаем Ивановичем Дицманом (бывший городской голова какого-то кавказского горо-

⁴ Далее в квадратных скобках Анциферов вписал уточнения, привязывающие герценовскую цитату к описываемым событиям. — Примеч. Д. С. Московской.

да). Бухгалтер, упитанный, как Чичиков, бонвиван, вместе с тем был дельный работник. Ефремов осужден был по обвинению очень странному. Этот житель Минска обвинялся как агент Джан Кейши. Дицман частенько спрашивал его: «Алеша, не пойму, за что ты себя так любишь?» Его день начинался особой, как выражался Дицман, «молитвой»: «Без женщин жить нельзя на свете! Нет!» — и кончался: «Про жизнь пустынную как сладко ни пиши, а в одиночестве способен жить не всякий». По вечерам к нему приходили гости, и компания до поздней ночи играла в преферанс, не опасаясь возвращаться по главной улице в запретное время. От их разговоров о женщинах меня тошнило. Этих людей уже нельзя называть донжуанами. Это не служители Эроса и Приапа. Все соловецкие женщины, по их убеждению, б... Они не говорили «женщина отдается», а — «она дает». В женском теле их интересовали только три точки. Поцелуи были исключены из их любовной практики. Даже слово «любовник» исчезло из их словаря и заменено очень гнусным словом под стать всему остальному. Они в качестве административно-технического персонала требовали присылки к ним поломоек, но не для мытья полов. У них была охота за женами, приезжающими на свидание, и они хвастали своими молниеносными победами.

Но мимо! Мимо! *Ma guarda e passa*. (Данте, «Ад»).

Очень волновала меня судьба моих однодельц. И не напрасно. Вскоре я понял, что женщина, заключенная в лагерь, отнятая от своих близких, попавшая в меняющуюся толпу, чувствует себя лишенной точек опоры, она гнется и хочет плющом обвиться о какое-либо дерево. Так, обаятельная, сильная, умная Вера Герман вскоре вышла замуж, и прочно, за заключенного Фурсея, который всем нам казался недостойн ее. Другая, Лишкина, увлеклась тем юношей Крутом, которого я пожалел, когда составлял его анкету. Третья беззаветно увлеклась инженером Дорстроя Малиновским.

Романы строго преследовались. Помню, как Балмашов⁵ диктовал мне служебную записку с целью разлучить влюбленных, перевести его в другой лагерь, подальше от нее.

В лагере вспыхнула эпидемия сыпняка. Многие из сослуживцев сделались его жертвой. Эпидемия коснулась и однодельцев. В Кемь перебросили нашего Павла Дмитриевича. Он ночевал в том бараке, где я провел первую ночь. Ему нездоровилось. Своему переводу он был очень рад, но радость длилась недолго. Болел всего три дня. Его смерть, смерть этого прекрасного русского человека, глубоко опечалила меня. словно в утешение мне, в Кемь прибыл мой друг А. П. Смирнов, товарищ по семинару И. М. Гревса, участник нашей экскур-

⁵ В автографе — Балашов. — Примеч. Д. С. Московской.

сии в Италию... Сколько воспоминаний! Вместе с ним мы ездили этапом в 1925 году в Ново-Николаевск. Вместе с ним мы были освобождены по пересмотру дела. Вместе путешествовали в 1922 году по северной Фиваиде. Вместе были в Херсонесе на съезде археологов в дни землетрясения. Сблизились и наши семьи. Я крестил его первенца, он крестил моего первенца. Последний день безоблачного счастья нашей жизни — 27/VI ст. ст. 1919 г. Алексей Петрович с женой были у нас, и мы сидели в беседке в нашем садике. Утром следующего дня началась смертельная болезнь Павлика. Вскоре умер и первенец Алексея Петровича. Смерть! Смерть! Смерть!

Вечер приезда Смирнова мы провели у Бахтина, который жил в рыбацкой слободе за мостом над рекой Кемью. Бахтин читал гимны смерти Баратынского:

*В руке твоей олива мира,
А не губящая коса...
Ты всех загадок разрешение,
Ты разрешение всех цепей...
«Смерть»*

В тот вечер мысли о смерти не смущали трех друзей, полных сил и волнующих надежд. И все же нам смерть не казалась страшной. Гимны Баратынского были нам по душе. А у дверей уже одного из нас ждала избавительница от всех цепей...

Я предложил Смирнову как знатоку старого русского искусства (до ареста он был хранителем отдела иконописи Русского музея) пройтись со мною к тому месту, где на мысу стояла старая деревянная церковь. Мы медленно обошли ее кругом, вспоминая много нас связывающего и радуясь тому, что мы опять вместе. Алексей Петрович был восхищен ее архитектурой. Мы расстались, не подозревая, что это были последние часы нашей испытанной дружбы. На другое утро я с ужасом узнал, что А. П. экстренно отправлен в больницу на Попов остров. Через 2 дня его не стало.

«На острове том есть могила».

Бахтин, услышав о трагической смерти Смирнова, с какой-то странной улыбкой воскликнул: «Vive la mort!»

Дружба наша все углублялась. Началась она еще в библиотечной камере дома предварительного заключения. Не все сразу у нас ладилось. Он принадлежал к более молодому поколению, чем я и А. П. Ученик Ольги Антоновны Добиаш-Рождественской, он высоко ценил ее, не разделяя моего пиетета к ней. В нем своеобразно сочетались нежность и светлый взгляд на людей, сип grapo

salis⁶. Он был чужд либерализма моих сверстников. Ему был чужд Тургенев (как и поколению постарше нашего — Карсавин, Оттокар, Головань). Я очень любил рассказ Гл. Успенского «Выпрямила» (о Венере Милосской). Всеволод Владимирович не мог без возмущения говорить о нем. Но эти углы постепенно сглаживались. И дружба наша все крепла. Его близости я обязан лучшими часами жизни в Кемі. Это был дар судьбы. И наши отношения, столь непривычные в этой *cita dolente*, были истолкованы в стиле лагерников. Здесь обратили внимание на то, что мы чуждались лагерных женщин и разговоров о них, и наша дружба была гнусно истолкована: нас приняли за гомосексуалистов. Так и В. В. Розанов истолковал дружбу Давида с Ионафаном и дружбу Ореста с Пиладом.

Жизнь наша проходила однообразно, дни походили один на другой, как овцы в стаде. Помню ходячее утешительное выражение «срок идет!». Вспоминая Всеволода, я вижу его спокойное лицо и слышу голос:

*Как мало в этой жизни надо
Нам, детям, — и тебе, и мне.
Ведь сердце радоваться радо
И самой малой новизне.*

*Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!*
А. Блок

Так бы и жили мы, довольствуясь «самой малой новизной», выполняя завет того же поэта: «Будьте ж довольны жизнью своей, ниже воды, тише травы». Пришли другие дни, и я мучительно, с тоской вспоминал эти дни, когда я был с Всеволодом Владимировичем.

В первую ночь на камнях я сказал своему соседу: «Ну, теперь мы на дне». — «Ошибаетесь, здесь еще есть скрытое дно, и не одно».

В первую ночь в Кемі в бараке был обыск, после чего несколько заключенных было уведено. Создавалось и тут новое дело.

В Кемь приехала из Москвы специальная комиссия для обследования порядков в лагерях. Начались вызовы, опросы. Поговаривали, что будет положен конец жестокостям.

Был вечер. У меня жар. Я попросил Бахтина вызвать врача, а сам лег в постель. Боялся, что дошла моя очередь заболеть тифом. Слышу шаги, но не

⁶ «С крупинкой соли» (иронически; осмотрительно; с преувеличением) (лат.). — Примеч. ред.

одного человека, а двух (вероятно, Бахтин с врачом). Хотел Бахтину передать обручальное кольцо, чтобы оно было сохранено как реликвия для детей. Но вошли незнакомые люди и, не производя обыска, арестовали меня. Я ничего не понимал. Жар был сильный. В полусознательном состоянии я оказался в лагерной тюрьме. Тиф обошел меня. Через несколько дней меня повели через Кемь. Со мной вели Курилко. Открывались окна домов, и нам вослед кричали: «Здра!» Итак, я сообщник Курилко. Следователь предъявил мне обвинение: я участник организации к-р'ов, поставившей себе задачу сорвать политику перевоспитания заключенных. Там (на воле) — власть советская, здесь — «соловецкая», и вот к-ры установили такую «соловецкую власть», которая противоречила всей политике советской власти. Эта формула приписывалась мне. Что же, думалось мне, у меня все-таки тиф и я в жестоком бреду!

Оказывается, что тот молодой человек, Круг, анкету которого я заполнял, донес московской комиссии, что я издевался над ним и сказал ему эту угрожающую фразу о «соловецкой власти». Чем вызван донос? Впоследствии я узнал, что с Кругом сошлась наша одноделица Лишкина, красивая девушка, которая, бывая в командировках из Попова острова в Кеми, заходила ко мне. По лагерным понятиям это означало, что у меня с ней роман. Меня нужно устранить. Все это очень просто, вполне естественно! Следователь Трофимов предложил мне сознаться в участии в каэровской организации и тем облегчить свою участь. «Вы же понимаете, что вам грозит... Что же ГПУ с вами делать еще остается? Понятно?»

Итак, мне осталось еще несколько дней жизни. Что мне с ними делать? В маленькой камере было несколько уголовников, один из них — совершивший недавно убийство. Он был так отвратителен, что мне было душно от него. Мне казалось, что я сброшен в помойную яму. Сосредоточиться, взглянуть на небо я не мог. Я только молил небо, чтобы конец пришел поскорее. Ну что ж, говорил я себе: в Индии после смерти магараджи жена его должна была следовать за ним. Таня умерла, а я остался жив. Значит, мне не должно больше жить, я не имею права пережить ее. В этом есть свой смысл, своя логика.

С уголовниками я скоро расстался. Меня перевели в камеру лагерников, где сидели торговцы универмага, обвиненные в краже продуктов. Один из них — отец баса Мариинской оперы Фрейдкова. На другой день как ввели двух работников ИСО (это ГПУ в лагере⁷), торговцы встретили их пением:

*Тех, кто наградил нас Соловками,
Просим, приезжайте сюда сами.*

⁷ Позднее переименованный в «3-й отдел» (отдел, не отделение). — Прим. автора.

Смех и обмен грубыми шутками.

Вновь прибывшие были: работник ИСО Иваницкий и староста лагеря Попова острова Брайнин. От них мы узнали, что арестованы Мисюревич, Левит и мой новый начальник Дорстройотдела Мариенгоф. В соседней камере с Курилко сидел и Абраша Шрейдер и еще один командир роты, бывший гвардейский офицер Белозёров (?)⁸. А с ними сидел еще один ротный командир — грузин Мисурадзе. Арестованные имели жалкий вид, в особенности Абраша, лишенный своего дрына, превратившийся в подобие общипанного цыпленка. На лице его застыли недоумение и страх. Арестованные начальники утешали себя тем, что они только грабили новые этапы и били только дрынами. И рассказывали друг другу страшные вещи об истязаниях на Соловках: о «жердочках» (заклоченных за провинности сажали в карцер на тонких досках — жердочках, и когда те в изнеможении от долгого сидения падали, их били и заставляли вновь влезать на жердочки). Рассказывали о «боронах» — заключенных бросали в карцеры на опрокинутые «бороны» — доски с зубьями, и т.д. Рассказывали о работах на лесозаготовках, где провинившихся летом ставили «на комаров» голыми. Все эти рассказы кончались высказыванием надежды на свое будущее: «Что же перед этими преступлениями наши проделки? Если нас расстреливать, так что же делать с теми?!» Так пытались они себя подбадривать. Вызвали Брайнина на допрос. Он метался по камере, хватался за голову и бормотал: «Ведь я же расстрелял людей больше, чем у меня волос на голове...» А шевелюра у него была роскошная.

Во время прогулок по тюремному дворику Брайнин шептал мне: «Товарищ, будьте осторожны с Иваницким: этот человек по колена в крови». Приблизительно то же говорил мне о Брайнине Иваницкий. Но, вернувшись в камеру, оба они дружелюбно барахтались на нарах, как старые друзья.

Иваницкий рассказал о «соловецком деле», закончившемся осенью расстрелами. Он сам расстрелял Сиверса — коменданта Соловков, очень популярного среди заключенных. Сам Иваницкий говорил о нем с большим уважением, о его мужественной смерти. С отцом Сиверса я встречался впоследствии в Москве, он служил в Историческом музее. Чудесный был старик! Я рассказал ему о мужественной смерти сына. И о том уважении, с которым говорил о нем его палач...

Опять допрос. Трофимов совершенно иначе вел его этот раз, и я понял, что первый допрос должен был меня ошарашить, чтобы я «заговорил». Теперь я обвинялся в том, что, являясь секретарем Дорстройотдела, помогал вредительству своего начальника Мариенгофа. Я категорически отрицал вредительскую

⁸ Вопросительный знак авторский. — Примеч. Д. С. Московской.

деятельность своего начальника, прекрасного организатора, умного, деятельного человека.

— Вы же признаете, что рассеянны, а Мариенгоф не согласился вас заменить кем-нибудь⁹. Это же во вредительских целях ему нужен был «рассеянный» секретарь.

Я настаивал на моей оценке Мариенгофа. Вспомнились его слова в ответ на мою просьбу взять на мое место другого секретаря: «Конечно, я предпочел бы иметь более толкового и менее рассеянного, но вы порядочный человек, а на вашем месте какой-нибудь негодяй черт знает что может натворить».

Мучительно тянулись дни. С жадностью ловились «параши» (слухи). А «параши» становились все страшнее и страшнее.

Сидевшие со мной в камере по вечерам, когда становилось как-то особенно жутко, просили что-нибудь рассказывать или же прочесть лекцию на историческую тему. Помню один вечер, особенно жуткий. Закат пылал, как пламя грозного пожара. В камере царил мертвая тишина. Казалось, этот закат — предвестник крови, которая будет скоро пролита.

Еще поздний вечер. Начались вызовы на расстрелы. Из соседней камеры увели Курилко и Белозерова. Рядом со мной на нарах метался в ужасе Брайнин, а с другого моего бока бился в лихорадке Иваницкий. Когда настала тишина, он сказал: «Я весь покрыт потом». Не утаю, что и меня трясла лихорадка.

На другой день всех заключенных под большим конвоем повели на Вегеракшу, где строились новые бараки. Мы облегченно вздохнули. Решили, что опасность расстрела миновала. Но это была иллюзия. Нас поместили в большом бараке с нарами в два этажа, набитыми людьми, и мы увидели, что выводы на расстрел не кончены.

Этот барак был гrotом Полифема. Поздним вечером протягивалась рука, и из нашей толпы вырывались новые жертвы. Уже стало известно, что Курилко и Белозеров расстреляны на Секирной горе (Соловки). Говорили, что Курилко кричал: «За что? Я же только следовал директивам!» И что Белозеров сказал театрально: «Не завязывать глаз. Хочу умереть как гвардейский офицер и как чекист».

Как-то в час ночи увели Левита и Мисюревича. Они содержались в особом бараке. Их тоже увезли на Соловки. И, как вскоре мы узнали, расстреляли.

Мое непосредственное чувство протестовало против смертных казней. Убийство человека человеком мне представляется противоестественным. Нарушением основного закона жизни.

⁹ Я мечтал работать в криминологическом кабинете, где собирали рисунки, письма, стихи заключенных уголовников. Так, думалось мне, я лучше пойму психологию людей «Мертвого дома». — Примеч. автора.

Еще дни томления и тоски. Увели и Мариенгофа. Это был красивый, еще молодой человек с большими синими глазами и черной бородкой мушкетера. Я увидел его, когда меня вели по двору. Он мне делал какие-то знаки, проводя под глазами. И я подумал — это слезы, знак нашей обреченности. И вот пришли с объявлением приговоров по всему делу. Иваницкому — изолятор. Брайнину, Абраше Шрейдеру увеличили срок наказания. В приговоре я не упомянут. А список был очень длинный. Что же это значит? Почему меня обошли?

Нас повели в баню. Баня была на сваях. Когда я мылил руку, с пальца соскользнуло обручальное кольцо и скатилось в щель. Исчезло. Я заметил это, когда вернулся в камеру. Мне казалось, что меня покинула моя жизнь. Я был в таком отчаянии, что все сидевшие со мной потребовали, чтобы стражники провели меня опять в баню. Я разделся и полез под пол. В темноте начал шарить в липкой тине. Как же здесь найти! А стражники кричат: «Давай! Скорей! Эй, пошевеливайся! Ну, хватит!» И — о чудо! — я ощутил кольцо в руке. И вся душа перевернулась, посветлела. Теперь я готов ко всему. Подведена черта, и с заветным кольцом на пальце я могу выйти из жизни.

Я так живо и сейчас помню тот покой, который спустился мне на душу.

Сколько еще прошло дней — не знаю. Время потеряло свой вес.

В барак заглянула белая ночь. Вошли двое и вызвали меня и Тележинского (с которым я оказался в одном бараке). Я вышел из барака и, глядя на небо, радовался. Значит, я увижу в последнее мгновение небо. Мысль о смерти где-нибудь в подвале очень страшна мистическим ужасом.

Нас отвезли на Попов остров и посадили в трюм пароходика. Значит, на Соловки, а дальше куда? На Секирную гору вслед Курилке, Мисюревичу? Едем по морю. Тлеет заря. Огромные чайки (бакланы) крутятся над нами, как стая воронов, и крик такой тревожный, жалобный...

Грозные стены монастыря из гигантских валунов. Нас высадили. Минуты, и решится все.

И решилось: нас передали обычной охране и повели в барак. Словно с рук и ног упали оковы. И так, еще жить.

Утром выстроили торжественно, особо торжественно всех заключенных и громогласно прочли приказ о расстрелах. Читали очень долго. Сообщение о казни Курилко было встречено возгласами одобрения. Вот что значит — молва. Имени Мариенгофа и Тележинского не было. Мне говорили впоследствии, что Мариенгофа спас инженер Сосницкий, зам. нач. СЛОНа, присланный из Москвы организовать трест апатитов.

Мариенгофа я встретил позднее, через 10—15 лет, на Гоголевском бульваре. Я спросил его, что означал его жест на Вегеракше «Слезы?» — «Нет! Я хотел напомнить вам щеки Тележинского, изъеденные оспой. Хотел сказать, что его показаниям мы обязаны всему перенесенному нами».

Сосницкий дал такой отзыв о работе Мариенгофа в Дорстройотделе: «Дешево, быстро, прочно». Понятно, что и я потерял всякий интерес для следствия. Но все же что-то надо было придумать. Меня перебросили на Соловки заканчивать мои университеты и прибавили на всякий случай еще годик к моим трем годам (о прибавке я узнал много позднее).

И вот я увидел Святое озеро с кристальной водой. Страж Руси на Севере. Циклопические стены и мощные башни монастыря-тюрьмы, в далеком прошлом место опалы, место кары. Молитвы стихли. Умолк колокольный звон. Исчезли монахи. Но стены не пусты. Меня ввели в какой-то каменный мешок и заперли. Стены были в пятнах крови. Что неприятно подействовало на меня. «Это от клопов», — объяснили мне. Их здесь тьмы тем. Невесело. Среди заключенных были «чубаровцы», осужденные по громкому делу в Чубаровом переулке (групповое изнасилование). Невесело.

Двое заключенные ссорились.

Один кричал: «Ты, б..., контрреволюционер».

Второй пылко отвечал: «Это ты контрреволюционер. А я муссават» (тюркская партия в Азербайджане, уничтоженная ГПУ).

В клоповнике я просидел недолго.

На прощанье встретился с союзниками из ДПЗ (Назаров и Воронин). Меня сейчас же снабдили деньгами и угостили «соловецкими селедками», прекрасными селедками, похожими на крымскую скумбрию. Их изготавливали каким-то способом несколько монахов, последних могилок монастыря Соловецких островов. Изготовленную ими селедку отправляли в Кремль.

Снова: «Собирайся с вещами». Что же это значит? Оказывается, собирают этап. Куда? В Кемь. Неужели свобода! Но эта мысль так волнует, и становится от нее страшно. «Коварство надежды».

Снова пароходик. Соловецкие чайки. Попов остров. Кемь. Меня отпустили на все четыре стороны. Зашел в домик, где жил с Дицманом и Ефремовым. Часть вещей, в том числе сапоги, подарок ленинградцев, исчезли. Пропали и книги. Своих соседей я уже не застал и не знал, куда их перебросили. Я надел зимнее пальто, собрал в узелок остатки моей одежды и отправился в назначенный мне ночлег. День был жаркий. Встреченные с удивлением смотрели на странную фигуру, обливающуюся потом, в зимнем пальто. Меня снова помести-

ли на Вегеракше, но не в том бараке — Полифемовом гроте. К радости, я встретил своих знакомых И. М. Андреевского и Авенира Петровича Обновленского. «Нас, видимо, отправляют в Ленинград?» — «Зачем?» — «Вероятно, по делу академиков».

Сижу на камнях у залива. Белая ночь. Сна нет. Куда ушла жизнь, когда можно было что-то знать о завтрашнем дне, когда новый день ложился камнем в воздвигаемое здание жизни, казавшееся таким прочным. Ко мне приблизился священник. Я узнал его. Это был тот отец Иоанн, который мне, бывало, улыбался в Кеми при встречах. Его лицо, похожее на Христа художников Ренессанса, я хорошо запомнил. Он молча, не здороваясь, подсел ко мне. И началась беседа, затянувшаяся до поздней ночи. Ему хотелось рассказать кому-то свою жизнь. У людей, вырванных из своей жизни, бывает мучительная потребность рассказать о себе кому-то, кто может слушать и услышать.

Но я не запомнил его рассказа. Он был сбивчив, и что-то отец Иоанн недоговаривал. Я помню только, что он скрывался в Кавказских горах, что он принадлежал к тому направлению православной церкви, которое хотело оставаться в стороне от политики, вплоть до отказа поминать в ектении власти прилежащие. Это направление получило название «иосифлян» по имени митрополита Иосифа. Кончая свой сбивчивый рассказ, отец Иоанн сообщил мне, что у него и в семье трагедия. Его жена увлеклась антропософами, и теперь она ему чужда. И говорил он мне, глядя мимо, не избегая моего взгляда, а уходя своим взором в иную жизнь. Но взор его не был светел.

На другой день он подошел к нам и познакомился с Андреевским и Обновленским. Разговор у них не налаживался. Было очень тоскливо. Словно люди сидели в каком-то непроницаемом тумане. Помню, Андреевский сорвал верхушку маленькой елочки и показал нам: «Смотрите, совсем куриная лапка». Почему-то эта «лапка» очень испугала священника. На следующий день он подошел ко мне, взгляд его был беспокоен. От него пахло табаком. Глухим голосом он сказал мне: «Это не к добру мне показали куриную лапку».

Уже на Медвежьей горе я узнал, что отец Иоанн душевно заболел и в припадке безумия повесился. Он не был для меня тем светлым лучом в тюрьме, как отец Всеволод Ковригин.



ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
ВТОРОВА-ЯФА





П. Г. Проценко
ВЕРГИЛИЙ АДА СОЛОВЕЦКОГО
(О. В. ВТОРОВА-ЯФА)

Соловецкому лагерю особого назначения своеобразно повезло: бывшие его невольники оставили о месте своих мучений много мемуарных свидетельств. Некоторые из них — люди экстраординарные и в силу своей учености и таланта, и в результате необычайной судьбы и силы личности.

Имена авторов, чьи воспоминания о лагерных Соловках издавались массовыми тиражами и уже вошли либо увидят свет в последующих томах настоящей книжной серии, — академика Д. С. Лихачева, филолога Б. Н. Ширяева, писателя О. В. Волкова, кадрового офицера, участника французского Сопротивления С. А. Мальсагова — сейчас широко известны.

Эти имена окружены плотным созвездием мемуаристов «второго ряда», о которых широкий читатель не ведаёт, но которые, тем не менее, запечатлели и свой взгляд на пережитое ими в красном лагере среди Белого моря, оставив потомкам свои напряженные раздумья от невольных путешествий по кругам Соловецкого ада.

На таком фоне имя скромного преподавателя математики и рисования Ольги Викторовны Второвой-Яфа совсем не затерялось. Более того, этого лагерного летописца следует признать величиной первостепенной, чьи воспоминания о пребывании на Соловецких островах смерти должны быть отнесены к классике жанра.

Об авторе до сих пор известно не много. Полная ее фамилия — Второва-Синакевич-Яфа (Синакевич — фамилия ее второго мужа). Для «самиздата» пользовалась литературным псевдонимом О. И. Ясевич.

Дочь купца I гильдии, уроженка уездного городка Богородска Московской губернии, с незаконченным высшим филологическим образованием, она в 1920-е гг. работала преподавателем в средних школах Ленинграда, накануне ареста — в «Советской школе № 157»¹.

Арестована в ночь с 18 на 19 января 1929 г. по делу религиозно-философского кружка «Воскресение», организованного профессором А. А. Мейером. Полгода

¹ К биографии М. М. Бахтина / Публ. В. Лаптуна // Вопросы литературы. 1991. Март. С. 133.

проведя в Доме предварительного заключения, постановлением Коллегии ОГПУ (т.е. во внесудебном порядке) от 22 июня 1929 г. на основании ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР заключена в концлагерь сроком на три года.

Ольга Викторовна, человек не партийный, не была знакома с номинальным руководителем «контрреволюционной церковно-монархической организации» и, по-видимому, даже кружок его не посещала. Ее обвиняли в «контрреволюционных» связях с ее подругой Верой Петровной Герман, дочерью известного педагога П. А. Германа, дворянина и действительного статского советника. Вера Петровна, преподаватель русского языка, участвовала в заседаниях религиозно-философского кружка А. А. Мейера и, по версии ОГПУ, занималась по месту работы антисоветской агитацией (якобы один из курсантов Военно-артиллерийской школы вышел под ее влиянием из комсомола); она также снабжала руководителей «Воскресенья» эмигрантской периодикой. Ольге Викторовне приписали еще и хранение «антисоветских документов, литературы, нелегальной переписки с заграницей и белых газет», принадлежавших Герман. В этом пункте обвинения прослеживается нестыковка. Обвиняемая признала, что неоднократно получала от подруги «на хранение различные документы», но сами документы найти не смогли (более того, она отказалась «назвать место, где они были спрятаны»), а значит, резонно предположить, что подследственная просто пыталась поддержать близкого человека, подтвердив соответствующие показания Веры Петровны.

Фактически мемуаристка была осуждена за образ жизни, за общение с людьми своего круга, т.е. с представителями высокообразованной российской интеллигенции, на которую следственные органы навесили ярлык «правой» и «кадетской»².

По делу проходило (и было осуждено) большое количество питерских интеллектуалов (не менее 70 человек), представителей, в основном, неофициальной культурной элиты умирающей бывшей столицы³.

Наиболее известные из них впоследствии — литературовед М. М. Бахтин, культуролог и краевед Н. П. Анциферов. В разные годы в деятельности кружка принимали участие философ и историк Г. П. Федотов, пианистка М. В. Юдина.

В «нелегальный» кружок А. А. Мейера входила еще одна давняя подруга Ольги Викторовны — Т. Н. Гиппиус (сестра знаменитой поэтессы). Художник,

² Материалы «Обвинительного заключения» по следственному делу № 108-1929 г. ленинградского ОГПУ. Цит. по: «Дело А. А. Мейера»: [Мейер Александр Александрович, философ, историк культуры, соловецкий узник] / сост. И. А. Флиге, А. Ю. Даниэль // Звезда. 2006. № 11. С. 157–207. (Свидетели и судьбы).

³ Там же. За 10 лет существования кружка «Воскресения» на его собраниях побывало не менее 150 человек (арестованных было, несомненно, больше; часть из них отпустили на стадии следствия); почти половина из них оказалась в заключении. См. также: Анциферов Н. П. Из дум о былом... С. 447.

она также работала на ниве народного просвещения. Принадлежа к рафинированной, изысканной петербургской интеллигенции либерального направления, стремящейся послужить народу, она давно, через свою сестру, была знакома с профессором Мейером, организатором религиозно-философского кружка. Срок ей дали такой же, как и автору опубликованных ниже воспоминаний — три года Соловков. Но с большей частью своих подельников Яфа познакомилась уже в тюрьме, на этапе и в самом концлагере, что красноречиво говорит о надуманности обвинений.

В августе 1929-го Ольга Викторовна прибыла в город Кемь, бывший в тот момент воротами на Соловки. Здесь ей «повезло». Получив по состоянию здоровья «вторую категорию» трудоспособности, она всего лишь на месяц была направлена «на торф», на каторжную работу под открытым небом (от которой к тому же ее освободили), а затем, как художница, работала в «кустарке», на ремесленном производстве, где заведовала вышивальным цехом. Пережила на островах страшную эпидемию тифа. 9 декабря 1930 г. в связи с «разгрузкой» Соловецких лагерей была освобождена и этапом отправлена в Вологду, отбывать оставшийся срок в ссылке. При этом — уникальный случай — заключенной удалось вывезти свои записки. В 1934 г. Ольга Викторовна вернулась в Ленинград. Пережила здесь блокадный год, вернулась сюда из эвакуации. В своем родном городе она умерла в 1964-м, а по некоторым источникам — в 1959 г.

За три десятка лет бывшая узница написала основательные воспоминания о своей жизни: более чем тысячу машинописных страниц. Часть мемуаров посвящена ее опыту Соловецкого сидения и имеет характерное название: «Авгуровы острова». Историк и архивист А. Б. Рогинский считает, что корпус своих воспоминаний Ольга Викторовна создавала незадолго до смерти⁴. По-видимому, это верно в отношении каких-то частей общего мемуарного полотна. Однако в рукописи «Авгуровых островов» есть ряд датировок, указывающих на то, что этот текст был написан в начале 1941 г.

Подлинник мемуаров хранится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Петербурге⁵. Впервые они были опубликованы более 10 лет назад в сборнике «Мироносицы в эпоху ГУЛАГа»⁶.

Автор так определяла жанр своих воспоминаний: наброски, «довольно случайные и неполные, объединенные под общим названием». «Очерки эти, — пи-

⁴ Ясевич О. И. [Яфа О. В.]. Из воспоминаний / Публикация и примеч. С. Еленина [А. Б. Рогинского] // Память: Исторический сборник. М., 1976; Нью-Йорк, 1978. Вып. 1. С. 93.

⁵ РО РНБ. Ф. Ф163 : Второвы И. Д. и Н. И., Синакевич [Яфа] О. В. 1929–1956. № 380 : Синакевич [Яфа] О. В. Авгуровы острова. Тетрадь I : (1929–1930); Тетрадь II : (1930–1931). Соловки; Ленинград, 147 л.

⁶ Второва-Яфа О. Авгуровы острова // Мироносицы в эпоху ГУЛАГа: сборник / Сост. и коммент. П. Г. Проценко. Н. Новгород: Изд-во Братства во имя св. Александра Невского, 2004. С. 239–464.

сала она, — приоткрывают узкую щель в наше недавнее прошлое — но ведь иногда и в самую узкую щелку можно подглядеть многое...

Через эту временную щель («в неполных два года») мемуарист рассматривает подневольную соловецкую жизнь на крохотном пространстве — острове Анзер, со всех сторон омываемом водами Белого моря, когда время «великого перелома» (1929 — начало 1930-х гг.) неумолимо стремилось к своему апогею.

Фактически О. В. Яфа описывает картины соловецкого лагерного ада, созданного советскими карательными органами по заданию партийных идеологов. Рисуя человека на краю физической, а чаще всего одновременно и духовной, гибели, она показывает процесс расчеловечивания, охвативший всю страну. Благодаря особенностям своего внутреннего видения, она схватывает главные черты новой эры, надвинувшейся не только на просторы СССР, но и на весь XX в.

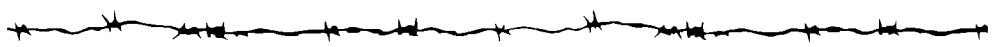
Мемуарист смотрит на события, захватившие ее в свой беспощадный водоворот, словно несколько отстраненно и поэтому отмечает типологические черты и характеристики нарождающейся эпохи. Оптические зеркала авторского взгляда настроены христианской верой, гуманистическим опытом русской и европейской культур, и оттого столь внятными оказываются воспроизводимые мемуаристом картины из жизни зеков, их личного выбора перед лицом разбушевавшегося зла. Стихия зла поглощает всех: от представителей высшего света до выходцев из народных низов; кажется, нет от нее защиты. Даже место, освященное многовековыми подвигами православных подвижников, не спасает. На бывших монастырских островах, куда столетиями стекались тысячи паломников, воцарилось царство смерти.

Хотя Ольга Викторовна формально не входила в религиозно-философский кружок «Воскресения», но по духу она, безусловно, принадлежала к тому поколению российской интеллигенции, которое в «серебряные» годы России полюбило свою родину «новой любовью»⁷, не как страну социальных противоречий, а как землю, озаренную великой Богочеловеческой драмой преображения.

На тот момент автору воспоминаний было 53 года, она имела сложившееся мировоззрение, а в своем поведении руководствовалась четкими этическими принципами. Весь круг ее знакомых (а она была арестована именно за знакомства) стремился к воплощению ценностей Евангелия в своей жизни. Это были люди, желавшие обновить русскую действительность и культурно, и духовно, сделать ее по-настоящему, не формально только, христианской.

Благодаря внутреннему настрою, Ольге Викторовне удалось найти путь жизни среди мрака лагерного быта и бытия. Обращаясь к будущим читателям, она

⁷ Термин известного историка искусств С. К. Маковского в его книге 1922 г. См.: Маковский С. К. Силуэты русских художников. М., 1999. С. 38.

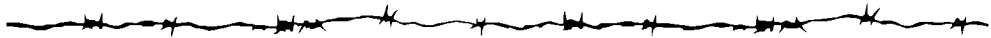


еще в начале 1920-х гг. подчеркивала в дневнике, что хочет передать им знание о своем времени, о стремлении людей ее настроения и круга возвыситься над низменными началами, разрешить «проклятые вопросы» в Боге и «увидеть небо в алмазах» любящего сердца, благословляющего все сущее.

Соловкам новой властью была уготована участь своего рода полигона для перекройки природы человека. В этом тюремном «государстве несчастных» (поразительно точное определение) установилась опасная игра, которую можно обозначить двумя словами: покайся — отпустят. Аборигены из образованных, «перевоспитавшись», могли оказаться на свободе, а для того чтобы исправиться, они должны были особым образом изменить свой взгляд на жизнь, на людей, на понятия о чести и долге. Они должны были признать, что заключение в Соловки — это благо, искупление греха неприятия коммунистических идей, надеясь, что новая власть их простит и позволит стать «своими». До той же поры «бывшие» люди считались «социально-опасными», «неустойчивыми» элементами, заслужившими те муки, что на них обрушились. Двойная, тройная «классовая» мораль царствовала на Соловецком лагерном архипелаге. Его новые хозяева культивировали взгляд на человека как на прах, на гной, которым надо обильно удобрять русскую землю для возведения на ней социалистического царства.

Отражая этот темный мир в своих зарисовках, Ольга Яфа не только раскрывала его звериный нрав, но сумела за бытом, пусть и бесчеловечным, за внешностью различить и обозначить духовные силы, действующие в истории и в сердцах людей. Она постоянно подчеркивает иконописный фон лагерно-соловецкой действительности, на котором происходит трагический, кровавый карнавал из узников и их палачей. Через десять лет после освобождения бывшая узница СЛОНа описывает места своего заточения не как «Адские острова» (как их припечатал С. А. Мальсагов), не как пыточный застенок, а поэтической многозначной, отсылающей к Римской истории метафорой: «Авгуровы острова». Авгуры, — жрецы, гадающие о будущем и из-за различных сиюминутных выгод вводящие в заблуждение доверчивых слушателей. «Обманчивые острова» — так определила Соловецкие лагеря особого назначения православная интеллигентка, стремившаяся унаследовать дух первохристианской Церкви. Ее словесные зарисовки Соловецкого концлагеря, расположившегося на территории древнего монастыря, ценны авторскими размышлениями над метафизическим смыслом увиденного.

Ольга Викторовна упорно спрашивает свою совесть: почему «Святая Русь» превратилась в антихристов застенков, в котором отчаявшийся одинокий человек



отказывается от себя? Отчего на святом месте молитв и подвижнического труда воцарилась мерзость предательства, пыток и хулы?

Ответственность за нравственное одичание, считала она, несут и те верующие, которых можно назвать современными церковными фарисеями. Они легко судили мир, с радостью соглашаясь быть его путеводителями и учителями, а в действительности оставляя его в тени безверия. На страницах текстов периодически встречаются монашки, легко осуждающие своего ближнего, опутанные привычкой к лицемерию и неискренности. Автор спорит с глянцевыми представлениями о благочестии и правоверии, созданными в недавнюю эпоху идеологами православной империи. Постепенно сквозь словесную ткань «Авгуровых островов», сквозь толщу воспоминаний из жестокого прошлого, встающего со страниц книги, проступают иконописные линии подлинного опыта личного возрождения.

Соловецкие воспоминания этого автора, включающие мемуарные очерки «Авгуровы острова» и художественную повесть «Мать Вероника», охватывают период с августа 1929 г. по 1 января 1931 г. Название «Авгуровы острова» является также общим для всего текста, состоящего из двух тетрадей.

Первая тетрадь в рукописи озаглавлена «1929–1930» и представляет собой собственно мемуары Второвой-Яфы, ее впечатления не только от увиденного на Соловках и случившегося с ней, но и от услышанного от других узниц концлагеря. В первую тетрадь входят восемь мемуарных рассказов, включая три миниатюры. На титульном листе первой тетради автором нарисован контур Соловков.

Вторая тетрадь носит название «Мать Вероника» и представляет собой повесть, созданную по личным впечатлениям от лагерной жизни. Повесть состоит из 17 главок и «Эпилога». Задачу, которую ставила перед собой Ольга Викторовна, создавая это беллетристическое произведение, можно сформулировать как попытку реконструкции типичной судьбы интеллигентки-каторжанки в послереволюционную эпоху. Автор показывает духовную эволюцию русской интеллигенции после 1917 г. На Соловках заканчивался петербургский период русской истории. Здесь претерпевали мучения и внутренне преображались все основные культурные типы русской послепетровской цивилизации. Что обещало в будущем для судеб России это преображение в лагерных страданиях ее дочерей и сыновей? На этот вопрос автор пытается дать ответ и в первой тетради своих мемуаров, и во второй, где воспоминания трансформированы в художественные образы.

С повестью «Мать Вероника» существует определенная путаница. Некоторые публикаторы отрывков из нее в советском «самиздате», а также российские издатели начала 1990-х гг. считали, что речь идет о действительно жившем человеке. Это недоразумение. История бывшей петербургской институтки Веры Александровны

Языковой, после большевистского переворота ставшей монахиней и погибшей в концлагере, — литературный образ, сочиненный автором. Конечно, Ольга Викторовна, создавая повесть, отразила в облике своей героини черты христианок из русского культурного общества, встреченных ею в заключении⁸. Но одновременно текст воспоминаний носит демонстративно полемический характер с литературной традицией дореволюционной «женской прозы», ассоциировавшейся у широкого читателя с именами Лидии Чарской и Анастасии Вербицкой. Эти некогда невероятно популярные авторы несли в массы образы идеальных современных женщин, воспитанных «христианской цивилизацией» и способных «исправить» мир.

Героиня повести проходит путь от типичной русской «институтки», утопически и часто вздорно относящейся к прозе жизни, до смиренной монахини, заключенной в концлагерь и там научившейся служить ближним. Читатель эпохи, в основном из «бывших людей», которому могла попасть рукопись «Матери Вероники», мгновенно воспринял бы ее содержание как выстраданную христианскую антитезу дореволюционным, как правило «идеологическим», представлениям о подлинной религиозности, о культурной женщине, об идеале женственности.

19 января 1929 г., в первое утро своей арестантской жизни, Ольга Викторовна ощутила себя словно в могиле «под свежей насыпью». Но в итоге стоически перенесенных (и, что немаловажно, сравнительно счастливо окончившихся) испытаний автор создала мемуары, в которых оставила для последующих поколений свидетельство о возможности духовного воскресения на кругах ада, создаваемого падшей природой человека.

Ниже приведены тексты документов, подтверждающие и дополняющие воспоминания Ольги Викторовны, которая, согласно постановлению ОГПУ от 22 июля 1929 г., была приговорена к заключению в концлагерь на три года⁹.

24 мая 1930 г. В. И. Синакевич обратился к Е. П. Пешковой, возглавлявшей организацию «Помощь политическим заключенным», с просьбой походатайствовать о свидании с О. В. Яфа.

«Екатерина Павловна!

Посылая официальное заявление в О.Г.П.У., я хочу указать Вам на те мотивы, которые побуждают меня просить свидания с Ольгой Викторовной Яфа, хотя я с ней не имею никаких родственных связей. Дело в том, что я овдовел в

⁸ В частности, одним из ряда возможных прототипов «матери Вероники», была «мать Эликанида», упоминаемая мемуаристкой в числе своих сокамерниц в ленинградской следственной тюрьме, умершая впоследствии от тифа на Соловках.

⁹ ГАРФ. Ф. 8409. Оп.1. Д. 346. Л. 188.

1923 г., причем на моем попечении осталась (кроме других детей) моя дочь, которой тогда было всего 2 года.

Будучи почти весь день занят на службе, я не мог бы не только воспитывать свою дочь, но даже и вообще позаботиться о ней. О. В. Яфа тогда же взяла на воспитание мою дочь, и последняя жила с нею до самого дня ареста О. В. Яфа. Таким образом моя дочь была, хотя и не официально, приемной дочерью Яфа и всегда пользовалась ее большой заботливостью и любовью.

Ввиду всего этого я хотел бы доставить О. В. Яфа возможность повидаться с ее приемной дочерью.

Надеюсь, Екатерина Павловна, что Вы похотатайствуете перед О.Г.П.У. о том, чтобы моей дочери дали возможность поехать со мною в Соловки»¹⁰.

Формально в свидании должны были бы отказать, так как Синакевич не был родственником заключенной, но, благодаря ходатайству Пешковой, исход дела оказался положительным. 19 июля 1930 г. «гр-нам Синакевич В. И. и Н. В.», то есть Владимиру Ивановичу и его дочери Наташе, было выслано «разрешение за № 8181 на свидание с ЯФА О. В. в УСЛОНе на июль-август н.г.»¹¹.

Для Ольги Викторовны это свидание было событием чудесным, и она впоследствии, когда подходил к концу срок ссылки, сама обратилась за помощью к Е. П. Пешковой:

«9.01.32

Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!

Препровождая при сем мое заявление на имя Московского ОГПУ, обращаюсь к Вам с просьбой переслать его по назначению и, если возможно, посодействовать моему своевременному освобождению.

Ольга Яфа»

Далее в деле текст самого заявления:

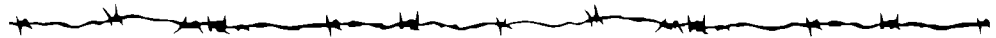
«Москва ОГПУ
административно-ссылной
Яфа Ольги Викторовны,
проживающей в г. Кадникове
Свердлово-Сухонского района
по Советской ул., д. 30

Заявление

Я была арестована 18-го января 1929 г. в г. Ленинграде (ул. П. Лаврова, 11, кв. 1) и 5 августа того же года получила приговор по ст. 58.11 три года

¹⁰ ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 543. Л. 32.

¹¹ Там же, Л. 33.



заклучения в Конц. Лагерь. 11-го августа того же года я прибыла в Соловецкий лагерь и, по отбытии карантина, поступила работницей в Анзерскую Кустарно-Художественную мастерскую, где и проработала все время своего заключения по день моего досрочного освобождения — сначала работницей, а с декабря того же года инструктором рукодельного цеха. Когда я приняла этот цех, в нем было около десяти работниц, а когда меня освобождали, число это возросло до 30-ти. Кроме уже имевшихся в цехе отделов белошвейного и кукольного, мною организован отдел куст.-худож. вышивок, который к осени 1930 г. уже принимал из Кеми крупные заказы (последний при мне был на 1200 скатертей и 12000 детских нагрудников по моим рисункам). В ноябре 1930 г. я была выставлена кандидаткой на красную доску от острова Анзера. 1-го декабря того же года я была по инвалидности своей (миокардит и атеросклероз) досрочно освобождена и вывезена из Соловецкого лагеря. 12 января 1931 г. на ком. "Сеннуха" я расписалась в получении, взамен лагерного заключения, вольную высылку в Вологодский Округ, а 28-го февраля была направлена в Свердлово-Сухонский район, где и проживаю в г. Кадникове. Сроком высылки было указано 18.01.1932 г. Ввиду приближения этого срока, обращаюсь к Вам с просьбою разрешить мне, по окончании мною срока моего наказания, вернуться в мой родной город (Ленинград), где у меня есть родные, которые поберегут мою старость: мне 55 лет, до ареста я 33 года учительствовала в средней и низшей школах г. Ленинграда (математика и ручной труд), из них 5 лет (с 1900 по 1905) в вечерних классах для взрослых рабочих села Смоленского за Невской заставой, о чем имеется справка в моих бумагах в Ленинграде.

24.12.1931

О. Яфа»¹².

¹² ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 725. Л. 79–80 об



Авгуровы острова¹

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ
1929–1930

...Все сказанное... написано мною вполне искренно, без всякой предвзятой мысли во что бы то ни стало унижить или подорвать. На склоне лет охота к преувеличениям пропадает, и является непреодолимое желание высказать правду, одну только правду.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина

Серое однообразие кино не в силах дать даже представления о своеобразной красоте острова. Да и словами трудно изобразить гармоническое, но неуловимое сочетание прозрачных, нежных красок севера, так резко различных с густыми, хвастливо яркими тонами юга; да и словами невозможно изобразить суровую меланхолию тусклой, изогнутой ветром стали холодного моря, а над морем — густо-зеленые холмы, тепло одетые лесом, и на фоне холмов — Кремль монастыря. С моря, издали, он кажется игрушечным. С моря кажется, что земля острова тоже буйно взволнована и застыла в напряженном стремлении поднять леса выше — к небу, к солнцу. А Кремль вблизи встает, как постройка сказочных богатырей, — стены и башни его сложены

¹ Публикуется по: Второва-Яфа О. Авгуровы острова // Мироносицы в эпоху ГУЛАГа: сборник / Сост. и коммент. П. Г. Проценко. Н. Новгород: Изд-во Братства во имя св. Александра Невского, 2004. С. 239–464.

из огромнейших разноцветных валунов в десятки тонн весом. Особенно хорошо видишь весь остров с горы Секирной — огромный пласт густой зелени, и в нее вставлены синеватые зеркала маленьких озер; таких зеркал несколько сот, в их спокойно застывшей, прозрачной воде отражены деревья вершинами вниз, а вокруг распростерлось и дышит серое море. В безрадостной его пустыне земля отвоевала себе место и непрерывно творит свое великое дело — производит «живое». Чайки летают над морем, садятся на крыши башен Кремля, скрипуче покрикивают.

М. Горький. Соловки (очерк)

«ЗАВТРА»

Вместо предисловия

«Мороз крепчал...» — так, по Чехову, полагается начинаться дамскому рассказу.

Было 18 января 1929 года. Когда я в шестом часу вечера, возвращаясь из школы с портфелем под мышкой, по Литейному мосту переходила Неву, у меня коченели пальцы, и я заметила, что не надела перчаток. Пошарила в карманах — их там не было; так и есть: забыла, значит, в школе!

На минуту остановилась, подумала: не вернуться ли за ними? Но половина моста уже была пройдена, и я решила идти дальше без перчаток, только поджала пальцы в кулаки и глубже засунула руки в карманы.

— Не беда, если перчатки переночуют до завтра в учительской...

Прежде чем повернуть к дому, зашла на Пантелеймоновскую к Лору за черным заварным хлебом и белым батоном. Пока продвигалась в очереди к кассе, загляделась на не убранную еще рождественскую выставку на окне — марципановые поросята особенно понравились; жаль, что не купила таких к елке Наташе и Нине, а теперь уже не стоит...

Заметила в очереди впереди себя Л. П. Трейфельдт. Она подождала меня, и мы вместе вышли из магазина. Я спешила домой: в руках был пакет, и их уже нельзя было прятать в карманах. У Фурштадтской мы расстались. Я торопливо крикнула:

— До завтра в школе! — и побежала через улицу.

Дома дети уже три дня были в постели: Нина заболела корью, а так как доктор ручался, что корь Наташе тоже обеспечена, я не только не отделила ее,

но при первом случайном повышении температуры уложила в постель рядом с Ниной. Поэтому последние вечера я совсем не бывала в своей комнате, а проводила их с детьми в спальне Нининых родителей.

Я сама виновата в том, что дети, оставаясь со мной, всегда требовали сказок: я обычно охотно их рассказывала. Но в предыдущие вечера столько их уже было пересказано, что даже мне они надоели.

— Давайте-ка сегодня я расскажу вам лучше что-нибудь из своей жизни; например, как я ездила на Соловки.

— На Соловки?! — отозвалась из столовой Нинина мама. — Это и я охотно послушаю. Вы ведь туда еще на богомолье ездили, а у нас сейчас там друзья, которые попали туда не по своей воле. Интересно от очевидцев послушать про те места.

— В таком случае, я могу сделать целый доклад с иллюстрациями — ведь у меня много соловецких фотографий. Сейчас я их принесу, — сказала я и побежала в свою комнату.

...Я сидела между кроватями и, показывая фотографии Кремля, Секирной горы, Анзерского скита и другие, рассказывала о Соловках. Я сейчас мало помню, что я говорила. Говорила о белых ночах, о чайках, о колокольном звоне, который так далеко разносится по воде, что его слышат с парохода, когда еще не видно ничего, кроме моря и неба... О сказочно красивом Кремле, напоминающем издали остров князя Гвидона, о лисицах и зайцах, которые не боятся людей, потому что за ними там никто никогда не охотится.

В столовой вскипел электрический чайник — и доклад пришлось прекратить.

Мы напоили девочек чаем,правили их постельки, помогли им умыться на ночь и, погасив свет, оставили одних. Однако они на этот раз не хотели засыпать, а Наташа то и дело требовала меня к себе под всякими предложениями.

У меня в комнате сидела Аля; я не говорила об этом детям, чтобы не разгулять их окончательно, и только ворчливо сторожила их, призывая к тишине и порядку.

Когда все более или менее уважительные требования Наташи были удовлетворены («горшочек», «поцеловать»), я категорически заявила, что к ней больше не приду:

— Лучше и не зови, а постарайся скорее заснуть. Ты и Ниночке мешаешь спать...

Но не тут-то было. Только я присела рядом с Алей на кушетку, как из соседней комнаты снова понеслись настоятельные призывные крики:



— Тетя Оля!

— Я сказала, что не приду! Все, что тебе могло быть нужно, я уже сделала, больше тебе незачем меня звать...

— Нет, есть зачем! Нужно! Необходимо!

— Что такое?

— Мне нужно сказать тебе один секрет...

— Скажешь завтра утром.

— Нельзя до завтра! Необходимо сейчас!

— Спать, спать, и никаких разговоров: все секреты завтра!

— Я не засну, пока не скажу...

Я встала. Пожалуй, она права: пусть уж скажет свой секрет и успокоится.

— Ну, говори скорее — и я уйду, — сказала я, подходя к ее кровати.

— Дай ушко!..

Она обвила ручонками мою шею и сказала отдельно:

— Я... тебя... а-ба-жаю!

Я сразу размякла.

— Дай и твое ушко. И я... тебя... тоже, — сказала я, смеясь. Мы нежно расцеловались.

— Ну, теперь будешь спать? — спрашивала я, поправляя ее одеяльце и крестя ее.

— Наклонись, я тебя тоже хочу перекрестить.

— И я, и я! — вдруг завопила Нина из своей кровати. — Подойдите ко мне, и я тоже хочу вас перекрестить!..

Получив их двойное благословение, я вышла наконец и прикрыла за собой дверь.

...Не знала я, не чувствовала в ту минуту, что простилась с ними на годы...

— Не подумай, пожалуйста, — сказала я Але, — что у нас так каждый вечер: это они только сегодня почему-то никак не могут расстаться со мной.

Але уже пора было уходить.

— Завтра ведь придет молочница, а ты опять не принесла бидона, чтобы я могла взять молока и для вас, — сказала я, прощаясь с нею.

— Я занесу его завтра утром...

— Ну смотри же, не забудь. Спокойной ночи. До завтра.

— До завтра! — ответила она, целуя меня, и исчезла за дверью.

Это злополучное «завтра», столько раз поминавшееся мной в течение предыдущего дня, я встретила в совсем новой, необычной обстановке, о которой мне

и не грезилося накануне, прочно и надолго оторванной ото всех и от всего, чем я жила и что любила.

Если человеку дано чувствовать и думать в гробу под свежей насыпью, он, верно, испытывает то же, что я испытывала в утро 19 января 1929 года. И, вероятно, он так же, как и я в то утро, еще не вполне понимает, что его вчерашний день уже стал недостижимо далеким, навсегда утраченным прошлым: *Quand on est mort, c'est au moins pour long temps, si ce n'est pour toujours*². А самое важное и большое как-то беспорядочно еще путается в голове с мелочами вчерашнего дня: не затеряются ли перчатки в школе, не забудет ли Аля зайти за молоком?.. А в деревянной желтой картонке вчерашний заварной хлебец и батон от Лора. Еще мелькают в памяти симпатичные марципановые поросята, последнее, что я видела на воле вне дома. А что последним я видела дома?

Груда бумаг на ковре, распахнутые шкафы, выдвинутые ящики комода и письменного стола, а на столе — пачка соловецких фотографий... Как пророчество? Или — как злая ирония?

Да, ночь была отнюдь не «спокойная». О ней трудно думать, трудно вспоминать в какой-нибудь логической последовательности. И сейчас я не стану ее описывать.

Навсегда врезались в память отдельные фразы: «Что за нелепая идея воспитывать чужого ребенка? Во всяком случае, сюда вы больше не вернетесь: мы вас сошлем в концлагерь или (веселая улыбка, предваряющая шутку)... или — рас-стре-ляем...», «...Можешь не торопиться, извозчик: все равно дальше ДПЗ никуда не поедem...», «Крестик может остаться на вас: мы крестов не отбираем».

И новый, незнакомый, четкий и резкий звук отпираемых и запираемых замков.

Была суббота. Вероятно — библиотечный день, потому что мне принесли две книги. Сейчас я помню только одну из них, трактовавшую, по странной иронии судьбы, закон о личной неприкосновенности в Англии. Это была популярная агитационная брошюрка эпохи 1905 года, издания «Донской речи»; юридические положения иллюстрировались в ней примерами из жизни. Мне запомнился случай с мальчиком — сапожным учеником, задержанным полицией без достаточно уважительных оснований. Его отпустили через несколько часов, и, хотя в эти часы он находился в лучшем помещении, чем у себя дома, и питался лучше,

² Уж если умер, то это, во всяком случае надолго, если не навсегда (фр.). — Здесь и далее примеч. ред.

чем дома, полисмена, задержавшего его, приговорили к штрафу в пользу мальчика, равному годовому заработку этого мальчика.

Я отбросила книжку:

— Эх! Вернуться бы сегодня домой с приплатой моего годового заработка!

Но домой я не вернулась — ни в тот день, ни на другой, ни на третий... А в комнату на Фурштатской вообще никогда больше не вернулась — в этом мой ночной гость оказался прав.

Пробыв в тюрьме около семи месяцев — сначала в одиночке, потом в общей камере, я получила приговор: три года концлагеря.

7 августа 1929 года вместе с большой партией своих «однодельцев», с которыми я впервые познакомилась в тюрьме (а с некоторыми успела за это время и близко сойтись), была отправлена в Кемь, а оттуда переброшена на Соловки.

Но о том, как я там жила и чему мне довелось быть свидетельницей как на пути туда и обратно, так и за время моего пребывания там, рассказано в следующих за этим кратким вступлением, правда, довольно случайных и неполных, моих набросках, объединенных под общим заглавием «Авгуровы острова». Наброски эти, несхожие между собой по форме, содержанию и объему, совпадают, однако, в одном: в единстве времени и места всех описываемых в них эпизодов. А именно: место действия — крохотная, как мушиное пятнышко, точка на карте Белого моря — остров Анзер; время действия (если не считать экскурсов в прошлое некоторых действующих лиц) тоже весьма малопротяженно — с августа 1929 года по 1 января 1931 года, то есть неполных два года. Таким образом, очерки эти приоткрывают очень узкую щель в наше недавнее прошлое — но ведь иногда и в самую узкую щелку можно подглядеть многое.

Этап

Нужно больше полугода просидеть в четырех стенах тюремной камеры, чтобы понять, что испытала я утром 8 августа, когда с рассветом увидела из окна столыпинского вагона небо, деревья, траву, цветы, людей, свободно работавших в поле, лошадей, собак, птиц. Окно было не из купе, а в коридоре — против купе, но стенка, отделившая купе от коридора, была сквозная — решетчатая, и я, взгромоздившись на свой чемодан, поставленный на скамейку, чтобы лучше видеть, не отрываясь смотрела на мелькавшие за окном леса, поля и рощи, радуясь каждой рябине, каждому ракитовому кусту, каждой ласточке и сороке. Нас

было в купе десять или одиннадцать женщин, все — «одноделки», товарки по заключению. Было тесно и душно, но настроение у всех было бодрое и даже веселое. Все оживленно разговаривали, завели знакомство с конвойным, стоявшим на часах против нашей двери, — молодым и добродушным деревенским парнем. Он вскоре приручился, стал передавать записки из одного купе в другое, а на станциях бегал по нашим поручениям в буфет и приносил консервы и бутылки лимонада.

День выдался необычайно знойный, и жара в вагоне становилась все нестерпимее. Изнемогая от жары, мы постепенно разоблачались до предельной возможности.

Из мужского купе прислали записку:

— Не думаете ли вы, что машинист ошибся направлением и везет нас вместо севера на юг? Жара с каждым часом все ближе к тропической.

Мы им послали флакон одеколона.

— Как перевести на русский язык Chateau Yquem!³ — спрашивали они в следующей записке. И сами следом за нею прислали перевод: «Дворец и крепость — Шато и Кемь» («Дворец и крепость» было заглавием модного тогда фильма).

Это уже походило на игру в Secrétaire⁴...

— Bravo! — кричали дамы. — Автора! Автора! (Автором оказался профессор Смирнов, которому в недалеком будущем, как и еще нескольким нашим спутникам, суждено было умереть от сыпного тифа; тогда этого никто из нас не предвидел.)

Я не отводила лица от проволочной решетки.

— Не понимаю! — возмущенно говорила одна из наших «ученых женщин». — Как можно до такой степени неотступно созерцать этот монотонный пейзаж! Я и сама очень люблю природу, однако — воля ваша — всему есть граница!

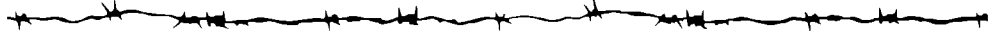
Я ничего ей не ответила, только мысленно огрызнулась:

— А кто тебе сказал, что я люблю природу? Любят природу только сентиментальные институтки да чеховские барыни, а я, слава Богу, не принадлежу ни к тем, ни к другим.

Жара не уменьшилась и на следующий день. Но пейзаж за окном стал более типичным. Теперь уже, несмотря на тропическую температуру, нельзя было сомневаться в том, что мы все же едем на север: гранитные глыбы, «бараньи лбы», поросшие мхом и лишайником, торфяные болотца, пестревшие шелко-

³ Правильно: Chateau d'Yquem — название марки французского вина. В авторском написании произносится как «шато икем»

⁴ Секретарь (фр.)



вистой пушицей, карликовые березки и тощие сосенки, поля вереска и иван-чая... Только тут я впервые поняла, осмыслила, что еду в родные моему сердцу места, которых я не видела более десяти лет. И сразу же, как только я это осмыслила, из моего сознания выпали и мои спутники, и конвой, и только что пережитые полгода тюремного заключения, и, наоборот, как совсем недавнее и живое, встали передо мной мои князегубские, ковдские, кандалакшские и соловецкие воспоминания...

Вспомнился и наш последний — последний в жизни — разговор с другом моим Талей в августовский вечер 1917 года, накануне моего отъезда из Княжой.

— Мы еще вернемся сюда когда-нибудь, — сказала она, — через несколько лет, хочешь?

— Еще бы!

— Это будет презабавно: приедем налегке, туристками, по железной дороге, но уже не в теплушке и не на тормозе товарного вагона, а в «международном спальном» — с вагоном-рестораном и всевозможным комфортом. Приедем и пойдем бродить по нашим излюбленным местам: на гору, в лес, по тропинке на скалы. А вечером возьмем лодку и поедем на остров.

На другое утро мы расстались, а спустя несколько месяцев ее не стало.

...И вот, через двенадцать лет, я еду по этому пути, но — одна, без Тали, и не в «международном», а в «стольпинском» вагоне, о котором я тогда не имела и представления.

Словно очнувшись, я оглянулась вокруг себя, на своих спутниц, на конвойного, на забранное решеткой окно — и вдруг что-то подступило к горлу, и неожиданные, непрошенные слезы врасплох хлынули из глаз горячим потоком.

В первый раз со дня своего ареста я обрела способность плакать — и плакала стихийно, неудержимо, как стихийно, неудержимо несутся из-под внезапно вскрывшегося льда внешние воды.

Мне было неловко и неприятно привлекать к себе общее внимание, но я уже не властна была ни остановить этот прорвавшийся поток, ни подыскать ему какое-нибудь понятное объяснение. И в то же время я испытывала, как постепенно мне теплее и легче становилось на сердце, точно, благодаря этим обильным, безотчетным слезам, смягчалось и разряжалось мучительное-напряженное душевное оцепенение, так долго мной владевшее, — и я опять нашла себя, свою подлинную, неизменную сущность.

Я и заснула в тот вечер в слезах и спала, несмотря на неудобство позы, крепко и мирно до самого утра.

Утром 11 августа наш поезд прибыл в Кемь. Больше двух тысяч человек (где-то в пути к нам присоединили еще и московский этап) вышли из вагонов на платформу.

Нас построили длинной шеренгой — по пяти в ряд — и повели на территорию лагеря — к самому Белому морю. Оно было все то же — необъятно широкое, спокойное и ясное, каким я его чаще всего помню, чуждое суетным земным будням, безмятежно отражающее нежные и улыбчивые краски северного небесного свода.

На фоне этой исключительно гармоничной по своему колориту декорации должна была происходить церемония нашего первого «боевого крещения»: сопровождавший нас конвой сдавал нас с рук на руки лагерному начальству.

Низкая и широкая песчаная полоса у самой воды была на большое расстояние оцеплена колючей проволокой, а внутри разгорожена на две части. Всех мужчин загнали в левую часть и построили рядами, а женщинам велели сесть на камни по эту сторону проволоки и ждать своей очереди.

Мы разместились амфитеатром — лицом к морю — и молча наблюдали картину приемки вновь прибывшей партии.

На берегу было много военных в гепэушной форме. Они производили сейчас переключку по спискам, прибывшим в лагерь вместе с нами, как прибывают в адрес назначения накладные вместе с товаром.

Понуро, серым стадом, стояли усталые, изнуренные люди — в большинстве, по-видимому, уголовники. Каждый, услышав свою фамилию, должен был выкрикнуть в ответ имя и отчество и, подхватив вещи, без промедления перебежать из левой части загона в правую.

Командиры энергично орали, матерно ругаясь и поощряя замешкавшихся то кулаком по шее, то затрепанным по затылку, то пинком ноги в спину.

Мы сидели окаменевшие, совершенно потрясенные унижительным зрелищем, к которому мы совсем не были подготовлены предшествовавшим обращением с нами в тюрьме и на этапе.

— Так вот он — лагерь?!

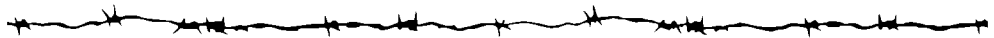
— Бахтин! — закричал командир.

— Все-во-лод Вла-ди-ми-ро-вич, — отдельно и отчетливо произнес знакомый голос, и, подняв свой чемодан, Бахтин прошел в правую половину загона.

Я услышала за своей спиной глубокий облегченный вздох:

— Я знала, что наши не побегут...

Это сказала Верочка Г.



—... И что их не посмеют ударить, — подумала я и вдруг почувствовала, что уже снова теряю всякое самообладание: обретенная мною в поезде способность плакать и, видно, только и ждала первого случая, чтобы прорваться с новой силой. Но на этот раз это были уже не те — первые благодатные, умиротворяющие слезы, это была почти истерика. Напрасно я щипала себя, кусала себе пальцы, тщетно сияясь побороть этот нервный припадок, — ничто не действовало. По счастью, я сидела впереди всех — у самой проволоки — спиной к своим спутникам, и они или не видели того, что происходило со мной, или сами слишком потрясены были происходившим, чтобы уделить мне внимание, — никто не смотрел на меня, и я надеялась, что мое позорное поведение оставалось необнаруженным.

Мимо меня, вдоль проволоки ходил взад и вперед рослый молодой часовой с суровым лицом. Каждый раз, поровнявшись со мной, он, не глядя в мою сторону и все с тем же каменным выражением лица, бормотал себе под нос:

— Не надо плакать... Здесь не так плохо, как это кажется с первого раза... Не надо плакать...

Еще продолжая судорожно всхлипывать, я с изумлением прислушивалась к этим словам утешения, долетавшим до меня с совершенно неожиданной стороны.

Переключка мужчин окончилась, и их увели куда-то. Арена опустела.

Один из командиров — рыжий и плотный молодой человек с оттопыренными красными ушами и серыми навывкате глазами, вытирая лоб носовым платком, как после тяжелой работы, подошел к проволоке, у которой мы сидели, и почти галантно, совсем не тем голосом, каким он только что выкрикивал трехэтажные ругательства, поздоровался с нами и стал расспрашивать, откуда мы и по какой статье и так далее.

— Ну конечно, по 58-й, в этом никто не сомневается. Я сам по 58-й. Вы, кажется, удивлены. Вас, по-видимому, смутил мой мундир и мое поведение во время приемки? Да, ведь вы — новички и еще не разбираетесь в нашем быте. Ведь здесь — самообслуживание и самоуправление в полном значении этих слов: все должности, включая и административные, и надзор, и охрана — возложены на заключенных, даже начальники, кроме самых высших, — тоже заключенные, и все несут ответственность за всех. Этот мундир и это поведение на плацу, которому вы только что были свидетельницами, — не более как защитная форма: если бы я вел себя иначе — давал поблажку, я бы сам угодил отсюда в какую-нибудь штрафную роту: ведь я такой же подневольный заключенный, как и все здесь, и так же, как и все, нахожусь под бдительным перекрестным наблюдением. Впрочем, вы не падайте духом заранее: здесь вовсе не так уж плохо, как это могло вам показаться поначалу, только первые две недели вам придется побыть

на так называемых общих работах, а затем вы все, наверное, получите занятия по своим специальностям — здесь находит большое применение интеллигентный труд: в лагере издается свой ежемесячник — «Соловецкие острова», имеется своя типография, свой театр, есть музей, кустарные и художественные мастерские. Два раза в месяц разрешается писать домой, а к нам можно писать без ограничения; письма и посылки из Москвы доходят на четвертые сутки, из Ленинграда — на пятые. Я сам москвич и постоянно получаю посылки от родителей...

Но вдруг, заметив, что в нашу сторону направляется группа людей в такой же, как он, форме, он оборвал разговор и поторопился отойти от проволоки с озабоченным и неприступно суровым видом.

Не помню теперь, как прошла наша перекличка. Могу только поручиться, что нас никто не бил и не ругал неприличными словами. По-видимому, здесь для «шпаны» и для «интеллигенции» применялись разные приемы обращения.

После переклички нас выстроили в шеренгу для проверки содержимого наших чемоданов. Появился чуть не целый отряд молодых людей в гепэушной форме с военной выправкой и светскими манерами. («Вероятно, бывшие гвардейские офицеры», — подумала я.) Перед одним из них, когда пришла моя очередь, я раскрыла свой чемодан. Не глядя в него и только для вида тыкая рукой в одну и ту же стопку белья, он стал расспрашивать меня торопливой скороговоркой:

— Откуда? Из Ленинграда? Я тоже ленинградец. Ну и, разумеется, 58-я статья? Ох, уж эта 58-я статья! Сколько она загнала сюда народа!.. Остались у вас близкие в Ленинграде? Через месяц я кончаю срок, если попаду в Ленинград, смогу свезти привет...

Вдруг лицо его оживилось, и он быстро опустил глаза в чемодан:

— Как давно я не осязал чесучи, — сказал он почти сентиментально, глядя рукой мою чесучовую блузку («Ну разумеется, он бывший гвардеец, — подумала я, — и у него был чесучовый китель...»)

— Закрывайте чемодан! — резко оборвал он себя и крикнул деловым, суровым голосом:

— Следующая!

Я перешла из первой очереди в другую, выстроившуюся перед крыльцом небольшой деревянной постройки, в которой производился над вновь прибывшими «личный» обыск.

Какая-то женщина в форменной куртке — командирша, как я потом узнала, — обходила очередь, предупреждая тихонько:



— Если у вас есть деньги, немного спрячьте: сейчас вас будут обыскивать и отберут советские деньги. Правда, вы потом получите взамен квитанцию, по которой вам все будут отпускать, как за деньги, но иногда до получения квитанции проходит месяц, полтора. На руках же разрешается оставлять не больше трех-четырёх рублей...

У меня с собой было пятьдесят рублей мелкими бумажками. Четыре рубля я засунула за подкладку шляпы, остальные сорок шесть решила показать при обыске.

В небольшой комнате одна женщина сидела за столом, записывая фамилии обыскиваемых и количество отбираемых у них денег, другая производила обыск и диктовала ей, сколько она отбирает и сколько оставляет на руках.

— Беру сорок, на руках оставляю три! — прокричала она, обыскивая меня.

— Вы ошиблись: здесь две трехрублевки, — сказала я.

— Нет, одна — вам показалось, — оборвала она меня и еще раз крикнула:

— На руках оставляю три! — а сама смеялась мне в лицо — верно, думала обо мне: «Вот дура-то! Еще не обтерлась в лагере: здесь, голубушка, честностью не проживешь...»

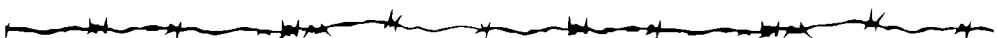
— Да они здесь все, как авгуры, — подумалось мне, — все «втирают очки» друг другу и откровенно сами же смеются над своим очковитательством.

До самого вечера нас водили по территории лагеря из здания в здание, невозможно было запомнить, каких только анкет мы не заполняли, каким осмотрам не подвергались.

В медицинской комиссии меня выслушали торопливо и сурово, по-видимому, для одной только проформы и записали в акт: «Миокардит и артериосклероз. Вторая категория».

А я-то и не знала до сих пор, что у меня такие болезни! Но я уже начала немного прозревать: может, это они нарочно написали, чтобы дать мне вторую категорию, освобождающую от тяжелого физического труда, — пожалели пожилого человека. А вид-то у них при этом такой неприступно суровый, почти грозный! И это тоже, значит, нарочно, чтобы никто не имел права заподозрить их в том, что они кому-либо делают поблажки... Авгуры, ей-Богу, настоящие авгуры!

Ночевали мы многочисленным табором на чердаке огромного деревянного барака под самыми стропилами на мокрых опилках (их, оказывается, обильно поливали водой в предотвращение пожарной опасности).



На следующее утро нас уже направили на различные работы. Четыре художницы — К. А. Половцева, В. Ф. Штейн, Т. Н. Гиппиус и я — кроили кривыми ножами портянки из грязных картофельных мешков, когда около полудня за нами явилась командирша и повела нас в дежурку. Там нам дали конвоира и отправили с сопроводительной бумажкой в карантин.

— Собирайтесь с вещами! — приказал нам начальник карантина, когда мы — все четверо — предстали пред его очи.

— Куда? — невольно вырвалось у меня, хотя уже и знала, что здесь на этот вопрос не отвечают.

Он посмотрел на меня, как на дуру, и насмешливо буркнул:

— Домой.

А я (и правда — дура) поверила было — ведь я все время не теряла надежды на то, что недоразумение, по которому меня взяли из дома, должно же когда-нибудь разъясниться, — но он, выдержав довольно большую паузу, пояснил:

— Теперь ваш дом будет Соловки... Только поторопитесь: пароход уходит через полчаса...

И вот мы на пристани: ждем посадки и наблюдаем, как грузят цинготных больных: санитары поднимают их с земли и, взвалив себе на плечи, как кули с мукой, поднимаются с ними по трапу на палубу, а потом опускаются по лестнице в трюм.

Мы испуганно озираемся и жмемся к двери. Большую часть пространства занимают четыре вола, привязанные, по два с каждой стороны, к боковым стенам трюма, а все свободные места пола заняты тесно уложенными на нем цинготными. Волы ведут себя непринужденно и так, как это вообще свойственно их природе; они стоят мордами к стене, хвостами к среднему проходу, где лежат больные, и время от времени машут хвостами и приподымают их. Тогда мы в ужасе отворачиваемся, но слух и обоняние не дают нам возможности не замечать, что происходит при этом. Цинготные совершенно беспомощны, они не в силах даже отодвинуться от грязи, которая накапливается около них. Да и некуда отодвинуться, так тесно они лежат.

По лестнице сбегает кочегар и останавливается на последней ступеньке. Снова расспросы: Откуда? По какому делу? Который раз за эти дни мы отвечаем всем одно и то же: ведь это все теперь наши товарищи, «товарищи по несчастью», — они вправе интересоваться нами.

Заметив, с каким ужасом мы смотрим на распростертых у самых воловьих ног цинготных, наш новый собеседник говорит тоном человека бывалого, которого ничем не удивишь:

— То ли еще увидите! Это только цветочки, ягодки впереди. Это тут все кандидаты в тринадцатую роту, для того их и везут из Кеми в Соловки.

— Что это за тринадцатая рота? — спрашиваем мы.

— А вот как приедете, спросите. Вам ее покажут из окон женбарака.

Из дальнейшего разговора выясняется, что в Соловецком кремле всех рот двенадцать, а тринадцатой ротой прозвали кладбище, которое находится сразу за женским бараком:

— Она самая многолюдная и растет с каждым днем... Хоронят голыми, по многу человек в одну яму. Да впрочем, сами все скоро увидите. А мне надо бежать, пока не заметили, что я тут с вами болтаю: ведь запрещается заключенным разных полов общаться между собой... За это можно и прибавку срока получить, а у меня и без того «красненькая»...

— Как это — «красненькая»?

— Десять лет. Погодите, скоро и лагерному языку научитесь. Ну, я побежал — прощайте.

— Вероятно, и вся пароходная команда здесь — заключенные. Чего доброго — и капитан тоже заключенный?! Вот как надо понимать «самообслуживание»! — удивлялись мы.

К вечеру мы подъезжали к Соловкам. Нас вызвали на палубу — и я через двенадцать лет снова увидела этот сказочно красивый остров.

Но, Боже мой! Как он изменился за эти двенадцать лет! Тогда, помню, мне все напрашивалось сравнение с островом князя Гвидона — что-то оперное, фее-рично-декоративное было в общем виде Кремля со стороны моря — с его нагромождением церковных глав и колоколен, с их яркими красками и сверкающими на солнце крестами.

А сейчас — ни одного купола, ни одного креста, и однотонный серый колорит на всем кремлевском массиве, напоминающем заброшенные руины средневековой крепости. Но в этой суровой мрачности есть какая-то новая величавая красота, быть может даже более возвышенная и одухотворенная, повествующая о долгом и славном прошлом и мученическом конце.

Пожалуй, так оно и справедливее: есть какое-то внутреннее соответствие между тем, что переживается здесь теперь людьми, и тем, о чем говорят эти печальные остовы зданий. И камни, и люди здесь равно отмечены страданием.

Новая мысль осенила меня: сейчас эти острова представляют собой совсем особое государство, герметически изолированное от всех других государств и отличающееся от них своеобразным строением, своеобразными законами и бытом.

Но чем же отличаются люди этого государства от людей, населяющих другие страны? Ведь и у них должны быть какие-то общие всем характерные черты и особенности: вот французы, немцы, русские — отличаются одни от других языком, вероисповеданием, темпераментом, внешним обликом. Какой же общий для всех характерный признак роднит между собой здешних людей?

И я сама себе ответила: а здесь таким объединяющим, так сказать «национальным», признаком является страдание. Соловки — государство несчастных.

И я с благоговейным уважением, быть может большим даже, чем у прежних паломников, приезжавших сюда, вступила на эту искони святую землю, отмеченную новыми подвигами терпения, труда и молчания.

Прямо с пристани нас провели в баню, где мы подверглись новому обыску (при этом у меня были отобраны последние деньги), и уже глубокой ночью мы вошли наконец в здание бывшей Архангельской гостиницы, ныне женского барака, где и были водворены в небольшую комнату второго этажа со сплошными нарами вдоль левой стены. Эта комната и носила громкое название «карантин».

Нас было человек двадцать в этой комнате. Состав был большей частью демократический: молодые женщины-уголовницы, одна деревенская неграмотная баба на сносях с гордостью поясняла, что она — «политическая», по 58-й статье.

— Пошумела на сельском сходе. Знала бы, что этим кончится, не пошла бы на сход! Сами же загоняли, а потом вон — на, поди, что вышло! — говорила она.

Моя соседка по нарам — молодая и миловидная девушка степенно рассуждала:

— Я не боюсь лагеря: я знаю, что мне везде хорошо будет, ведь я не воровка какая-нибудь, я за убийство, это принимают во внимание.

— А разве... убийство — лучше? — опешила я.

Она посмотрела на меня с не меньшим изумлением (вероятно, и она мысленно обозвала меня душой) и, снисходя к моей наивности, покровительственно пояснила:

— А то как же: воровство — профессия, а убить можно и в запальчивости или из ревности — совсем другое дело.

Я почувствовала себя пристыженной: как многому, многому предстояло мне еще здесь научиться...

16 августа вечером в карантин пришла командирша и, прочтя список из десяти-двенадцати фамилий, в котором между прочими оказались Татьяна Николаевна Гиппиус и я, велела нам «собратиться с вещами».

— Через полчаса будьте готовы!

Поднялась суматоха. Женщины швыряли в мешки свои вещи, крикливо обмениваясь догадками:

— Это на торф, наверно, на торф! — кричали одни.

...На торф? Почему же мы с Татьяной Николаевной попали в этот список? У нас у обеих вторая категория, освобождающая от физического труда... Тут какое-нибудь недоразумение! Я помчалась в Совет старост.

— Мне 53 года, у меня миокардит и артериосклероз, мне дали вторую категорию, у Татьяны Николаевны тоже вторая категория, почему же нас включили в этот список, в котором, кроме нас, все молодые и сильные женщины? Говорят, что нас посылают на торфоразработки... Мы не отказываемся работать, но просим назначить нас на какую-нибудь другую, посильную для нас работу. По своему возрасту и здоровью мы уже не способны к тяжелому физическому труду...

В комнате была одна дежурная старостиха.

— Успокойтесь, — сказала она, — мы знаем, что вам 53 года, что у вас миокардит и артериосклероз, что у вас вторая категория... И знаем еще, что вы обе художницы, что вы обе семь месяцев просидели в тюрьме, — и думаем, что вам только полезно будет последний летний месяц пожить на природе и отдохнуть от тюремного режима; а поскольку у вас вторая категория, вас там никто не посмеет посылать на работу, и вы сможете бродить по лесу, собирать грибы и ягоды — там режим гораздо свободнее, чем здесь, в Кремле. Это будет для вас своего рода nature⁵ после ДПЗ. А поработать-то здесь вы еще успеете — за три-то года!..

Я чувствовала, что глаза мои уже полны слез, и, сказав только:

— Ну, спасибо вам, спасибо! — я бросилась назад в карантин укладывать свои вещи.

— И здесь авгуры! — думала я, торопливо подымаясь по лестнице. — Да притом еще какие добрые авгуры!

И тут же решила:


— Если я когда-нибудь напишу книгу о Соловках, то обязательно озаглавлю ее «Авгуровы острова».

Анелка

I

Анелка Кмецынская в годы гражданской войны была школьницей старшей ступени, с виду же она казалась совсем девочкой: маленькая, живая, веселая и притом прехорошенькая, она обещала со временем стать настоящей красавицей. Пепельная блондинка с густыми, ниже пояса спускавшимися косами, с нежным овалом лица и правильными, тонкими чертами, она, казалось, с жадным, дет-

⁵ Природа (фр.)



ским любопытством смотрела на мир Божий своими широко открытыми синими глазами, осененными длинными темными ресницами. Горячая и восторженная, она жила в мире поэтических фантазий, и житейская обыденщина не попадала в поле ее зрения.

Несмотря на ее ребячливость, ею многие не на шутку увлекались, не говоря уже о ее школьных товарищах, втайне поголовно вздыхавших по ней. Но она со всеми держала себя одинаково строго и неприступно: к флирту и романам у нее не было вкуса.

Однако, когда люди, которым пришло в голову использовать ее обаятельность как орудие политической борьбы, предложили ей попробовать вскружить голову одному определенному лицу с целью, усыпив его бдительность, вывести от него кой-какие нужные сведения, она, никогда прежде не интересовавшаяся политикой и очень плохо в ней разбиравшаяся, с увлечением взяла на себя предложенную ей роль — и флитовала, как отчаянная кокетка, обнаружив при этом недюжинные актерские способности.

И вскоре ее игра увенчалась желанным успехом.

Ей стали давать новые поручения. Она бралась за все: ей льстило доверие, оказываемое ей — такой юной девочке — взрослыми «идейными людьми»; увлекала романтика этой рискованной игры с огнем; интересно было чувствовать себя смелой и находчивой, воображать себя героиней, вроде Шарлотты Корде, беззаветно отдающей себя на служение своему народу, хотя она и не очень ясно себе представляла, в чем именно заключалось это «служение» и чем оно могло быть полезно ее народу. Вдумываться, серьезно обсуждать было и некогда, и неинтересно. Она верила тем взрослым «идейным людям», которые втянули ее в эту опасную игру, верила, что то, что она делала, было хорошо и нужно.

И она продолжала бесстрашно плясать над пропастью, пока внезапно не свалилась в нее.

...И вот, сразу из водоворота лихорадочной, волнующей деятельности она попала в тесную и темную мышеловку, оторванная от семьи, от друзей и поклонников, от своих «взрослых идейных руководителей», от всего мира...

Но первое время, пока решалась ее участь, тревога неизвестности поглощала все ее мысли и не давала ей почувствовать в полной мере всей ее отрезанности от жизни.

Ее участь решилась через месяц. По статье, которую ей инкриминировали, к ней надлежало применить «высшую меру», но, ввиду ее несовершеннолетия, эта мера была заменена десятью годами одиночного заключения.

Только тут, узнав свой приговор, Анелька стала наконец понемногу понимать, какой непоправимый перелом произошел в ее судьбе.

Десять лет! Десять лет ей предстояло прожить замурованной в этом каменном склепе, отрезанной от людей, от жизни, от природы — без всяких внешних впечатлений. Даже небо было заслонено от нее деревянным щитом, навешенным по ту сторону забранного чугуновой решеткой небольшого окна.

Десять лет... В ее возрасте эта цифра плохо уместалась в голове. Мы пользуемся (как мерилom времени) опытом прожитых лет, а у нее этот опыт был еще так невелик. Десять лет тому назад она была шестилетним ребенком; через десять лет ей будет двадцать шесть...

Во всяком случае, теперь у нее было достаточно времени додумать и допонять все то, над чем задумываться до сих пор у нее не хватало ни времени, ни охоты... Ведь здесь только и оставалось — вспоминать и думать, читать и учиться. К счастью, ей разрешили пользоваться довольно обширной тюремной библиотекой.

Анелька горячо ухватила за эту единственную теперь для нее возможность общения с внешним миром и людьми, притом с наиболее одаренными и умными представителями всех времен и народов.

Книги стали теперь ее единственными друзьями. Она читала жадно, запо-ем, совершенно забываясь над книгой, уносясь воображением далеко за пределы своей камеры, а порой и за пределы своей страны, своего времени.

Впрочем, вскоре у Анельки появилась и еще одна радость; прислушиваясь к тюремным звукам, она открыла, что она здесь совсем не одинока, что окружена новой обширной семьей товарищей по несчастью, которых, правда, она лишена возможности видеть и, вероятно, никогда не узнает в лицо, но с которыми может свободно общаться, переключаясь и перестукиваясь, несмотря на все запрещения начальства. Нужды нет, что она никого из них не знает в лицо: многих авторов, которыми она зачитывалась, она тоже в лицо не знала — разве они ей были поэтому менее дороги и понятны? Ведь и слепые тоже не знают в лицо своих друзей, которые, однако, им от этого не менее близки.

Она полюбила тюремные песни и сама научилась их петь. И когда летними вечерами через открытое окно камеры несли ее молодой, чистый и звучный голос, полный мечтательной грусти, вся тюрьма затихала, настороженно прислушиваясь к ее пению, и даже тюремщики не прерывали ее. Она знала тогда: вот стоят они все сейчас у своих окон, неведомые ей и сами ее не знающие, но все

одинаково несчастные и тоскующие по воле, и, слушая ее пение, пытаются, быть может, по голосу представить себе ее черты...

Заходящее солнце, пробиваясь украдкой через щель в деревянном щите, дарило ее безмолвной лаской; она тихо улыбалась его нежному привету, думая о том, во сколько раз больше радости нес ей теперь этот робкий и бледный луч по сравнению с тем, как равнодушно принимала она и самое солнце в то время, когда имела возможность вволю им любоваться. Все, казалось, самые ничтожные мелочи теперь приковывали к себе ее внимание, приобретали в ее глазах новое, серьезное значение.

Так однообразно, но далеко не бессодержательно шло время. Лето сменялось зимой, зима — летом... На шестой год неожиданно одиночное заключение было ей заменено концлагерем.

Анелка покинула наконец свой склеп и снова пришла в соприкосновение с людьми. Но — Боже мой! — как болезненно ранили ее душу эти первые соприкосновения с внешним миром!..

II

Это случилось ранней осенью 1929 года.

В вечерние сумерки ее посадили в «черного ворона» и доставили, минуя вокзал, на железнодорожный запасный путь, где стоял этапный эшелон.

В вагоне, в который попала Анелка, уже находились, теснясь и толкаясь в потемках, много женщин — пожилых и юных.

И уже эта первая встреча с людьми, которая в течение шести лет рисовалась ей такой желанной и радостной, привела ее в тяжелое недоумение: настроение этих женщин было совершенно не созвучно с ее душевной настроенностью, они были настолько чужды и неприятны ей, что ей сразу же расхотелось говорить с ними: интуитивно она почувствовала, что никому здесь не нужны, да и не понятны были бы те заветные слова приветов, которые она так долго и так любовно хранила в сердце своем все годы своего одиночества для тех первых встречных — кого бы ни послала на ее пути судьба по выходе из тюрьмы. Ей казалось всегда, что, кто бы это ни был, она каждого расцелует как родного.

Но им до нее не было никакого дела: старые ее спутницы — в большинстве своем монашки — вздыхали и причитали, недоброжелательно отмежевываясь от молодых; молодые — галдели и переругивались, употребляя много непонятных и, по-видимому, нехороших слов. Все они насмешливо косились на нее, в свою очередь сразу инстинктивно почувствовав в ней нечто совершенно им чуждое: весь ее девически чистый облик, ее косы, ее вышедшее из моды длинное платье, ее не по возрасту детски наивное лицо придавали ей в их глазах чуждаковатый и

даже глупый вид, а ее, наоборот, шокировали их стриженные головы, их короткие платья, по тогдашней моде едва доходившие до колен, их накрашенные губы, их вульгарный хохот, грубые остроты, махорка...

Но с тем более жадным вниманием приникла она с рассветом к окну вагона. Она захлебывалась нахлынувшими на нее забытыми впечатлениями; леса, поля, деревни чередовались за окном, и она то и дело узнавала все новые, так давно не виданные ею, предметы, воскрешавшие перед нею ее далекое прошлое: солнце, цветы, деревья, дети, птицы, лошади и собаки. Шесть лет она ничего этого не видела — и теперь радовалась всему, как маленький ребенок.

На третий день их вывели из поезда и после долгих и утомительных осмотров и регистраций погрузили в трюм парохода.

В тот же вечер Анелька вместе со всей партией спустилась по трапу на пристань бывшего Соловецкого монастыря. Северное вечернее небо поразило ее своей необычайной одухотворенной красотой: казалось, какая-то божественная, всепримиряющая благодать разлита была в нем, а на его фоне мрачные силуэты древних, обезглавленных церквей и колоколен говорили о давно забытой седой старине, о тщете и непрочности всего земного...

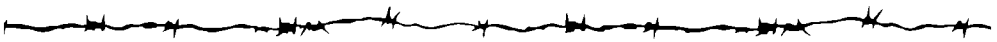
Анелька вдруг почувствовала себя перенесенной в какой-то неведомый ей потусторонний мир, где нет места житейской прозе и где неограниченны возможности всего необычайного и чудесного.

Через три дня, проведенных в «карантине», Анельку направили вглубь острова на торфяные разработки. Здесь мы с нею и встретились впервые.

III

Низкий дощатый барак стоял в лесу на моховом болоте, вдали от проезжей дороги, около небольшого лесного озера. Влево от барака колеблющиеся дощечки вели по болоту к небольшому сарайчику без окон, дверь которого никогда не закрывалась и назначение которого легко было определить с помощью обоняния. По правую руку, ближе к озеру, стоял такой же сарайчик, тоже без окон, но дверь которого всегда была на замке; назначение его не трудно было определить по несшимся оттуда обычно крикам и ругани: это был карцер.

Внутри барака вдоль стен тянулись широкие сплошные нары, на которых размещались тесно сомкнутым сплошным слоем человеческих тел свыше пятидесяти женщин.



Здесь, как и в этапе, преобладали молодые, шумные и грубые женщины: уголовницы — рецидивистки — «урки», как не без гордости они себя называли, и «политическая» «каэрка» Анелька, застенчивая и наивная на свои двадцать два года, как бы законсервированная в шестнадцатилетнем возрасте, казалась среди них белой вороной и вызывала в них самое недоброжелательное, насмешливое отношение. А для нее их общество и необходимость вечно быть на людях без возможности хотя бы минутного уединения были непосильно тяжелым испытанием.

Спали все в бараке вповалку, не раздеваясь, свернув под голову верхнее платье, а утром, после пробудки, не мылись, не причесывались; вытащив из-под изголовья краюшку черствого хлеба или вяленую воблу, торопливо ели, сидя тут же на нарах, разрывая воблу руками и соря вокруг крошками, рыбьей чешуей и костями; потом наспех пудрились, красили губы и выходили из барака на «поверку».

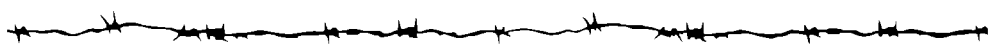
Командирша ставила всех рядами, лицом к озеру и до прихода дежурного по лагерю заставляла практиковаться в счете («первая!» — «вторая!» — «третья!»...) и в выкрикивании непонятного бессмысленного слова — «Здра!», которым полагалось отвечать на приветствие дежурного: «Здравствуйте, женщины!» Тут следовало выдержать определенную паузу, достаточную для того, чтобы набрать в легкие максимальное количество воздуха и выкрикнуть разом — единым духом и как бы едиными устами — это дикое «Здра!» Гордостью каждого командира и каждой командирши было добиться от своей роты полного слияния голосов.

Дежурный, приняв от командирши рапорт, обращался к роте со строгими наставлениями, причем на первый план всегда выдвигалось запрещение какого бы то ни было общения между женщинами и мужчинами.

Все слушали со скучающими лицами, потому что хорошо знали, что именно во время этой речи дежурный высматривает хорошеньких и к ночи непременно пришлет командирше официальное затребование на «поломойку» или «прачку» с точным указанием, кого именно он хочет иметь сегодня в этой роли. Красота Анельки, разумеется, не осталась незамеченной, но ее суровый, неприступный вид парализовал даже лагерных гопэушников, решивших, по-видимому, до времени оставить ее в покое, дать ей еще немного акклиматизироваться, хотя, вероятно, многие из них уже смаковали приятную перспективу быть первыми просветителями этой невинной и, по всей видимости, еще никем не использованной девочки.

Анелька скоро поняла всю меру лжи, лицемерия и разврата, царивших в лагере среди заключенных и начальников, — и отвращению ее не было предела.

Вообще, внезапный переход от длительного самоуглубленного одиночества к грубой действительности лагерного быта нанес глубокую травму ее психике, и



симптомы жестокой истерии, назревшей, возможно, в ненормальных условиях ее предыдущей жизни, выявились теперь в тяжелой форме: замкнутая и дикая, она стала резка и заносчива, грубила начальникам, демонстративно нарушала правила лагерной дисциплины, отказывалась работать... Порою она впадала в мрачное отчаяние и даже делала попытки самоубийства: объявляла голодовку, глотала острые предметы. Ее дерзкие выходки не оставались, конечно, безнаказанными, и она чаще всех попадала в карцер, где, впрочем, если ей случалось быть там одной, она тотчас затихала, успокаивалась, точно даже и это принудительное одиночество благотворно влияло на ее возбужденные нервы. В таких случаях по вечерам вместо обычных похабных частушек и отборной ругани из карцера слышалось щемящее тоской и грустью пение Анельки.

...Высоко над озером, окаймленным темной стеной леса, отражаясь в нем, простиралось кроткое и задумчивое северное небо, игравшее всеми переливами нежных и теплых тонов вечерней гаммы, и красивый голос Анельки, исполненный трогательной печали, так гармонировал с общим колоритом этого пейзажа, словно был неотъемлемой его частью.

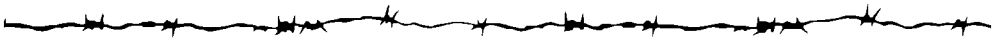
И странно было думать, что сама Анелька в эти минуты лишена возможности видеть эту картину вечерней природы, такую созвучную ее мелодиям.

Сидя на пороге барака, я, не отводя глаз, смотрела на небо, лес, воду и, завороженная голосом Анельки, старалась понять, почему она может петь только в карцере, точно соловей в неволе, который поет, только когда его клетку накроют темным платком. И мне пришли на память строки Алексея Толстого: «О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчаньем, будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен. Слух же душевный сильнее напрягай и душевное зренье...»

Как это глубоко справедливо! Да, только тот, кто одарен таким душевным зрением и внутренним душевным слухом, способен творить не фотографически, а выявляя душу вещей и явлений, их сокровенный божественный смысл... Пусть неволя, пусть лагерь, ложь, разврат и жестокость, ведь это все — лишь такие же слагаемые общего великого и вечного целого, созданного и управляемого Божественной волей, как и этот закат, этот лес, как те угодники, что в разное время спасались здесь прежде, как песни Анельки, что звучат здесь сейчас, — все это лишь отдельные ноты и отдельные аккорды в непрерывной сюите мировой симфонии.

IV

Как-то утром, в самых последних числах сентября, женщинам, работавшим «на торфу», велели собраться «с вещами». Затем их погнали лесом через весь остров к одиноко лежавшей в 27 километрах от торфоразработок пристани, а



оттуда на парусных лодках переправили на Анзер — самый отдаленный остров Соловецкого архипелага.

На этот раз Анелька попала в старинное белокаменное двухэтажное здание бывшего Анзерского скита, часть которого была отведена под женский барак.


В камерах были уже не нары, а отдельные койки, топчаны, и можно было на ночь раздеваться; но этим и заканчивались все здешние бытовые «удобства»: умываться приходилось бегать к озеру, ели каждый на своей койке, так как стола в камере не полагалось.

Окружение было то же, что и «на торфу». Недоброжелательство и циничные насмешки и тут преследовали Анельку: проститутки и воровки не могли ей простить ее девственности и моральной чистоты.

Как хорошо грамотную (а таких не много было среди анзерских женщин), Анельку назначили делопроизводителем в хозяйственную часть под начало старого сластолюбца, который охотно принял ее в канцелярию, пленившись ее наружностью, но, разумеется, не только ради ее прекрасных глаз, а в чаянии более существенных достижений. С первого же дня он стал преследовать ее своими ухаживаниями. Положение Анельки сделалось мучительно тяжелым, тем более что начальник хозчасти оказался лишь «первой мухой»: и бухгалтер, и служащие административной части, помещавшейся по тому же коридору, и даже сам начальник острова не давали ей прохода своими недвусмысленными любезностями.

Анелька всем давала резкий отпор, но понимала, что всецело находится в их власти, и чувствовала себя затравленным зверьком, обреченным рано или поздно стать добычей преследующих его хищников. Если пока к ней не применяли насилия, то только потому, что делопроизводителя хозчасти неудобно было затребовать для «мытья полов» или «стирки». Но ведь нигде так легко, как в лагере, не переквалифицируют людей из одной специальности в другую: завтра же ее могут сделать прачкой или полomoйкой, а тогда ничто уже не помешает начальнику прислать к ночи «затребование»... По утрам Анелька торопилась уйти из камеры, где ее травилa женщины, хоть и знала, что, придя на работу, она попадет из огня в полымя — под перекрестный огонь преследователей — мужчин.

Все служебное время она просиживала, почти не поднимая головы от бумаг, и говорила с сослуживцами, лишь, когда это было необходимо по службе, а по окончании занятий спешила уйти от них в женбарак, хоть хорошо понимала, что ее там ожидает.



По воскресеньям, когда камеры барака пустели, одна Анелька не уходила ни на «прогулку» (попарно, под конвоем командирши), ни в «красный уголок»; она садилась у окна и, глядя на морской залив, окаймленный лесистыми холмами, пела вполголоса свои любимые тюремные песни. Кто знает, не тосковала ли она в эти минуты о своем склепе-одиночке, в котором прожила шесть лет с ясной верой в людей, в добро, во все высокое и прекрасное? Тогда она любила людей и всей душой стремилась к ним. Во сколько раз была она тогда счастливей и богаче, чем сейчас, когда утратила эту веру, когда уже ничего больше не находит в своей душе, кроме ненависти и презрения к людям, кроме панического страха перед ними, и особенно перед мужчинами, которые внушают ей такое отвращение и ужас, что она готова бежать от них на край света, броситься в озеро, в море — только бы избавиться от их похотливых притязаний... Всего же мучительнее была для нее необходимость ежедневного общения с самым отвратительным из них — ее непосредственным начальником: одно его присутствие заставляло ее всю внутренне содрогаться от почти животного ужаса, а уйти от него было некуда. Нет, положительно, в одиночке было безопаснее и много лучше.

V

Однажды среди ночи — это было уже в начале зимы — весь женбарак был поднят на ноги неожиданным происшествием: Анелька отравилась уксусной эссенцией.

При свете тусклой керосиновой лампочки она лежала на своем топчане, бледная, обессиленная, с разметавшимися косами, и, через силу сдерживая стоны, корчилась от нестерпимой боли, а вокруг нее галдели женщины, на все лады обсуждая это событие.

Прибежала командирша; вызвали лекпома и дежурного по лагерю... Дежурный затребовал лошадь из сельхоза, и Анельку, еле живую, вынесли из барака, погрузили в розвальни и отправили в Голгофскую больницу за пять километров от Анзерского скита. Женщины пошумели еще немного, поспорили о том, умрет или выживет Анелька (большинство высказывало уверенность, что она умрет еще по пути в больницу), потом, чтобы наверстать потерянное для сна время, снова улеглись на свои топчаны — и эпизод был исчерпан. На другой день мало кто и помнил об Анельке: лагерная жизнь притупляет впечатлительность.

Через несколько дней, впрочем, по бараку разнесся неизвестно откуда взявшийся слух, что Анелька умерла, и две монашки успели даже жестоко повздорить из-за того, кого из «батюшек» просить помолиться тайно о грешной Анелькиной душе, как кто-то, прибывший с Голгофы, категорически опроверг этот слух, со-

обшив, что Анелька, хотя и очень слаба еще, но уже определенно поправляется и, возможно, в недалеком будущем вернется в Анзер.

VI

Однако Анелька в Анзер не вернулась. Когда среди ночи ее привезли в больницу и старший врач впервые увидел ее умирающую и такую молодую, такую трогательно красивую — с ее глубоко запавшими большими синими глазами, с ее густыми пепельными косами, он поклялся сам себе во что бы то ни стало отвоевать ее у смерти и с характерной для него импульсивностью принялся за ее лечение.

Анелька упорно молчала на все расспросы и упрямо отказывалась от всяких лекарств, чем только разжигала его желание спасти ее, каких бы это ему ни стоило усилий: он тоже в достаточной мере был упрям.

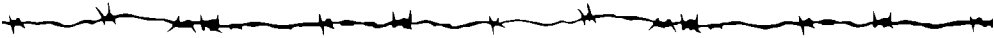
Крупный, сильный, еще молодой и довольно красивый, он совсем не походил на анзерских развратных мужчин. Дни и ночи он терпеливо высиживал у ее постели, внимательно следя за ее пульсом, прислушиваясь к ее дыханию, серьезно и заботливо уговаривая ее не сопротивляться лечению, и все это, казалось, — с таким искренним, бескорыстным участием, что Анелька, вконец ослабевшая и уже не находившая в себе силы сопротивляться его воле, пассивно подчинялась всему, что предпринималось для ее спасения.

Она то впадала в забытие, то, приходя в себя, видела перед собой устремленный на нее внимательный взгляд этого, видимо утомленного бессонными ночами, но упрямо, ради нее, преодолевающего сон чужого, незнакомого ей человека. И в свою очередь, она подолгу, молча, неподвижно смотрела на него со строгим, словно удивленным выражением своих больших синих глаз.

И вот случилось, что как раз в эти дни, когда еще не решен был спор из-за нее между жизнью и смертью, у самого порога своего земного существования в мир иной, в Анельке впервые проснулась женщина: она полюбила. Полюбила в первый раз в жизни, полюбила беззаветно, со всей страстью молодого, одинокого, измученного сердца, в течение стольких лет искусственно изолированного от людей.

Это новое неожиданное обстоятельство явилось решающим моментом в истории болезни Анельки: к усилиям врача присоединился новый фактор, наиболее могучий, сразу давший перевес благоприятным силам, — Анелька захотела жить.

Когда наконец она настолько поправилась, что могла уже начать работать, доктор оставил ее в больнице, назначив на незадолго перед тем освободившуюся должность сестры-хозяйки.



Анелка вернулась к жизни совершенно перерожденною: ровная, ко всем приветливая, она словно излучала вокруг себя атмосферу чистого, стыдливого счастья. От недавней истерии не осталось и следа.

За порученную ей работу она взялась горячо, с увлечением. Без усталости бегала со связкой ключей по больничным коридорам и лестницам, выдавая продукты или белье, обходя больных, заботливо расспрашивая их о нуждах. Ей так хотелось оправдать доверие доктора, оказаться достойной его выбора.

В быте больных произошло значительное улучшение. Больничный стол стал обильнее и лучше: Анелка прекратила те, узаконенные с самого основания больницы, традиции расхищения продуктов, о которых знали все, но на которые и лагерное, и больничное начальство, если само в нем и не участвовало, давно смотрело сквозь пальцы.

И старший врач тоже разительно переменялся: прежде, бывало, зачастую суровый, придирчивый к персоналу, резкий с больными, он стал совершенно неузнаваем: веселый, приветливый и доступный для персонала, он сделался особенно внимателен к больным, охотно принимал все рационализаторские предложения Анелки и помогал ей осуществлять их; совсем бросил пить, что водилось за ним прежде.

Причина такой метаморфозы была, конечно, ясна всем, и все, кроме лиц, причастных к продуктовой кладовой, были только довольны и благословляли Анелку. Больные же просто боготворили ее.

Но совсем иное отношение вызвали голгофские перемены, когда слухи о них дошли наконец до Анзера. Какое злорадство они возбудили у анзерских женщин!

— А наша-то принцесса-недотрога, скромница-монашка вертит, говорят, главврачом, как хочет, держит его под башмаком, а он, как дурак, совсем потерял голову и исполняет все ее причуды. Какова скромница, а?

С обидой и мстительной злобой был принят этот слух анзерскими мужчинами, почувствовавшими себя одураченными, оскорбленными в своем мужском достоинстве.

Когда же рассказы о голгофской идиллии дошли наконец и до самого начальника острова, ухаживания которого в свое время были так сурово отвергнуты Анелкой, он решил активно вмешаться в ход событий и пресечь самым категорическим образом голгофский роман. На его стороне было право начальника и лагерные законы, строго преследовавшие всякое общение между полами.

...Однажды главврача срочно вызвали к больному на какую-то дальнюю командировку. Как только он уехал, Анелку пригласили в адмчасть и велели ей в полчаса собраться «с вещами».

VII

Были ранние зимние сумерки, когда, возвращаясь из сельхоза, я встретила у анзерской дежурки Анельку с сопровождавшим ее конвоиром.

Она рассказала мне, что ее переводят куда-то на Главный остров, но, так как переправа ночью в это время года опасна, ее привели переждать до утра в анзерском женбараке.

Зная, что Анельке не могла быть приятна встреча с анзерскими женщинами, я пригласила ее переночевать в моей камере-келье: будучи тогда заведующей женской кустаркой, я помещалась в отдельной комнате.

Анелька охотно приняла мое приглашение. Она сидела на деревянном монастырском диване и за чашкой чая рассказывала мне о своей жизни на Голгофе, о своей работе в больнице. Я с интересом слушала ее, не переставая удивляться происшедшей в ней перемене. Она расцвела, похорошела... Ни былой нервозности, ни резких выражений. Во всех ее движениях, в манере говорить и держаться появились мягкость, уравновешенность и чисто польская женственная грация. Она ничего не рассказывала мне о своих отношениях с главврачом, но о чем бы она ни говорила, во все ее рассказы каким-то образом случайно вплетался «доктор», и, называя его, она каждый раз вспыхивала, как девочка, а глаза ее темнели и становились лучистыми. Любуясь ею, я невольно думала словами Пушкина: «Нет на свете царицы краше польской девицы».

— Я совсем налегке, без вещей, — говорила она мне, — доктор (и она смущенно краснела) — доктор, зная, какое в камерах воровство, был так добр, что предложил мне держать мои платья и белье в его комод, и вот надо же было случиться такому совпадению: как раз перед тем, как меня вызвали в адмчасть, доктор уехал в дальнюю командировку и запер свою комнату на ключ. Вот и вышло так, что все мои вещи оказались под замком...

— Ну, да я не волнуюсь, я уверена, что это ненадолго; доктор не разрешит взять меня из больницы, он был очень доволен моей работой, — пояснила она, снова застенчиво краснея, и глаза ее стали лучистыми.

Поздно за полночь, когда все в бараке мирно спали, старик дневальный осторожно постучался в мою дверь:

— Кмецынская здесь? — шепотом осведомился он.

— Оденьтесь и выйдите на дорогу к часовне, вас там ждут, — таинственно сообщил он ей.

Анелька вспыхнула, засуетилась.

— Это он, наверное, он! Я знала, что он, как только вернется и узнает, что меня увели, бросится за мной... Я была уверена в этом...

По моему совету, чтобы не быть узнанной, она надела мои шубу и шапку — и побежала вниз по широкой монастырской лестнице.

Она пропадала больше часа и, вернувшись, румяная, сияющая, радостно-возбужденная, в избытке счастья, кинулась мне на шею.

— Я угадала: он, как вернулся и узнал, что меня взяли, бросился за мной в погоню — на лыжах. Он правильно рассчитал, что сегодня дальше Анзера меня никуда не повезут... Он говорит, чтобы я не волновалась: он не успокоится, пока не добьется моего возвращения на Голгофу, — а уж он умеет добиваться! Это человек железной воли: ему все невольно подчиняются и делают все, чего он хочет!

И глаза ее сияли, щеки горели.

Мы так и не ложились спать в ту ночь: Анелька была слишком возбуждена, ей нужно было говорить, я поняла это и охотно ее слушала. По-видимому, она сейчас впервые нарушила свое многолетнее молчаличество — и ей необходимо было выговориться до конца.

В эту ночь я и узнала историю ее жизни. Она вспомнила все: детство и отрочество, проведенные в круту любящей, культурной семьи, годы учения; потом внезапное увлечение политикой с его печальным финалом; годы одиночного заключения и все ужасы ее лагерной жизни до встречи с доктором.

И опять она говорила о нем, о своей работе в больнице и при этом вся светилась счастьем.

— Я не боюсь разлуки, — говорила она, — я верю, что она ненадолго. Да и ничего вообще не боюсь: у меня теперь столько сил, что я все перенесу спокойно, какие бы новые испытания ни послала мне судьба, — ведь я же знаю, что он меня любит, а все остальное для меня совершенно неважно...

Она смутилась немного, когда у нее сорвалось это признание, ведь она впервые говорила с другим человеком о своей любви, о своем счастье. Но, раз начав говорить, она, по-видимому, уже не могла соблюдать границ — словно подземный родник, прорвавшийся наконец наружу, ее слова стихийным, неудержимым потоком лились, казалось, из самых сокровенных недр души, точно спеша разрядить все, что накопило на сердце за годы одиночества и молчания, — так можно раскрыться, обнажить себя перед другим человеком раз в жизни, когда подойдет такая минута, и подобные беседы остаются в памяти навсегда.

Рано утром за Анелькой пришел конвой, и они ушли вдвоем по дороге на пристань.

Уверенность Анельки, что доктору удастся вскоре вернуть ее на Голгофу, не оправдалась, все его хлопоты, как о каменную стену, разбивались о противодействие начальника острова. В бессильной злобе он безумствовал, давая волю своему необузданному темпераменту. При каждом новом отказе он все более свирепел, словно зверь, у которого отняли нечто единственно дорогое, что он имел в жизни. Он потерял всякое самообладание и позволял себе в виде протеста совершенно дикие поступки: больницу и больных он совсем забросил, а по отношению к власти имущим занимался преднамеренным саботажем — отказывался лечить начальников и их жен или делать неотложные операции, пока ему не возвратят в больницу сестру-хозяйку Кмецынскую. И, отчаявшись, кончил наконец, как кончает большинство русских людей, когда им не повезет в жизни: жестоко запил.

VIII

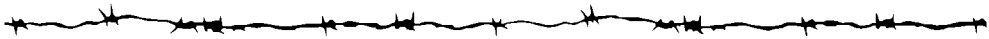
Весной в Соловецкий лагерь приехала из Москвы ревизионная комиссия. Члены ее объезжали все крупные и мелкие пункты, собирая сведения о лагерном быте. Они обстоятельно расспрашивали заключенных в отсутствие их начальников, и много личных счетов сведено было при даче показаний.

Недопустимое в последнее время поведение главврача Голгофской больницы было освещено достаточно и всесторонне.

Никто не вспомнил о его предыдущей горячей, самоотверженной работе: те, кто, умирая, испытали тогда на себе его внимание и ласку, не могли уже свидетельствовать о его добром отношении к ним; те, кто был обязан ему своим выздоровлением и помнили о его заботе, были уже далеко — здоровые недолго задерживались на Голгофе, и ни одного доброго слова не прозвучало в его защиту. В результате его имя попало в первый же список присужденных в дисциплинарном порядке к высшей мере.

На другой день по приведении приговора в исполнение список казненных был оглашен в приказе, прочитанном на утренней поверке во всех пунктах Соловецких лагерей.

Во время чтения приказа в женбараке соловецкого Кремля произошло замешательство: когда в списке между другими была прочтена фамилия главного врача Голгофской больницы, стоявшая в заднем ряду маленькая блондинка с длинными косами рухнула на пол как подкошенная.



Через год я, меняя лагерь на ссылку, остановилась проездом на сутки в кремлевском женбараке. Проходя коридором, я встретила Анельку. Она поспешно пробежала мимо меня, кивнув мне на ходу головой, как случайной встречной, с которой у нее когда-то было шапочное знакомство. На ней было короткое по тогдашней моде платье, волосы были подстрижены «под фокстрот»; ее и без того большие глаза были подведены, губы накрашены.

И я поняла: она стала — как все...

2 февраля 1941 г.

ТРИ МИНИАТЮРЫ

1. Тамара Орлова

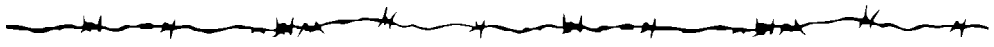
Красавица-бандитка Тамара Орлова, пользовавшаяся наибольшими привилегиями во всем женском бараке и дарившая свои милости лишь самым высокопоставленным начальникам, носившая только шелковое белье и единственная в камере имевшая собственный эмалированный таз для тщательных омовений своего изящного холеного тела, — за буйства и непечатную ругань в пьяном виде была посажена на колокольню.

Она еще не протрезвилась, когда ее заперли на верхней площадке, открытой всем четырем ветрам. Высунувшись из амбразуры, она продолжала извергать хулу и проклятия на все живущее, заставляя людей, проходивших в сгущавшихся сумерках зимнего вечера у подножья колокольни, неловко ежиться или испуганно озираться, а иных любителей — широко и весело улыбаться и даже кричать от удовольствия при особо сильных пассажах.

Дико было себе представить, что эти жуткие, неистовые ругательства, без передышки сыпавшиеся, как набат, над лесом и морем, исходили из хорошеньких уст маленькой и обаятельной женщины.

Но внезапно ругательства оборвались на полуслове — и неистово дикий, нечленораздельный крик огласил окрестность: переходя от одной амбразуры к другой, она оступилась и упала в углубление, сделанное в полу для висевшего тут когда-то большого колокола.

На крик сбежались люди: заведующий карцером с огромным ключом в руке, дежурный по лагерю, комендант и даже начальник адмчасти. Общими усилиями ее вытащили из каменной ямы. Она стонала, плакала и еле держалась на ногах. Трудно было понять, расшиблась ли она до такой степени, развезло ли ее от вина, или просто она устала от собственного крика.



Начальник адмчасти бережно свел ее по крутым и неровным ступеням лестницы и под руку с трудом довел до ее камеры: она почти висела на его руке и еле передвигала ноги, продолжая стонать.

— Разденьте и уложите ее в постель, — сказал он ее товаркам, — она сильно разбилась.

Лежа на своей койке почти безжизненным трупом, она пассивно предоставляла подругам раздевать себя и вдруг, будучи уже в одной рубашке, неожиданно резким движением сорвалась с постели, и прежде чем кто-либо из окружающих успел прийти в себя от происшедшей метаморфозы, скинув на бегу рубашку, абсолютно голая, понеслась по широкому и длинному монастырскому коридору.

Подруги бросились за ней в погоню, но поймать ее уже было невозможно: как птица, выпорхнувшая из клетки, она летала по коридору, едва касаясь пола своими маленькими босыми ножками, словно это вовсе не она только что лежала без движения, хмельная и разбитая, и никому не давалась в руки. Безукоризненно сложенная, хрупкая, как статуэтка из слоновой кости, воздушная и подвижная, как Сильфида, изящная в каждом своем движении, она казалась ожившей фигуркой греческой танцовщицы, слетевшей с миниатюрной и нежной камен.

Невозможно было не любоваться ею. Я и любовалась, стоя на пороге моей камеры-кельи: ни Дункан, ни ученицы Далькроза никогда не восхищали меня так, как эта неожиданная сцена импровизированного балета.

Такое же, по-видимому, чисто художественное наслаждение переживал и инвалид-дневальный, сидевший в конце коридора у перил широкой входной лестницы — бывший блестящий гвардейский офицер из высших аристократических кругов Петербурга, несомненно выдавший в свое время не одну залетную диву. То, что происходило сейчас здесь перед нами, нельзя было и сопоставить с заранее подготовленным и разрекламированным очередным выступлением профессиональной артистки, на каких мы смотрели, бывало, в бинокль из кресел партера. Здесь мы присутствовали при свободной и вдохновенной импровизации, при интуитивном и стихийном творчестве, быть может даже мало осознанном, но от этого только более непосредственным и искреннем. Тамара не «играла роль», не «изображала» птицу, вылетевшую из клетки, — она была ею по-настоящему. И происходило это не среди размалеванных кулис и даже не среди «сукон» или каких-либо иных нарочитых декоративных затей, а на суровом фоне подлинных многовековых монастырских стен. Когда ее поймали наконец и, протестующую, выбивающуюся, как пойманная птица, увели в камеру, я тоже ушла к себе, всецело под обаянием только что пережитого художественного образа.

Я думала: никто не знает, сколько прекрасных творческих возможностей таится в каждом, даже самом, казалось бы, падшем создании, возможностей, готовых в любой неожиданный момент властно прорваться наружу! Надо помнить это, помнить, что каждый человек, как бы он ни был ничтожен или порочен, носит в себе тлеющую искру Божественного огня, могущую в иных условиях разгореться в яркое пламя.

И еще я думала: если прошедшее, обычно для нас незримое, в иные моменты перекликается с нами, даря нас видениями далеких событий, имевших место в той или другой сохранившейся до нас обстановке, то не дано ли сокровенному для нас будущему перекликаться с иными избранными провидцами, приоткрывая перед ними картины грядущих событий, имеющих быть со временем в обитаемых ими местах!

И в таком случае, не грезились ли жившим в этом скиту монахам образ нагой Сильфиды, порхающей вдоль стен их сумрачных коридоров?

Если это было, они, конечно, принимали ее за греховное искушение, посланное им дьяволом, подобное безобразным и соблазнительным видениям св. Антония, и в испуге отреклись от «белой дьяволицы». И, по-своему, не были ли правы и они?

Кто даст ответ на эти неразрешимые, противоречивые вопросы, которые жизнь ставит перед нами на каждом шагу?

2. Сатир и нимфы

Тихим и ясным летним вечером в бывшей игуменской кухоньке с узким, как амбразура, окном я варила себе картошку — редкий на нашем архипелаге продукт, лишь изредка попадавший к нам с материка, оттуда, где были наши близкие, и куда нам «до срока» были заказаны пути.

И, как всегда теперь в минуты бездействия, я думала о своей необычайной судьбе, так неожиданно забросившей меня на этот далекий и дикий остров, и о моих близких, оставшихся на материке, жизнь которых протекала в большом городе, вдали от природы, трезвая и деятельная, чуждая всякой мистики, в то время как мы здесь, оторванные от всего мира и от своего века, жили сказками и снами, легендами и мечтами.

— Смотрите, — сказала мне случайно подошедшая к окну девица, так же, как и я, готовившая себе какую-то еду. — Смотрите: этот рыжий жид — завкарцером — вчера получил деньги из дома и объявил девчонкам, что будет им платить по рублю за поцелуй... Смотрите, что они теперь с ним делают!

Я подошла к окну и заглянула вниз. Золотисто-розовым вечерним сиянием озарены были лесные дали и зеркальная гладь залива, а внизу, посреди зеленой

лужайки, в центре тесного хоровода девиц, стоял, растопырив руки, завкарцером и, приседая на своих кривых рахитичных ногах, поочередно ловил их и целовал, а они, откинув головы и крепко держась за руки, с диким хохотом бешено кружились вокруг него, вскидывая босые ноги и ловко увертываясь из его рук.

В коротких легких одеждах, едва прикрывавших их тела, с растрепавшимися волосами, они больше походили на каких-то диких мифологических существ, чем на современных девушек.

— Пьяный сатир с нимфами, — подумала я. Завкарцером и действительно напоминал своей внешностью сатира: маленький, кривоногий, с широко оттопыренными ушами на рыжей, курчавой голове, с большим горбатым носом над выдавшимся вперед похотливым ртом, с острой козлиной бородкой. Для полной иллюзии не хватало лишь венка из виноградных лоз на голове да свирели в его кривых и тонких пальцах.

На фоне этого широкого и девственного пейзажа в стиле картин Клода Лоррена эта сценка казалась поистине буколической, каким-то чудом воскресшей на святой монастырской земле, где в течение стольких веков тишина острова нарушалась лишь колокольным звоном и молитвенными песнопениями и где сейчас раздаются одни лагерные команды, непечатная ругань да заунывные песни каторжан.

«Воскрес! Воскрес великий Пан!» — вспомнила я стихотворение в прозе Тургенева. И уже поедая сварившуюся тем временем картошку, я продолжала думать:

— Как тут спутались и переплелись все века и эпохи... Этот мифологический сатир со связкой ключей на поясе начальствует над лагерным карцером, устроенном в древней келье преподобного Елеазара, служащей теперь главным образом для протрезвления пьяных воров и проституток, а нимфы... принудительно согнаны сюда с Лиговки и Сухаревки, из Чубаровых переулков современных русских городов. И однако сейчас они неотделимы от этого идиллически мирного, первобытного пейзажа, от этой дикой и величественной природы... Ничто не умирает навсегда и бесследно. Все когда-либо бывшее незримо сосуществует в мире — и в иные, правда редкие, моменты становится зримым человеку.

*Прошедшее не тлеет в гробе тесном,
Оно парит в пространстве поднебесном
И шлет — кому захочет — свой привет,*

— всплыли в памяти строки из стихотворения моего друга.

И когда-нибудь, для кого-нибудь эти девственные холмы и морские просторы, быть может, снова огласятся торжественным благовестом анзерских колоко-

лов, и еще прозвучит, прозвучит над заливом под покровом солнечной весенней ночи неизменно великое:

Христос воскрес из мертвых!

И воскреснут тогда все, сущие теперь «во гробех», к новой светлой и чистой жизни — все, все! И вот этот завкарцером, и эти растрепанные девицы присоединят свои голоса к всеобщему хору славословий:

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его...

Яко исчезает дым, да исчезнут...

*Тако да погибнут грешницы от лица Божия,
а праведницы да возвеселятся.*

Этот день придет. И рассеются темные чары, тяготеющие над землей. Да будет так! Аминь.

3. Первое мая

Лед еще лежал на заливе, и окрестные холмы были покрыты сугробами снега, но в связи с приближающимся Первым мая уже шли подготовительные работы для достойной встречи великого пролетарского праздника.

У древних белокаменных монастырских ворот плотники сооружали триумфальную арку фантастической архитектуры, женщины вязали гирлянды из ельника, в живописном цехе выводили белилами по кумачу очередные лозунги, а на сохранившемся еще амвоне, служившем эстрадой для антирелигиозных постановок, шли спевки лагерного хора, репетировавшего революционные песни.

Оставалось еще одно необходимое дело: очистить от снега площадь перед зданием бывшего скита, на которой должен был происходить первомайский митинг, и усыпать ее песком.

В Анзере среди заключенных было много крестьян и рабочих, но поручить это дело им администрация сочла, по-видимому, «идеологически не выдержанным»: ведь его можно было использовать в качестве лишнего фактора антирелигиозной пропаганды среди заключенных «религиозников» и «религиозниц», еще не освободившихся от своих прежних предрассудков.

И вот, как раз в Великий четверг — день этот, определенно, был выбран не случайно — с Троицкой, отдаленного и засекреченного пункта, в котором было сосредоточено высшее духовенство, затребованы были в Анзер все находившиеся там в то время православные и католические епископы. И они пришли — и старые, и еще сравнительно молодые, но все одинаково изнуренные, одинаково не приспособленные к грубой физической работе — и в сосредоточенном, спо-



Максим Горький и сопровождающие его сотрудники лагеря на Секирной горе. 1929 г.



Журнал «Наша достижения»,
выходивший под редакцией М. Горького.
В этом журнале в 1929 году был
напечатан очерк «Соловки»

М. Горький с иници-
атором разведения
пушных зверей
на Соловках
К. Г. Туомайненом.
1929 г.





Глеб Бокий и Максим Горький



Писатель с сотрудниками Соловецкого лагеря особого назначения.
Слева направо: А. Мартинелли, М. Горький, Г. Бокий, А. Ногтев, И. Полозов. 1929 г.



Город Кемь. Фото Я. И. Лейцингера. Из книги «Северный край.
Иллюстрированный альбом Архангельской губернии»



Дорога от входных ворот – «Невский проспект» – на территории
Кемского пересыльного пункта. Кадр из фильма «Соловки» (1928 г.)



Архиепископ
Воронежский и Задонский
Петр (Зверев).
1926 г.



Участники экспедиции по обретению мощей священномученика Петра (Зверева)
под руководством иеромонаха Дамаскина (Орловского) у могилы сщмч. Петра. 1999 г.



Варваринская пустынь. Литография В. Черепанова. 1928 г.



Священномученик Антоний
(Панкеев), епископ Белгородский



Священномученик Василий
(Зеленцов), епископ Прилуцкий.
Москва, тюрьма ОГПУ, 1930 г.



Отряд красноармейцев на фоне стен Соловецкого Кремля



И. А. Курилко (1904–1930)
Сотрудник лагерной администрации, расстрелян за жестокое отношение к заключенным



А.П. Ногтев (1892–1947),
начальник Соловецкого лагеря.
Фото из личного дела кон. 1930-х гг.



Вид на Секирную гору из Исаково. Фото М. Скрипкина. 2014 г.



Соловки зимой. Фото М. Скрипкина. 2012 г.



«Белые Соловки». Фото М. Скрипкина. 2011 г.



Вид на монастырь со стороны Святого озера. Фото М. Скрипкина. 2011 г.



Свято-Вознесенский скит на
Секирной горе и лестница,
ведущая к нему.
Современные фото

Рассказ человека с „того света“

История Александра Грубе, бонавившего из Соловков

Нет места на свете более страшного, более дурного, чем Соловки. Непроходимые джунгли буффагоских лесов, кипящие дикими зверями, мятель слезы для человека, чуждого Соловкам. От дикого страха можно умереть, от чуждого нет спасения. Каково на Соловках выживает эта кровь на каменных стенах, выживает из них люди и вот такая, обескураженная и обескураженная людей, пытались работать по 20 часов в сутки. Убежать с Соловков невозможно. Охрана, охраняющая не только стены, охраняющая и моральную жизнь для тюрьмы. Не нужно было особенно скрупулезно следить за людьми, потому что оставалось бы только — убивать тех, кто не хотел, и идти в отдаленность, но здесь же было не так. Расстояние не было.

В течение этого провала-то страдания человека человек убожал. Тут выжили не деньги, не особые человеческие способности, а просто сильное счастье, судьба, возможность быть счастливым и жизнью страдающим.

Этот человек с того света был у нас в редакции, и в течение четырех часов рассказывал нам историю жизни и смерти на Соловках. Вот что он рассказывал.

Как обманывают большевиков иностранных моряков

— Меня зовут Александр Грубе — сказал он. По происхождению я немец, по профессии матрос. Японец и оставил в 1920 году и ушел в Америку. Тут я встретил на пароходе и пошел в Владивосток. Однажды мы пришли в советский порт, в Одессу. Нас встретили на берег, водили по кинематографам, по разным клубам, угощали и уверяли нас, что в СССР для рабочих и крестьян не жизнь, а рай. Принимали нас великолепно и мы ушли на пароходе чрезвычайно довольными.

— Ну, как вам у нас нравится? — спрашивали нас журналисты, провожая их пароход.

— Очень — отвечал я, вспоминая все те удовольствия и внимание, которое оказывали нам коммунисты.

Ответа я знаешь искренно и с тех пор у меня в голове засела мысль о необходимости покинуть Америку и переехать в Советскую Россию.

Вернувшись в Америку я стал искать парохода, который у-



Александр Грубе

Побег с американского парохода в Константинополь.

длет в Черноморские порты, с тем, чтобы уехать в Советскую Россию. Такого парохода не оказалось и я поступил матросом на пароход «Кекова» уходящий в Константинополь.

Придя в Константинополь, я оставил все свои документы у капитана и пошел на берег — прощу говоря — дезертировал. После этого я явился к советскому консулу и просил дать мне возможность поехать в советскую Россию.

Консул заявил мне, что дело это очень трудное и что нужно спросить Москву, ознакоми ли пароходную команду. Японец и в ответ на его просьбу предоставить какие-нибудь документы, ответил, что документы все остались на американском пароходе, откуда я бежал. Тогда он дал мне удостоверение с моей фотографической карточкой о том, что я матрос, желающий уехать в СССР.

Пароход «Денабрист»

В это время в Константинополь пришел большевистский пароход «Денабрист», совершавший рейсы между Владивосток и портами Черного моря. Я узнал, что на пароход требуется матрос и отправился туда. Привали нас трюм — между одного норвежца и японца. Женовазя нам положила 7 английских фунтов в месяц, но жалованья я не интересовался, потому что единственная моя цель была поехать в советскую страну СССР, где мне так понравилось.

Между прочим, являлся нас, капитан сказал, что если мы пожелаем вернуться во Владивосток обратно, то нам оплатят проезд в Константинополь по 3-му классу, а если мы не-

желаем остаться в СССР, то стоимость билета нам выдают на руки.

Шли мы все время благополучно. Прошеставший выжил не было. Но вот мы пришли в Сингапур и там повстречались с американскими матросами. Разговорились. Узнав, что я из Америки еду в СССР, с тем чтобы остаться там на жительство, курсанты удивлялись, а посетитель прямо сказал мне, что нужно быть осторожным, чтобы не в Америку возвращаться в СССР. И тогда же обратил внимание на их слова, но исполнил их гораздо позднее.

Пробитие во Владивосток и арест.

Напоице мы пришли во Владивосток. Как только пароход остановился, на борт вошли таможенные и члены ГПУ. Стали проверять документы команды и тогда дело дошло до нас трюм, то нас попросили выйти на борт.

— Ну, как вы любите? — спросил меня таможенный. — Да, я люблю, — ответил я. — Ну, как вы любите? — спросил меня таможенный. — Да, я люблю, — ответил я.

«Бе... что... Храпо... торж... но об... де Ев... «Ван... Сов... что со... крес... читал... истол... антисо...

Ввер... пазит... дажу б... ларс... д. поб... ских д... л. на 1... 000,000... работ... лагазо... 75,000... нутой... жевом... была у... л. В #

Ввер... пазит... дажу б... ларс... д. поб... ских д... л. на 1... 000,000... работ... лагазо... 75,000... нутой... жевом... была у... л. В #

— Нет, вещей не берите. Г... скоро вернется обратно.

Привели нас на контрольный пункт и стали снимать допрос.

— Ваши документы?

— Вот удостоверение от советского консула в Константинополе.

— Этого мало. Зачем вы привели сюда?

— И дичу остаться жить в СССР, где мне очень понравилось, после первого пребывания в Одессе.

Честности не верят, чтобы можно было бы прожить жизнь свободного человека в Европе или в Америке на жизнь в СССР.

Допрос продолжался.

— Скажите: вы назвали раньше, что переедете на пароход «Денабрист» на американский пароход?

— Плавал...

— Сколько вы получали там?

— 62 дол. 20 центов в месяц.

— А сколько вы получали на нашем пароходе?

— Семь английских фунтов.

— А что больше? — 62 доллара или 7 фунтов?

— 62 доллара больше.

— Так чем вы объясните, что покинули американский пароход и перешли на советский?

— Я уже говорил вам, товарищи, что мне хотелось остаться на жительство в СССР и по-



Публикация об А. Р. Грубе
в газете «Новое русское слово»



Н. П. Анциферов.
Фото из личного дела, кон. 1920-х гг.



О. В. Волков.
1920-е гг.

Открытый лист № 13/1921

Составлен в Московской Бутырской тюрьме

1921 года

1. Имя, отчество, фамилия или прозвище.	Осоргин, Михаил Михайлович
2. Какой губ. и уезда, волости, деревни или села.	Владимирская губ. Семеновский уезд
3. Род занятий, профессия.	сидорок
4. Куда (город) местечко пересылается.	
5. В распоряжение какого лица или учреждения и чьим распоряжением препровождается.	11/12
6. Следственный или осужденный и на какой срок.	10 мес.
7. Требуется ли усиленного надзора и почему.	
8. Заключение врача о состоянии здоровья.	нестерильно
9. Записки о выданной одежде.	13

вещным, а

приветы





154-3-10

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

на заключенного Соллагерей ОН ОГПУ

Фамилия Осоргин
Георгий Михайлович

Типо-Лит. ЭКО-УСЛОН. Зак. № 1821 11 IX 28 г.

Анкета, заполненная в Бутырской тюрьме, и личное дело заключенного Г. М. Осоргина, героя книги О. В. Волкова «Погружение во тьму»



Максим (Жижиленко),
епископ Серпуховский



И. М. Андреевский



Женская палата в лагерном лазарете. Фото из альбома, подаренного управлением
Соловецкого лагеря первому секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) С. М. Кирову



О. В. Второва-Яфа

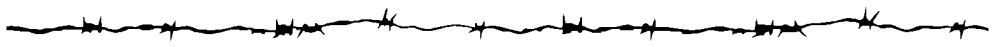


Голгофо-Распятский скит на о. Анзер до реставрации и в настоящее время





На склоне горы Голгофа на месте массовых захоронений узников лагеря
сама природа поставила этот живой памятник – березу в виде креста



койном молчании принялись за дело: скалывали железными ломami утоптаннй, слоями слежавшийся и заледенелый снег, складывали его в тачки и носилки и сбрасывали в овраг, соединявший озеро с заливом. Потом внизу, у нагорного берега, брали из-под откоса желтый, чистый песок и, нагрузив им телегу, общими усилиями с невероятным трудом втаскивали ее наверх, на расчищенную перед домом площадь.

В сельхозе были лошади и даже волы для перевозки тяжестей, но использование их на этот раз, видимо, рассматривалось тоже как идеологически неуместное облегчение.

У всех двадцати семи окон второго этажа стояли люди и смотрели, как четырнадцать слабосильных мужчин в рясах, надрываясь, втаскивали в гору большую, нагруженную песком телегу: одни тянули ее за оглобли, другие, навалившись на воз, толкали его сзади, остальные поддерживали телегу с боков.

Соединившись в одном усилии, шли рядом — еще молодой, видимо очень близорукий, католический епископ, бритый, в круглых роговых очках, и сухонький, изможденный, с белой бородой православный епископ, ветхий деньми, но сильный духом, с неослабным старанием напиравший на воз.

В женской кустарке все побросали работу и столпились у окон; монашки плакали и причитали:

— Господи, Господи! И это — в Великий четверг! Им бы теперь как раз участвовать в торжественной службе «омовения ног», а они, вместо того, чем занимаются!..

Я тоже смотрела — и тоже плакала. Мне казалось, что страницы Четых-Миней ожили перед нашими глазами. Эти четырнадцать епископов не были сейчас в подобающем их сану облачении и не находились в храме, не участвовали в обряде «омовения ног» — этой ежегодно повторяющейся мистерии, символизирующей подвиг смирения, но для меня было ясно: то, что происходит сейчас перед нами, — гораздо больше и выше, ибо это уже не условный символ, не обряд, а подлинный подвиг смирения истинных пастырей Церкви, самоотверженно и до конца твердо отстаивающих веру Христову «противу учений мира сего».

И вот Бог сподобил нас, недостойных маловеров, быть самым очевидцами мученических подвигов этих новых страстотерпцев — безымянных и «неявленных», но от этого не менее достойных «славу многу от Бога принять» — как говорится в каноне «Всем святым, в земли Российстей просиявшим».

И тем из нас, кому удастся когда-нибудь вернуться отсюда в мир, выпадет на долю свидетельствовать людям о том, что видим мы здесь сейчас...

А видим мы возрождение чистой и стойкой веры первых христиан, видим воссоединение Церквей в лице единодушно участвующих в общем подвиге православных и католических епископов, воссоединение в любви и смирении, помимо всяких соборов и догматических споров. Как произошло все это? Да ведь роковым образом этому способствовали, сами того не подозревая, люди, имевшие целью унижение и поношение Христовой веры! Поистине, неисповедимы пути Господни!

...Я вдруг вспомнила: да не здесь ли, не перед этими ли окнами происходила та буколическая сцена с «пьяным сатиром и нимфами», которую я наблюдала летним вечером из окна игуменской кухни? Мне пришло в голову тогда, что когда-нибудь здесь еще восторжествуют и иные настроения... И вот — я не ошиблась. Правда, не гудит и сейчас победный благовест анзерских колоколов, и не слышно церковных песнопений, как мне это тогда рисовалось, но победа человеческого духа, победа веры — налицо! Не в колокольном звоне, не в хоре славословий — в душах людских воскреснет Бог — и, как тает воск, как исчезает дым, расточатся Его враги...

Горячие, неудержимые потоки слез струились по моему лицу. Я не утирала их...

К вечеру работа была выполнена. Площадь перед фасадом скита была выровнена и густо усыпана золотисто-желтым песком.

И они ушли — все четырнадцать — усталые, не евшие целый день — по лесной дороге на Троицкую.

И думалось, что, вернувшись, они не лягут отдыхать, а станут, наверное, читать «Двенадцать Евангелий».

С залива потянуло холодным ветром, стало пасмурно — и вскоре густой и обильный снег повалил на землю и шел, не переставая, всю ночь, покрывая пушистой пеленой лед на заливе, прибрежные холмы, лесные дороги, крышу скита и только что расчищенную перед ним площадь.

Утром взошедшее солнце осветило сверкающие девственной белизной широкие анзерские просторы.

В первый день Пасхи была чудесная погода, в воздухе впервые запахло весной, а к Первому мая весь новый снег, выпавший на Страстной неделе, растаял и, смешавшись на площади перед домом с обильным песком, превратился в жидкую грязь, в которой вязли ноги согнанных на митинг подневольных людей...

Но перед глазами ослепительно блестел на солнце своей снежной пеленой морской залив, и над ним любовно склонилось северное бездонное небо, благое и безгрешное, говоря людям о вечной Правде и Красоте, в которых когда-нибудь потонут и растворятся все их временные земные страдания.

22 января 1941 г.

Сыпняк

I

Сыпняк был в разгаре. В одной только Голгофской больнице из сыпнотифозного барака ежедневно в среднем выносили по шестнадцать покойников; вырытых за лето четырех траншей — на триста трупов каждая — не хватило и до середины зимы; приходилось срочно готовить новые — и по склону Голгофской горы днем и ночью горели костры для оттаивания закаменевшей почвы.

Машинистка санчасти, печатавшая отчетную сводку, вернулась в женбарак с сенсационным известием: из 126 тысяч населения Соловецкого архипелага за один только последний месяц вымерло от сыпного тифа 14 тысяч!

Молоденькая жена начальника Анзера — единственная на всем острове «вольная» женщина, а потому невероятно скучавшая и — на безрыбье и рак рыба — зачастую забегавшая поболтать в женскую кустарку, покатывалась со смеху, рассказывая в вышивальном цехе:

— Ну и нахохоталась же я вчера около Вовки (*«Вовка» был ее супруг. — О. Я.*): мало вам, говорю, каждое утро и вечер живым делать поверку, подумайте! — они вчера мертвецам поверку устроили!.. Недосчитались, видите ли, кого-то на вечерней поверке и испугались — уж не сбежал ли он... Да вовремя сообразили, что их сейчас столько мрет, что всех и отмечать не успевают... Ну вот, чтобы зря не волноваться, они и решили сначала поискать беглеца в траншеях — прежде чем посылать за ним погоню... Отправились ночью с фонарями на гору и заставили санитаров вытаскивать покойников и рядами раскладывать на снегу — точь-в-точь, как на поверке живых, только что не стоймя их ставили, и притом совсем голых... Ну, у каждого ведь на груди химическим карандашом фамилия написана. Так они с фонарями обходили ряды и считали, пока не нашли мнимого беглеца... Потом санитары их полночи назад в яму сбрасывали... Потеха!

— А то, помните, в прошлом году еще смехота была, когда разгрузочная комиссия на Анзер приезжала? Они ведь ежегодно, когда кончают со всеми делами в Кремле, приезжают сюда отдохнуть — поохотиться... Ну вот, всех мужчин загонщиками в лес выгнали, а среди них был один — с негнузданными коленями: стоять и ходить он кое-как еще мог, хоть и очень смешно это у него получалось (и она показала, как он ходил), точно цапля на болоте, а уж зато если сядет, особенно если на пол или на землю, ему без посторонней помощи никак не встать: ерзает, хватается руками за воздух, а встать — вот ни в какую! (И она опять со смехом показала, как он беспомощно хватался за воздух и ерзал.) Ну вот, кончилась охота, все вернулись, а его нет... ну, по правде сказать, его и искать не стали, сообразили, что такой далеко все равно не убежит... И правда: как он

тогда в декабре сел под дерево, так до мая и просидел. Уж как снег сошел, его нашли, да немного поздно было: тут ему уже даже и с посторонней помощью не встать было.

И она раскатисто хохотала.

Все это, конечно, было очень смешно и забавно, но кустарки, слушая ее болтовню, почему-то не смеялись, и только некоторые, наиболее проникнутые духом чинопочитания, из уважения к «начальнице», как ее все называли, вяло силились выдавить улыбку на своих утрюмых лицах.

II

По-видимому, отчетная сводка дошла до Москвы, и в лагере был получен строгий приказ: в кратчайший срок какими угодно мерами прекратить эпидемию.

«Меры» были пущены в ход самые разнообразные: между прочим были образованы из заключенных комиссии по борьбе с сыпным тифом с директивами обследовать санитарные условия быта и санитарное состояние заключенных и с полномочиями, где надо, принимать самые решительные меры.

В анзерскую комиссию вошло несколько озорниц — малокультурных и малочистоплотных, которые устроили себе развлечение из обследования волос своих товаров и вынесения для некоторых из них, в особенности соперниц, категорического приговора: обрить наголо!

Курчавая брюнетка Маруся Бочкова, у которой прическа была главным ее украшением, оказалась первой жертвой их остроумия и произвола: никакие доводы и протесты не были приняты во внимание, и суровый приговор был приведен в исполнение, хотя никто не сомневался в том, что у Маруси Бочковой голова была чище, чем у некоторых членов комиссии.

Событие это стало источником общей веселости в женском бараке на несколько дней. Встречаясь, все спрашивали друг друга:


— Маруську Бочкову видали? Вот умора-то! Как она теперь своему хахалю покажется?! Срамота!

И хохотали до слез, до колик в животе.

Но Маруся удачно вышла из положения, соорудив себе преизящный белый чепец с кружевной оборкой, который оказался ей очень к лицу, и победоносно поглядывала на всех, как бы говоря:

— Ну что, взяли? Я так еще интереснее стала...

Еще более элегантный чепец появился на миниатюрной головке анзерской Мессалины Тамары Орловой, сумевшей сделать себе головной убор, из-под которого ее нежный профиль камен казался еще изящнее и тоньше.



И всеобщее веселье на их счет приумолкло: победителей не судят. К тому же на смену явились новые развлечения: на Троицкой, по рассказам, брили поголовно все духовенство; молодых женщин посылали в баню на предмет повсеместного бритья. Пожилым и монашкам в виде снисхождения было разрешено самим произвести над собой эту операцию; двадцатилетняя монашка Шурочка Комиссарова с такой святой невинностью и с такими добросовестными подробностями давала начальнику отчет в том, как она это делала, что он еще несколько раз вызывал ее к себе, когда у него были гости, и заставлял повторять рассказ.

— А мне что? — говорила потом Шурочка. — Не жалко, пускай слушают, если их это увеселяет.

Затем началась массовая «санобработка»: всех — и молодых и старых — большими партиями загоняли на сутки в баню, чтобы за это время подвергнуть дезинфекции их белье и платье.

Я попала в такую санобработку со второй партией. В два часа ночи, как только вернулась в барак первая партия, нас подняли и погнали в баню, не позаботившись хотя бы проветрить и подмести ее после целосуточного пребывания в ней восьмидесяти женщин, лишенных возможности уединиться из нее для каких бы то ни было надобностей и вынужденных поэтому пользоваться ею же как уборной.

Эта ночь в бане вспоминается сейчас, как полный кошмаров горячечный бред.

При мигающем свете тусклой керосиновой лампы, еле горевшей вследствие отсутствия кислорода, выдыханного предыдущей партией, в прокуренной парной и смрадной атмосфере донельзя загрязненного помещения, среди темных бревенчатых стен старой монастырской бани, под низким и таким же темным дощатым потолком кишели голые женские тела, одни — молодые, хорошо сложенные, другие — старые, высохшие или расплывшиеся, с отвислыми грудями и животами, но все при этом одинаково пестро растатуированные, как это принято в уголовной среде.

Чтобы как-нибудь скоротать время, затаили хоровые песни, потом пустились в пляс. Хоровод из голых женщин с хохотом и гиканьем кружился посреди бани, а внутри него на грязном полу такие же голые женщины прыгали вприсядку. Это была какая-то бешеная свистопляска, суций шабаш ведьм с Лысой горы, бесовское радение, Вальпургиева ночь.

Мать Вероника, распустив по плечам волосы и стараясь прикрыть полотенцем свою наготу, стояла с запрокинутой головой, прислонясь к белой каменной печке в позе христианской мученицы первых веков как живое воплощение беклемишевской статуи.

Под утро публика, по-видимому, притомилась, и, хотя общее веселье продолжалось, темп совместных забав стал спокойнее. Первые ступени полка были использованы как эстрада, на которой голые исполнительницы выступали, поочередно демонстрируя свои таланты в различных номерах соловецкого репертуара.

Вот две голые девушки поют диалог в куплетах: действующие лица его — соловчане «Машуха» и «Ванюха». Последний упрекает Машуху в неверности, а она, оправдываясь, уверяет его, что не пришла в свое время на свидание, так как старостиха не дала пропуска из женского барака; в действительности же, она в назначенное Ванюхе время успела побывать на трех свиданиях с тремя разными более выгодными хахалами. В результате у нее от одного — шелковые чулки, от другого — модельные туфли и от третьего — крепдешиновое платье... Каждый куплет заканчивался забубённым припевом:

Э-эх, Ванюха!

Э-эх, Машуха!

Месяц скрылся в облаках.

Крутим мы любовь с тобою

На да-ле-ких Со-лов-ках!

Но вот уже опять хором запела вся баня куплеты шансонеточного жанра:

Тех,

кто наградил нас Соловками, просим:

приезжайте сюда сами!

Поживете тут годочка три —

иль пять...

Бу-де-те с вос-тор-гом вспо-ми-нать!

И резко контрастирующий с этим игривым тоном приглашения, надрывающий душу заунывный, щемящий тоской припев:

Соловки... Соловки... Соловки...

Чудный вид от Секирной горы...

(Секирная гора — иначе Секирка — была самая строгая «штрафная командировка», где в бывшем храме имелись знаменитые «жердочки» и где на склоне горы кончали свои счета с жизнью приговоренные к высшей мере. «Чудный вид с Секирной горы» — было последнее, что видели они, уходя из этого мира. В свое время и для меня Секирная гора была последним, что я видела с палубы парохода, навсегда увозившего меня с Соловков).

Утром принесли в баню ведро какой-то баланды и несколько деревянных ложек, но вид этого ведра был так неаппетитен, что я и не пыталась протиснуться

к нему, тем более что это, конечно, было не так просто. К тому же есть в этом зловонном воздухе мне совершенно не хотелось.

В сумерки разрешили пользоваться водой и мыться. Одновременно стали вносить в предбанник узлы продезинфицированной нашей одежды, от которых баня сразу наполнилась едким запахом серных испарений. Спеша и толкаясь, расхватывали женщины свои вещи и торопливо, кое-как одевались, чтобы скорей вырваться наконец на свежий воздух. Но, поскольку источником ядовитого запаха являлась сама их одежда, непосредственно соприкасавшаяся с их распаренными телами, избавление от смрадного банного плена помогло мало.

III

Измученная и усталая до полусмерти, возвращалась я в свою «келью» с одной мыслью — поскорей переодеться во все чистое и растянуться на постели.

Но здесь меня ждал новый неприятный сюрприз: комната, в которой помещался наш вышивальный цех и в которой я тогда жила в качестве его заведующей, была использована в наше отсутствие как дезинфекционная камера, и войти в нее, казалось, не было никакой возможности, несмотря на раскрытую форточку и затопленную для вентиляции печь. Однако деваться больше было некуда, да и меня так тянуло в постель, что я превозмогла себя и вошла в удушающе едкую атмосферу, наполнявшую комнату.

Вскоре мне стало плохо, и когда наша командирша зашла ко мне, чтобы узнать, как я себя чувствую, я с несвойственным мне раздражением наговорила ей много лишнего.

— Если нас специально хотели заразить сыпняком и в придачу наградить венерическими заболеваниями — ничего удачнее этой «санобработки» нельзя было бы и придумать: запереть чуть не на сутки около сотни голых людей — вшивых с невшивыми — и заставить их сидеть на скамьях, на которых только что до них сидела сотня голых венеричек! (Ведь вы знаете, что предыдущая партия, только прибывшая из этапа, при медицинском осмотре дала 60 процентов венерических больных). Скамьи эти не только не помыли после них, но и нам не позволили это сделать — закрыли краны, чтобы мы зря воду не тратили, — дескать, помоемся перед уходом, а перед уходом все были уже такие усталые и измученные, что почти и не мылись, так торопились скорей вырваться на чистый воздух. А пол! Загаженный, заплеванный, весь в окурках и кое в чем еще похуже! А мы голыми ногами ходили по этой грязи и, разумеется, — хороший пример заразителен — к чужой грязи прибавляли свою: ведь и мы не герметичны, да и курило у нас большинство! До сих пор меня Бог хранил — ни

разу еще на себе вшей не находила, ну а после такой «санобработки» — не поручусь: ведь там на нас вши с потолка падали!

— Если хотите, я передам ваши слова начальнику, — сказала командирша, — только ведь я заранее знаю, что он скажет на это: «Вот подумаешь, барыня нашлась, брезгует простым народом. А сама-то она что за “фря”, что не может быть в одном обществе со вшивыми? Нынче дворяне не в моде». Вот что он скажет...

— Да поймите же, что я не о себе хлопочу, я говорю, что эта мера, предпринятая якобы в целях борьбы с сыпняком, не только нецелесообразна, а поведет к прямо противоположным результатам: вот увидите — эта «санобработка» даст лишь новую вспышку эпидемии.

Командирша ушла, а я впала в тяжелое забытие.

Очнувшись, я увидела склонившуюся надо мной крупную фигуру голгофского главврача, рядом с ним начальника и заглядывающих на меня из-за его спины командиршу и «начальницу». На лице последней было написано любопытство, соединенное с испугом; она не смеялась на этот раз, но, помню, я подумала, глядя на нее: завтра она уже со смехом будет вспоминать в кустарке обо всем этом переполохе.

Главврач сказал:

— Прежде всего ее надо удалить из этой комнаты; здесь и со здоровым-то сердцем задохнешься! А на завтра я дам ей бюллетень, пусть она с утра идет на воздух... Слышите: завтра, как встанете, уходите погулять и будьте на воздухе возможно дольше.


— Я переведу ее в свою комнату, — сказала командирша.

Несмотря на утомление, я плохо спала в ту ночь, а утром, сразу после чая, отправилась по Троицкой дороге в лес. На мне были валенки, шуба и меховая ушанка.

Я так рада была побыть одной среди природы, отдохнуть душой после пережитых бредовых впечатлений! И меня потянуло на берег открытого моря. Осенью, несмотря на запрещение, я часто ходила через лес на дюны, на совершенно пустынный северо-западный берег острова, и, собирая под крики чаек и шум морского прибоя водоросли и раковины, мысленно беседовала с моими далекими друзьями и, глядя-ваясь в горизонт, повторяла рериховское: «За морями земли великие...»

IV

Мне казалось, что я хорошо помнила тропинку, которой ходила туда осенью. Но я не учла того, что тропинка начисто занесена сугробами снега и что свежий



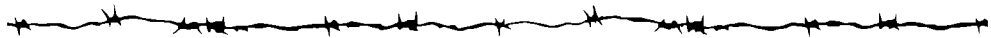
покров необычайно затрудняет ориентировку, если в поле зрения нет каких-нибудь приметных вех, вроде отдаленных строений или хотя бы крупных валунов, лесных полянок, озер...

Через несколько лет, уже будучи в Ленинграде, мне случилось присутствовать в фойе театра при опытах, которые *conférencier*⁶ производил над публикой: испытуемого ставили перед стулом, на котором стояла зажженная свеча; затем ему завязывали глаза и предлагали отойти от стула на десять шагов и, повернувшись на 180 градусов, сделать десять шагов обратно к стулу и погасить свечу. Опыт этот повторялся десятки раз под непрерывные взрывы смеха — и ни один из испытуемых, храбро вызывавшихся исполнить такое, казалось бы, несложное задание, не только не погасил свечи, но и не взял, повернувшись, хотя бы приблизительно верного направления: одни забирали в сторону градусов на девяносто, другие, описав все 360 градусов, продолжали, под общий смех, удаляться от стула и пытались потушить свечу там, где ее вовсе не было. Наблюдая этот забавный опыт, вызывавший такое веселье, я невольно вспомнила себя в анзерском лесу в последних числах декабря 1929 года — и поняла, почему я тогда так безнадежно заблудилась: ведь я была там как бы с завязанными глазами — потому что видеть у себя под ногами и всюду вокруг одну девственно-белую снежную пелену еще не значит что-нибудь видеть. Положительно, это был тот же случай, что демонстрировался с таким успехом в фойе театра, только мне тогда было далеко не до смеха...

Когда под ногами мелькают камни, пни или кочки, кусты брусники или папоротника, они помогают держать прямое направление, а когда идешь по снегу, кажется, что вот лишь чуть-чуть отклонилась влево, чтобы обойти дерево, и чтобы выправить направление, слегка отклоняешься вправо, а через полчаса неожиданно набредаешь на свои собственные следы: оказывается, я, не подозревая того, описала круг и попала туда, где уже была сегодня однажды.

Идти приходилось целиной, с каждым шагом погружая ногу в снег выше колена и затем с усилием вытягивая ее из сугроба. Это было утомительное занятие. К тому же то одна, то другая нога проваливалась между скрытыми под снегом кочками или спотыкалась о камни и корни деревьев, и тогда я падала то на четвереньки, то на спину и с усилием снова поднималась на ноги. С самого утра я бесплодно блуждала таким образом и уже очень устала. Между тем приближались сумерки. Потеряв надежду, да и охоту выбраться к морю, я решила капитулировать и по своим собственным следам выбраться из леса. Но следы мои описывали гигантские «мертвые петли» и по несколько раз приводили меня

⁶ Конферансье (фр.)



снова и снова на прежнее место. Я решила, пока не стемнело, взобраться на какую-нибудь возвышенность, чтобы увидеть более широкие горизонты и попробовать определить страны света.


Местность была холмистая, но когда я взобралась на один из холмов, пошел густой и обильный снег, и все дали оказались совершенно затянутыми сплошной белой сеткой.

Я было попробовала кричать, но тут же вспомнила, что сегодня все анзерские мужчины (на смену женщинам) подвергаются санобработке, то есть заперты в бане, и нет надежды встретить ни одного случайного лесоруба, ни одного так называемого шакала, то есть босяка-уголовника, встреч с которыми я прежде всегда так боялась. Остров был пуст, как может быть пуста только территория концлагеря, когда ее население находится под замком.

Я начинала уже выбиваться из последних сил. Так хотелось присесть отдохнуть хоть на несколько минут, хоть ненадолго перестать месить снег, но я знала, что не должна себе это позволить: после двух бессонных ночей и целого дня ходьбы на воздухе я легко могу заснуть, и никто не придет разбудить меня и вывести из лесу, и я просижу тут до весны, как тот, с несгибающимися коленями, который сел в декабре и просидел до мая. И когда меня найдут, «начальница» будет со смехом рассказывать об этом в кустарке, а из административной части напишут домой лаконичное сообщение о том, что я умерла в декабре 1929 года... Надо идти, надо месить сугробы, пока хватает сил.

Сумерки быстро сгущались. Эту ночь мне придется провести в лесу. Только бы не сесть случайно, только бы не заснуть. Все чаще и чаще я стала спотыкаться и падать: то на четвереньки, то на спину...

И вот один раз я случайно упала не на четвереньки и не на спину, а на колени. Упала — и замедлила встать: поза, в которой я очутилась нечаянно, помимо моей воли, вдруг напомнила мне о пути, о котором я ни разу не вспомнила за весь день своих бесплодных блужданий, — возможно, единственном способе выбраться из этого безнадежного лабиринта. И тут же, не вставая с колен, я обратилась за помощью к Тому, в Чьей воле была моя жизнь, и каялась в своем маловерии, и просила вывести меня на верную дорогу. Когда я поднялась, у меня было легко и спокойно на сердце, я не озиралась по сторонам, не колебалась, куда идти, и, всецело доверяясь высшей воле, пошла вперед, не задаваясь вопросом, приближаюсь я к цели или отдаляюсь от нее. И странное дело, я больше не спотыкалась, не падала, не испытывала недавней усталости. Было уже почти темно. Очень скоро



мои ноги вынесли меня на какую-то возвышенность. Когда я достигла ее верха и взглянула перед собой, я увидела внизу, у подножья холма, на котором стояла, Троицкую дорогу, за нею снежный простор залива, а вдали, направо, приветные огни Анзерского скита... И когда, спустившись, я пошла по наезженной, хорошо укатанной, ровной дороге, по которой можно было быстро двигаться, почти не поднимая ног и не делая никаких усилий, мне показалось, что за спиной у меня выросли крылья и что я утратила значительную часть своего веса — и притом не иду, а скольжу, еле касаясь земли.

Я благоразумно умолчала о том, что заблудилась в лесу: ведь меня могли бы не пустить в следующий раз. Я сказала, что по совету врача все время «гуляла», очень проголодалась и, как только поем, лягу спать. В моей комнате еще сильно пахло дезинфекцией, но все же не так, как накануне: ее весь день проветривали. Пока я разогревала у плиты свой суп, заledenевшее на мне снизу белье оттаяло, и меня стал трясти сильный озноб. Переодевшись во все сухое и приняв порошок фенацетина, я легла на свой топчан укрывшись поверх одеяла шубой и всем теплым, что у меня имелось.

V

Но и в эту ночь мне не скоро суждено было уснуть: стук в дверь поднял меня с постели, и, торопливо натянув шубу поверх рубашки, я с удивлением впустила незнакомого посетителя. Он вручил мне пачку писем с новогодними приветами от моих друзей из Кеми и соловецкого Кремля, пояснив, что только что прибыл в Анзер в кратковременную командировку, а с неделю тому назад был в Кеми и познакомился там с моими друзьями.

Еще сравнительно молодой, энергичный и, по-видимому, очень культурный, он сразу расположил меня к себе, и мы разговорились, как старые знакомые.

При свете маленькой керосиновой лампочки мы долго сидели за столом и говорили без помехи — благо все думали, что я сплю, и не заходили ко мне.

Петербургец, как и я, он был историк-медиевист, а здесь, в лагере, заведовал питомником пушных зверей и в связи с этим вел кочевой образ жизни, расселяя своих питомцев по всему Соловецкому архипелагу: на Анзер он привез сейчас партию песцов, в Кемь ездил за выписанными из Америки породистыми бобрами.

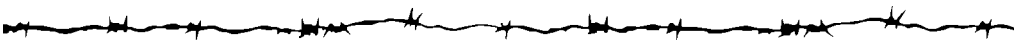
Я расспрашивала его о моих друзьях, которых он только что видел в Кеми и в соловецком Кремле; рассказала о том, как заблудилась сегодня в лесу.

И мы делились опытом и впечатлениями лагерной жизни, которые во многом у нас были схожи.

— Соловки — страна чудовищно жутких контрастов, — говорил он. — Я живу в Филипповой пустыни, где некогда спасался митрополит Филипп. Сейчас там находится зоопитомник, а для его обслуживания туда выделены самые подонки соловецкого населения; и то, что сейчас там творится, превосходит позор всякого публичного дома, всякого воровского притона.

Контраст между тем, чем было в течение веков это место, освященное молитвами спасавшихся там праведников и многих тысяч паломников, и тем, что теперь там происходит, — чудовищен, оскорбителен для каждого, в ком еще живо религиозное чувство или хотя бы уважение к нашему историческому прошлому. А мне этот контраст представляется порой не случайным, а преисполненным какого-то глубокого значения. Он словно символизирует наше всеобщее современное духовное и моральное падение, вопиет об искуплении, о спасении — не только этих жалких и случайных жертв нашего беспринципного времени, а всего многострадального русского народа, который когда-то было принято называть народом-богоносцем и который сейчас так глубоко пал — замученный и поруганный... Не в этом ли горниле греха и страданий — искупление, путь к очищению, на котором, может быть, мы снова обретем своего Бога?..

— Вы знаете, — перебила я его, — та же аналогия напрашивалась и мне, когда я, приехав сюда, увидела превращенный в руины обезглавленный и обескрещенный соловецкий Кремль. Ведь я была здесь и раньше, до революции, и еще видела его таким, каким он был прежде, — сказочно живописным, напоминающим оперную декорацию в стиле острова князя Гвидона, когда монахи были еще здесь полными хозяевами, а богомольцы и богомолки благоговели перед каждой чайкой, каждой веточкой незабудок. Но ведь в сущности их благоговение было довольно элементарно: они приезжали в Соловки — как ездят в санаторий — для исцеления своих душевных и телесных недугов. В вашей Филипповой пустыни всегда была очередь перед камнем, который, по преданию, служил изголовьем священномученику Филиппу. Считалось, что стоит только обойти часовню посолонь с этим камнем на голове, чтобы навсегда исцелиться от головной боли.. Такая детски наивная чистая вера, конечно, трогательна и прекрасна, но все же эти люди искали здесь лишь избавления от своих страданий, а не самоотречения и бескорыстного подвига веры, какие мы видим здесь сейчас, потому что наряду с теми подонками, о которых вы говорили, сколько здесь добровольных стойких и самоотверженных мучеников и мучениц за веру. И еще не известно, что перевесит в конечном итоге славной истории Соловков и послужит к их вящему про-



славлению — тот ли период существования монастыря, когда никто не посягал на его святость и когда соловецкий Кремль выглядел таким живописным, нарядным и благополучным, или когда теперь он стоит поруганный — обезглавленный и обескрещенный, в мученическом венце — безмолвный свидетель всего, что здесь теперь творится? Не стал ли он символом того самого очищения через горнило страдания, о котором вы говорите, очищения веры от всего наслоившегося на нее чисто бытового и граничащего с суеверием? А слепыми орудиями к этому обновлению и очищению веры оказываются ее гонители — так оно, впрочем, всегда и прежде было. Ведь в сущности и самый Крест — этот символ христианства — в свое время был не более как орудие позорной казни и самого кощунственного надругания над Богом и Человеком, какое когда-либо было в мире...

Тут же, при нем, я написала ответные письма моим друзьям и, когда он ушел, уже не чувствовала себя одинокой и покинутой: меня помнят и любят, обо мне думают — и в Кемии, и в Кремле, и уж, конечно, в Ленинграде, а главное — не надо забывать того, что, где бы я ни была, моя душа всегда открыта всевидящему Оку Того, Кто управляет моей судьбой, только бы мне самой уметь понимать Его волю, уметь соотносить с нею мои мысли и поступки. И тогда нигде не будет страшно и одиноко... Даже в лесу зимней ночью.

На следующий день на Анзер приехала разгрузочная комиссия «отдохнуть и поохотиться», и всех мужчин сразу из банной «санобработки» погнали в лес загонщиками.

Своего ночного посетителя я больше никогда не видела, хотя, прощаясь, он предполагал вскоре снова побывать на Анзере и обещал навестить меня. Говорили, что, вернувшись в Филиппову пустынь, он заболел сыпняком и, хотя и выжил, перенес тяжелые осложнения и навсегда остался нетрудоспособным — глухим и разбитым инвалидом. Я слышала потом, что спустя несколько лет он умер в тюрьме.

Свидание

Тихий и лучезарный августовский вечер был на исходе. Я сидела у открытого окна, перечитывая полученные в этот день письма. Они были из дома, из Ленинграда. Так долго, так нетерпеливо ждала я их, но они не принесли мне утешения, лишив последней надежды, которой я жила с самого моего приезда сюда, — надежды на свидание с моей названной дочкой Наташей: ее отец писал мне, что, несмотря на его неустанные хлопоты, он не получил ответа ни на одно

свое заявление, а лето тем временем подходит к концу, скоро он снова закабалится работой и не сможет приехать, даже если бы наконец и получилось разрешение на свидание.

— Видно, приходится отказаться от надежды свидеться этим летом и отложить хлопоты до будущего года, — писал он.

Легко сказать — «до будущего года»! Ведь это значит еще на год продлить разлуку. А в Наташином возрасте каждый год — большой этап в ее маленькой жизни. Я оставила ее семилетним ребенком, сейчас ей уже девять, через год будет десять! Без меня она стала школьницей, новый круг людей и впечатлений с каждым днем все больше отдаляет ее от невозвратной поры ее младенчества, а вместе с тем и от меня, с которой для нее неразрывно связаны первые годы ее жизни. С болью вспоминается последний час нашей совместной жизни. Мы тогда и не подозревали того, что он последний, и однако необъяснимое предчувствие, по-видимому, смутно тяготило ее детскую душу: в тот вечер она была необычайно нежна со мной и долго не отпускала от своей постельки, как я ни уговаривала ее спать.

— Я должна сказать тебе один секрет, — настаивала она.

— Спать, спать!.. Все секреты завтра, — сказала я. Однако [она] настояла на своем:

— Я не усну, пока не скажу, — и, притянув меня к себе, сказала мне на ухо торжественно и раздельно:

— Я те-бя а-ба-жаю...

Это были ее последние обращенные ко мне слова, так как я была в ту же ночь выхвачена из дома и переброшена в обстановку, которая до того мне и во сне не грезилась.

И вот уже более полутора лет я живу оторванная от родных и близких, от Наташи... Держалась надеждой на свидание. А вот сегодня рухнула и эта надежда. Мне хотелось плакать, и я почти с ненавистью смотрела на замыкавшие мой горизонт немые лесные дали, заслонявшие от меня остальной мир со всем, что было для меня в нем дорогого.

Внезапно распахнулась дверь (в лагере не полагалось стучаться), и вошел дежурный.

— Ваша фамилия? — спросил он меня и, убедившись, что я — именно то лицо, которое ему было нужно, сказал: — Собирайтесь с вещами. Будьте готовы через полчаса, чтобы идти на пристань. Лодка ждет.

— Куда же это? — растерянно спросила я, хоть и предвидела стереотипный ответ:

— Это никому не известно. На вас пришел пакет и вызов. За пакетом зайдите в адмчасть.

И пошел в женбарак, оставив меня в полном смятении. Вошел следователь.

— Возможно, что вы больше и не вернетесь сюда: на всякий случай, забирайте с собой все ваши вещи...

Я принялась беспорядочно бросать в чемодан белье, книги, посуду, продукты. Дверь то и дело распахивалась, и комната наполнялась народом. Больше всех волновались «кустарки», на все лады обсуждая мою новость и высказывая досужие соображения и догадки.

— Это не освобождение, — утверждали одни.

— Ну, едва ли «вчистую»; скорее всего — замена лагеря ссылкой, — говорили другие.

— А может, просто на свидание, — высказал кто-то догадку.

Я печально покачала головой:

— Нет, только не это: я как раз сегодня получила письмо о том, что из хлопот о свидании ничего не вышло.

— Ну, может, вызов на новую работу: Корсаков давно добивается вашего перевода к нему в Кемь.

Пришел «зав» анзерскими кустарками.

— Если окажется, что вас вызывают на свидание, добивайтесь разрешения для ваших гостей приехать на Анзер: ведь свидание продлится не менее недели, а работа цеха без вашего руководства затормозится, и как раз в самое горячее время, когда мы готовим экспонаты к Кемской выставке. Если вам разрешат захватить ваших гостей сюда, я перекочую в общий барак, а вам предоставляю свою комнату — только возвращайтесь возможно скорее!

— Спасибо. Но это не может быть на свидание; скорее всего, я и вовсе не вернусь сюда больше...

— Ну, тогда наше участие в Кемской выставке сорвано, — сказал он, разводя руками, и сердито вышел из комнаты.

Сияющая, вбежала матушка Топоркова, ей, как и мне, было приказано «собраться с вещами», но для нее это распоряжение не было такой неожиданностью, как для меня: уже с месяц тому назад она закончила свой трехлетний срок и нетерпеливо ждала своих бумаг.

Всеобщее внимание было перенесено с меня на нее: ее случай не давал, как мой, пищи для догадок и предположений, но с тем большей горячностью ее осыпали поздравлениями, добрыми пожеланиями и напутственными советами — кто искренно радуясь за нее, кто втайне завидуя, смотря по характеру и обстоятельствам.

Я была рада иметь своей спутницей матушку Топоркову: тихая и кроткая, невозмутимо спокойная, незлобивая и любвеобильная, она удивительно хорошо действовала на меня в минуты, когда мне изменяло мое душевное спокойствие, а теперь я потеряла всякое равновесие и особенно нуждалась в ее благотворном влиянии.

Вдова сибирского священника, матушка Топоркова оставила на родине на полный произвол судьбы четырех несовершеннолетних дочек, к которым были устремлены все ее мысли, — и однако у нее хватало тепла и деятельного участия для каждого, с кем ее сводила судьба. Нас с нею роднила тоска и тревога по нашим девочкам, о которых, оставаясь вдвоем, мы не устали рассказывать друг другу. Анзерские монашки-девственницы презирали ее всей душой — и за то, что она была замужем и имела детей, и за то, что до замужества была учительницей, ходила в театр и читала романы, а возможно, еще более за то, что она выгодно отличалась от них своим неподдельным смирением и пользовалась всеобщим уважением и любовью.

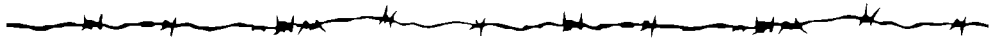
При всяком удобном и неудобном случае они разъясняли профанам-мирянам, что попадью не полагается называть «матушкой», так как это высокое звание приличествует по праву одним инокиням. Но миряне никак не могли взять в толк, почему почетное имя матери подходит больше бездетным девственницам-монашкам, чем имевшей своих детей и воспитавшей не одно поколение чужих Наталии Семеновне Топорковой. А она, будто и не замечая их неприязни, охотно помогала им чем могла, делясь последним, и только никогда не участвовала в их склоках, пересудах и сплетнях.

Уложившись, я вместе с нею прошла в адмчасть. Там каждой из нас вручили по внушительному пакету с большой красной сургучной печатью.

— По прибытии в Кремль предъявите в комендатуре, — сказали нам на прощанье.

И вот мы уже сидим на своих вещах в парусной лодке. Ночь уже не солнечная, но светлая и теплая. Море — как зеркало. Лодка, слегка накренившись, быстро скользит, унося нас от анзерских будней к таинственному будущему. Там — на этом вырастающем перед нами из воды берегу Соловецкого острова — не дальше, как завтра утром, узнаю я разгадку так путающей меня тайны. И чем ближе к цели, тем мучительнее сжимается сердце, тем труднее кажется дожить до утра.

На пристани нам предоставили подводу, на которую мы погрузили наши вещи, и мы, сами рядышком усевшись на них, покатали по гладкой лесной дороге, пересекающей остров насквозь с севера на юг.



Совсем не помню, о чем мы говорили в пути: все мои мысли были поглощены вопросом, что ждет меня в конце этой дороги.

Ранним утром мы выехали из леса, и подвода покатила по пологой дороге среди открытых полей к видневшемуся вдали соловецкому Кремлю с его древними башнями, высокими колокольнями и руинами храмов. А за ними блестело в лучах утреннего солнца открытое море. В первый раз я видела соловецкий Кремль с этой стороны, и он предстал предо мной, как на ладони, — одним словом, по-новому чарующий своей величавой стариной, печальный и таинственно-прекрасный.

— За этими башнями разгадка моей ближайшей судьбы, — подумала я, и у меня дух захватило от нетерпения скорее узнать ее.

Волнение мое достигло крайнего предела, когда наша подвода остановилась перед воротами Кремля. Возница снял наши вещи на землю и скрылся вместе со своим экипажем, а мы, разминая отсиженные ноги, стали обсуждать ближайший план действий.

Прежде всего нам надлежало предъявить наши пакеты в комендатуру, но тащить туда с таким багажом нам было не под силу. Поэтому мы решили сходить в комендатуру по очереди — налегке.

Общими усилиями мы перетаскивали вещи во двор — я осталась стеречь их, а матушка Топоркова пошла разыскивать комендатуру.

Сидя на своем чемодане и нетерпеливо дожидаясь ее возвращения, я озиравлась на окружающие меня древние кремлевские строения.

Против меня высилась сплошная — без окон и дверей — шероховатая стена какого-то собора. По свежей известке на ней был нарисован гигантский силуэт современного города с дымящими фабричными трубами и подъемными кранами, с парящими над ними самолетами, и надо всем — большая красная пятиконечная звезда. Под городом красной краской был выведен лозунг:

— Да здравствует Первое мая — светлый праздник трудящихся всего мира!
Да здравствует свободный и радостный труд!

«Свободный труд» — какой злой и неуместной иронией, думалось мне, звучит этот лозунг в лагере, где всякий труд официально именуется «принудительной работой», где и рисунок этот, и лозунг под ним сделаны заключенными художниками по приказу начальства! Пройдет год-другой, и этот рисунок с лозунгами смоят осенние дожди и весенние капли, а стена древнего храма останется стоять несокрушимо, повествуя грядущим поколениям о Соловках-монастыре, в то время как Соловки-лагерь, возможно, сотрется из памяти людей, как сотрутся с этих древних стен все современные рисунки и лозунги, сделанные наспех, к случаю, на злобу сегодняшнего дня непрочной клеевой краской, и

уже никто не воскресит причудливых и тяжелых картин лагерного быта, свидетелями которых были мы...

Матушка Топоркова вернулась с лицом именинницы, так как в этот ранний час в комендатуре не было никого, кроме дежурного; он, вскрыв ее пакет, приветливо поздравил ее с освобождением «вчистую» и даже дал ей прочесть ее формуляр, на что по лагерным законам не имел никакого права.

— Идите скорей, пока он там один, — торопила она меня, — может, он и вам скажет больше, чем полагается. Вы знаете, в разговоре со мной он обмолвился даже такой фразой: «Все мы, верующие, в их глазах — контрреволюционеры». Как вам нравится это «в их глазах», точно он — не «они»?

«Авгур» — вспомнилось мне: так в свой первый день в лагере я окрестила представителей лагерной администрации. Но сейчас мне было не до размышлений: я уже мчалась в комендатуру. Запыхавшись, поднялась по деревянной монастырской лестнице и, изнемогая от волнения, протянула мой пакет с сургучной печатью молодому человеку в гэдэушной форме.

Он вскрыл пакет и, пробежав глазами бумагу, сказал, улыбаясь моему волнению:

— Ну вот, к вам приехали гости... Вы вызваны на свидание с ними.

— Господи! Да неужели правда?!

Но через минуту, уже усвоив счастливую неожиданность, я быстро и бестолково заговорила:

— Посоветуйте, как мне действовать. Я — инструктор анзерской кустарки, и наш «зав» поручил мне, в случае если вызов этот — на свидание (на что я совсем не надеялась!), добиваться разрешения увезти моих гостей на Анзер: без меня затормозится работа, а сейчас это особенно некстати, так как мы готовим экспонаты к Кемской выставке и мое руководство необходимо. Где и как хлопотать об этом?

— Видите ли, прежде чем хлопотать о разрешении увезти гостей на Анзер, вы должны еще добиться личного свидания, ведь Москва разрешает свидание лишь в общей форме, а определять, кому — «личное», кому — нет, каждому, так сказать, по его заслугам, предоставляется местной власти, и поэтому о праве личного свидания приходится хлопотать особо уже здесь. Те, кто не имеют личного свидания, могут встречаться со своими гостями лишь в определенные часы (по два часа в сутки) в общей зале в присутствии командирши. При таких условиях поездка на Анзер, разумеется, отпадает. Стало быть, вам надо начинать с того, чтобы подать заявление в ОСО о разрешении вам личного свидания. Впрочем, ведь ваши гости здесь уже со вчерашнего утра (последний пароход был вчера утром) и могли успеть по-

дать такое заявление со своей стороны; в таком случае подавать заявление и вам — нет смысла.

— Но как же я узнаю, подали ли они заявление?

— А вы сходите в Дом свиданий и справьтесь у командирши: она должна быть в курсе, так как все такие заявления идут через нее.

— Ну, спасибо вам, спасибо! — и я умчалась делиться с матушкой Топорковой своей новостью. Она восприняла ее с искренней радостью. Теперь уже обе мы сияли, как именинницы.

В несколько приемов мы кое-как перенесли свои вещи в женбарак, и я отправилась на розыски «Дома свиданий». Ну уж и придумали название!

Чистенький, бревенчатый, видимо только что отстроенный, дом санитарного типа или типа дома отдыха стоял в лесной чаще, глубоко спрятанный от посторонних глаз.

Как учащенно билось сердце, когда я лесной тропинкой приближалась к нему. Перекинулись птицы, утренняя роса сверкала под ногами, пахло смолой и грибами. Между стволами деревьев уже виднелось уютное крылечко с резными перилами, замелькали окна с веселыми желтыми занавесками. За одной из этих занавесок — Наташа... Но сейчас я еще не имею права на встречу с нею.

Я поднялась по ступенькам крыльца и очутилась в светлой прихожей. У телефона спиной ко мне стояла командирша. Когда она повесила трубку, я назвала ей себя и хотела объяснить цель своего прихода, но она торопливо бросила на ходу: «Присядьте», — и поспешно прошла в коридор, вероятно спеша сначала докончить дело, о котором говорила по телефону.


Я села на стул, решив терпеливо ждать ее возвращения, но не успела и оглядеться, как по коридору засеменили торопливые детские шаги и, прежде чем я что-либо сообразила, Наташа уже была в моих объятиях, а за нею, ожидая своей очереди, стоял, улыбаясь, ее отец.

— Стойте, стойте! — говорила я, смеясь и плача и по очереди целуя их, — ведь мы еще не имеем права быть вместе...

— То есть как это — не имеем права, — возмутился Владимир Иванович, — когда у нас «личное» свидание?!

— Личное свидание?! Вы, значит, уже успели выхлопотать?

— Ни о чем я не хлопотал, ведь я не знал, что это надо, даже и понятия не имел, что бывают «личные» и «неличные» свидания. По-видимому, кто-то другой о нас позаботился — спасибо ему за это...



Из дальнейшего разговора, который происходил уже в комнате, выяснилось, что право личного свидания досталось нам самым загадочным образом.

— Как раз в тот момент, — рассказывал мне Владимир Иванович, — как мы входили сюда со своими вещами, прямо с парохода, командирша, отходя от телефона, кричала своей помощнице:

— Запишите: Синакевич — личное свидание...

Я подошел и представился ей, а она тогда и мне повторила то же: только что получено распоряжение по телефону — вам предоставляется личное свидание... А я тогда до такой степени был не в курсе всех этих разграничений, что даже не понял, что это значит.

Так мы никогда и не узнали, кто был этот таинственный доброжелатель, устроивший нам возможность тесного общения без парализующего контроля соглядатаев, без ограничения времени и места свидания. Загадка эта тем более казалась нам неразрешимой, поскольку ни у меня, ни у Владимира Ивановича не было ни единого знакомого человека в адмчасти соловецкого Кремля, от которой исключительно зависело разрешение личного свидания.

В тот же день я подала через командиршу заявление, прося о разрешении увезти моих гостей на Анзер, но ответа на него не последовало, хотя я не раз спрашивалась о его судьбе.

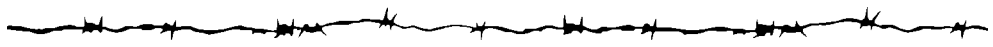
Так мы и прожили весь срок свидания на Главном острове в Доме свиданий.

Оно длилось ровно неделю.

У нас была чистенькая и веселенькая комнатка в одно окно, с пахнущими смолой стенами. Мы чувствовали себя окруженными заботливым вниманием. Еще в самый день приезда моих гостей им принесли хлебные и продуктовые карточки, причем Наташе по «детской» карточке были отпущены белая мука («крупчатка», какой в то время не было в Ленинграде), сливочное масло, сахар и манная крупа. Кроме того, ей ежедневно приносили из сельхоза по фунту молока.

Каждое утро горничная в белом накрахмаленном переднике стучала в нашу дверь (здесь без стука не входили) и спрашивалась, сколько мы заказываем обедов и нет ли у нас каких-либо особых пожеланий: обеды стоили по 70 копеек с персоны. Мы неизменно заказывали три обеда и, напившись чаю, с утра уходили на прогулку.

Нам разрешено было гулять по всем дорогам, расхившимся от Кремля вглубь острова, впрочем с ограничением: не дальше трех километров по радиусу. Но так как никто не проверял нас, а мы в пылу разговоров не интересовались числом пройденных километров, то, в сущности, мы ходили куда и сколько хотели, руководствуясь только одним соображением — вовремя вернуться к обеду.



Прежде всего я сводила их «на торф», чтобы показать, где провела я первый месяц своей лагерной жизни. Ровно через год я снова очутилась на берегу тихого лесного озера. Приземистый темный дощатый барак был теперь, похоже, необитаем, но выглядел все так же, как в прошлом году. Вот разбитое стекло в единственном на весь барак окошке, которое я затыкала тряпкой, вот входная дверь на ржавых петлях, на пороге которой я, бывало, слушала по вечерам несшиеся из карцера мелодичные и печальные песни Анельки.

Противоположный холмистый берег, как и тогда, был уже слегка подернут осенью.

— В прошлом году я бродила там целыми днями, — рассказывала я. — Сколько там было крупной, сочной черники, сколько грибов — белых, красных, масляток и подберезовиков!

Корзины у меня не было, и я собирала их целыми наволочками — благо никто, кроме меня, туда не ходил, ведь все остальные были на работе, а безработная, как и я, Т. Н. Гиппиус была простужена и, сидя на нарах, рисовала на почтовых открытках, за неимением другой бумаги, иконки для верующих «урок» (были среди них и такие) и монашек. Урки, вероятно, в благодарность за эти подарки приносили ей букеты вереска и душицы, а нам обеим краденые турнепсы с соседнего поля. Мы же, в свою очередь, угощали их жареными грибами.

...Мы оставались здесь до заморозков. Потом нас перебросили на Анзер — всех, кроме Татьяны Николаевны, которую вызвали в Кремль: ей там поручили воспитание маленькой девочки — сиротки Асеньки. Эта девочка чем-то напоминала мне тебя, Наташа. За время нашего пребывания «на торфу» мы очень сблизились с Татьяной Николаевной и жили общим хозяйством. Так как она была больна, я получала обед на нас обеих сразу в одну манерку; протягивая ее повару-китайцу, я кричала ему наши фамилии, так как, отпуская порции, он отмечал мелком на доске крестиками в общем списке обслуживаемых им заключенных: Гиппиус, Яфа! — чем повергал в полное изумление стоявших за мною в очереди.

— Г. П. У. с Яфа! — говорили они. — И дал же Бог такую поганую фамилию — Геппеу! И как это жить на свете с такой фамилией!

На следующий день мы ходили по дороге к Секирной горе, потом — к Савватиевскому скиту. Мы были одни, вдвоем и говорили о чем хотели. Я делилась всем пережитым в тюрьме и в лагере. Владимир Иванович рассказывал о их жизни в Ленинграде после 18 января 1929 года, о наших друзьях и знакомых,

обо всех новостях ленинградской жизни: новые книги, новые театральные постановки, новые анекдоты на злобу дня.

Наташа бежала около, срывая по краям дороги цветы и ягоды, прислушиваясь к нашей беседе, а иногда шла рядом, держась за мою руку, и сама рассказывала мне о школе, о своей новой подруге Тамаре Савельевой, о своей маленькой племяннице Наде Тарасовой.

Однажды она рассказала мне свой сон, который, как она уверяла, приснился ей в ночь с 18 на 19 января 1929 года, после того памятного вечера, когда мы с ней виделись в последний раз:

— Будто идем мы с тобой по Литейному к Неве и держимся за руки. Дошли до моста, а он — не то разведен, не то поломался, только чтобы попасть на него, надо пройти по узкой доске, перекинутой к набережной...

— Ну, вдвоем идти нельзя... — ты говоришь, — уж придется по очереди...

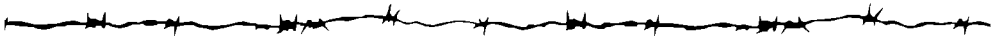
Оставила мою руку и пошла, а я осталась, жду, чтобы идти за тобой, а доска, как только ты ступила на мост, упала в воду... Я стою и плачу, а ты уходишь по мосту все дальше — и даже не обернешься. Потом тебя и вовсе не стало видно... А утром мне сказали, что ты уехала в командировку... Как я ждала тебя домой со дня на день. И тогда, да и позже бывало... Иной раз возвращаешься из школы — и вдруг придет в голову: а что если я сейчас поднимусь по лестнице, позвоню — и ты откроешь мне дверь? Побежишь скорей, а перед дверью остановишься — и звонить боишься: ведь знаешь, что этого не будет... А когда начали приходить твои письма с картинками (помнишь, ты мне нарисовала слона, потом лошадку, девочку с куклой?), я завела для них отдельную коробку и складываю в нее все твои рисунки, открытки с картинками, письма...

Я слушала, сжимая в своей руке ее маленькую, теплую ручку. Болью в душе отзывались эти отрывочные рассказы, в которых звучала детская тоска одиночества и теплая привязанность ко мне.

Зато как крепко прижимались друг к другу мы, ложась спать на узкий топчан Дома свиданий.

К часу мы возвращались в наш номер. Накрахмаленная горничная застилала стол белой скатертью и ставила три прибора: красивые фарфоровые тарелки, новенькие блестящие ложки, ножи, вилки. Я давно отвыкла от такой сервировки!

Сервировке соответствовало и качество обедов: они были из трех поварски приготовленных блюд, и за всю неделю меню ни разу не повторялось: вкусные разнообразные супы с гренками или пирожками; на второе — то отбивные котлеты, то жареная рыба, голубцы, зразы, пельмени с маслом и сметаной. К мясным и рыбным блюдам прилагались вкусные овощные гарниры. Наташа



нетерпеливо ждала третьих блюд. Это были кондитерские пирожки, фруктовые желе, муссы, компоты, а однажды нам принесли даже сливочное мороженое, которое доставило Наташе особую радость. Видно было, что девочка не избалована вкусной едой.

После обеда мы снова уходили из дома: в комнате было неуютно разговаривать по душам, так как за почти прозрачной дощатой стенкой, отделявшей нас от пустующего соседнего номера, мы часто слышали осторожный шорох и вскоре обнаружили, что это было в тесной связи с системой распределения комнат приезжающим гостям. Им предоставлялись номера 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 и так далее, а номера промежуточные: 2, 5, 8, 11 и так далее неизменно пустовали — явно не случайно, а согласно определенному плану. Поэтому только дождь, который, на наше счастье, выпадал в эти дни редко и ненадолго, мог заставить нас сидеть в комнате.

Мы посетили Соловецкий краеведческий музей и несколько раз ходили в «Розничный магазин» УСЛОНа (Управления Соловецкими лагерями особого назначения), где в то время было большее разнообразие товаров, чем в Ленинграде. Владимир Иванович купил там большой эмалированный чайник и кое-какие другие хозяйственные предметы, которых он не мог найти в Ленинграде.

Однажды, когда мы с Наташей поджидали его, опять увлекшегося какими-то покупками, у подъезда «розмага», сидевший у входа дневальный — еще молодой, благообразный, с виду культурный человек, вероятно по слабости здоровья попавший в дневальные, — долго молча, с нежной грустью смотрел на Наташу и, предположив, должно быть, что мы с нею — приехавшие на свидание жена и дочь заключенного соловчанина, спросил Наташу:

— Девочка, у тебя здесь папа?

И когда Наташа, у которой ее папа стоял здесь в очереди перед кассой магазина, ответила утвердительно, глаза его внезапно наполнились слезами, и, отвернувшись, он стал напряженно смотреть в сторону пристани и моря. А я, предположив, в свою очередь, что у него, верно, есть где-то на воле такая же девочка, и по личному опыту зная, как мучительна бывает разлука, тоже чуть не заплакала и, отвернувшись, стала смотреть в другую сторону — на кремлевские башни.

Владимир Иванович, накупив в продуктовом отделе к нашему ужину сыра, колбасы или консервов, снова присоединился к нам, и мы шли бродить по острову, любуясь красками склонявшегося к вечеру осеннего дня и спеша пересказать друг другу все, чем в свое время не могли делиться в письмах и о чем не сможем уже рассказывать, расставшись.



Неделя промелькнула, как волшебный сон, — и уже пора было разлучаться.

В последний день Наташе была куплена в «розмаге» кукла — продукция анзерского игрушечного цеха: она не отличалась пропорциональным телосложением, а головка из папье-маше, с поднятыми кверху страдальческими глазами, не была наделена красотой (бывшая иконописка Шурочка Комиссарова, которая разрисовывала эти головки, поясняла: «Я привыкла святых рисовать, так у меня и куколки-то все молятся»), но Наташа и игрушками, видимо, не была избалована и испытывала неподдельный восторг.

Из «розмага» мы прошли в фотографию: Владимиру Ивановичу захотелось, чтобы мы увековечили наше свидание, снявшись втроем на одну открытку. Но фотограф отказался исполнить наше желание, сославшись на запрещение снимать на одну пластину вольных граждан с заключенными. Мы с Наташей снялись порознь, а Владимир Иванович сказал, что предпочитает сняться вдвоем с Наташей в Ленинграде.


Вечером к нам постучалась горничная и спросила, не хотим ли мы заказать на дорогу ребенку молока или сладких булочек.

Мы, разумеется, заказали и то, и другое.

Следующее утро было холодное и мглистое, как глубокой осенью. В последний раз я расчесала и заплела Наташе косички, в последний раз мы вместе напились чаю и наспех закусили. Разобрали вещи — что останется со мной, что поедет в Ленинград, уложились.

Все казалось, что чего-то самого главного так и не успели сказать друг другу, и от этого напряженно молчали, силясь вспомнить, найти то «самое главное», и заранее мучились мыслью, что, если оно вспомнится через час, через день, уже будет поздно — а в письме ничего не напишешь.

Пароход уже ждал у пристани, но заключенным было запрещено провожать гостей до парохода. Надлежало проститься в комнате, после чего все гости должны были собраться «с вещами» на крыльце Дома свиданий. Там уже стояла подвода для их багажа и ждала командирша, чтобы в организованном порядке сопровождать гостей: сначала в УСЛОН — для проверки багажа (здесь, как в самостоятельном государстве, не только были свои деньги, но и своя таможня), а потом и на пароход.



Я надела на Наташу ее синее драповое пальтецо и повязала ей поверх пикейной панамки свой белый оренбургский платок, перекрестила на прощанье, и мы вышли на крыльцо. Я волокла в обеих руках свои вещи, чтобы, выйдя вместе с ними, перебраться в женбарак.

Несколько минут уезжавшие и провожавшие толпились на крыльце, ожидая, пока вещи погрузят на подводу. Провожавших значительно меньше, чем уезжавших, — ведь это только те, кто имел личное свидание, все другие уже простились со своими гостями еще вчера во время последнего двухчасового свидания в общем зале.

Наконец подвода двинулась, а за нею — уезжавшие гости и командирша.

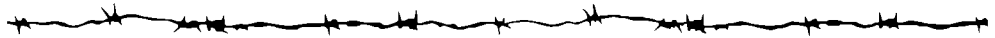
Я продолжала стоять на крыльце и смотрела им вслед. Наташа, оборачиваясь, махала мне рукой.

Когда они завернули по тропинке к берегу, я подняла свои вещи и поплелась к женбараку. Но перед тем как войти в ворота, я остановилась на мостике через плотину. Вдалеке двигалась к берегу, приближаясь к зданию УСЛОНа, нагруженная вещами телега, а за нею шел кортеж отъезжающих. Маленькая фигурка в синем пальто и большом белом платке шла рядом с отцом, держась за его руку. Инстинктивно, словно почуяв на себе мой взгляд, она обернулась, увидела меня и замахала рукой. Вот они подошли вплотную к зданию УСЛОНа, и передние стали подниматься по ступенькам подъезда, постепенно исчезая в широко раскрывшихся дверях. Вот и Владимир Иванович с Наташей подходят к этой двери. В последний раз Наташа оглянулась, махнула рукой и исчезла.

Когда-то я сравнивала Соловки с островом князя Гвидона. Как хотелось бы мне сейчас, подобно Гвидону, обратиться в комара и, забившись в щель парохода, последовать за нею в Ленинград!

Но ни у моста, на котором я стояла, ни дальше на море, не было видно царевны-лебеди, которая, обрызгав, превратила бы меня в какое-либо летающее насекомое.

Я подняла с земли свои вещи и вошла в ворота. На площадке лестницы я встретила матушку Топоркову, окруженную вещами: и она перебиралась на паром. Хотя и в последнюю минуту, я успела проститься с нею... Счастливая: она ехала к своим девочкам, а я только что проводила свою. Что таить? Я испытывала к ней сейчас острую зависть. И вместе с тем всей душой за нее радовалась. Я знала: вместе с нею, на дне одного из ее чемоданов, уезжает сейчас в далекую Сибирь кукла с иконописным лицом анзерского производства — это для младшенькой из ее дочерей, а для старших — тетрадь со стихами — текстами кантиков, которые она выучила и пела с монашками за работой в анзерской кустарке.



Она и дочек своих обучит, конечно, этим кантикам, и когда вечерами они всей семьей будут хором распевать их, она будет вспоминать Соловки и анзерскую кустарку. И обо мне не раз вспомнит: наши беседы, наши вечерние прогулки после работы к Святому колодцу за водой, нашу последнюю совместную поездку в Кремль. Вот и она навсегда ушла из моей жизни — и я никогда ее больше не увижу.

Я прошла к Татьяне Николаевне Гиппиус. Угадывая мое настроение, она обласкала меня, напоила чаем с гренками из черного хлеба, поджаренными на подсолнечном масле (излюбленное угощение в лагере). Она тоже в эти дни тяжело переживала разлуку со своей приемной дочкой Асенькой, сироткой, которую ей здесь отдали на воспитание, а когда привязанность к ней ребенка показалась превышающей установленные лагерные нормы, девочку отняли у нее и отправили в ленинградский детский дом. Весь женбарак был под впечатлением этой ненужной жестокости, многие плакали, рассказывая мне об Асеньке. Еще недавно она перенесла тяжелое воспаление легких, и Татьяна Николаевна еле отвоёвывала ее у смерти, проводя бессонные ночи у ее постельки, ни на час не отлучаясь от нее. И сейчас девочка еще не вполне оправилась и без внимательного ухода может заболеть снова, а рецидива она, конечно, не перенесет. Я видела Асеньку несколько месяцев тому назад: это была нежная, ласковая девочка.

Татьяна Николаевна сказала ей тогда:

— Это тетя Оля; у нее далеко в Ленинграде есть такая же маленькая девочка Наташа: поцелуй за нее тетю Олю покрепче.


И Асенька так доверчиво обвила ручонками мою шею, что я от неожиданности и оттого, что успела отвыкнуть от детей, внезапно расплакалась и долго потом не могла остановиться.

И теперь я снова плакала, слушая рассказы об Асеньке.

На следующий день я уже ехала на подводе в обратный путь, пересекая лесной дорогой Большой Соловецкий остров с юга на север, а на восходе солнца отчалила в парусной лодке на Анзер.

К утренней поверке я уже была в кустарке и, после поверки, вступила в свои обязанности.

Слушая анзерские новости и сплетни, я проверяла все наработанное в рукодельном цехе в мое отсутствие, и уже мне казалось, что я никуда не уезжала из этой комнаты, где за шкафом стоял мой топчан, а на полках шкафа уже снова разместились на своих привычных местах все мои вещи.



Когда Шурочка Комиссарова показывала мне свои кукольные головки с иконописными лицами, я невольно вспомнила куклу с молящимися глазами, которая ехала сейчас на пароходе, пересекая Белое море по пути из Соловков в Ленинград. И среди всех прочих полуфабрикатов кустарки — одни эти иконописные кукольные головки показались мне бесконечно родными...

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ

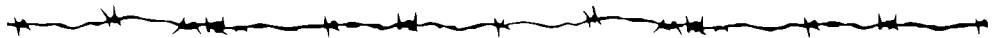
Мать Вероника (повесть)

...Никто не знает настоящей правды.

А.П. Чехов. Дуэль

Нельзя сказать, чтобы Верочка Языкова, первая ученица выпускного класса одного из петербургских женских институтов, пользовалась большой любовью среди своих одноклассниц. Да оно было и понятно: самоуверенная и честолюбивая, она привыкла пожинать лавры лучших отметок, переходить из класса в класс с наградами и справедливо рассчитывала окончить институт с «шифром» — высшим отличием, открывавшим перед питомцами институтов блестящие возможности вплоть до карьеры фрейлины российской императрицы. Она не умела, а быть может, и не считала нужным скрывать перед подругами горделивое сознание своего превосходства и усвоила себе в общении с ними покровительственно-поучительный тон, вооружавший их против нее и заслуживший ей прозвище «парфетка»⁷, произносившееся ими, правда, не в глаза, а осмотрительно лишь за спиной подруги. Но она в своем наивном самодовольстве не замечала их затаенной неприязни к ней и насмешек. А довольна она была собой — своими дарованиями, успехами в науках и своей наружностью — в полной мере. Она считала себя красавицей и действительно, по типу своему, походила на русскую красавицу Константина Маковского: высокая и хорошо сложенная, может быть, впрочем, немного массивная для своего возраста, с русой косой и румянцем во всю щеку, крупными, но правильными чертами лица и спокойным взглядом больших серых, несколько навывкате, глаз из-под соболевых бровей, ровными дугами замыкавших безмятежно гладкий беломраморный лоб. Женским чутьем она угадывала свой тип и на выпускном костюмированном балу затмила всех своих подруг, одевшись русской боярышней — в шитом жемчугом кокошнике и розовом штофном сарафане.

⁷ Совершенная (фр.), ученица, которая за свои заслуги записана на красной доске института.



Впрочем, она и раньше привыкла блистать на институтских вечерах, неизменно выступая на эстраде обширного и нарядного актового зала в качестве исполнительницы первых ролей в спектаклях, а также признанной декламаторши, причем нередко в дни институтских торжеств она читала и свои, написанные к случаю стихи. Poete d'occasion⁸ — иронически называли ее подруги, а начальство ласкало ее и поощряло неумеренными похвалами. Она и правда легко владела стихом и рифмой, но как ее классные сочинения, так и самостоятельные литературные упражнения страдали слащавой сентиментальностью, излишним многословием и шаблонностью формы. Бессознательное подражание готовым образцам было вообще в ее натуре.

Ей нравилось любоваться собой, и не только в зеркале: она любила мысленно, со стороны наблюдать себя в разные моменты своей жизни, постоянно находя в себе при этом сходство с каким-либо готовым художественным образом, разумеется положительным, хотя и не всегда достаточно высокопробным. Воображая себя то какой-нибудь героиней из повестей Чарской, то Наташей Ростовой, она, подобно этой последней, любила думать о себе в третьем лице: «Что за прелесть эта Верочка Языкова: хороша, умна, даровита, трудолюбива, строга к себе и к другим — “совесть класса”, как прозвала ее классная дама... а как играет на сцене, как пишет стихи!» Благодаря такой влюбленности в себя, она вполне довольствовалась своим собственным обществом, не испытывая потребности в чьей-нибудь интимной дружбе и даже не замечая своего абсолютного одиночества в кругу одноклассниц, с которыми она росла в стенах института более семи лет и с которыми по выходе из этих стен рассталась совершенно безболезненно.

Она мечтала о жизни на воле в родительском доме, о широком и блестящем поприще драматической артистки или о карьере писательницы, поэтессы, но во всех случаях — о шумном успехе, быть может славе.

Ценою больших усилий и борьбы отвоевала она себе согласие родителей на поступление в театральное училище. Это была ее первая жизненная победа, и она ликовала не только оттого, что добилась исполнения своего заветного желания, но и от сознания своей силы, для которой, как ей казалось, не могло быть непреодолимых препятствий. Горячо приступила она к посещению лекций и практических занятий по выразительному чтению, пластике и другим специальным предметам. Она не сомневалась в том, что и здесь, как в институте, вскоре затмит всех своих однокурсниц. Однако этого не случилось: ее сентиментальная манера чтения и восторженный пафос встретили самую резкую критику со стороны ее новых преподавателей и откровенное вышучивание в товарищеской среде. Большим усили-

⁸ Поэт на случай (фр.)

ем воли подавила Верочка горечь обиды, утешая себя уверенностью, что неудачи ее случайны, что вскоре она, конечно, заслужит-таки справедливую оценку, ведь недаром же ее до сих пор так неумеренно хвалили и их институтская мамап, и преподаватель литературы, и все классные дамы. Они не скупились на такие выражения, как «талант!», «бесподобно!», «очаровательно!»... а тут вдруг: «искусственно», «слащаво», «неискренний тон», «дилетантская экзальтация» — и Бог знает еще что! Но она им еще покажет себя! И они поймут наконец, что поначалу недооценили ее, не заметили, что в ее лице они имеют дело с крупным дарованием. А ее внешние данные они и теперь признают сценичными.

Но... они требовали, прежде всего, естественности и искренности, а откуда ей было взять их — ей, недавней институтке, выросшей в полной изоляции от жизни и не только лично еще ничего никогда не пережившей, но и о переживаниях других людей знавшей только из книжек, да притом еще таких, как повести Чарской и ей подобных, которыми изобиловала институтская библиотека?! Откуда ей было взять искренность и задушевность тона, когда она не перечувствовала и не понимала того, о чем говорила? Откуда было взять простоту и естественность манер, когда все институтское воспитание было направлено к привитию готовых светских шаблонов и условных, искусственных форм общения с людьми? Она даже не могла понять, чего от нее хотели. И вскоре занятия в училище стали для нее почти пыткой: сомнение в истинности своего дарования стало все чаще смущать ее душу, и тяжелое разочарование в избранной карьере постепенно все сильнее овладевало ею. Служение искусству, думалось ей, это только на словах звучит красиво, а на деле это тернистый путь, который, Бог знает, приведет ли когда к желанной цели?.. Верочка и думала высокопарными выражениями, другого языка она не знала.

Так или иначе через год перед Верочкой вплотную встал вопрос, оставаться ли ей дальше в театральном училище. Внешние обстоятельства пришли ей на помощь.

Наступило лето 1914 года. 19 июля по старому стилю неожиданно грянула война с Германией. Всей страной стихийно овладел патриотический подъем, и Верочку, как щепку в водовороте, закрутило в вихре совершенно новых для нее впечатлений: впервые ей пришлось столкнуться с действительной жизнью, с современными историческими событиями, да еще такого крупного масштаба, а не читать о них в учебнике при подготовке к экзамену, когда главной заботой было только получше запомнить и ответить на «двенадцать».

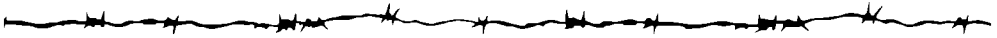
Теперь она рвалась на фронт, на передовые позиции, но на этот раз ей не удалось сломить сопротивления родителей: единственное, чего ей удалось добиться,

это разрешения поступить на курсы Красного Креста и пойти сестрой в один из великосветских петербургских госпиталей.

«Облегчать страдания раненых», «склоняться со словами утешения к изголовью умирающих» — вот где, быть может, ее «истинное призвание»! «Любовь к ближнему», «милосердие», «самоотречение» — весь арсенал слов, слышанных когда-то Верочкой на уроках Закона Божия, беспорядочно забродил в ее голове, и она уже снова чувствовала себя героиней, на этот раз — приносящей свою молодость, красоту, дарования, мечты о блестящем поприще и личном счастье в жертву «страждущим братьям».

В этой новой роли Верочка была трогательно мила: сестринская белоснежная косынка выгодно оттеняла ее свежий цвет лица, а строгое, гладко облегающее платье позволяло любоваться ее высокой стройной фигурой, ее тонкой талией и пышным бюстом. Она была моложе всех в лазарете, и дамы-патронессы наперебой ласкали ее, умиляясь ее горячности в работе, и Верочка опять уже чувствовала себя как рыба в воде — в родной стихии похвал и ласки; все эти дамы-патронессы были немного похожи на институтскую тапал и классных дам: они «французили» между собой и с Верочкой и заботливо опекали ее, точно она и правда была кем-то поручена их попечению. И, чувствуя себя перед ними девочкой, она готова была делать им, как классным дамам, глубокие реверансы, на похвалы скромно опускала веки и даже слегка краснела, а на уговоры отдохнуть твердо отвечала, что не устала, и убегала в палату или в операционную, где сразу выдвинулась как умелая, ловкая и точная исполнительница, на которую хирург мог вполне положиться и которую он всегда вызывал при особо тяжелых операциях. Это льстило Верочке, как когда-то льстило название первой ученицы. Но работавшие с нею сестры недолюбливали ее, называли выскочкой, подлизой и даже актеркой. Верочка и тут не замечала их неприязни, как не замечала ее в институтских подругах, и часто позволяла себе давать им советы или делать замечания, которыми еще больше вооружала их против себя. Больные же любили ее, давали ей поручения, диктовали письма родным и в благодарность плели ей колечки из конского волоса, лепили зверушек из хлебного мякиша, а она, с умилением принимая эти подарочки, свято хранила их как знаки любви к ней ее пациентов.

Все шло хорошо и могло бы долго так продолжаться, но, на беду, Верочка вдруг без памяти влюбилась (или вообразила себя влюбленной) в молодого доктора смазливой наружности, которого забавляло наивное, неумело скрываемое институтское «обожание» свеженькой миловидной девушки и который, приску-



чив ею, вскоре у нее на глазах завел флирт с более искушенной в такого рода делах дамой-патронессой, а затем Верочка узнала случайно, что он к тому же женат, имеет детей и дома держит себя счастливым семьянином. Это было для нее второе в жизни разочарование, и теперь оно казалось ей много горше первого. Она близка была к полному отчаянию и уже снова воображала себя то Лизой Калитиной, и тогда решала уйти в монастырь, то Наташей из пушкинской «Русалки», и тогда думала даже о самоубийстве: она имела неосторожность позволить как-то доктору поцеловать себя и теперь смертельно боялась, что у нее будет ребенок. Не имея друзей, она никому не поверяла своих переживаний и опасений, да и не чувствовала в том потребности: она «гордо замкнулась в себе, глубоко затаив от посторонних глаз боль своего израненного сердца». Так, по исконной своей привычке, думала о себе в третьем лице (она и тут не могла от решиться от своего высокопарного стиля). Иногда мысль о самоубийстве сменялась другими вариантами: она бросит мир и уедет в якутскую тайгу, в колонию прокаженных, самоотверженному уходу за которыми она посвятит весь остаток своей жизни, пока сама, заразившись проказой, не погибнет в дикой таежной глуши. Эта мечта посещала ее чаще других.

В сущности, Верочкины сердечные раны, которые, по правде сказать, и раньше-то не были особенно глубоки, давно зарубцевались, но ей нравилось хранить в душе печальную память о своем «тяжелом прошлом». Это прошлое было в ее сознании чем-то вроде институтского шифра, правда невидимого для постороннего глаза, но в ее собственном представлении выделявшего ее из ряда окружавших ее беззаботных и веселых девушек, «ничего еще не испытывавших в жизни», как с оттенком снисходительного превосходства думала она о них.

Время шло. В жизни страны и города назревали крупные события. В феврале 1917 года произошел переворот, который для Верочки, жившей вне политических и общественных течений, волновавших ее сограждан, явился полной и совершенно непонятной неожиданностью. Война кончилась. Лазарет, в котором она работала, закрылся. Ей шел уже двадцать второй год, физически она возмужала, фигура ее приобрела пышные формы, а сама она — уверенные манеры, которые, впрочем, еще в раннем отрочестве отличали ее от подруг. Но хотя в суждениях своих она стала еще категоричнее, по существу, по всему своему духовному и умственному облику она оставалась все той же наивной, не знающей людей и жизни институткой, по-прежнему живущей несбыточными сентиментальными мечтами и фантазиями да воображаемыми героями: настоящая жизнь, большая и кипучая, — жизнь ее родины и народа — совершалась вне поля ее зрения, шла мимо нее. Ни ее буржуазные родители, ни дамы-патронессы лазарета не могли,

конечно, помочь ей понять происходившее, хоть отчасти разобраться в нем и оценить его историческое значение.

Революцию Верочка восприняла лишь постольку, поскольку она изменила ее домашний быт. Горизонт ее наблюдений ограничился стенами квартиры, которая вскоре уже перестала быть их квартирой, превратившись в коммунальную. Из всей большой принадлежавшей им раньше площади в их пользовании остались лишь две небольшие комнаты в конце коридора, вдоль которого теперь вечно бегали грязные, шумные и плаксивые ребятишки и в котором несло из кухни, вместе с шумом десятка примусов, плебейскими запахами кислой капусты и постного масла.

В кухне, прежде такой просторной, чистой и теплой, где еще так недавно единовластно царила их «кухарка за повара» Малаша, теперь было холодно, как в погребе, грязно, шумно и тесно из-за целого ряда столов, столиков, шкафиков и опрокинутых ящиков, заставленных принадлежавшими новым жильцам керосинками и примусами с неприглядной, облупленной и прокопченной посудой.

Очень скоро прокоптились и все помещения, называвшиеся теперь по-новому «местами общего пользования»: стены прихожей, коридора и кухни были в копоти и пятнах, потолки почернели, потрескались и местами облупились. Верочкина мать, светская, элегантная и моложавая дама, теперь часами простаивала у холодной плиты перед горящими керосинкой и примусом, неумело готовя пищу для семьи. Она была самая тихая и молчаливая из всех суевившихся у своих столиков хозяек, стесняясь попросить у них совета или какой-либо небольшой услуги, в то время как они широко, без спроса пользовались всем ее кухонным инвентарем, как своим, не интересуясь даже тем, откуда он и чей: в тот первый период революции вещи считались отчужденными от их прежних владельцев, принадлежащими не лицам, а квартире.

Верочкин отец, при прежнем режиме крупный чиновник, теперь устроился на скромное место делопроизводителя в одной из советских школ их района — это давало право на хлебные и продуктовые карточки для всей семьи: ему как служащему, жене и дочери как его иждивенкам. Но «зарплата», как теперь по-новому называли прежнее «жалованье», была столь мизерная, что жить на нее было нельзя. Жили на вещи, которые теперь, при сокращении их «жилплощади» (тоже чужое и новое слово!), явились только обузой. Первой уехала в комиссионный магазин гостиная мебель красного дерева, обитая штофом саупон⁹, за нею последовала дубовая столовая, потом сафьяновый кабинет. Потом настала очередь ковров, портьер, бронзовых ламп, хрусталя, вазочек датского фарфора,

⁹ Розово-желтый цвет (фр.)

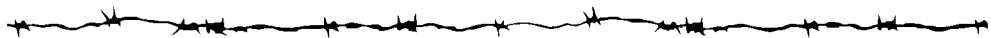
столового серебра. Теперь обедали и пили чай в до отказа заставленной вещами спальне за ломберным столом, накрытым темной клеенкой.

Верочка часами выстаивала в очередях за хлебом и продуктами, прибирала в комнатах, мыла посуду и однажды, присмотревшись к тому, как это делают другие, встала к корыту. Первый ее опыт дал довольно приличные результаты, и с тех пор Верочка стала обстирывать всю семью. Но нельзя было заниматься одними домашними делами. И не только потому, что они, конечно, не давали удовлетворения ни уму, ни сердцу молодой, экзальтированной, выросшей в роскоши девушке, привыкшей жить среди воздушных замков и совершенно не умевшей примириться с обстановкой и условиями жизни в коммунальной квартире. Необходимо было найти работу вне дома, которая дала бы какое-то социальное положение и возможность разделить с отцом заботу о заработке и пропитании. Верочка попросила отца устроить ее преподавательницей в школу, где он работал, и по его ходатайству она была принята учительницей французского языка.

И вот Верочка, войдя в коллектив школьных педагогов, сразу стала из Верочки Верой Александровной и впервые полноценным взрослым человеком. Ее самоуверенный, ласково-покровительственный тон с детьми, который так обижал ее товарок в лазарете, здесь пришелся как нельзя более кстати, и она сразу завоевала себе репутацию хорошего педагога, умеющего владеть вниманием класса и поддерживать на уроках порядок и дисциплину.

Но пролетарский состав учащихся, которым никак не давалось французское произношение, был чужд Верочке. Не сошлась она ни с кем и из своих коллег по школе — они казались ей слишком деловитыми, целиком погруженными в школьную работу и будничные домашние заботы. Разговоры в учительской не удовлетворяли ее мечтательно-восторженную натуру, ей хотелось светлых впечатлений, поэтических переживаний, и она томилась, тщетно ища выхода из тесного круга повседневных интересов, которые заполняли ее дома и в школе.

Однажды позднелю осенью, сырым и мглистым вечером Верочка, возвращаясь домой и проходя мимо их приходской церкви, вспомнила, что сегодня суббота, и ее потянуло войти. Давно уже, очень давно не была она в церкви и теперь, неожиданно попав на всенощную, почувствовала себя так, точно внезапно очутилась в атмосфере совершенно чуждых современности настроений. Словно в холод и бурю нашла укрытие, куда не проникали отзвуки свирепствовавшей



вокруг непогоды; мир и тепло наполнили ее душу, будто она приблизилась к чему-то непостижимо большому и вечному, существующему вне нас, вне наших суетливо-безрадостных жизней с их непрерывной сменой мелких и буднично-злободневных тревожений.

С того вечера Верочка стала часто ходить в эту церковь. Она простаивала службу, оставив на время за дверями храма все «житейские попечения» и перенося память в свое беззаботное отрочество, когда она пела в хоре их уютной институтской церкви, — и чувствовала себя здесь, точно у тихой пристани.

Но и помимо душевного отдыха от мирских забот, Верочку привлекали к храму романтика необходимой в теперешних условиях конспирации, связанный с этими посещениями церкви риск быть узнанной при входе кем-либо из сослуживцев, школьниками или их родителями и опасность всех вытекавших из этого последствий. В противоположность тому времени, когда посещение церкви поощрялось начальством, теперь оно требовало известного мужества и тем самым приобретало характер своего рода подвига. Верочка вспоминала роман Евгений Тур «Катакомбы» которым она зачитывалась в свои институтские годы, и сопоставляла себя с первыми христианками, так же конспиративно собиравшимися для совместной молитвы и не боявшимися, когда это было нужно, открыто исповедовать свою веру, предпочитая любые муки и даже смерть отречению от Христа.

И как когда-то после своего неудачного увлечения Верочка мечтала отдать жизнь уходу за прокаженными, теперь она рисовала себе картины преследования христиан, представляя себя бесстрашно, под пытками исповедующей перед судьями евангельское учение и стойко принимающей за Христа мученический венец.

Староста церкви вскоре заметил Верочку и предложил ей принять участие в церковном хоре. Она охотно согласилась, стала ходить на спевки и понемногу целиком втянулась в церковные дела: часто заменяла старосту у свечного ящика и в конце службы вместе с ним обходила молящихся, собирая деньги на причт, хор, украшение и ремонт храма, на масло. И когда она, высокая и стройная, в белой сестринской косынке, которая так шла к ней, скромно опустив ресницы, пробиралась с блюдом в руках между молящимися, отвечая молчаливым наклоном головы на каждую опущенную на блюдо копейку, она, хотя и не видела устремленных на нее глаз, женским чутьем угадывала, что ею любуются, но уже не радовалась этому, как прежде, а укоряла себя в суетном тщеславии (слабость, в которой раньше не отдавала себе отчета) и, как в постыдном грехе, каялась в нем на исповеди.

Мать очень волновалась за Верочку, не раз высказывала ей свою тревогу и опасения; отец относился спокойнее, но подтрунивал над дочерью, напевая по ее адресу:

*Ходит птичка весело
По тропинке бедствий,
Не предвидя от сего
Никаких последствий.*

Однако более решительно не протестовал против этого нового увлечения дочери, чувствуя, что оно внесло в ее жизнь большую душевную устойчивость и удовлетворенность.

II

Прошло три года. Жизнь Верочки протекала между домом, школой и церковью, где она была уже членом «двадцатки». Круг ее знакомых значительно расширился за счет прихожан церкви. У многих из них она бывала на дому, обследуя нуждающихся, посещая больных; у одних крестила новорожденных, у других пела на панихидах, если в их семьях случались смерти, и сопровождала священника, когда он ходил по требам. Дни ее теперь были наполнены до отказа: вставала она очень рано, чтобы до школы успеть к ранней обедне, сделать необходимые покупки для дома и помочь матери в ее хозяйственных делах. Потом она давала уроки, поправляла ученические тетради, вела протоколы школьных заседаний и в свободные вечера заканчивала день в церкви или у прихожан, а перед сном ежедневно читала Четьи-Минеи и другие духовные книги и еще находила время вести дневник, а порой и записывать стихи, которые слагала во время своих элегических прогулок по городу: время, говорят, подобно резиновому мешку, который становится тем просторнее, чем больше его заполняешь.

Родители Верочки давно примирились с ее теперешним образом жизни и даже сами стали посещать церковные службы в дни двенадесятых праздников и Великого поста. Но когда однажды их дочь неожиданно заявила им, что хочет принять иноческий чин, они пришли в ужас от ее намерения.

— Да ты с ума сошла! — воскликнула мать. — Ведь ныне и монастырей-то нет.

— Теперь подвиг иночества несут тайно, оставаясь в миру, — спокойно пояснила Верочка, — это еще во много раз труднее, так как при этом приходится жить среди мирских искушений и соблазнов, но именно теперь, в современных условиях и в современном обществе особенно нужны такие светочи веры, — и, сама почувствовав нескромность последних слов, она поторопилась поправиться.

— Я хотела сказать — «хранители веры», хранители наших православных догматов, традиций и обычаев, своего рода «вожатые» или «агитаторы», как их теперь называют, только тайные и с другими заданиями, чем у современных, — добавила она с шутливой улыбкой.

Отец заговорил тепло и мягко о том, что она молода и не имела еще опыта личной жизни, что никто не знает, какая судьба ждет ее в будущем: возможно, ей предстоит когда-нибудь встретить и полюбить человека, который даст ей счастье семейной жизни, а постриг навсегда и бесповоротно заранее обречет ее на полное одиночество. «Ведь мы-то с матерью не всегда с тобой будем», — заключил он.

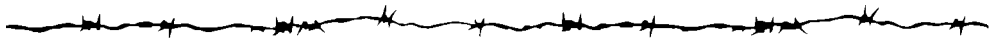
Но Верочка, с раннего отрочества плененная поэтичным образом Лизы Калитиной, особенно сделавшимся близким ей после неудачного романа с доктором, твердо стояла на своем. Напрасно они думают, что у нее не было личной жизни, она имела уже печальный опыт, после которого застрахована навсегда от новых увлечений. Пусть ее чувство не встретило взаимности, она навсегда останется верна своей первой чистой и беззаветной любви.

Это признание не меньше ошеломило растерявшихся родителей, чем ее теперешнее намерение. Окончательно обескураженные, они уже не пытались протестовать, глубоко затаив от дочери и друг от друга душевную боль и тревогу за ее судьбу. Верочка тоже замкнулась и уже больше не возобновляла этого, для всех одинаково мучительного, разговора. Через три месяца она тайно приняла постриг с новым именем Вероника.

III

Прошло еще четыре года. За это время Верочка потеряла своих родителей. Это было ее первое не воображаемое, а настоящее большое и глубокое горе. Близких друзей у нее никогда не было, и ей своими переживаниями не с кем было поделиться. Она еще больше замкнулась и целиком ушла в работу и религиозную жизнь, находя утешение лишь в чтении духовных книг и молитве. Только очень ограниченный круг людей знал ее новое имя, для всех остальных — в доме, школе и церкви — она продолжала быть Верой Александровной. С тех пор как умерли ее родители, никто уже не называл ее Верочкой, и только сама она еще иногда, по старой памяти думая о себе в третьем лице, называла себя так, да и то теперь в этих случаях ей больше нравилось мыслить себя под новым именем: мать Вероника.

Однажды ночью, в последние дни 1925 года, когда все в квартире давно спали и только мать Вероника еще сидела за чтением громоздкого тома под не менее громоздким названием «Добротолюбие», неожиданно раздался резкий и продолжительный звонок с парадной лестницы.



Мать Вероника прошла в прихожую.

— Кто? — спросила она через закрытую дверь.

— Откройте! — раздался чужой мужской голос. — Это управдом к Языковой.

...Их было много: двое незнакомых мужчин и женщина, безмолвно сопровождавший их управдом и поднятый ими из постели квартуполномоченный. Первые трое перерыли всю комнату матери Вероники, весело шутили, закуривая от лампадки, и наполнили изъятými материалами целый мешок: тут были и протоколы школьных заседаний, и церковные денежные отчеты, и духовные книги, и Верочкины дневники, и ее стихи — много, много стихов.

В заключение матери Веронике приказали собраться, чтобы ехать с ними. В эту ночь она навсегда оставила дом, в котором впервые начала себя понимать, столько лет прожила со своими родителями и из которого так еще недавно одного за другим проводила их на кладбище.

Сидя в закрытом автомобиле по дороге в ДПЗ, мать Вероника была в радостно-возбужденном настроении: «Вот и меня, — думала она, — удостоил Господь высокой чести пострадать за веру... И не случайно, что Он сподобил меня этой милости сейчас, когда я осталась одна, и моя судьба, как бы она ни сложилась, никому не причинит тревоги и горя. Теперь я могу смело и бесстрашно исповедовать Господа и готова на любые муки, а если понадобится, с радостью отдам за Него и самую жизнь!» И мысленно она повторяла: «Блажени изгнаны правды ради... Блажени есте, егда поносят вам, и иженут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех. Так гнали и пророков, бывших прежде вас».

И она радовалась и веселилась, испытывая исключительный душевный подъем и чувствуя в себе такой прилив сил, что ей уже не терпелось как можно скорее найти им достойное приложение.

В таком душевном состоянии вступила мать Вероника среди ночи в общую женскую камеру ДПЗ, заселенную одними «религиозниками». Но Боже мой, что это была за разношерстная компания! Тут были и монахини, и не монахини, придерживавшиеся строгого православия, и так называемые «обновленки», католички, лютеранки, евангелистки, теософки, члены одного религиозно-философского кружка и темные, малограмотные сектантки всяких толков; среди последних особенно выделялись две пожилые и рыхлые «чуриковки».

Мать Вероника, полагавшая свое призвание в охране чистоты православия, сразу нашла широкое поприще: она не уставала спорить и поучать, проявляя при этом большую прямолинейность, нетерпимость и даже заносчивость, которые вскоре вооружили против нее всех однокамерниц. Одна евангелистка сказала ей как-то:

— Знаете, в вас есть все необходимое иноку: и твердость веры, и мужество исповедовать ее бесстрашно, много непочатой духовной силы, готовности на любые подвиги. Нет в вас только одного, самого главного для инока качества: смирения, а также свойств, вытекающих из него, — нет терпимости, нет внимательности и бережного отношения к людям. Вы слишком самоуверенны, слишком строги к другим и всегда воинственно настроены. Католическую церковь называют *eglise militante*¹⁰, но ведь вы не католичка.

Мать Вероника вскипела:

— Я смиренна перед Господом, но не перед людьми, которые заблуждаются и искажают Его святое учение. Тут снисходительность и терпимость были бы преступным потворством их сектантским заблуждениям, изменой православию, чистоту которого я считаю себя обязанной охранять всемерно и непреложно!

Бесстрашно и непреклонно держала себя мать Вероника на допросах, высокомерно и заносчиво обличая следователей. Через восемь месяцев она получила приговор: десять лет концлагеря. Это был тогда максимальный срок заключения в лагерях.

Тут же, в кабинете начальника, где ей прочли приговор, мать Вероника, крепостясь, опустилась на колени, положила земной поклон по направлению к окну, за которым кротко сияло безоблачно, по-осеннему кристально-синее небо, и только после этого, встав, подписала под приговором свое имя. Начальник и присутствовавший тут следователь при виде этой сцены насмешливо переглянулись, кусая губы и чуть не фыркая.

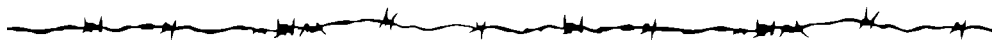
А мать Вероника, вернувшись в камеру, надела свой лучший подрясник, а на голову новый белоснежный апостольник и всю ночь промолилась истово и проникновенно, готовясь вступить в новый, такой серьезный и значительный этап своей жизни.

В последних числах августа вместе с группой других религиозниц она была направлена в Соловки.

IV

Мать Вероника, ни разу в жизни не выезжавшая из родного города дальше Парголова, Павловска и Петергофа, куда она летом переселялась с родителями на дачу, теперь впервые из окна арестантского вагона увидела настоящую, неприкрашенную русскую природу, и при этом в такое время года, которое до сих пор она всегда проводила в городе, так рано они обычно возвращались с дачи. Не отрываясь смотрела она через железную решетку заросшего пылью окна на мелькавшие картины золотой осени. «Совсем как у Левитана», — восторженно

¹⁰ Церковь воинствующая (фр.)




думала мать Вероника. Она хорошо была знакома с русской пейзажной живописью и по музейным подлинникам, и по их репродукциям в нарядных изданиях отцовской библиотеки. Да и у нее самой дома было богатое собрание художественных открыток из Эрмитажа и Русского музея, правда преимущественно религиозного и исторического содержания, но среди них было немало и пейзажных или таких, где пейзаж, являясь будто только фоном, был полон самодовлеющего очарования, как в ее любимых картинах Нестерова «Святая Русь», «Видение отрока Варфоломея» и особенно ей нравившейся картине, висевшей в цветной репродукции над ее письменным столом: старичок-монашек, бредущий по берегу пустынного озера на фоне северного осеннего пейзажа. Теперь он то и дело вспоминался ей: золотые березки и красные осинки, рябинки, отягченные огненно-яркими гроздьями ягод, так красиво выделявшиеся на фоне темно-зеленых сосен и елей, дымчато-розовая черничная и брусничная листва среди обомшелых камней. Эти камни напоминали ей Рериха с его сказочной седой стариной.

После восьми месяцев, в течение которых мать Вероника не видала ничего, кроме грязных стен камеры, все эти совершенно новые для нее впечатления воспринимались ею особенно остро и так глубоко волновали ее, что этот экспансивный восторг вызывал у ее спутников сдержанные снисходительные улыбки. Мать Вероника их не замечала. Глаза ее сияли детским восторгом, и сердце учащенно билось. «Вот и меня сподобил Господь, — умиленно говорила она, инстинктивно уже усвоив себе стиль речи степенной монахини, — вот и меня привел Господь путешествовать и видеть места, о которых до сих пор я знала только понаслышке». Названия «Петрозаводск», «Кемь», «Соловки» звучали для нее как фантастическая экзотика. Так для человека, впервые попавшего за границу, звучат слова «Рим», «Париж», «Лондон», «Нью-Йорк».

Когда же в конце своего путешествия мать Вероника сошла с палубы парохода на пристань Соловецкого монастыря, ей показалось, что она еще при жизни своей сподобилась переселиться в какой-то потусторонний мир, и в мистическом экстазе она благоговейно впервые ступила на «святую землю» издавна прославленного и заочно ею чтимого монастыря.

После положенного срока, проведенного в одном из зданий соловецкого Кремля в так называемом карантине, мать Веронику препроводили с партией нескольких других вновь прибывших женщин на Анзер — самый отдаленный остров Соловецкого архипелага, где она была принята в рукодельный цех анзерской «кустарки». Тут она впервые встретилась с совершенно новой для нее



средой лагерных заключенных, которая в рукодельном цехе состояла частью из урок (уголовниц-рецидивисток), то есть профессиональных воровок и проституток, частью же из монашек упраздненных провинциальных монастырей.

В качестве столичной интеллигентной монахини, какой себя чувствовала мать Вероника, она на первых порах отнеслась к «темным» провинциальным монашкам благосклонно-покровительственно, и ее наставительный тон, который так уместен был со школьниками, тут, уязвляя их самолюбие, сразу сделал анзерских монашек ее непримиримыми врагами. Правда, внешне они встретили ее со льстивым подобострастием, но, глубоко затаив обиду, всем внутренним существом своим приняли ее, что называется, в штыки и за спиной вовсю о ней злословили.

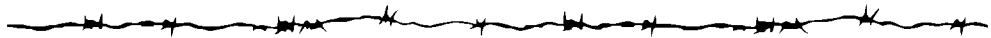
От урок мать Вероника молча сторонилась, с кротостью подвижницы перенося, как ниспосланное ей свыше испытание, печальную необходимость соприкасаться с ними. И урки, болезненно чутко и остро реагирующие на брезгливо-презрительное отношение к ним, тоже единодушно ее возненавидели, но — в противоположность монашкам — не считали даже нужным скрывать свое отношение и при всяком удобном случае выражали ей свой протест, грубо и зло издеваясь над нею, на что мать Вероника отвечала обычно лишь затаенным вздохом, вызывавшим у них особо веселое настроение.

V

Работа в кустарке начиналась рано утром и продолжалась десять часов с коротким перерывом в полдень на обед. Мать Вероника, в сосредоточенном молчании склоненная над пальцами, сидела обычно у окна, из которого открывался широкий вид на морской залив, окаймленный лесистыми холмами, и представляла себе, что она находится в белошвейной мастерской какого-нибудь отдаленного северного монастыря. Эта иллюзия особенно удавалась ей, когда другие монашки запевали хором молитвы или монастырские «кантики». Среди последних были и знакомые ей романсы, которые она сама пела когда-то в институте, — «Вечерний звон» или «В минуту жизни трудную», и незнакомые — «Афон, Афон, гора святая» и трогательная легенда о Марии Магдалине, неизменно вызывавшая слезы на глаза матери Вероники.

Пели монашки мастерски, на два и на три голоса, причем особенно красиво звучали, выделяясь на фоне остальных голосов, свежее сопрано молодой монашки Шуручки Краснобаевой и бархатный бас матушки Дашеньки Матвеевой.

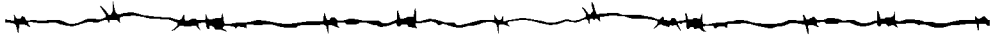
Зато иллюзия резко нарушалась, когда после пения монашек урки затягивали свои воровские и тюремные песни, тоже подчас хватающие за сердце, но сразу



низвергавшие мать Веронику с горних высот на грешную землю, напоминая ей о том, что она не в монастыре, а в лагере.

По окончании работы, тихими осенними вечерами любила мать Вероника, надев свой черный апостольник и подпоясавшись поверх подрясника широким ремненным поясом, с четками в одной руке и длинной палкой в другой, уединяться в лес и тихо брести, «опираясь на посох», по берегу Елеазаровского озера, в зеркальной поверхности которого отражались и нежные краски северного вечернего неба, и живописные группы прибрежных деревьев в их причудливо-пестром осеннем уборе. Во всей ее фигуре, в походке и в выражении лица можно было тогда прочесть, что она вспоминает нестеровского инокa и счастлива предположением, что она идет сейчас, быть может, той самой тропинкой, на которой его когда-то зарисовал художник. Она по-прежнему не умела воспринимать действительность иначе, как через призму накопленных ею ранее литературных и художественных образов, и, по исконной своей привычке наблюдая себя со стороны, невольно любовалась не только окружающим ее пейзажем, но и собой, идущей сейчас на фоне этого пейзажа «со своими одинокими и печальными мыслями».

Но уже все чаще теперь находили на нее настроения, для которых не было у нее литературных прототипов, и тогда она растеряннo останавливалась, забывая любоваться собой и окружающим пейзажем и с тревогой прислушиваясь к тому новому и необъятно большому, что властно завладевало ею в такие минуты и чему она не умела подыскать названия. Для нее реальное страдание заключалось в том, что она не могла подвести под ту или иную категорию известных ей переживаний чувства, которые она сейчас испытывала, найти подходящий ярлык. Это не было ни религиозным экстазом, ни умиленным созерцанием, это было немое и самозабвенное взаимодействие как бы высвободившейся из телесного плена души с предвечной Душой всей Вселенной. Как мать, впервые зачавшая под сердцем своим нового человека и сама еще не подозревавшая в себе его невидимого таинственного созревания, переживает ей самой непонятные, но все чаще овладевающие ею новые, никогда раньше не испытанные волнения, так теперь случалось и с нею, когда, оставаясь подолгу одна в лесу, она вся превращалась в слух и зрение, не находя в такие минуты даже молитвенных, созвучных ее состоянию, слов... Возвращаясь к вечерней поверке, она перед сном долго стояла у окна камеры на молитве — вся в белом, высокая, строгая и прямая, — потом, перебирая четки, неумоимо клала земные поклоны. Только после полуночи тихо взбиралась она на свое жесткое место на верхних нарах, а утром вставала первая и, пока все еще спали, снова долго молилась и клала поклоны.



Однажды командирша из урок, простая и доброжелательная женщина, подарила ей, когда они остались вдвоем в бараке, маленькую темную иконку. «Она досталась мне от одной умершей монашки, — пояснила она, — мне она ни к чему, а вам, может, и пригодится. Только никому не говорите, что она у вас от меня».

Мать Вероника, очень страдавшая оттого, что с нею не было ни одной иконы, так была обрадована, что горячо и искренне поблагодарила командиршу и даже поцеловала ее, совершенно забыв о ее порочном прошлом, и только много позже спохватилась: «А ведь это с ее стороны малодушие — нежелание, чтобы кто-нибудь знал, от кого у меня икона». Сама она ничего не боялась. Она повесила иконку над своим местом на нарах и украсила ее веточками вереска.

Дежурный, увидев при обходе иконку, деликатно заметил ей:

— Вы бы хоть полотенцем сверху завесили, ведь его можно снимать, когда станете молиться, а то, знаете, неудобно: может начальство заглянуть в барак, тогда вы и себе большие неприятности наживете, и нас с командиршей подведете, ведь в ответе-то будем мы...

Мать Вероника заносчиво ответила:

— За меня не беспокойтесь: я ничего не боюсь, я за свое право исповедовать Господа десять лет получила и готова перенести за Него любые испытания. И потакать вашей недостойной трусости и трусости командирши я тоже не намерена, надо иметь мужество нести ответ за свои поступки, если знаешь, что в них нет ничего плохого.

— Ваше дело, я предупредил, — сухо буркнул уходя дежурный, досадуя на свою слабохарактерность, а сопровождавшая ему командирша сказала:

— Ну что с ней поделаешь? Всегда она такая: гордая, упрямая и дерзкая.

— Не обтерлась еще. Ничего, скоро обломается, лагерь хоть кого обломает, — ответил дежурный.

Однако мать Вероника не обломалась. Она продолжала держать себя заносчиво и гордо с начальниками и назидательно или обличительно, смотря по обстоятельствам, с товарищами по заключению, укоряя их в распушенности нравов, беспринципности и холопском подчинении всем лагерным порядкам, — с каждым днем умножая число своих недоброжелателей как в уголовной, так и в монашеской среде. Особенно часто теперь происходили у нее стычки с двумя нижегородскими монашками: двадцатипятилетней Шурочкой Краснобаевой и Дашенькой Матвеевой, высокой и дородной женщиной лет под сорок, находившейся в полном подчинении у своей младшей подруги, которую она втайне ненавидела всей душой.

Биография Шурочки Краснобаевой до лагеря, рассказанная однажды по секрету Дашенькой матери Веронике, настолько пикантна, что на ней стоит остановиться несколько обстоятельнее.


VI

Принято говорить, что история повторяется. Но и человеческая природа часто проявляется одинаково у представителей и представительниц совершенно разных эпох, разных национальностей, разных географических широт. Бессмертный Боккаччо был не только бытописателем итальянских нравов своей эпохи, он изображал психологию и поступки людей вообще, не отмеченных особо высокой моральной щепетильностью.

Шурочка Краснобаева, осиротевшая в семилетнем возрасте, была отдана родными на воспитание в один из нижегородских женских монастырей. Миловидная, с живыми лукавыми глазками, послушная, вкрадчиво-ласковая, она скоро сумела сделаться любимицей всего монастыря и рано научилась пользоваться всеми вытекающими из этого привилегиями, вплоть до права науснивать на своих сверстниц-подруг и даже на взрослых монашек. Делала она это с врожденным тактом, умело облекая свои доносы в форму наивно-простодушной доверчивости, и всегда была готова горячо посочувствовать каждой ее же происками попавшей в немилость товарке.

Когда она подросла, у нее обнаружились разнообразные способности, благодаря которым она выдвинулась еще больше. У нее оказалось прекрасное сопрано, и вскоре она сделалась незаменимой как в монастырском хоре, так и во всех случаях, требовавших сольных выступлений. Она всегда была участницей великопостного *trio*, причем чистый и красивый голос ее так трогательно звучал под суровыми сводами храма, а ее тоненькая и стройная фигурка выражала столько кроткого смирения, что все молящиеся с невольным умилением любовались ею. В живописной мастерской она зарекомендовала себя лучшей иконопиской, и тут тоже все восхищались ее особым даром изображать глаза святых поднятыми к небу в молитвенном экстазе так, как это никому другому не удавалось. «Это тебе дано от Бога за твою душевную чистоту и простоту», — говорила ее наставница, на что Шурочка в смиренном смущении только краснела, скромно опуская свои длинные ресницы. А какая из нее вышла рукодельница! В белошвейной мастерской никто не вышивал в пальцах лучше и чище, и все наиболее ответственные заказы поручались только ей.

Октябрьский переворот застал Шурочку уже в совершеннолетнем возрасте, и тут на ее долю выпали тревожные и трудные дни: монастырь вскоре был за-




крыт, и Шурочке, впервые очутившейся за его стенами без всякого определенного пристанища, пришлось пустить в ход все свое умение завоевывать сердца людей и при их содействии устраивать свою судьбу. Ее способности и золотые руки особенно теперь пригодились: вскоре она уже пела в церковном хоре одного нижегородского собора и имела много рукодельных и живописных заказов. Плохо обстояло дело с жилплощадью, и пришлось на первых порах немало поскитаться по чужим людям. Однажды вечером к матушке Дашеньке, у матери которой был свой домик на окраине города и которая поэтому, поселившись у нее после закрытия монастыря, смогла сразу заняться писанием икон большого формата, явилась Шурочка в сопровождении другой, незнакомой Дашеньке молодой монашки.

Приласкавшись к обрадованной Дашеньке, успевшей порядком стоскаться по монастырским подругам, и повеселив ее простодушными рассказами о различных забавных эпизодах из своих скитаний по людям, Шурочка предложила ей себя и свою приятельницу в качестве помощниц по писанию икон. В первое время после революции заказов на иконы было еще много, и матушка Дашенька с трудом справлялась с ними. Она охотно приняла помощь товарок, тем более что они не требовали за это никакой денежной компенсации, кроме разрешения пожить пока у нее. Она сама предложила им пользоваться ее столом, пока они будут у нее работать, а мать Дашеньки поставила им в сенях за ситцевой занавеской кровать, на которой и спали вместе обе подруги, благо обе были худенькие и свободно на ней помещались. Обе они работали хорошо и усердно. Шурочка щебетала за двоих, развлекая Дашеньку, ласкаясь к ее матери; приятельница же ее работала в сосредоточенном молчании и только отвешивала обоим хозяйкам после каждой еды и уходя ко сну поясные поклоны.

— И где ты взяла, Шурочка, эту скромницу? Я еще и голоса ее ни разу не слыхала, — говорила Дашенька.

— Она очень стеснительная, застенчивая, да и хворая, — поясняла Шурочка.

И действительно, ее подруга была, по-видимому, очень болезненная: высокая и худенькая, видимо слабогрудая, она к тому же чуть ли не через день страдала сильной зубной болью и тогда вместо апостольника ходила в черном головном платке, которым тщательно закрывала всю нижнюю часть лица и щеки. Однако и больная, она продолжала хорошо работать, а Дашенька только в этом и была заинтересована. Так жили они вместе дружно и однообразно уже с месяца (срок более длительный, чем тот, который прожила кухарка в «Домике в Коломне»), как вдруг их мирное сожительство пресеклось самым неожиданным образом. Нашлись «добрые» соседи, которые сообщили куда следует, что у вдо-



вы Матвеевой, кроме дочери, живут без прописки еще две монашки, и однажды ночью к иконопискам явились непрошенные гости для проверки документов всех проживающих в доме и с ордером на обыск. Шурочкина приятельница, почему-то оказавшаяся в мужской рубаше и кальсонах, долго молча и безрезультатно рылась в своей корзине, не находя своих бумаг, и только под угрозой ареста вытащила труднижку на имя Петра Соколова, девятнадцати лет, живописца по профессии. На этот раз находчивая и изворотливая Шурочка по своей неопытности в мирских делах дала маху и не озаботилась своевременно снабдить своего друга каким-либо документом на женское имя.

Представители власти от души потешались по поводу неожиданного ночного дивертисмента, издеваясь над «святыми» монашками и их строгим «житием». Мать и дочь Матвеевы плакали навзрыд, крестились и божились, что сами не знали, кого пригревали в своем доме, что они были введены в обман этой змеей подкольной — Шурочкой, воспользовавшейся во зло их простотой и доверчивостью, их полной неопытностью в мирских делах. Но Шурочка, державшаяся кротко, но со смиренным достоинством, как и приличествует угнетенной невинности и мученице за веру — роль, которую она сразу себе усвоила, — дала понять Дашеньке, что не пощадит ее, если та будет продолжать в том же тоне, и Дашенька притихла.

В итоге этой беспокойной ночи, после длительного и тщательного обыска, не давшего, впрочем, ничего компрометирующего ни хозяек, ни их постоялок, Дашенька и Шурочка со своим другом были препровождены в нижегородский домзак.

VII

Легко можно себе представить благородное негодование, которое возбудил этот рассказ в матери Веронике. Она решила, что не имеет права хотя бы по видимости оставаться равнодушной к Шурочкиной истории, и уже готовилась высказать ей свое суждение, когда Дашенька посвятила ее еще в одну Шурочкину тайну, уже из лагерного быта: и здесь, на Анзере, Шурочка не теряла времени даром, теперь у нее был роман с тюрком-«мусаватом», имевшим у себя на родине жену с маленькими детьми. Тут все было чудовищно: роман у монахини!.. С женатым человеком!! Магометанином!!!

Мать Вероника уже не колебалась. Она обрушилась на Шурочку всей тяжестью своего негодования, игнорируя и то, что подводит этим Дашеньку, доверившую ей все эти тайны под строжайшим секретом, и то, что, обличая Шурочку, она наживает в ее лице злейшего и опаснейшего врага. Это-то последнее сообщение она с презрением отбрасывала как недостойное инокини.

— Я должна, я обязана сказать вам все это, — говорила она. — Кто знает, может быть, Господь для того только и привел меня на Анзер, чтобы я вовремя остановила вас и вернула на путь добродетели, ведь до меня никто не брал на себя труда высказать вам эту горькую правду, и вы катились по наклонной плоскости, не только губя себя и свою душу, но позоря своей жизнью высокое звание инокини, которое и в миру, тем более здесь, в лагере, среди мирских и порочных людей, мы особенно обязаны оберегать от злословия и поругания. Мы должны помнить, что по нашему поведению люди, на глазах у которых идет наша жизнь, будут судить обо всех иноках и, куда бы потом ни попали, будут распространять позорящие их басни о монахах, если здесь доведется быть свидетелями такого поведения, как ваше.

Матушка Дашенька, возмущенная предательством матери Вероники, горячо заступилась за Шурочку, понося тех сплетников и недоброжелателей, которые могли наплести такую явную напраслину на невинную Шурочку. Это переполнило чашу негодования матери Вероники:

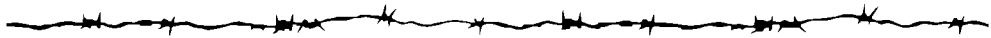
— Как?! — вскричала она. — Вы теперь хотите взвалить на других то, что сами же мне вчера рассказали?! Да ведь после этого сами вы первая интриганка и сплетница! Да и обе вы, как я вижу, вовсе не монахини, а просто темные деревенские бабы — сплетницы и склочницы!..

— Что?! — завопила грозно Дашенька. — Мы — бабы?! Ну, это мы еще посмотрим, кто из нас с тобой тут бабы, а кто инокини-девственницы. Ты-то ведь без году неделя как монахиней заделалась, почем мы знаем, сколько ты до того, в миру-то живши, нагрешила? А мы с семилетнего возраста из монастырских стен не выходили и понятия не имеем о тех гадостях, каких ты вдоволь в миру насмотрелась, да и сама делала — не зря, небось, замаливать грехи в монашки пошла, гадина! А тоже еще нас поучать берется, нахалка!

К могучему басу Дашеньки присоединилось звонкое сопрано Шурочки. Обе они в два голоса забросали мать Веронику оскорбительными ругательствами, и, не желая, да и не умея отвечать им той же монетой, она вынуждена была уйти из барака. Обе монашки торжествовали победу и с удовлетворением принимали сочувственные поздравления как от подруг-монахинь, безмолвных свидетельниц этой безобразной сцены, так и от урок, воспринявших весь эпизод как неожиданное развлечение.

— Ну и монашки! — говорили они. — Почище нашего ругаются и сквернословят! Здорово отделали эту чертову куклу. И поделом ей, больно много о себе воображает.

Результаты ссоры не замедлили сказаться. Шурочка в тот же вечер проникла к заведующей женской кустаркой Хитрушиной и о чем-то долго с ней шушука-



лась, после чего Хитрушина отправилась к начальнику пункта Смирнову. На следующее утро, когда мать Вероника пришла в цех, Хитрушина предложила ей выйти рисунок, изображавший карикатуру антирелигиозного содержания, на что та ответила категорическим отказом.

— Подумайте хорошенько, прежде чем отказываться, — сказала Хитрушина. — Это заказ начальника, и я вынуждена буду подать ему рапорт о вашем отказе, ведь за это снимают с работы.

— Подавайте рапорт, — ответила мать Вероника.

Через час за ней пришел дежурный по лагерю, чтобы отвести ее в карцер: начальник распорядился посадить ее на тридцать суток.

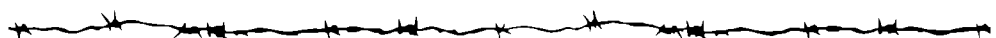
Мать Вероника восприняла это распоряжение как величайшую радость: карцером служила келья преподобного Елеазара, и она давно втайне мечтала провести хоть одну ночь в древних стенах, освященных молитвами спасавшегося в них затворника. Она надела свой лучший белый апостольник, взяла ага-товые четки с золотым крестом — благословение петербургского архиерея — и пошла в карцер, как к святому причастию.

VIII

Но карцер в этот день был до отказа переполнен урками обоего пола, на одни сутки попавшими сюда за пьянку (на большой срок за пьянство не сажали). Тонкая дощатая перегородка отделяла мужчин от женщин, что, впрочем, не мешало им заниматься через нее самым низкопробным флиртом, прерывавшимся, только когда обе половины объединялись для хоровых номеров, затягивая хри-плыми с перепоя голосами непристойные песни.

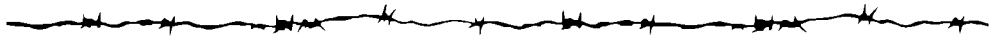
После вечерней поверки мужчины вынули одну из досок перегородки, и через образовавшийся узкий проход произошла свободная перегруппировка заключенных. Тут, на глазах у матери Вероники и в непосредственной близости от нее, началась не поддающаяся описанию дикая оргия. Только к полуночи все наконец заснуло вповалку, закрыв своими грешными телами пол тесной кельи святителя. Для матери Вероники не нашлось хотя бы сидячего места, и она прободрствовала всю ночь, стоя у самой двери рядом с парашей, которой поочередно пользова-лись все находившиеся в карцере.

Утром перед поверкой мужчины ушли за перегородку, приставив за собой доску на прежнее место, а после поверки всех, кроме матери Вероники, выпустили из карцера и погнали на работу.



Оставшись одна и осмотревшись, мать Вероника обнаружила пропажу своих агатовых четок. Она усмотрела в этом справедливое возмездие себе за то, что не могла молиться в эту ночь, до основания потрясенная бредовым зрелищем, свидетельницей которого ей пришлось здесь быть. Как в чаду, вспоминались ей бесстыдные выкрики и глумление над нею, надо всем, что для нее было так дорого и свято. Кто знает, думалось ей, если бы она могла найти в себе достаточно силы противопоставить этому издевательству над ее верой обличительную проповедь первых апостолов, быть может, она хоть в ком-нибудь из этих грешниц и грешников пробудила бы голос уснувшей совести, и это уже было бы много. Ведь сказал же Господь, что и об одной заблудшей овце хозяин, найдя ее, радуется более, чем о девяноста девяти не заблудившихся. Но у нее не хватило для этого ни достаточного мужества, ни веры: она побоялась того, что слова ее только усугубят глумление этой разнузданной толпы, и даже не подумала призвать в помощь себе Господа, чтобы Он вразумил ее, как держать себя с этими людьми, что говорить им, чтобы устыдить их, возбудить в них стремление к лучшей, чистой жизни, заронить в их темные души хоть искру. Да, легко было воображать в себе призвание «глаголом жець сердца людей». На деле же только и хватило ее на перебранки с Шурочкой и Дашенькой, да на дерзкие ответы начальству, а при первом же серьезном испытании она обнаружила всю свою несостоятельность, все свое маловерие и малодушие. А еще других уличала в позорной трусости — в чужом глазу сразу сучок указывала, а в своем бревна не чувствовала. И, распростершись на грязном полу карцера, мать Вероника, вся в слезах, каялась и молила о прощении и помощи. На этот раз она не только не наблюдала себя со стороны, не воображала себя ни подвижницей, ни кающейся грешницей — она и о том забыла, что находится в келье так горячо чтимого ею анзерского отшельника, на святой земле Соловецкого монастыря. Но тем только искреннее и самозабвеннее было ее раскаяние.

Двадцать девять суток провела мать Вероника в келье преподобного Елеазара в полном одиночестве, но далеко не в том душевном состоянии молитвенного экстаза, которое она стремилась пережить в этих стенах. Несмотря на то что теперь ей здесь никто не мешал молиться хотя бы и по 24 часа в сутки, она часто не находила в себе необходимого душевного спокойствия и равновесия, чтобы сосредоточить все свои помыслы и чувства на устремлении к Богу. Ряд внешних условий и обстоятельств, с виду незначительных и недостойных внимания, препятствовал этому: начались заморозки, и в карцере, который не отапливался,



становилось с каждым днем все холоднее, а она не подумала захватить с собой сюда ни одеяла, ни теплой одежды. Горячую пищу давали через сутки, да и ту она не всегда находила возможным есть, так как шел Филиппов пост, и она ни за что не согласилась бы нарушить монастырский устав, разрешив себе есть в эти дни рыбное или пищу, заправленную «елеем», то есть растительным маслом. Поэтому она часто по нескольку дней кряду жила лишь на хлебе и воде.

Голод и холод, оказалось, имели над нею гораздо больше власти, чем она могла это себе представить, и она страдала не только оттого, что мерзла днем и ночью и непрерывно, до дурноты хотела есть, но и от того унижительного в ее глазах сознания, что ее душевное состояние оказалось в такой рабской зависимости от чисто физических и таких, в сущности, ничтожных лишений. Ей казалось, что, если бы на ее долю выпали пытки, которым подвергались христианские мученики первых веков, у нее хватило бы силы принять их с радостью, но ведь то, что испытывала она сейчас, было таким распространенным, прозаическим, бытовым явлением, которое было уделом многих самых обыкновенных людей, а ей хотелось ореола мученицы.

Так, стало быть, когда она год тому назад самонадеянно воображала, сидя в «черном вороне» по дороге в ДПЗ, что готова мужественно принять любые испытания, уготованные ей на ожидавшем ее отныне «тернистом пути», да и потом, в ту ночь после приговора, она переоценивала свои силы: ей рисовались героические картины из Четвей-Миней, а не серьезная готовность на любые, быть может и будничные, испытания в виде простых и неинтересных бытовых затруднений. А между тем оказалось, что именно такие житейские затруднения переносились ею всего труднее. И это оттого, что она находилась во власти громких слов и красивых фантазий, оттого, что не могла отвыкнуть от горделивого самолюбования...

Ей вспомнился рассказ об одном послушнике, который ежедневно легко клал по тысяче поклонов, а когда его духовный руководитель, заподозрив в нем вот такое же, хоть, может быть, и неосознанное им самолюбование, запретил ему класть в день больше двадцати, тому это оказалось не под силу, и через несколько дней он со слезами, земно кланяясь, умолял духовника разрешить ему снова класть по тысяче поклонов: «Не могу я по двадцать класть, спину разламывает, сон одолевает, зевота... А по тысяче клал легко, сам не понимаю почему». Но духовник сказал: «А я объясняю тебе почему: класть по тысяче поклонов тебе помогала твоя гордыня, сознание превосходства над другими, которые кладут по сто и то устают. Ты беса тешил этими поклонами, а не Богу угождал... Нет, ты заставь себя делать в день по двадцать поклонов, хоть это тебе и труднее, и скучнее, потому что не тешит твоей гордыни, — это гораздо более трудный подвиг...»

Вот и она оказалась во власти того же греха: на плаху хоть сейчас пошла бы с радостью, а вот померзнуть, поголодать — сил нет! Как много еще предстояло ей работать над собой!

И ей вспомнились слова евангелистки в ДПЗ: «В вас нет смирения и терпимости. Нет внимательного и бережного подхода к людям. Вы слишком самоуверенны, слишком строги к другим и всегда воинственно настроены».

Да, она всегда была готова идти в бой за чистоту православия, за целомудрие и неподкупную честность... Но не была ли она, и правда, слишком опрометчива и прямолинейна, слишком безапелляционна в своих суждениях о людях? Ведь грешница, по поводу которой Христос сказал: «Пусть первый камень бросит в нее тот, кто сам без греха» (Ин 8. 3—11), была продажная женщина, быть может такая же, как эти урки, от которых она так брезгливо сторонилась, она, повинная в стольких грехах! И однако эта грешница стала потом святою...

Так, пользуясь вынужденным бездействием своего одиночного заключения, подвергала она строгому и нелицеприятному пересмотру всю свою жизнь, все свои взгляды и убеждения и прежде всего самое себя, свои поступки, свое отношение к людям. В свете ее нового самобичующего настроения так многое, с детства впитанное чуть ли не с молоком матери и, казалось, вошедшее в ее плоть и кровь, теперь открывалось ей совершенно по-новому, и она поражалась тому, как элементарно понимала она до сих пор иные истины, которые искренно считала своими основными убеждениями. Теперь она с удивлением обнаружила, что никогда не понимала их по-настоящему, а если и понимала, то только чисто словесной, формальной стороной своего разума, как слепорожденный может понимать теорию света, глухорожденный — теорию звука. Да и сейчас — кто знает? — в полной ли мере открылись ей те истины, глубины и смысл которых она начала теперь постигать? Не предстоит ли ей еще и еще раз пережить радость открытия в них нового значения, ведь правда так многогранна, а духовный опыт каждого человека так ограничен и случаен.

В сочельник, вскоре после вечерней поверки, снова загремел замок, и завкаarcerом конспиративно сунул ей корзину с передачей.

— Из женбарака, от монашек, — пояснил он, — упрости передать. Только вы уж не подводите меня, спрячьте перед утренней поверкой.

Мать Вероника узнала кастрюли Шурочки и Дашеньки. Еще недавно она гневно отвергла бы их приношение, но теперь приняла и даже просила «благодарить и поздравить с наступающим праздником». Она подумала: «Бог им судья».

И эта трафаретная фраза, которую она прежде произносила почти машинально, теперь тоже показалась ей полной нового глубокого значения: «Мне ли судить их? А разве сама-то я не грешна перед ними? И если я способна видеть свои ошибки и работать над собой, почему не могут и они вступить на этот путь обновления? Ни на ком нельзя ставить крест. Да вразумит их Господь, как вразумляет меня, открывая мне глаза на мои недостатки».

В корзине оказалась сладкая рисовая кутья, взвар из сушеных фруктов и белая булка. Мать Вероника хорошо понимала, что в карцер она попала по проискам Шурочки и Дашеньки и что полученная ею от них передача едва ли вызвана искренним участием к ней. Вероятно, предвидя близкое окончание срока ее заключения и учитывая неизбежность скорой встречи, они дипломатически решили заблаговременно задобрить и обезоружить ее. Но она уже не чувствовала против них ни обиды, ни гнева; все, что так волновало ее тогда, до карцера, отодвинулось так далеко, далеко... Больше того, она вдруг осознала, что сейчас не могла бы уже как-либо обидеть их, задеть их самолюбие, причинить им неосторожным словом или поступком какое-либо страдание: она уже любила их, притом не раскусом во исполнение заповеди, а слепо, безотчетно и произвольно. «Так вот она какая, настоящая живая любовь, подлинное искреннее прощение!»

Светлая и чистая радость горячей волной наполнила ее душу.

Маленькое квадратное окно карцера, забранное железной решеткой, выходило на север. Из него открывался вид на застланный снежной пеленой морской залив, на прибрежные холмы, тонувшие в глубоком сумраке зимней ночи.

Мать Вероника стояла у окна и смотрела на звездное небо. Одна особенно крупная и лучистая звезда выделялась между другими. «Рождественская звезда», — подумала она.

...Сейчас в церквях идет служба. Ее церковь в Ленинграде переполнена молящимися. Празднично горит паникадило. Посреди церкви, на аналое, — икона Рождества Христова, окруженная свежей зеленью и живыми цветами. Перед нею теснятся десятки восковых свечей, хор поет рождественские песнопения, а прихожане (мать Вероника многих из них как бы видит сейчас) медленно, непрерывным потоком движутся к иконе; приложившись, подходят под благословение батюшки, который, усталый, но радостный, всех мажет елеем и поздравляет с праздником. Мать Вероника мысленно по памяти прочла Евангелие, читаемое на этой службе, и запела рождественский тропарь: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума...» И дальше пропела все рождественские

песнопения — такие трогательные, с детства любимые! «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». И она сейчас всем существом своим испытывала это благоволение.

В нерушимой тишине кельи так хорошо звучал ее голос. А за окном теперь, охватив полнеба, гигантским веером раскинулась над горизонтом лучистая корона северного сияния. Первый раз в жизни видела мать Вероника это величественное и таинственное явление. Как завороченная, смотрела она на него — и пела, и молилась, и плакала слезами радости и умиления. И трогательно звучала песнь Богородицы: «Величит душа Моя Господа и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем... Яко призре на смирение рабы Своя...»

Наверное, такое же северное сияние не раз наблюдал из этого же окна преподобный Елеазар...

И вдруг матери Веронике почудилось, что она не одна сейчас молится здесь у окна, любуясь этим феерически праздничным небесным явлением: тихий, добрый и ласковый старичок в черной скуфейке с четками в руках — точь-в-точь монашек с нестеровской картины, — истово крестясь, подпевает ей... Она не видела его, но всем своим существом чувствовала его невидимое присутствие. И, закончив всенощную, она с душевным волнением запела: «Святителю отче Елеазаре, моли Бога о нас!» Всю ту ночь провела мать Вероника в молитвенном бдении, и радостно, празднично было у нее на душе, когда снежный залив засверкал под лучами утреннего солнца. Это наступил тридцатый день ее заключения.

На следующее утро с красными ознобленными руками и с воспаленными веками на осунувшемся, но просветленном лице вернулась мать Вероника в женский барак.

IX

Ее место в кустарке уже было занято недавно прибывшей в лагерь игуменней какого-то южного монастыря. Но ей сообщили, что в ее отсутствие старший врач Голгофской больницы, узнав случайно, что она когда-то окончила курсы Красного Креста и работала сестрой в операционной столичного госпиталя, попросил начальника откомандировать ее на Голгофу: больных было много, и персонала не хватало.

Радостно приняла мать Вероника это известие: ее тянуло теперь к людям, к живой полезной работе, а Голгофа, кроме того, привлекала ее как место, связанное с трогательным, чудесным преданием. Идя теперь со своими пожитками на спине по льду Елеазаровского озера, она вспоминала это предание.

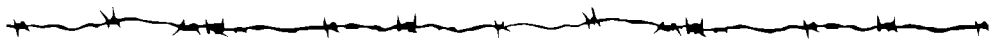
Это было в 1712 году, ранним июньским утром. Вот здесь, на горе над Елеазаровским озером, стояла келья иеродиакона Паисия. У него была большая духовная близость с иеромонахом Иовом (в схиме Иисусом), строителем Анзерского скита, опальным духовником Петра I. Иов все еще жил московскими воспоминаниями и в беседах с Паисием отводил душу, поверяя ему свою скорбь по поводу увлечения царя всем иноземным и свою тревогу за судьбу русского народа. Отец Паисий всегда умел успокоить его, укрепляя в нем веру в то, что Бог сохранит народ и не попустит искажения веры и обычаев отцов. И, сходясь, они часто соединяли свои горячие молитвы, прося у Бога защиты и помощи своему народу и мудрого руководства царю.

Вот и в это утро Иов после всенощного бдения в своей анзерской келье («всенощного» в прямом смысле: ночь была летняя, солнечная) вышел на воздух и направился по тропинке к Елеазаровскому озеру. Вот он осторожно постучал в дверь кельи о. Паисия. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Войди, отец Иов», — отозвался о. Паисий. Они встали рядом перед висевшей в углу иконой Божией Матери «Нечаянная Радость», перед которой тут когда-то молился преподобный Елеазар, живший в этой же келье более чем за полстолетия до них, и вместе совершили утреннее правило. Потом они отправились бродить по лесу, который тянулся на восток до самого моря. Тропинка шла в гору. Молодая листва березок и осинок золотом сквозила на солнце, алмазами сверкала роса под ногами, в траве мелькали бледные северные фиалки, подснежники, в цвету стояли кусты черники и брусники.

Лесные птицы перекликались на тысячи голосов.

И они пели на ходу: «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие...» — и все выше поднимались в гору. Они любили ходить сюда и любоваться открывавшимся с вершины горы широким видом: весь остров, как зеленой щетиной покрытый хвойными и лиственными лесами, лежал под их ногами, а вокруг, куда ни глянь, до самого горизонта простиралось море, и только на западе виднелась полоска земли — это был Главный Соловецкий остров. Между зеленью лесов там и сям, как стеклышки, поблескивали многочисленные анзерские озера, и вдали белела колокольня анзерского Троицкого скита.

И вот в это утро, не успели они подняться до вершины, им предстало чудное видение: навстречу им легко и плавно, не касаясь земли, спускалась Божия Матерь, сопровождаемая преподобным Елеазаром. Оба инока упали ниц, а Божия Матерь, приблизившись, сказала:



— Гору сию нареките Голгофой, потому что со временем ей надлежит стать неисчислимым кладбищем. На вершине ее постройте храм в честь Страстей Господних. Я же вовеки пребуду на месте сем.

И видение исчезло.

Блаженный Иов исполнил повеление Божией Матери и, построив на вершине горы белый каменный храм, переселился в основанный им тут Голгофо-Распятский скит. Останки его погребли под высоким белым крестом у самых стен Голгофского храма.

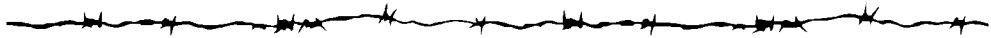
Монахи поняли слова Божией Матери как повеление сделать на горе монастырское кладбище и в течение двух столетий хоронили братию по склону горы. И только теперь, когда Соловки стали лагерем, а Голгофский скит больницей, знавшие предание об Анзерском чуде усмотрели в словах Божией Матери пророчество: по распоряжению лагерного начальства могилы монахов были сровнены с землей, а весь склон изрезан траншеями, в которых нашли себе братские могилы умиравшие на Анзере заключенные соловчане. Смертность в лагере была высокая, и вскоре вся гора от вершины до основания оказалась в захоронениях. Кладбище, действительно, оказалось «неисчислимым», а гора — подлинной Голгофой. Деревянная церковка с чешуйчатым куполом, построенная на склоне горы на месте явления Божией Матери, служила теперь карцером, а в Голгофском храме был инфекционный барак.

Каждую весну вся гора покрывается крупными синими незабудками. Рассказывают, что цветы эти появились здесь впервые со времени чуда, и в этом усматривают подтверждение обещания Божией Матери «вовсеки пребывать на месте сем».

«Жить и работать тут, — думала мать Вероника, поднимаясь со своей ношей в гору, — в месте, освященном этим чудесным преданием... И всегда чувствовать таинственное присутствие Пречистой Заступницы. Одно это сознание поможет быть лучше, чище! И как неисповедимы пути Господни, через карцер приведшие меня сюда, под благостный покров Пресвятой Богородицы! Только бы быть достойной этой великой милости».

Мать Вероника поднялась на паперть бывшего Голгофского храма и, прежде чем войти в него, еще раз окинула взором окрестность.

Короткий зимний день близился к концу. Солнце склонялось к горизонту и озаряло розовым сиянием снежные морские просторы, запорошенные снегом



леса и озера, здание скита, окружающие их вековые развесистые березы в пушистом ином и высокую, стройную Голгофскую колокольню. Необъятный небесный купол склонялся над чудесным островом, словно охраняя его от земных забот и тревожений.

Х

Главврач назначил мать Веронику старшей сестрой больницы. На следующий день с утра, знакомясь со своей новой службой, она обошла все палаты. В некоторых она встретила среди больных своих знакомых по лагерю: в женской венерической палате оказались две девочки (по лагерной официальной номенклатуре — «подростки»), которые при ней работали в вышивальном цехе анзерской кустарки, шестнадцатилетняя Маруся Соколова и семнадцатилетняя Нюра Толстоброва. В этой же палате находилась немолодая беременная женщина, в которой мать Вероника узнала одну из участниц оргии, имевшей место в анзерском кардере в первую ночь ее пребывания в нем.

Маруся и Нюрка, как их все здесь звали, радостно встретили мать Веронику. У нее в кустарке были с ними дружелюбные отношения, хотя они и принадлежали к так презиравшейся ею тогда категории урок: уж больно они были молоды и во многих отношениях детски наивны. Маруся к тому же и выглядела моложе своих лет — с виду ей нельзя было дать больше тринадцати: малорослая и щупленькая, по-детски остриженная в кружок, она фигуркой и лицом напоминала матери Веронике одну из ее учениц ленинградской школы.

Нюрка, наоборот, была рослой и сильной деревенской девушкой с толстой косой и свежим цветом лица. Обе девочки в раннем детстве потеряли своих матерей и вступили на путь проституции — Маруся с тринадцати лет, а Нюрка с четырнадцати. Лишенные в младенчестве материнской ласки и детских радостей, они не переставали инстинктивно, хотя и безотчетно, испытывать в них потребность. Цинично грубые и нагло дерзкие подчас, они иногда проявляли неожиданные порывы ребячливой невинной веселости и горячей задушевности.

Как в свое время с ленинградскими школьниками, мать Вероника и с ними сумела найти верный тон и вскоре завоевала их привязанность сказками, которые она рассказывала им иногда за работой: обе они обожали сказки и в чайании сказок бывали старательны, послушны и податливы, как воск.

Однажды, заметив, с каким вожделением Маруся рассматривает кукол в игрушечном цехе, мать Вероника на свои деньги купила ей куклу. Восторгу Маруски не было конца, с этого дня она даже раньше обычного стала ложиться спать: закрывшись с головой одеялом, она долго шептала что-то кукле, целовала

ее и засыпала, крепко держа ее в своих объятиях. Тело ее, как и у всех проституток, было испещрено татуировкой; на груди против сердца выведена дата смерти ее матери и под нею подпись: «Мамочка родна, зачем ты меня покинула?»

Нюрка, несмотря на то, что уже три года подвизалась в городе и околачивалась по его притонам, сохранила во всей неприкосновенной свежести облик, манеры и речь деревенской девушки. В кустарке она часто пела за работой деревенские частушки, выкрикивая их истошно-визгливым голосом и особенно пронзительно вытягивая последний слог каждого куплета. В них вышучивались представители сельской администрации и другие деревенские персонажи, и только последний куплет по содержанию своему стоял вне связи со всеми предыдущими:

*Сколь-ко мам-ке го-во-рила,
В сы-ру зем-лю не ло-жись,
Ты по-ду-май, род-на мама,
Си-ро-там какая жи-и-и-сь!..*

И хотя и этот куплет выкрикивался Нюркой тем же истошно-пронзительным голосом, как и все другие, он каждый раз вызывал у нее истерический припадок слез. Она бросала работу, роняла голову на стол и разрешалась неудержимыми рыданиями.

Все эти проявления ребячливости и нежной чувствительности в сопоставлении с их основной привычной профессией производили особенно тяжелое впечатление чего-то уродливого и жалкого, безысходно грустного. Мать Вероника, тронутая их радостным приемом, расцеловала обеих и обещала навещать их в свои свободные минуты.

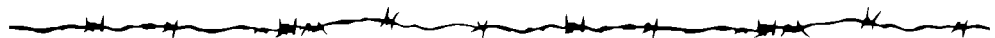
— И сказки будете рассказывать?! — обрадовалась Марусяка.

ХІ

Вечером в этот день, сидя в канцелярии больницы, она при свете коптящей керосиновой лампы перебирала, приводя в порядок, больничные листки. Их была целая груда. Сколько имен — русских, польских, немецких! Сколько названий болезней! И сколько страданий!

Один лист привлек ее внимание заголовком, где стояла фамилия, показавшаяся ей знакомой: «Криницын Владимир Михайлович — перелом обеих голеней».

Криницын, Криницын... Чем-то далеким-далеким повеяло вдруг на мать Веронику. Мэри Криницына была ее институтской подругой. Да, у нее был брат Володя. И по отчеству она тоже была Михайловна... Так неужели это он?! Он учился тогда в Пажеском корпусе и иногда в приемные дни приезжал к Мэри. Она обожала брата, хоть по характеру они представляли полную противополо-



ложность друг другу. Ребенком Мэри была тихая, робкая девочка, позже стала высокой, худенькой, болезненного вида девушкой. Застенчивая и замкнутая, она никогда не принимала участия ни в *petits jeux*¹¹, ни в танцах «Шерочки с Машерочкой», которые процветали в институте; не любила она и выступать на институтских вечерах, хотя была лучшей пианисткой в классе, и постоянно уединялась с книжкой, за что Верочка Языкова, и тогда уже для всех подбиравшая литературные прототипы, прозвала ее пушкинской Татьяной. Брат же ее был, по рассказам, большим повесой, часто за шалости оставлялся на воскресенья без отпуска. Высокий, плечистый, но стройный, подвижный и ловкий, общительный и заразительно веселый, он оставлял впечатление большой физической силы и несокрушимого здоровья. Лучше всего он запомнился Верочке таким, каким он был на их выпускном институтском балу, на котором она была русской боярышней в розовом штофном сарафане и шитом жемчугом кокошнике. Он был очень эффектен в тот вечер в своей парадной форме паж — красивый брюнет с породистым орлиным профилем и изящным овалом лица. Кажется, она очень нравилась ему в тот вечер.

Мать Вероника невольно вздохнула и перекрестилась: «Искушение, прости, Господи!» Но мысль продолжала работать в том же направлении. Да... в тот вечер она так была полна собой, своим успехом в свете, что не больно-то обратила внимание на его комплименты; она их в тот вечер слышала со всех сторон. (Мать Вероника опять вздохнула и перекрестилась.) Больше они, кажется, и не встречались. Разве что издали, в театре, на симфонических концертах в Дворянском собрании. Отец Криницыных был генералом свиты Николая II, и они были приняты при дворе. Она слыхала, что Владимир, окончив Пажеский корпус, вступил в один из аристократических гвардейских полков и с головой окунулся в жизнь петербургской золотой молодежи: кутил, бретерствовал, брал призы на скачках, раза два дрался на дуэли, не раз бывал секундантом, потом безнадежно в кого-то влюбился и даже пытался застрелиться; рана казалась смертельной, но отец выписал из-за границы знаменитого хирурга, и его спасли. Эта история много тогда вызвала разговоров в петербургском высшем обществе. Потом ей больше не случалось слышать о Криницыных.

Впрочем, в начале войны 1914 года дамы-патронессы ее лазарета рассказывали, что Владимир ушел со своим полком на фронт, а Мэри уехала на передовые позиции сестрой милосердия с отрядом Красного Креста имени наследника-цесаревича. Как она ей завидовала тогда! Больше десяти лет прошло с тех пор. Сколько воды утекло, сколько перемен в судьбах ее родины и отдельных людей!

¹¹ Игры (фр.)

Она давно уже даже и не вспоминала Криницыных. Неужели же ей предстоит завтра встреча с братом Мэри? В какой обстановке! При каких обстоятельствах!.. Если это действительно он, она узнает от него о судьбе Мэри: жива ли она, эта кроткая, тихая девушка, такая хрупкая и нежная? Как перенесла суровые испытания послереволюционных лет? В сущности, она была лучшая из всех ее сверстниц-институток — глубже, содержательнее их, но они так мало ценили ее тогда, будучи сами только много воображавшими о себе, но по существу пустопорожними девчонками, а она, Верочка, была самая пустопорожняя и больше всех о себе воображала.

Мать Вероника поздно легла в тот вечер и во всю ночь не сомкнула глаз, ворочаясь на своем узком и жестком топчане, а рано утром, отправившись в обход по больнице, решила только на обратном пути, под самый конец, зайти в хирургическую палату, где лежал Криницын. Она заходила в нее вчера, но, конечно, не узнала его, а он ее и подавно.


В хирургической палате на крайней койке у окна лежал на спине длинный и худой человек с гладко обритой головой и пергаментным цветом лица. «Это не он», — решила мать Вероника, но тут же, вглядевшись, узнала характерный орлиный профиль и серые глаза с расширенными зрачками, глаза Мэри, и с замиранием сердца подошла к нему.

— Владимир Михайлович, — сказала она, — я вчера видела вас только издали, мельком, и потому не узнала. А ведь мы когда-то были с вами знакомы. Я училась в одном классе с вашей сестрой Мэри. Я Вера Языкова, может быть, помните?

— Верочка Языкова?! Как же не помнить! Вы навсегда сохранились в моей памяти, какой вы были на вашем выпускном балу — в костюме боярышни. Вы повзрослели с тех пор, похудели. А черты все те же. Впрочем, есть что-то новое. Конечно, и вам довелось за эти годы пережить немало, это сказалось в выражении лица: оно стало одухотвореннее, как и у Мэри... Ну а Мэри вы видели?

— Мэри? — вскричала мать Вероника. — Разве она тут?

— Не тут, а за пять километров отсюда, но бывает тут ежедневно, носит мне передачи, как я ни умоляю ее не делать этого. Сил у нее мало, и делать каждый день по десять верст для нее — безумие! Но ее не упросить. Мы два года пробыли на Главном острове, в Кремле, а меньше месяца назад нас перебросили на Анзер. Она работает там счетоводом в хозяйстве; я дневалил в женбараке: по состоянию здоровья я освобожден от физического труда, а административных



обязанностей нести не хотел. Но раз случилось — две недели назад — меня погнали рыть пещеру в откосе у дороги: ждали со дня на день новую партию, мест в бараке уже не было, и стали для нее готовить эти пещеры-землянки. Я ссылался на свою инвалидность — не приняли во внимание... Откосы здесь укреплены громадными гранитными глыбами; все обледенело, вмерзло в землю. Под откосом жгли костры... Постепенно земля оттаивала. И вот одна гранитная глыба рухнула мне на ноги раньше, чем я успел отскочить. В результате — перелом в нескольких местах и много осколков. Наложили гипс, но едва ли там что срастется. Видно, обезножил я на всю жизнь. Уж лучше бы смерть, но я и об этом не имею права мечтать — нельзя, чтобы Мэри здесь одна осталась. Мы оба так привязаны друг к другу, что, если один из нас умрет, другой не переживет этого. А если я навсегда останусь безногим калекой, я лягу на ее худенькие плечи непосильной обузой. Эта мысль терзает меня.

Мать Вероника пыталась успокоить его, уверяя, что это вопрос всего нескольких недель: кости срастутся, он будет ходить — сначала, конечно, на костылях, а потом и без них; в 1914 году она работала в госпитале и видела много аналогичных случаев. Он недоверчиво качал головой:

— Уж больно много осколков... И к тому же здесь не столичный госпиталь. Вот изумлена будет Мэри! Она придет во второй половине дня. А я хоть и протестую против ее ежедневных рейсов сюда, сам, как ребенок, уже с утра нетерпеливо жду ее и просто дожидаться не могу ее прихода.

В сумерки пришла Мэри. Как она изменилась! Это была тень прежней Мэри, но теперешний ее облик был преисполнен неизъяснимого обаяния. Глаза и улыбка были все те же, только больше в них было грусти и теплоты. Как рада была этой встрече мать Вероника! Но Мэри должна была спешить, чтобы к сроку вернуться на Анзер. Да и мать Вероника была очень занята и не могла надолго отвлекаться от работы.

С этого дня они встречались ежедневно, но всегда урывками, на ходу. И однако эти мимолетные встречи так много значили для матери Вероники. Обе они внимательно приглядывались друг к другу и находили одна в другой все новые привлекавшие их друг к другу черты.

Мэри, такая нелюдимая и замкнутая в детстве, была теперь общительна и приветлива со всеми и словно излучала на всех деятельную доброту и ласку. Приходя сюда для брата, она попутно обслуживала и всех других в его палате: одному принесет махорки, другому бумаги и конвертов, у третьего возьмет заштопать носки, залатать разорванную рубашку — и делала это так просто, как делала родному брату, без всякого привкуса «доброго дела», словно это было

вполне естественно, а иначе и быть не могло. И все приходившие с нею в соприкосновение в общении с нею невольно проявляли свои лучшие стороны, обнаруживали душевные свойства, которых порой и сами в себе не подозревали.

«Вот у кого следует учиться истинно христианской любви и смирению», — думала мать Вероника, впервые чувствуя над собой чье-то моральное превосходство. Это необычное для нее признание было благодетельным этапом в ее духовном росте. А Мэри, в свою очередь, с радостью открывала в своей институтской подруге способность к самокритике, к которой у той прежде не было склонности, искренний интерес к людям и интенсивную потребность в духовном общении с ними. И обе они радовались этой встрече как подарку судьбы.

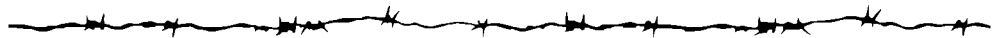
— Для тебя это все же не так много, как для меня, — говорила мать Вероника, — у тебя здесь брат, а я до встречи с тобой была тут совсем одна и не умела приобрести себе друзей. Вы оба счастливы уже тем, что вы здесь вдвоем, — легкомысленно заключила она.

Внезапно у Мэри выступили на глаза слезы:

— Ах, чего бы я не дала, чтобы только не иметь этого счастья, — сказала она. — Для меня лагерь не труден (ведь и здесь живешь не с волками), но видеть брата в этой обстановке, в этих условиях! Ведь мужчинам здесь и вообще хуже, а с ним еще и это несчастье!

И она стала рассказывать, как это случилось.

— Меня тотчас же вызвали с работы. Когда я прибежала, он лежал на снегу и стонал... Я сразу поняла, что это очень серьезно, он так всегда умел владеть собой, а тут уж ради меня удержался бы от стонов, если бы был в силах. Пришел начальник пункта Смирнов, распорядился, чтобы скорее запрягли розвальни, положили в них побольше сена. Видимо, он чувствовал себя косвенно виноватым в том, что случилось, ведь это он настоял, чтобы и брата послали копать, игнорируя то, что Володя по инвалидности был освобожден от такого рода работ. Он позволил мне сопровождать брата на Голгофу. При мне его осмотрели, констатировали перелом обеих голеней в нескольких местах, наложили перевязки. Он кричал от боли. Когда уже ночью я вернулась в Анзер, у дежурки меня остановил Смирнов (мне даже показалось, что он поджидал меня здесь) и участливо спросил: «Ну, что же оказалось? Перелом или только ушибы?» Я рассказала ему все, а он вдруг (я верю, что он искренне хотел меня утешить, только вышло у него это как-то неумело) сказал: «Ну, теперь Вы, по крайней мере, можете быть спокойны, что его больше не будут назначать на общие работы». А я, дура, внезапно позорно разревелась, просто нервы не выдержали, а он, верно, почувствовал, что неладно сказал, подумал, что я запла-



кала от его слов, и стал уговаривать меня с такой мягкостью. Мне всей душой было жаль его и так стыдно моих малодушных слез, но уже не могла взять себя в руки и продолжала плакать.

Мать Вероника слушала ее с изумлением. Как?! Ведь этот Смирнов был причиной такого несчастья с ее братом, а у нее не только нет озлобления против него, но она жалеет его, представляя себе, как ему тяжело было сознавать свою вину и бестактность. «Вот и я сейчас, не подумав, сказала нелепость, позавидовав, что она здесь не одна, а с братом. Верно, ей теперь и меня жаль, как было жаль Смирнова, и досадно на себя за то, что не сдержала слез при моем глупом замечании».

Не находя возможным высказывать Мэри в лицо свое преклонение перед нею, мать Вероника тем чаще говорила о ней с ее братом, а Криницын, сам обожавший сестру, не уставал слушать и сам рассказывал ей о сестре.

— Вы знаете, — говорил он, — Маруся решительно всем произвольно внушает преклонение перед собой. Когда нас везли сюда, в Кеми, в карантине, какие-то урки дочиста ее обокрали. Она, разумеется, никуда об этом не заявила, не находя возможным донести на товарищей (ведь урки теперь наши товарищи: товарищи по несчастью, товарищи по заключению). Но ленинградские урки, однокамерники Маруси по ДПЗ, узнав об этом, вспыхнули благородным гневом и категорически потребовали немедленно возвратить Криницыной все ее вещи. Через полчаса Мэри нашла у себя все до нитки, причем непонятно, когда они успели подбросить, ведь урки владеют искусством так же неуловимо возвращать, как и похищать вещи.

Мать Вероника с невольным стыдом вспомнила, что у нее с урками были всегда самые враждебные отношения. Чем же Мэри умела завоевать их сердца? Уж она-то, молчаливица и скромница, конечно, не обращала к ним обличительных проповедей. Она привлекала их непосредственным обаянием своей личности.

Эти беседы матери Вероники с Криницыным сближали их, соединяли их сердца в любви к Мэри. Только большая занятость матери Вероники полагала предел их встречам, но и на работе она продолжала теперь мысленно общаться с Мэри и ее братом, заимствуя от них всепрощающее и любовное отношение ко всем окружающим. Все чаще теперь звучали в ее душе струны, молчавшие в ней до тех пор и произвольно чутко резонировавшие на их душевные проявления. Вспоминая теперь, каким был Криницын в юности, мать Вероника не переставала поражаться теперешнему богатству его духовного мира. Как-то она высказала ему это, и он рассказал ей, какой перелом пережил, вернувшись к жизни после неудачной попытки самоубийства.

— Я тогда точно второй раз родился, и притом на другой земле, в другом мире, настолько иначе воспринимал все впечатления бытия. От того же события берет начало и мое религиозное мирозерцание. На этом пути моим ментором и ангелом-хранителем была Мэри. Она-то с детства была глубоко религиозна, но для нее это была такая интимная сторона ее внутренней жизни, что мало кто о том имел представление. Тут мы особенно сблизились: внешне это мало выявлялось — мы и в церкви-то редко бывали, и сюда попали не как религиозники, а как «генеральские дети», ведь отец был в царской свите, да и мы при дворе бывали; этого более чем достаточно, чтобы получить десять лет.

— Мы и в этом с вами ровесники, — улыбаясь, заметила мать Вероника и при этом поймала себя на эгоистической мысли, что весь остающийся ей срок она проживет в тесной близости с этими богоданными и, в сущности, первыми в ее жизни подлинными друзьями. Здесь, на Голгофе, под милостивым покровом Небесной Царицы, обрела она их и с их помощью вступила на путь морального обновления. И мысленно она горячо благодарила Божию Матерь за посланное Ею в их лице духовное руководство.

XII

Заведующую анзерской женской кустаркой Хитрушину перевели на какую-то новую должность на Главный остров, а на ее место назначили инструкторшу рукодельного цеха Викторovu. Принимая новую должность, она пришла за указаниями к начальнику пункта. Смирнов принял ее, лежа на деревянном монастырском диване, пояснив, что у него температура с сильной головной болью — «простыл, верно, где-нибудь», однако обстоятельно входил во все вопросы, которые затрудняли новую заведующую, и старался исчерпывающе разрешать их. Когда наконец они закончили деловые разговоры, он неожиданно спросил:

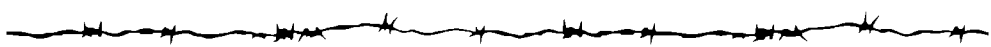
— Скажите, за что вас так ненавидит Хитрушина?

— Я не знала, что она меня ненавидит, да казалось бы, ей и не за что меня ненавидеть: я ей никакого зла не сделала. Впрочем, разве вот что: помните эту историю с матушкой Вероникой Языковой? Я ей сказала тогда, что заставлять монахиню вышивать антирелигиозную карикатуру — провокация.

— Во-первых, — перебил запальчиво Смирнов, — это была не ее, а моя идея.

— Все равно, авторство не меняет существа поступка, в моих глазах по крайней мере, — возразила Викторова.

— Да! Вот, по-вашему, это «провокация», а по-моему, это только удачный стратегический ход, — раздраженно продолжал Смирнов, — ведь она им там в



кустарке надоела хуже горькой редьки, и у них с нею чуть не каждый день перепалки были. Хитрушина приставала: «Сними да сними». Но ведь снять с работы без достаточно объективных оснований — скажут, что я действую лицемерно. А тут уж, извините, я ни при чем: мне подали рапорт об ее отказе от работы, а за это полагается снимать. Ну, правда, так как она там, кажется, еще и пошумела, я ее за дерзости еще и в карцере подержал...

— И правда, «удачный стратегический ход», — в свою очередь, раздражаясь, прервала его Викторова, — и от матери Вероники избавились, и сами как миленькие в стороне остались. А у Языковой срок десять лет, и все десять лет в ее формуляре будет стоять «отказ от работ» и «30 суток карцера».

— Э! От этого ее срок не увеличится!

— Но и не сократится: разгрузочная комиссия сокращает сроки на основании формуляров.

Викторова простилась и ушла. А на следующий день у Смирнова температура поднялась до сорока градусов, и налицо были все симптомы сыпного тифа. С Голгофы вызвали санитаров, которые, уложив больного в розвальни на матрацах и подушках, доставили его в Голгофскую больницу, где он был помещен в отдельную, наиболее чистую палату. Он бредил и метался, а приходя в себя, требовал старшую сестру, хотя при нем и без того уже были две сестры и санитары.

— Старшую! Сестру Веру... Веронику... Языкову! Пусть она за мной ходит.

Пришла мать Вероника.

— Вы звали меня? — спросила она, подойдя к его постели.

Он долго и напряженно глядывался в ее лицо.

— Да, — сказал он наконец, — я хотел вас видеть, только пусть все остальные выйдут.

— Да, — повторил он, когда они остались вдвоем, — я хотел вас видеть... Я серьезно болен... Кто знает, выживу ли? Я виноват перед вами: это ведь я придумал тот «у-дач-ный стра-те-ги-ческий ход», иначе «про-во-кацию»: карцер и прочее... Я хотел сказать вам это.

Мать Вероника вспомнила рассказ Мэри о том, как Смирнов поджидал ее ночью, видимо мучаясь сознанием своей вины перед ее братом, и как уговаривал ее не плакать. А вот оказывается, его мучило и то, что два месяца тому назад он посадил ее, Веронику, в карцер... Кто мог предполагать это?

— Полноте, Николай Григорьевич, — сказала она, — кто старое помянет, знает, тому глаз вон. Я вам только благодарна за то: ведь не случилось всего того, я и по сю пору, может быть, сидела бы за пятами да грызлась с монашками. Ведь я сама больше всех виновата в той истории и теперь сознаю

это. А к сознанию этому я пришла через карцер и Голгофу. Здесь я на месте: столько настоящей, нужной работы, что если бы и захотела, некогда, да и не с кем пререкаться.

Смирнов протянул руку:

— Ну, спасибо... Так будете ходить за мной? Я хочу, чтобы вы за мной ходили.

— Разумеется, если вы этого хотите!

— Ну, спасибо, — повторил он. — Погодите, мысли путаются что-то. Вы — старшая сестра Языкова. А еще есть Криницына. Тоже сестра, только того, безногого... А вы — моя сестра. Да? Скажите — да! У меня и дома есть сестра. Надежда... Вера, Надежда... А мать зовут Любовь. Если что случится, вы ей напишите. Она верующая, лампадки у нее, иконы. Ей легче будет узнать все от монашки. Да... Вера, Надежда, Любовь. 17 сентября, бывало, гости, пироги, торты...

Он начал бредить:

— Мы не опоздаем? К матери на именины... Уйдем отсюда... Только, чур, вместе!

— Хорошо, вместе. Только вы не говорите теперь, постарайтесь заснуть, вам необходим сон.

— А вы разбудите, когда приедем к матери. Она ведь ждет... Образок у меня от нее где-то в вещах: материнское благословение. Так вот: вы мать Вероника и старшая сестра. И мать и сестра разом в одном лице. Пе-ре-кре-сти-те!

Мать Вероника наклонилась над больным и перекрестила его. Поправила подушку, сменила лед в резиновом мешке на голове. Он устало закрыл глаза и забылся. Две недели мать Вероника не отходила от его постели. Он уже не приходил в себя. Бредил, метался, порою буйствовал, так что приходилось звать санитаров. И слабел день ото дня. Потом начались судороги в конечностях и в лице. Врач сказал, что это агония. Мать Вероника молилась, стоя у его изголовья. Вдруг он широко раскрыл глаза и спросил:

— Вы тут?

— Тут, тут.

— Готовы? Так едем же, пора, нас ждут. Скорее прочь отсюда.

Мать Вероника взяла его правую руку и, сложив пальцы для крестного знамения, перекрестила его собственной его же рукой. Потом перекрестилась сама и, наклонившись, поцеловала его в лоб. Он не сводил с нее широко раскрытых глаз. И так и застыл с устремленным на нее внимательным, пытливым взглядом.

Мать Вероника разыскала в его вещах иконку Николая Чудотворца с надписью на обороте: «Да хранит тебя Бог, Никола! Твоя мама». Потихоньку от всех спрятала ее на груди покойника. Потом написала длинное письмо его матери.

Сколько таких писем по поручению умиравших на ее руках больных приходилось ей потом писать матерям, мужьям, женам! Ей отвечали, прося возможно более подробных сведений, и вскоре у нее образовался многочисленный круг корреспондентов, которых она всех знала только по почерку. Через два дня Смирнова похоронили в отдельной могиле на склоне Голгофской горы.

ХIII

Эпидемия сыпного тифа все разрасталась. Каждый день привозили в больницу по несколько человек: из Анзера и других пунктов острова. Часто стали привозить с Троицкой — засекреченной командировки, где сосредоточено было высшее духовенство — православное и католическое.

Мать Вероника почти не спала и часто забывала поесть, так теперь у нее было много дела. Однако, как бы она ни была занята, она не забывала ежедневно хоть мимоходом заглянуть к «своим девочкам», как она называла Нюрку и Маруську, а если выдавались свободные полчаса, она сдавалась на их просьбы и рассказывала им сказки. Наизусть были ею прочитаны сказки Пушкина, пересказаны сказки Перро и другие. Однажды она попробовала переменить репертуар и рассказала им историю Иосифа Прекрасного, потом про Моисея — они слушали с таким же интересом, как сказки, — и вот понемногу она перешла к библейским и евангельским повествованиям, к житиям святых и часто при этом имела больше успеха, чем, бывало, рассказывая сказки. Беременная Дуся Иванова и другие больные в палате стягивались вокруг нее и тоже с удовольствием слушали. В этой палате («женской венерической») были сплошь одни урки, но в присутствии матери Вероники они не ругались и не сквернословили, а были с нею почтительно приветливы.

Узнав, что срок родов Дуси Ивановой близок, а у нее ничего еще не готово, мать Вероника отобрала кое-что из своего немногочисленного белья и, накроив распашонок и чепчиков, поручила сшить их «своим девочкам», которые томились бездельем и охотно взялись за работу. По инициативе Маруськи, обе девочки давно звали мать Веронику «мамочкой», и это ей было приятно.

В феврале привезли с Троицкой заболевшего сыпным тифом православного епископа очень преклонных лет. Сыпнотифозный барак был переполнен, и его положили на добавочную койку, которую вплотную приставили к одному из

кожных окон бывшего Голгофского храма. Он долго находился без сознания, но однажды, благополучно пережив кризис, пришел в себя и молча озираясь. Когда мать Вероника подошла к нему, он спросил:

— Ведь это Голгофская больница?

И на ее утвердительный ответ спросил еще:

— А где же Голгофский храм?

Мать Вероника сказала:

— Вы в нем сейчас находитесь, тут давно уже инфекционный барак.

Епископ внимательно оглядывал грязные голые стены палаты:

— А ведь я служил здесь когда-то, — сказал он, — в день двухсотлетия Анзерского чуда — 18 июня 1912 года. Великое торжество здесь было тогда. Со всех концов России съехались епископы. Тысячи богомольцев. Храм сиял огнями... После литургии был крестный ход к церковке, что на месте явления Пресвятой Богородицы. Не знаю, цела ли она теперь?

— Цела, только там теперь карцер, как и в келии преподобного Елеазара. Но вам сейчас нельзя много говорить. В другой раз расскажете мне, как вы здесь были, я рада буду послушать. А пока постарайтесь поспать — вам надо теперь сил набираться... — И она перешла к другому больному.

Епископ поправлялся медленно. Сыпняк дал осложнение на сердце, а у него и до того была грудная жаба и старческий склероз; частые и мучительные припадки изнурили его. Не раз казалось, что он умрет во время такого припадка, но заботами матери Вероники, принимавшей все меры, он выкарабкивался пока и только слабел раз от раза.

Однажды утром мать Вероника нашла его улыбающимся, радостно возбужденным.

— У меня сегодня ночью было видение, — сказал он. — Я вас ждал, чтобы рассказать. Вы видели, какая звездная ночь была сегодня? С моего места у окна так хорошо виден весь небесный купол, и море под ним до самого горизонта, и склон горы с братскими могилами анзерских страстотерпцев. Я лежал и молился, глядя на звезды. И вдруг вижу — они медленно перемещаются, образуя как бы венцы, и приближаются к земле — ниже, ниже, все ярче разгораясь. И тихая музыка, словно далекий хор невидимых ангелов, разрастаясь, так торжественно звучала под необъятным небесным сводом. А звездные кольца спустились до самой земли и остановились, словно повисли, но ведь и все, что мы видим, мы видим только постольку, поскольку Господь в своей безграничной благодати пожелает нам открыть. Мир невидимый необъятнее, да и реальнее мира видимого, хоть и недоступен нашему наблюдению. Вы помните

канон «Всем святым, в земле Российской просиявшим»? Там есть пророческие слова, словно непосредственно относящиеся к современным, новым страстотерпцам: «О, новых страстотерпцев подвига! Злобу убо претерпеша, веру Христову противу учений мира сего, яко щит держаще, и нам образ терпения и элострадания достойно являюще... О, велиции сродницы наши, именитии и безименитии, явлении и неявлении, небеснаго Сиона достигшим и славу нову от Бога приимшии...»

«Именитии и безименитии», «явлении и неявлении»... Но ведь безименитии и неявлении они только для нас, а у Бога они все на счету, все, все — и анзерские мученики и мученицы — равно: иноки и инокини, блудницы и разбойники... Это ради них Небесная Владычица обещала «вовек пребывать на месте сем». А тогда, в двухсотлетие чуда, никто не предвидел и не понимал этого. Если бы Господь сподобил меня теперь дожить до 18 июня! Я ежедневно молюсь обо всех, здесь лежащих, но хочется особо помолиться о них в самый день Анзерского чуда. Ничего, что теперь я не буду в епископском праздничном облачении и митре — это все внешнее, суета сует. Важно, что теперь я уразумел, хоть, вероятно, все же не в полной мере, истинный смысл пророческих слов Божией Матери. Не знаю, когда Господь призовет меня, на то Его святая воля, а мне так хотелось бы дожить до этого праздничного дня!

— Доживете, владыко, и еще поживете!

— Этого не дано нам знать. Да будет воля Его!

Владыка Иустин перекрестился и устало смолк. А мать Вероника подумала: «Скоро, верно, и ему предстоит пополнить собою число безымянных и неявленных анзерских страстотерпцев».

Как-то, когда мать Вероника была у постели епископа, в палату вбежала санитарка и, отведя ее в сторону, сказала:

— Дуська Иванова в родилке кончается, велела вас звать.

Мать Вероника поспешила в родилку. Дуся Иванова больше суток мучилась родами и после хирургического вмешательства произвела на свет крохотную и слабенькую девочку. Когда мать Вероника, поцеловав Дусю, поздравила ее с дочкой, та, притянув ее, порывисто зашептала: «Конец мне пришел... Простите меня... Возьмите с моего топчана в палате мою подушку, пока не выбросили, — розовую, ситцевую. Не побрезгуйте, распорите: там ваша вещь одна зашита. Дочку окрестите Вероникой... А мне уж не растить ее. Да оно, может, и лучше... Какая из меня мать!»

Она замолчала. Начался отек легких. Через час ее не стало. Когда мать Вероника, исполняя ее завещание, вспорола ее подушку, она обнаружила в ней зашитые в тряпку свои агатовые четки с золотым крестом, пропавшие в ее первую ночь в карцере. Никому не сказав об этой находке, она отделила от четок золотой крестик и, окрестив ребенка по краткому уставу, зашила крест в его подушку. Маруська и Нюра с увлечением нянчили Дусину дочку — возиться с ней было много интереснее, чем с куклой. Они купали ее, пеленали, поили из рожка смесью коровьего молока с рисовым отваром и сахаром, изготавливавшейся в аптеке по указанию врача под личным наблюдением матери Вероники. Но ребенок был очень слаб и через несколько дней последовал за своей матерью.

Обе девочки неутешно плакали над детским трупиком. Запеленатую в сшитое ими розовое одеяльце маленькую Веронику опустили в траншею рядом с Дусей, одетой в белый ситцевый капот матери Вероники. Эта «риза» была ее даром покойной куме.

XIV

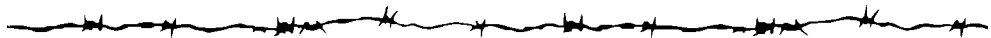
Криницын был прав: перебитые кости не срастались, а под гипсом разыгралось рожистое воспаление. Гипс пришлось снять и заняться лечением рожи. Уже третий месяц лежал он, все более теряя надежду на выздоровление.

Мэри продолжала ежедневно ходить на Голгофу и на глазах таяла день ото дня. И вот пришел день, когда мать Вероника тщетно, со все возрастающей тревогой прождала ее до позднего вечера. А на следующее утро ее привезли в больницу в тех же розвальнях, в которых она сопровождала брата из Анзера после случившегося с ним несчастья и в которых потом привезли сюда и Смирнова: она заболела сыпным тифом. Болезнь протекала вяло, и Мэри не теряла сознания. Но сердце работало плохо, и врач опасался за ее жизнь. Она и сама хорошо понимала серьезность своего положения.

— Я так сдала за эти годы, — говорила она матери Веронике, — что не надеюсь выжить. Для себя я не боюсь смерти, но ради брата мне нельзя умирать. Он сейчас совсем беспомощный калека, и, кто знает, может быть, навсегда. Но если даже ты возьмешь на себя заботу о нем, он так ко мне привязан, что с горя может что-нибудь сделать над собой... Не попусти ему поддаться соблазну этого греха, поддержи его, помоги пережить горе, если оно будет ему послано...

Она тихо утасала, не переставая говорить о брате, мучиться тревогой за его судьбу.

Шла Вербная неделя. Мать Вероника принесла пучок березовых и ивовых прутьиков с уже набухшими по-весеннему почками. Они стояли на столике у по-



стели больной, и в тепле почки полопались: березки распустили мелкие и клейкие зеленые листочки, на ивовых прутьях обнажились серебристо-бархатные пушки.

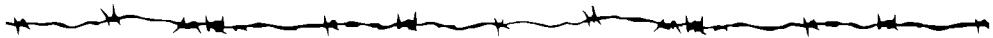
— Вот и я дожидая до весны, — сказала Мэри, любясь ими.

В Великий четверг она попросила мать Веронику перечитать ей «двенадцать Евангелий». На следующее утро написала она свою последнюю записку брату, полную заботы о нем и теплой ласки. Потом выразила желание заснуть — и незаметно во сне перешла в вечность... В народе есть поверье, что только большие праведники устаиваются чести умереть в Великую пятницу. Она своей кончиной подтвердила это поверье.

Мать Вероника почувствовала себя осиротевшей, бесконечно несчастной, но ей нельзя было предаться своему горю, надо было думать о Криницыне, горе которого было беспредельно. Откуда она брала душевные силы, слова любви и утешения? Она не искала и не обдумывала их, а чаще всего они и совсем обходились без слов: оба хорошо знали, что на сердце у них одно и то же — беспредельная любовь к Мэри и скорбь о ней. Перед лицом того, что стряслось, слова им казались и не нужны, и неуместны. Без всяких слов они чувствовали один в другом то, что теперь им было всего дороже, — их близость к Мэри. В них полнее, чем в ком-нибудь, осталась жить ее душа, и они чувствовали ее каждый в самом себе и друг в друге, были переполнены ею, и, когда оставались вдвоем, им казалось, что Мэри невидимо находится среди них и излучает на них свою любовь.

Со всеми другими людьми приходилось говорить о ней — и это было нестерпимо тяжело, поэтому Криницын в те первые дни не в состоянии был видеть людей и только мать Веронику, наоборот, не отпускал от себя: общее горе сроднило их. Для Криницына, кроме всего прочего, ужасно было то, что он не мог еще раз увидеть сестру, проститься с нею.

Весть о смерти Марии Михайловны Криницыной потрясла всех, знавших ее в Анзере и на Голгофе: санитары просили разрешения вырыть для нее отдельную могилу, кустари деревообделочного цеха анзерской кустарки выхлопотали досок и сами сделали гроб, обтянув его кусками старинного газета, валявшегося в чулане «красного уголка» — бывшей монастырской ризнице. Сотрудницы Марии Михайловны и ее однокамерницы упростили начальство отпустить их на Голгофу проститься с нею. С их помощью мать Вероника обмыла и одела Мэри, потом, уложив ее в гроб, окружила ее голову ветками березок и вербочек, которыми Мэри так любовалась в свои последние дни, такими же нежными и скромными, какою была она сама.



Снег сверкал под лучами мартовского солнца, на голых деревьях чирикали воробьи. Монашки, следуя за гробом, который несли санитары, пели «Со святыми упокой». Печальная процессия спускалась дорогой, по которой в течение трех месяцев Мэри ежедневно приходила и уходила, полная тревожных мыслей и заботы о брате, а он, лежа один в палате и слушая погребальное пение, лишен был возможности проводить сестру в ее последний путь...

Был второй день Пасхи. Над свежей могилой монашки пропели панихиду со всеми пасхальными славословиями, и в грустном молчании все разошлись к своим повседневным делам.

Наступила весна. Море очистилось ото льда, снег сбежал с Голгофской горы, деревья зазеленели молодой листвой, в лесу зацвели черника и брусника, в траве замелькали фиалки и подснежники, а склоны горы поверх засыпанных траншей, как ковром, покрылись крупными синими незабудками.

Приближалось 18 июня. В самое утро этого дня мать Вероника, встав раньше всех, собрала пышные букеты незабудок и расставила их в стеклянных банках по всем палатам. Особенно большие букеты стояли на столике у постели Криницына, на окне у койки епископа и в «женской венерической» у девочек. Два больших венка из незабудок были положены ею на могилы Мэри и Смирнова, а два других — большой и маленький — на братскую могилу-траншею, в которой лежали Дуся и ее дочка. «Куме и крестнице», — с тихой и грустной улыбкой подумала мать Вероника, стоя над длинным, уже заросшим травой и цветами валом.

Владыка Иустин, заботами матери Вероники по-праздничному вымытый, на чистой простыне и белых, высоко взбитых подушках полусидел в своей постели у широко открытого окна, за которым шелестели молодой листвой высокие березы, обращенный лицом к восточной стене, у которой был когда-то алтарь.

Молясь, он живо вспоминал теперь то далекое и такое же, как сегодня, солнечное утро в день двухсотлетия Анзерского чуда, когда он участвовал в происходившем в этих стенах торжественном богослужении. Вот так же и тогда через обращенные на юг окна храма врывалось золотыми снопами утреннее солнце, играя сквозь подвижную сеть листвы на этих стенах, тогда таких величественно красивых. Оглядывая их теперь, он вспоминал, как выглядели они в то время. В каждом простенке иконы, а все стены и своды покрыты трогательно наивной фресковой живописью, изображавшей последовательно всю историю Страстей Господних, начиная с Его ареста в Гефсиманском саду, допроса у Каиафы, суда у Пилата и кончая Его крестной смертью. Вон там Он был изображен художником в кандалах, в багрянице и терновом венце, а рядом Он же, согбенный под тяжестью креста, совершает свой путь на Голгофу. Дальше, в глубине той ниши,

Он же, вознесенный на кресте с двумя разбойниками по сторонам; внизу была подпись славянской вязью: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

Помимо своего прямого значения, эти фрески как бы пророчески символизировали судьбу анзерских страстотерпцев нашего поколения, ведь каждый соловчанин и каждая соловчанка прошли через все эти стадии: арест, допросы, суд и приговор. Каждый нес свой тяжелый крест, и так многие кончали этот крестный путь здесь, на анзерской новой Голгофе, смертью искупая свои грехи.

Иконостас, украшенный золочеными витыми колонками, был в три яруса и заполнен темными старинными иконами; в овале над царскими вратами была «Тайная вечеря», а на створках врат изображены: на одной — архангел Гавриил с белой лилией в руке, на другой — Пресвятая Дева, смиренно внимающая его благовествованию.

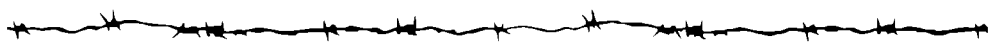
А вон в том простенке изображено было и само Анзерское чудо: неизвестный художник нарисовал обоих иноков расprostертыми на траве, пестреющей крупными синими цветами, а Божию Матерь и преподобного Елеазара поместил на фоне курчавого зеленого леса, совсем такого, какой и сейчас тянется по склону горы до самого моря.

Владыка Иустин так ярко видел картину бывшего здесь храма, что она представлялась ему уже не как воспоминание, а как реальная действительность. Он уже действительно видел и иконостас, и живопись на стенах — не духовными только, а и телесными очами, как слышал сейчас телесными ушами монастырское церковное пение: «Иже херувимы тайно образующе... всякое ныне житейское отложим попечение...» Тихо и росно теплились огоньки лампад и бесчисленных восковых свечей. С легким шелестом отодвинулся темно-красный шелковый занавес, и торжественно тихо раскрылись царские врата. На пороге, в лучах утреннего солнца, стоит со святыми Дарами в руках преподобный Елеазар — совсем такой, каким он изображен на соловецких иконах, а по сторонам его — справа Царица Небесная во всей своей славе, слева — блаженный Иов. Взоры их устремлены в самую душу владыки Иустина. Чудесное видение в голубых клубах ладана уже близится к нему.

В несказанном восторге он сделал усилие встать — и неземное сияние озарило его, проникло до дна в его восхищенную душу.

В это время голгофский врач, совершая своей ежедневный утренний обход больных, вошел в сыпнотифозный барак, сопровождаемый старшей сестрой больницы.

Мать Вероника, движимая каким-то смутным и тревожным предчувствием, сразу, минуя других больных, провела его к койке у окна, на которой столько



месяцев лежал епископ Иустин. Подошли и застыли молча, как два изваяния, по обе стороны его постели: епископ недвижно лежал на спине, и счастливая улыбка светилась на его лице, не оставив на нем ни одной скорбной морщины.

— Отмучился, — прошептала мать Вероника. — А как он ждал этого дня! Как усердно к нему готовился!

XVI

В конце лета приехала разгрузочная комиссия. Рассматривая формуляры заключенных, она обнаружила нетрудоспособного калеку-«десятилетника» Криницына — и сочла за благо избавить лагерь от бесполезного нахлебника. Криницын, не отбывший еще и половины своего срока, был освобожден вчистую.

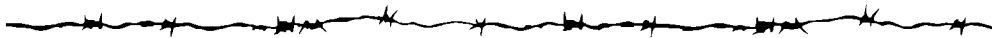
Он воспринял это решение как смертный приговор, но протестовать было бесполезно. А все окружающие, кроме матери Вероники, переживали это известие как выпавшее на его долю счастье и, завидуя в душе, шумно поздравляли его.

Наиболее искреннюю радость испытывал главврач больницы. Криницын как неизлечимый хроник, для которого он не умел, да в Голгофских условиях и не мог ничего сделать, был для него как бельмо на глазу.

— Искренне радуюсь за вас, — говорил он Криницыну, — ведь у вас в Ленинграде есть, кажется, родственники, они поместят вас в ортопедическую клинику. В столичных условиях врачи смогут поставить вас на ноги, и вы снова станете трудоспособным человеком.

Одна мать Вероника молчала, спешно собирая вещи Криницына, подготавливая для него все необходимое в дорогу. На душе у нее было так, как в последние дни жизни Мэри, когда она уже предвидела неизбежность близкой разлуки и должна была таить от нее свое горе. Только теперь это новое горе владело ею с еще большей силой, чем тогда.

Впервые она вынуждена была констатировать в душе, что Криницын успел стать для нее больше, чем братом любимой подруги, он стал частью ее самой, ее лучшей частью, и лишиться его для нее было страшнее, чем лишиться жизни. Инстинктом любящего сердца она впервые поняла, что и для него разлука с нею подобна смерти. Но и тут они обошлись без слов: оставаясь вдвоем (Криницын уже давно был переведен в отдельную палату, в ту, где умерла Мэри), они или молчали, или говорили о деловой стороне предстоявшего ему путешествия, о разных бытовых мелочах, старательно пряча друг от друга свое горе и понимая в то же время, что его все равно не скрыть. На сборы было дано двое суток. В лагерных условиях это очень большой срок, обычно извещение об освобождении сопровождают приказом: «Будьте готовы с вещами через полчаса».



Утром в день отъезда Криницына мать Вероника надела на него свой золотой крест, оставив себе тот, которым она окрестила маленькую Веронику.

— Это мое благословение вам на новый этап вашей жизни, — сказала она.

Он молча и почтительно поцеловал ее руку.

Пришли санитары. Переложили Криницына с его койки на носилки и, подняв их, понесли из палаты. Спускаясь по лестнице вслед за носилками, мать Вероника невольно вспомнила, как меньше полугода тому назад она шла по этой лестнице за гробом Мэри. У крыльца стояла телега. В качестве старшей сестры мать Вероника заботливо проверила, достаточно ли положено сена на дно телеги, распорядилась застлать сено одеялом, сама укрыла Криницына другим одеялом, подоткнув его с обеих сторон, поправила подушки. Санитары уселись по сторонам кучера на передок телеги.

— Ну что, готово? Можно трогать? — спросил кучер.


Мать Вероника вся выпрямилась, на минуту чуть запрокинула голову, точно ей вдруг стало трудно дышать.

— С Богом, трогай, — сказала она и в последний раз протянула Криницыну руку. Он прижал ее к своим губам, потом к глазам, в которых стояли слезы. Лошадь дернула, и телега затарахтела вниз по склону Голгофской горы.

Мать Вероника, как окаменелая, смотрела им вслед. Вот телега миновала деревянную церковку на месте явления Божией Матери. Мать Вероника видела, как он перекрестился на ее чешуйчатый купол. Вот они уже спустились до подножия горы, проехали околицу — и телега покатила лесом по ровному шоссе на Анзер.

Мать Вероника поднесла к глазам правую руку. Сама она не плакала. Ей казалось, что она умерла. Она не в состоянии была двигаться, что-либо делать, говорить, вообще жить. Как хотела бы она лежать в одной из этих траншей. Машинально, не отдавая себе отчета, куда и зачем, она побрела между траншеями и одиночными могилами к западному склону горы. Сама не помнила, как очутилась у могилы Мэри. Только тут она точно очнулась от своего оцепенения: опустила на колени и припала лицом к пестревшему незабудками холму. Это было все, что ей теперь осталось от Криницына: безмолвная могила его сестры.

Потянулись мучительные своей монотонностью, пустые, одинокие дни. Одни больные умирали, прибывали другие, но и они сменялись новыми. Эпидемия сыпняка сменялась эпидемией дизентерии, работы было много, очень много, и мать Вероника делала ее так же добросовестно, как и всегда, но все, чем бы она теперь ни занималась, она делала автоматически, не участвуя душой в работе, не радуясь за выздоравливающих, не скорбя об умиравших. Она не переставала



испытывать холодное сознание того, что жизнь ее оборвалась внезапно и свет погас для нее, казалось, навсегда.

Легче всего она чувствовала себя, когда урывала минуту побыть у Мэри. Без слов, без мыслей, которые можно было бы облечь в слова, она стояла, прислонясь к стволу старой плакучей березы, слушала птиц, уже собиравшихся в отлет, следила за плывущими в небе облаками, за медленно и тихо опадавшими золотыми листьями, которые яркими бликами горели на могилах среди отцветавших уже незабудок, и, казалось, ничего не чувствовала. Вдали, синев, сверкало на солнце море, отделявшее ее от всего необъятно широкого мира, куда увезли Владимира. Она уже не могла мысленно называть его по фамилии. Душа ее рвалась за ним в далекий и уже было давно забытый ею Ленинград.

Как-то, идя по кладбищу, она набрела на могилу епископа Иустина. Незабудки, посаженные ею в день его погребения, пышно разрослись и теперь уже отцветали. Она остановилась, прибрала вокруг могилы, машинально перекрестилась. И вдруг, в первый раз после отъезда Криницына, она честно отдала себе отчет в том, что происходит с нею: да ведь она, инокиня, попустила безраздельно овладеть ею земной страсти, надо же иметь мужество называть вещи своими именами. То, что творится в ней, — настоящая земная грешная любовь, плотская страсть, какой она никогда еще ни к кому не испытывала, хотя девочкой и воображала себя влюбленной... Но тем только властнее и губительнее завладело ею это позднее безнадежное чувство, вытеснив все, чем жила она до тех пор, поработив ее и подчинив себе все другие ее духовные стороны. И по исконной своей былой привычке она вдруг вспомнила Пушкина:


*Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.*

...О чем это она? Она, монахиня, применяет к себе переживания Онегина! До чего же она пала! В своем падении она дошла до того, что забыла Бога, забыла Божию Матерь, мысль о которой прежде непрестанно сопутствовала ей здесь. Еще недавно она все свои мысли и чувства непрерывно подчиняла Ее Божественному контролю. Как случилось, что эта основная сторона ее духовной жизни здесь не только потеряла над ней прежнюю силу, но и совсем забылась ею? Она почувствовала себя погибшей грешницей и, вспомнив, как она когда-то обличала Шурочку Комиссарову за ее романы, устыдилась еще больше. И не к кому пойти облегчить

душу покаянием: владыка Иустин под этим холмиком и не встанет, чтобы наложить на нее епитимью, научить, как ей жить дальше, чтобы искупить свой тяжёлый грех... Обливаясь слезами, она припала к его могиле. Это были ее первые слезы после разлуки с Криницыным. Они облегчили понемногу ее смятенную душу. Словно услышала она откуда-то слова любви и прощения. Мир и тишина снизошли на нее, и она вновь почувствовала себя способной молиться, любить людей, всех людей иначе, чем она любила Владимира. Да и к нему она сохранит сестринскую чистую привязанность, какую завещала ей Мэри. Теперь, когда его здесь нет, она справится с собой, поборет в себе то, что было греховного в ее чувстве. Как мудро распорядилась судьба, внушив разгрузочной комиссии мысль освободить его из лагеря. Божественный Промысел сказался в этом решении, которое оба они тогда так тяжело приняли. А между тем именно это решение, раскрыв им истинный характер их взаимной привязанности, в то же время наложило свое veto¹² на дальнейшее сближение, которое Бог знает куда могло бы их завести, если бы оно и дальше продолжалось. Несомненно, Сам Господь в своей бесконечной благодати разлучил их, чтобы не допустить до дальнейшего греха. Ведь сердца и мысли членов разгрузочной комиссии, как и всех других людей, подчинены воле Всевышнего. Все мы, верующие и неверующие, дети Единого Отца и равно подчинены Ему, хотя и не все сознаем это. Но закон любви и справедливости, неосознанный подчас, живет в каждом и рано или поздно пробудит в нас голос совести. Ей вспомнился Смирнов, несомненно мучительно переживавший свою вину перед Криницыным и то, что он когда-то послал ее в карцер; Дуся Иванова, вспомнившая в свой смертный час об украденных ею четках, «девочки», которые совсем переродились здесь. Вот и ей, матери Веронике, Господь поможет подняться, укажет путь искупления.

С этого дня мать Вероника снова всей душой ушла в работу, но те, кто знали ее раньше, отмечали в ней большую перемену: она стала менее самоуверенна и словоохотлива, хотя еще чутье и глубже вникала в переживания больных, окружая их лаской и теплым вниманием. Большая сосредоточенность и богатая внутренняя жизнь чувствовались в ней каждым, кто приходил в соприкосновение с нею. Все пережитое ею за последние месяцы всколыхнуло до самого дна ее душу, выявив свойства, которых раньше она и сама в себе не сознавала. И даже бывшие слабости ее в процессе духовного роста преображались в орудие дальнейшей работы над собой. Так, ее бывшая слабость самолюбования и связанная с нею привычка наблюдать себя со стороны заменилась привычкой непрестанно-

¹² Veto (лат.) — запрет.



го строгого контроля над собой, своими мыслями и поступками; бывшее желание нравиться, которое заставляло ее, находясь в обществе, чутко прислушиваться к тому, какое она производит впечатление на окружающих, заменилось теперь непрерывным сознанием того, что она, ее мысли, слова и поступки всегда находятся в поле зрения Всевидящего Ока, и стремлением не оскорбить ничем недостойным тот путь, на который ее поставил Господь. И подлинное искреннее смирение все безраздельнее овладевало ею.


Скоро стали приходить письма — первые письма не от неведомых, как это было до сих пор, заочных корреспондентов: сначала открытки с дороги, потом пространные, на многих страницах письма из Ленинграда.

В пути Криницыну довелось много натерпеться, но в Ленинграде его встретили дальние родственники, которые окружили его заботой и вниманием, поместили в клинику, где ему была сделана радикальная операция: одну ногу пришлось ампутировать ниже колена, но через два месяца он получил возможность передвигаться с протезом — сначала на костылях, а потом и без них. По выходе из клиники он поселился у этих родственников. Ему устроили корректорскую работу, которой он мог заниматься дома. Живя в культурной симпатичной семье, он общался с представителями ленинградской интеллигенции, много читал, следил за газетами и новыми журналами, и, хотя в его письмах часто звучали тоскливые нотки, мать Вероника радовалась за него и писала ему спокойные, бодрые и его призывавшие к бодрости письма.

Эпилог

Прошло пять лет. Многое изменилось в Соловках. Поредели вековые леса, из года в год вырубаемые заключенными лесорубами. Исчезли или изменили до неузнаваемости свой внешний вид многие старые монастырские постройки. Появились новые, лагерно-барачного типа; изменились многие лагерные правила и порядки, постепенно обновился весь состав администрации и заключенных. Одно осталось неизменным: ежегодно регулярно повторяющиеся эпидемии сыпного тифа зимой и дизентерии летом, да старшая сестра Голгофской больницы шестой год бессленно подвизалась на своем посту, хотя и трудно было теперь признать в ней когда-то впервые прибывшую в лагерь столичную экзальтированную мечтательницу и неутомонную спорщицу.

И по характеру, и по внешнему своему облику она стала совсем другой: невозмутимо-спокойная, со всеми ровная и приветливая, высокая и худая, с иконопис-

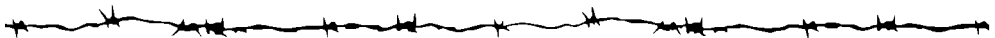


ным лицом, одетая все в тот же подрясник, сильно порыжевший и залатанный, в черном ситцевом платке. Она была по-прежнему неумоима в работе, но скупа на слова и изменяла своей сдержанности только в том случае, когда до нее достигали неумеренно хвалебные отзывы о ней больных и персонала.

— Напрасно беретесь вы судить о людях, — говорила она всякий раз в таких случаях, — не дано нам знать подлинную сущность человека, каким бы он ни казался порой, плохим или хорошим. Не нам делать оценку людям, предоставьте это нашему Единому Судье и Сердцеведцу. Я прежде была скоро на осуждение и даже не останавливалась перед тем, чтобы и в лицо порицать людей, но за свое долгое пребывание в лагере, где Господь сводил меня со всякими людьми, вплоть до так называемых блудниц и разбойников, Он не раз давал мне случай убедиться, что я не только не лучше самых, с общечеловеческой точки зрения, плохих людей, но иными своими душевными сторонами много хуже их, хотя, может быть, стороны эти и недоступны постороннему глазу. В каждом человеке таится искра Божия, каждый повинен в том или ином грехе, и кто знает, что победит в нем в конечном итоге? Ну да не мне поучать вас. А только поверьте, что я много в чем грешна — и в прошлом, и теперь грешу постоянно.

Никогда и ни с кем не затевала она теперь богословских диспутов. За шесть лет работы в Голгофской больнице ей приходилось общаться не только с православными; среди ее пациентов много перебивало католиков, лютеран, евреев и магометан. Многие из них умирали на ее руках, и, когда в свой похоронный час они, каждый на своем языке, призывали Бога, мать Вероника присоединяла к их молитвам свои, не задаваясь мыслью о том, какому Богу она молилась — православному, католическому, еврейскому, магометанскому. Для нее уже было аксиомой, что Бог у всех один, все же особенности вероисповеданий, догматы — от людей, а то, что от Бога, вечно, непреложно и в полном своем объеме недоступно никому из смертных.

Она скорбела в душе о евреях и магометанах, не знающих Христа, Божией Матери и святых угодников, и часто рассказывала о них, но никогда не пыталась навязать им свою веру, памятуя слова апостола Павла, что иной нехристианин по духу своему стоит ближе к Богу, чем другой, называющий себя христианином. Да и внутри каждой религии люди разное чувствуют Бога и по-разному любят Его, ведь истинная вера утверждается в душе людей на основе их личного религиозного опыта, который у каждого свой: пути, которыми Господь ведет нас к познанию Истины, неисчерпаемо разнообразны и неисповедимы, неисчерпаемо разнообразен и религиозный опыт людей, и только те веруют одинаково, кому готовый шаблон заменяет живую веру.



Вероятно, поэтому не раз случалось, что иноверцы оказывались ей духовно ближе единоверцев: так, ей, неизменно верной православию, много дал один долго болевший и умерший на Голгофе католический епископ, потом она сблизилась и нашла много точек соприкосновения с одной врачихой-теософкой, проработавшей года два в Голгофской больнице, и всем сердцем привязалась к больничной кухарке-«чуриковке», малограмотной, но исключительно чуткой к людям и деятельно доброй женщине.

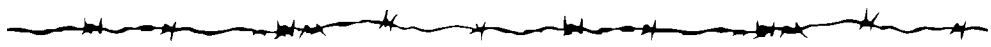
Как и прежде, мать Вероника была душою больницы. Бесшумно проходя из барака в барак, из палаты в палату, она окружала больных заботливой лаской и посибно облегчала их физические страдания. Никто не знал, когда она спала и ела: днем и ночью видели ее у изголовья тяжелобольных, в аптеке, в операционной. Да вернее всего, она нередко сама забывала о сне и пище. Не было у нее теперь также времени часами, как прежде, простаивать на утренней и вечерней молитве. Но что бы она ни делала теперь, она непрерывно чувствовала себя «под Богом», находясь в постоянном общении с Ним, и мысленно, на ходу, за любым занятием, часто и горячо молилась Ему за заключенных — живых и умерших.

Однажды ранним февральским утром по больнице разнеслась тревожная весть: мать Вероника серьезно заболела. А вскоре врачом был установлен и диагноз — сыпняк. Ее поместили в отдельную палату. Случайно это оказалась та комната, в которой умерла Мэри и из которой уехал на свободу Криницын.

Мать Вероника болела без особо высокой температуры, без бурных приступов бреда, но врач с тревогой ждал кризиса, опасаясь, что ее переутомленное сердце и изнуренный организм не выдержат перелома. Мать Вероника и сама понимала это. Слабеющим голосом поручила она ему в случае ее смерти известить ее друзей в Ленинграде — и дала адрес Криницына. Похоронить себя она просила рядом с могилой Марии Михайловны Криницыной. Потом распорядилась созвать персонал и всех ходячих больных. Каждому, прощаясь, сказала ласковое слово, а лежачим больным просила передать ее прощальный привет и благословение. Всем желала здоровья и возвращения на родину.

Оставшись потом одна с дежурившей у постели сестрой, она закрыла глаза и уже ничего не говорила. Всю ночь она шептала молитвы и медленно крестилась холодеющей и плохо повинующейся ей рукой. Тихие слезы струились из-под сомкнутых век по ее впалым щекам. Под утро она скончалась.

Если бы Верочка Языкова могла увидеть теперь распростертое на лагерной больничной койке худое и длинное тело матери Вероники, она едва ли узнала



бы себя в этой изнуренной монахине с пергаментным лицом и скрещенными на груди костлявыми, как у скелета, руками.

Но Верочки Языковой давно не было ни на этом, ни на том свете: она умерла, как пустая форма, как внешняя оболочка зерна, которое долго невидимо таилось в ней, бездейственное и никем, даже ею самой, не осознанное, но которое — в скорбях и муках — пробудилось в ней однажды, проросло и, сбросив мешавшую шелуху, выросло в конце концов в большое, крепкое и стойкое дерево, многим послужившее нравственной опорой и защитой, в мудрую и до самозабвения любвеобильную мать Веронику — неизвестную праведницу, только что отошедшую из этого мира борьбы и страданий, чтобы возродиться для вечной жизни в ином мире, где «несть ни печалей, ни воздыханий» и где, без сомнения, она сопричислится к лику таких же, как она, безымянных и неканонизированных анзерских страстотерпцев.

Много мелких и слабых душ очерствело и погибло в условиях лагерной обстановки, но эта же лагерная обстановка помогла пробудиться и выявиться неисчерпаемо богатым духовным силам, казалось, пустой, черствой и честолюбивой светской женщины — Веры Александровны Языковой.



ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Анзер, второй по величине (47 кв. км), остров Соловецкого архипелага, название которого означает «вытянутый остров». Анзер начал осваиваться еще в XVI в., когда здесь действовали монастырские солеварни, и, возможно, уже тогда рыболовные тони в Троицкой и Кирилловской губе. Впоследствии здесь появились скиты, сыгравшие важную роль в духовной истории соловецкого монашества. Троицкий (Анзерский) скит был основан по указу царя Михаила Федоровича в 1620 г. преподобным Елеазаром, который в середине 30-х гг. XVII в. принял в этом месте монашеские обеты у будущего патриарха Никона. Распятский скит был организован в 1713 г. на горе Голгофе (64 м) стараниями бывшего царского духовника преподобного Иова (в схиме Иисус). В лагерный период на Анзере действовало VI отделение СЛОНа, где находились заключенные, неспособные трудиться на общих физических работах: старики, доходяги, женщины («мамки») с новорожденными детьми, православное и католическое духовенство. Одновременно с этим в Троицком скиту действовало предприятие Кустпрома, а на территории Голгофо-Распятского скита располагались тифозный изолятор и лазарет.

Архангельские и Холмогорские концентрационные лагеря [Архангельский лагерь, Холмогорский лагерь], места изоляции «враждебных Советской власти элементов». Действовали на территории Архангельской губернии в 1920–1923 гг. Первый лагерь в этих местах появился в г. Шенкурске в 1919 г. и существовал до 1920 г., когда его заключенные были переведены в женский монастырь с. Холмогоры. В официальных документах

он проходил как «Концлагерь № 1», затем — Архангельский губернский лагерь принудительных работ. В 1920 г. концлагеря в Архангельской губернии находились в ведении местного ревкома и состояли из Архангельского лагеря принудительных работ № 1, узники которого работали в Архангельске и Архангельском порту; Архангельского лагеря принудительных работ № 2 на ст. Исакогорка, выделенного из лагеря № 1 с целью использования труда заключенных на железной дороге; лагеря в Холмогорах, Соловецкого и Пертоминского лагерей. Все эти места заключения предназначались для изоляции, принуждения к труду и физического уничтожения — белогвардейских офицеров, представителей буржуазии, помещиков, священнослужителей, которых лишали свободы на основе постановлений народных судов, революционных трибуналов, ЧК, исполкомов Советов. В 1921 г. роль Холмогорского лагеря, где согласно только официальной переписке высокопоставленных должностных лиц ВЧК, было расстреляно несколько тысяч заключенных, принял на себя Пертоминский лагерь принудительных работ, ставший местом расправы над участниками Кронштадтского мятежа. Несмотря на то, что в январе 1921 г. Архангельский губисполком принял постановление о целесообразности закрытия действовавших в губернии лагерей, закрыли только Соловецкий лагерь. Остальные были объединены в Управление Северных лагерей, просуществовавшее до осени 1923 г., когда всех заключенных из северных лагерей ОГПУ перевели на Соловки.

[Лагерная] библиотека, их было две, монастырская, она же библиотека при музее СОКа, содержавшая около 2000 книг и

рукописей из местного книгохранилища и архива, и общелагерная, каталог которой к 1927 г. включал в себя 30 тыс. томов и несколько тысяч журналов по всем отраслям знаний. Основной книжный фонд общелагерной библиотеки был выделен Бутырской тюрьмой и постоянно пополнялся за счет личных книг соловецких заключенных. При ней функционировал читальный зал, в котором организовывалось чтение всевозможных докладов. Известны также общественные библиотеки, действующие на территории политсбитов.

Благовещенская церковь, построена над проездом аркой Святых ворот в 1596—1601 гг. Была домовым храмом настоятеля монастыря и из алтаря сообщалась переходом с его покоями, где в 1920-е гг. находилось Управление I (Кремлевского) отделения СЛОНА. С 1925 по 1937 г. в самом храме размещался лагерный музей.

Больница им. Ф. П. Газа (Петроград), начала действовать в 1918 г. как холерная больница для заключенных в помещении городского арестантского дома, построенного в Санкт-Петербурге в 1881 г. В 1919 г. больнице было присвоено имя доктора Ф. П. Газа, врача и филантропа XIX века, директора попечительского тюремного комитета.

Больница Соловецкого кремля располагалась в Иконописной и Портной палатах на территории северного двора монастыря. В Иконописной палате с 1905 г. действовали больницы для братии и находящийся при ней храм во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Кроме Центральной больницы, существовал лазарет на г. Голгофа (о-в Анзер) и фельдшерские пункты в отделениях и командировках, где численность заключенных превышала 60 человек. Самыми распространенными заболеваниями среди осужденных в 1920-х гг. были туберкулез, цинга и тиф. Многие уголовники страдали венерическими заболеваниями.

Бутырская тюрьма (Москва), центральная пересыльная тюрьма в дореволюционной

России, служила также местом заключения для подсудимых и осужденных по политическим и уголовным делам. До 1917 г. при ней действовали переплетная, сапожная, портняжная, столярные мастерские, было организовано производство венских стульев и выжигание по дереву. Здесь же был организован Сергиево-Елисаветинский приют для жен и детей, добровольно следовавших за ссыльными в Сибирь. После октябрьского переворота Бутырская тюрьма стала принудительным пристанищем для многих неугодных Советской власти людей, в т. ч. видных государственных деятелей и священнослужителей, впоследствии прославленных в лике святых.

Бухта Благополучия, залив в южной части Большого Соловецкого острова, на берегу которого стоят основные монастырские строения.

Варваринская часовня, построена в 1857 г. в честь великомученицы Варвары в 3 км от центральной усадьбы Соловецкого монастыря близ морской пристани. В лагерный период в ее помещении располагалась контора лесничества СЛОНА.

Голгофо-Распятский [бывший Анзерский] скит на о. Анзер, был организован в 1713 г. на горе Голгофе (64 м) стараниями бывшего царского духовника преподобного Иова (в схиме Иисус). В лагерный период здесь располагались тифозный изолятор и лазарет.

Данилово (Питьевое) озеро, расположено в 2,5 км от монастыря, вода из него поступает в Святое озеро.

Дамба, рукотворный каменный мост 1,2 км длиной, шириной от 6 до 12 и высотой — 4 м, сооружен в XIX в. между Большим Соловецким островом и островом Большая Муксалма в целях оптимизации деятельности расположенного на ней скотного двора.

Детская колония, городок из нескольких бараков, построенных в 1928 г. для несовершеннолетних заключенных к югу от цен-

тральной усадьбы Соловецкого монастыря, за территорией братского кладбища. В 1929 г. колония была переведена на материк.

Елеазарово озеро, расположено рядом с местом первоначального поселения преподобного Елеазара на о. Анзер.

Железная дорога (узкоколейка), сеть железнодорожных путей сообщения, была построена на Большом Соловецком острове в лагерный период для перевозки грузов и заключенных. Первоначально в 1923 г. появилась рельсовая узкоколейная колея, протяженностью 4,5 версты, для ручной подачи вагонеток, спустя год на ней начали использовать паровозы. В 1924–1926 гг. железнодорожные ветки пролегли до Перт-озера и Кирпичного завода. В 1929 г. была запущена последняя ветка — Кремль — Филимоново, связавшая центр управления лагеря с торфоразработками. Последний раз железная дорога упоминается в официальных документах в конце 1931 г. По-видимому, ее тогда же разобрали и с началом навигации 1932 г. вывезли на строительство Беломорско-Балтийского канала.

Женский барак, бывшая Архангельская гостиница, расположена к югу от монастыря. До середины 1920-х гг. в ней содержались заключенные женщины (кроме политических и оштрафованных). Позднее узниц стали направлять и в другие отделения Соловецкого лагеря (в Савватьево, на о-ва Анзер и Муксалма).

[Большой] Заяцкий [Заячий, Заячихи] остров, больший из группы Заяцких островов (площадь — 1,5 кв. км). В середине XVI в. здесь появилось «пристанище» для кораблей, включающее каменную гавань, людскую избу и поварню. В конце XVII в. сюда была перенесена Иоанно-Предтеченская часовня, которую в 1702 г. по приказу Петра I перестроили в церковь во имя апостола Андрея Первозванного. В XIX в. в Андреевской пустыне появились деревянный корпус с покоем для соловецкого архимандрита и неко-

торые хозяйственные сооружения. В лагерное время комплекс зданий использовался для нужд штрафного изолятора, в котором содержались беременные, женщины, страдающие венерическими заболеваниями, и узницы, наказанные в административном порядке.

[Малый] Заяцкий [Заячий] остров, меньший из группы Заяцких островов (площадь — около 1 кв. км), который — вероятно, из-за отсутствия на нем источников пресной воды — никогда не осваивался монастырем.

Квасоваренный корпус, построен в XVI в. в северной части Соловецкого монастыря, впоследствии к нему была пристроена одноименная башня.

Кемский пересыльный пункт [Кемперес-пункт, КЕМЬ-ПЕР-ПУНКТ, Кемьпер-пункт], организован в 1923 г. на Поповом острове как транзитный пункт для размещения следующих на Соловки заключенных. Те, кто попадал сюда в период навигации, как правило, там не задерживались и отправлялись пароходами на Соловки. В зимнее время людей распределяли по материковым отделениям и командировкам. Структура пересыльного пункта изменялась по мере развития самого лагеря. В 1928 г. Кемперпункт делился на пять рот и три карантина, причем каждая рота была разбита на несколько командировок. В 1932 г. функции пересыльного пункта перешли к соседнему Морсплаву.

Кемь, город (с 1785 г.), райцентр в Карелии, расположенный на р. Кемь в месте ее впадения в Белое море, в 434 км от Петрозаводска. В средние века Кемь являлась центром волости, которая в XV в. стала вотчиной Соловецкого монастыря. В конце XVI в. здесь появился деревянный острог, который выдержал нападение шведов. Позднее в Кемь было устроено монастырское подворье, а в лагерный период — пересыльный пункт и Управление Соловецких лагерей.

Кемь, река в Карелии, в переводе с местного языка — «Большая река», которая впа-

дает в Белое море. В средние века Кемь, бравшая начало в Финляндии, входившей в состав Швеции, была судоходной на всем своем протяжении. По ней в период русско-шведских войн конца XVI — начала XVII в. вооруженные шведские отряды совершали набеги на вотчины Соловецкой обители.

Кеньга (Красная, Красивая), мыс в 2,5 км от Свято-Троицкого скита на о. Анзер, переправа на Большой Соловецкий остров, расстояние до которого в этом месте составляет около 5 км.

Кирилловская [Кириллова зона] губа, рыбная тона в 2 км от Голгофо-Распятского скита на о. Анзер, в лагерное время место заготовки рыбы и плавника.

Кирпичный завод, производственный комплекс, построенный в середине XVI в. в 2 км к востоку от Соловецкого монастыря рядом с глиняными карьерами. В 1924 г., после возобновления работы, на территории завода появились 18 сараев для сушки кирпича, шатер над печью для обжига, здесь было организовано машинное производство. В 1926 г. предприятие оснастили станками для механической формовки, к нему была проложена ветка железной дороги. В 1929 г. завод произвел полтора миллиона кирпичей, но к 1932 г. производство было свернуто. В 1938—1939 гг. на месте бывшего завода построили трехэтажное здание тюрьмы, которое так и не было введено в эксплуатацию.

Кладбищенская церковь преподобного Онуфрия Великого, каменный храм построен в 1822—1824 гг. на месте деревянной церкви на территории братского кладбища у южной стены Соловецкого монастыря. В 1886 г. к нему была достроена колокольня. До начала 1930-х гг. здесь совершались богослужения, храм был разрушен после закрытия лагеря в 1939—1940 гг.

Кемь-Ухтинский тракт длиной 185 км прокладывался силами соловецких заключенных

для ведения лесозаготовок на территориях, прилегающих к границе с Финляндией.

Кожевенный завод, был основан в XVII в., действовал и в лагерный период. В 1935—1936 гг. в его помещении располагались Йодпром и Проектное бюро.

Кондостров, лежит в южной части Онежского залива Белого моря в 90 км от Соловецкого монастыря. В 1898 г. состоялся землеотвод, и в 1909 г. находящийся на Кондострове Никольский скит получил статус скита Соловецкого монастыря. В период существования скита его насельники добывали гранитный камень и заготавливали строевой лес. Подобная специализация сохранилась и в лагерный период, когда Кондостров стал V отделением СЛОНа. Здесь также изолировали больных, прежде всего заключенных, страдающих венерическими заболеваниями.

Кремль, советское название центральной монастырской усадьбы и окружающего ее посада. После закрытия обители здесь размещались I отделение СЛОНа, Управление и главные административные подразделения Соловецкого лагеря и тюрьмы, действовали основные производства лагеря: кожевенное, швейное, столярное, лесопильное; известково-алебастровый, гончарный, механический заводы, электростанция, радиостанция, типография, базировался военный городок с казармами для солдат из полка охраны, домами для командиров и подсобными службами.

«Кресты», следственный изолятор в Петербурге, крупнейший в России, в 1920 г. из одиночной тюрьмы были преобразованы в лагерь принудительных работ, спустя три года получили статус Петроградской окружной изоляционной тюрьмы.

Лесопильный завод был построен в 1813 г. рядом с южной стеной Соловецкого монастыря, на канале, отводящем воду из Святого озера в бухту Благополучия. В лагерный период продукция завода (брусья и доски)

Холмогорском лагере, здесь содержались прежде всего, белые офицеры, участники Кронштадтского восстания, а с осени 1922 г. до лета 1923-го — политзаключенные, которых впоследствии перевели на Соловки.

Песья луда, остров, лежащий перед входом в бухту Благополучия.

Попов [Попов-остров] остров (другие названия о. Революции, Морсплав, Рабочеостровск), где изначально находилось подворье Соловецкого монастыря, а затем — пересыльный пункт Соловецкого лагеря, расположен в 13 км от Кеми. В 1923 г. через узкий пролив, отделяющий остров от материка, был построен свайный мост и проложена узкоколейная железная дорога, по которой перевозили заключенных.

Преображенский собор, центральный храм Соловецкого монастыря, сооружен новгородскими мастерами в 1558—1566 гг. при игумене Филиппе. В 1925 г. собор был объявлен заповедником и для содержания заключенных не использовался. Здесь хранились ценности (прежде всего иконы), вывезенные сотрудниками СОКа из скитов и пустыней Соловецкого монастыря.

Реболда, нерпичья тоня, салотопенный завод, монастырская переправа на о. Анзер в 16 км к северо-востоку от монастыря.

Рухлядный корпус в Северном дворике Соловецкого монастыря, трехэтажное каменное здание конца XVI в., где располагались портновские и сапожные мастерские, рыбный амбар и палата для склада «рухляди» одежды, обуви и т.д.

Савватиевский скит [Савватьево], место поселения преподобных Савватия и Германа, расположен на севере Большого Соловецкого острова. Впоследствии здесь образовалась пустынь, в которой соорудили часовню во имя преподобного Савватия и несколько келий. В конце XVIII в. вокруг скита были устроены искусственные луга, на Долгом

(Савватьевском) озере находился лодочный причал. В 1857—1860 гг. в скиту построили каменную церковь Смоленской Божией Матери, позднее — два деревянных келейных корпуса и один каменный, валунную баню, конюшню. В лагерный период Савватьево стало II отделением СЛОНа. В 1923—1925 гг. здесь располагался основной политизолятор. В 1926—1929 гг. Савватьево — центр лесозаготовок, в начале 1930-х гг. там действовал сельхоз, с 1937 г. функционировало подразделением Соловецкой тюрьмы.

Святительский келейный корпус, в южном дворике Соловецкого монастыря между храмом святителя Филиппа и Благовещенским корпусом строился в XVII—XIX вв.

Святое озеро, площадью 4,5 га, находится у восточной стены монастырской крепости. В середине XVI в. озеро было соединено Филипповским каналом с системой озер на Большом Соловецком острове, а два канала, проложенные из озера в монастырь, подведены к поварне и мельнице.

Свято-Троицкий (Анзерский) скит на о. Анзер, был основан по указу царя Михаила Федоровича в 1620 г. преподобным Елеазаром, который в середине 30-х гг. XVII в. принял в этом месте монашеские обеты у будущего патриарха Никона. С 1924 г. здесь располагался политскит, впоследствии действовало предприятие Кустпрома.

Святые [ворота] врата, главный, парадный вход в Соловецкий монастырь с западной стороны крепостной стены напротив Бухты благополучия.

Секирная гора [Секирка, скит, ШИЗО], холм высотой 74 м, стоящий в 11 км от монастыря на северо-западе Большого Соловецкого острова. Свое название возвышенность получила в память о чуде, описанном в Житии преподобного Савватия: у подножия горы два ангела высекали прутьями женщину, дерзнувшую поселиться на острове со своим мужем — карельским рыбаком. В 1860 г.

За первый год состоялось 321 выступление. Располагался в Ризнице до 1926 г., когда в здании общей трапезной был оборудован новый зал на 800 мест, гримерные и костюмерные комнаты. Помимо Центрального театра СЛОНа, в некоторых отделениях лагеря существовали свои театральные сцены.

Торфяные разработки, лагерная командировка, расположенная в районе Филимонова болота в северо-восточной части Большого Соловецкого острова, где с 1925 г. велась интенсивная разработка торфа. В 1929 г. к Торфогородку была подведена ветка узкоколейной дороги, однако спустя некоторое время торфоразработки были практически прекращены вследствие их неэффективности.

Троицкая церковь, Свято-Троицкая Зосимо-Савватиевская церковь построена в 1859 г. на месте Зосимо-Савватиевского придела Спасо-Преображенского собора. Храм имел три престола: в честь Святой Троицы, во имя преподобных Зосимы и Савватия и святого благоверного князя Александра Невского. В храме пребывали главные святители монастыря — мощи святых Зосимы и Савватия. В 1923—1930 гг. здесь размещалась 13-я (карантинная) рота Кремлевского отделения СЛОНа, куда направлялись все вновь прибывшие заключенные. После прохождения карантина их направляли в отделения и командировки — в соответствии с имеющейся у них квалификацией и рабочей группой, присвоенной административной комиссией. В 1930 г. функции карантина стал выполнять специальный Карантинный городок.

Управление лагерями особого назначения, размещалось в каменной Преображенской гостинице, где некогда останавливались паломники-мужчины. Второй этаж был отведен под канцелярию СЛОНа, на первом и третьем этажах жили с семьями чекисты и представители соловецкой администрации. На первом этаже Управления работал магазин розничной торговли — розмаг.

Филимонова тоня, названа в честь апостола Филимона, в лагерный период центр лесо- и торфозаготовок, платформа железной дороги.

Филиппова (Иисусова) пустынь, расположена в 2 км от Соловецкого монастыря. Основание пустыни связано с именем святителя Филиппа, который избрал это место для своих молитвенных подвигов в 1540-х гг. В середине XIX в. здесь были построены церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник», две часовни и келейный корпус для братии. В 1920-х гг. в Филипповой пустыни был организован биосад для содержания и одомашнивания животных (гага, олень, лиса, соболь, песец). В 1935—1936 гг. в пустыни действовала лаборатория Йодпрома.

Церковь в честь Воскресения Христова [часовня под Голгофой] на юго-западном склоне у подножия горы Голгофа на месте явления преподобному Иову Пресвятой Богородицы с Елеазаром Анзерским 18 июня 1712 г., что послужило началом основания скита. В лагерный период помещение храма использовалось для содержания заключенных.

Часовня в честь Покрова Пресвятой Богородицы [часовня на «Каперской»], построена в XIX в. на месте деревянной часовни во имя святителя Николая Чудотворца в 3 км от Голгофо-Распятского скита на берегу Капорской (Капельской) губы. В лагерный период неподалеку от этого места была построена база ВОХР.

Часовня во имя преподобного Елеазара чудотворца на месте его первого поселения на о. Анзер по дороге между Свято-Троицким и Голгофо-Распятским скитами. В лагерный период в часовне располагался пикет ВОХР и карцер.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Идентификация и аннотирование встречающихся в указателе имен произведены на основе информации, почерпнутой из энциклопедических словарей, электронных баз данных, справочников по истории ГУЛАГа и личных архивов членов редакционной коллегии, а также из воспоминаний как самих соловецких узников, так и не связанных с Соловками людей.

Случаи, когда сведения о том или ином человеке ограничены данными, представленными лишь на страницах мемуаров, говорят об отсутствии параллельных источников информации и указывают на возможные неточности.

В квадратных скобках указаны встречающиеся в воспоминаниях способы написания имен и фамилий, в круглых — способы написания, которые встречаются в справочных материалах.

Все даты приведены по новому стилю.

А

А., лагерный врач 298—299

Аввакум Петров (1620—1682), протопоп, идеолог старообрядчества 65, 70

Августин (Пятницкий; 1884 — 31 августа 1918), архимандрит. Расстрелян 13

Авенариус Рихард (1843—1896), швейцарский философ, один из создателей и теоретик эмпириокритицизма 37—40

Аверкий (Кедров Поликарп Петрович; 1879 — 27 ноября 1937), архиепископ Вольнский и Житомирский 18

Авраамий Палицын (ум. 1626), соловецкий пострижник, келарь Свято-Троицкого Сергиева монастыря 245

Агафангел (Преображенский Александр Лаврентьевич; 1854 — 16 октября 1928), священномученик, митрополит Ярославский 337

Александр (Толстопяттов Анатолий Михайлович; 1878 — 26 сентября 1945),

епископ Молотовский и Соликамский. Арестован в сане иеромонаха в марте 1924 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки 31

Александр, заключенный священник 331

Алексеев Сергей А. (ум. 1930), заключенный священник. Расстрелян 281

Алексий (Бажнов Дмитрий Владимирович; 1872—1938), деятель обновленческого раскола 26

Алексий (Палицын Василий Михайлович; 1881 — 8 апреля 1952), архиепископ Куйбышевский и Сызранский. Арестован в 1926 г. и отправлен на Соловки 84

Аля, знакомая О. В. Второвой-Яфа 385—387

Амвросий (Либин Николай Ксенофонтович; 1878 — 29 ноября 1937), епископ Лужский, викарий Ленинградской епархии. Арестован в сане протоиерея в феврале 1924 г., пригово-

рен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 31

Амвросий (Полянский Александр Алексеевич; 1878 — 20 декабря 1932), священноисповедник, епископ Подольский и Брацлавский. Арестован в ноябре 1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 24, 96

Амвросий Медиоланский († 4 апреля 397), святитель 27

Анастасий (Грибановский Александр Алексеевич; 1873 — 22 мая 1965), митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской Православной Церкви за границей 279

Анастасия, заключенная монахиня 322

Андреев Геннадий Андреевич (наст. фам. Хомяков, псевд. Н. Отрадин; 1909(10) — 4 февраля 1984), эмигрант второй волны, публицист. Автор воспоминаний о Соловках 8, 106—188

Андреев Иван Дмитриевич (1867 — 28 июня 1927), историк Церкви 275

Андреев Федор Константинович (1887 — 23 мая 1929), протоирей, богослов 275, 279

Андреевский Иван Михайлович (1894 — 30 декабря 1976), богослов, психиатр, публицист. Автор воспоминаний о Соловках 8, 272—346, 371

Аничков Евгений Васильевич (1866 — 22 октября 1937), отец И. Е. Аничкова, кадет 261

Аничков Игорь Евгеньевич (1891 — 21 мая 1978), офицер. Арестован в февраля 1928 г. «по делу А. А. Мейера», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки 260—262, 264

Аничкова Анна Митрофановна (ум. 1935), мать И. Е. Аничкова 261

Аничкова Елизавета Евгеньевна (по мужу — Евреинова; 1894 — 5 ноября 1940), сестра И. Е. Аничкова. Расстреляна 261—262

Аничкова Татьяна Евгеньевна, сестра И. Е. Аничкова 261—262

Антипина Эдита Федоровна, лагерный главврач 236

Антоний (Панкеев Василий Александрович; 1882 — 1 июня 1938), священномученик, епископ Белгородский. Арестован в сане епископа Мариупольского, викария Екатеринославской епархии в сентябре 1926 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 70, 78, 99, 337—339

Антоний (Храповицкий Алексей Павлович; 1863 — 10 августа 1936), митрополит Киевский и Галицкий, Первоиерарх Русской Православной Церкви за границей 17, 336

Антоний Великий († 30 января 356), преподобный 414

Анциферов Михаил Сергеевич (род. 1942), внук Н. П. Анциферова 351—352, 355

Анциферов Николай Павлович (1889 — 2 сентября 1958), культуролог, филолог, краевед. Автор воспоминаний о Соловках 8, 273, 277, 348—371

Анциферов Павел Григорьевич (1851—1897), отец Н. П. Анциферова 349

Анциферов Павел Николаевич (1918—1919), сын Н. П. Анциферова 349

Анциферов Сергей Николаевич (1921—1942), сын Н. П. Анциферова 350, 355—357

Анциферова Екатерина Максимовна (урожд. Петрова; 1853 — март 1933), мать Н. П. Анциферова 355—357

Анциферова Наталья Николаевна (1915—1919), дочь Н. П. Анциферова 349

Анциферова Татьяна Николаевна (по мужу — Камендровская; 1924 — 9 июля 2013), дочь Н. П. Анциферова 350—351, 354—357

Аристотель (384—322 до н. э.), древнегреческий философ 130

Аронкин, врач ДПЗ 290—291

Арсений (Смоленец Александр Иванович; 1873 — 19 декабря 1937), архиепископ Семипалатинский. Арестован в сане епископа Ростовского и Таганрогского в марте 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 22

Артемов Иоанн Яковлевич (1871—?), священник. Арестован в январе 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 22

Аскольдов Сергей Алексеевич (наст. фам. Алексеев; 1871 — 23 мая 1945), философ 273, 275—276

Ася, воспитанница Т. Н. Гиппиус 437, 442

Б

Багиров Мир Джафар Аббасович (1895 — 26 мая 1956), народный комиссар внутренних дел Азербайджанской ССР (1921—1927) 223

Базаров Владимир Александрович (наст. фам. Руднев; 1874 — 16 сентября 1939), социал-демократ, экономист, философ 39

Балмашов, заключенный сотрудник лагерной администрации 361, 363

Баранова Мария Александровна, заключенная сотрудница лагерной администрации 81, 99

Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844), поэт 364

Бахтин Всеволод Владимирович (1901 — 7 февраля 1951), историк. Арестован в декабре 1928 г. «по делу А.А. Мейера», приговорен к трем годам лишения свободы и оправлен на Соловки 364—366, 391

Бахтин Михаил Михайлович (1895 — 7 марта 1975), философ, культуролог 375

Белобородов Александр Георгиевич (1891 — 9 февраля 1938), один из организаторов расстрела царской семьи. Расстрелян 298

Белозоров (Белозёров) Константин Семенович (1894—1930), заключенный сотрудник лагерной администрации. Расстрелян 200, 206—207, 367—368

Бергсон Анри (1859—1941), французский философ 273—274

Бердяев Николай Александрович (1874 — 23 марта 1948), философ, публицист. В эмиграции с 1922 г. 37, 47

Берзин, возможно, имеется в виду один из организаторов ГУЛАГа Эдуард Петрович Берзин (наст. фам. Берзиньш; 1884 — 1 августа 1938) 99

Беспалов, заключенный полковник 82—83

Бирегал, сотрудник лагерной администрации 205—206

Благова Ольга Ивановна, заключенная сотрудница лагерной администрации 81

Блок Александр Александрович (1880 — 7 августа 1921), поэт 48—49, 365

Богданов Александр Александрович (наст. фам. Малиновский; 1873 — 7 апреля 1928), философ, литератор, публицист 37—39, 43, 45

Богданов Михаил, заключенный священник 88, 92—93, 98

Бокий Глеб Иванович (1879 — 15 ноября 1937), начальник УСЛОНа, руководитель шифровального отдела ОГПУ-НКВД, глава 9-го отделения ГУГБ НКВД. Расстрелян 149, 191, 201—202

Боккаччо Джованни (1313 — 21 декабря 1375), итальянский писатель 459

Большухин Юрий Яковлевич (наст. фам. Кандиев; 1903—1984), эмигрант второй волны, журналист, литератор 108

Борис (Соколов Петр Алексеевич; 1865 — 21 февраля 1928), архиепископ Рязанский и Зарайский 25

Борис, заключенный священник 171, 180

Борисов, сотрудник лагерной администрации 90—91, 93

Бочкова Мария, заключенная 420

Брайнин Валентин Дмитриевич (1898—?), заключенный сотрудник лагерной администрации 367—369

Вероника, дочь заключенной Е. Ивановой 483–484, 486, 489

Вертоградский Николай Николаевич (1876 – 14 декабря 1937), протоирей. Арестован в сане иерея в феврале 1924 г. и отправлен на Соловки. Расстрелян 31

Виктор (Островидов Константин Александрович; 1875 – 2 мая 1934), священноисповедник, епископ Глазовский. Арестован в апреле 1928 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 238, 267–268, 277, 312, 325, 330–331, 337–342

Виктория (1819 – 22 января 1901), королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии 244

Викторова, сотрудница лагерной администрации 478–479

Виталий (Введенский Владимир Федорович; 1870 – 25 марта 1950), архиепископ Дмитровский 24

Владимир († 28 июля 1015), святой равноапостольный князь 280

Владимир (Богоявленский Василий Никифорович; 1848 – 7 февраля 1917), священномученик, митрополит Киевский и Галицкий. Убит 12

Владимир (Шимкович Василий; 1841 – 7 января 1926), митрополит Воронежский и Задонский 27

Войков Петр Лазаревич (1888 – 7 июня 1927), один из организаторов расстрела царской семьи. Убит в результате покушения 17, 74

Волагури Владимир Иванович (1877–?), священник. Арестован в январе 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 22

Волков Всеволод Васильевич (1900–1942), брат О.В. Волкова 264–266

Волков Олег Васильевич (1900 – 10 февраля 1996), писатель. В Соловецком лагере был дважды: с 1928 по 1929 гг., затем – с 1931 по

1933 гг. Автор воспоминаний о Соловках 8, 218–270, 374

Вольтер (1694–1778), французский мыслитель 248

Воробьев Алексей Константинович (1888 – 20 августа 1937), священномученик, протоирей. Арестован в сентябре 1924 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 29

Воронин, заключенный 370

Враская Ольга Борисовна (1905 – 16 сентября 1985), библиограф, хранитель архива Н. П. Анциферова 351

Второва-Яфа Ольга Викторовна (1876–1964), педагог. Автор воспоминаний о Соловках 8, 374–495

Вуль Леонид Давыдович (1899 – 28 июля 1937), сотрудник ВЧК-ОГПУ-НКВД, начальник Московского уголовного розыска (1931–1933). Расстрелян 149

Вундт Вильгельм (1832 – 31 августа 1920), немецкий психолог, физиолог, философ 37

Г

Гавриил (Абалымов Николай Николаевич; 1881 – 31 июля 1958), епископ Осташковский. Арестован в 1926 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 26

Гавриил, архангел 487

Гагарина, заключенная княжна 69

Гамалюк, заключенный повар 99

Ганьковский Михаил Дмитриевич (1971 – 14 декабря 1937), заключенный сотрудник лагерной администрации 84, 86

Гарелина София Александровна (по мужу – Анциферова; 1899–1967), вторая жена Н. П. Анциферова 348, 350–351, 353

Гвидон, литературный персонаж 396, 428, 441

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ 130

Генрих Мартыанович, заключенный хиромант 182—186

Георгий (Садковский Лев Сергеевич; 1896 — 4 марта 1948), епископ Порховский, викарий Псковской епархии. Арестован в сане иеромонаха в январе 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 25

Герман Вера Петровна (1902—1942), дочь П. А. Германа. Арестована в январе 1929 г. по «делу А. А. Мейера», приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена на Соловки 363, 374, 391

Герман Петр Андреевич (1868—1925), филолог, педагог 375

Гершензон Михаил Осипович (1869 — 19 февраля 1925), историк, философ 46

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869 — 9 сентября 1945), литератор, жена Д. С. Мережковского. В эмиграции с 1919 г. 45

Гиппиус Татьяна Николаевна (1877—1957), художница, сестра З. Н. Гиппиус. Арестована в декабре 1928 г. по «делу А. А. Мейера», приговорена в трем годам лишения свободы и отправлена на Соловки 375—376, 395, 387—398, 437, 442

Глеб (Покровский Виталий Никитич; 1881 — 3 ноября 1937), архиепископ Свердловский. Арестован в сане епископа Михайловского в сентябре 1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 25

Гловацкий-Романенко, заключенный сотрудник лагерной администрации 79, 84, 94

Глыбокий, см. Бокий

Голицын Николай Николаевич (1883—1926(?)), князь. Арестован в июне 1925 г. по «делу лицейстов», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где и скончался 32, 119

Головань Владимир Александрович (1872—?), историк 365

Горчаков А. Д. (ум. 1918), начальник Михайловского юнкерского училища 265

Горчакова Вера Васильевна, сестра Н. В. Горчаковой 266

Горчакова Надежда Васильевна, секретарь М. И. Калинина 265—266

Горький Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков; 1868 — 18 июня 1936), писатель. Посетив Соловки летом 1929 г., написал одноименный очерк, опубликованный в пятом и шестом номерах журнала «Наши достижения» за 1930 г. 8—9, 34—49, 169—170, 251, 343—346, 355—356, 383

Гревс Иван Михайлович (1860 — 16 мая 1941), историк 349—350, 363

Греч Николай, заключенный филолог 242—243

Григорий (Козлов Владимир Сергеевич; 1883 — 29 ноября 1937), архиепископ Уфимский. Арестован в сане епископа Печерского, 1-го викария Нижегородской епархии в декабре 1926 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 70, 91—92, 99

Григорий (Козырев Сергей Алексеевич; 1882 — 9 февраля 1937), епископ Барнаульский и Бийский. Арестован в 1924 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 24

Гринвальд (Грюнвальд, Гринберг) Маргарита Константиновна (1891 — 10 февраля 1968), преподаватель английского языка. Арестована в декабре 1928 г. по «делу А. А. Мейера», приговорена к пяти годам лишения свободы и отправлена на Соловки 360

Гриневич, заключенный священник 84, 86, 92

Гротов Сергей Викторович (наст. фам. Сиверс; 1897 — 18 августа 1986), ученый, публицист. В эмиграции с начала 1940-х гг. 321

Грубе Александр Робертович, матрос. Автор воспоминаний о Соловках 8, 190—216

Гусев, заключенный 111, 124, 151–152, 162–165, 168–169

Д

Д., заключенный геолог 303–304

Давид, ветхозаветный пророк, царь Израиля, автор псалмов 365

Давыдов Денис Васильевич (1784–1839), генерал, поэт 254

Дамаскинский Михаил Николаевич (1884–1942), священник. Арестован в апреле 1924 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки 30

Данзас Юлия Николаевна (1879 – 13 апреля 1942), литератор, богослов. Арестована в ноябре 1923 г., приговорена к 10 годам лишения свободы, в сентябре 1928 г. отправлена на Соловки. В эмиграции с 1933 г. Автор воспоминаний о Соловках 295, 344–345

Данко, литературный персонаж 35–36

Данте Алигьери (1265–1321), итальянский поэт 363

Дегтярев [Дехтярев] Владимир Николаевич (1884(6)–?), ботаник, путешественник. В 1925 г. приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки 86–87, 96

Дерибас Терентий Дмитриевич (1883 – 28 июля 1938), начальник Секретного отдела ВЧК-ГПУ-ОГПУ (1921–1927). Расстрелян 16, 18

Джан Кейши, см. Чан Кайши

Дикарев Борис, деятель обновленческого раскола 15, 18

Димитрий (Любимов Дмитрий Гаврилович; 1857 – 17 мая 1935), архиепископ Гдовский, викарий Ленинградской епархии. Арестован в ноябре 1929 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки 281

Дицман Николай Иванович, заключенный 362–363, 370

Дмитриевский Алексей Афанасьевич (1856 – 10 августа 1929), историк, богослов 275

Добнаш-Рождественская Ольга Антоновна (1874 – 30 августа 1939), историк 364

Добкин Александр Иосифович (1950–1998), издатель воспоминаний Н.П. Анциферова 352

Добромыслов Павел Николаевич (1877 – 9 февраля 1940), священномученик, протоиерей. В Соловецком лагере был дважды: с 1926 по 1928 г., затем – в 1930-е гг. 25

Добронравов Викторин Михайлович (1889 – 28 декабря 1937), священномученик, протоиерей. Расстрелян 281

Докучаев Василий Васильевич (1846 – 8 ноября 1903), почвовед 349

Доримедонтов Федор Константинович, заключенный сотрудник лагерной администрации 88

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель 36, 116, 273–274, 308, 350

Дронов, заключенный 126

Дружкин Самуил Львович (1890–1957), скрипач. Арестован в январе 1929 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 362

Дункан Айседора (1877 – 14 сентября 1927), американская танцовщица 413

Е

Евгений (Зернов Семен Алексеевич; 1877 – 20 сентября 1937), священномученик, митрополит Горьковский. Приговорен в сане архиепископа Приамурского и Благовещенского в феврале 1924 г. к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 33

Евгения, заключенная монахиня 322

Ежов Николай Иванович (1895 – 4 февраля 1940), нарком внутренних дел СССР (1936–1938). Расстрелян 19–20, 298, 300

Екатерина II (1729–1796), российская императрица с 1762 г. 246

Елеазар Анзерский († 26 января 1656), преподобный, основатель Свято-Троицкого скита 220, 320, 415, 463, 468–469, 482, 487

511

епархии. В Соловецком лагере был дважды: с января по июль 1924 г. в Кемперпункте, затем в течение года непосредственно на Соловках, откуда переведен в Ярославский изолятор. В июне 1926 г. архиепископа вернули на Соловки, где он пробыл до осени 1929 г., работая в лесничестве, сторожем биосада, вязчиком сетей на Филимоновской тоне. Умер от тифа в ленинградской пересыльной тюрьме при этапировании в алма-атинскую ссылку 23, 31, 33, 53, 59, 70, 78, 84, 88, 91–92, 96–97, 99, 102, 238, 247–248, 337–338

Ильин-Женевский Александр Федорович (наст. фам. Ильин; 1894 – 3 сентября 1941), советский деятель, организатор шахматной жизни в России и СССР 273

Ильинский Михаил, заключенный священник 88, 98

Иннокентий (Беда; 1881 – 6 января 1928), преподобномученик, архимандрит. Арестован в феврале 1926 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где и скончался 27–28

Иоаким (Благовидов Яков Алексеевич; ум. 9 декабря 1929), архиепископ Ульяновский. Арестован в сане епископа Алатырского, викария Симбирской епархии и отправлен в 1923 г. на Соловки, где находился до 1927 г. 24

Иоанн (Широков Андрей Алексеевич; 1893 – 19 августа 1937), епископ Волоколамский, викарий Московской епархии. Арестован в сане иеромонаха в июне 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 26

Иоанн Златоуст († 27 сентября 407), святитель 316

Иоанн, заключенный священник 371

Иоасаф (Берсенева Николай Николаевич; 1882 – позднее 1930), иеромонах, пострижник Соловецкого монастыря. Арестован в 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 32

Иоасаф (Жевахов Владимир Давидович; 1874 – 4 декабря 1937), священномученик, епископ Могилевский, князь. Арестован в сане епископа Дмитриевского, викария Курской епархии в сентябре 1926 г. приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 337–338

Иоасаф (Удалов Иван Иванович; 1886 – 2 декабря 1937), священномученик, епископ Чистопольский. Расстрелян 26

Иов Анзерский (в схиме Иисус; † 19 марта 1720), преподобный, основатель Голгофо-Распятского скита 469–470, 487

Ионафан, друг пророка Давида 365

Иосиф (Петровых Иван Семенович; 1872 – 20 ноября 1937), митрополит Ленинградский. Расстрелян 20, 337, 371

Иосиф, ветхозаветный патриарх 481

Иувеналий (Масловский Евгений Александрович; 1878 – 24 октября 1937), священномученик, архиепископ Рязанский и Шацкий. Арестован в сане архиепископа Курского и Обоянского в 1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 24

Иулиания Лазаревская († 20 января 1604), святая праведная 222

Иустин, заключенный архиерей 481–483, 486–488, 490–491

К

К., см. Косинский

Кабанес Огюстен (1862 – 5 мая 1928), соавтор книги «Революционный невроз» (1906) 296

Каверин Вениамин Александрович (наст. фам. Зильбер; 1902 – 2 мая 1989), писатель 251

Каиафа, первосвященник Иудеи, в правление которого был распят Иисус Христос 486

Калинин Михаил Иванович (1875 – 3 июня 1946), советский государственный и партийный деятель 11, 265–266

Калинина Екатерина Иоанновна (урожд. Лорберг; 1882–1960), жена М. И. Калинина 266

Калитина Лиза, литературный персонаж 447, 452

Кальнишевский Петр Иванович (1691–1803), святой, последний кошевой атаман Запорожской Сечи. В 1776 г. сослан на Соловки, где и скончался в возрасте 112 лет 245–246

Кант Иммануил (1724–1804), немецкий философ 130

Каплин, заключенный социал-демократ 123, 129, 132

Карсавин Лев Платонович (1882 – 20 июля 1952), философ. Погиб в лагере 365

Карстаньен Фридрих (1864–1925), немецкий историк искусства 37

Катаев Валентин Петрович (1897 – 12 апреля 1986), писатель 251–252

Катаньян Рубен Павлович (1881 – 6 июня 1966), организатор московской ЧК, глава внешней разведки РСФСР, помощник прокурора Верховного суда СССР П. А. Красикова, один из членов комиссии, посетившей Соловки в 1924 г. 149

Кашталинский Николай Александрович (1849 – 17 апреля 1917), генерал 298

Киприан (Комаровский Константин Станиславович; 1876 – 11 декабря 1937), архиепископ Вятский. Арестован в сане епископа, приговорен к двум (трем?) годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 30

Кирилл (Смирнов Константин Иларионович; 1863 – 20 ноября 1937), священномученик, митрополит Казанский и Свияжский. Расстрелян 26, 337

Кирилл Белозерский († 22 июня 1427), преподобный 244

Кириллин Василий Антонович, заключенный сотрудник лагерной администрации 84–86, 88, 92, 102–103

Кириллов, литературный персонаж 308

Кириянов Николай Борисович (1902 – 22 сентября 1988), келейник священномученика Илариона (Троицкого). Арестован в декабре 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 31–32

Киселев Николай Николаевич (1901–1942), иподиакон. Арестован в феврале 1924 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 31

Кишкин, участник покушения на А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина 298

Климентовский Александр Васильевич (1880–?), протоирей. Арестован в сентябре 1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 25

Клод Лоррен (1600–1682), французский художник 415

Кмещынская Анелька, заключенная 398–412, 437

Ковалевский Лев Владиславович (1895 – 13 апреля 1934), летчик УСЛОН 147, 264

Ковалевский Павел Иванович (1850 – 17 октября 1931), психиатр 297–298

Коверда Борис Софронович (1907 – 18 февраля 1987), убийца полпреда СССР в Польше П.А. Войкова 17

Ковригин Всеволод Данилович (1893 – не ранее 1933), священник 371

Кожевников Иннокентий Серафимович (1879 – апрель 1931), один из организаторов партизанской борьбы в годы Гражданской войны. Арестован в январе 1926 г. и отправлен на Соловки. Расстрелян за побег из лагеря 130–131, 170, 299–300

Кокошкин Федор Федорович (1871 – 7 января 1918), член Временного правительства. Убит в результате покушения 298

Колосов Александр Николаевич (1879 – не ранее 1929), юрист. Арестован в январе 1927 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 299, 344

Комаров Макарий Иванович (1861 — не ранее 1935), протоиерей. Арестован в марте 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 26

Комиссаров Иван Яковлевич, заключенный 53

Комиссарова Александра, заключенная монахиня 421, 440, 443, 456, 458—462, 464, 466—467, 490

Кондратюк, сотрудник лагерного театра 202

Корде Шарлотта (1768—1793), убийца деятеля французской революции Ж. П. Марата 399

Корнев Петр Сергеевич, заключенный офицер 171, 176—182

Корнев Степан Сергеевич, заключенный офицер 171, 176—177, 179—181

Корней Лукич, заключенный 158—161, 163

Корсаков, сотрудник лагерной администрации 431

Косинский Константин Михайлович (1872—?), барон, врач. Арестован в июле 1929 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки 305—306, 312, 330

Кочуров Иоанн Александрович (1871 — 13 ноября 1917), священномученик, протоиерей. Расстрелян 12

Красиков Петр Ананьевич (1870 — 20 августа 1939), советский государственный и партийный деятель 9, 12

Краснобаева, см. Комиссарова

Кривошеин, возможно, имеется в виду генерал Григорий Григорьевич Кривошеин (1868 — 9 июля 1945) 265

Кривош-Неманич Владимир Иванович (186(?)—1942), профессор-лингвист, криптограф. Арестован в марте 1923 г., приговорен к высшей мере наказания, которая была заменена 10 годами лишения свободы, и отправлен на Соловки 125, 129

Криницын Владимир Михайлович, заключенный 472—478, 484—486, 488—489, 491—492, 494

Криницина Мария Михайловна, заключенная 472—479, 484—486, 488—491, 494

Кротова Алиса, заключенная 128

Круг (Крук) Александр Михайлович, заключенный летчик 359, 366

Кудеяр, литературный персонаж 122

Курилко Игорь Александрович (1893—1930), заключенный сотрудник лагерной администрации. Расстрелян 235, 240, 359, 366—369

Кутов, инженер 87—88

Кухаренок Эдуард Эдуардович, заключенный инженер 258—259

Кучеренко, заключенный 201

Л

Лавр (Шкурла Василий Михайлович; 1928 — 16 марта 2008), митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской Православной Церкви за границей 286

Лазарев Андрей Максимович (1865—1924), адмирал 242

Лазарев Максим Андреевич (1890 — 16 мая 1935), сын А. М. Лазарева 242

Лазаревский Николай Иванович (1868 — 1 сентября 1921), юрист, кадет 295

Ларина Татьяна, литературный персонаж 473

Ларра, литературный персонаж 36

Лафонтен Жан де (1621—1695), французский поэт 262

Левестам Елизавета Андреевна, бабушка О. В. Волкова 242

Левина, заключенная 82

Левит Арон Хаимович (1866—?), заключенный сотрудник лагерной администрации 367—368

Левитан Исаак Ильич (1860 — 4 августа 1900), художник 454

Лелюхин, заключенный диакон 70, 91

Лемешевский Андрей Викторович (1890–1942), брат митрополита Мануила (Лемешевского). Арестован феврале 1924 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки 31

Ленин Владимир Ильич (наст. фам. Ульянов; 1870 — 21 января 1924), руководитель советского государства 9, 13–14, 38–42, 130, 298

Леонов Леонид Максимович (1899 — 8 августа 1994), писатель 231

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891), литератор, монах 341

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт 252

Лиза, заключенная 86

Лимант-Иванов, заключенный 88

Липковский Василий Константинович (1864 — 27 ноября 1937), деятель обновленческого раскола. Расстрелян 16

Литвиненко, заключенный инженер 231–232

Лиханский Борис Степанович, бухгалтер ЭКЧ 81

Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906 — 30 сентября 1999), академик. Арестован в феврале 1928 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Автор воспоминаний о Соловках 53, 276–277, 374

Лишкина Анна Леонидовна (189(6)8–1982), педагог. Арестована в декабре 1928 г. по «делу А. А. Мейера», приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена на Соловки 363, 366

Лозина-Лозинский Владимир Константинович (1885 — 26 декабря 1937), священномученик, протоиерей. Арестован в 1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 32, 76

Лопатин, заключенный 123–124, 131–132, 136–137, 151–152, 154–155, 158, 164–165, 168, 187

Лорд Наталья Алексеевна (урожд. Камендровская; род. 1949), внучка Н. П. Андиферова 353, 355

Луначарский Анатолий Васильевич (1875 — 26 декабря 1933), советский общественный и государственный деятель 37–39, 45, 273

Лыкошина Анна Петровна (1884 — 11 октября 1925), мученица. Арестована в феврале 1924 г., приговорена к двум годам лишения свободы и отправлена на Соловки, где и скончалась 31

Лысцов, заключенный сотрудник лагерной администрации 84

Любчинский Феликс Николаевич (1886 — 17 ноября 1931), католический священник. Арестован в апреле 1927 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где и скончался 256–257

М

Магерам, бакинский вор 144–146, 153–155, 158, 161, 164, 167–168, 170

Майсурадзе Александр Николаевич (1896 — 16 июня 1938), заключенный сотрудник лагерной администрации. Расстрелян 367

Макарий (Воскресенский Макарий (?) Федорович; 1866 — не ранее 1931), архимандрит. Арестован в феврале 1924 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки 30

Макаров, тюремный следователь 75

Маковский Константин Егорович (1839 — 17 сентября 1915), художник 443

Максим (Жижиленко Михаил Александрович; 1885 — 4 июня 1931), епископ Серпуховской. Арестован в мае 1929 г., приговорен пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 277, 300, 305–307, 312, 323–324, 330–342

Максима Исповедник († 26 августа 662), святой, богослов 341

Малаша, кухарка 448

Малиновский, заключенный сотрудник лагерной администрации 363

Мальсагов Созерко Артаганович (1893 — 25 марта 1976), офицер. Автор воспоминаний о Соловках 374, 378

Малюта Скуратов (ум. 1573), опричник 239, 245

Мамедов Махмуд, заключенный мусаватист 222—224, 226, 254—256

Манул (Лемешевский (Лемишевский) Виктор Викторович; 1884 — 12 августа 1968), митрополит Куйбышевский и Сызранский. Арестован в сане епископа Лужского, викария Петроградской епархии в феврале 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 30

Маракулин Аркадий Иванович (1865 — позднее 1926), священник из с. Вах(р)ушево Вятской губернии. Арестован в сентябре 1924 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки 32

Мариенгоф, начальник Дорстройотдела СЛОН 367—370

Мария Гатчинская (Леянова Лидия Александровна; 1874 — 17 апреля 1932), преподабномученица 275

Мария Магдалина, жена-мироносица, равноапостольная 456

Мария, австрийская заключенная 125, 128—129, 175—177, 187

Мария, заключенная монахиня 322

Маркс Карл (1818—1883), основоположник теорий прибавочной стоимости и классовой борьбы 40

Мартин (Марков Василий Иванович; 1868 — не ранее 1929), иеромонах, уставщик Соловецкого монастыря 96, 239

Мартинелли Арвид Яковлевич (1900 — 5 февраля 1938), с июля 1926 г. заместитель начальника УСЛОН, в начале 1930-х гг. переведен в Вишерский лагерь. Расстрелян 79

Матвеев, заключенный 89

Матвеева Дария, заключенная монахиня 456, 458—462, 464, 466—467

Матфей, заключенный священник 331

Мах Эрнст (1838 — 16 февраля 1916), австрийский физик, один из основателей эмпириокритицизма 37—40

Мейер Александр Александрович (1874 — 18 июня 1939), философ. Арестован в декабре 1928 г., приговорен к высшей мере наказания, которая была заменена на 10 лет лишения свободы и отправлен на Соловки 313, 349, 355, 358, 374—376

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865 — 9 декабря 1941), литератор. Один из инициаторов религиозно-философских собраний. В эмиграции с 1919 г. 45

Мессалина, жена римского императора 420

Мехов, заключенный анархист 133—134, 136, 138

Мечев Сергей Алексеевич (1892 — 6 января 1942), священномученик, протоирей 304

Милнев, заключенный сотрудник лагерной администрации 86

Минсеев С. П., заключенный сотрудник лагерной администрации 84

Минут, заключенный профессор-путеец 302

Мисюрович Владимир Михайлович (1890—?), заключенный сотрудник лагерной администрации 361, 367—369

Митрофан (Гринев Федор Васильевич; 1873 — 17 февраля 1938), епископ Арзамасский, викарий Горьковской епархии. Арестован в сане епископа Аксайского, викария Донской епархии в январе 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 22

Митрофан И., заключенный священник 313, 331

Митрофан, архимандрит, возможно, имеется в виду священномученик Иннокентий (Беда) 98

Митродкий Михаил Владимирович (1883 — 1 октября 1937), протоирей, депутат Госдумы. В Соловецком лагере был дважды: с 1927 по 1929 г., затем — с 1929 по 1931 г. Расстрелян 77, 237—238, 266—267

Михайлов И. М., заключенный учитель 88

Мищенко (Нищенко), заключенный сотрудник лагерной администрации 90, 93

Моисей, ветхозаветный пророк 481

Мокроусов Василий, заключенный сотрудник лагерной администрации 103

Молчанов Александр Петрович (1862—?), протоирей. Арестован в марте 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 26

Мордухай-Болтовской Дмитрий Петрович (1842 — 22 июля 1911), помещик 266

Москвин, заключенный 123, 136

Н

Н.М., заключенный сотрудник лагерной администрации 307

Навашин Сергей Гаврилович (1857 — 10 декабря 1930), ботаник 349

Назаров Борис Михайлович (1884 — не ранее июня 1942), военно-морской инженер. Арестован в марте 1929 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки 370

Насс Леонард, соавтор книги «Революционный невроз» (1906) 296

Наташа, литературный персонаж 447

Незнамов, заключенный профессор 125, 130, 132

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1878), поэт 324

Нектарий (Трезвинский Нестор Константинович; 1889 — 8 сентября (2 августа) 1937), епископ Яранский, викарий Вятской епархии. В Соловецком лагере был дважды: с 1925 по 1927 г., затем — в 1930-е гг. Расстрелян 28, 277, 312, 331, 337—338, 340

Немачик, см. Кривош-Неманич

Нестеров Михаил Васильевич (1862 — 18 октября 1942), художник 353, 455

Николай (Муравьев-Уральский Владимир Михайлович; 1882 — 30 марта 1961), архиепископ. Арестован в сане архимандрита в феврале 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 31

Николай II Александрович (1868 — 17 июля 1918), страстотерпец, российский император (1894—1917). Расстрелян вместе с членами семьи в Екатеринбурге 32, 110, 126, 243, 473

Николай Мирликийский (ок. † 345), святитель 66, 316, 331, 339—340, 481

Николай, заключенный священник 110, 126

Никон (Пурлевский Николай Александрович; 1886 — 9 января 1938), архиепископ Казанский и Свияжский. Приговорен в сане епископа Белгородского в мае 1925 г. к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 30

Нина, подруга Н.В. Синакевич 384—386

Ницше Фридрих (1844 — 28 августа 1900), немецкий философ 35, 48

Новочадов Дмитрий Семенович (188(5)6—?), протодиакон. Арестован в январе 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 22

Ногтев Александр Петрович (1892 — 23 апреля 1947), балтийский матрос, начальник Управления Северных лагерей. В 1923—1930 гг. (с перерывом в 1928—1929 гг.) начальник УСЛОН 95

О

Оберучева Татьяна Николаевна (по мужу — Анциферова; 1889—1929), первая жена Н. П. Анциферова 349—350, 355—357, 366

Обновленский Авенир Петрович (1885—1980), чиновник Святейшего Синода. Арестован в апреле 1928 г. по «делу А.А. Мейера», приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 371

Оболенский, князь 79

Онегин, литературный персонаж 490

Орест, герой древнегреческой мифологии 367

Орлов, сельский учитель 171, 179–182

Орлова Тамара, заключенная 412–414, 420

Орловский Николай Васильевич (1867 – 31 сентября 1918), протоирей. Расстрелян 13

Ортодокс Любовь Исааковна (наст. фам. Аксельрод; 1868 – 5 февраля 1946), социал-демократ, философ, публицист 39–41, 43

Оруэлл Джордж (1903 – 21 января 1950), автор романов-антиутопий 43

Оршанский Исаак Григорьевич (1851–1923), психиатр 303

Осоргин Георгий Михайлович (1893 – 29 октября 1929), офицер. Арестован в феврале 1925 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 222, 224, 236, 242–243, 247–248, 253–254, 262, 266

Осоргина Марина Георгиевна (по мужу – Розеншильд-Паулин; 1924 – 2 сентября 1974), дочь Г.М. Осоргина 267

Оттокар Николай Петрович (1884 – 18 сентября 1957), историк. В эмиграции с 1921 г. 365

Охотин Евгений Петрович (1882 – 26 декабря 1937), священник. Арестован в декабре 1923 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 32

П

П., см. Петров

Павел († 12 июля 67), апостол 24, 493

Павленко Петр Андреевич (1899 – 16 июня 1951), писатель 250

Паисий, схииродиакон, духовный собеседник преподобного Иова Аназерского 469

Пан, герой древнегреческой мифологии 415

Пафнутий, иеромонах 97

Пахомий (Кедров Петр Петрович; 1876 – 11 ноября 1937), архиепископ Черниговский 18

Пелюхин, врач 305–308

Петр († 12 июля 67), апостол 349

Петр (Зверев Василий Константинович; 1876 – 7 февраля 1929), священномученик, архиепископ Воронежский и Задонский. Арестован в ноябре 1926 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где и скончался 27–28, 33, 70–71, 76, 78, 91–93, 97–99, 238, 257

Петр (Полянский Петр Федорович; 1862 – 10 октября 1937), священномученик, митрополит Крутицкий. Расстрелян 16–17, 19–20, 22–24, 337

Петр (Соколов Павел Иванович; 1863 – 16 мая 1937), архиепископ Воронежский и Задонский. Арестован в сане епископа Вольского, викария Саратовской епархии в 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 24

Петр Великий I Алексеевич (1672–1725), российский император 119, 160–161, 469

Петрашкевич, заключенный сотрудник лагерной администрации 94

Петров, заключенный врач 305, 312, 330

Петров, заключенный студент 132–136, 150, 187

Пешкова Екатерина Павловна (1876 – 26 марта 1965), первая жена М. Горького, председатель организации «Е. П. Пешкова. Помощь политзаключенным» 38, 355–357, 380–381

Пилад, герой древнегреческой мифологии 367

Пилсудский Юзеф (1867 – 12 мая 1935), польский политический деятель 256

Пискановский Николай Акимович (1887 – 10 апреля 1935), протоирей. Арестован в мае 1928 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 277, 312, 331, 339–340

Пискунов, заключенный сотрудник лагерной администрации 100

Питирим (Крылов Порфирий Семенович; 1895 — не ранее 10 августа 1937), архиепископ Велико-Устюжский. Арестован летом 1923 г. в Казани, будучи игуменом Иоанно-Предтеченского монастыря, приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 17, 26—27

Платон (427—347 до н. э.), древнегреческий философ 130

Плеханов Георгий Валентинович (1856 — 30 мая 1918), партийный деятель 38—39

Покровский Арсений Петрович (1870(?)—1943), протоиерей. Арестован в марте 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 26

Полифем, герой древнегреческой мифологии 368

Половников Василий Васильевич (1895 — 14 октября 1937), протоиерей. Приговорен в июне 1925 г. к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 28

Половцева Ксения Анатольевна (1886(7)—1948), художница, жена А. А. Мейера. Арестована в декабре 1928 г. по «делу А. А. Мейера», приговорена к семи годам лишения свободы и отправлена на Соловки 395

Польский Михаил Афанасьевич (1891 — 21 мая 1960), протопресвитер. Арестован в июле 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В эмиграции с 1930 г. Автор воспоминаний о Соловках 28

Помазанский Михаил Иванович (1888 — 4 октября 1988), протопресвитер, богослов 274

Понтий Пилат, римский сановник, в правление которого был распят Иисус Христос 486

Попов Иван Васильевич (1867 — 8 февраля 1938), мученик, богослов. Арестован в декабре 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 31, 76

Поспелов, заключенный священник 91—92

Потапов Виктор Сергеевич (род. 1948), митрофорный протоиерей, богослов 286

Потоцкий Феликс Казимир (1630—1702), политический деятель Речи Посполитой 349

Правосудович Михаил Елевферьевич (1865 — 29 октября 1929), профессор-путеец. Арестован в октябре 1929 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 302

Преображенский Иоанн, заключенный священник 26

Привалов, сотрудник лагерной администрации 301

Прозоров Василий Аникитич (Никитич) (1857 — 26 января 1933), протоиерей. Арестован в феврале 1924 г., приговорен к двум (трем?) годам лишения свободы и отправлен на Соловки 31

Прокопий (Титов Петр Семенович; 1877 — 23 ноября 1937), священномученик, архиепископ Херсонский и Николаевский. Арестован в ноябре 1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 24, 91, 97

Прометей, герой древнегреческой мифологии 43

Протасова Римма, заключенная 128

Протопопов Александр Дмитриевич (1866 — 27 октября 1918), последний министр внутренних дел Российской империи 297

Путилова Наталья Михайловна (урожд. Белостоцкая; 1893 — 17 январь 1938), выпускница Смольного института. Арестована в 1925 г. по «делу лицезистов», приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена на Соловки. Расстреляна 32, 103

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837), поэт 409, 481, 490

Пятницкий Константин Петрович (1864 — 6 января 1938), литературный деятель, издатель, находился в переписке с М. Горьким 38

Р

Р., заключенный художник 312, 340

Разумовский Алексей Кириллович (1748—1822), граф 349

Раковский, заключенный сотрудник лагерной администрации 98

Релик, заключенный сотрудник лагерной администрации 81—82

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669), голландский художник 353

Ремизов Алексей Михайлович (1877 — 26 ноября 1957), литератор. В эмиграции с 1921 г. 37

Рерих Николай Константинович (1874 — 19 декабря 1947), художник 455

Ржевский Леонид Денисович (наст. фам. Суражевский; 1905—1986), эмигрант второй волны, писатель, литературовед 108, 115

Ридель Клара, заключенная 128—129

Ризабейли Н. Н., заключенный сотрудник лагерной администрации 84—85

Риль Алоиз (1844 — 21 ноября 1924), немецкий философ-неокантианец 37, 40

Рогинский Арсений Борисович (род. 1946), историк, общественный деятель 376

Рогов Владимир, заключенный художник 172—175, 178, 182, 185—187

Рожков Николай Александрович (1868 — 2 февраля 1927), социал-демократ, историк, публицист 39

Розанов Василий Васильевич (1856 — 5 февраля 1919), философ 365

Розенбах Павел Яковлевич (1858—1918), психиатр 298

Роллан Ромен (1866 — 30 декабря 1944), французский писатель 49

Ростова Наташа, литературный персонаж 444

Ростовцев Николай, заключенный сотрудник лагерной администрации 141—144, 150

Ростовцева Нина, сестра Н. Ростовцева 142, 144

Рубцов Василий Георгиевич (1873 — 23 сентября 1937), священник. Арестован в марте 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 26

Рык, заключенный сотрудник лагерной администрации 81

Рыков Алексей Иванович (1881 — 15 марта 1938), нарком внутренних дел РСФСР (1917), председатель СНК (1924—1930). Расстрелян 21, 273

С

Савватий († 10 октября 1435), преподобный, один из основателей Соловецкого монастыря 119—120, 218, 222, 233, 309, 320

Савельева Тамара, подруга Н. В. Синакевич 438

Савинков Борис Викторович (псевд. В. Ропшин; 1879 — 7 мая 1925), видный эсер. Арестован в 1924 г., погиб в тюрьме при невыясненных обстоятельствах 37

Садовский, офицер, заключенный сотрудник лагерной администрации 81

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (наст. фам. Щедрин; 1826—1889), писатель 383

Самарин Александр Дмитриевич (1868 — 30 января 1932), обер-прокурор Святейшего синода (1915) 243

Самарин Юрий Александрович (1904—1965), сын А. Д. Самарина 242—243

Самарина Елизавета Александровна (по мужу — Чернышева; 1905—1985), дочь А. Д. Самарина 243

Сахаров Александр Николаевич (1873 — 7 августа 1927), протоиерей. Арестован в феврале 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где и скончался 31

Свидригайлов, литературный персонаж 251
Селецкий Иван Федорович, до 1917 г. начальник пересыльной тюрьмы в Сибири. В 1926 г. отправлен на Соловки, где был назначен уполномоченным по лесозаготовкам 94, 102–103

Семигор Исаак Менделевич (1906–?), сотрудник лагерной администрации 414–415

Серафим (Мещеряков Яков Михайлович; 1860 – 5 июля 1933), митрополит Ставропольский и Кавказский. Арестован в сане архиепископа в сентябре 1924 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 30

Серафим (Протопопов Александр Алексеевич; 1894 – 8 августа 1937), архиепископ Елецкий и Задонский. Арестован в сане епископа Колпинского, викария Петроградской епархии в марте 1924 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 30

Серафим (Роуз Юджин Дэннис; 1934 – 2 сентября 1982), иеромонах, богослов 286

Серафим (Самойлович Семен Николаевич; 1880 – 4 ноября 1937), священномученик, архиепископ Угличский. Арестован в марте 1929 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 337

Серафим (Тьевар Антоний Максимович; 1899 – 12 декабря 1931), преподобномученик. Арестован в декабре 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 31

Серафим (Шамшев Сергей Павлович; 1897 – 17 сентября 1937), епископ Томский. Арестован в сане иеромонаха в 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 26

Серафим Саровский († 14 января 1833), преподобный 275

Серафим, иеромонах, возможно, имеется в виду насельник Соловецкого монастыря иеро-

монах Серафим (Головин Егор Афанасьевич; 1856–?) 97

Сергей, брат Г.А. Андреева 141–142, 144

Сергий (Страгородский Иван Николаевич; 1867 – 15 мая 1944), Патриарх Московский и всея Руси с 1943 г. 17–19, 33, 97, 281–283, 290, 330, 336–338

Сергий Радонежский († 8 октября 1392), преподобный 244, 342

Сибирцев Николай Михайлович (1860 – 2 августа 1900), почвовед, двоюродный брат Н. А. Андиферова 349

Сиверс Александр Александрович (1866 – 24 сентября 1954), историк, отец А. А. Сиверса 367

Сиверс Александр Александрович (1894 – 29 октября 1929), дипломат. Арестован в 1925 г. по «делу лицестов» и отправлен на Соловки. Расстрелян 32, 247, 367

Сильфида, героиня одноименного балета 413–414

Синакевич Владимир Иванович (1879–1942), муж О. В. Второвой-Яфа 380–381, 429, 435–442

Синакевич Наталья Владимировна, дочь В. И. Синакевича 381, 383–386, 429–430, 435–442

Синицын, заключенный студент 132–134, 136, 138, 140, 144, 187

Сливинский Болеслав, заключенный офицер 136–138, 140

Слободской Владимир Иванович (1877–?), священник, арестован в августе 1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 25

Смердяков, литературный персонаж 251

Смидович Петр Гермогенович (1874 – 16 апреля 1935), советский политический деятель 273

Смирнов Алексей Петрович (1889 – 10 марта 1930), историк, искусствовед. Арестован

в апреле 1929 г. по «делу А. А. Мейера», приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где и скончался 358, 363–364, 389

Смирнов Николай Григорьевич, сотрудник лагерной администрации 463, 476–481, 484, 486, 491

Смирнова Глафира Матвеевна, жена А. П. Смирнова 364

Смирнова Любовь, мать Н. Г. Смирнова 480

Смирнова Надежда, сестра Н. Г. Смирнова 480

Соколов Николай Александрович (1873(5) — не ранее 1930), священник. Арестован в 1924 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки 32

Соколов Николай Михайлович, заключенный сотрудник лагерной администрации 89, 92–93

Соколов Петр, иконописец 461

Соколова Мария, заключенная 471–472, 481, 484, 486

Солженицын Александр Исаевич (1918 — 3 августа 2008), писатель 64

Соловьев Александр Михайлович, заключенный сотрудник лагерной администрации 89, 98

Соловьев Владимир Сергеевич (1853 — 13 августа 1900), философ 45, 354

Сорокин, заключенный сотрудник лагерной администрации 81

Сосницкий, сотрудник лагерной администрации 369–370

Сотников, сотрудник лагерной администрации 93, 98

Софроний (Арефьев Иван Алексеевич; 1879 — 23 декабря 1937), архиепископ Краснодарский и Кубанский. Арестован в сане епископа в декабре 1922 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 30

Софроний (Старков Сергей Прокопиевич; 1875 — 22 октября 1932), архиепископ Арзамасский. Арестован в сане епископа в 1923(4) г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 30

Сталин Иосиф Виссарионович (наст. фам. Джугашвили; 1878 — 5 марта 1953), руководитель советского государства 14, 20, 252

Стеблин-Каменский Иоанн (1887 — 2 августа 1930), священномученик, протоирей. Арестован в феврале 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 31, 53

Степка Подбор, заключенный уголовник 144–146, 167–168, 170

Стрешнев Андрей Петрович, заключенный сотрудник лагерной администрации 123, 130, 132, 136–137, 151–152, 154–168, 187

Суриков Василий Иванович (1848 — 19 марта 1916), художник 239

Т

Таганцев Владимир Николаевич (1889 — 26 августа 1921), географ. Расстрелян 295

Таля, подруга О. В. Второвой-Яфа 390

Тарасий (Ливанов Иван Алексеевич; 1877 — 11 апреля 1933), епископ Барнаульский. Арестован в сане протоиерея в июле 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 28

Тарасова Надежда, племянница Н. В. Синакевич 438

Тележневский Виктор Игнатьевич (1882–1930), химик. Приговорен в мае 1928 г. к шести годам лишения свободы и отправлен на Соловки 361, 369–370

Терентьев, заключенный сотрудник лагерной администрации 171–172, 181–182

Тирбейли, заключенный врач 88–89

Титов, заключенный сотрудник лагерной администрации 88–89, 95

Тихон (Белагин Василий Иванович; 1865 — 7 апреля 1925), святитель, Всероссийский патриарх с 1917 г. 11—17, 20, 22, 30—31, 63, 70, 335—337

Толстоброва Анна, заключенная 471—472, 481, 484, 486

Толстой Алексей Константинович (1817—1875), граф, поэт 404

Толстой Лев Николаевич (1828 — 20 ноября 1910), граф, писатель 116, 172, 273, 318

Топоркова Наталья Семеновна (1876(82)—?), жена священника. Арестована в мае 1927 г., приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена на Соловки 431—435, 441—442

Трейфельдт Л. П., коллега О. В. Второвой-Яфы 383

Трифиллий (Смага Трофим Арсеньевич; 1867—?), архимандрит. Арестован в феврале 1924 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки 31

Трифильев Алексей Кириллович (1872—?), священник. В Соловецком лагере был дважды: в 1923—1926 гг., затем в мае 1927 — октябре 1928 г. 22, 84

Трифон Вятский († 21 октября 1612), предположенный 319—320

Трифонович Зоя Викториновна (урожд. Добронравова; 1925 — 29 сентября 1991), приемная дочь И. М. Андреевского 280

Тройницкий Сергей Николаевич (1882—1946(8)), искусствовед 355—356

Троицкий Арсений Сергеевич (1880 — 19 ноября 1937), протоиерей, арестован в марте 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 26

Трофимов, старший уполномоченный ОГПУ 366—367

Троцкий Лев Давидович (наст. имя и фам. Лейба Давидович Бронштейн; 1879 — 21 августа 1940), советский государственный и

партийный деятель. Убит в результате покушения 15

Тур Евгения (наст. имя и фам. Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир, урожд. Сухово-Кобылина; 1815—1892), писательница 450

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883), писатель 365, 415

Тучков Евгений Александрович (1892 — 15 апреля 1957), секретарь Комиссии при ЦК РКП(б) по проведению декрета об отделении Церкви от государства, ответственный секретарь Центрального совета Союза воинствующих безбожников (1939—1947) 15, 18, 23, 53

У

Уминский, заключенный сотрудник лагерной администрации 203

Успенский Глеб Иванович (1843 — 6 апреля 1902), писатель 365

Успенский Дмитрий Владимирович (1902—1989), заключенный, впоследствии вольнонаемный начальник Воспитательно-просветительского отдела УСЛОН, в 1930—1931 гг. начальник IV отделения УСЛОН (Соловки), начальник Северного участка строительства ББК 301

Ф

Федотов Георгий Петрович (1886 — 1 сентября 1951), историк. В эмиграции с 1925 г. 375

Федька-каторжник, литературный персонаж 308

Фельдман Владимир Дмитриевич (1894 — 10 января 1938), начальник юридического отдела ГПУ, член Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР. Расстрелян 149

Фельдман, заключенный фельдшер 260

Феодосий (Алмазов Константин Захарьевич; 1870—?), архимандрит. Автор воспоминаний о Соловках 8, 61—103

Феофан (Еланский Николай Александрович; 1892–1937), епископ Енисейский и Красноярский. В Соловецком лагере был дважды: с 1923 по 1926 г., затем — с 1929 по 1930 г. Расстрелян 26

Ферворн Макс (1863 — 23 ноября 1921), немецкий физиолог 38

Филипп (Колычев; † 22 января 1569), святитель, митрополит Московский (с 1566 г.), игумен Соловецкого монастыря (1543–1566) 218, 222, 239, 245, 428

Филипп Эрстович, заключенный сотрудник лагерной администрации 171, 180–182

Филиппов Иван Гаврилович (ум. не ранее 21 декабря 1937), член Коллегии ОГПУ 149

Филоненко Федор Дмитриевич (1869 — не ранее 1930), протоиерей. Арестован в феврале 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 31

Философов Дмитрий Владимирович (1872 — 4 августа 1940), публицист. В эмиграции с 1919 г. 45

Финкельштейн, заключенный сотрудник лагерной администрации 301

Финне Виктор Николаевич (1875 — 7 октября 1930), врач. Арестован в ноябре 1928, приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Скончался от туберкулеза в лагерной командировке Май-Губа 300

Флобер Густав (1821–1880), французский писатель 172

Флоренский Павел Александрович (1882 — 8 декабря 1937), священник, философ, богослов. Арестован в феврале 1933 г., приговорен к 10 годам лишения свободы, в сентябре 1934 г. отправлен на Соловки. Расстрелян 275

Фортуатов Алексей Федорович (1856 — 13 апреля 1925), агроном 349

Фра Беато Анджелико (1400–1455), итальянский художник 353

Фредерикс Наталья Модестовна (1864 — 30 марта 1926), баронесса. Арестована в

феврале 1924 г., приговорена к двум годам лишения свободы и отправлена на Соловки, где и скончалась 31

Фрейдков, отец певца Б. М. Фрейдкова 366

Фурсей Николай Андреевич (1897 — 12 сентября 1942), офицер. Арестован в июне 1927 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 363

Хемингуэй Эрнест Миллер (1899 — 2 июля 1961), американский писатель 112

Хитрушина, сотрудница лагерной администрации 462–463, 478–479

Хлынов Владимир Александрович (1876(?) — не ранее 1932), протоиерей, находился на Соловках в 1920-е гг. 32

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886 — 14 июня 1939), поэт 114

Хроновский, протодиакон 297

Хрущев Никита Сергеевич (1894 — 11 сентября 1971), руководитель советского государства 252

Ц

Цицерон Марк Тулий (106 — 43 до н.э.), древнеримский философ 308

Ч

Чан Кайши (1887 — 5 апреля 1975), китайский государственный деятель 363

Чарская Лидия Алексеевна (наст. фам. Чермилова, урожд. Воронова; 1875 — 18 марта 1937), писательница 380, 444–445

Чарторижский Адам Адамович (1770–1861), глава польского княжеского рода 349

Чегодаев Георгий Николаевич (1882 — не ранее середины 1930-х), князь. Арестован в марте 1927 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки 84

Чернов Виктор Михайлович (1873 — 15 апреля 1952), эсер, министр Временного правительства. В эмиграции с 1920 г. 39

Чехов Антон Павлович (1860 — 15 июля 1904), писатель 116, 384, 443

Чехранов Павел Дмитриевич (1875—1961), священник. Арестован в январе 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Автор воспоминаний о Соловках 22

Чичиков, литературный персонаж 363

Чокот Иван Иванович (1878 — 26 июня 1962), протоирей. Арестован в феврале 1924 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки 31

Ш

Ш.К., заключенная послушница 92—93, 98

Шалаевский, психиатр 300

Шалидвич, сотрудник лагерной канцелярии 208

Шахов Николай Александрович, меценат 273

Швецов Сергей Порфирьевич (1858 — 4 мая 1930), социалист-революционер 355—357

Шевелев, социалист-революционер, заключенный сотрудник лагерной администрации 124, 126—127, 130, 136

Шекспир Уильям (ум. 1616), английский поэт и драматург 308

Шелепов В.И., заключенный сотрудник лагерной администрации 84, 86

Шильдер Александр Евгеньевич (1893 — 5 ноября 1937), арестован в 1925 г. по «делу лицестов», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 32

Шильдер Владимир Александрович (1855 — июль 1925), директор Императорского Александровского лицея (1910—1917). Умер во время следствия по «делу лицестов» 32

Шильдер Карл Евгеньевич (1895 — июнь 1974), арестован в 1925 г. по «делу лицестов», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки 32

Шингарев Андрей Иванович (1869 — 7 января 1918), министр Временного правительства. Убит в результате покушения 298

Ширяев Борис Николаевич (1889 — 17 апреля 1959), писатель. Арестован в 1922 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Автор воспоминаний о Соловках 53, 374

Шкапская Мария Михайловна (урожд. Андреевская; 1891—1952), поэтесса, сестра И. М. Андреевского 272

Шмидт, заключенный сотрудник лагерной администрации 90—91, 93

Шопенгауэр Артур (1788—1860), немецкий философ, теоретик искусства 48

Шпир Африкан Александрович (1837—1890), русский и немецкий философ-неокантианец 37

Шрейдер Абрам Аронович (1903(4)—?), заключенный сотрудник лагерной администрации 359, 367, 369

Штейн Вера Федоровна (1881 — 23 сентября 1971), скульптор. Арестована в 1929 г. по «делу А. А. Мейера», приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена на Соловки 395

Шулегин Павел Яковлевич, сотрудник лагерной администрации 84—86

Э

Эвергетов Дмитрий Васильевич (1882—?), протоирей. Арестован в декабре 1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 25

Эйхманс Федор Иванович (наст. имя Фриц Янович; 1897 — 3 сентября 1938), латышский стрелок, в 1923 г. заместитель начальника УСЛОН, с ноября 1925 г. начальник Соловецкого отделения лагеря, с 1929 г. начальник 3-го спецотдела ОГПУ (внешняя разведка), 1930—1932 гг. начальник Вайгачской экспедиции ОГПУ, с 1933 г. заместитель начальника 9-го отделения ГУГБ НКВД. Расстрелян 80, 95, 254



Ю

Юдина Мария Вениаминовна (1899 — 19 ноября 1970), пианистка 375

Юпович Михаил Иванович (1897 — не ранее 26 августа 1937), заключенный сотрудник лагерной администрации. Расстрелян 102

Юшкевич Павел Соломонович (1873 — 6 декабря 1945), социал-демократ, философ, публицист 39

Я

Яблонский А. А., комендант госпиталя 298

Яворский Михаил Семенович (1883 — 28 сентября 1937), протоирей. Арестован в

феврале 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 31

Ягода Генрих Григорьевич (наст. имя Енох Гершонович; 1891 — 15 марта 1938), нарком внутренних дел СССР (1934–1936). Расстрелян 192

Якобсон, см. Зайдман-Якобсон

Якубовский, заключенный 94

Янчевский Дмитрий Григорьевич, лектор 89, 98

Яхонтов Владимир Иванович, заключенный врач 302–303, 333

вались на территории Австро-Венгерской империи для содержания русинов и сербов. В Советской России первые концлагеря появились по инициативе Л. Д. Троцкого в мае 1918 г. в местах, куда до этого заключали военнопленных. В них содержались заложники из числа лиц, потенциально опасных для власти большевиков.

Лютеранки — представительницы одного из основных направлений протестантизма.

МГБ (Министерство государственной безопасности). Образовано в 1946 г., в 1953 г. объединено с Министерством внутренних дел в единое МВД СССР.

Монархисты — представители многочисленных партий, выступавших за самодержавную форму правления в России. Наиболее заметными среди партий монархического толка являлись «Русский монархический союз» и «Союз русских людей», которые были запрещены еще в феврале 1917 г.

Мусаватисты — члены азербайджанской буржуазно-националистической партии «Мусават» (от азерб. равенство), которая возникла в 1911 г. и выступала за создание единой мусульманской державы под эгидой Турции. Деятельность партии была запрещена в 1920 г.

Нарком (народный комиссар) — должностное лицо, входившее в состав Советского правительства и возглавлявшее тот или иной народный комиссариат — центральный орган государственного управления какой-либо сферой государственной деятельности в РСФСР и СССР.

Наркомат юстиции (Народный комиссариат юстиции) — государственный орган, отвечавший за общее руководство судебными учреждениями РСФСР и СССР в 1917–1946 гг.

«Непоминающие» — те, кто не поминал за богослужением Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Старгородского) как главу Церкви.

НКВД РСФСР (Народный комиссариат внутренних дел РСФСР) — центральный орган государственного управления республики по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка. Образован в ноябре 1917 г., в декабре 1930 г. переименован в НКВД СССР.

НКЮ, см. Наркомат юстиции

НТС (Народно-трудовой союз российских солидаристов) — политическая организация русской эмиграции, возникшая в 1943 г. в Европе на базе уже имеющихся социальных объединений. Известными изданиями организации являются журналы «Грани» и «Посев».

НЭП (новая экономическая политика) — политический курс Советского государства (1921–1931), последовавший за «политикой военного коммунизма».

ОГПУ СНК СССР (Объединенное государственное политическое управление при Совете народных комиссаров СССР). Образовано в ноябре 1923 на базе ГПУ НКВД РСФСР, в июле 1934 г. реорганизовано в ГУГБ НКВД СССР.

ОДОН (Отдельная Дивизия Особого Назначения) ОГПУ. Была создана при президиуме ВЧК в апреле 1922 г. для выполнения специальных и оперативных заданий. В 1926 г., в момент реформирования, в ее состав вошел Соловецкий особый полк — военное подразделение, осуществлявшее охрану островов архипелага, доставку заключенных, их конвоирование на работу и поиск бежавших из лагеря. Расформирован в августе 1928 г.

ОС КОГПУ (Особое совещание при Коллегии ГПУ, позже при Коллегии ОГПУ, НКВД СССР, МГБ СССР) — внесудебный орган, имевший полномочия рассматривать уголовные дела по обвинениям в деяниях, угрожающих советскому строю, выносить приговоры, включая приговоры

к высшей мере наказания в годы Великой Отечественной войны, и пересматривать решения Военной коллегии Верховного суда.

Политический Красный Крест — общее название ряда организаций, оказывавших помощь политзаключенным в Российской империи, РСФСР и СССР. На базе Московского ПКК в 1922 г. была создана организация «Е. П. Пешкова. Помощь политзаключенным», которая действовала до 15 июля 1938 г.

Пункты ст. 58 УК РСФСР в редакции 1926 г., предусматривающие наказание за участие в организации или содействие организации, действующей в направлении помощи международной буржуазии (ст. 58.5); шпионаж, т. е. передачу, похищение или собирание с целью передачи сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой государственной тайной, иностранным государствам, контрреволюционным организациям или частным лицам (58.6); подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, использование государственных учреждений и предприятий или противодействие их деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций (ст. 58.7); пропаганду или агитацию против Советской власти путем изготовления, распространения или хранения литературы контрреволюционного содержания (ст. 58.10); укрывательство и пособничество всякого рода контрреволюционными преступлениям (ст. 58.12); массового невыполнения возлагаемых на граждан воинской или налоговой повинностей (ст. 58.13).

РКП(б) (Российская коммунистическая партия (большевиков)) — официальное название Коммунистической партии Советского Союза в 1918—1925 гг.

РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) (19 июля 1918 — 25 декабря 1991).

С.-р., см. эсеры

«Сексот» (секретный сотрудник) — тайный осведомитель правоохранительных органов.

СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения). В 1923—1929 гг. встречаются разные наименования: Лагерь принудительных работ ГПУ на Соловецких островах, Соловецкие лагеря Особого назначения ГПУ, Соловецкий лагерь принудительных работ особого назначения ГПУ, Соловецкий лагерь особого назначения ГПУ, Соловецкие концентрационные лагеря ОГПУ.

СНК, см. Совнарком

СОАОК (Соловецкое отделение Архангельского общества краеведения). Организовано Приказом УСЛОНа № 56 от 13 марта 1925 г., в 1926 г. реорганизовано в Соловецкое общество краеведения (СОК). Прообразом его была Комиссия по изучению флоры и фауны на Соловецких островах, созданная 13 марта 1924 г. при Соловецком отделении Всероссийского производственного союза охотников. В декабре 1924 г. она зарегистрировалась как научное краеведческое общество и стала именоваться СОАОК, 25 января 1925 г. была зарегистрирована в ЦБК при РАН, курировавшего всю краеведческую работу в стране и пожелавшего «успеха в изучении интересной и малоизвестной окраины — диких Соловецких островов».

Совнарком (Совет народных комиссаров) — высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти РСФСР, с 1923 г. СССР, а также союзных и автономных республик. Образован в ноябре 1917 г., в 1946 г. реорганизован в Совет министров СССР, а СНК союзных и автономных республик — соответственно в Советы министров союзных и автономных республик.

Социал-демократы — меньшевики, представители Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), основанной в марте 1898 г. с целью объединения в

единую организацию многочисленных социал-демократических групп, действующих на территории Российской империи. Весной 1917 г. фракция РСДРП, взявшая курс на осуществление пролетарской революции, выделилась в отдельную партию большевиков. Остальные социалисты-демократы выступали за созыв Учредительного собрания и коалиционное социалистическое правительство, но были против вооруженного восстания и впоследствии в той или иной мере стали противниками Советской власти. Весной 1919 г. большевики перешли к открытым репрессиям в отношении российских социалистов.

Союз воинствующих безбожников (ранее — Союз безбожников; Общество друзей газеты «Безбожник») — общественная организация в СССР (1925–1947).

СССР (Союз Советских Социалистических республик) (30 декабря 1922 — 26 декабря 1991). Создан путем объединения РСФСР, УССР, БССР и ЭСФСР.

Теософы — последователи мистической доктрины Е. П. Блаватской, представлявшей собой смесь восточных религий, христианства и оккультизма.

УСЛОН (Управление Соловецкими лагерями особого назначения) — широко истолковываемая система, выполнявшая административную, информационно-следственную, хозяйственную, финансовую, производственно-техническую, культурно-воспитательную и санитарную функции.

ЦОПЭ (Центральное объединение политических эмигрантов из СССР) — политическая организация русской эмиграции, возникшая в 1952 г. для ведения антисоветской пропагандистской деятельности.

Чуриковки — последователи А. И. Чурикова, вдохновителя религиозного течения, центром которого являлся трезвый образ жизни.

ЭКЧ (Эксплуатационно-коммерческая часть) — внутрилагерная структура, созданная для осуществления эксплуатационно-производственной деятельности УСЛОН.

Эсдеки, см. Социал-демократы

Эсеры, с.-р. — представители Партии социалистов-революционеров (ПСР), которая возникла в 1902 г. и со временем стала наиболее многочисленной и влиятельной немарксистской социалистической партией в России, стоявшей на позициях террора. В октябре 1917 г. левое крыло ПСР поддержало большевиков, но в массе своей эсеры осудили октябрьские события и стали участниками антибольшевистских выступлений и правительств. В 1922 г. состоялся судебный процесс, на котором социалисты-революционеры были обвинены в организации покушений на лидеров советского государства. Впоследствии деятельность партии в основном была связана с работой находящихся за границей эсеров, тогда как большинство оставшихся в России представителей ПСР уничтожили в течение 1920–1930-х гг.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Библиографический список раскрывает литературу, посвященную репрессиям против Церкви, духовенства и любого проявления сочувствия к религии. Древний Соловецкий монастырь в течение нескольких веков был центром духовного притяжения русского Православия. За короткое время он был превращен в страшную тюрьму нового режима, и сам пострадал не менее тех несчастных заключенных, что оказались на его территории.

Разграбленные храмы, осквернённые святыни и тысячи загубленных жизней — итог двадцатилетия «особого назначения». В Соловецком лагере особого назначения были представители всех религиозных конфессий. Но наиболее подробно в списке раскрыта трагедия Русской Православной Церкви, есть материалы по истории преследования католичества, о представителях других конфессий — пока лишь упоминание в общих статьях.

Часть персоналий, по которым выявлено более двух публикаций, выделена в отдельные рубрики. Следом за персоналиями духовенства показан раздел «Разделившие чашу страданий», он раскрывает судьбы заключенных, не имевших духовного сана, но арестованы они были за своеобразную причастность к религии — от человеческого сочувствия до научного исследования.

Внутри разделов записи располагаются по алфавиту авторов или первого слова заглавия.

ЦЕРКОВЬ В СЛОНЕ

Первые священники, осужденные по делам о противодействии изъятию церковных ценностей, прибыли на Соловки из Ростова-на-Дону и Новочеркасска в 1923 г., следующая большая группа осужденных — из Петрограда, годом позже. Позднее состав заключенных священнослужителей пополнялся осужденными за «нарушение декрета об отделении Церкви от государства», странствующими монахами и монахинями из разоренных и закрытых властью монастырей. С 1928 г. начали прибывать «непоминающие» (священники, не поминающие митрополита Сергия и государственную власть). Самым спорным и по сей день остается вопрос о численности духовенства на Соловках. Эти данные колеблются от 120 до 500 человек. Первую цифру можно прочесть в докладе Управления Соловецких лагерей за 1926—1927 гг., а вторая цифра появилась в рижской газете «Сегодня» в 1931 г.

1. Бродский, Ю. А. Соловки. Двадцать лет Особого Назначения. М. : РОССПЭН, 2002. 528 с. : ил.
2. Картунова, М. Путь на Соловки // Вестник аналитики. 2013. № 3. С. 141—146.
3. Лубянка: Органы ВЧК—ОГПУ—НКВД—НКГБ—МГБ—МВД—КГБ: 1917—1991 : справочник / Междунар. фонд «Демократия» (Фонд Александра Н. Яковлева) ; сост., авт. примеч. А. И. Кокурин, сост., авт. примеч. Н. В. Петров. М. : МФД : Материк, 2003. 768 с. (Россия. XX век. Документы).
4. Милова, О. Л. Документальные свидетельства о гонениях на духовенство в СССР в 1929—1931 гг. // Традиции и современность : науч. правосл. журн. 2007. № 6. С. 103—125: фото.
5. Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. 280 с.

6. Преодоление: Русская церковь и Советская власть. История в документах и артефактах : выставка, лекции, встречи : Государственный центральный музей современной истории России, 7 ноября — 9 декабря 2012 г. М., 2012. [22] с. : ил., цв. ил., портр.
7. «Приспело время подвига...» : Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. о начале гонений на Церковь / сост. Н. А. Кривошеева. М.: Издво ПСТГУ, 2012. 552 с. : ил.
8. Разгром православных братств в Петрограде // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 98–100.
9. Регельсон, Л. Л. Трагедия русской церкви, 1917–1945. Изд. 3-е. М. : Изд-во Крутицкого подворья О-во любителей церк. истории, 2007. 640, [2] с. : портр.
10. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году : материалы и архивные документы по истории Русской православной церкви : [сб.] / сост., авт. предисл. и коммент. М. А. Бабкин; [науч. ред.: Б. Н. Миронов, С. В. Тютюкин]. Изд. 2-е, испр. и доп. М. : Индрик, 2008. 627, [5] с., [24] л. ил., факс.
11. Русская Голгофа / гл. ред. Е. А. Ямбург. М. : Пик, 2007. 444, 2 с.
12. Русские православные иерархи. Исповедники и мученики : фотоальбом. Париж: УМКА-Press, 1986. 83 с. : портр.
13. Следственное дело патриарха Тихона : сб. док. по материалам Центр. архива ФСБ РФ / Православ. Св.-Тихонов. богослов. ин-т. М. : Памятники ист. мысли, 2000. 1015 с.
14. Шкаровский, М. В. Иосифлянство: течение в Русской Православной церкви. СПб. : НИЦ «Мемориал», 1999. 399 с. (Исторический сборник; вып. 4).

Разорение и осквернение Соловецкого монастыря

15. Буров, В. А. Археологическое исследование руин церкви Онуфрия Великого XIX в. на старом монастырском кладбище Соловецкого монастыря // Соловецкое море : ист.-лит. альм. Архангельск; М. : Т-во Северного мореходства, 2010. Вып. 9. С. 82–93.
16. Детчуев, Б. Последний год // Север. 1990. № 9. С. 123–127.
17. Критский, Ю. Соловецкий монастырь в 1917–1920 гг. // Соловецкий вестник. 1993. № 12. С. 6.
18. Кузнецова, Н. М., Матонин, В. Н. Судьбы Соловецкого монашества после закрытия монастыря (1920–1939) // Михайловские чтения : Религиозно-культурное пространство региона: вчера, сегодня, завтра : сб. статей науч.-практ. конф. Архангельск, 2011. С. 68–73.
19. Куратов, А. А. Соловецкий монастырь : Разорение обители. СЛОН на Соловках // Куратов, А. А. Православные святыни и святые в истории Архангельского Севера : учеб. книга. 2-е изд., испр. и доп. Архангельск: Помор. ун-т, 2004. С. 176–179.
20. Куратов, А. А. Соловецкий монастырь, 1920–1923 // Поморская энциклопедия. Архангельск, 2001. Т. 1. С. 383.
21. М[ельник], А. Сначала был пожар... / А. М. // Соловецкий вестник. 1993. № 9. С. 2.
22. Морозов, С. В. Соловки в 1920–1939 гг. // Морозов, С. В. Постигание Соловков : очерки и материалы. М.; Соловки: Т-во Северного мореходства, 2002. С. 64–67 : рис.
23. Осипенко, М. Соловецкий мученик: братия Соловецкого монастыря после Октябрьского переворота 1917 г. // Соловецкое море : ист.-лит. альм. Архангельск; М. : Т-во Северного мореходства, 2010. Вып. 9. С. 110–121.
24. Осипенко, М. В. Хранители веры : братия Соловецкого монастыря после Октябрьского переворота 1917 г. // Север. 2013. № 3/4. С. 31–59.

25. При советской власти хозяйство бывшего Соловецкого монастыря постепенно приходило в упадок // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 46—47.
26. Розанов, М. М. Соловецкий концлагерь в монастыре, 1922—1923 годы: факты — домыслы — «параша» : обзор воспоминаний соловчан соловчанами : в 2 кн. Изд. авт. [Б.м.; Printed in USA], 1979—1980. Кн. 1. 1979. 298 с.; Кн. 2. 1980. 180 с.
27. Скопин, В. Кладбищенская церковь прп. Онуфрия Великого в Соловецком монастыре // Соловецкое море : ист.-лит. альм. Архангельск; М. : Т-во Северного мореходства, 2010. Вып. 9. С. 74—81.
28. Следственная комиссия виновных в пожаре не нашла // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 49.
29. С.А.О.Н.: следующая остановка — Освенцим // Православные монастыри. Путешествие по святым местам. 2009. № 3. С. 28—29 : цв. ил.
30. Соловки: наша гордость и горькая память : Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь — один из крупнейших и наиболее известных мужских монастырей России // Хроники краеведа. 2007. № 3. С. 2—3 : ил.
31. Шубин, А. Я. Закрытие, изъятие, сокрытие (ликвидация Соловецкого монастыря и национализация его имущества) // Соловецкий сборник. Архангельск, 2006. С. 187—204.

Изъятие церковных ценностей

32. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917—1943 / сост. М. И. Губонин. М.: Изд-во Правосл. Св.-Тихон. Богосл. Ин-та, 1994.
33. Кончин, Е. «Зосима, упрятанный за шкаф» : [о поездке Всерос. комиссии по делам реставрации в Соловецкий монастырь в авг. 1922 г.] // Революцией призванные : рассказы о моск. эмиссарах. М., 1988. С. 189—212.
34. Покровский, Н. Н. Документы Политбюро и Лубянки о борьбе с Церковью в 1922—1923 гг. // Ученые записки / Рос. правосл. ун-т ап. Иоанна Богослова. М. : Отдел религ. образования и катехизации РПЦ, 1995. № 1. С. 125—174.

...и частичное их спасение

35. 10 возвращенных святынь : 20 лет РПЦ вела борьбу за возвращение своих ценностей. Какие победы были главными / подгот. Е. Барышева // Огонек. 2011. № 45. С. 18 : цв. ил.
36. Рубцова, О. Ю. Серебряные изделия из фондов Соловецкого музея-заповедника // Наследие Соловецкого монастыря : докл. и сообщ. Всерос. конф. (Архангельск, 28 нояб. — 1 дек. 2006 г.). Архангельск, 2007. С. 93—101.
37. Сохраненные святыни Соловецкого монастыря : кат. выст. / Гос. ист.-культур. музей-заповедник «Моск. Кремль» ; [авт. вступ. ст. Т. А. Тутова; авт. вступ. ст. к разд. И. И. Вишневская и др.]. М. : Белый берег, 2001. 298, [1] с. : цв. ил.
38. Тутова, Т. А. Соловецкое собрание в Оружейной палате: спасение соловецких сокровищ деятелями культуры в первые годы советской власти // Искусство христианского мира : сб. статей / Правосл. Свято-Тихон. Богосл. ин-т, Фак. церк. художеств; [отв. ред. А. А. Воронова]. М., 2001. Вып. 5. С. 307—318.

Вскрытие святых мощей (1925 г.)

39. Бардилева, Ю. П. Кампания по вскрытию святых мощей и закрытие монастырей на Европейском Севере России в 1918–1929 годах // Российская история. 2009. № 3. С. 135–142.
40. Иванов, А. Соловецкие мощи // Карело-Мурманский край. 1927. № 4. С. 7–9 : ил.
41. Кампания по вскрытию мощей // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 125–126 : фото.

...и их обретение в 1992 г.

42. Алексей II, патриарх. «Слава Богу за все» : слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, на перенесение святых мощей преп. Первооснователей Соловецкой обители // Соловецкий вестник. 2000. Окт.
43. 20 лет назад в Соловецкий монастырь были возвращены мощи его основателей : [фото-репортаж] / фото Павла Кононова // Правда Севера. 2012. 15 авг. С. 5.
44. История обретения святых мощей Преподобных Зосимы, Савватия и Германа, Соловецких чудотворцев // Православный церковный календарь с повествованиями из истории Соловецкого монастыря. Изд. Соловецкой обители, 2002. С. 156–164.
45. Сказание об обретении святых мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких и о перенесении их в новоустроенную церковь монастыря // Житие преподобных Зосимы, Савватия и Германа, Соловецких чудотворцев. [Б.м.] : Спасо-Преображ. Соловец. ставропиг. муж. монастырь, 2003. С. 98–101 : ил.

Лагерные будни духовенства

46. Будто свет Христов озарял их изнутри: духовенство в Соловецких лагерях // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 71–72.
47. Богослужения в Соловецком монастыре : из воспоминаний профессора И. М. Андреевского // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 199–191; Православная Русь. 1948. № 12.
48. «В храме был устроен карцер, чтобы люди хулили Бога, но не было по сему» // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 74–79.
49. Голицын, С. Н. Записки уцелевшего. М.: Орбита, 1990. 736 с. : ил. Из содерж.: СЛОН.— С. 422–434.
50. Зайцев, И. М. Мученики за светлое имя Христа : [из кн. «Соловки (коммунистическая каторга, или Место пыток и смерти). Ч. 2, гл. 1] // Воспоминания соловецких узников, 1925–1928. Изд. Соловец. монастыря, 2014. С. 258–272.
51. Каждым жестом любой чекист старается оскорбить заключенных священников : из воспоминаний А. Клингера «Соловецкая каторга: записки бежавшего» // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 58–60.
52. Лихачев, Д. С. Я вспоминаю... М. : Прогресс, 1991. 253, [2] с. : ил.
53. «Нельзя было догадаться, что все они — заключенные» : из книги О. Волкова «Погружение во тьму» // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников

Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 83—85.

54. Представители духовенства почитаются лучшими работниками : из воспоминаний С. А. Мальсагова «Адский остров: советская тюрьма на далеком севере» // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 73.

55. Резникова, И. Православие на Соловках : материалы по истории Соловецкого лагеря. СПб.: Изд-во НИЦ «Мемориал», 1994. 208 с.

56. Резникова, И. А. Материалы к истории лагерного периода Муксалмы (1923—1939) // Соловецкие острова / под общ. ред. П. В. Боярского. М., 1996. Т.2 : Остров Большая Муксалма. С. 28—34 : ил. (Труды МАКЭ; Вып. 9).

57. Русская церковь на Голгофе // Россияне. 1992. № 5/6. С. 71—72.

58. Священнослужители были обречены на глумление : из воспоминаний Б. М. Сапира «Путешествие в северные лагеря» // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 56—57.

59. Соловецкие лагеря особого назначения: фотолетопись / авт.-сост. Т. А. Сухарникова; Гос. музей истории Санкт-Петербурга, Музей С. М. Кирова, СГИАПМЭ. СПб., 2004. 105 с.: фот.

60. Сошина, А. «Наш путь — смиренная преданность Отцу Небесному» : исполнение пастырского долга в условиях лагеря // Соловецкое море : ист.-лит. альм. / ред. В. Матонин. Архангельск; М., 2006. № 5. С. 107—116: фот.; То же // Сошина, А. А. На Соловках против воли: судьбы и сроки, 1923—1939. Соловки; М. : Изд-во ТСМ, 2014. С. 21—34 : фото.

61. Чирков, Ю. И. А было все так ... / вступ. ст. А. Приставкина. М.: Политиздат, 1991. 379 с.

62. Ширяев, Б. Н. Неугасимая лампада. Соловки: Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь РПЦ (Московский Патриархат), 2012. 559 с.

* * *

63. Воздвижение Соловецкого Поклонного Креста в Москве 3—4 февраля 2001 года // Православный церковный календарь с повествованиями из истории Соловецкого монастыря. Изд. Соловецкой обители, 2002. С. 165—167.

64. Дамаскин (Орловский). Исповедничество не знает отступничества : слово игумена Дамаскина (Орловского) // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 268—270.

65. Обозный, К. Россию в XXI веке может спасти опыт духовного сопротивления тотальному злу XX века // Псковская губерния. 2011. 26 окт. — 1 нояб. (Неперемолотые).

66. Столяров, В. П. Концлагерь в Соловецком монастыре: возвращение памяти // Сборник пленарных докладов XII международных Рождественских образовательных чтений. М., 2004. С. 298—309; То же // Русский город и русский дом: опыт религиозно-социологического исторического анализа для современной России. М., 2004. С. 198—211.

67. Увековечение памяти новомучеников // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 271.

Послание соловецких епископов к советскому правительству

68. Церковная жизнь в России // Вестник РСХД. 1927. № 7. С. 19—26. Содерж.: К правительству СССР : (обращение православных епископов из Соловецких островов); Положение православной церкви в СССР; Архиепископ Серафим Угличский.

69. К Правительству СССР : обращение православных епископов из Соловецких островов // Вестник РСХД. 1988. № 1(152). С. 193—206.

* * *

70. Балашов, Н. Еще раз о «Декларации» и о «солидарности» соловчан // Вестник РСХД. 1989. № 3(157). С. 193—202.

71. Елевферий, митроп. Доклад митр.[ополита] Елевфения митр[ополиту] Евлогию (1928 г.) // Вестник РСХД. 1990. № 1(158). С. 285—293. Публ. впервые по архиву Г.Н. Трубецкого.

72. Логинова, В. Е. «Соловецкое» послание епископов 1926 г. — апология христианской Церкви перед атеистическим государством : курсовая работа по дисциплине «История РПЦ» / Св.-Филаретовский правосл.-христиан. ин-т. М., 2014. 20 с. На правах рукописи.

73. Митрофанов, Г., свящ. Русская Православная Церковь в России и в эмиграции в 1920-е годы : к вопросу о взаимоотношениях Московской Патриархии и русской церковной эмиграции в период 1920—1927 гг. СПб. : Ноах, 1995. Из содерж.: Памятная записка Соловецких епископов от 27 мая/9 июня 1925 г.— С. 118—130.

74. «...Не можем принять и одобрить послание в его целом...» : Послание архиереев, заключенных в Соловецкий лагерь от 27 мая/9 июня 1925 г. // История России, 1917—1940 : хрестоматия / под ред. М.Е. Главацкого. Екатеринбург, 1993. С. 234—237.

75. Памятная записка Соловецких епископов // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 161—163.

76. Струве, Н. А. Соловецкие епископы и Декларация митрополита Сергия 1927 года // Вестник РСХД. 1988. № 1(152). С. 207—211.

77. Струве, Н. А. Реплика [по поводу статьи Н. Балашова] // Вестник РСХД. 1989. № 3(157). С. 203—206.

Тайные церковные праздники в СЛОНе

78. Алексеева, Т. В. Светочи России : Соловки // Покров : журнал духовно-нравств. культуры. 2013. № 7. С. 6—9.

79. Второва-Яфа О. В. Чистый четверг : фрагм. рукоп. «Авгуровы острова», 1929—1931 гг. (РНБ) // Наше наследие. 1989. № 4(10). С. 50.

80. На Рождество и Пасху заставляют заключенных работать вдвое : из воспоминаний А. Клингера «Соловецкая каторга: записки бежавшего» // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 133—135.

81. Осипенко, М. В. Пасхальные богослужения в Соловецком лагере // Воспоминания соловецких узников, 1925—1928. Изд. Соловец. монастыря, 2014. С. 150—160.

82. Резникова, И. Пасха в Соловецком лагере : по следам СЛОНа // Соловецкий вестник. 1993. № 5—8, 11.

83. Страстная неделя и Пасха на Соловках / Г. Б. // Вестник : орган Русского студенческого христианского движения в Германии. 1949. № 4. С. 16—21.

84. Чехранов, П., свящ. Пасха в Соловецком лагере // Соловецкий православный церковный календарь, 1999. М., 1998. С. 61–63.

85. Чехранов, П., свящ. «Сердце дышало радостью» : из воспоминаний о. Павла Чехранова «Две тюремные Пасхи» // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 112–117 : фото.

86. Чехранов, П., свящ. Две тюремные Пасхи : из воспоминаний // Воспоминания соловецких узников. Изд. Соловецк. монастыря, 2013. С. 710–715.

87. Ширяев, Б. Н. Пасха в Соловецком лагере : из книги Б. Ширяева «Неугасимая лампада» // Православный церковный календарь с повествованиями из истории Соловецкого монастыря. Изд. Соловецк. обители, 2002. С. 61–62.

Соловки — Сандармох (пропавший соловецкий этап)

88. Головкин, Н. За веру и правду пострадавшие : более 70 лет назад мученическую смерть под Ленинградом принял 2-й Соловецкий этап — 509 заключенных СЛОНа, люди разных сословий и вероисповеданий ... Среди них — выдающийся богослов и ученый-энциклопедист, «Русский Леонардо», священник П. Флоренский // Природа и человек. XXI век. 2008. № 12. С. 46–49 : ил.

89. Иофе, В. Большой террор и имперская политика СССР : по следам большого соловецкого расстрела 1937 года // Посев (Москва). 1997. № 5. С. 35–37.

90. Иофе, В. Дни памяти : Сандармох — Соловки // Мемориал : информ. бюл. Правления Междунар. ист.-просвет. благотворит. и правозащит. о-ва «Мемориал». 1999. № 13. С. 28–33.

91. Мемориальное кладбище Сандармох. 1937. 27 октября — 4 ноября (Соловецкий этап) / сост. И. А. Резникова; сопровод. текст В. В. Иофе; Междунар. о-во «Мемориал». СПб: НИЦ «Мемориал», 1997. 172 с.

92. Место расстрела Сандармох / сост. Ю. А. Дмитриев. Петрозаводск. 1999. 352 с.

93. Разумов, А., Груздева, В. Скорбный путь соловецких этапов // Ленинградский мартиролог, 1937–1938 : книга памяти жертв политических репрессий. СПб., 1999. Т. 4 : 1937 год. С. 658–664.

94. Разумов, А. Скорбный путь соловецких этапов. Продолжение поиска // Ленинградский мартиролог, 1937–1938 / [редкол.: ... А. Я. Разумов (отв. ред.) и др.]. СПб. : Изд-во Рос. нац. б-ки, 2008. Т. 8 : Январь — февраль 1938 года. С. 656–676.

95. Соловецкий этап...: Расстреляны 27.10.37, 2.11.37, 3.11.37, 4.11.37 : [Поименные списки] // Место расстрела Сандармох. Петрозаводск, 1999. С. 231–281.

96. Федущак, Л. Памяти жертв соловецкого расстрела, паломничество 2007 года // Львовская газета. 2007. 4 сент.

Священнослужители и церковнослужители — узники всех конфессий

97. Александр, архим. Узники Соловецкого монастыря // Живая Арктика. 1998. № 2. С. 3–6.

98. Боль людская : Книга памяти томичей, репрессированных в 30–40-е и начале 50-х годов / сост. В. Н. Уйманов. Томск, 1992. Т. 3. Из содерж.: [Серафим (Шамшин), епископ]. — С. 377.

99. Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники Российской Православной Церкви XX столетия : жизнеописания и материалы к ним. Кн. 1–7. Тверь: Булат, 1992–2002.

100. *Дигтяренко, Г.* Архиереи республики СЛОИ // Православный паломник. 2012. № 3. С. 70–76 : ил.
101. За веру Христову : духовенство, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918–1951) : биограф. справочник. Архангельск: Правосл. издат. центр, 2006. 684 с.: фот.
102. За Христа пострадавшие: Гонения на Русскую Православную Церковь, 1917–1956 : биограф. справ. Кн. 1: А–К / изд. подгот. авт. кол. ПСТБИ; под рук. и общ. ред. В. Воробьева. М., 1997. 696 с.: ил. (Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви).
103. За Христа пострадавшие в земле Владимирской : синодик и биограф. справочник / Свято-Успенский епархиальный женский монастырь. Александров, 2000. Из содерж.: [Иов (Рогожин)]. С. 41.
104. *Ильинская, А.* Соловки : док. повесть о новомучениках // Лит. учеба. 1991. № 2. С. 61–93.
105. Их страданиями очистится Русь. М.: Изд-во им. святителя Игнатия Ставропольского, 1996. 261 с. Из содерж.: Послушание святой обители. — С. 106–109; Нам не дадут спокойно умереть. С. 109–112; Мир дому сему. С. 113–118; Чистый четверг. С. 119–121.
106. *Козьмина, И.* Святые без чудес и акафистов : [размышления о новомучениках, причисленных к лику святых] // Вестник Архангельской митрополии. 2012. № 3 (сент. окт.). С. 8–9 : ил.
107. *Куратов, А. А.* Соловецкое заключение высших иерархов православной и католической церкви в 1923–1934-х : крат. биограф. данные // Поморская энциклопедия. Архангельск, 2001. Т. 1. С. 386–388.
108. *Марченко, В.* Новомученики и исповедники Даниловские, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX веке. М.: Русский паломник. М. Валаамское Общество Америки, 2011. 590, [1] с. : ил., портр.
109. Новые мученики российские : [в 2 т.]. Репр. изд. / сост. протопресв. М. Польский. М. : Т-во «Светлячок» : Фирма «Алексей», [Б.г.]. Т. 2. 319, [3] с. : ил.
110. *Осипова, И. И.* «Сквозь огонь мучений и воды слез...» : Гонения на Истинно-Православную Церковь (по материалам следственных и лагерных дел заключенных). М.: Серебряные нити, 1998. 432 с. Прил.: Исповедники веры — подвергшиеся репрессиям, расстрелянные, умершие в тюрьмах, лагерях, ссылках: [крат. биограф. справки].
111. *Розачев, М.* Ссылные архиереи в Коми Автономной Области // Вера-Эском : христиан. газета. 2004. № 457. С. 19–20.
112. Санкт-Петербургский мартиролог / [отв. ред. В. Сорокин; сост. В. М. Шкаровский [и др.]. СПб., 2002. 415, [1] с. : ил. — Из содерж.: Иларион (Троицкий), архиеп. Верейский; Василий (Зеленцев), еп. Прилуцкий; Аркадий (Остальский), еп. Лубненский, Полтавский; Виктор (Островидов), еп. Вятский, Шадринский, Глазовский; Владимир (Лозина-Лозинский), протоиерей; Александр (Сахаров), протоиерей; Мануил (Лемешевский), митроп. Куйбышевский и Сызранский; Димитрий (Любимов), архиеп. Гдовский; Василий (Дохтуров), еп. Пинежский, Каргопольский, Вытегорский; Амвросий (Либин), еп. Лужский; Николай (Муравьев-Уральский), еп. Рыбинский; Нектарий (Трехвинский), еп. Яранский; Николай (Александров), воспитанник И. Кронштадтского; Феодосий (Алмазов), архимандрит; Анатолий (Алявдин); И. М. Андреевский, историк РПЦ; В. М. Верюжский, протоиерей, профессор Ленинградской Духовной академии; Н. А. Вишняков, диакон; П. Н. Ивановский, протоиерей; П. А. Флоренский, философ, богослов; Иосиф (Софронов), архимандрит и др.

113. Святые Новомученики и Исповедники, в земле Казахстанской просиявшие : альбом / Астанайская и Алмаатинская епархия, Правосл. Св.-Тихон. гуманит. ун-т ; рук. работы митр. Мефодий. М., 2008. 566 с. : ил.
114. Симбирская Голгофа (1917–1938) / сост. свящ. Владимир Дмитриев. Ульяновск, 1996. 164 с. : ил. Из содерж.: [Митрофан (Гринев), епископ].— С. 57–59.
115. Синенко, С. Уфимская епархия : худож.-докум. повествование. Уфа: ГУП «Гос. респ. изд-во «Башкортостан», 2009. 304 с.: ил.
116. Соловецкие новомученики / сост. игумен Дамаскин (Орловский). М.; Соловки [пос. Соловецкий, Архангельская область] : Изд. Спасо-Преображ. Соловец. ставропиг. мужского монастыря, 2009. 443, [3] с., [12] л. цв. ил. : портр.
117. Соловецкие новомученики : избранные жизнеописания : [сб.] / сост.: игум. Дамаскин (Орловский) ; [предисл. : архим. Мефодий]. М.; Соловки [пос. Соловецкий, Архангельская область] : Изд. Спасо-Преображ. Соловец. ставропиг. мужского монастыря [и др.], 2009. 302, [1] с., [8] л. ил. : цв.ил., портр.
118. [Список прославленных в лике святых новомучеников и исповедников российских XX века. Деяние Собора о канонизации других святых XVIII–XX вв. // Основы социальной концепции Русской Православной Церкви : деяние юбилейного Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о соборном прославлении новомучеников и исповедников российских XX века : Юбилейный Архиерейский Собор. М., 2000. С. 90–112.
119. Фаст, М. В., Фаст, Н. П. Нарымская Голгофа : материалы к истории церковных репрессий в Томской области в советский период. Томск; М.: Водолей Publishers, 2004. Из содерж.: [Софроний (Арефьев), архиепископ]. С. 49–54, 117–118, 356.
120. Фигуры старых Соловков // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 167–169.
- * * *
121. Акиншин, А. Н. «Винным себя ни в чем не признаю» : [дело «бугецев»] // Встреча. 1992. № 10/12. С. 34–37 : ил.
122. Акиншин, А. Н. Крест: судьба епископа Алексия Буя // Воронежский курьер. 1992. 10, 13 янв.
123. Алексей (Буй) // России Черноземный край. Воронеж, 2000. С. 822.
124. Андреев, И. М. Епископ Максим Серпуховский (Жижиленко) в Соловецком концентрационном лагере // Православный путь (США). 1951. С. 61–70.
125. Горюнов, Ю. П. Возьми крест свой... : Нижегородские священники Державины и их родословие. СПб : Изд-во Политехн. ун-та, 2012. 431 с., [10] л. ил., портр.
126. Житие священномучеников Назария (Грибова) и Георгия (Колоколова) и мученика Петра (Царапкина) / авт.-сост. игумен Дамаскин (Орловский). Тверь : Булат, 2002. 22, [1] с. : ил., портр.
127. Иеромонах Иларию (Львов) // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 181–182.
128. Иоанн. Серафим, патриарх Соловецкий. М. : Правосл. Церковь Божией Матери Державная, 2001. 254, [2] с. : цв. ил.

129. Лозина-Лозинский, В. Из Соловецких тетрадей / авт. предисл. Ф. Погодин // Ученые записки / Рос. правосл. ун-т ап. Иоанна Богослова. М. : Отдел религ. образования и катехизации РПЦ, 1995. № 1. С. 188–199.
130. Новый русский мартирологий. Александр Якобсон, соловецкий фельдшер // Русский паломник. 2007. № 38.
131. Отец Иоанн Павловский // Епарх. ведомости (Сыктывкар). 2001. № 15 (Нояб.). С. 9.
132. Попов Иоанн Васильевич, богослов // Жития новомучеников и исповедников Российских XX века Московской епархии / сост. игумен Дамаскин (Орловский). Тверь, 2005. Доп. т. II. С. 24–55.
133. Преподобномученик иеромонах Моисей (Кожин) // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 196–197.
134. Сухих А., прот. Яранский чудотворец [Нектарий (Трезвинский), епископ Яранский] // Вятский епарх. вестник. 1996. № 7(75). С. 5.
135. Хасиев, Х. Кто что знает? : [Исхак Каратаев, мулла, сослан в СЛОН в 1927 г.] // Правда Севера. 1990. 27 сент.

**Андреевский Иван Михайлович,
историк Церкви, богослов, педагог, врач-психиатр**

136. Андреев, И. М. Из воспоминаний // Бродский, Ю. А. Соловки. Двадцать лет Особого Назначения. М. : РОССПЭН, 2002. С. 223–226.
137. Биографический словарь / под ред. К. М. Александрова, А. В. Терещука. Хэмден (Коннектикут, США); Сан-Франциско (США); СПб (Россия), 2005. С. 25.
138. В гости к батюшке Серафиму / сост. С. Фомин. М.: Паломник, 1997. С. 463.
139. Инок Всеволод (Филиппев). Путь святых отцов. Патрология / под общей ред. митрополита Лавра Восточно-Американского и Нью-Йоркского. Джорданвилль; М., 2007. С. 569–574.
140. Лихачев, Д. С. Братство святого Серафима Саровского // Лихачев, Д. С. Воспоминания. СПб. : Логос, 1995. С. 132.
141. Митрофан (Эноско-Боровский), епископ. Хроника одной жизни. М.: Св.-Владимир. братство, 2006. С. 548–585.
142. Незабываемые могилы : Российское зарубежье: некрологи, 1917–1997 : в 6 т. / сост. В. Н. Чуваков. М., 1999. Т. 1 : А – В. С. 85.
143. Полчанинов, Р. В. Профессор И. М. Андреевский // Православная Русь (Джорданвилль). 1977. 14 февр. С. 11.
144. Русские писатели эмиграции : биогр. сведения и библиография их книг по богословию, религ. философии, церк. истории и правосл. культуре: 1921–1972 / сост. Н. М. Зернов. Boston: G. K. Hall & Co., 1973.
145. Санкт-Петербургский мартиролог. СПб.: Изд-во «Мирь», «О-во святителя Василия Великого», 2002. С. 43.
146. Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-Петербургской епархии: XX столетие. 2-е изд., доп. СПб., 2002. С. 43.

Аркадий (Остальский Аркадий Иосифович), епископ

147. Дело епископа Аркадия (Остальского) и ликвидация монашеской общины // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 223–229.
148. Доненко Н., прот. Наследники царства. Симферополь, 2000. С. 285–325.
149. Доненко, Н., прот. Священномученик Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий : Жизнеописание. Духовное наследие: беседы, руководство для пастырей, проповеди, акафисты. Феодосия: Коктебель, 2008. 542 с.: ил.
150. Доненко, Н., прот. Священномученик Аркадий (Остальский), епископ Лубненский // Вестник РСХД. 1998. № 3/4(178). С. 223–250.
151. «Молитесь же о своих почивших» : священномученик Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 96.
152. Священномученик Аркадий, епископ Бежецкий // Христовы воины. Жития и труды подвижников XX века : календарь, 2007. М., 2006. С. 355.
153. Священномученик Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий. «Мы не должны бояться никаких страданий...» : Творения : в 2 т. / сост. диакон Игорь Кучерук. Житомир: Житомирская епархия УПЦ, 2011.
154. Священномученик Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий, викарий Тверской епархии // Игумен Дамаскин (Орловский). Новомученики и исповедники Бежецкой епархии. Бежецк, 2014. С. 4–14.
155. Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-Петербургской епархии: XX столетие. 2-е изд. доп. СПб., 2002. С. 10.

Гундяев Василий Степанович (1879–1969), священник

156. Вечная память почившим // Журнал Моск. Патриархии. 1971. № 2. С. 32.
157. Малухин, В. Беззаветное служение : родословие Патриарха : [дед патриарха Кирилла свящ. В. Гундяев был узником СЛОН] // Социальное партнерство. 2009. № 2. С. 81–86 : цв.ил.
158. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и его исторические корни на нижегородской земле : фотоальбом / сост. архим. Тихон (Затекин) и др.; изд. отд. Нижегородской епархии. Н. Новгород: НППЦ «Глагол», 2011. С. 5–59.
159. Санкт-Петербургский мартиролог. СПб.: Изд-во «Мирь», О-во святителя Василия Великого, 2002. С. 92.
160. Первосвятительские визиты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь : [сб.] / отв. ред.: монах Онуфрий (Поречный) ; текст: А. П. Яковлева ; фот: О. Каплин [и др.]. пос. Соловецкий, Архангельская обл. : Изд. Соловец. монастыря, 2011. 57, [1] с. : цв. ил.

Виктор (Константин Александрович Островидов), епископ

161. Абызова, Э. Б. Священноисповедник Виктор и академик Д. С. Лихачев: встречи в Соловецком лагере // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 164–166.

162. Абызова, Э. Б. Священноисповедник Виктор, епископ Глазовский, и академик Д. С. Лихачев: встречи в Соловецком лагере (1928–1931 гг.). URL: http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=490.
163. Бадьин В. М. Вятская епархия в 1917–1941 гг. // Очерки истории Вятской епархии (1657–2007) : 350 лет Вятской епархии. Вятка, 2007. С. 360–449.
164. Вятский исповедник: святитель Виктор (Островидов) : жизнеописание и труды / сост. Л. Е. Сикорская. М.: Братонез, 2010. 512 с. + [32] ил. (Серия «Новомученики и исповедники Российские пред лицом богоборческой власти»). Из содерж.: В концлагере и ссылке. Последние годы (1928–1934). С. 226–265.
165. Дамаскин (Орловский). Священноисповедник Виктор (Островидов) // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 118–122.
166. Для каждого встречного у него было приветливое слово : из воспоминаний профессора И. М. Андреевского // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 123.
167. Житие исповедника Виктора, епископа Глазовского, викария Вятской епархии. Изд. Св.-Троицкого женского монастыря Вятской епархии. Люберцы: Изд-во храма Преображения Господня, 2000. 47 с.
168. Кожевников, И. Е. Священноисповедник Виктор (Островидов) и образование Ижевской епархии // Сборник студенческих научных работ / под ред. А. К. Светозарского; Каф. Церк. истории МПДА. Сергиев Посад, 2010. С. 59–79.
169. Кожевников, И. Е. Неизвестные страницы биографии святителя Виктора (Островидова). Вступление епископа Виктора на Ижевскую кафедру // Материалы II историко-краеведческой конференции «Обретение святых». Вятка: Буквица, 2010. С. 32–50.
170. Кожевников, И. Святой Виктор (Островидов) — первый епископ Уржумский // Вятский епархиальный вестник. 2009. № 8 (262), авг. С. 9.
171. Поляков А. Г., Кожевников И. Е. Виктор (Островидов) — епископ Ижевский и Вотский. Киров, 2009. 160 с.
172. Поляков, А. Г. Личность епископа Виктора Островидова в системе церковно-государственных отношений в Вятской губернии (1920 — лето 1922 гг.) // Самобытная Вятка: история и культура : сб. науч. трудов / отв. ред. А. Г. Поляков. Киров, 2008. С. 138–147.
173. Поляков, А. Г. Позиция епископа Виктора (Островидова) по отношению к церковно-политическому курсу митрополита Сергия (Страгородского) // КЛИО: журнал для учёных. 2011. № 1(52). С. 43–47.
174. Поляков, А. Г. Религиозно-политические взгляды епископа Виктора Островидова в 1920–1927 гг. // Религии народов Вятского края : учеб.-справ. пособие / отв. ред. А. Г. Поляков. Киров, 2009. С. 80–89.
175. Поляков, А. Г. Русская православная церковь и светская власть в 1917 — середине 1920-х гг. (на материалах Вятской губернии). Киров, 2007. 203 с.
176. Шишкин, М. С. Вятские епархиальные архиереи в 1920–1923 годах // Европейский Север в культурно-историческом процессе (к 625-летию г. Кирова) : материалы междунар. конф. Киров, 1999. С. 265–271.

**Дамиан (Дмитрий Григорьевич Воскресенский),
архиепископ Курский и Обоянский**

177. Беспарточный, Б. Д., Ильина, Э. Д., Карнаевич, В. Г. Культура и власть: из рассекреченных архивов ВЧК — ОГПУ — НКВД. Курск, 1998. С. 170—171.
178. Дамиан (Воскресенский) // Реквием : Книга Памяти жертв политических репрессий на Орловщине. Орел, 1996. Т. 3. С. 45.
179. Ильина, Э. Д. Владыка Дамиан: охранение православного культурного наследия в России и Курском крае // Пятые Дамиановские чтения : материалы Всерос. науч.-практ. конф., г. Курск, 26—28 марта 2008 г. Курск, 2008. Ч. 1. С. 7—15.
180. Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 гг. (включительно). Erlangen, 1979—1989. Т. 3. С. 15—17.
181. Раздорский, А. И. Дамиан (Воскресенский) // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М. : Правосл. энцикл., 2006. Т. 13 : Григорий Палама — Даниель Ропс. С. 707—708.
182. Раздорский, А. И. Дамиан (Воскресенский Дмитрий Григорьевич) (23.10.1873 — 03.11.1937), св., архиепископ Курский и Обоянский // Раздорский, А. И. Архиереи Курского края XVII—XX вв. Курск, 2004. С. 47—50.
183. Реутов, В. Архиепископ Дамиан — сын земли Курской // Вторые Дамиановские чтения : посвящ. пам. архиеписк. Курск. и Обоянск. Дамиана (Воскресенского), др. правосл. священнослужит. и верующих, ставших жертвами необоснов. полит. репрессий : сб. материалов / под общ. ред. В. В. Гвоздева, Э. Д. Ильиной. Курск, 2003. С. 17—23.
184. Священномученик Дамиан, архиепископ Курский : [житие] / [сост.: архимандрит Зиновий (Корзинкин) и др.]. Курск, 2004. 15 с. : ил.
185. Священномученик Дамиан, архиепископ Курский и Обоянский. Духовное наследие : проповеди, очерки, письма, протоколы допросов / предисл., коммент. и сост. свящ. В. Русина; Изд. Покровского храма с. Кунье Горшеченского р-на Курской обл. Старый Оскол: ИПК «Кириллица», 2011. 264 с. (Труды курских архипастырей).

Жураковский Анатолий Евгеньевич, священник

186. Дмитренко, А. Г. Жизнь и деятельность сщмч. Анатолия Жураковского (1897—1937) // Свет Христов просвещает всех : альм. Св.-Филарет. ин-та. М. : Ассоц. выпускников и студентов СФИ, 2007. С. 182—198.
187. Проценко, П. Солнце здесь не вечерющее. Оно не знает заката : [фрагм. из кн. «Священник Анатолий Жураковский : материалы к житию» (Париж, 1984); Письма священника-философа А. Жураковского родным и близким за 1932—1934 гг.] // Северные просторы. 1992. № 1/2. С. 27—31; № 3/4. С. 28—33.
188. Степанова, Е. А. Личность и община отца Анатолия Жураковского // Равнина русская. Опыт духовного сопротивления : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 31 января — 2 февраля 2013 г.) / Преображенское Содружество малых православных братств, Св.-Филаретовский правосл.-христиан. ин-т, Рос. гос. гуманитар. ун-т (Тверь), Филиал, Московский гос. обл. социал.-гуманит. ин-т. М. : Культур.-просветит. фонд «Преображение», 2014. С. 399—409 : фот.
189. Шкаровский, М. В. Жураковский Анатолий, священник // Православная энциклопедия. Т. 19. С. 387—388.

Евгений (Семен Алексеевич Зернов), митрополит

190. Деяния Священного Собора Российской Православной Церкви 1917–1918 гг. : (Документы. Материалы. Деяния. I–XVI). М., 1994. Репр. воспр. изд. 1918 г. Т. 1. С. 69.
191. Мануил (Лемешевский В. В.), митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 гг. (включительно). Erlangen, 1979–1989. Т. 3. С. 101–102.
192. Покаяние : Мартиролог. Сыктывкар, 2000. Т. 3 / сост. М.Б. Рогачев. С. 262.
193. Польский, М., протопресв. Новые мученики Российские. М., 1994. Репр. воспр. изд. Джорданвилль, 1949–1957 гг. Ч. 1. С. 165–167.
194. Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М.: Правосл. энцикл., 2008. Т. 17 : Евангелическая церковь чешских братьев — Египет. С. 56–58.
195. Протоиерей Алексей Сухих. «Вспомним поименно». Киров (Вятка), 2004. Кн. 3. С. 33–36.
196. Священномученик Евгений (Зернов) // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 206–209.

Иларион (Владимир Алексеевич Троицкий), архиепископ

197. Иларион, архиеп. Христианства нет без церкви : Поучение священномученика Илариона, архиепископа Верейского, новомученика Соловецкого // Православный церковный календарь с повествованиями из истории Соловецкого монастыря. Изд. Соловецкой обители, 2002. С. 62–64.
198. Иларион, (Троицкий). Священное писание и церковь : из сочинений священномученика Илариона, архиепископа Верейского // Православный церковный календарь с душеполезными поучениями и повествованиями из истории Соловецкого монастыря, 2006 год. Изд. Соловец. обители, 2005. С. 150–153.
199. Волков, С. А. Архиепископ Иларион (Троицкий) : из рукоп. «Конец старой Академии» (Самиздат, 1965) // Вестник РХД. 1981. № 134. С. 227–234.
200. Дамаскин (Орловский). Жизнеописание архиепископа Илариона (Троицкого) // Журнал Моск. патриархии. 1998. № 7. С. 23–43. (Новомученики и исповедники Российские).
201. Евгений, архиеп. Верейский. Единство идеала служения Святой Церкви в мученическом подвиге профессоров Московской духовной академии священномученика Илариона (Троицкого), священника Павла Флоренского и И. В. Попова : доклад на XII Междунар. Рождественских образоват. чтениях. Москва, январь 2004 г. // Богословское образование в России: история, современность, перспективы : юбил. сб. / архиеп. Верейский Евгений. М. : Учеб. Ком. Рус. Правосл. Церкви, 2004. С. 117–130.
202. Евфимия (Пашенко). Богатырь духа : повесть о священномученике Иларионе, архиепископе Верейском, новомученике Соловецком // Двина. 2007. № 3. С. 27–30.
203. Житие священномученика Илариона, архиепископа Верейского, новомученика Соловецкого // Православный церковный календарь с повествованиями из истории Соловецкого монастыря. Изд. Соловецкой обители, 2002. С. 169–175 : ил.
204. Житие священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского. Тверь: Булат, 2002. 74 с.

205. Материалы, связанные с вопросом канонизации священномученика архиепископа Верейского Илариона (Троицкого; 1866–1929). Софрино : Синодал. комис. Рус. Правосл. Церкви по канонизации святых, 1999. 16 с.

206. Священномученик Иларион, архиепископ Верейский: житие и свидетельства к церковному прославлению / сост. Иоанн (Снычев), митр. Санкт-Петербургский и Ладужский. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 1999. 48 с.

207. Умнягин, В., свящ. Священномученик Иларион (Троицкий) глазами союзников (к 85-летию со дня кончины и 15-летию с момента прославления святого) // Воспоминания соловецких узников, 1925–1928. Изд. Соловецк. монастыря, 2014. С. 332–340.

Стеблин-Каменский Иван (Иоанн) Георгиевич, протоиерей

208. *Дамаскин (Орловский)*. Священномученик Иоанн Стеблин-Каменский // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 172–179.

209. *Иоанн (Стеблин-Каменский)*. «Не отходите от Креста» : письма с Соловков близким и пастве. М. : Правосл. Св.-Тихон. гуманит. ун-т, 2009. 110 с. (Слово исповедников XX века).

210. *Коротенко, В. В., Стеблин-Каменский, И. М., Шумков, А. А.* Стеблин-Каменские (Стеблинские, Стеблин-Каминские): опыт историко-генеалогического исследования. СПб.: ВИРД, 2005. 311 с., [12] л. ил., портр. + [1] отд. л. схем.

211. *Сапелкин, Н. С.* Бувевский раскол в Воронежской епархии в 1927–1937 гг. // Из истории Воронежского края. Воронеж, 2002. Вып. 17 / отв. ред. А. Н. Акиншин. С. 170–192.

212. Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-Петербургской епархии: XX столетие. 2-е изд. доп. СПб., 2002. С. 13.

213. *Стеблин-Каменский, И.* Наша жизнь — повседневное крестоношение : [из писем священномученика, написанных в Соловецком лагере] // Православный церковный календарь с душеполезными поучениями и повествованиями из истории Соловецкого монастыря, 2005 год. Изд. Соловецк. обители, 2004. С. 255–256.

214. *Шкаровский, М. В.* Иосифлянство: течение в Русской Православной Церкви. СПб.: НИЦ «Мемориал», 1999. С. 331–332.

215. *Шкаровский, М. В.* Истинно православные в Воронежской епархии. СПб, 1996. Вып. 19. С. 320–356.

Иувеналий (Евгений Александрович Масловский), архиепископ

216. *Иувеналий (Масловский Е. А.)*. Письма из лагеря : [письма архиепископа Рязанского и Шацкого Иувеналия]. М., 1995. 79 с.

217. *Веселкина, Т. Ю.* Архиепископ Иувеналий // Журнал Моск. Патриархии. 1991. № 7. С. 16–19.

218. Житие священномученика Иувеналия (Масловского), епископа Тульского и Рязанского // Мученики и исповедники земли Тульской. Тула, 2001. С. 5–16.

219. *Захарова, Л. М.* Иувеналий (Ювеналий) (в миру Масловский Евгений Александрович) // Тульский биографический словарь. Новые имена. Тула, 2003. С. 92–93.

220. *Иувеналий (Евгений Александрович Масловский)*, священномученик, архиепископ Рязанский и Шацкий // Герасим (Дьячков). Белевский край : очерки церковной жизни XX–XXI вв. М., 2010. С. 362–365.

221. Кондакова, Л. Архиепископ Иувеналий (Масловский) : святые земли Орловской // Вера отцов : [православная газ., г. Орел]. 2008. № 2 (февр.). С. 12–13 : ил.
222. Мануил (Лемешевский В. В.). Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 гг. (включительно). Erlangen, 1979–1989. Т.4. С. 66–69.
223. Понарин, П. «Не бросайте святых псам...» : (тульское духовенство в 1922 г.) // Тульский краеведческий альманах. Тула, 2005. Вып. 3. С. 51–58 : фото.
224. Священномученик Иувеналий, архиепископ Рязанский и Шацкий (Масловский Евгений Александрович) // Угодники Божии земли Каширской. Кашира, 2010. Кн. I. С. 91–99 : фото.
225. Серафим (Питерский), Мелетия (Панкова). Иувеналий // Православная энциклопедия. М., 2012. Т. 28. С. 367–370.

**Леонид (Федоров Леонид Иванович),
Апостольский экзарх католиков византийского обряда в России**

226. Бурман, В. Леонид Федоров: жизнь и деятельность / диакон Василий ЧСВ (Василий фон Бурман). Львов : Миссионерское о-во св. Кирилла и Мефодия, 1993. 833 с., [14] л. фото, 1 л. портр. (Publicationes scientificae et litterariae "Studion" monasteriorum studitarum. № 3/4).
227. Волконский П. М., кн. Экзарх Леонид Федоров : (некролог) // Логос. Брюссель; Москва, 1993. № 48. С. 55.
228. «С терпением мы должны нести крест свой...» : док. и материалы о жизни и деятельности блаженного священномученика экзарха Леонида (Федорова) / сост.: Парфентьев П. А. СПб.: Изд. группа «Керигма», 2004. 505 с.: ил.
229. Юдин, А. В. Леонид Федоров. М.: Христианская Россия, 2002. 304 с. (Исповедники XX века).

Михаил Польский, протопресвитер

230. Ианнуарий (Недачин), архим. Соловецкий узник протопресвитер Михаил Польский // Соловецкий сборник. Архангельск, 2014. Вып. 10. С. 161–169.
231. Ианнуарий (Недачин), архим. Протопресвитер Михаил Польский — исповедник и свидетель мученического и исповеднического подвига православного духовенства на Соловках // Воспоминания соловецких узников, 1925–1928. Изд. Соловец. монастыря, 2014. С. 44–54.
232. Андреевский, И. М. Светлой памяти друга и союзника по Соловецкому концлагерю протопресвитера о. Михаила Польского // Православная Русь. 1960. № 11. С. 4.
233. Польский, М. Положение Церкви в советской России : очерк бежавшего из России священника. Нью-Йорк : Изд-ние братства преп. Иова Почаевского Нью-Йоркской и Канадской Епархий Русской Православной Зарубежной Церкви, 1995. 85 с.

Петр (Василий Константинович Зверев), архиепископ

234. Акиншин, А. Н. «Виновным себя ни в чем не признаю» // Встреча. 1992. № 10/12. С. 34–37 : ил. (Православные страстотерпцы).
235. Акиншин, А. Н. Церковь и власть в Воронеже в 1920–1930-е годы (процессы Петра Зверева и Алексия Буя) // Церковь и ее деятели в истории России. Воронеж, 1993. С. 127–145.
236. Воспоминания И. М. Картавцевой об архиепископе священномученике Петре (Звереве) / публ., вступ., примеч. А.В. Маштафаров // Вестник церковной истории. 2008. № 3. С. 153–176.

237. *Высотин, А.* Анзер-остров : [о воронеж. святом священномученике Петре (Звереве)] // Воронеж. неделя. 2013. 14–20 авг. (№ 33). С. 9.
238. *Дамаскин (Орловский), Столяров В.* Голгофа архиепископа Петра // Наука и религия. 1999. № 9. С. 8–10. (Новомученики российские).
239. *Дамаскин (Орловский).* Священномученик Петр (Зверев), архиепископ Воронежский. Тверь: «Булат», 2004. 224 с.
240. Новомученик архиепископ Воронежский Петр Зверев. Воронеж : Изд. Воронеж. епархии, 1994. 8 с. : портр.
241. Священномученик Петр (Зверев), архиепископ Воронежский // Календарь храма Благовещения Пресвятой Богородицы. М., 2003. № 2. С. 2–16.
242. Священномученик Петр (Зверев), архиепископ Воронежский // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 143–150.
243. Список пастырей и верных чад Русской Православной Церкви, невинно убиенных за веру Христову в годы Советской власти // Воронежский епарх. вестник. 1992. № 1/2. С. 37.
244. Страстотерпец Петр [Зверев] : Архиепископ «Соловецкий» // Русский паломник. 1995. № 11/12. С. 88–105 : ил. (Новый российский мартирологий).

* * *

245. На Голгофе : [об обретении мощей священномученика Петра (Зверева)] // Воронеж Православный. 2009. Май/июнь (№ 5/6). С. 6.
246. Пасха на Воронежской земле : [9 авг. 2009 г. мощи священномученика Петра, архиепископа Воронежского, были принесены с Соловков в Алексиево-Акатов женский монастырь г. Воронежа] // Воронеж Православный. 2014. Июнь (№ 3/4). С. 11.
247. *Рева, К.* Воронежский страдалец : [в 2014 году исполняется 85 лет со дня мученической кончины Петра Зверева, 15 лет со дня обретения честных мощей и 5 лет со дня их перенесения в Воронеж] // Образ жизни. 2014. № 1. С. 40–43.
248. *Саунин, Д.* Подвиг священномученика Петра (Зверева) : [к 80-летию со дня кончины и 10-летию обретения мощей святого Петра] // Образ жизни. 2009. № 4. С. 26–29.
249. *Фомин, И.* Священномученик Петр (Зверев) : [воронежцы отметили 15-ю годовщину обретения мощей первого избранного воронежского архиепископа] // Вести Православия. 2014. 1 июля.

Пискановский Николай Николаевич, священник

250. *Андреева, Д.* Встреча с ним была утешительной... // Вестник Архангельской митрополии. 2013. № 3 (май/июнь). С. 26–27.
251. *Климов, С.* Памяти подвижника веры // Духовный сеятель (газета Св.-Троиц. Антониево-Сийского муж. монастыря Арханг. и Холмогор. епархии). 2013. № 4. С. 4 : фото.
252. *Климов, С.* Памяти подвижника // Духовный сеятель (газета Св.-Троиц. Антониево-Сийского муж. монастыря Арханг. и Холмогор. епархии). 2014. № 3. С. 11 : фото.
253. *Лихачев, Д. С.* Духовенство // Лихачев, Д. С. Раздумья : работы разных лет : к 100-летию Д. С. Лихачева : [в 3 т. / Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом), Междунар. благотвор. фонд им. Д. С. Лихачева; сост.: О. В. Панченко (отв. ред.) и др. СПб.: АРС, 2006. Т. 1. С. 206–210.
254. *Орлова, Н.* «Смерть мучеников за Церковь есть победа над насилием, а не поражение» : [судьба протоиерея Николая Пискановского] // Духовный сеятель (газета Св.-Троиц. Антониево-Сийского муж. монастыря Арханг. и Холмогор. епархии). 2013. № 3. С. 8–9 : фото.

255. «От священства я не отрекусь ...» : священномученик Николай, протоиерей : лагерные письма православной семьи Пискановских / сост. В. О. Волков. М. : Братонез, 2013. 373 с., [8] л. ил., портр., факс. (Новомученики и исповедники Российские пред лицом богоборческой власти).

Правдолюбов Анатолий Сергеевич, протоиерей

256. *Нефедова, К.* Протоиерей Анатолий Правдолюбов. Литургия и проповедь — дорожке меня ничего нет // Музыкальная академия. 1999. № 2.

257. *Правдолюбов, А.* Очи веры зрят величие Бога, красоту мира и человека : из воспоминаний узника Соловецкого лагеря // Православный церковный календарь с душеполезными поучениями и повествованиями из истории Соловецкого монастыря, 2006 год. Изд. Соловец. обители, 2005. С. 38—41.

258. *Правдолюбов, А.* Соловецкие рассказы / протоиерей Анатолий Правдолюбов ; [предисл. к 1 изд. С. А. Правдолюбова]. Изд. 2-е, доп. М. : Святитель Киприан, 2008. 52 с. : ил., портр.

259. *Правдолюбов, С. А.* О постах, исповеди и приобщении Святых Христовых Тайн. Завещание соловецкого узника. 2-е изд. М. : Правосл. Св.-Тихон. гуманит. ун-т, 2008. 80 с. (Слово исповедников XX века).

260. «Войди внутрь себя и тверди молитву...» : священноисповедник Сергей (Правдолюбов) // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 80.

Сампсон (граф Сиверс Эдуард Эсперович), иеросхимонах

261. *Сампсон (Сиверс).* Мое жизнеописание // Лит. Россия. 1991. 28 июня.

262. *Сампсон (Сиверс).* «Я был счастлив всегда» : краткое житие иеросхимонаха Сампсона (Сиверса), составленное из его воспоминаний // Наука и религия. 2004. № 12. С. 30—31: портр. (Духовные пастыри России).

263. *Старец иеросхимонах Сампсон (граф Сиверс). 1892—1979. Житиеописание. Беседы. Поучения.* М.: Б-ка журн. «Держава», 2002. 904 с.

264. «Я слагаю с себя звание и профессию служителя религиозного культа...» : : биогр. иеросхимонаха Сампсона (Сиверса) по док. рос. архивов / подгот. текста и коммент. С. Н. Романовой // Отеч. архивы. 2005. № 4. С. 100—114.

Феодосий (Константин Захарьевич Алмазов)

265. Санкт-Петербургский мартиролог. СПб.: Изд-во «Миръ», «О-во святителя Василия Великого», 2002. С. 40.

266. Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-Петербургской епархии: XX столетие. 2-е изд., доп. СПб., 2002. С. 40.

267. *Феодосий (Алмазов, архимандрит).* Мои воспоминания : записки соловецкого узника / подгот. текста М. И. Одинцова. М.: Крутицкое патриаршее подворье : О-во любителей церк. истории, 1997. 259 с. (Материалы по истории церкви; Кн. 13).

Флоренский Павел Александрович, священник, богослов, ученый

268. *Алексеев, П. В.* Флоренский Павел Александрович // Алексеев, П. В. Философы России XIX—XX столетий : биографии, идеи, труды. М. : Акад. проект, 2002. С. 1022—1024.

269. *Андроник (Трубаев), игумен.* Обо мне не печальтесь... Житиеописание священника Павла Флоренского. М.: Изд. совет РПЦ, 2007. 151 с.: ил.

270. Бобков, Р. Красный «поп-профессор» сделал последнее открытие на Соловках // Правда Севера. 2001. 7 февр. С. 11.
271. Григорьев, Р. Умный йод Флоренского // Инженер. 2000. № 10. С. 20–21.
272. Лосский, Н. О. Леонардо да Винчи на Соловках // Лосский Н. О. Русские изгнанники и отверженные / сост. и коммент. А. Северского; идея проекта и вступ. ст. Н. Болдырева]. Челябинск : Аркаим, 2004. С. 153–162.
273. Максимова, О. В. «...Тут поразительная осень» : П. А. Флоренский у истоков российской водорослевой промышленности / вступ. П. Алексина, П. Флоренского // Природа и человек (Свет). 1997. № 12. 2-я с. обл., С. 73–77: цв. ил. (Память).
274. Материалы из следственного дела [П. А. Флоренского] // Вестник РСХД. 1990. № 3 (160). С. 70–78 : фото.
275. Сдобняков, В. В. Павел Флоренский. Письма родным из Соловков // Двина. 2011. № 1(41). С. 100–102.
276. Солдатова, О. Н., Богданова, Е. С. Изобретательская деятельность П. А. Флоренского на Соловках // История науки и техники. 2007. № 10. С. 11–19.
277. Соловецкий узник священник Павел Флоренский // Православный церковный календарь с повествованиями из истории Соловецкого монастыря. Изд. Соловецкой обители, 2002. С. 99–101.
278. Флоренский, П. А. Письма из тюрем и лагерей (1933–1937) // Вестник РСХД. 1988. № 1 (152). С. 154–181.
279. Флоренский, П. А. Письма с Соловков / публ. П. В. Флоренского // Вестник Русского Христианского Движения. Париж; Нью-Йорк; М., 1990. № 160. С. 33–71; Литературная учеба. 1993. № 4. С. 195–238; Знамя. 1991. № 7. С. 185–208; Он же. Письма из Соловков [1934–1937 гг.] / подгот. к печати М. С. Трубачевой; предисл. и примеч. П. В. Флоренского // Наше наследие. 1988. № 4. С. 115–128.
280. Флоренский, П. А. «Не во сне ли я вижу все происходящее?» : письма, фотографии русского религиозного философа, математика и физика П. А. Флоренского, документ о его трагической гибели / публ. П. Флоренского, М. Трубачевой // Северные просторы. 1990. № 3. С. 18–22 : ил.
281. Флоренский, П. А. Детям моим: Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем П. А. Флоренского семье. Завещание. М. : Моск. рабочий, 1992. 560 с. (Голоса времен).
282. Флоренский, П. «...Словно в мире нет ничего, кроме водорослей» : из писем П. А. Флоренского / вступ., публ., коммент. О. В. Флоренской, П. В. Флоренского // Природа. 1993. № 11. С. 30–41: ил.; № 12. С. 50–67: цв. ил.
283. Флоренский, П. Предполагаемое государственное устройство в будущем // Наука и религия. 2009. № 5. С. 27–29 : фото.
284. Флоренский, П. В. Вечер памяти о. Павла Флоренского (22.1.1988, Москва, Центральный Дом Литераторов) : Священник Павел Флоренский: реальности и символ // Вестник РСХД. 1989. № 1 (155). С. 90–97 : фото (в т.ч. Соловецкие).
285. Шенталинский, В. Русский Леонардо // Рабы свободы в литературных архивах КГБ. М., 1995. С. 155.

Католики на Соловках

286. Осипова, И. И. «В язвах своих сокрой меня...» : Гонения на Католическую Церковь в СССР (по материалам следственных и лагерных дел). М.: Серебряные нити, 1996. 238 с. : ил.

287. *Парфентьев, П.* Католические новомученики в России // Новая Европа. 2003. № 16. С. 58–59.
288. *Резникова, И.* Католики на Соловках, 1925–1937. СПб.: НИЦ «Мемориал», 1997. 44 с. : ил.
289. *Флиге, И.* Католическая коммуна на острове Анзер, 1929–1932 // Вестник Мемориала. СПб., 2001. № 6. С. 140–166.
290. *Чаплицкий Б., Осипова И.* Книга памяти : Мартиролог Католической церкви в СССР / прелат Бронислав Чаплицкий, Ирина Осипова; Комис. «Мартиролог-2000» Апост. администрации для католиков Севера Европ. части России. М.: Серебряные нити, 2000. 766 с.: портр.
291. Священник Павел Хомич // «Кровь мучеников есть семя церкви». М., 1999. С. 117–133.

Разделившие чашу страданий

292. *Суворова, С. В.* Помощницы заключенного духовенства Ольга и Екатерина Поваровы // Соловецкий сборник. Архангельск, 2014. Вып. 10. С. 158–160.

Анисимов Александр Иванович, реставратор

293. *Васильев, Е.* Трагедия соловецкого узника : исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося русского ученого и реставратора А. И. Анисимова // Культура. 1998. 26 марта. С. 10.
294. *Вадорнов, Г. И.* Александр Иванович Анисимов (1877–1932) // Советское искусствознание. М., 1984. Вып. 2. С. 297–317.
295. *Вадорнов, Г. И., Секретарь, Л. А.* Александр Иванович Анисимов // Великий Новгород. История и культура IX–XVII веков : энцикл. словарь. СПб.: Нестор-История, 2007. С. 71–72.
296. *Кончин, Е. В.* По приговору тройки // Советская культура. 1990. 14 апр.
297. *Кызласова, И. Л.* Александр Иванович Анисимов (1877–1937). М.: Изд-во Моск. гос. горного ун-та, 2000. 89 с.
298. *Кызласова, И. Л.* История отечественной науки об искусстве Византии и Древней Руси, 1920–1930 годы. М. : Изд-во Акад. наук, 2000. С. 424 (указ.).
299. *Кызласова, И. Л.* О Соловецком монастыре, художнике Осипе Бразе и искусствоведе Александре Анисимове // Вестник Правосл. Св.-Тихон. гуманит. ун-та. Серия 5 : Вопросы истории и теории христианского искусства. 2010. № 3. С. 112–129.
300. *Лебедевский, М.* Удача художника и драма искусствоведа // Юный художник. 2007. № 10. С. 26–28.
301. *Лихачев, Д. С.* Беседы прошлых лет // Наше наследие. 1993. № 26. С. 33–60.
302. Православная энциклопедия / под. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М.: Правосл. энцикл., 2001. Т. 2 : Алексей, человек Божий — Анфим Анхильский. С. 441.
303. *Рассел, Д., Кон, Р.* Анисимов Александр Иванович (искусствовед). VSD, 2013. 101 с.

Второва-Яфа Ольга Викторовна

304. *Второва-Яфа, О. В.* Авгуровы острова // Истина и жизнь. 1995. № 10. С. 32 – 47 : ил.
305. *Второва-Яфа, О. В.* Авгуровы острова // Мироносицы в эпоху ГУЛАГа : сб / сост. и коммент. П. Г. Проценко. Н. Новгород, 2004. С. 239–464.
306. *Ясевич, О. И.* [Яфа О.В.]. Из воспоминаний // Память : ист. сборник. М., 1976; Нью-Йорк, 1978. Вып. 1 / публ. и примеч.: С. Еленин [А.Б. Рогинский]. С. 93–158.

Юлия Николаевна Данзас

307. *Danzas, J. Bagne Rouge. Souvenirs d'une prisonniere au pays des Sovets. Juvisy. 1935* // Символ. Париж, 1997. № 37. С. 105–148. Рус. пер.: Красная каторга.
308. *Агурский М. Фрейлина с Соловков : [фрейлина императрицы Ю.Н. Данзас]* // Родина. 1989. № 12. С. 18–19.
309. *Агурский М. С. М. Горький и Ю.Н. Данзас* // Минувшее : ист. альм. 1991. Вып. 5. С. 359–377.
310. *Ганпасова, Ю. С. Репрессированная интеллигенция в социокультурном пространстве северного региона в 30-е годы XX века* // Социокультурное пространство: традиции и инновации, глобальное и региональное измерение : материалы X Соловецкого форума. Архангельск, 2001. С. 340–349.
311. *Геворкян, А. Р. Данзас Юлия Николаевна (псевд. Юрий Николаев)* // Алексеев, П. В. *Философы России XIX–XX столетий : биографии, идеи, труды. М. : Акад. проект, 2002. С. 274–275.*
312. *Козырев, А. П. «Женщина с профилем Наполеона» и судьбы русского гнозиса* // Историко-философский ежегодник, 2003. М., 2004. С. 158–190.
313. *Лихачев, Д. С. Юлия Николаевна Данзас* // Публичная библиотека глазами современников (1917–1929) : хрестоматия / Ц.И. Грин, А.М. Третьяк ; Рос. нац. б-ка. СПб. : Рос. нац. б-ка, 2003. С. 496–497.
314. *Памяти Юлии Николаевны Данзас* // Север. 1990. № 9. С. 119–120.
315. *Памяти Ю.Н. Данзас (1879–1942)* // Символ (Париж). 1997. № 37.
316. *Розенталь, И. Данзас Юлия Николаевна* // Русское зарубежье: Золотая книга эмиграции: первая треть XX века : энцикл. биогр. слов. М.: РОССПЭН, 1997. С. 212.
317. *Стратановский, С. Г. Данзас Юлия Николаевна* // Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культуры : биогр. словарь. СПб., 1999. Т. 2. С. 234–238.
318. *Фрейлина трех императриц : из книги Б.Н. Ширяева «Неугасимая лампада»* // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 101–105.
319. *Шкаровский, М. В. Русские католики в Санкт-Петербурге — Ленинграде* // Минувшее : ист. альм. 1998. Вып. 24. С. 439–483.

Александр Александрович Мейер, религиозный философ

320. *Анциферов Н. П. Три главы из воспоминаний* // Память : ист. сб. Париж, 1981. № 4; То же // Анциферов Н. П. Из дум о былом. М., 1992.
321. *Гиренок, Ф. И., Дмитриева, И. А. Мейер Александр Александрович* // Алексеев, П. В. *Философы России XIX–XX столетий : биографии, идеи, труды. М. : Акад. проект, 2002. С. 617–618.*
322. «Дело А. А. Мейера» / сост. И. Флиге, А. Даниэль // Звезда. 2006. № 11. С. 157–207.
323. *Линник Ю. В. Александр Александрович Мейер (1875–1939)* // Север. 1992. № 11/12. С. 150–153. (Российские философы прошлого).
324. *Медведев Ю. «Воскресение». К истории религиозно-философского кружка А. А. Мейера* // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1999. № 4. С. 82–157.
325. *Об Александре Александровиче Мейере, 1875–1939* // Вестник РСХД. 1990. № 2(159). С. 139–173.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ И ЕГО ВИЗИТ НА СОЛОВКИ (1929)

1. Горький, А. М. По Союзу Советов. Соловки // Горький, А. М. Собрание сочинений: в 30 т. М., 1952. Т. 17. С. 201–231.
2. То же // Горький, А. М. Собрание сочинений: в 18 т. М., 1961. Т. 11. С. 291–316.
3. То же // Наши достижения. 1929. № 5. С. 25–36; № 6. С. 3–22.
4. Горький, М. Соловки // Известия. 1929. 1 нояб.

* * *

5. Агурский, М. С. М. Горький и Ю. Н. Данзас // Минувшее: ист. альм. 1991. Вып. 5. С. 359–377.
6. Баранов, В. Все ли дозволено Юпитеру, или К истории одних преждевременных похорон // Кулиса (прил. к «Независимой газете»). 1998. 27 марта. № 6(8).
7. Быков, Д. Л. Был ли Горький? : [биогр. очерк]. М. : АСТ Астрель, 2009. 348, [3] с., [8] л. ил.
8. Ваксберг, А. И. Гибель Буревестника: Максим Горький: последние двадцать лет. М. : Терра-спорт, 1999. 391 с.
9. Витков, П. Горький на Соловках // Правда Севера. 1968. 28 марта.
10. Горького ограждали от общения с заключенными // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 215.
11. Кроних, Г. Соловки, до востребования // Ведомости законодательного собрания Новосибирской области. 2014. 19 сент. №45 (1356).
12. Лихачев, Д. С. Приезд Максима Горького и массовые расстрелы 1929 года // Лихачев, Д. С. Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет : к 100-летию Д. С. Лихачева : [в 3 т.] / сост.: О. В. Панченко (отв. ред.) и др. СПб. : АРС, 2006. Т. 1. С. 178–192.
13. Максим Горький Знал, Но Не Писал о Жертвах Коммунистов // JournalChrétien. 2007. 25 juin.
14. Местергази, Е. Г. Максим Горький и «литература факта» : [о поездке А. М. Горького на Соловки в 1929 году и очерке «Соловки», написанном по итогам этого путешествия] // Литература в школе. 2007. № 7. С. 13–14.
15. Попов, М. К. Горький на Соловках, или «Буревестник революции», парящий над СЛОНОм // Двина. 2009. № 2(34). С. 15–16 : фото.
16. Резников, Л. Я. Горький и Север : поиски, факты, свидетельства, комментарии. Петрозаводск: Карел. кн. изд-во, 1967. 230 с. : 16 л. ил.
17. Рыжова, Т. А. Очерк Горького «Соловки»: комментарий с привлечением материалов фондов Государственного музея А. М. Горького // М. Горький и революция. Горьковские чтения — 90. Н. Новгород, 1991. С. 181–189.
18. Солженицын, А. И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956. [в 3 кн.]. М., 2009. Ч. III–IV : Опыт художественного исследования. С. 49–51.
19. Солженицын, А. И. «А хочешь правду знать?» : из кн. А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» // Православный церковный календарь, 2014 год. Памяти узников Соловецкого ла-

геря особого назначения посвящается. пос. Соловецкий : Изд. Соловецкого монастыря, 2013. С. 216—217 : фото.

20. Хмельницкий, Д. С. Нацистская пропаганда против СССР : материалы и комментарии. 1941—1945. М.: Центрполиграф, 2010. 351 с. (На линии фронта. Правда о войне).— Из содерж.: Прил. Киселев-Громов Н. И. Лагеря смерти в СССР : Великая братская могила жертв коммунистического террора. Шанхай, 1936. Гл. X : Соловки в чекистском изображении. Экскурсии. Кинофильм «Соловки». Максим Горький в Соловках. Смертность.

21. Чирков, Ю. И. А было все так... / предисл. А. Приставкина. М.: Политиздат, 1991. Из содерж.: Соловецкое лето. С. 102—105.

22. Чистяков, Г. Острова особого назначения (Соловки) // Русская мысль. М.; Париж, 1999. № 4286 (30.09—6.10). С. 11.



ИЗДАНИЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь в течение многих лет ведет издательскую деятельность. За это время выпущено в свет немало книг — исторических (в том числе репринтных), научных, сборников мемуаров, изданий для паломников, туристов, а также видовых и справочных книг и проспектов, разнообразных календарей, изопroduкций.

По вопросам оптового приобретения изданий Соловецкого монастыря обращайтесь по адресу: dpc.mon@narod.ru



Том I

1923–1927

А. Клиnger

И. А. Ермолаев

Б. М. Сапир

Эсер

В. О. Рубинштейн

Б. Н. Ширяев

С. А. Мальсагов

Ю. Д. Бессонов

Д. М. Бацер

Е. Л. Олицкая

М. Леонардович

А. С. Л. Шауфельберггер

Б. Л. Седерхольм

Павел Чехранов

Первый том многотомной серии «Воспоминания соловецких узников» вышел в свет в 2013 году.

Как писал в «Слове к читателю» архимандрит Порфирий, наместник и игумен Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря, «зло нередко прячется в красивые одежды, тем самым стремясь быть неузнанным. Чтобы понять его гибельную суть, его надо увидеть обнаженным и безобразным. Именно таким оно предстает в воспоминаниях людей, прошедших “красные Соловки” и другие большевистские лагеря и тюрьмы».

В первый том серии вошли воспоминания узников, бывших в Соловецком лагере в 1923—1927 годах прошлого века. Авторы воспоминаний — люди разные, с разными судьбами, убеждениями, взглядами на жизнь. В первые дни существования лагеря попал в него офицер А. Клиnger, совершивший побег в 1925 году. Участник событий весной 1921 года в Кронштадте И. А. Ермолаев, меньшевик Б. М. Сапир, неизвестный автор, подписавший воспоминания словом «Эсер» и другие авторы рассказывают о положении политических заключенных в лагере, о первом лагерном расстреле в декабре 1923 года.

«Неугасимая лампада» Б. Н. Ширяева стала, по словам М. Г. Талалая, книгой «не о жизни, а о житии, в центре которой — коллективный “Угодник Божий”, Святая Русь».

Воспоминания С. А. Мальсагова и Ю. Д. Бессонова повествуют об удавшемся побеге авторов из «советской тюрьмы на далеком севере».

Священник Павел Чехранов рассказывает о том, как православные христиане, священнослужители даже в суровых лагерных условиях, рискуя навлечь на себя неисчислимые беды, все же не только сохраняли веру, но и праздновали Пасху.

Книга включает в себя статьи об авторах воспоминаний, а также справочные материалы по истории лагеря.



Том II

1925–1928

Иван Савин

Протопресвитер Михаил Польский

С. Курейши

И. М. Зайцев

Б. А. Солоневич

В 2014 году вышел в свет второй том серии «Воспоминания соловецких узников». В него вошли воспоминания авторов, бывших заключенными в 1925–1928 годах.

По словам доктора исторических наук С. В. Волкова, «авторы публикуемых воспоминаний относились к традиционно преследовавшимся тогда группам: за небольшим исключением это представители духовенства, бывшие офицеры или члены нежелательных для власти организаций. Лишь некоторые из них принимали активное участие в борьбе с большевизмом, и сама эта борьба не является в данном случае темой повествования.

В этих рассказах примечательна, прежде всего, картина мученичества и духовного подвига людей, сумевших в нечеловеческих условиях сохранить силу духа и свои убеждения. Те из них, кто сумел выжить и даже бежать из рукотворного советского ада, сумели донести до будущих читателей не только правду о порядках в советских лагерях («тогда еще мало кому известную»), но — и это главное — свидетельство об образцах нравственного величия своих товарищей по несчастью, которым суждено было погибнуть в заключении».

Книгу открывают очерки И. И. Савина, написанные в результате общения с бежавшими соловчанами. Также в том включены фрагменты публикаций протопресвитера Михаила Польского, мемуары индуса Саида Курейши.

Впервые в России публикуется книга генерала И. М. Зайцева «Соловки: Коммунистическая каторга, или Место пыток и смерти», вышедшая в Шанхае в 1931 году.

Завершают том документальная повесть «Молодежь и ГПУ» и роман «Тайна Соловков» Б. Л. Солоневича.

Также в книгу включены статья о священномученике Иларионе (Троицком), мужественному образу которого уделяют немало внимания многие мемуаристы. Публикуются статья о Пасхальных богослужениях в Соловецком лагере, справочные материалы по истории лагеря.

Воспоминания соловецких узников

Том III

Ответственный редактор
иерей Вячеслав Умнягин

Дизайн и оригинал-макет
Михаил Скрипкин

Художник
Сергей Губин

Литературный редактор
Вениамин Слепков

Корректоры
Марина Смирнова
Ольга Сидорова

В оформлении обложки использован снимок
Юрия Бродского

Подписано в печать 15.05.2015
Формат 72 x 104 1/16
Печать офсетная. Усл. печ. л. 37.
Заказ № 208. Тираж 2000 экз.
1-й завод: 1–500.

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
164070, Архангельская обл., пос. Соловецкий,
наб. бухты Благополучия, д. 1, корп. 8
solovki-news@yandex.ru
<http://solovki-monastyr.ru>

Отпечатано в типографии «НП-Принт»
Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15

Первый том фундаментального
проекта Издательского отдела
Соловецкого монастыря. Изда-
ние посвящено памяти заключен-
ных Соловецкого лагеря особого
назначения (СЛОН). В книгу во-
шли мемуары узников, находившихся
в заключении в период с 1923 по
1927 г., а также справочные мате-
риалы по истории лагеря, его мате-
риковых и островных отделений.
Издание ориентировано на самый
широкий круг читателей и специали-
стов, интересующихся отечественной
историей.

Книга удостоена диплома

читателя Архангельского

университета

имени академика

С.П. Карпова

за лучшую книгу года

издательства



ИЗДАНИЕ
СОЛОВЕЦКОГО
МОНАСТЫРЯ